

Дмитрий Быков
ОРФОГРАФИЯ
опера в трех действиях

Дмитрий Быков
ОРФОГРАФИЯ
опера в трех действиях

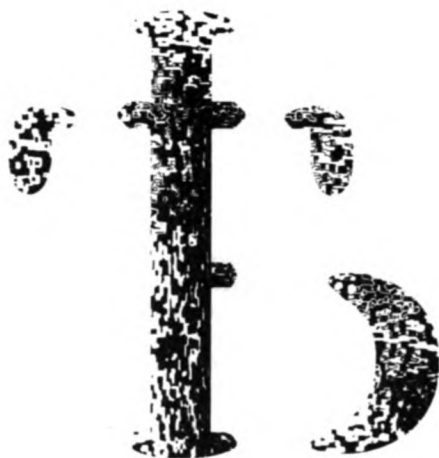
ВАГРИУС



ОРФОГРАФИЯ

опера в трех действиях

Дмитрий Быков
ОРФОГРАФИЯ
опера в трех действиях



УДК 882-31
ББК 84(2Рос=Рус)6
Б 95

Ответственный редактор
Елена Шубина

Художник
Андрей Рыбаков

Б 95 **Быков Д.Л.**
Орфография: опера в трех действиях / Дмитрий Быков. — М: Вагриус,
2006. — 688 с.

ISBN 5-9697-0259-5

В основе романа Дмитрия Быкова «Орфография» лежит подлинное событие — реформа русской орфографии 1918 года. Однако из этого, на первый взгляд, давно ушедшего в прошлое факта, автор разворачивает авантюрный сюжет с тайнами и бурными страстями, фантастическими версиями и свободными перемещениями во времени...

УДК 882-31
ББК 84(2Рос=Рус)6

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9697-0259-5

© Быков Д.Л., 2003
© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2003

Льву Мочалову

И началась опера в трех действиях

Исаак Бабель



Предисловие к первому изданию

Принадлежность «Орфографии» к жанру оперы предполагает ряд особенностей: вставные номера, дивертисменты, длинные арии, театральные совпадения, условности и пр. Классические оперы давно изданы на компакт-дисках в облегченном виде — увертюра, пять-шесть лучших арий, кульминация, финал. К сожалению, у автора нет возможности издать свою прозаическую оперу в двух вариантах, — к тому же ему видится в этом априорное неуважение к читателю. Поэтому, стараясь сделать сочинение удобным для широкой аудитории, он выделил курсивом места, которые можно пропускать без большого ущерба для фабулы, а полужирным шрифтом — те, которые сам он относит к «хитовым».

На естественный вопрос, почему бы всю оперу не сделать хитовой, а заодно не убрать заранее фрагменты, выделенные курсивом, — автор вправе отметить, что, во-первых, ни одна опера не может состоять из концертных номеров, а во-вторых, без курсивных отрывков сочинение лишилось бы смысла. Даже тот, кто почувствует скуку при первом знакомстве с ними, впоследствии сможет вернуться к этим главам и перечесть их в свободное время, уже

ОРФОГРАФИЯ

зная, чем все закончилось. Для читателя, которому интересна описываемая эпоха, «Орфография» не представляет никаких затруднений, а потому он попросту проигнорирует игры со шрифтами, прочитав книгу от начала и до конца, как она написана. Нелепо было бы сочинять роман о самом избыточном и условном в человеческой жизни, освобождая этот роман от всего избыточного и условного — в котором автор и протагонист только и видят Божественное присутствие.

*Дмитрий Быков,
Москва, май 2002 года*

ΠΡΟΛΟΓ

i

Реформа русской орфографии 1917—1918 годов проходила в три этапа. Наметилаь она почти сразу после петровской (1709) переделки алфавита и вызывалась соображениями, какими с начала времен руководствуются все упрости-тели. Прежде всего из алфавита следовало изъять буквы, у которых не осталось звукового аналога: после того как Петр бестрепетно выкинул из азбуки омегу и пси (введя «я» и «э»), на очереди двести лет стояли ер и ять.

Ять до четырнадцатого века (когда в летописях стали встречаться первые ошибки по его употреблению) обозначал нечто среднее между «е» и «и», но фонетической роли давно лишился. Без ера в своих писаниях уже в начале XIX века обходились многие вольнодумцы. Перечисляя в «Бесах» темы русского спора при начале очередной оттепели, Достоевский упоминает «уничтожение цензуры и буквы ѣ, за-менение русских букв латинскими, вчерашнюю ссылку та-кого-то, какой-то скандал в Пассаже, полезность раздроб-ления России по народностям с вольною федеративною свя-зью, уничтожение армии и флота, восстановление Польши по Днепр, крестьянскую реформу, уничтожение наследства, семейства, детей и священников, права женщины...». Легко

видеть, что из этого перечня со временем осуществилось почти все, кроме уничтожения детей, хотя и в этом направлении предпринимались определенные усилия. Алданов в «Истоках», опираясь на цитированный фрагмент, заставляет Достоевского предсказывать, что отменяют букву ять — и все пойдет к черту. Ситуация осложнялась отсутствием смысловых правил к употреблению ятя.

Подготовительный этап реформы начался в 1899 году, когда собралась Первая орфографическая комиссия при Московском университете. Вторая комиссия функционировала в 1901 году, тоже при университете, но уже Казанском; почти одновременно с ней возникла третья, при Новороссийском. Предложения комиссий широко обсуждались учеными и учителями (главным аргументом в пользу реформы правописания была именно трудность и кажущаяся бессмысленность усвоения русской орфографии, ее недоступность простонародью, низкая успеваемость гимназистов). В 1904 году подкомиссией Академии наук под председательством Ф. Фортунатова было разработано «Предварительное соображение» о готовящейся реформе.

Академию наук тогда возглавлял либеральный великий князь Константин Романов, более известный как слабый поэт и драматург К.Р. Он лично стал во главе комиссии по реформе правописания, которую собрал впервые в достопамятный день 12 апреля (ст.ст.). На следующий день собралась подкомиссия, сформированная для разработки конкретных предложений по реформе. Ее центром были А.Шахматов и Ф.Фортунатов — крупнейшие специалисты по истории русского языка. Как всякие историки, они обращали внимание прежде всего на тенденцию: письменная речь во всем мире год от года теснее смыкается с устной, лишние буквы и тяжеловесные обороты отпадают, а торжествует здоровая простота.

Предложения были радикальны. Первое: никакого ятя. Второе: долой ер, причем не только после согласной в конце слова, но и после приставки, где вполне можно обходиться мягким знаком («ввехал», «сьел»). Третье: в словах типа

«рожь», «мышь», «точь-в-точь» — а равно и в инфинитивах «лечь», «мочь», «влечь» — мягкий знак давно не нужен: «ч» и «ц» и так всегда мягкие, а что мышь женского рода — знает, слава Богу, вся мыслящая Россия. Безударные окончания прилагательных в родительном падеже единственного числа («-аго», «-яго») должны приблизиться к ударным: росЛОго, лишнЕго. Унифицируются окончания прилагательных во множественном числе (прежде, согласно правилам, в женском роде писалось «-ия», «-ья»: веселыя ежихи, но веселье ежи). Наконец, приставка «без» перед глухой согласной должна писаться как слышится («беспользый», «беспомощный»). И, конечно, везде, где после шипящих под ударением слышится «о», следует так и писать: шопот жолтого чорта.

Авторы реформы были поражены силой сопротивления, с которым столкнулась подкомиссия после публикации своих предложений; заметим, что в нее входили авторитетнейшие люди — в частности, Бодуэн де Куртэнэ и несколько представителей духовенства. Первым резко высказался Алексей Суворин, издатель и редактор «Нового времени». Следом некий Гиляров-Платонов оперативно написал целую брошюру, в которой перегнул палку уже в другую сторону: он так испугался новшеств, что предложил восстановить оба юса — большой и малый, — исчезнувшие еще в XV веке. Свое предложение он мотивировал тем, что юсы делают русский язык более усвояемым для поляков и белорусов. Поляков и белорусов никто не спросил. Громче всех против реформы возражал обер-прокурор Синода Победоносцев. Неожиданно подключился враг условностей Толстой: десятки русских газет перепечатали интервью, в котором он неубедительно, но горячо излагал аргументы против нового правописания. Главный заключался в том, что он привык читать быстро, ухватывая взглядом все слово, а тут меняется этого слова портрет, его знак. Он сам понимал, что аргумент слабый: привыкнуть недолго. Во время беседы с корреспондентом подошел его сын Сергей, добавивший собственные, тоже не слишком

рациональные соображения, — Толстой обрадованно подержал: «Да, прекрасно!»

Комиссия, смущенная размахом противодействия, отступила. Ей напомнили, что в том же 1904 году министр внутренних дел Сипягин издал специальный циркуляр, в котором запрещал издание книг без еров, приравняв их к революционной пропаганде. Как знать: если бы министерство внутренних дел в 1904 году уделяло меньше внимания орфографии, избрав иные приоритеты, — судьба русского правописания впоследствии могла быть иной.

В 1910-е годы Шахматова занимали сугубо научные проблемы, Фортунатов умер перед Первой мировой войной, — но реформа правописания, уйдя с повестки дня, оставалась мечтой гимназистов и приобрела в их сознании неизбежную революционную окраску. В канун революции, 10 февраля 1917 года, когда в столице собрался Первый Всероссийский съезд учителей русского языка, первым обсуждавшимся вопросом оказалась, естественно, орфография. Многие гимназисты вспоминают, что учителя в это время перед ними заискивали. Съезд единогласно проголосовал за реформу, но ввиду бурных событий конца февраля, когда по всему городу впервые за двести лет его существования выстроились хлебные очереди, реализация ее снова отодвинулась на неопределенное время.

Второй этап реформы русской орфографии начался 23 декабря 1917 года. Декрет за подписью Луначарского отменял «лишние» буквы (ять, фиту, ижицу, и десятиричное), оставляя за ером только разделительные функции — видимо, по причине актуальности любых разделений. Луначарского и в большевистской верхушке всерьез воспринимали немногие, так что все газеты, кроме большевистских, продолжали печататься по-старому. «Никто даже ухом не повел», — обиженно вспоминал наркомпрос. После этого он пришел к выводу (не такому уж абсурдному), что половинчатые меры в эпоху столь масштабных преобразований перестали восприниматься массовым сознанием. 5 января 1918 года появился декрет Совнаркома, упразднивший орфо-

графию как таковую по причине ее дискриминационной сущности. Отмена правил правописания и пунктуации воспринималась не только народом, но даже радикальной частью интеллигенции как уничтожение барьеров, искусственно воздвигнутых на пути «низового элемента» к просвещению. Отстаивание правописания представлялось радикалам «попыткой протащить угнетение под видом правил» («Правда», 9 января 1918). Яростная дискуссия по этому формальному, казалось бы, поводу, особенно трогательная в голодном и осажденном городе, привела к образованию 12 января 1918 года Елагинской коммуны — одного из самых причудливых явлений русской жизни даже на фоне тогдашней экзотики.

История Елагинской коммуны изучена слабо: после событий в ночь на 15 мая 1918 года о ней предпочитали не вспоминать как сторонники, так и противники. Советская историография вовсе обходила ее стороной, эмигрантские круги мало что знали, а поскольку из самой этой группы почти никто не уцелел, достоверных источников не осталось. Краткое и половинчатое мемуарное свидетельство в белградском сборнике 1927 года «Катакомбы», вышедшем в количестве трехсот экземпляров, да неопубликованная переписка историка Льва Покровского с Марией Ашхарумовой — все, чем мы располагаем. Архивные разыскания позволили присоединить к скудному списку лишь несколько мемуарных очерков и косвенных упоминаний — подневольных, как бы сквозь зубы. Отголоски елагинской истории можно найти в романе «серапиона» Всеволода Иванова «Кремль», написанном в начале тридцатых, но опубликованном только в 1990 году. Важные штрихи к смутной картине добавляет неоконченный фантастический роман беллетриста Ростислава Грэма «Желтый город», сохранившийся в его гурзуфском архиве.

15 мая 1918 года распоряжением ЦИК «Об упорядочении» начался третий этап реформы русской орфографии, совпавший с первой волной террора и призванный обслужить ее на идеологическом уровне. Такой период неизбежен в раз-

ОРФОГРАФИЯ

витии любой революции, начинающей с отмены всех условностей и заканчивающей воцарением одной, самой иезуитской и нелепой, а потому наиболее соответствующей образу абсолютной власти. Этот период закончился в октябре, когда после принудительного изъятия из типографий всех еров, ятей, фит и ижиц русская орфография приобрела нынешний вид. Отдельные попытки ее реформирования в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов захлебнулись на стадии печатного обсуждения; хочется верить, что захлебнутся и нынешние.

Автор благодарит Вадима Эрлихмана (Москва), Льва Мочалова (Санкт-Петербург) и Андрея Давыдова (Гурзуф) за неоценимую помощь в работе над книгой, которую посвящает памяти беллетриста Грэма (Кремнева). Именно Грэм должен был написать этот роман — и непременно закончил бы его, если бы не умер от истощения в оккупированной Ялте 26 января 1942 года.

действие первое
**ЖОЛТЫЙ
ЧОРТ**

*Бело-серый бледный бес
Убежал поспешно в лес
Белкой по лесу он бежал,
Редькой с хреном пообедал
И за бедный сей обед
Дал обет не давать бед
Запоминалка на «ять»*

Оказалось, что надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки... м-м-даа... дворец из стекла и мрррмора... и а-л-л-люми-иния... м-м-мда... и чтобы все комнаты и красивые одежды... эдакие хитоны, — и как его? Коммунальное питание. И чтобы тут же были художники.

Художники пишут картины, музыканты играют на инструментах, а кроме того, замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И тогда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или — как ее там? — опера... И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом.

Владислав Ходасевич

*Он снял с пальца старинное дорогое кольцо,
не без основания размышляя, что может быть,
этим подсказывает жизни нечто существенное,
подобное орфографии.*

Александр Грин



1

Ранней осенью 1916 года в Петрограде появились странные люди. Им всегда было холодно. Никто не знал, откуда они взялись. Матросы ходили в черном, солдаты в сером, а эти не пойми в чем. И странно: когда очевидцы тех событий, обитатели Питера в самые темные его дни, сходились повспоминать (чтобы скудная пища и уязвимый уют любого другого времени показались им райскими на фоне той поры), странных людей помнили все, а вот как они были одеты — сказать не мог никто. Тогда стало понятно, откуда Смутное время получило свое название: не в безвластии было дело, а в размытости зрения, внезапно постигшей всех. словно пелена опустилась на мир, чтобы главное и страшное свершилось втайне.

Весною девятнадцатого, в светлый и мокрый день, встретив Грэма на Разъезжей (как оказалось — в последний раз), Ять спросил его: помните вы темных?

— Да, конечно, — с готовностью подтвердил Грэм. Он говорил о них запросто, словно будучи на коротке с силами, их породившими, и умея в случае чего эти силы заклясть.

— Я все думаю: куда они делись? Не может же такого быть, чтобы их использовали только как исполнителей, а потом в один день перестреляли всех.

— Не может, — снова кивнул Грэм. — Зачем же стрелять исполнителей?

— Чтобы не увлеклись. Мало ли, не остановятся вовремя, повернут штыки против власти...

— Исключено. Им нужна живая власть. Будет власть — будет и еда, а значит, их и не сожрут.

Этого Ять не понял, но уточнять не стал. Расспрашивать Грэма было бесполезно.

— И куда они пропали?

— Как — куда? — Грэм даже развел руками, словно изумляясь, что его спрашивают о таких очевидных вещах. — Развоплотились обратно, и вся тайна. Миновала опасность, они и превратились.

— Превратились? — переспросил Ять. — И в кого, интересно?

— В крыс, в кого же еще. Так не бывает, чтобы воплотился из одного, а развоплотился в другое. Если из неживой природы, тогда еще были случаи, Тиволиус описывал. Из ведра, допустим, в свинью, а из свиньи в скамейку. Но чтобы из крысы в человека, а потом, скажем, в рыбу — это совершенно, совершенно исключено.

Он говорил об этом деловито, как о заурядных технических подробностях, и Ять в который раз подивился способности этого невероятного человека сочинять себе сказку по любому поводу. Неправы были те, кто считал Грэма неприспособленным чудаком. Из всех чудаков, населявших город, этот был самым приспособленным, поскольку стена прихотливой изобретательности защищала его от любой правды. Не зря настоящая фамилия его была Кремнев (первый рассказ он напечатал еще под псевдонимом Крем, но это ему не понравилось; он стал Грэмом — звучало экзотически, капитански). Теперь Грэм проживал очередной рассказ — в манере, к которой Ять никак не мог привыкнуть. Стало интересно.

— А воплотились почему? — спросил он.

— Чтобы не съели, — убежденно сказал Грэм. — Еще бы чуть, всех переловили бы. А так не тронули. Крысу съесть проще, чем человека. Противно, но можно. Я в Одессе ел.

— А я нет, — признался Ять. — Кстати, я тут стал вспоминать... впервые за год, можете представить? Много помню,

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

а одного никак не могу уяснить: как они были одеты-то? Ведь мы их опознавали сразу!

— Они были одеты н и к а к, — в своей манере выделяя нейтральнейшее слово (он и на письме любил эту внезапную р а з р я д к у), отвечал Грэм. — Вы видели на них одежду, которая наиболее соответствовала вашему представлению, и это был м о р о к, наводимый ими без труда, по врожденному свойству.

Так Ять ничего и не выпытал. Про себя он продолжал называть странных людей т е м н ы м и, но не черный цвет ассоциировался с ними прежде всего, а смугло-желтый. Это был цвет их лиц — одутловатых, опухших, какие в прежние времена можно было увидеть только у самых безнадежных нищих. Всех нищих Ять для себя делил на тех, кого еще можно было спасти, и тех, кто ни на что уже не годен. Эти последние, кстати, вовсе не обязательно были больны, изуродованы или одеты в рубище: очень часто они выглядели чуть ли не ухоженными. Только шафранно-желтые лица и черные неподвижные глаза ясно доказывали, что тут уже не сделаешь ничего: перед тобой не жертва обстоятельств, но член тайного союза нелюдей, ни к чему, кроме подпольного существования, не пригодных. И, вспоминая потом цвет их лиц, белков, рук, Ять понимал, почему самый любимый и ненавидимый им поэт в иных случаях, не дожидаясь орфографической реформы, пишет «желтый» через «о»: жолтый. В этом «о» была бездна, душло, зияние, завывание, страшная, желтая в черном дыра.

Они не говорили ни слова, просто протягивали руки и никогда не благодарили за милостыню. Немыслимо было услышать от них «Спаси Господи». Ять сразу догадался, что подаяния они просят только до поры, используя это занятие не ради прокорма, а для маскировки, как требующее наименьших усилий. Смешны были разговоры о том, что т е м н ы е наняты большевиками или эсерами, — это было мелко, скучно, мимо сути. Т е м н ы е не желали никакого переворота. Они ждали только удобного момента, чтобы покинуть подвалы и захватить город — не ради переустройства, дележки или иных жестоких, но понятных целей, а просто в силу своей природы, которую вряд ли сознавали сами. Никто их не пёс-

товал, не растил, не собирал. Они завелись сами, как черви в трупе. Настанет день — и они выйдут из подполья, возьмут власть и обрушат все; и тщетно будет ждать снисхождения тот, кто подавал больше других.

Об их делах Ять был наслышан — как-никак газетчик, крутился среди репортеров (и, кстати, склонен был уважать эту чернорабочую среду — их, а не его усилиями газета прибавляла тиражей и славы, он был приправой к основному блюду). Репортеры, молодые и впечатлительные, невзирая на показной цинизм бывалых путешественников по питерскому дну, рассказывали о вещах столь ужасных, что их не вмещало воображение. Ять, слава Богу, достаточно читал о преступлениях прошлого, — но те злодеяния получали объяснение, иногда даже слишком рациональное, почти иезуитское. В Питере же с шестнадцатого года стали случаться преступления именно необъяснимые — словно убийца имел единственной целью уяснить себе, что у жертвы внутри. И, пытаясь потом вспомнить, что таилось в черных глазах на шафранных одутловатых лицах, Ять понимал, что главным в них было любопытство. Такое выражение он видел однажды на лице ребенка, который, склонив голову набок, улыбчиво наблюдал за тем, как кошка расправляется с мышью.

Т е м н ы е не жили поодиночке — они собирались в подвалах и на пустырях, варили там жуткое варево, там же и спали вповалку, делили одежду жертв, сдавали деньги в общую кассу или вожаку (должен быть вожак, чудовищный, вроде муравьиной матки, не приведи Бог никому увидеть его), — и были в городе места, куда лучше не соваться. Когда на окраине в очередной раз нашли изувеченный труп — голова отрезана, вся кровь выпущена, — репортеры снова загомонили о ритуальных убийствах: начиная с дела вотяков, во всяком бессмысленном злодействе искали ритуал.

— Не там ищите, — сказал тогда Ять молодому Стрелкину, славному, расторопному малому, который от назойливой семейной опеки то и дело сбегал в трущобы, заводил агентуру среди извозчиков и вообще по-детски пинкертонствовал. — Секту ему подавай. Нет никакой секты, все страшнее и проще. Нищих замечали?

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Что значит — замечал? На каждом углу торчат..

— Я не про обычных. У этих темно-желтые лица.

— Ять, ничего вы не знаете, книжный человек. Это обычное следствие алкоголизма, в почках что-то начинает вырабатываться — или, наоборот, перестает. Побегали бы по питерским трактирам, сколько я, — и не то бы увидели.

Это умилило Ятя. Он поглядел на Стрелкина ласково:

— Коленька, сколько вам лет?

— Девятнадцать, но это ничего не значит.

— Да конечно, не значит. Побегал он. Вы бы к ним присмотрелись. Сдается мне, что они не совсем люди.

— Конечно, не совсем. Отбросы, придонный слой.

— Ах, милый друг, — вздохнул Ять, — ничего вы не понимаете. Что с того, что придонный слой? В нем-то, может быть, и водятся особые существа. Я раз в Ялте видел, как морского змея поймали. Плаваешь, а ведь и подумать не можешь, что на дне такая тварь водится. Люди давно уже разделились — поверху одни, на глубине другие.

— И что? Вы хотите сказать, что это нищие убили?

— Ничего не хочу сказать, Коленька, только допускаю. Вы сектантов не знаете, а я ими лет пять занимался, доньне плююсь. Они публика нервная, кошку убить не решаются. Во глубине России, может, и иначе, но тут-то наши, питерские. Нет, тут убийство хладнокровное, без совести, без колебаний, — из чистого любопытства. Впрочем, мы сами виноваты: вытеснили столько народу на дно — они и расчеловечились естественным порядком.

— Да вы тайный эсдек.

— Боже упаси. Я за неравенство, только в пределах. Иначе те, что на самом верху, и те, что в самом низу, — теряют человеческий облик, не находите? Посмотрите на Мудрова (Мудров был купец, фантастический богач; считалось общим местом, что он помогает террористам, хотя никто этого не доказал. Зато хорошо было известно, — он и не скрывал этого особенно, — что он живет, как с женой, с пятнадцатилетней племянницей, и это не мешало ему жертвовать огромные деньги на монастыри, а монастырям — с благодарностью принимать). Такой почти богом себя чувствует, вот и дурит, испытывает Божье терпение. А другие — это, как вы изволите выражаться, дно. наших дураков послушать — на дне знай

Ницше читают да о вере спорят. А они давно уже не люди, и разговоры у них не человеческие. Только и ждут, когда мы совсем ополоумеем, тут и выйдут потрошить встречаемых. И никакая это будет не социальная революция, а в чистом виде биология.

Разговор этот имел интересное продолжение. Ять давно забыл о нем, — он легко разбрасывал сюжеты, — когда месяца три спустя в редакции его остановил встрепаанный Стрелкин.

— Ять, заняты?

— Только что обзор дописал.

— Выйдем, я не могу тут говорить.

Они зашли в чайную на Среднем проспекте — знаменитую, давно облюбованную газетчиками, запросто привечавшую и «биржевика», и «нововременца», — уселись в углу, спросили глинтвейну, и Стрелкин долго молчал, разглядывая Ятя.

— Интересный вы болтун, Ять, — сказал он наконец. — Врете, врете, а вдруг и правду соврете.

— Так всегда бывает.

— Я вчера от приятеля шел — в университете со мной учился, на юридическом. Я курса не кончил, заскучал, а он остался. Иногда захожу к нему, сестра больно хороша... Они на Преображенском живут, чудесное семейство, засиделся до неприличия. Час, помню, уже третий. Иду я пешком, благо близко, — ночь холодная, мороз щиплет, луна, как блин... навстречу никого... Страх меня какой-то взял, черт его знает. Тени своей путаюсь. Ну, кое-как дошел. И вижу (дом-то мой уже в двух шагах): в соседнем дворе фигуры мелькают. Что такое? Любопытство, сами знаете... Зашел в подворотню, гляжу — и глазам не верю: Ять, дети! В глухую пору, в три часа... черт разберет! Маленькие, в тряпье, в лоскутках, — играют без единого звука. Обычные-то шумят, галдят, — а эти бесшумно, как звери. Хотя ведь и звери визжат... И с такой злобой толкаются, ставят друг другу подножки, разбегаются и опять сбегаются, кто кого собьет... ужас! А следит за ними взрослый, тоже в тряпье, треух нахлобучен, — зябнет, приплясывает. Иногда, если плохо дерутся, показывает им — как бить побольней.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Дети? — задумчиво переспросил Ять.

— Говорю вам, дети. Лет по семь, по девять... Пятнадцатый сон видеть должны в такое время, да еще зимой! И знаете — этот-то, с ними, из ваших... я ведь их тоже узнаю, только значения не придавал.

— Из т е м н ы х?

— Да. Я, конечно, лица не разглядел, но повадку их знаю: они двигаются... как бы сказать? — не совсем по-людски. Будто недавно выгучились и не уверены, так ли выходит. Ну скажите на милость, для чего взрослому человеку глухой ночью детей во двор выводить?

— И зачем, по-вашему?

— Похоже, будто учит чему-то. Я у одного лицо разглядел — он ударился сильно, но не плакал. Я люблю детей, когда под ногами не путаются. Но тут... никогда такого ребенка не видел. Ведь в ребенке... всегда невинность, что ли. Этому же было лет восемь, — но лицо этакое... взрослое, все повидавшее, только черты миниатюрней. Он в мою сторону поглядел — так и не знаю, заметил ли.

— Так, может, они и не дети? Уродцы, карлики, которых ночью вывели, чтобы днем не смущать прохожих?

— Нет, то-то и оно. Я по страху понял: у меня такой страх, только когда вижу действительно иноприродное. Нищих этих ваших я никогда не боялся, но тут... ночью... в пустом дворе — дети... зверство какое-то. Я уж бочком-бочком из подворотни, чтоб шагов не слышали, — юрк к себе! Утром дворника спрашиваю — скажи, Антон, никогда не видел ты тут ночью, чтобы дети играли под надзором бродяги? Что вы, говорит, какие дети, откуда... примстилось выпивши... Но я у Дворкиных не пью. Я вообще мало пью, вы знаете.

— Ну что ж, — Ять допил чай. — Молодцом, Коленька. Очень убедительно отдарились за мою идею.

— Да ведь я всерьез, — тихо и обиженно проговорил Стрелкин, и Ять устыдился сомнений.

— Сколько детей было?

— Человек семь, может, восемь.

— Не знаю, — сказал Ять после долгой паузы. — Может, и впрямь ночная школа нелюдей, а может, просто какой-нибудь сумасшедший решил, что ночью гулять благотворнее.

Вот и собрал кружок последователей, гуляет по ночам с их детьми — нынче знаете сколько идиотов?

— Нет, нет, — убежденно ответил Коленька. — Все не то. Это школа, школа маленьких убийц. Ничего не бояться, никого не жаль.

— Хотите, сегодня вместе сходим посмотреть? — предложил Ять.

— Ну уж нет, — твердо отказался Коленька. Это было на него не похоже — в иное время он зубами ухватился бы за такую тему. — Я и днем туда больше не зайду.

Ять так и не узнал, был ли это талантливый розыгрыш, случилась ли у Стрелкина от холода и от любви галлюцинация, или и в самом деле т е м н ы е начали воспитывать армию маленьких солдат. Но только весной семнадцатого шафранных нищих становилось все больше, и вели они себя все свободнее, — когда-то едва решались днем ходить по улицам, жались по углам, робели, втягивали голову в плечи, словно ожидая удара, а теперь внаглую расхаживали по Невскому. Подаяния почти не просили — только стояли у домов, подпирали стены и выжидательно приглядывались. Со Стрелкиным Ять о них больше не заговаривал.

2

О всяком человеке можно сказать мало определенного, о Яте — еще меньше. Лет ему от роду было тридцать пять, он был высок ростом, худ, женат, но с женой не жил десять лет. Ему нравились путешествия, таинственные истории, компании стариков и молодежи. Ровесники всегда казались ему взрослыми, а потому неинтересными людьми. Он часто смеялся во сне, смеялся бы и наяву, но был для этого слишком хорошо воспитан.

Подписываться Ятем он стал с двадцати лет — с тех пор, как начал публиковать в «Пути», «Глашатае» и «Веке» корреспонденции и мелкие рассказы. На досуге изучал труды нескольких полузабытых литераторов и потому состоял в Обществе любителей словесности, на заседа-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ния которого регулярно являлся. Ему, возросшему в среде разночинной, всегда на грани бедности, — мила была атмосфера академических собраний и профессорских семей, где утонченность, почти изнеженность так странно сочеталась с душевным здоровьем. Он играл немного в карты, симпатизировал кадетам, был одно время корреспондентом во второй Думе и на фронте, а потому давно понимал, что скоро все кончится. Однако понимал он и то, что хорошо кончиться не может: одна пошлость сменяет другую, зло побеждается только еще большим злом, и нет никаких оснований полагать, что когда-нибудь выйдет иначе.

У него имелись, как положено, имя, отчество, паспорт — причем квартира, снимаемая в шестиэтажном доме на Большой Зелениной, была записана по договору с домовладельцем на обыкновенную, хоть и не распространенную русскую фамилию. Фамилия эта, в свою очередь, была псевдонимом его отца, рано умершего врача и притом еврея-выкреста. Однако сам Ять давно называл себя Ятем, и по этому псевдониму знала его небольшая, но преданная аудитория. Псевдоним он взял не из трусости, не потому, что не любил отцовскую фамилию: она была не хуже, чем у прочих. Ему нравилась буква. Ять и себя считал условностью, которая только по бесконечному терпению Божию не упраздняется. Но он знал, что без него нечто неуловимое сдвинется и перестанет существовать.

Врожденная грамотность давала ему единственное преимущество перед одноклассниками: он не был ни сильнее, ни красивее, ни богаче прочих — хотя тонкое его лицо и серьезные серые глаза нравились женщинам, — но то ли от детской привычки к непрерывному, даже за едой, чтению, то ли в силу особого таланта он всегда точно знал — когда в слове ять пишется, а когда нет. Он считался в классе экспертом по вопросам правописания. Со временем Ять все чаще задумывался о том, что правописание, в сущности, лишний ритуал, — но в мире только то и прекрасно, что не нужно. Насущных вещей Ять терпеть не мог.

Впрочем, нужно ему было немного. После горьких и благотворных событий, случившихся в его биографии за два года до осени семнадцатого, он в полной мере оценил прелесть добровольного, с опережением, отказа. Главное было — остаться в одиночестве, без надежд и с минимумом вещей. Но вот что было страшно: усыхая, отказываясь от излишеств, привыкая обходиться ничтожной малостью, он все отчетливей чувствовал, что не приближается к смерти, а только удаляется от нее. Мир вокруг него рушился, уже осыпались дома и срывали вывески — сам же он чувствовал себя все более крепким и живучим. Ничего не жалея, никого не жалея, почти ни о чем не помня, он стал вдвойне стоек, как дерево без листьев, — и в этой-то неубиваемой жизни, лишенной всего, для чего жизнь дана, была особенная тоска.

Тело его иссохло, натянулось, как струна. И он порадовался, когда наступила зима, начисто лишенная надежд и красок. Слобно падал, падал и достиг наконец дна бездны; знать бы тогда, как далеко было дно.

Как он прежде любил зиму! С давних, детских времен в ней было что-то волшебное. За месяц до Рождества начиналось преобразование витрин, их ликующее изобилие, в котором и благодушный окорок, и тающий от счастья сыр обретали особую одухотворенность. И осетры с приколотыми к ним раками, и угри, и сизи сияли кроткой жертвенной любовью, готовясь украсить семейное пиршество. Это были уже не отрады чревоугодника, но равноправные участники мистерии, в которой само сложное, продуманное устройство быта перестает служить комфорту и становится формой служения божеству. Ять не знал ничего трогательнее, чем приготовления к елке, и не подарки нравились ему, а то, что их заботливо заворачивали и изобретательно прятали. Все служили друг другу. Жалок и умилителен тот, кто с благодарной улыбкой принимает угощение, но умилительней тот, кто в предвкушении чужого счастья готовит тонкое блюдо, раскладывает сложные и прекрасные вещи в сияющей электричеством стеклянной витрине, заворачивает подарки и за-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ботливо прячет сюрпризы. Если Ять ребенком и мог помыслить Бога, он мыслил его таким — приготовившим бесчисленные сюрпризы для вечного праздника.

Теперь витрины были мертво-пусты, кое-где заклеены газетами, где-то и вовсе разбиты. Смерть больше не превращалась в сказку, с нее навеки слетел романтический флер, кончились декадентские игры — и она стояла над городом во всей своей чудовищной скуке. Праздник гибели кончился, начались ее будни.

Но чем скучней и безвыходней были эти будни, тем большую силу жизни ощущал в себе Ять, — слепую силу растения, которому все равно, есть еще электричество или его не было никогда.

3

Последняя веселая ночь Ятя случилась с двадцать пятого на двадцать шестое октября, когда редактор его газеты «Наша речь» Мироходов откомандировал его в штаб обороны города. Слухи о выступлении носились по Питеру, кто выступает — никто не ведал.

Штаб обороны города находился в левом крыле желтого здания Генерального штаба. Пропусков не спрашивали. В здании с клетчатыми затоптанными полами, грязной лестницей и душным запахом сырого шинельного сукна сновали люди, которым решительно некуда было спешить: все чувствовали смутное возбуждение и не знали, что с ним делать. Так больной незадолго перед концом приходит в себя и начинает беспокойно шарить по одеялу, озираться, мычать — но обманываться этим возбуждением не станет и самый жизнерадостный лекарь.

Ять попросил дежурного провести его к кому-нибудь из руководителей штаба, ему указали дальнюю дверь, и он вошел в прокуренную комнату, где над картой склонялось несколько белозубых, смеющихся

офицеров. Ять не понимал, над чем смеялись, но от чего-то легко разделил общее лихорадочное веселье. Он представился и поинтересовался, кто возглавляет штаб обороны. Ему назвали фамилию, которую он записал и тут же забыл.

— Можно ли его видеть?

— Естественно, можно. Но он теперь занят.

— Я понимаю. Правда ли, что ночью город будет взят?

— Неправда, конечно. Кому он нужен?

Все снова расхохотались. Входили и выходили замерзшие, возбужденные люди, задавали бессмысленные вопросы, и сам Ять чувствовал себя на нервном подъеме, какой всегда переживаешь в эпицентре больших событий. Долгое ожидание наконец разрешалось не пойми чем. История взяла дело в свои руки, можно не суетиться — отсюда происходило и странное облегчение, которое чувствовали все. Никаких больше обязанностей, только смотри.

Он еще дважды спрашивал сновавших мимо людей, иногда даже кивавших ему, как знакомому, — кто руководит обороной. Называли все время разные фамилии; в память ему врезался отчего-то генерал Каковский, ужасно смешная фамилия. В третьем часу вдруг грянул взрыв — стекла задребезжали, кто-то ясно сказал: «Это с Невы», на площади внизу протрещали и затихли выстрелы. Люди в коридорах задвигались быстрее. Ять бродил из комнаты в комнату, как пьяный. Никто ничего не понимал.

— Скажите, но город обороняется? — спросил он усатого краснолицего полковника, все время сморкавшегося в огромный пестрый платок.

— А как же, — серьезно ответил полковник. — Обязательно обороняется, все в наших руках.

— А где генерал Каковский? — тоном знатока поинтересовался Ять.

— Каковский? — переспросил полковник. — Вероятно, на укреплениях.

— Каких?

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Каковских, — еще серьезнее ответил полковник. — На каких же еще.

— А, — кивнул Ять. — А кто руководит обороной?

— Генерал Чхеидзе, — с ласковой улыбкой ответил полковник. — Усач, красавец. Гроза женского полу. Не пропускал ни одной юбки, страстно любил кахетинское.

— Но главное, что все в наших руках, — уточнил Ять.

— Разумеется, — пожал плечами полковник. — В чьих же еще. Красавец, усы — вот! (Он руками показал усы.) Тифлис от него стонал.

Все было похоже на опасную, щекочущую игру. Игра называлась «Оборона города». Правила заключались в том, чтобы ничего не оборонять, но старательно делать вид — ходить, нервничать. Когда забелел рассвет и клочья ночи, живописно располагаясь по окоему, принялись выцветать, Ять снова увидел давешнего полковника.

— А все-таки кто руководит обороной, топ colonel? — спросил он, почему-то переходя на французский.

— Генерал Огурчиков, — серьезно отвечал полковник.

— Не слышал о таком, — столь же серьезно произнес Ять. — Любят ли его в войсках?

— Видите ли, — приблизив к нему лицо, выпучив глаза и переходя на ужасный шепот, сказал полковник. — Я никому об этом не говорю, вам первому. Разумеется, это не для печати. Запишите и немедленно опубликуйте. Дело в том, что огурчики, находящиеся под его командой, — страшные фанатики, не останавливающиеся ни перед чем. Генерал и сам не всегда способен остановить их. Поэтому город вне опасности, совершенно вне опасности...

— А как же поручики? — спросил почему-то Ять.

— Ни поручики, ни голубчики не остановят огурчиков! — воскликнул полковник, и на этих словах Ять проснулся. Разумеется, никто не послал бы его в штаб

обороны города, он сроду не писал ни о чем подобном. Но трудно было сомневаться, что в штабе царило именно такое бессмысленное возбуждение, а о беспре-
рывной смене начальников штаба он прочел два дня спустя в корреспонденции Арбузьева, нового автора «Пути». Этот веселый сон Ять вспоминал потом часто.

4

Тридцатипятилетие Ять решил праздновать в одиночку — кому было до праздников пятнадцатого декабря семнадцатого года? Он уже за месяц знал, чем побалуует себя. В десять утра он встал, побрился, подстриг усы, надел все лучшее и пешком отправился к Клингенмайеру. Надо было зайти еще в Лазаревскую больницу — его кое-кто ждал, хотя праздник его там ровно ничего не значил. Но это можно и позже — сначала в гости.

Ять никогда не мог понять, на что живет Клингенмайер. Продавал он мало, прикладного значения его товар не имел, а историческими разысканиями и в более благополучные времена нельзя было заработать. Деньги его были такого же таинственного происхождения, что и вещи в лавке, — и, право, окажись Ять перед выбором: узнать о Клингенмайере что-нибудь определенное или остаться в неведении, — он замкнул бы слух.

Таинственный собиратель владел лавкой на углу Большого проспекта и Лахтинской, в крошечном полуподвале. «Д-р Фридрих Клингенмайер. Раритеты и древности» — гласила желтая вывеска. Завсегдатаи полуподвала были немногочисленны, но даже и среди этой избранной публики немногим удавалось запомнить, по каким дням и в какие часы открывает свою сокровищницу прихотливый доктор. Только единицы, избранные среди избранных, знали, что лавка открывается, когда ему заблагорассудится.

Ятю повезло — замка на двери не было; он вошел, и зеленый от старости колокольчик известил о посетителе копавшегося в запасниках хозяина. Клингенмайер в линиялом

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

рабочем халате (который выглядел на нем словно расшитый звездами) появился из глубины своей лавки, соткавшись из полумрака и пыли. У этого немца (а впрочем, кто знал наверное, что он немец?) была внешность не то персидского звездочета, не то иудейского мудреца: темно-смуглое пергаментное лицо, тонкий, с горбинкой нос, мягкие морщины.

Не все догадывались о принципе, по которому Клингенмайер отбирал свои вещицы, и уж вовсе никто не делился догадками; в «клубе Клингенмайера» публика была немногословная. Иногда хозяин, подразумевая в посетителе знатока (хотя заглянуть к нему мог и случайный прохожий, привлеченный вывеской), любовно показывал вполне заурядный предмет: «Поглядите, что я раздобыл. Удивительная вещица, не правда ли?» — и гость послушно изображал восхищенное внимание, пристально разглядывая крышечку от чернильницы, кукольный ботинок или лорнет на черепаховой ручке, какой можно было увидеть у любого инспектора провинциальной гимназии: «Да, редкая вещь». «Не то слово, милостивый государь, не то слово», — кивал Клингенмайер и возвращался к своим запасникам.

Ять тоже не был уверен, что разгадал тайну этого хаотического отбора, но — и это лишнее доказательство того, что чужие тайны мы склонны подменять собственными, — в душе полагал, что Клингенмайер ценит лишь причудливые ухищрения без особого практического смысла. Положим, лорнет зачем-нибудь еще нужен, хотя большинству такие штуки служат только для украшения; но вон та чашечка слишком хороша, да и маловата, чтобы из нее пить, а эта пуговица ничего не стоит без сюртука, а музыкальная шкатулка давно не играет, а толстенная свеча прямоугольного сечения попросту не будет гореть, ибо некуда стечь воску и пламя захлебнется через три минуты; но именно триумф красивой бессмыслицы, избыточных, отягощающих условностей был Ятью мил в подвальной лавке. Словно все вещи мира, изгнанные из него за бесполезность, сошлись тут, чтобы послужить оправданием пренебрегшему ими человеческому роду.

Впервые Ятя привел сюда Грэм, сам неутомимый собиратель чудаков и чудачеств. Мальчик, выросший на фантазиях Верна и Купера (но на чем же и было расти ребенку конца столетия, если русская словесность, как истеричная барыня, предоставила детей западным губернерам), Ять обожал вещи, приплывшие издалека. Тут были корабельные компасы, словно спасенные с роскошных затонувших кораблей начала века — самонадеянных трансатлантических великанов; и талисманы, не иначе как найденные в карманах полярных исследователей, замерзших в трех милях от спасительного лагеря, на возвратном пути от полюса, пятью месяцами ранее открытого удачливым, скучным норвежцем; и дедушкины табакерки, и бабушкины веера, сами собой ложившиеся в четырехстопные ямбы. Тут был бледно светящийся фосфорный цветок со старого бального платья, коробка французской пудры тридцатых годов безвозвратного века, серебряная с чернью стопочка, отбившаяся от пяти сестер, желтый мужской перстень слоновой кости с кружевным, ажурной сложности узором и почти в цвет ему женская перчатка с неизвестного, скорей всего несчастного венчанья. Но больше всего Ять любил американские сигарные коробки — иные с кубинскими сигарами, иные уже без всяких сигар; он любил их густой, кирпичный, темно-красный цвет фабричной стены в час заката. Его плотная, винная, насыщенная густота была для него цветом скитаний, великих пространств и кровавых стычек. Впрочем, любил он и тусклые золотые цепочки, соседствовавшие с безвкусной, грошовой бижутерией, которая среди запасов Клингенмайера отнюдь не казалась бедной родственницей, а чувствовала себя на месте и гордо поглядывала на посетителя: здесь оценивают не так, как у вас, словно говорили все эти стеклянные бусы и перламутровые крымские брошки.

Был тут и разряд вещей, особенно любимых Ятем и не продававшихся: Клингенмайер держал их, как говорил, для обзора. Это были талисманы, доставшиеся ему от прежних владельцев в подарок, в оплату таинственных услуг или попросту на хранение, когда они уже потеряли

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

силу, а то и начали источать зло, как бывает с перебродившими эликсирами. Талисманы были прекрасны неприемлемостью, бедностью — огарок, муаровый бант, кукольный глаз, башмак, монета, бусина, четвертка бумаги с обрывком счета, записанного порыжевшими чернилами, одинокий валет из старой колоды (все еще фронт — подкрученные усики, выцветший румянец на девически-чистых щечках), витой шелковый инунок, плоский и ломкий засушенный цветок из гимназического гербария, задачник Магницкого с вписанными карандашными ответами, игральная кость, коготь неизвестного дракона (а при ближайшем рассмотрении, скорее всего, куриный), бархатная подушечка с запахом пряной, сухой, мелко крошеной травы, — все это было разложено на шести полках высокого, загнутого в темный угол шкафа красного дерева с резьбой.

Собирался в лавке небольшой кружок чудаков, сходящихся нечасто, в последнюю пятницу четного месяца; бывал чай с неизвестными травами в крошечной круглой комнате, где священнодействовал сам Клингенмайер без прислуги и родни; бывали экзотические гости, большей частью путешественники, рассказывавшие о бурях и островах; спириты, эзотерики, теософы и знатоки масонской символики; был даже один кельтолог, после доклада о Бэде-проповеднике спокойно сообщивший, что Дума наводнена масонами и многие из них имеют доступ к государю. Клингенмайер редко участвовал в беседах, иногда только сыпал ароматическую соль на тонкое медное блюдо, поддерживаемое бронзовым негретенком. На коленях у негретенка стояла свеча, блюдо нагревалось, и кристаллы распространяли сладкий, тягучий запах. От него хотелось и спать, и бодрствовать — слушать и слушать, плыть по ленивым, знойным волнам; Ять мечтал выпросить себе щепоть этой соли.

После собрания Клингенмайер обыкновенно вручал докладчику, а то и гостям (некоторым, всегда избирательно) прелестные мелочи, бесценные и не стоящие ни гроша. Так Ять получил от него фарфоровых котят в корзинке, гимназическую чернильницу-непроливайку и с особен-

ным значением врученную соломенную шляпу («Вещь непростая, и вы еще не знаете, как она вам пригодится»; пока не пригодилась никак, ждала своего часа). Клиngenмайер явно заранее отбирал подарки, заботливо упаковывал их — разворачивать разрешал только дома, по возвращении с пятничного сборища — и порой сопровождал странными стишками, вроде: «Вот ключ от истины. Внимательно смотри: четвертый нужен там, где соберутся три». Этой запиской он напутствовал Грэма, вручив ему старинный ключ неизвестно от чего. Разумеется, антиквар дурачил гостей, но они относились к его запискам с исключительной серьезностью — возможно, впрочем, наигранной, в духе всего этого клуба чудачков.

Удивительно было, как уцелел и полуподвал, и вывеска с немецкой фамилией во дни, когда — сперва с благословения жандармерии, а затем и в июле, уже при Керенском, — в Питере громили немецкие магазины, пекарни и кофейни. Как только начали бить стекла, Ять кинулся в лавку Клиngenмайера, но там на дверях висел замок, тоже не нашенский, древний, пудовый, — на такие запирались немецкие амбары времен Реформации. Никто не тронул Клиngenмайерова жилища — то ли народ на Петербургской стороне был тише, чем на других окраинах, то ли вывеска была больно убога, то ли наличествовало высокое покровительство, незримая опека законспирированных правителей России, бывавших на таинственных пятницах с историческими и географическими докладами. Впрочем, никакая охранная грамота не остановила бы толпу; Грэм в своей манере замечал, что вывеска Клиngenмайера не всякому в и д и м а.

Итак, Ять вошел, колокольчик приветствовал его, и Клиngenмайер из глубины лавки выплыл, словно по воздуху, навстречу посетителю.

— Ждал вас, — обратился он к Ятю по имени-отчеству, — ждал и знал. Из господ завсегдагаев самый стали неаккуратный. Могли бы почаще навевываться.

Голос у него тоже был сухой, шелестящий, по-немецки приглушающий звонкие согласные.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Докучать боюсь, — признался Ять.

Клингенмайер ничего не ответил, только улыбнулся тонкими губами, словно желая показать, что оценил учти-вость, излишнюю между своими.

— Что скажете? — спросил он, пожимая Ятю руку и подводя его к старинному книжному шкафу, на полках которого так естественно выглядели бы колдовские фолианты с рецептами любовных зелий, но на самом деле теснились на равных правах подшивки «Нивы», разрозненные тома из немецких и французских «Сочинений» забытых авторов, брошюры о русском сыщике Кобылкине, пособия по кораблестроению, морские уставы и лубочные книжки. — Посмотрите приобретения, есть и для вас кое-что, но это после.

Никогда не было понятно, что следует отвечать на приглашающее «Что скажете?» — спрашивал ли Клингенмайер о своих последних приобретениях или о последних новостях гостя. Ятю, однако, хотелось поговорить о творящемся вокруг, ибо собственные догадки были слишком страшны, но он не знал хорошенько, с чего начать.

— А у вас все по-старому, — сказал он, осматриваясь.

— Что ж в последний раз не были?

— А кто приходил?

— Все свои, я гостей не звал, — отвечал Клингенмайер, протирая бархоткой старинный деревянный глобус с приблизительными, давно уточненными очертаниями континентов и без Антарктиды. — Говорили об алеутских способах обогрева жилищ.

— Вовремя, — заметил Ять, подивившись, однако, постоянству хозяина и завсегдае: последняя пятница четного месяца случилась двадцать седьмого октября. — И как вам все это?

Клингенмайер пожал плечами.

— Историка чем же удивишь, — произнес он так, словно тысячу раз уже переживал подобные перевороты, и не во сне, а наяву, в своих агасферских странствиях. — Ждите реставрации.

— Что ж, и Романовы? — не поверил Ять.

— Какая разница, Романовы, Обмановы. Если Романо-

вы, это еще не худший случай. У них на настоящую месть уже сил нет. Хуже, если свои вырастут, эти такого натворят, что девяносто третий год пикником покажется. Никогда нельзя казнить царя: если бы вернули Луи Капета, он бы столько не выморил. Простил бы на радостях.

— А Керенского никак уже не вернешь?

Клингенмайер покачал головой.

— Вы что же, хотите Керенского?

— Не его, а...

— А его и не было, — твердо сказал Клингенмайер. — Все идет своим ходом, и чтобы построить новую империю, надо до конца развалить эту. Тогда все с восторгом встретят царя: батюшка, как хочешь лютуй, лишь бы ты! Собственно, еще Луазон... Ну да Бог с ним. Что у вас-то?

— Да пишу, куда есть газета. Ну и для себя по мелочи. Я начал тут одну вещь, но не думаю, что доведу до ума. Либо растеряю интерес, либо станет не до писаний.

— Никогда так не станет, — значительно произнес Клингенмайер.

— Да какой же смысл?

— За слово «смысл» я скоро буду брать штраф, как в оны времена, при наполеоновском нашествии, брали за французский язык. Вы говорите, смысл, — он безошибочно вытащил из шкафа небольшую книгу в желтом кожаном переплете. — Полистайте-ка, а потом говорите о смысле.

Ять внимательно просмотрел книгу, но не понял хода клингенмайеровской мысли и честно признался в этом.

— Вот и весь смысл, — улыбнулся Клингенмайер. — Он заключен в ней, и вы же не скажете, что его нет?

— Вероятно, есть.

— Уверяю, настанет день, когда он станет для вас яснее ясного. А пока и не спрашивайте никого. Лучше вообще не показывайте кому попало.

В этот миг снова зазвонил дверной колокольчик, и в дверях возникла тощая долговязая фигура в башлыке. Этого посетителя Ять, сколько можно было разобрать в полумраке, не знал.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Фридрих Иванович, — негромко позвал вошедший.

— А, здравствуйте, здравствуйте, — Клингенмайер пошел навстречу новому гостю.

— Я решился, Фридрих Иванович, — твердо сказал вошедший.

Клингенмайер помолчал.

— Что ж, — сказал он после паузы. — Решившихся не отговаривают, это было бы неуважением к их решимости. Не стану приводить вам аргументов, прошу только еще раз взвесить... Вы всегда можете забрать, если передумаете.

— Вряд ли, — длинный криво усмехнулся. — Я знаю, что делаю.

— Да пройдите же сюда, что в дверях стоять...

— Нет, нет, я на секунду... Вот, — гость порылся в карманах и извлек небольшой круглый предмет, завернутый в газету; Ять пригляделся — это был эсеровский листок «Знамя труда», газетенка гнусней некуда. Клингенмайер бережно, как драгоценность, принял сверток и, не поблагодарив, не заплатив, направился обратно к Ятю.

— Я могу надеяться? — спросил долговязый.

— Можете быть совершенно уверены.

— Ну, прощайте.

— В любом случае до свидания, — строго сказал Клингенмайер. — Помните, этот дом теперь ваш дом.

— Хорошо, кабы так, — долговязый еще раз усмехнулся, постоял в дверях и торопливо вышел. Колокольчик жалобно тенькнул ему вслед.

— Кто это? — спросил Ять.

— Покупатель, из постоянных, — уклончиво и, как показалось Ятю, с неохотой отвечал антиквар. Он осторожно развернул круглый предмет, и в руках его оказался стеклянный шар с домиком и снежным бураном внутри. Клингенмайер несколько раз встряхнул игрушку, и буmajный снег взвился над крышей домика, а потом снова устлал ее и бархатную зеленую лужайку вокруг. Славная вещица, но ничего особенного — такие продавались накануне Нового года в каждом игрушечном магазине. Клин-

генмайер рассматривал шар задумчиво, с видом истинного знатока.

— Жаль, — произнес он наконец. — Очень жаль. Да что ж поделаешь, вольному воля.

Он поместил шар на верхнюю полку шкафа с талисманами, из кармана халата извлек карандаш и сделал запись в старой конторской книге, лежавшей на той же верхней полке. Ять видел эту книгу впервые.

— Реестр? — спросил он.

— Кто бы знал, какой это реестр, — вздохнул Клингенмайер. — Ну, как вам книжка?

— Занятно, — улыбнулся Ять.

— Она ваша. Да, да, это я вам дарю. Возьмите, и никаких денег, все равно она стоит больше, чем у вас есть.

— Спасибо, — сказал Ять. — И откуда вы все знаете?

— Что знаю?

— День рождения у меня нынче, — сказал Ять. — Тридцать пять лет как одна копеечка.

— Поздравляю, — кивнул Клингенмайер. — Не знал, ей-Богу. Выбирайте подарок.

— Так ведь уже...

— Нет, это я приготовил заранее, не догадываясь, что у вас праздник.

— Я бы попросил у вас ароматической соли, той, что вы поджигали на собраниях. Если, конечно, это не тайна, не раритет...

— Раритет, — кивнул Клингенмайер, — но для вас найдется. Пойдемте, попьем чаю, там и отсыплю.

Они прошли в заднюю комнатку, где проходили собрания. Клингенмайер поставил на спиртовку небольшой медный чайник, в котором заваривал свои травы, отравы, отвары, — отпер шкатулку и вынул из нее бумажный пакетик.

— Но учтите, на обычных свечах порошок не действует, так что придется дать и свечу. Впрочем, праздник есть праздник. Я вам все это вручу с открыткой.

Ять впервые достаивался послания от Клингенмайера. Антиквар присел к столу, обмакнул вставку и задумался. Лицо его было меланхолично и мечтательно. Наконец он

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

решительно начертал несколько слов, подул и протянул Ятю открытку — немецкую, рождественскую, с маленькими пятнистыми оленятами, умильно заглядывавшими в окно идиллического домика.

Ять прочел: «Вот напоследок для тебя подарок — свечи огарок. Храни его и не давай в обиду другому виду». Подпись была витиевата и размашиста, почерк округл, но изящен. Ниже с немецким педантизмом проставлена была дата.

С этой даты и начался для Ятя отсчет главных пяти месяцев в его жизни.

5

День своего упразднения, 23 декабря, Ять помнил в подробностях. Вероятно, и впрямь существует всечеловеческий беспроволочный телеграф, потому что с утра в его квартиру на Зелениной потянулись посетители — люди по большей части совершенно ненужные. Больше всего это было похоже на отдавание последнего долга. Разумеется, с утра Ять, как и бессознательно валившие к нему гости, ни о чем таком не подозревал.

Первым принесло Трифонова. Кого не хотелось видеть, так это Трифонова. Вообще хотелось сочинять, впервые за несколько недель пришел настрой, — вдобавок накануне Ять вымылся, что в последний месяц никак не удавалось. Ритуал мытья был теперь тяжел, сложен, заниматься им надлежало с раннего утра, на свежую голову. Чистый, довольный, с непросохшими еще волосами, закутавшись в оба халата, сел он к столу — и тут скрежетнул звонок; чертыхаясь, Ять пошел к двери.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сопя, отдуваясь, повторяясь, не давая вставить слова, в нос говорил Трифонов. — Простуда, простуда, никак не пройдет, нет, не пройдет. Теперь ничего не проходит. Недостаток жиров, недостаток жиров. А я к вам, к вам. Сколько можно, сижу один, как сыч, вот-вот с ума сойду. А у вас потеплее, потеплее.

Ну, подумал Ять, ежели у меня потеплее, то у него и впрямь хуже некуда. Вытерпим Трифонова. Тем более что

его непрестанная, забалтывающаяся скороговорка выдавала привычку к долгому одиночеству, к разговорам с самим собой — бессмысленным, только бы нарушить давящее молчание пустой квартиры и не забыть людскую речь. Жена ушла от Трифонова три года назад, брак был недолог — и двух лет не прожила хохлацкая красавица с угрюмым, сосредоточенным на себе профессором, которого вечно мучили навязчивые страхи и апокалипсические предчувствия. Ять ее не осуждал — у нее были огромные, прелестные карие глаза, грудной голос, и никто больше нее не жалел покидаемого мужа; Трифонов, кстати, и не удерживал. Уехала она к давнему поклоннику в Киев, Трифонов умолил Ять пойти на вокзал вместе с ним, проводить (Ять долго отнекивался, не желая участвовать в чужой драме, да и к чему в таких делах свидетели?). Наталья Александровна уезжала почти без вещей, долго прижимала голову Трифонова к груди, называла его «доню» и улыбалась сквозь слезы. Он держался молодцом, только все взглядывал на часы; когда осталось пять минут, вдруг засопел, беспокойно задвигался и тоже расплакался.

— Ну, верно, так надо, — сказал он. — Прощай, прощай.

И, не дожидаясь, пока поезд тронется, потянул Ять за рукав и пошел вдоль поезда назад, в здание вокзала.

— Нельзя, нельзя, — повторял он. — Самой минуты видеть нельзя. Как тронется — не выдержу, пусть уж без меня. Идемте, голубчик, водочки выпьем...

В вокзальном буфете Трифонов приободрился, лихо пил водку, говорил даже о каком-то новом браке, который возможен, вполне возможен, — но отъезда жены запустил в нем механизм саморазрушения: он все меньше следил за собой, писал темно, на лекциях забалтывался. В последнее время он был одержим страхом, что его профессия лингвиста никому больше не нужна, что за ним скоро придут и поволокут на общественные работы. Такое уже бывало в истории — приходили варвары и упраздняли весь уклад сложной, разветвленной жизни, которую веками строили до них.

— Вот вообразите, — говорил он, все еще как будто шутя, но за шуткой Ять чувствовал неподдельный страх. — Вообразите, придут, и что ж я буду?

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Ничего не будете, — машинально отвечал Ять, погруженный в собственные труды. Он давно привык не особенно церемониться с Трифоновым (тот пугался, если к нему были внимательны: значит, все действительно совсем страшно и он обречен. Равнодушие Ятя его успокаивало: прийти-то придут, но, значит, еще не завтра).

— Именно, именно что ничего! Что я умею, кроме этого никому не нужного дела?! — Трифонов с ненавистью пнул стопку словарей на полу. — Придут и заставят тяжести таскать. А как я могу? Я, тысяча извинений, газы пускаю.

Ять хотел было ответить, что в таком случае он незаменим был бы на фронте, но убоился ранить трифоновскую пухлую аушу.

— Да-с, от малейшего напряжения, — продолжал Трифонов совсем уже невесело. — И знаете, что самое отвратительное? Что у меня не хватает духу плюнуть в рожу этим гуннам. Так и буду таскать, повизгивая под ударами... отвратительно!

— Так и прекрасно. Вы столько раз хотели похудеть, сразу и похудеете.

— Да, тоже верно, — вдруг успокаивался Трифонов. — Ну, промучусь год, два, а потом, верно, стану как они... Но какковы мне будут эти два года?

— Вы бы готовились, гимнастикой занялись. Гири, душ ледяной... Утром вставать пораньше — и снежком, снежком...

— Нет, сам я себя не заставляю, — решительно покачал головой Трифонов. — Должен кто-то сторонний.

Ятю душно стало с этим человеком. Дело было не только в тошнотом запашке Трифонова, заглушавшемся отчасти одеколоном, не только в его полноте, вытеснявшей из комнаты воздух, — но и в неуклонной сосредоточенности на одном. Ять сам знал, что когда-нибудь придут и всё возьмут; потом придут к тем, кто придет. Всегда кто-нибудь приходит. Но на этот случай было два выхода, давно придуманных в предчувствии неизбежного краха: во-первых, можно подламываться понемногу, по чуть-чуть. Он знал людей, крепких, как старые дубы, и рушившихся в одночасье. Чтобы не лишиться сразу всего, надо было что-то отдавать ежедневно и к неизбежной развязке подойти возможно более легким. Был и второй выход, пугавший все меньше: он знал, что скорее не будет жить,

нежели согласится выживать. Отказ — вот правда, другой не придумано. Трифонову трудно было понять это.

— Ладно, пойду, пойду, — начал приговаривать он, повертываясь на диване всем толстым телом, но все еще никуда не уходя. — Ну а все-таки, голубчик, как же вы думаете: скоро ли конец?

«Да какая разница?» — хотел ответить Ять, но придумал вдруг универсальное утешение:

— Как будем готовы, так и конец.

— А как мы узнаем, что готовы?

— Уж будьте покойны. Знаете же вы откуда-то, что сроки близко. Вот купите гирию, похудеете, выучитесь тасканию тяжестей — тут-то и конец. С человеком делается только то, к чему он бессознательно стремится.

Не успел он запереть за Трифоновым и вернуться к столу, как снова тренькнул звонок и за дверью раздался нетерпеливый голос Стрелкина:

— Сидите тут, ничего не знаете! Да впустите же скорей, холод адский!

Стрелкин, румяный и возбужденный, принес Ятю весть о декрете, об отмене ятей и еров, а стало быть, и об его упразднении, — и побежал дальше: опрашивать питерских литераторов, что они думают по этому поводу. Он искренне полагал, что читателей «Речи» этот вопрос живо интересует. Следом пришли еще человек пять, и со всеми надо было говорить о карточках, дровах и новой грамоте, так что в одиночестве Ять смог остаться только к семи вечера. Стемнело, жечь керосин не хотелось. Он лежал на кровати, курил и думал. Одинокое окно горело напротив: кто там живет? Верно, кто-нибудь неупраздненный... Странно: он не чувствовал зависти. Прежде совсем не переносил одиночества, а теперь притерпелся. Видимо, это и означало очередную реинкарнацию: тот Ять, который боялся одиночества, умер, а новый ничего не боялся.

Ощущать себя несуществующим было ему не внове. Ишь удивили! Все последнее время, когда знакомые суетливо выспрашивали у него, что лучше делать со сбережениями, он с радостью понимал, что и сбережений-то у него почти нет и неоткуда было взять. Исчезни он и в самом деле вслед за своей литерой, материальных следов его существования оста-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

лось бы до смешного немного. Были три книжки мелких рассказов, пять сотен газетных да две сотни журнальных статей, брошюра об охранке, пять-шесть дипломов после побед на конкурсах «Нивы» и «Нови»; несколько фотографий, на которых он всегда выходил затененным или стоял сбоку, — единственный крупный портрет, заказанный для третьей книжки, оказался до того неудачен, что он отказался от него вовсе. Если и удавалось проследить в его судьбе отчетливо звучащий мотив, это с самого начала была тема отсутствия или бегства, словно Бог специально устроил дырку в людском монолите, чтобы подглядывать сквозь нее. И только этот взгляд, который Ять чувствовал иногда на себе — сквозь себя, — давал ему ощущение смысла.

Ведь нельзя же было считать смыслом то занятие, с помощью которого он и сам не думал спасти душу, — сочинительство, памфлеты о думских глупостях, критику... Единственной определенной чертой, которую Ять за собой знал с гимназических лет, была ненависть к сознающей себя правоте, умение распознать ложь за добротной банальностью, самомнение — за самопожертвованием. Но ведь и эта способность, которую он одно время искренне в себе ненавидел, обозначалась только в чужом присутствии. Втайне он завидовал великим и безвкусным создателям миров. Если бы Господь, творя мир, заботился о достоверности, вкусе и соразмерности, он едва ли пошел бы дальше прилизанного пустого пейзажа с парой облетевших кустов: чрезмерно все — море, горы, степь, из каждого живого лица торчали ошибки вкуса, как из страницы Леонида Андреева, — и это был мир, который Ять вчуже любил до страсти. Может быть, страсть к избыткам и проистекала от вечного сознания своей недостаточности — а потому он всегда любовался стихиями, бурями и неуправляемыми особями вроде Буркина.

Но что Буркин? Разве не от сосущей внутренней пустоты были все его загулы, хождения на медведя, странствия по югу России с цыганами? Никаким любопытством нельзя было объяснить его игру в харьковском театре, полет на аэроплане, службу подручным в одесской фотографии (вер-

нубишь, показывал у себя целую выставку — обыватели со страшными застывшими рожами, еврейские семилетние вундеркинды с необъяснимой, еще до всякой судьбы, тоской в глазах, — ни одного человеческого лица, и Буркин словно радовался, демонстрируя все это: Ятя впервые тогда усомнился в его доброте). Пустота сосала всех, без нее и писать не стоило. Люди с внутренним содержанием шли в бомбисты.

Изначальный порок был и в его развитии — очень рано он пришел к тому, к чему другие продираются годами. Мореплаватель отправляется в долгое странствие, попадает в бури, увязает в живых хищных водорослях, чудом спасает судно из льдов, сходит с кровожадными дикарями, до поры не замечая их людоедства, — и, проплыв вокруг света, возвращается в исходную точку, в порт, в дом, где за три года его отсутствия все осталось оскорбительно неизменным; и там, в этой точке, стоит печальный всезнайка, которому с самого начала известно, что всякий, начавший путь отсюда, вернется сюда. Так сам он мыслил свою неспособность к обольщениям и об этом написал рассказ, удостоившийся одобрения Грэма (с неизменным постскриптумом: «Я развернул бы иначе, чтобы и в доме, где его ждут, были свои дикари, льды и тигры, — вы понимаете?!»). Но свои льды и тигры Ятя не утешали — он привык считать себя и свою участь тайно уцербными. Пусть он с рождения знал, что дружелюбные дикари на самом деле людоеды, а изумрудная и синяя глубь таит в себе тысячи жадных щупалец, хищных ртов и глаз, иерархию всеобщего поедания, — но мореплаватель знал обольщения и потому был богаче; пусть он пришел в исходную точку — но ведь смысл путешествия никак не в его цели. Всякий круг замыкается, но тот, кто описал круг, — видел больше, чем тот, кто стоял на месте.

Были бы он приличный человек, подписывался бы Добро или Веди.

Испугался он — и то ненадолго — только пятого января, когда все тот же Стрелкин ворвался к нему с новостью об упразднении всей старой орфографии. День был для Ятя неприсутственный (он относил колонку по вторникам, об-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

зоры сдавал по четвергам), и можно было до вечера писать, а часам к восьми отправиться в карточный клуб на Английской набережной; закрыть его грозились давно, но руки не доходили. Стрелкин в доказательство (без которого поверить ему было решительно невозможно) прихватил первый в новом году номер «Правды». Публикация декрета сопровождалась небольшой статьей Чарнолуского, разъяснявшего, что отмена орфографии есть мера сугубо временная, служащая для преодоления барьера между грамотными и неграмотными жителями России. После того, как ученые-марксисты разработают новые, подлинно демократические орфографические правила, правописательная норма будет восстановлена. Чарнолуский писал также, что употребление старых орфографических правил, не говоря уж о ятях и ерах, будет трактоваться как монархическая пропаганда. Юмор положения заключался в том, что статью народного комиссара тиснули без единой правки: в двух местах Чарнолуский машинально употребил ер, в одном — ять, и почти все запятые перед «что» были у него пропущены, а кое-где, напротив, торчали лишние.

— Ну? Как вам это? — От холода и возбуждения Стрелкин так и цвел румянцем.

— Круто взялись, — покачал головой Ять. — Сначала, стало быть, отменили судебные законы, а теперь — законы природы. Начинать — так с нуля. Одобряю. По крайней мере, незря называются радикалами.

— Вы это серьезно?

— Где уж серьезней, Коленька. По совести вам скажу: тридцать пять лет живу на свете, а зачем орфография — не знаю.

— Вы же издевались над всеми, кто писал полуграмотно! — уколол Коленька.

— Да мало ли над кем я издевался. Почему «не убий» — могу понять, «не укради» — тоже, а вот почему бледный бес через ять пишется — никак в толк не возьму. Витте сажал по три ошибки в строке, а ничего, справлялся. У меня было тайное соображение, что соблюдение орфографических законов как-то связано с уважением нравственных, — но это так же наивно, как полагать, будто человек законопослушный все-

гда становится образцом морали. Я столько знал отъявленных мерзавцев, никогда и ни в чем не преступивших закон... В общем, думал я, думал — и пришел только к одному: грамотность — это свидетельство покорности. Что вот, мол, готов человек к послушанию: знаете эту историю, как в каком-то знаменитом русском монастыре — чуть ли не в Оптиной — молодому монаху назначили в послушание выдергивать на огороде неспелую морковь и сажать обратно ботвой вниз?

— Чушь какая.

— То-то и оно, что чушь. Он сажает, сажает, а потом и не выдержал: святой отец, говорит настоятелю, да неужели она от этого лучше будет расти? А святой отец ему: да нет, миленький, она-то не будет, а вот ты — да. Делаю, ибо абсурдно. То есть... как бы вам сказать, Коленька. Орфография — явление религиозное, вроде соблюдения поста, но в нашей с вами штатской жизни. Бессмысленное послушание, которое я сам на себя наложил. Так что люди, пишущие грамотно, это в некотором смысле кроткие люди... даже когда держиморды. Знаете, почему я в конце концов не против этой отмены орфографии в государственном плане? Пусть это станет совсем уж добровольным делом. Хорошо только тот гнет, который я сам на себя взвалил. Ведь они и религию упразднили, и этим сделали ей большое одолжение. Во всей Европе вера в упадке, а у нас она станет пламенной, пойдет в катакомбы...

— Да разве это хорошо?

— Почему нет? Все лучше, чем гимназические молебны. Хорошо бы эти марксисты подольше не разрабатывали свои новые правила, потому что я ведь знаю, чего они наработают.

— По «Правде» судя, половину существительных исключат, а остальные заставят писать с большой буквы, — хохотнул Коленька. — На немецкий манер. Но я-то про другое. Это сколько же учителей останется без работы? Вам, Ять, хорошо рассуждать, а я учительский сын... И ваше Общество словесников, как я понимаю, тоже теперь должно распуститься — профессору пошлют лед колоть, не иначе.

Ять нахмурился.

— Вот черт... Об этом я и не подумал, садовая голова...

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Слова Стрелкина подтверждали его худшие опасения насчет себя: он никак не мог приучиться думать о других людях, тем более об их пропитании.

— Вообще, знаете, — сказал он после некоторого раздумья, — Чарнолуцкий действительно мог не сообразить. Он человек настолько пустой, что сроду не учитывает последствий. Я ведь знаю его немного.

— Вы — его? Откуда?

Ять подошел к книжной полке.

— Вот, у меня даже экземпляр сохранился. Он издал в девятом году пьеску, что-то из французской королевской жизни. Прислал мне. Я вел тогда книжный отдел у Григорьева. Ну, и написал — подает, мол, надежды, все-таки лучше пьесы писать, чем прокламации... Вы не поверите, до чего он был польщен. Прислал рукопись еще одного своего шедевра, а после амнистии тринадцатого года лично посетил. Переписка у нас была нерегулярная, а встреча вышла теплая: он был тогда безобидный, большевиков ругал... Все говорил, что на Капри мог спасти судьбу России, а ему не дали и кружок разгромили.

— И с тех пор не видались?

— Да откуда же, он с тех пор опять все по границам... И с большевиками помирился, кстати. Никаких прочных эмоций, он бы и кровному врагу через месяц простил. Добрая душа.

— Так сходите к нему, — предложил Стрелкин. — Вас он примет. Говорят, всех принимает, а с вами еще и дружен...

— Примет, как же! Он теперь шишкой заделался. Народный комиссар всего образования, можете вообразить?

— Ять! — Стрелкин смотрел на него укоризненно. — Ять, вы можете от голодной смерти тысячи человек спасти — и сидите в норе! Ведь их теперь, как монахов, выгонят на работы!

— Да чего вы все так боитесь? — в упор воззрился на него Ять. — Лучше лед колоть, чем так преподавать, как у нас в гимназиях...

— У меня отлично преподавали! — не сдавался Стрелкин. — И потом, не забывайте: они ведь все старики! Ладно, что вы сами живете анахоретом, — но ведь там люди, у них дети, в конце концов! Пусть бы дал им работу пристойную

или хоть охранную грамоту: на физических работах не использовать до особого распоряжения, пока не введены новые нормы... У вас же там в Обществе сплошь филологи, вы сами рассказывали...

— Господи, кому теперь нужны филологи? — спросил Ять не столько у Стрелкина, сколько у потолка. — Мы-то, газетчики, последние дни доживаем...

— А потом что?

— Тоже лед колоть.

— А весной?

— Камень дробить, — усмехнулся Ять.

— Ну, как знаете. Если бы у меня была возможность попасть к министру и доброе личное знакомство...

— Да пойду я, пойду, — раздраженно бросил Ять. — Знаете, как татары говорят? «Судьба такой». И ведь знаю, что бесполезно... Но если вы не продолбите мне голову окончательно, я потом сам себя загрызу.

6

Изо всей своей жизни именно шестое января 1918 года Ять вспоминал потом с наибольшим стыдом. Если бы не визит к Чарнолускому, ничего бы, может, и не было. Только такой пустой, прозрачный человек, как он, мог стодиться на роль проводника неведомой воли.

Чарнолуцкий сидел теперь в Смольном. Ничего страннее нельзя было придумать. Восстанавливая в уме долгий пеший путь с Петроградской стороны, Ять задним числом придумывал бесконечные спасительные отвлечения: вот тут бы я оскользнулся, подвернул ногу, повернул вспять, тащился бы к дому, цепляясь за стены... тут заглянул бы к Трифонову и, не найдя его, все равно задержался хоть на три минуты, а там меня бы уже не приняли или у комиссара успело перемениться настроение... На всем его пути были раскиданы невидимые препятствия. Самый явный знак — он его даже заметил, но не захотел учесть, — был дан почти сразу по выходе из дома, на углу Большого про-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

спекта: двое темных тискали девку, невысокую и мордатую. Все трое визгливо хихикали в унисон. Как и все, что делали темные, это было особенно, не по-людски мерзко: девку не насиловали — с ней готовились сделать что-то не в пример более гнусное, и она, понимая это, не знала, как себя вести. В самом ее визге, в непрерывном тонком хихиканье прятался ужас. Ей хотелось и сбежать, и попробовать. Темные, когда Ять проходил мимо, уставились на него, оскалившись в одинаковых ухмылках. Все трое проводили Ятя взглядами (в глазах девки мелькнула на миг надежда и мольба, — но, как и всегда бывает в безнадежных ситуациях, все они, включая Ятя, знали, что он не вмешается; да и кого это спасло бы?). Поняв, что он пройдет мимо, девка принялась хихикать еще громче, а двое темных, замершие было, вернулись к своему занятию.

Тут-то и можно было остановиться и помешать неизбежному — не ради девки, в конце концов, а ради отмены губительного визита. Но нет, он тащился себе через мосты, не встречая никого из знакомых, оскальзывался (день был серый, оттепельный, вязкий), но упрямо продвигался к цели.

В те первые месяцы охрана Смольного была поставлена из рук вон худо. Только предельной усталостью всех и вся можно было объяснить то, что никто не попытался проникнуть туда с целью убийства или переворота. Два смеющихся матроса стояли у входной арки; Ять сказал, что ему назначено, и назвал магическую фамилию. То ли вид его был слишком непрезентабелен, то ли подействовало магическое слово «назначено», — тогда вообще сильно действовали слова, — но он и тут прошел беспрепятственно, не будучи ни о чем спрошен.

У Чарнолуского, при огромном кабинете в третьем этаже, была теперь своя приемная, секретарша с ремингтоном, стенографистка — Ять еще умиляло поначалу, как, не в силах обзавестись никакими преимуществами власти, все они спешили заполучить ее невинные атрибуты. Преимуществ негде было взять — ели то же, что и все, одевались Бог знает во что, неделями не меняли белья, — но к их

услугам были голодные девочки-ремингтонщицы и множество огромных пустых помещений. Позже, когда поток просителей стал увеличиваться с каждым днем, ибо упрочилась репутация Чарнолуского как главного либерала, он стал принимать и дома, где также завел секретаршу и стенографистку, потому что мысль для новой речи могла осенить его в любое время.

Приемная была пуста, только блеклая девушка в розовой вязаной кофте сидела в углу за огромным, отчего-то бильярдным столом — обычных столов такого размера, видимо, не нашлось. Из одной лузы торчала кипа свернутых в тугие трубки бумаг, в другой болтался стакан со вставками и карандашами.

— Александр Владимирович диктует, — сообщила секретарша, однако встала и пошла доложить (просителям давалось понять, что ради их нужд комиссар готов прервать даже столь исключительное занятие, как диктовка).

Ждать не пришлось. Дверь снова открылась, и девушка посторонилась, пропуская Ятя. Чарнолуский ходил по огромному голому кабинету, не прерывая диктовки. В руке у него был полупустой стакан черного остывшего чая, — и по мере его опустошения диктующий делал все более резкие жесты, не боясь уже расплескать драгоценный стимулятор, носивший, однако, характер скорее символический. Марксист-декадент был символистом во всем. Власти он предпочитал символы власти, действиям — образы действий, и теперь он пребывал в образе революционного трибуна, не спавшего третью ночь и диктующего сотое, уже вполне бесполезное воззвание. Внизу пальба, вот-вот ворвутся, последние из вернейших едва сдерживают натиск правительственных войск. Народ, вчера еще боготворивший вождя, сегодня предал всех, изменчивый, как фортуна. Продиктовать последние строки — уже не для этих свиней, но для истории.

Однако образ немедленно развеялся: Чарнолуский сделал несколько мелких, жадных глотков, вытер усы и на миг остановился, глядя в пол. Вид у него стал добродушный и несколько хомяковатый. Впрочем, он тут же поставил

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

стакан, левую руку сунул в карман френчика, правую вытянул вперед и опять забегал, продолжая:

— И вот тогда... тогда французская поповщина, королевская полиция, буржуа-кредиторы всей тяжестью навалились на Луазона. Все они душили умирающего, толпясь, как страшные призраки, в полумраке его спальни. Тщетно поднимал он руки, пытаясь заслониться от них. Тщетно воздевал, как красное знамя, свой пропитанный кровью платок. Сострадания не было ниоткуда. Сегодня, из нашего великого времени, мы смотрим на него, распростертого в бессилии, и кричим ему во весь голос: Луазон, слышишь ли ты нас? Слышишь ли благодарные... нет, поправьте... слышишь ли бодрые голоса тех, за кого ты отдал жизнь? Но нет, он не слышит. Он умирает двадцать пятого сентября 1785 года, один, покинутый всеми, не дожив и до сорока трех лет. И черная камарилья попов, приспешников и любовниц кровавого короля танцует менуэт на его могиле.

Чарнолуский поглядел в пол, собираясь с мыслями. Ять вообразил себе камарилью попов, танцующую менуэт с королевскими любовницами, и тоже потупился, чтобы комиссар ненароком не увидел его улыбки.

Грешным делом, он понятия не имел о Луазоне.

Чарнолуский поднял голову, собираясь продолжить, — и тут взгляд его упал на Ятя (впрочем, весьма возможно, что он заметил его сразу, но не спешил прерывать картинную, приносящую наслаждение диктовку). Лицо его просияло. Протянув к Ятю обе руки, он разлетелся к нему через весь необъятный кабинет, ласково назвал по имени-отчеству и потащил к столу, около которого стояли два изящных кресла, обитых голубым бархатом. Кресла явно были местные, смольнинские.

— Рад, рад, рад, — приговаривал он, усаживая Ятя и звоня в колокольчик. Тут же появилась секретарша. — Чайку! — крикнул Чарнолуский (не барственно, а по-товарищески). — Чайку товарищу Ятю! — Он жестом отослал стенографистку, не переставая потирал ручки и все улыбался, и Ятю стыдно было своих плохих мыслей о нем. — Я знал, знал: уж кто-кто, а вы придете. Свой брат литератор

всегда разберется, за кем будущее. Да, гримасы, да, пере-
хлесты. Но ведь стихия, стихия!

Ять рассеянно кивал, прикидывая, как подступиться
к теме.

— Я знал, что вы будете наш, — не умолкал между тем
комиссар. — Я читал вашу книгу об охранке: удивительно
ярко написано! И представьте, я ведь свое дело листал. Бук-
вально все отслежено, вплоть до подарков детям: экая мер-
зость! Да разве ради одного этого, чтобы все мы увидели
змеиный клубок, — не стоило опрокинуть всю махину?
Сколько гнили, сколько трухи разом! И ведь многие-то по-
лагали, что здание простоит еще века. Я сам (Чарнолуский
понирил голос, даром что в кабинете их было двое), я сам не
допускал и мысли, что так скоро и бесповоротно. Теперь-то
ясно, что и не могло не удалиться, но тогда... Хорошо, что куль-
турные работники придут к нам. Я в вас и не сомневался.
Дела довольно, вам по горло хватит...

— Я, собственно, не из-за себя, — прервал его наконец
Ять. — Про меня договорим еще, Александр Владимирович.
Я по поводу декрета об орфографии, вчерашнего...

— А, — смущенно захихикал Чарнолуский. — Ну, ба-
тенька, это уж не я. Я — это первый декрет, от двадцать
третьего. Но коллеги и ухом вести не хотят — что прика-
жете делать? Ну, тут, может быть, и перехлест. Мера вре-
менная. Годика на два, на три, пока не выработаются но-
вые нормы. Просто чтобы крестьянство на первых порах
не боялось излагать свои мысли. Мы ведь нуждаемся в све-
дениях с мест, а люди полуграмотные робеют взять перо
в руки.

Очевидно, по мнению Чарнолуского, отмена орфогра-
фической нормы должна была внушить многомиллион-
ному крестьянству тягу к перу: Ять представил стройные
ряды крестьян, сидящих отчего-то среди заснеженных по-
лей и старательно царапающих донесения в Смольный.

— Я не о самой реформе, — принялся объяснять он. —
Целый класс интеллигенции оказался не у дел, у нее сразу
отняли сферу занятий... Я к тому, что, может быть, устрой-
ство на службу... или хоть разовое вспомоществование...

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Это само собой! — оживился Чарнолуский, которому и в голову не приходило такое роскошное благодеяние, мигом позволяющее новой власти реабилитировать себя перед интеллигенцией за прошлые и будущие неудобства. — Это разумеется! Конечно, всем дело найдется. Вы ведь словесников имеете в виду?

— Не только словесников. Они как раз не будут обижены: литература же остается, ее-то не упраздняют?

Чарнолуский учтиво улыбнулся.

— Я скорей о грамматистах, о теоретиках правописания... о корректорах, наконец. Я вообще думаю, что на время огромный отряд ученых-гуманитариев останется без работы. И если бы приискать им занятие... ну, не грубый труд, не к станку, естественно, — но просто переписка, или чтение лекций, или хоть делопроизводство... — Ять тут же устыдился сказанного, представив профессора Хмелева в приемной у комиссара, за бильярдным столом.

— Да, да! — воодушевился Чарнолуский. — Огромный отряд, вы неоспоримо правы! Зачем же делать из них наших врагов? Мы пришли вовсе не за тем, чтобы облегчить жизнь пролетариату за счет уничтожения остальных классов. Вы-то не можете не видеть, что интеллигенция бедствовала от Романовых много больше, чем народ. Я имею в виду — не количественно больше, но она имела возможность сознавать... — Тут комиссар понял, что зарапортовался, но перед своим нечего было притворяться. — То есть я имею в виду, что утеснения свободного духа гораздо страшнее, чем телесные лишения. Мы взяли власть для всех, а не для одного класса! И конечно, интеллигенции всегда найдется дело. Чем заниматься мертвой наукой, охранять бездушную норму... представьте себе коммуну. Свободное сообщество интеллигентов, занятых свободной наукой. — Перед мысленным взором Чарнолуского тут же нарисовалась Телемская обитель, где раскрепощенная интеллигенция предавалась философии и музицированию. Все были в свободных, роскошно ниспадающих одеждах, несколько несообразных с климатом, но и климат будущего представлялся ему эллинским, словно только гнет самодержавия и подмораживал страну. —

А сколько высвобождается роскошных зданий! — неостановимо фонтанировал комиссар. — Все правительственные учреждения, ненужные ныне дворянские собрания, особняки сбежавших от революции... да в самом скором времени и само государство отомрет — все это можно будет отдать под академии, театры, приюты! Аристократическая богема! — Он лукаво погрозил Ятю пальцем. — Та же фаланстера замученного Чернышевского, но не для ткачих, а для освобожденной интеллигенции. Коллективное творчество, синтез жанров! Небывалая в истории форма художнического сообщества, петербургский Монмартр! Какой же вы умница, что с этим ко мне пришли.

Далее Чарнолуский заговорил о возвращении слову «гимнасиум» его исконного смысла, о создании лицеев, подобных пушкинскому, но уже для городской бедноты (ведь только нищета не давала пролетарским детям достигнуть культурных высот — но теперь...). Ять вообразил того же Хмелева или даже полную ему противоположность, маленького горбатого Фельдмана, — нянчащимися с пролетарскими детьми: меняют пеленки, суют соски... Он широко улыбнулся, и Чарнолуский принял это за знак одобрения.

— А в ближайшее время их можно было бы обучать... гм! Ремеслам, — предположил он. — И, разумеется, лекции... а возможно, что и создание исторических летописей? Ведь все они — фундаментально образованные люди, а у рабочих неутолимая жажда знаний. — Он потому так ухватился за эту идею, что обнаружил наконец истинное направление своей политики. Прежде он так и не знал, с какого конца подступиться к просвещению, — теперь же все вставало на свои места. Профессура будет на него молиться.

— Я не заглядывал так далеко, — смущенно признался Ять. — Я говорил только о небольшой помощи писателям и филологам, и корректорам, если помните...

— Ненужных людей нет! — почти грозно вскричал Чарнолуский. — У нас не будет ненужных! Вы верно поступили, обратившись ко мне. И знаете что? Есть на примете превосходный дворец, он пустует который год. Елагин!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Это дикое совпадение Ять потом вспоминал как знак судьбы: он тоже в эту секунду подумал о Елагином дворце, расположенном буквально через два моста от его дома. Ять любил прогуливаться на Елагином острове и всегда любовался скромным изяществом его очертаний. Теперь так не строили: дворцы петербургских богатей последнего времени, выстроенные от дурного, стремительно нажитого богатства, отличались безвкусной роскошью без тени гармонии и особенно смущали своей принадлежностью к модерну. Упадок в сочетании с пышностью рождал ассоциацию с древним болотом, в котором гнили толстые стебли колонн и мясистые листья крыш. Елагин дворец, пусть в запустении, выглядел куда жизнеспособнее.

— Да, Елагин, — повторил он машинально. — Да, пожалуй.

Тут бы ему испугаться того, что его мысли совпали с коммиссарскими, — но вместо того, чтобы испугаться, это совпадение обрадовало его. Господи, чего он не дал бы, чтобы вернуть ту минуту, — полжизни, всю жизнь! — но тогда, шестого января, он сказал:

— Это хорошая мысль. Но ведь там запущено...

— Где сейчас не запущено! — вскричал комиссар. — Посмотрите, что делается в домах! Нет, мы дадим людей, мы за двое суток приведем здание в жилой вид. Каков символ! Дворец, принадлежащий императорской фамилии, заселяется тружениками петроградской профессуры! Новая власть отняла у них мертвое дело и дала живое! Я договорюсь, это наши оценят, — будут дрова, паек, всё подвезем. Это я решу, — он придвинул к себе стопу бумаги и принялся быстро писать, величественным жестом велел Ятю оставаться в кресле.

Ять попросил позволения закурить и с наслаждением зажег папиросу. Комиссар написал один за другим три документа, под каждым широко и торжественно расчеркиваясь, так что хорошее немецкое перо рвало плохую желтую бумагу. Подписав последнее распоряжение, он прихлопнул по столу пухлой ладонью.

— Вот-с! Нечего и оттягивать: у нас без бюрократии. С этим я попрошу вас подойти на второй этаж, к товарищу

Андронову, — Чернолуцкий был теперь сдержан и официален, но так и светился радостью. — Он решит вопрос о дровах. С этим — к товарищу Воронову, там же, буквально соседняя дверь. Он договорится об охране. И — в добрый путь, как говорится! Если и сами захотите — подумайте, право! Ордер выпишу тут же.

7

Новая государственная жизнь была свободна от сомнений: миры созидались на глазах, посредством слова. Ять хотел было попросить разъяснений, но тут дверь распахнулась, и секретарша, продолжая сдерживать напор невидимого буйного посетителя, крикнула:

— Александр Владимирович! Он кричит, что по сверхважному делу...

— Пустить немедленно! — только что не взвизгнул Чернолуцкий. — Что у вас, товарищ?

В кабинет ворвался взъерошенный, грязный человек в картузе и черном пальто, с красными, лихорадочно бегающими глазками и трехдневной щетиной.

— Я... это... экстренно... подать проект! — выкрикнул он. Ять идентифицировал его мгновенно — такие посетители, в массе своей безумцы, нередко осаждали его в газетах и всегда назойливо предлагали те или иные сумасшедшие проекты, иногда стихи. Чаще всего самородки происходили из мещан и быстро спивались. Ужасная вещь искусство, когда им занимается не предназначенный к нему человек: музы губят всех равно, но сколь обиднее гибнуть за всякую чушь...

— Что за проект? — участливо спросил Чернолуцкий, тоже, кажется, начавший догадываться, кто перед ним.

— Об упразднении зимы!

Чернолуцкий глянул на Ятя и подмигнул.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— То есть как об упразднении? — спросил он с лукавой заинтересованностью.

— Человек есть двигатель природы! — выпалил посетитель. — Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих — Римлянам, восемь, девятнадцать! Попроси — и дастся, скажи — и сбудется! Декретироване вечного лета. Экономия дров — раз! Всевременное плодоношение — два! Загар на лицах, приятная смуглость.

— То есть вы предполагаете запретить зиму законодательно? — спросил Ять. Человечек не удостоил его ответом, понимая, кто тут главный.

— Дело новой власти не есть освобождение одного только производящего класса, — напористо заговорил он, цитируя, видимо, давно написанный трактат. Грязные, скрученные в трубку листки (тот самый проект) были зажаты в его маленьком жилистом кулаке, которым он жестикулировал — однообразно, механистично, но бурно, как большевистские ораторы. — Не одного только производящего класса, но всей производящей силы природы. Имея силу слов как генеральный способ учредить всякое, поскольку и первичный Создатель сотворял миры посредством словесного произнесения, то и сказать, чтобы не было зимы. И исполнится.

— Он остановился резко и неожиданно. Чарнолуский открыл было рот, но человечка так же внезапно прорвало снова.

— Новая власть полагает себя в форме разговорных слов! — крикнул он и поднял палец. — Сказав, чтобы не иметь зимы, получим отступление зимы. Необходима печать, подпись. Прошу вашего представления на подпись и печать к тому, от кого зависит. Подумать также о должности комиссара природы, декретирующего, сколько быть урожаю.

— Хорошо, — важно кивнул Чарнолуский. — Оставьте ваш проект, я передам наверх.

Маленький оратор повернулся на стертых каблуках и стремительно направился к двери. Как все сумасшедшие, он, однако, не мог уйти сразу и уже у дверей так же резко повернулся к комиссару.

— Проект раскрепощения скотства! — крикнул он. — Имею также. Корова, конь, коза. Вольность курицы. Отпущение в свободный выпас и выпряжение из упряжи. Конец принудительных яиц, несись вольно. Вспашка машинами, электричество работой, конь гуляй и хвали Бога! Подам после. — На этот раз он убежал окончательно.

Некоторое время Чарнолуский выжидал, не прибежит ли посетитель обратно, потом хлопнул себя по ляжкам и расхохотался. Сколько Ять мог наблюдать, у новых вождей принят был захлебывающийся, самозабвенный, преувеличенный смех, словно доказывающий их детскую чистоту. Смеяться надо было с наслаждением, до слез, откидываясь всем телом назад, — и так же резко прерывать хохот, как маленький оратор обрывал свои монологи: делу время, потехе час.

— А ведь знаете, батенька, — Чарнолуский взял Ятя за рукав, — в этой народной утопии есть свое зерно. Мы вернули им народного Христа, и этот Христос освобождает не только человека, но и коня, и корову — и даже (тут старый фольклорный сюжет) красавицу-весну из-под гнета жестокого ледяного деда! И потому со временем... почему бы и не отменить зиму?

Ять кивнул, улыбнулся и распрощался. Внизу его чрезвычайно любезно принял крошечный бородастый Андронов, сидящий в таком же необъятном кабинете и похожий на кроткого грамотного мужика.

— И как мне теперь действовать? — спросил его Ять.

— Не беспокойтесь, всё сделаем, — заверил его Андронов, и Ять отправился к товарищу Воронову, за соседнюю дверь.

У того кабинет как раз был маленький, словно подсобный, весь продымленный отвратительным

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

зловонным табаком. Воронов некоторое время сверлил посетителя пронзительными недоверчивыми глазками, после чего в упор спросил:

— Вы лично могли бы назвать кого-то из профессуры? Кого-то, кто более всего нуждается в немедленной помощи?

Самым неприятным в товарище Воронове было то, что он производил впечатление человека образованного, более того — казалось, принадлежал по рождению к более высокому сословию, нежели сам Ять. Странно было, что он курил такую мерзость. Лицо у Воронова было холодное, холеное, брезгливое, и первая мысль Ятя была о том, что перед ним — внедренный в большевистскую верхушку монархист, который теперь с откровенным презрением смотрит на интеллигенцию, пришедшую на поклон.

— Я мало общаюсь с профессурой, — не очень уверенно сказал Ять. — Думаю, что без работы сегодня практически все классические факультеты, все языковеды, большая часть учителей...

— Составьте список известных вам интеллигентов, которые бедствуют больше остальных. Старых, заслуженных, лишенных постоянной работы. Если задним числом вспомните кого-то еще — свяжитесь со мной. Три — шестнадцать — восемь — ноль.

Он придвинул Ятю лист бумаги и кивком указал на стул. Ять присел к столу и, макая перо в лиловые чернила, принялся составлять список. В эту секунду еще не поздно было бежать, но под парализующим взглядом товарища Воронова и пером-то водить было непросто, а уж о резких движениях не могло быть и речи. Ять подолгу задумывался над каждой фамилией. В конце концов, он ни с кем из Общества любителей словесности не посоветовался о визите в Смольный: может быть, никто из них вовсе не желал благоденствий от новой власти, более того — изначально речь шла о лекциях, школах или денежных выдачах, но вовсе не об отселении в какую-то комму-

ну, пусть и отапливаемую. Чувство было мерзкое, словно он доносил на кого-то. Поразмыслив, Ять перечислил имена, известные всякому образованному человеку в России, указывая в основном старых и одиноких. У семейных был шанс продержаться, а каково одиночке, он знал по себе. Сляжешь — никто воды не подаст.

Когда Ять вышел из Смольного, на душе у него было смутно. Все было и смешно, и мило, и на первый взгляд гуманно, и притом так невозможно глупо и самодовольно, что никак нельзя было ждать ничего хорошего. Оставалось надеяться на то, что дальше утопических прожектов вроде создания Телемской обители на Елагином острове или упразднения зимы дело не пойдет. Но Ять плохо знал социалистов нового поколения, у которых от зарождения утопии до ее немедленного осуществления редко проходило больше суток.

8

Елагин остров, самый малый и болотистый из островов Невы, в первые семьдесят лет существования Петербурга был безымянен и с 1717 года принадлежал Шафирову, Петрову любимцу из жидов; Шафиров, как и все его племя, к землеустроению имел вкуса менее, чем к интригам, и в 1724 году передал узкую полосу земли длиною в десять верст генерал-прокурору Ягужинскому. Тот отдал ее, по-прежнему безымянную, в полное владение сыну, а сын переступил князю Мельгунову, в чью честь остров и прозывался в последующие двадцать лет; после купил его Потемкин, но у него были дела в Крыму, и до благоустройства островка все не доходили руки. Ивы, лопухи и болотная трава разрастались на глинистой почве, в зарослях бегали зайцы, случался лось. Во время наводнений вода покрывала Мельгунов остров чуть не целиком, оставляя по себе следы бедствия — бревна и водоросли. Наконец во владение неухоженным, но живописным куском земли вступил обер-гофмейстер Екатерины, директор придворных театров Иван

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Порфирьевич Елагин — и остров по справедливости получил его имя.

В 1817 году Александр Павлович выкупил остров у потомков Елагина за изрядную сумму и на месте деревянного дворца замышлял строить каменный. Остров надобен был ему для того, чтобы разместить на нем летнюю резиденцию возлюбленной матушки Марии Федоровны. Дорога до Павловска занимала часа три, от езды Мария Федоровна скоро уставала — остров же был близко, в трех верстах от Зимнего дворца. Любящий сын пригласил знаменитого итальянца Росси и лично наметил, чему где надлежит быть в трехэтажном каменном дворце. До пятидесяти человек могло разместиться в просторном и светлом здании; особо государь распорядился, чтобы при разрушении деревянного дворца и постройке нового не тронули подземных ходов. Шел слух, что затейник Елагин изрыл подземными ходами весь остров и из дворца можно было извилистыми путями добраться до самых неожиданных мест — то выйти на дикий берег, то вдруг очутиться в дубовой роще, а то и под самым мостом, соединявшим Елагин с Петербургскою стороною. Но это, скорей всего, врал.

К началу нового столетия остров и дворец пришли в запустение. Елагин являл собою дивный естественный сад на краю Петербурга, нечто вроде искусно воссозданной руины среди регулярного парка. Луг перед дворцом зарос, беседка среди пруда грозила обрушиться, столбы ее позеленели; храбрым мальчишкам случалось доплывать туда на доске. Пруды покрывались ряской, медленно разрушался и сам дворец, населенный одними призраками великолепных времен. Странно было думать, что теперь дворец оживят. Впрочем, ежели вдуматься, более достойных жильцов, чем старомодные одинокие профессора, было для него не найти. Никто иной с тамошними призраками попросту не столкнулся бы.

Утром восьмого января матросы с броненосца «Стремительный», стоявшего у Английской набережной и всем экипажем перешедшего на сторону Советов еще в августе, по приказу комиссара просвещения принялись обходить пе-

петроградских филологов по списку. В списке после краткого совещания с товарищем Вороновым оставлены были люди одинокие и пожилые да небольшое количество творческой молодежи — для придания коммуне видимости организации молодой и жизнеспособной.

Процедура спасения выглядела своеобразно: обезумевший от страха, но старающийся держаться с достоинством профессор открывал дверь на грубый матросский стук и получал предписание в двадцатичетырехчасовой срок переселиться в хорошо отапливаемую санаторию, где ему будет предложен специальный академический паек и работа на благо победившего пролетариата. Уклонение от этого благодеяния будет расцениваться как саботаж, ибо новая власть не желает, чтобы научные кадры вымирали в холоде и неизвестности. Был обещан медицинский уход, разрешалось взять с собою произвольное количество книг и личных вещей, гарантировались же все эти льготы и пайки личной подписью народного комиссара просвещения под ремингтонированным обращением к петроградским ученым.

Большинство благодетельствованных восприняли новую меру народной власти как давно ожидаемый арест: варвары не склонны были терпеть представителей старой культуры и решили свести с ними счеты. Профессура собрала необходимое и приготовилась к худшему.

Дивное зрелище являли собой эти сутулые, угрюмые люди, еле ползущие по родному городу под охраной! С Васильевского, из Университетских казарм, с набережной Пряжки, с Невского, с Морской и Преображенской вели их в обитель совершенного счастья. Иные шли прямо, упрямо, с вызовом глядя в снежную тьму; иные оглядывались по сторонам в твердой уверенности, что в последний раз видят свой город.

К одиннадцатому января в коммуну заселились первые двадцать человек. Уже десятого, по приказанию комиссара просвещения, была разобрана на дрова гауптвахта, стоявшая на краю острова и исторической ценности не представлявшая; гостевые комнаты на втором этаже были распределены — и многие еще остались свободными. Из давно пустовавшей гостиницы «Приют рыбака», что на Лодейной, перетащили кровати, одеяла, белье: матросы, жалея старичков, ра-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ботали споро. Едва ли было в Петрограде в январе восемнадцатого года помещение более благоустроенное, нежели Елагинская коммуна, — разве что инвалидный дом на Таврическом, где обитали раненые борцы за мировую революцию. Но от раненых бойцов толку не было, они знай себе пили (где только доставали?) да горланили непристойности; а жителям Елагиной коммуны надлежало создавать культуру для нового времени и примирять вековую традицию с бурлящей, кипучей современностью, как поведал собравшимся лично нарком вечером одиннадцатого января.

Чарнолуский долго выбирал обращение («товарищи» было неуместно, «господа» — откровенное заискивание). Наконец он остановился на невинном «коллеги!». Прежде всего он посулил полную свободу и совершенное благопритествование, почтение к бывшим заслугам и регулярное питание («Вот здесь, в этой пленительной овальной столовой, где прежде наслаждались незаслуженным изяществом и роскошью цари и их прихвостни, — теперь сможете собираться вы, подлинная гордость нации!»). На вопрос, дозволяется ли покидать коммуну, был дан безоговорочно положительный ответ. Комиссар покался даже, что новая власть, на знамени которой начертано не только слово «свобода», но и священное слово «гуманность», не сразу смогла заняться насущнейшим вопросом прокорма и обогрева интеллигенции, — «но, как вы понимаете, столь полное переустройство жизни предполагает внимание ко всем сферам бытия, и не всегда поймешь, с чего начать».

— Позвольте вопрос, — поднялся автор популярного толкового словаря Долгушов. Он говорил медленно, с отступлениями, как люди недавнего века, еще уверенные, что у них много времени. — Вы утверждаете, что ваша главная задача — сохранение культуры, если я верно мог понять ваш тезис. Но как тогда объяснить ваше решение поместить всех нас в Елагин дворец — памятник старого времени?

— Я понял, понял вас, — торопливо прервал его Чарнолуский. Он уже на середине долгушовской речи успел сообразить, как ответить на эту подковырку. Отвечать старику надо было медленно и пространно, в его духе. — Вы совершенно точно заметили, что именно культурными людьми и должен

быть заселен дворец-памятник. Тут метафора всей нашей культурной политики, если угодно. Что лучше: постепенное разрушение и запустение дворца, находящегося в распоряжении правящей фамилии, — или передача его в собственность культурному учреждению, занятому выработкой новой языковой нормы?

— И то сказать, — шепнул Долгушову фонетист Кривицкий, — лучше мы, чем хамы!

Долгушов промолчал.

— Но уж посудой извольте озаботиться! — крикнул с места Хмелев. — Я с музейного фарфора не ем!

— Завтра же будут привезены оловянные солдатские миски, — успокоил его Чарнолуский. — Я полагаю, это не унизит вашего достоинства? Ведь речь идет о сохранении музейного сервиза!

Он не мог не съязвить: старик уж очень явно не желал ценить благоденствия. А ведь, между прочим, хотя дрова ничего и не стоили новой власти, но гауптвахту разобрать, да еще и на холоде, — тоже работа. В Чарнолуском вспыхнула внезапная ненависть ко всем этим людям, которые, занимаясь всю жизнь десятистепенными вещами, ни секунды не бедствовали, прекрасно уживались с царизмом, а теперь воротят нос от попытки дать им дружный, творческий быт!

— Одного не пойму, — выпрямившись во весь свой немалый рост, ядовито спросил профессор Алексеев. — Чем вам помешало ять — догадываюсь: все неучи на него роптали. О другом скажите: неужели вы впрямь верите в письмо без правил? Весь мир блюдет законы орфографии, без нее люди разучатся понимать друг друга...

— Вы же понимаете, что это временная мера, — сдержанно произнес Чарнолуский. — Я и сам считаю, что некоторая чрезмерность... Вам известно, что первый проект реформы — мой — дружно был проигнорирован... Сегодня, чтобы тебя услышали, надо стрелять из пушки. Невозможно сомневаться, что орфографическая норма будет создана заново. Это ваше дело, ничье более. Я верю, что мы выработаем общий язык!

Чарнолуский хихикнул, но его никто не поддержал. Он поклонился и уехал, утешая себя тем, что до открытой кон-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

фронтации дело не дошло, а приручение интеллигента, в конце концов, — вопрос времени.

Благоустройство дворца пошло полным ходом: как все старинные постройки, он был лишен простейших удобств, — в бывшей людской поспешно соорудили нужник, отрядили матроса почистить дымоходы, проверить печи, которых не топили лет пятьдесят, — хорошо, что Росси, хоть и выполнял заказ на постройку летнего дворца, помнил про северное лето, остающееся карикатурою южных зим. В обеих гостиных были большие каминьки, в гостевых комнатах зодчий предусмотрел голландки. Для кабинетов, где голландок не было во все, двенадцатого января были доставлены ржавые печки на четырех коротких лапах, — они раскалялись мгновенно, но страшно дымили, даром что матросики вывели все трубы в форточки. Дворец, обросший этими трубами, приобрел вид уютный и гротескный. Горбунов, специалист по русским говорам, не устававший повторять, что он пешком обошел всю Россию, и вдобавок сильно окавший (правда, в волнении окать забывал и переходил на обычный петербургский манер), долго потешался над профессурой, не умевшей печи растопить и лучины нащепать, — но собственная его печь как раз и дымила больше всех, а топить умел один лексикограф Соломин, прирожденный барин, сын волжского помещика. Трудно было вообразить манеры более широкие, руки более холеные, — однако он этими холеными руками починил в своей комнате замок, с первой спички растапливал печурку, исправил в овальном зале гигантские древние часы, которые радостно принялись бить... Его постоянно зазывали в гости — устранить мелкие неисправности. Эти бары откуда-то все умели, хотя сроду ни в чем не нуждались.

На следующий день профессора вычертили график кухонного дежурства, и Горбунова, больше всех кичившегося привычкой к ручному труду, поставили первым. В его обязанности входило нарезать хлеб (Чарнолуцкий выбил для профессуры богатый паек — почти в полтора раза больше, нежели приходилось по карточке), но главное — сварить моржевятину. Моржевятиной этой прежде кормили кошек, которых держали в половине петербургских домов. Чарнолускому

о ней рассказал новоназначенный комиссар продовольствия. Странное мясо никто не хотел есть, попытка выдавать его в пайках вместо селедки провалилась. Чарнолуский распорядился отвезти продукт на Елагин остров: в конце концов, профессора были люди без предрассудков и понимали, что перед ними питательный продукт.

Матрос Елисеев выдал Горбунову несколько брусков серого, в прожилках мяса, отмерил крупы и помог отнести буханки. Отсыпал и чаю, и даже сахару. В кухне стояла древняя дровяная плита, Горбунов возился около нее полчаса, Елисеев наблюдал, посмеиваясь в усы. Завтрак назначили на половину одиннадцатого — интеллигенция привыкла вставать поздно. В одиннадцать в кухню прислали фонетиста Кривицкого и поинтересовались, скоро ли. Горбунов прогнал его с ругательствами. В половине двенадцатого к Горбунову прикомандировали Соломина. Через час Соломин и Горбунов, на ходу дружелюбно переругиваясь, втащили котел и подволокли его к т-образно расставленным столам. Их встретили аплодисментами. Следом матрос Елисеев в одиночку тащил гигантский чайник кипятку. Каша пахла отвратительно и пригорела.

— А вы не смейтесь, — огрызнулся Горбунов. — Я по Заонежью ходил, в Кижях, в Архангельске был... Я в одиннадцатом году до бурятов дошел...

9

В семнадцатой камере Трубецкого бастиона сидели в тесноте и тревоге одиннадцать человек, взятых в разное время с октября по декабрь. Большинство знали друг друга по правительству и Думе. В любой европейской стране такое собрание министров и депутатов считалось бы блестящим, но в России, где министры вместе с товарищами в последние месяцы сменялись чуть ли не ежедневно, это было растерянное и озлобленное собрание людей, давно не осознающих собственного значения. Тем обиднее было сидеть, в сущности, ни за что. Всех взяли просто потому, что революционная смена власти

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

традиционно обозначалась арестом предыдущего правительства. Если б не аресты, то и видимости революции не было бы. Участие в бессмысленном спектакле, умирать в котором, однако, приходилось по-настоящему, не устраивало обитателей семнадцатой камеры.

В этой же камере сидел товарищ министра иностранных дел переводчик Оскольцев — невысокий, изящный, нервный человек, всегда успевавший очень много. Он вечно был в движении, с жадностью первопроходца объездил свет, говорил на французском, английском, итальянском, немецком, португальском, учил японский, переводил готические романы, печатал работы по сравнительной истории, толмачил Верхарну и Маринетти, когда их, смущенных и недоумевающих, таскали по питерским богемным сборищам. К тридцати семи он успел немислимо много в самых разных сферах — и без лихорадочной, всегда спешной работы не мыслил себя. За ним пришли двадцать седьмого октября, и то по глупости — он был арестован вместе с редакцией невиннейшей географической газеты «Весь свет». Причиной ареста был ложный донос, и прочих сотрудников немедленно выпустили — но Оскольцев был уличен в причастности к правительству и переведен в Трубецкой бастион.

— Вас-то за что? — изумился министр исповеданий Серапионов.

— За что и вас, — усмехнулся Оскольцев. Он еще держался, но никто не знал, чего ему стоила бодрость в первые дни незаконного ареста.

Теперь все мысли Оскольцева были неотступно сосредоточены на смерти, скорой и неизбежной. Во время бурной и, в сущности, бессмысленной работы он ни на секунду не забывал, что все катится в бездну. Теперь бездна придвинулась к самым глазам, но отвлечься уже было нечем. Кипение его жизни, непрерывные разъезды, вереница экзотических впечатлений и знакомств — все было следствием отроческого, так и не преодоленного ужаса перед самой идеей внезапного и бесследного исчезновения, приговора, вынесенного ни за что. В ранней юности он мог еще утешаться тем, что умрет пресыщенным, усталым, вкусив от всех пороков и соблазнов;

выяснилось, однако, что к иным порокам — вроде пьянства или курения опиума — он не имеет склонности, другими же соблазнами — вроде женской любви и других чувственных впечатлений — пресытиться никак не может.

Кто чего боится, то с тем и случится, любила повторять одна из его возлюбленных (песни, пословицы, узорный плат, тихие разговоры о странницах и монастырях — у девочек, возвращенных на всем французском, была одно время эта мода на все русское, то есть билибинское, конечно). Вечно боявшийся замкнутости и неподвижности, трех дней не способный высидеть в одном городе, Оскольцев был теперь остановлен на бегу и лишен пищи, в которой больше всего нуждался, — пищи для острых глаз и неутомимого ума. Привыкнув удерживать в голове множество тем и взаимоисключающих мнений, он томился во время монотонных и бессмысленных споров, путался в ненужных деталях и раздражался на собеседников. Его раздражала даже болезнь Шергина — что уж говорить о лени Ватагина, ограниченности Бельчинского, злобе и барстванных замашках Гротова, флегматичности Гуденброка; главное же, на чем он часто и удивленно ловил себя, — ему с первого же дня стало казаться, что по-настоящему обречен он один, а все эти люди, в сущности, ничем не рискуют.

Ему казалось, что и матрос Фокин — начальник охраны — относится к нему грубее, нежели к остальным; и на единственном допросе, который снимал полуграмотный мальчишка лет восемнадцати, ему — судя по тому, что рассказывали о своих допросах другие, — задавали самые пустые вопросы, лишь бы как-то закамуфлировать произвол. Оскольцев не получал передач, избегал разговоров (ибо говорить мог только об одном — о предстоящей ему смерти) и к декабрю ни о чем другом думать не мог. На воле у него остался старик-отец и младшая сестра. Отец был крепок и вынослив, но думать о нынешнем его положении Оскольцев боялся. Вспоминать о доме вообще было нельзя — тут же накатывала постыдная слабость и подступали слезы. Инстинктом узника он дошел до вечного арестантского правила: дома как бы не было, он запретил себе мысль о нем.

10

В семнадцатой камере, как всегда, спорили — на этот раз о странном корниловском походе. Ватагин с Гротовым не сомневались, что сам же Керенский и спровоцировал выступление; Баранов, товарищ министра внутренних дел, с вечной детской улыбкой на пухлых устах доказывал, что в теории заговора верить смешно. Спор был прерван грохотом сапог в коридоре, тут же раздался скрежет замка, и грозный усач Фокин просунулся в дверь.

— Баранов! — крикнул он.

Баранов вскинулся и побелел.

— Я Баранов, — отозвался он сразу севшим голосом.

— Сюда иди, — позвал моряк.

Баранов принялся дрожащими руками собирать вещи.

— Брось, без вещей покуда, — добродушно сказал моряк. — Успеешь с вещами-то.

Это Баранова не успокоило. Он зачем-то вынул вещи из мешка и стал раскладывать, словно видел в этом свое спасение.

— Живо! — прикрикнул Фокин уже без всякого добродушия. — Возиться мне тут с вами...

Баранов с трудом выпустил мешок, оглядел камеру, и устремленные на него взгляды, в которых не было теперь ничего, кроме ужаса и сочувствия, вернули ему силы. Он кивнул всем сразу и быстро прошел к дверям. Фокин выпустил его и снова заскрежетал ключом. Прозвучали удаляющиеся шаги.

Некоторое время все молчали.

— На допрос, вероятно, — подал голос товарищ министра транспорта Головин.

— Фокин — на допрос? — возразил Гротов. — Этот не допросчик, этот — мясник...

— Что ж, пытаться? — спросил Оскольцев, испугавшись собственного вопроса.

— Чушь не порите, — одернул его Ватагин. — Возможно, свидание...

— С чего бы ему дали свидание?

— С того, что денег сунули кому нужно. В России за деньги всегда можно было что угодно. Я когда в четвертом году за карикатуру в «Пути» сел на трое суток, так ко мне друзья девицу в камеру прислали. Мне не до игр было, отослал.

— Другое время было, — вздохнул Карамышев.

— Чушь не порите, — повторил Ватагин. — Не было и не будет другого времени.

Тут Фокин снова открыл дверь и втолкнул Баранова, еле державшегося на ногах. Баранов сиял, по лицу его блуждал особенный свет внезапно обрушившегося счастья.

— Что, выпускают? — спросил Ватагин.

— Нет, нет... Он... он денег попросил.

— Как денег, каких денег? — заговорили все разом.

— Спросил, нет ли со мной денег... Ему надо зачем-то...

— Так ведь обыскивали всех при аресте, неужто он не знает?

— Он же и обыскивал! — крикнул Карамышев.

— Ну, не знаю... Может, решил, что я утаил что-то... или передали... Словом, спрашивал о деньгах. Я сказал, что нет.

— Тьфу, ослы! — выругался Ватагин. — Как тогда надзирать ставили ослов, так и теперь... Переполошил только зря, хамская рожа.

Баранов, продолжая сиять, прошел к своей лавке и долго еще сидел молча, не участвуя в общем разговоре. На самом деле, разумеется, ни о каких деньгах речи не шло. Фокин вручил ему записку от матери, французскую, чтобы матрос ничего не понял, если бы даже и захотел прочесть. В записке говорилось, что подателю ее можно доверять абсолютно и что вскоре он выведет Баранова на свободу, в чем поклялся и уже получил задаток. Подделка была исключена — Баранов узнал почерк матери и известное им двоим обращение «*Mon petit renard*» — лисенок, — столь жалкое и дикое в подобной записке. Ясно было, что мать сделала это не в избытке чувств, но имея в виду пароль. Баранов потом только вспомнил, что Фокин не предложил ему написать ответ — а через час он был уже убежден, что против него готовится многоходовая провокация и что теперь он будет убит при попытке к бегству.

11

Едва Фокин ушел, пообещав выпустить сына по поддельному ордеру, не помнящая себя от безумной надежды мать Баранова кинулась к публицистке Евдокии Сокольниковой, в чьем политическом салоне ее *petit regard* был одной из ярчайших звезд; Сокольникова, для которой составление и разоблачение заговоров было, как говорила она сама, хлебом и солью жизни — то есть источником заработка и острейшим наслаждением, — тут же увидела за матросским визитом подвох. Мгновенно сплетена была история о том, что против нее, Сокольниковой, духовного и умственного центра оппозиции, готовится серьезная провокация, первой жертвой которой должен стать Баранов; шантажируя его попыткой к бегству, «они» выгнут из него сведения про всех, а возможно, что и заставят кого-то оболгать (не возражайте, не возражайте, вы не знаете, что они делают с людьми, после этого можно продать отца родного!), и тогда... о, тогда! Что делать, говорите вы? Делать надо было прежде, когда к вам пришел этот провокатор. Теперь я и сама не знаю, что делать, кроме разве что... Разве что только одного: надо немедленно его сдать, сдать его собственному начальству! Ирода можно только переиродить: он назвался вам? Нет? О, конечно, нет! Может быть, показал какие-то документы? Нет? Естественно: этого следовало ждать. Но вы хорошо его запомнили? Слава Богу, и на том спасибо, хотя мордатых и усатых там полно, они все мордатые и усатые. Мы немедленно, немедленно должны идти к Ворониной, она знает путь к Аренскому, а Аренский, председатель следственного комитета, может доложить на самую их верхушку.

Пошли к Ворониной, не застали, ждали (все это время мать Баранова думала, что не выдержит, — но выдержала, только не могла потом без содрогания смотреть на дом Ворониной на углу Большой Морской, где им пришлось провести в ожидании два чудовищных часа); с Ворониной — уже в девятом часу вечера — ринулись пешком к Аренскому; тот не хотел ничего слышать, весь день мотался по холоду, лег спать, но Воронина настояла, чтобы

их приняли — да, да, в последний раз, вы не знаете, о чем идет речь, готовится такое, что и вас может задеть... Аренский выслушал, выбежал, стремительно переоделся, позвонил куда-то, вызвал автомобиль, и автомобиль через полчаса примчался. «Не думаю, чтобы... — повторял Аренский. — Скорее простая алчность... не думаю, чтобы... главное, чтобы ни одна душа не знала, что вы были здесь!» Он подвел ее к автомобилю, впихнул на заднее сиденье, сам молча сел рядом с шофером, и машина понеслась по ледяной улице.

Остановились у трехэтажного здания на Шпалерной; Аренский предупредительно открыл перед Барановой дверь.

— К Бродскому, — небрежно бросил он матросу, дежурившему на первом этаже.

Поднялись по затоптанной мраморной лестнице. Маленький остробородый председатель ЧК горбился за столом в продымленной, жарко натопленной комнате.

— Вот, извольте видеть! — с порога заговорил Аренский. — Матери арестованных оказываются сознательнее, честнее их охранников! Мне только что доложили, что к ней приходил матрос и обещал за золотую брошь освобождение сына!

— Кто такой сын? — раздраженно спросил Бродский. В этом человеке было воспалено все: глаза, горло, интонации. Баранова окончательно поняла, что погубила своего Сашу.

— Баранов, член Думы, — пренебрежительно сказал Аренский. — Не в сыне дело, а в ваших людях, которые элементарно воруют при первой возможности...

— До разбирательства никто не смеет обвинять моих людей! — крикнул Бродский. — Где ее сын?

— В Трубецком, — еле слышно пролепетала Баранова, и Бродский впервые внимательно посмотрел на нее.

— Сядьте! — крикнул он голосом, каким привык проносить угрожающее «встать!». Только обмороков ему не хватало. Она опустилась на стул и принялась непослушными пальцами расстегивать воротник. — Что за матрос? — спросил он, обращаясь уже к ней. Аренский был ему противен давно, а теперь, когда тот мог ткнуть

ему под нос историю с продавшимся матросом, Бродский вдвойне ненавидел его.

— Высокий, полный... Усатый... Красное лицо...

— Знаки различия?

— Я не понимаю в знаках различия...

— Почему вы пришли доложить о нем? Вы что, не хотели спасти сына?

Тут только Баранова поняла всю меру своей ошибки: поведение ее в самом деле выглядело необъяснимым. Но судьба сына, висевшая теперь на волоске, зависела исключительно от ее ума и самообладания, а потому она собрала с духом и нашла единственно возможный ответ.

— Я... я знаю, что мой сын ни в чем не виноват, — сказала она, задыхаясь, — и потому он выйдет на свободу сам, законным путем, как только в его деле разберутся.

Возразить было нечего. Бродский хмыкнул, буркнул, записал ее адрес и пообещал принять меры.

— Но вы понимаете, что если такое творится в охране крепости, то полагаться на остальных тем более нельзя? — в упор, словно продолжая давний спор, спросил Аренский.

Баранова каким-то чутьем понимала, что ее история необходима Аренскому в собственных, не совсем чистых целях, что он ведет двойную игру и хочет свалить Бродского. И она была рада, когда Бродский — видимо, наделенный немалой властью — грубо ответил:

— Я сказал уже, что обо всем доложу в Смольный. Вы можете сейчас идти.

— Если не доложите вы, доложу я, — желая оставить за собой последнее слово, сказал Аренский и быстро вышел.

Баранова попыталась встать, чтобы идти за ним, но поняла, что подняться со стула не может. Она хотела крикнуть, чтобы Аренский подождал ее, но ему было не до нее — она свое дело сделала.

12

Бродский, как и обещал, разобрался во всем. В охране Трубецкого бастиона был только один краснолицый и усатый матрос — заслуженный боец революции

Фокин, которого нельзя было наказывать слишком сурово, поскольку товарищи его любили и в Смольном он был лично известен. А потому Бродский тихо убрал Фокина с должности начальника караула, переведя его в свою личную охрану для испытания. Сам он три дня спустя посетил семнадцатую камеру, допросил Баранова (перепуганного до потери сознания), пообещал в ответ на его мольбы, что матери его никто ничего не сделает, и спросил заключенных о жалобах. Жалоба оказалась одна: Кошкарев и Шергин были больны и просили перевести их в больницу, пусть под надзором. Вся камера присоединялась к этой просьбе, потому что надсадный кашель одного и тихое, сосредоточенное, кроткое умирание другого были непереносимы. Бродский немедленно распорядился перевести обоих в Лазаревскую больницу, а остальным пообещал, что дела их будут в срок рассмотрены и никто не пострадает напрасно.

— А сейчас мы не напрасно тут страдаем? — крикнул Грогов.

— Никто не страдает напрасно, — почти библейски ответил Бродский.

— А почему ваш цербер каждый день орет, что на нас только хлеб переводить?

— Надзиратель сменен, — с ненавистью сказал Бродский. Ему тошно было от мысли, что классово чуждые опять умудрились взять верх над классово своим.

13

Жизнь в Елагинской коммуне в первую неделю после перемещения была горька, весела и беспорядочна. Филологи и ежедневно пополнявшие коммуну писатели радовались перемене в своем быту, восхищались абсурдностью происходящего и беззлобно издевались над собственной беспомощностью. Давно не собиралось в городе столь блистательного филологического общества. Лингвисты и палеографы, предста-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

вители разных течений и школ, философы и сочинители, модернисты и реалисты, никогда не умевшие преодолеть разногласий, были наконец объединены по общему признаку ненужности, которая добавляла им веселья.

Слух о том, что в Елагином дворце собирают и кормят интеллигенцию, разнесся по городу мгновенно. К двадцати его обитателям уже в первые три дня прибавилось еще двадцать, да множество народу заходило в гости.

С идеей обучения ремеслам все как-то застопорилось, и Чарнолуцкий остановился на варианте создания истории петербургской промышленности. Его эмиссар Бунтиков, прибывший в Елагин дворец девятнадцатого января, предложил каждому взять на выбор любой завод, находившийся ближе к первому жилью или симпатичный будущему хронисту по иным причинам. Петербургские фабрики были разобраны без особенного энтузиазма; Долгушов предложил лучше писать историю университетов («потому что истории всех промышленников сходны — убил, ограбил, купил завод», — добавил он), но поскольку пролетариат в университетах не обучался, он не мог нуждаться и в их истории. Разумеется, со временем... но пока актуальнее были заводы. На следующий день добровольцы взялись за дело.

Отношение к новой работе было в коммуне самое желательное, и диктовалось оно, как ни странно, врожденным чувством вины. Победивший пролетариат не только не отнял у профессуры права на жизнь, но и попытался вручить ей новое орудие заработка. К тому же действовала столовая, к чаю бывал желтый тростниковый сахар (откуда он брался — никто представить не мог; на самом деле запасы его были реквизированы еще в конце декабря у купца Голубкина — он задешево взял его на Кубе и думал, что в Петрограде расхватают, но подозрительность в городе была сильнее голода, желтого сахара никто не брал, говорили, что народ хотят выморить, отчаявшись спасти). Исправно подвозились дрова. Хмелев, пожелтевший от злости, за столом ни с кем не разговаривал, на приветствия отвечал сквозь зубы и чай демонстративно пил без тростникового сахара. Но Стежкин искренне не понимал, почему бы не поработать, и Фельдман также не имел предубеждения против нового занятия.

— Ведь вы подумайте, — с милой, утрированной интонацией, словно труня над своей слишком типичной внешностью, говорил он за ужином пятнадцатого января. — Мы, люди книжные, никогда не имели возможности понять, как все работает. Я, например, на заводе сроду не был, станка в глаза не видел, от политической экономии зевота брала. Теперь же мы получили как бы другую жизнь, потому что человек, умственно организованный, из всего извлечет урок...

— Вот вы и извлекайте! — прошипел Алексеев, правая рука Хмелева и большой доброжелатель Союза русского народа. — Идите на службу, и пусть вам заводская пьянь диктует про свою жизнь! И я бы еще понял, — продолжал он, все больше распалаясь, — я бы еще понял, ежели бы вас поставили выправлять грамоту: они ведь «пролетарий» напишут через ца! Но теперь, когда грамоты нет и стерта всякая граница между вами и любым сукиным сыном, — теперь-то вы им на что нужны? Придавать литературного лоску? Я, пролетарий Тютюкин, рожден во граде святого Петра от бедных, но благородных родителей Ионы и Еврампии, влачивших скорбное свое существование под гнетом неусыпного капитала, — так, что ли?

Все грохнули, улыбнулся и Фельдман.

— Я бы не стал презирать Тютюкина, — заговорил он уже без всякой местечковости, тем прекрасным, исконным русским языком, глубоким и низким голосом, который так странно сочетался с его карикатурной внешностью. — Как хотите, но всю жизнь нас кормил Тютюкин. Сами мы и поля не засеяли, и гайки не завернули...

— Вот, вот она! Вот толстовская зараза! — захохотал Алексеев. — От него все и вышло! Я сытый, я праздный — пусть я иду теперь пахать, а дочь моя пусть босиком глину месит. Да ведь он для того и хотел пахать, чтобы заглушить мозг. Умственная деятельность требует комфорта, специальных условий...

— Праздности, если угодно, — поддержал его профессор Долгушов. — Душевного равновесия, если угодно...

— Но вам пока и не предлагают физического труда, сколько я понимаю, — вступил молодой Борисов, фонетист и большой друг футуриста Мельникова. Он был высок, толст,

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

сказочно силен, обладал при этом мягкими манерами и сочным басом; богатырский облик довершала светло-русовая борода. — Предлагают записать рассказы рабочих, просмотреть архив — это же не снег чистить, в конце концов? Они пока проявляют уважение к науке — другое дело, что уважение внешнее, присущее людям малокультурным. Они уважают тело культуры, а не дух ее. Дворцы, музеи...

— Гадят они в музеях! — взвизгнула диалектолог Седова. — Они везде гадят, их единственная цель — гадить...

— Положим, это не они, — благодушно продолжал Борисов. — Есть элемент темный, неразвитый, не спорю с этим, но сознательный рабочий не таков. Больше того: маляр, который постоянно у меня работал, — я его на все работы звал, кухарки нашей родственник, — был один из интеллигентнейших людей, которых я вообще видел. Он копейки лишней не взял, а работал так, что загляденье. Он делал свое, а я свое, и не понимаю, почему он хуже...

— Так по нынешней мерке вы хуже! — вскинулся Алексеев. — Вы только на то и годны, чтобы писать историю заводов! Ваше дело речь изучать, а не историю заводов...

— Господа, а я так запросто, — желая вернуть беседу в мирное русло, заметил очеркист Ловецкий. — Я тоже, смею сказать, человек не без образования, филолог, всё чин чином. Но как-то оно пошло: раз написал в газету по заказу, два — согласился дать рецензию, три — обзор театральный... а уж кто с газетой связался, тот пропал с головой. Сами понимаете — в «Беседе» много не намолотишь. Пишешь невозможный рассказ из жизни маркиз и баронов, бежишь к Тарновскому в «Газету для всех» или в «Дорожный журнал» — помните, он на любом вокзале лоток имел, как раз до Петергофа всего журнала хватало, — «Константин Петрович, вот-с, не угодно ли?». Что ж вы думаете, господа, если я про маркизу Рене писал, как она яду выпила, увидевши, что барон Лаваль ее дочь целует в беседке, — что ж, я про завод не напишу? Я про марсианскую жизнь напишу!

— Вам, Илья Васильевич, хорошо, вы газетчик, — вздохнул Долгушов. — Нашему-то брату книжнику каково? У нас если кто и сливается, то «не» с причастием, если кто и беглый, то гласный...

— Образованный человек, Владимир Николаевич, — назидательно сказал Ловецкий, — про все может написать. Гимназист — и тот в идеале должен связную новеллу составить «Как я подглядывал за купанием сестры». И я поспорю с любимым, — он с веселым вызовом оглядел компанию, чувствуя, что ненадолго предотвратил назревавший скандал, — что напишу такую историю заводов — никто не оторвется. Назначьте экспертов, и клянусь — будет лучше Дюма.

Через неделю Ловецкий обязался представить свой вариант «Истории заводов». Расходились после ужина повеселевшими, и педант Комаров, лучший петербургский словесник по прозвищу Пемза, с гордой радостью думал о том, что вот ведь — дров еле хватает, холод, сырость, гнусная моржеватина, а образованные люди находят предметы для спора и спорят не о трудном быте, а о материях высоких, вполне абстрактных. В этом и было отличие его клана, единственное, если вдуматься. Можно было поместить пролетариев во дворцы, кормить четырежды в день и купать в ваннах с розовыми лепестками, — и все равно темой их бесед оставалось бы пьянство, бабы и собственные телесные недомогания. Но можно ввергнуть интеллигента хоть в геенну — он и там немедленно поссорился бы с другим интеллигентом из-за толкования строчки Гегеля. Эта способность воспарять из любой бездны, в узилище дискутировать о грамматике, на смертном одре хохотать над опечаткой казалась ему едва ли не свидетельством бессмертия души.

14

Ах ты Господи, а ведь это первый раз, что я побываю во дворце, думал Ять, еще с моста пытаюсь углядеть в силуэте летней резиденции признаки перемен. Прежде всего он заметил трубы, торчавшие из окон и странным образом придававшие зданию промышленный вид.

Отчего-то он чувствовал перед любителями русской словесности подобие вины. Впрочем, едва ли в собственных вымерзших квартирах они чувствовали бы себя в большей без-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

опасности. Он не сразу решился на посещение коммуны — прошла почти неделя со дня ее открытия, о котором он и не знал. Телефоны давно уже работали непредсказуемо — когда два, когда три часа в день, подчас ночью; один раз его разбудил странный ночной звонок доселе молчавшего телефона — рыдающий старушечий голос все повторял: «Папочка! Папочка!» Верно, какая-нибудь старуха сошла с ума от голода и страха. Ять пытался разузнать, кто она и что ей нужно, — но старуха только звала папочку, и он, не выдержав этого причитания, ударил по рычагам. Телефон тут же умер, через минуту Ять поднял трубку — связь исчезла бесповоротно. Этот случай он на следующий день рассказал Грэм, встретившись с ним в хлебной очереди.

— Это хорошо, — растирая нос и щеки голой красной рукой (никогда не имел перчаток), сказал Грэм. — В квартире ночью телефон — это хорошо. Знаете ли, что они обладают собственной волей?

— Конечно, — машинально сказал Ять.

— Не «конечно», а так и есть, — обиделся Грэм. — Человек, создав м а ш и н у, — Ять узнал его излюбленный прием, — придавал вещам разумное начало. Пример: дерево. Дерево живет собственной стихийной волей, тянется к солнцу и только и думает, как бы высосать больше соков из земли. Но приходит человек, придает ему благородный изгиб и делает к р е с л о. Кресло — материя организованная, она мыслит. Ей уже не до соков, но она может совпадать с человеком, приняв форму его тела, и оттого перенимает его мысли. Возьмите теперь телефон: эта материя не в пример сложней. Она может выбирать, когда ей прийти в движение и с кем вас соединить. Телефон своей волей соединил вас с безумной старухой.

— К сожалению, — сказал Ять, — я ничем не мог помочь ей.

— Об этом судить не вам, — Грэм поднял длинный извилистый палец. — Иной раз и человеческий голос целителен бывает для жизни. Я говорю это не потому, что одинок: вы писатель, как и я писатель, и я знаю, что вы подумали. «Вот, он одинок». Не так: е с т ь с у щ е с т в о. Но оно теперь, а бы-

ло время, когда, действительно, и человеческий голос мог быть мне соломинкой. Возможно, что на Страшном суде уничтожатся все ваши заслуги и только этот ответ на ночной звонок зачтется. Кстати, — вдруг, без всякого перехода, заговорил он буднично и просто. — Вы не знаете, как попасть в Елагинскую коммуны? Хочется, потому что туда обещали дрова и табаку. И чаю.

— А что, уже есть коммуны? — в недоумении пробормотал Ять. — Я думал, это прожекты, дело будущего...

— На Елагином, — с вечной шутливо-серьезной назидательностью объяснил Грэм, — делают новое объединение писателей для прокорма. Им хотят дать тему и бумаги много, чтобы они писали для детей, рабочих и детей рабочих. Все эти три категории суть одна, — он громко засмеялся. — Я могу писать для рабочих, могу делать сказки из чего угодно. Хочу пойти. Говорят, дрова, — повторил он.

— Однако как быстро это сделалось, — скорей себе, чем ему, сказал Ять. — Только появилась идея — и вот...

— Это сделалось быстро и будет недолговечно, — кивнул Грэм. — Они скоро поймут, что писателей нельзя селить вместе, особенно если кормить. Недостаток корма мог бы еще сплотить на п е р в о е время, но кормленные писатели рассорятся за неделю. А идея совместного писательства хуже, чем совокупление вшестером. Надо успеть, пока не перегрызлись и не разбежались, потому что тогда уже не будут давать дров.

Однако Ять и после этого медлил: страшно сказать, он трусил. Только утром семнадцатого января он решительно вышел из дома и направился в новое жилище членов Общества любителей словесности. День был холодный и серый, настроение отвратительное. Ять загадал про себя: кого первым встречу, тот и определит конечный успех или неуспех всей затеи. В Обществе преобладали люди приятные, так он втайне утешал себя, — но первый человек, встреченный им, был Казарин.

Поэт и критик Казарин в Обществе не состоял, раз только делал доклад о ритме у Державина. Откуда он тут взялся — было решительно непонятно: не стар, лет сорока или около,

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

женат — правда, для чего он женился, Ять никогда не понимал. Супруга его, Ираида Васильевна (Василий Васильевич Розанов всегда обращался к ней «Иродиада», без всякого смысла, просто чтобы позлить), приходилась двоюродной сестрой московскому символисту, путанику и выдумщику, но в общем беззлобному малому. Он в пятнадцатом году ушел куда-то проповедовать, да так и пропал. Сама Ираида, как и брат, была высока ростом, басовита, и ее серые, навывкате глаза смотрели на собеседника прямо, с вызовом, точно в чем-то его обвиняя. Говорила она важно, загадочно и почти всегда неуместно. Рядом с ней худой, желчный Казарин выглядел особенно хрупким. Кажется, он никогда не любил ее.

Теперь Казарин чистил снег у входа во дворец, неумело орудуя огромной деревянной лопатой. Рядом, прислонясь к колонне, посмеивался усатый матрос. Он и не думал помогать поэту: в его обязанности входила охрана да выдача продуктов. Казарин, впрочем, и не принял бы помощи.

— Здравствуйте, Вячеслав Андреевич, — приветствовал его Ять. — Вы как здесь?

Казарин поднял глаза и поправил очки.

— А, Ять! — воскликнул он весело. — И вы к нам?

— Да нет, я вроде как на инспекцию.

— Что, на службу поступили?

— Какое, сроду не служил. Чистое любопытство.

— А что, переселяйтесь! — улыбнулся Казарин. — И безопасно, — он кивнул на матроса, — и паек, и святые стены. Нас пока сорок человек, но идут, знаете, идут! Идея подхвачена. Я сам тут четвертый день, вчера пришел ко мне друг физик — как бы, говорит, и нам такую богадельню? Нет, говорю, любезнейший, вы люди пользы, всю жизнь нас этим корили, — в вас всякая власть нуждается. Вот и ступайте строить электрические машины, а богадельни будут для сынов гармонии.

— Но ведь идея была селить филологов? — спросил Ять. — Тех, кто не нужен стал после реформы?

— Ну, кто же из нас не филолог? — засмеялся Казарин. — Все писали грамотно, кое-как правила помнили, а стало быть, от всех теперь никакого проку. Я как про это узнал, тут же

к Чарнолускому побежал. Мы с ним, знаете, знакомы немножко — он, когда затевал «Вперед», направил письма к литераторам понезаметнее, таким, знаете, обиженным на невнимание критики: вас замалчивают, вы талант, мы издаем по-настоящему свободную газету... Ну, независимость-то их вся была мне очень понятна: эсдековское изданище, только с уклоном в Господа Бога. Стихов попросил. Я и послал ему — не из честолюбия, а чтобы поиздеваться; что вы думаете — напечатал и благодарил! Я даже деньги какие-то получил. Загнулись на девятом номере. Но он меня запомнил — как же, как же, очень рады. Направил сюда немедленно. С таким наслаждением расписывается на этих ордерах — я на первой книжке так широко не расписывался! А мне, — продолжал Казарин, понижая голос почти до шепота, — комната сейчас совершенно необходима. Я с ума сходил с августа прошлого года, ища жильё. Нигде ничего нет, приличные комнаты страшно вздорожали, я совершенно без средств — книга у меня не вышла, вы знаете? Кому сейчас нужны книги... Вы газетчик, вам платят, а у меня ниоткуда ничего. И тут с неба падает такая возможность! Я подумал даже, что это все для меня и затеялось: ну, можно ли упускать?

— Вы с женой тут? — спросил Ять.

— Пожалуй, что и с женой, — лукаво отвечал Казарин, — можно сказать, что и с женой... Не с Иродиадой, конечно. С Саломеей скорее. Гибну, гибну! — продолжал он весело. — Совсем гибну. Мне все теперь можно.

Пожалуй, так, подумал Ять. Похоже, действительно гибнет и все себе разрешил. Чтобы пропадать с полной уже безоглядностью, он мог выпросить у народного комиссара ордер на проживание, который ему не полагался, предать, ограбить, а то и убить: не мешайте гибнуть!

— Судьба невероятная, — все тем же хриплым шепотом говорил Казарин. — Девочка, ведьма, ребенок, колдунья, все вместе. Не знаю, за что мне это. Вероятно, надо зачем-нибудь, чтобы я погиб, вот и подсластили финал. Мы сколько с вами не виделись, с октября? В октябре я, кажется, еще помнил себя... Но теперь всё. Когда рушится империя, странные происходят вещи. (Словно в подтверждение его слов, с ветки в пар-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ке тяжело снялась ворона и, каркая, пролетела в глубь острова.) Тут все как карточный домик — и сознание, и устои. А может быть, вся империя для того и рухнула, чтобы я оказался с ней. Я пишу теперь... О, как я теперь пишу! Теперь, когда это все никому не нужно. Как она пришла ко мне, почему я? Не понимаю. Никогда не думал, что молодежь вообще знает мои книги. Но она пришла, и читала меня наизусть, и когда я услышал эти стихи — ее голосом, с ее молодым дыханием... тогда я понял, что написал! И понял, что ничего еще не написал... Я только для нее теперь пишу. Не думаете же вы, что я должен был остаться дома, с Иродиадой? Но у нее родители, а в мебелирашки она не пойдет сама... Это Бог, Бог нам послал эту комнату. Или не Бог. Я боюсь думать, кто. Вы знаете, у нас, католиков, даже имя упоминать считается грехом. — Казарин принял католичество еще году в десятом и много писал об этом. — Не знаю, ничего не знаю. Но впервые за тридцать восемь лет чувствую, что живу.

— Рад за вас, — сказал Ять. — А кто еще тут из наших, я имею в виду — из Общества? Хмелев тут? Долгушов, Фельдман?

— Все, все здесь, и молодежь есть. Барцев, Льговский... Кто совсем переехал, кто так приходит — столоваться, греться. Некоторые ночевать по домам уходят — скоро мест не хватит, и так уж по двое стали селить, — а сюда идут хоть строчку в тепле написать. Клуб, и только. Идемте к нам, я вам покажу, как тут все...

— Слушайте, я ведь некоторым боком причастен, — не удержался Ять и, терзаемый чувством вины, рассказал Казарину о своем невольном участии в создании филологической богадельни нового типа. — Ей-Богу, я не думал ни о какой коммуне. Это они так решили, и я полагаю даже, что вариант не худший... Но как-то, знаете, страшно. Получается, что всё от меня.

— Да ничего не от вас, — махнул рукой Казарин и воткнул лопату в снег. — Все равно вечером снова навалит. Все бы хорошо тут, кабы не дежурства. Вы не думайте, идея коммуны не ваша, эдак вы и переворот себе припишете. Они давно начали собирать в такие дома — инвалидов отдельно, сифи-

литиков отдельно... Чем мы все не инвалиды? Нормальные люди такой двор за пять минут разгребут, а я второй час маюсь, одышка... Нет, с инвалидным домом — благое дело. Они у нас отняли последний хлеб, вот пусть и дадут. Россию хотели спасти? Валяйте, начинайте с хранителей языка.

Он изобретательно оправдывал коммуны, поскольку сам был больше остальных заинтересован в ее существовании — она дала хлеб и кров ему и новой возлюбленной, — и Ятю должны были льстить эти оправдания. По крайней мере, можно было перестать терзаться. Он никому не повредил, составив свой список; Шельменко жив, и братья Шулаковы постыдно мной не ввержены в оковы... Но именно то, что вся эта история была на руку именно Казарину, раздражало Ятю особенно; вряд ли дело, выгодное Казарину, могло обернуться добром.

— А кто «она»? — спросил он небрежно, стыдясь собственного любопытства. Ять и сам не жаловался на отсутствие женского внимания, но Казарину доставались женщины, на которых нельзя было смотреть без тайного восхищения, отравленного завистью к недостойному счастливцу. Вероятно, этих особенных петербургских женщин одиннадцатого года, ледяных и пылких, привлекала казаринская способность всякий раз гибнуть и все-таки никогда не погибать, — способность по сути женская и женщинами ценимая.

— Она, она... — бормотал под нос Казарин, входя во дворец первым и обметая веником Бог весть где добытые валенки. — Она, луна, полна... дана... Вечно бормочешь какую-нибудь чушь, а в ней-то весь и смысл. А вы знаете, что мы тут живем без ключей? Истинная коммуна. Ключи от комнат есть только у коменданта, он же матрос. Но у нас и украсть нечего... Некоторые попытались соорудить засовы, а в общем — к чему засовы? Ну, идемте. Мы квартируем в первом этаже. Между прочим, вы очень кстати. Нынче у нас читка.

— Какая читка? — спросил Ять, осматриваясь. В высокие стрельчатые окна второго этажа лился серый мягкий снежный свет. Отчего-то именно в таком свете всегда рисовалось Ятю Средневековье. Муж уехал — в крестовый поход, положим; она ждет... Откуда бы во Франции настоящий снег? Но

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

уход рыцаря в крестовый поход всегда представлялся ему в странных, здешних и вместе нездешних декорациях: в снегу, лежащем на еще зеленой траве. Серый, словно затканый паутиной зал; по стенам гобелены с охотой; в зале — она, словно уже погрузившаяся в трехлетний сон... Он знал, что подлинное Средневековье не имело с его видениями ничего общего; знал и то, что не он один творил себе такую легенду. Этими легендами, тайным знанием о них и пленил его с первой своей книги поэт, о котором он избегал теперь думать. Ходят тучи, да алеют зори, да летают журавли...

— Обыкновенная читка, — бормотал между тем Казарин, идя чуть впереди. — Нашли нам дело. Сочинять историю промышленности. Ловецкий — знаете Ловецкого? тоже, кстати, довольно иллюзорные права на звание филолога, — так вот, Ловецкий поклялся, что за три дня выработает себе слог, доступный пролетариату. Сегодня читает первую главу — историю чихачевской мануфактуры. Ему и рабочего придали, хорошего, сознательного рабочего — звать Викентием. Видели когда-нибудь живого Викентия? Ловецкий утверждает, что с его помощью будет делать настоящую пролетарскую литературу. Непременно останьтесь, послушайте, это стоит того. Чарнолуский лично обещал быть, и представители пролетариата.

По полу, выложенному черными ромбами (похожий пол, страшно убегающий как бы под откос, был на картине любимого художника Ятя, где грозный, с кошачьими усами Петр бешено косился на затравленного сына), они прошли через просторную, матово освещенную залу в темный коридор. Казарину досталась угловая комната с окнами в заснеженный парк.

— Прошу, — и он торжественно распахнул дверь.

15

— Ну и вот, — сказал Казарин. — И ушел.

— Напомните, это было в тринадцатом? — переспросил Ять.

— В четырнадцатом. И ни слова больше от него. Представляете? Я всегда, впрочем, догадывался, — Казарин зажег

очередную папиросу, и Ашхарумова посмотрела на него с нежным укором, — всегда знал, что Ираида и сама немного не в себе. А дядя ее, от которого Георгий-то Васильич, — вовсе проводил в желтом доме по полгода, в Швейцарию его возили, в Италию... Вот Георгий Васильич и сорвался — сразу. Так всегда и бывает: упала последняя капля — и конец. Получил он письмо без обратного адреса. И конверт, и листок уничтожил потом. Но как я успел понять, — у нас был перед самым его уходом путанный разговор, вы же знаете, как он объяснялся, — писал незнакомцу. Просто следили за ним эти люди и вдруг решили: ты наш. Он еще Толстого упоминал, каким-то боком был ко всему этому причастен Толстой.

— Никогда его не любил, — признался Ять.

— Ну, он-то за них не ответчик...

— А по-моему, ответчик. — Ять не стал бы распространяться на эту тему, она была слишком сложна для светского разговора, и сам он не все себе уяснил, но Ашхарумова смотрела на него с любопытством, и он почти против воли распустил перед ней хвост. — Если вдуматься, из его учения только такую секту и можно было вывести. Он специально такое учение придумал, чтобы на него клевали одни убогие. С пристойными людьми ему нечего было делать — пошли бы споры, сомнения, неуважение к летам и гению... Если снять все покровы, все это смирение, мужиковство и упразднение судов, то и осталось бы одно беспредельное самоуважение, которое все время надо чем-то питать. Пока писал, оно само питалось. А как все написал, так и захотелось глину месить: вот, мол, каков я... Это все кашка для тех, кому себя уважать не за что. Он только упустил, что не все они графы. Некоторым и в самом деле прямой резон был попахать... (Он вспомнил Трифонова.)

— Ну, не знаю. — Казарин избегал поддерживать такие разговоры, хотя бы и в узком кругу. Тут требовались убеждения, а он высказывался лишь тогда, когда имел наготове неуязвимое, безупречно защищенное мнение. О Толстом такого мнения быть не могло: для глумления фигура была слишком крупна, для преклонения — смешна.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Ять слушал Казарина вполуха. Он только сейчас понял, сколь многого лишен в своей аскетически-замкнутой жизни, и настроение его резко ухудшилось.

Прелесть Ашхарумовой была неотразима, но открывалась не сразу. Это походило на постепенное узнавание: поначалу оставалась смутная надежда, что гармония ее облика чем-нибудь да нарушится. Ять все ждал, что обнаружит себя резкая черта, которая сразу развеет очарование и позволит не томиться по недостижимому. Однако чем дольше он сидел в хорошо протопленной, крошечной комнате Казарина (с единственной и довольно узкой постелью, предполагавшей тесное объятие), тем яснее понимал, что никакого облегчения ему не будет, что она именно то, что есть: образ цельный, выточенный из единого куска. Красота? Но красота — еще легкий, переносимый случай по сравнению с этим: бывают красавицы, в которых все разнородно, раздрызганно, и именно эта дробность облика позволяет надеяться, что так же раздвигается их сознание. Эти легко прощают вину, забывают, уходят и возвращаются. Ашхарумова была иной породы: такая женщина уходит раз навсегда, бежит из дому с первым встречным, если находит в нем свое (и находит безошибочно, никогда не обольщаясь ничтожествами); любит долго, терпит безропотно, прощает измены (не прощая лишь измены предназначению) — и остается с избранником до тех пор, покуда сам он не надломится. Около надломленного она не задержится и секунды — жалость ей незнакома; жалость оскорбила бы и его, и любовь. Такие женщины вечно устремлены вперед, как фигуры на корабельном бушприте, — и безошибочно чувствуют, какой корабль понесет их вперед быстрее всего. Это могло бы, на взгляд недоброжелателя, сойти за карьеризм — ненасытная жажда не просто любить, но любить победителя; но не было сомнения в том, что Ашхарумова с тем же пылом устремится и на гибель, лишь бы катастрофа соответствовала ее представлениям о совершенстве. Все это Ять понял почти сразу, но признаться себе боялся и потому постепенно убеждался в убийственной точности первоначальной догадки. У нее было крепкое, точно мраморное тело, на котором ни время, ни лишения, ни объятия не должны были оставлять следов: он представил всю ее сразу и ясно,

с несомненностью опыта и вождения. Рослая, тонкая, с длинными, сильными пальцами аккомпаниаторши, с круглыми черными глазами на худом лице (тут было все, что он любил, — вздернутый нос, высокие скулы), она была еще в том прелестном возрасте, когда в походке и жесте женщины сквозит подростковая скованность. Впрочем, во многих двадцатилетних женщинах тех времен Ять замечал эту намеренную угловатость, как бы в пику торжествующему маньеризму эпохи упадка.

Что поделать: если Ашхарумова была теперь с Казариным, стало быть, и Казарин был фигура незаурядная. Во всей его непоследовательности, в привычном аморализме была все та же цельность, чистота порядка, — та «стильность» (трижды проклятое словечко тринадцатого года), которую женщины вроде Ашхарумовой ценили превыше всего.

Ять сидел у них уже два часа, на четыре назначили читку. Казарин, казалось, и сам не хотел отпускать его: разумеется, лучшее общество для него было теперь общество возлюбленной, но, позер до кончиков ногтей, он не мог испытывать истинное счастье без свидетелей, и самая зависть Ятя, которой он не мог скрыть, была для него бальзамом. Он сейчас даже любил Ятя — за то, что тот дает ему возможность показаться в блеске торжества. Разговаривали не без взаимного интереса; Ашхарумова вставляла замечания редко, не забываясь о производимом впечатлении — или не сомневаясь в нем.

— А я ведь вас знаю, — сказала она, и Ять смутился.

— Не припомню...

— Нет, не лично. Мне Таня Поленова рассказывала.

Черт, все они были знакомы, все в заговоре. Ять давно подозревал это. А Фельдман еще спрашивал, отчего он такой «метафизический женоненавистник» — вроде метафизического антисемита Розанова, ненавидящего евреев в теории и льнувшего к ним на практике.

— Вряд ли она вам говорила обо мне что-нибудь хорошее.

— Почему? Она вообще мало о вас говорила, потому что, по-моему, вы были для нее очень важны. И теперь важны. Правда, я давно с ней не виделась...

— Я тоже.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— А знаете, где она теперь? В Крыму. Говорят, там безопасно. Она отдыхала в августе у друзей или дальней родни — и не захотела возвращаться. Прислала одно письмо, звала туда. Пишет, что виноград и рыба и до ноября купанье, — я ей ответила, чтобы она сюда не торопилась.

— А матушка ее где же?

— Матушка как была в Париже, так, думаю, и осталась. Новый супруг пока не разорился, что ж ей беспокоиться.

— Виноград, купанье, — протянул Ять. — Ну, теперь-то ничего этого нет... Где она, вы говорите?

— Близ Ялты, в Гурзуфе.

Ятя во всей этой истории больше всего интересовало, одна ли там Таня Поленова, — но, поскольку Таня нигде не была одна, вопрос отпадал сам собою. Он хотел перевести разговор, ибо не был уверен, что удержится от резкости, которая сразу его выдаст.

— Не знаю, не знаю, — сказал он. — Я Крым люблю, но сейчас Питера не променял бы ни на что. Призвали всеблагие. Вячеслав Андреич, вы-то что теперь пишете?

Казарин, не заставив долго себя просить, прочитал два новых стихотворения — действительно мало похожих на прежние: одно длинное, белым стихом, о встрече со странным ребенком, который стоял на улице и укоризненно смотрел на него в упор, — а второе короткое, о первом снеге. Слово «легкость» повторялось в нем часто, как в заклинании, — и в самом стихотворении было что-то гипнотическое, чтобы не сказать кокаиновое. Ять хорошо знал, что частые упоминания ледяных сфер, белых кристаллов, горечи и ясности означают именно пристрастие к кокаину; кто-то — чуть ли не Буркин, считавший своим долгом попробовать все, — говорил ему, что после кокаина легко понять, что чувствует душа, вылетев из тела. Полная ясность, ледяной покой, — и почти нестерпимая гармония в каждой линии.

— А ребенка видел действительно, — сразу заговорил Казарин. — Ребенок был, стоял на углу Большого и смотрел пристально, с осуждением. Впрочем, мне теперь во всех взглядах мерещится осуждение. Мальчик лет восьми — откуда ему знать про меня? Но хотя бы меня осудили все, даже дети, — я от своей жизни ни для кого не отрекусь.

То, что Казарин при Ашхарумовой так свободно заговаривал о бывшей жене и ее родне, о прежней жизни и об отсутствии у него всякого раскаяния, доказывало: между ними нет ни тайн, ни умолчаний.

— Ну, а о коммуне как вы думаете? — спросил Ять наконец, боясь услышать что-нибудь едкое, ядовитое и совершенно верное.

— Да как же, — Казарин развел руками. — Сколько продержимся, столько и ладно. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

— Вы про Чернолуцкого? В смысле овцы?

— Про них про всех. Тут ведь два варианта, вы сами понимаете, — Казарин доверительно наклонился к Ятю, но не забывал поглядывать и на Ашхарумову. — Либо они продержатся еще два месяца, пока хватит продовольствия, и их опрокинет село или сами эти... пролетарии сделают голодный бунт. В общем, гибель от естественных причин. И второй вариант: они поймут, что долго миנדальничать нельзя, забудут про всякую свободу и устроят нам тут железный кулак. Тогда, сами понимаете, начнется с нас — вступаться некому, толку от интеллигенции никакого, а без террора, это *sine qua* поп, они не удержатся. Они ведь как устроены: их можно выгнать только от безысходности. Надо, чтобы все были еще хуже. Отсюда эрго: постоянно нужен враг. Это, по-моему, очень видно, а других возможностей, как ни приглядываюсь, не различаю. Доживем два месяца в условиях наименьшего зла, а там и до свидания в лучшем мире.

Вместе с тем что-то подсказывало Ятю, что при всей логике Казарина, отказавшегося от иллюзий, как раз в этих его словах таилась ложь: людям отчаявшимся, устремленным навстречу гибели, гибель как раз грозила меньше, чем прочим, домашним и робким. В его безупречных, на первый взгляд, рассуждениях была обманчивая, соблазнительная простота — в действительности все, как всегда, было тысячекратно сложнее и зависело от множества условий. Ошибкой было сводить все к воцарению татарских нравов — это значило игнорировать здоровую и свежую силу, которая иногда утадывалась даже за простотой матросиков и их вождей-агитаторов; не все были т е м н ы е, и Ять знал это. Кроме того, апокалипсические пророчества (которые Ять слышал от Казари-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

на во все время знакомства) никак не гармонировали с его заботой об устройстве, выживании, реноме и деньгах, которые он добывал иногда откровенным шарлатанством.

— Вы все и всех норовите похоронить, — сказал Ять, — а между тем многое и от нас зависит. В частности, их перерождение в ханов...

— Хамы в ханов, это вы хорошо, — усмехнулся Казарин, приглашая усмехнуться и подругу.

— Не в каламбурах дело. — Ять не мог уже скрыть раздражения; особенно его бесили эти их постоянные перемигивания, выглядевшие ужасно высокомерно. — Вы все еще живете по принципу «чем хуже, тем лучше», — но худшее уже случилось, даже и в стихах ваших сквозит теперь реальность почти загробная. Что же не попробовать все заново?

— Да пробуют, — Казарин пожал плечами. — Раньше одного забирали — и демонстрации, и в прессе переполох, а теперь десятками берут — и ничего, в порядке вещей.

— Не только же в этом суть! — Ять поморщился, поняв бесперспективность спора. — Я к тому, что гибнуть и гибнуть — это прекрасно, конечно, но это остается вашим выбором. А стране надо когда-нибудь и пожить.

— Пожить — да, но как, какой ценой? Вы, Ять, человек девятнадцатого века, — снисходительно сказал Казарин. — Хороший был век, но кончился. Затонул. После краха Европы настало другое время. Если бы не техника, проскрипели бы еще лет пятьдесят, но телефоны и автомобили ускорили дело. Какое пожить, когда целые нации с песнями идут на убой? Заметьте, что эта бойня ничем не разрешилась, не очистила воздуха, — умирающему кровопускания не впрок. Убивать шли от безвыходности, и сейчас та же безвыходность. Вам все уют подавай, семью, цель жизни... а цель сейчас одна — перед смертью не опозориться. Вот скажите, — он подмигнул Ашхарумовой, — мы тут с Марьей давеча обсуждали животрепещущий вопрос. По нему легко отличать своих от чужих. Выто свой, чего бы ни говорили, только никак не проснетесь. Скажите, кто лучший христианин — Уайльд или Мастертон?

Мастертон был миссионер, публицист и проповедник, автор нескольких комических романов из жизни доброго британского семейства. Юмор его был натужен, многословен,

но трогательная сентиментальность, сквозившая в пряничных писаниях, искупала многое. Он умер через год после Уайльда, ненадолго вернувшись в Лондон из Южной Африки. Ять одно время для хлеба засушного переводил два его романа для «Современного мира», и работу эту ему спроворил как раз Казарин.

— Славный вопрос, — задумчиво произнес Ять. — По логике вещей, я должен сказать: Мастертон. Да, вероятно, так и скажу — из чувства противоречия.

— Вот видишь! — Казарин победоносно глянул на Ашхарумову. — Он весь в прошлом веке, когда уже выйдет оттуда?!

Ять терпеть не мог, когда о нем говорили в третьем лице.

— Идти в ногу с таким веком — невелика заслуга.

— Этот век, хорош он или плох, открыл новое в человеке, — снисходительно сказала Ашхарумова. — Мастертон от этого нового прятался в уют, в простоту, потому что убоялся сложности. А трусость никогда еще не была христианской добродетелью.

Эти слова она явно повторяла с чужого голоса, и нетрудно было понять, с чьего.

— Вот, вот, — против воли горячась, заговорил Ять. — Мастертон всю жизнь боролся против того, чтобы христианство перестало отождествляться с мятежом и уничтожением. Самый отважный мятежник, писал он, сегодня тот, кто посмеет защитить простую истину...

— Сказать можно что угодно, — улыбнулся Казарин. — Не всяк Бога славит, но Бог себя явит. Мастертон умер в своей постели, а Уайльд — от последствий удара в ухо, нанесенного тюремным надзирателем. Мастертон прожил шестьдесят с лишним, а Уайльд не дожил до сорока пяти. Мастертон умирал в достатке и почете, а Уайльд — в нищете и поношении. Какую кончину вы назовете христианской?

— Критерием христианской кончины никогда не были нищета и поношение, — лихорадочно заговорил Ять. — Уайльд умер от водянки, вызванной излишествами, а Мастертон — от последствий тропической лихорадки, подхваченной, когда он лечил дикарей... Уайльд умер прославленным, хоть и скандально прославленным, а Мастертон — презираемым и осмеиваемым, героем карикатур в модных журналах,

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

где его изображали в виде индюка, проповедующего на скотном дворе. Все христианство Уайльда, все его любование красотой страдания были от его уранизма, и распятый Христос вызывал у него, страшно сказать, чуть ли не похоть... Уайльда привнес перверсию во все, пусть и невинную перверсию...

— Он не понимает, — улыбнулся Казарин Ашхарумовой, и она кивнула в ответ. — Не дай Бог, поймет — ведь с ума сойдет. Ничего, Ять, я вас постарше на три года, все у вас впереди. Впрочем, Марья вас помладше лет на... В отцы сгодились бы, если бы поторопились. Но и она понимает — потому что умная. Не обижайтесь, не обижайтесь. Мы вас все равно любим.

Ять непременно взорвался бы и в ответ на это «мы», и на уверение, что девятнадцатилетняя Марья (отвратительное обращение, какое-то домашнее и вместе вульгарное) умнее его, если бы по коридору вдруг не раскатился звон колокольчика и высокий, смеющийся голос Ловецкого не пропел:

— Прошу-у, прошу-у! Все к месту сбо-о-ора! Чтение первой главы-ы-ы!

16

На читку, долженствовавшую обозначить начало созидательной работы интеллигенции на благо пролетариата, прибыл и Чарнолуский, и пролетарий Викентий, приданный Ловецкому для консультаций по истории чихачевской мануфактуры. Чарнолуского изумила истинно журналистская скорость, с которой Ловецкий сработал первую главу, но он утешался мыслью о том, что ведь и величайшая революция в истории человечества произошла за два часа. Теперь все получалось прямо-таки триумфально, и стремительность разрешения всех задач была главным доказательством их насущности.

В зале на первом этаже матросы-охранники вместе с первыми собравшимися коммунарами разбирали т-образный стол и рядами расставляли стулья. Ять здоровался с обитателями дворца — все были ему ра-

ды. Здесь, в хорошо протопленном и ярко освещенном помещении (каждый пришел со своей лампой, и в зале было светло, почти как в бальные вечера), среди давно знакомых людей, думавших и говоривших на его языке, он устыдился собственных дурных предчувствий. Родная среда была прежней, умудрявшейся во всяком положении найти смешную и трогательную сторону.

— Ну что вы, Ять, как? — любовно улыбаясь всем морщинистым, милым лицом, спрашивал его Алексеев. Его русофильство никогда не мешало Ятю любить в нем честного, славного человека, который в горячую минуту мог так приложить родную Русь, как никогда не отважился бы и самый желчный иудей. — Мироходов-то, старый болван, не разогнал еще вашу лавочку?

— Ять! — закричал с лестницы Борисов. — И вы теперь с нами?

— Нет, я в гости пока. Ну что, как вам этот симпозион?

— Отличная идея, всегда о чем-то подобном мечтал. Поспорим, бывало, за ужином, — Борисов дружески кивнул Алексееву, — и пишу потом чуть не всю ночь с огромным воодушевлением! Нашему брату филологу трудней, чем технику: техник творит один, сидит, придумывает... А мы высекаем искру только из обмена мнениями, правду я говорю?

— Когда ерунды не говорите, вас и послушать приятно, — кивнул Алексеев. — Только чуши больно много, я бы вам иногда звук выключал. В патефоне, знаете, есть такой рычажок, — он себе играет, а нам не слышно.

Ять узнал среди обитателей дворца и молодого, но уже прогремевшего Льговского — не будучи членом Общества, он впервые выступил там два года назад с оригинальной работой о статистическом методе в стиховедении; работа была странная — сама теория без божества, без вдохновенья, но в том, как он читал иллюстрирующие ее стихи, как спорил и соглашался,

артистизм так и сверкал. Льговский, как всегда, был со свитой из молодежи.

Чарнолуский запаздывал. Лишь в половине пятого зарокотал, приблизился и увяз автомобиль — и скоро из мягкого снегопада, отряхиваясь, вошел главный гость. Рабочий Викентий с двумя товарищами — такими же кроткими, вислоусыми и бледными мужчинами лет сорока пяти — при его появлении встали. Чарнолуский оглядел собрание и сделал общий поклон.

— Рад приветствовать, господа, — сказал он, изо всех сил стараясь не впасть ни в заискивание, ни в снисходительность. — Простите великодушно, задержался. Ну-с, вы, я вижу, уже приступили?

— Как же без вас, — проскрежетал из угла Хмелев.

— Главный критик не я, — улыбнулся комиссар. — Главные критики — вот, если позволите! — И он торжественно ткнул пальцем в товарища Викентия со спутниками. Викентий смутился еще более.

— Так я приступаю, если все в сборе? — ни к кому в особенности не обращаясь, спросил Ловецкий.

Он выкрутил посильнее фитилек стоявшей перед ним на столе керосиновой лампы, поднес к близоруким глазам крупно исписанную тетрадь и звучно провозгласил:

— «История петроградской промышленности. Том первый. Чихачевская мануфактура. Глава первая. Чихачевский род. Братья-разбойники. Роковая Маланья. Кровавое царствование. Логово хищника. Отравленная лилия». — Он обвел собрание взглядом и в более будничной манере пояснил: — В заголовке каждой главы я даю конспект — прием известный.

Ять решительно ничего не знал о чихачевской мануфактуре, кроме того, что прославилась она тончайшим постельным бельем, на котором — как и на гербе ее — красовалась лилия. С первых строк «Истории петроградской промышленности» стало ясно, что скандал неизбежен. Трудно было понять, сознательно

Ловецкий доводит до абсурда идею производственной хроники или искренне пытается сделать ее увлекательной для пролетариата, однако получившийся продукт с самого начала выходил за рамки добра и зла. Это была причудливая смесь всех стилей площадной литературы, от милорда глупого до житий. Начиналось эпически — с описания дальней деревни Лыткарино, затерянной среди лесов темных да лугов тучных; народ в Лыткарине был сметлив, да буен, текст — по-лесковски узорчат и олеографически цветист. Лыткаринский уроженец Митька Чихачев устроился в Питер на ткацкую мануфактуру, тогда еще, понятное дело, не чихачевскую, рос, умнел и скоро обольстил хозяйку (сцена обольщения выдержана была в архаически-сказовой манере, поскольку возвышение Чихачева-старшего относилось к пятидесятым годам).

Но в шестидесятых дело Митрия Чихачева едва не рухнуло, ибо чуть не переубивали друг друга его сыновья. Предметом раздора стала ткачиха Маланья, чьи огневые очи и соболиные брови Ловецкий описывал уже в стилистике гоголевской — сниженной сообразно с умственным горизонтом предполагаемого читателя. Она успешно довела до белой горячки старшего брата и теперь вместе с младшим строила на его костях свое счастье.

В рукописи было несколько фраз о расширении производства, о знаменитых чихачевских простынях и платьях, но с этой темой Ловецкий торопился скорее разделаться, дабы не утомлять читателя, и с облегчением плюхался в родную стихию инцестов, измен и шантажа. Эти сцены были уже писаны широким, развязным слогом бульварного листка; Ловецкий читал их залихватски-бодро, подмигивая аудитории, гнусно ухмыляясь и иногда вдруг виляя всем телом, словно в избытке чувств. В публике уже пересмеивались. Безоговорочно серьезен был один народный комиссар, который до последнего момента надеялся, что диалектика производительных сил и производст-

венных отношений вот-вот прорвется наконец на страницы романа сквозь сомкнутый строй роковых маланий и полнокровных, brutальных промышленников — типов истинно-русских и выписанных без любования.

— И, яро ухнув... — басил Ловецкий, даже, кажется, слегка окая. Речь шла о богатыре Григории Чихачеве, высасывавшем на пари корец водки. Масштаб производства и прибыли странным образом воплотился у автора в чисто физическом масштабе самой фигуры капиталиста; промелькнула фраза о том, что все это был не квас, не водка, не уха, а кровь народная, но и кровь народную Григорий Чихачев уписывал так аппетитно, что волей-неволей хотелось к нему присоединиться.

В конце концов Чернолуский дождался пролетарского элемента. Сознательный рабочий Валежников приходил к марксизму, желая отомстить за поруганную ткачиху, которую полюбил. Заседание рабочего кружка, описанное в смешанной технике Достоевского и Тетерникова, имело отчетливо inferнальный вид. Однако неутомимый в похоти Андрей Чихачев, представитель третьего и самого растленного поколения мануфактурщиков, соблазнил красавицу Дарью (в описании ее Ять с веселым ужасом узнал Ашхарумову: Ловецкий, апеллируя к архаическому народному сознанию, сам впал в детство литературы — что видел, то и воспевал). Тут в повествовании возник отчетливо мистический, декадентский элемент. После серии кутежей и оргий Дарья внезапно взбунтовалась, Чихачев в приступе пьяного гнева запер ее в своем кабинете, а сам уехал пить; из кабинета она таинственным образом исчезла, и больше ее никто никогда не видел. Повествование было доведено до третьего года, с которого, как оповестил Ловецкий под конец уже своим голосом, начинался новый, пролетарский этап российской истории.

— Разумеется, будут и цифры, — как бы заранее оправдываясь, среди наступившего молчания прого-

ворил размякший и вспотевший автор. — Цифры вынесены будут в специальное приложение — таблицы роста производства и все это, э... тут, я полагаю, возможна будет уже консультация экономистов, когда создастся соответствующая коммуна.

— А математиков, значит, тоже соберут? — поинтересовался кто-то из свиты Львовского.

— Полагаю, это неизбежно, — сдержанно заметил Комаров. Ять знал его как лучшего петербургского словесника, непременно секретаря на большинстве заседаний Общества. — Реформа правил сложения, исправление логарифмических таблиц, упразднение тригонометрии как недоступной народу...

— Не скажите, — очень серьезно сказал высокий и очень рыжий молодой человек. — Без тригонометрии невозможно даже и на строительстве...

Обсуждение явно уходило не в то русло. Хмелев наблюдал за происходящим с мрачным удовлетворением. Ять не знал, смеяться ему или ужасаться: Ловецкий, конечно, повеселил всех, но ведь от готовности коммунаров идти на сотрудничество зависели в конечном итоге и дрова, и пресловутая моржевятина. Хорошо было издеваться над Чернолуским, пользуясь его благодеяниями, и фрондировать в полной уверенности, что никого не посмеют тронуть, — но если начнется настоящее обучение ремеслам или, не приведи Господь, расчистка рельсов (к которой, по слухам, большевики в Павловске привлекли монахов), о ненаписанной «Истории заводов» придется горько пожалеть. Впрочем, Ять до конца не был уверен в том, что Ловецкий издевается. Возможно, поразмышляв, он естественным путем пришел к тому, что писать для народа в эпоху величайшего смешения стилей и языков только так и возможно — в конце концов, и серьезная литература давно уже была воплощением эклектики.

— Ну что ж, — невинно начал Чернолуцкий. — Спросимка товарищей чихачевцев: что нам ответят, так сказать, непосредственные адресаты? Как вам, товарищ Викентий, — вы стали бы читать такую книгу?

Викентий встал и помялся.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Что сказать, товарищ комиссар, — произнес он смущенно, — жеребятины много, но для ребят завлекательно. Маловато, конечно, про станок. Ведь станок — он опять же, как ни крути, основа ткацкого дела. Но ежели он и на фабрике, положим, круглый день видит станок, то что ж ему про него еще и в книжке читать. Ему в книжке желательно про всякое... про жизнь чужую, одним словом говоря. Так что я считаю, сработал товарищ на совесть, в интересах класса... раньше образованный класс про всякую любовь читал, а теперь такого нет... теперь для всех...

Спутники Викентия на протяжении этой речи переглядывались и не слишком уверенно кивали.

— Итак, — бодро сказал Чарнолуцкий и потер ручки, — вы сами убедились, что товарищ Ловецкий, — прошу прощения, господин Ловецкий, — блистательно справился с предложенной задачей. Его упражнение в этом жанре можно считать, я бы сказал, эталонным для всех литераторов, которым в разное время еще придется, — а я не сомневаюсь, что придется, потому что куда же они денутся, — заниматься чем-нибудь подобным. Вы только несколько переоценили меня, полагая, что перед вами законченный идиот. Но я пока еще не вполне соответствую этому званию. Мне представлялось, признаюсь вам честно, что самоуважение ваше и без того вполне достаточно, то есть вам, чтобы себя ценить, не надо лишний раз делать дурака из расположенного к вам человека. Вероятно, я заблуждался и тем еще раз доказал вашу проницательность. Я особенно благодарен товарищу Викентию. Господин... как же вас... господин Ловецкий (эта заминка была просто великолепна, Ять мысленно аплодировал комиссару), вы точно угадали чаяния пролетариата, но еще точнее выразили собственные чаяния. А сводятся они, как и можно было догадываться, к тому, чтобы пролетариат навсегда оставался в нынешнем своем состоянии, когда пределом его эстетических вкусов остаются кинодрама «Отравленный поцалуи» и похождения барона Прохвостова, в пяти частях с иллюстрациями. Горячо благодарю за высокое наслаждение. Не вполне ясно, правда, чем именно вам не угодил товарищ Викентий, на котором вы так... поупражнялись. Но он, как ис-

тинный христианин — виноват, я хотел сказать марксист, — простит вашу невинную шутку.

Если бы после этого комиссар оделся и вышел, более эффектного финала читки нельзя было бы и придумать; вся Елагинская коммуна осталась бы в твердой уверенности, что завтра всех разгонят, а некоторых, чего доброго, еще и возьмут. Ять никогда еще не видел Чарнолуского ехидным, — ехидство прибавляло ему ума и обаяния. Но он не ушел. Он по обыкновению устался в пол, хомяковато надув щеки, после чего шумно выдохнул и расхохотался.

— Да, господа, — произнес он дружелюбно, — хороший урок мы дали друг другу. Я, конечно, сам виноват. Меа culpa. Не следовало и ставить перед вами подобной задачи. Я все забываю, что ежели литератора нашего времени, кроме разве «знаньевского» круга, попросить пересказать «Колобка», так у них и «Колобок» выйдет альковный, в адском колорите, а у лисы будет лицо Милюкова. Виноват. Бессмысленны общественные заказы, когда нет заказа личного. И потому я думаю, — тут он выдержал эффектную паузу, — я думаю, что лучшим делом для вас будет коллегиальный отбор классической литературы для народного чтения. Этим и Лев Толстой не брезговал, вы ведь не станете отрицать, что «Посредник» многих просветил? Я и шел сюда с мыслью предложить вам это. Пролетарская культура не создается директивами, ее можно лишь бережно, тщательно вырастить, используя лучшие достижения прошлого. Вот таким книгоизданием мы в ближайшее время и займемся. Полагаю, перспектива подобного отбора не вызывает у вас возражений?

Не сказать, чтобы это выступление сломило лед, но конфронтацию несколько ослабило. Чарнолуского уговаривали остаться на чаепитие, и он в самом деле отведал чаю и каши (на сей раз гречневой). Он торжественно обещал улучшить пищевой рацион, еще раз попросил прощения за попытку диктовать Музам и направился к выходу. Вскоре откланялся и Ять. На душе у него было смутно. Одно он знал точно: в этой истории Чарнолуский был единственным, кого он жалел понастоящему. Впрочем, жалко ему было и Викентия, который весь вечер хмурился. Но еще грустнее было думать об идее

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

хорошего издательства всемирной литературы. Идея была в самом деле великолепна — полной своей несвоевременностью, абсолютной неуместностью и совершенной неосуществимостью.

— Знаете, — сказала вдруг Ашхарумова, подавая ему руку на прощание, — вы обязательно должны завтра пойти с нами на именины к Зайке.

— В лес? — усмехнулся Ять.

— Зайка — это Зойка, подружка моя. Она чудесная девочка, правда. Вам очень понравится.

— Спасибо, Маша. Я, верно, и впрямь так выгляжу, что сразу хочется подобрать мне чудесную девочку для домашнего хозяйства... Не беспокойтесь, я справляюсь пока.

— Я вовсе не за этим, — смутилась Ашхарумова. — Что вы глупости выдумываете... Просто — будут молодые поэты, будем мы со Славой... Приходите, правда. Рождества почти не заметили, Нового года толком никто не праздновал — вот и устроим всё сразу...

Он, конечно, никуда не собирался. Вот новое ампула — соглядатай чужого счастья! Но в пустой квартире навалилась вдруг такая тоска, что, засыпая, он решился: пойду.

17

...но поскольку размах веток не позволял говорить о мгновенной деривации, то и вывод отсюда был тот, что мы никуда не уйдем, если, конечно, попробовать хлюмсы... он расхохотался, и она в ответ. Так, смеясь, и проснулся. Обрывки фраз еще ветвились в голове и, как всегда после яркого сна, казались исполнены глубокого смысла, но земная логика брала свое и вытесняла небесную.

Постой, постой, но, значит, все было? Да, и глупо теперь от этого прятаться. Таня была, он любил ее и знал, что всегда будет любить. Внешне все кончилось два года назад, грязно и стыдно, а все-таки до конца дней он был на нее обречен и знал, что это обоюдно, с кем бы рядом она ни просыпалась. С кем она сейчас, интересно? Последний слух был о борода-

том, утрюмом неудачнике — впрочем, на беспристрастный взгляд мы все неудачники. Если действительно утрюм, то это у них ненадолго: она бы терпела, да он не вытерпит рядом с собой этого вечного праздника. Первое время после разрыва Ять бесился: ведь вот, мне она не прощала ничего, а другим наверняка сходит с рук что угодно. Но потом понял, что именно эта способность вытерпеть все от других и была знаком окончательного к ним безразличия.

Встретятся они еще или нет, Бог весть, но ведь бывают любовные истории, которые и без встреч длятся годами. Только во сне прежнее настигало, хотя все реже, — но и одной такой ночи было достаточно, чтобы из пыльной комнаты, в которую превратился теперь его мир, выглянуть в сияющее окно и понять, что за ним все по-прежнему. Даже отчаяние, связанное с ней, было волшебным раскрашено.

Ведь откуда, собственно, наше желание слиться с красотой? Я понимаю сейчас примитивное соитие, для которого не зря приспособлено слово «обладать». Опустим телесную грубость, так называемый зов плоти, неотступно тревожащий разве что гимназиста. Стремление соединиться с ней было того же корня, что детское желание положить на музыку любимые стихи, разыграть по ролям диалог из читаемой на ночь книги, — присоединиться, присоседиться с краю к чужому триумфу. Вероятно, она не была красива в общепринятом смысле, и есть ли общепринятый смысл? Но на ней лежал отсвет, быть может, даже для нее незаметный, — который делал каждое ее слово, каждый поворот головы доказательством иной жизни, и желанием проникнуть в эту жизнь, прилепиться к ней и была на самом деле жажда обнимать, гладить, сливаться.

И всякий раз, как его одолевало сомнение в ее подлинности, он вспоминал ее манеру слушать — склонив голову, шурясь, — или привычку хмуриться, когда при ней заговаривали о деньгах, или позу во сне — всегда на животе, правая нога согнута в колене, руки обнимают подушку; или выгиб ступни, белой, тонкой, почти детской. Чем интимнее, голее, запретнее было воспоминание о ней, тем отчетливее в нем сквозила неразрывность ее души и оболочки: как мог бы он

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

представить, что эту душу влили в иной сосуд? Если есть будущая жизнь и мы удостоимся в ней зримого воплощения, яснее выражающего нашу заветную суть, — все воскреснут другими, потому что у каждого в земном образе был зазор меж замыслом и результатом, а Таня будет все та же, потому что полнее воплотиться нельзя.

Моветон, о да, в ней действительно был, но он так же не резал глаз, как никого не смущает избыточное здоровье. У нее всегда можно было узнать последнюю новость о последней знаменитости. И все это не жажда признания и не погоня за новизной, а все та же ненасытимая жадность. Она всегда зябла. Может быть, попросту его собственный огонь был слаб, чтобы обогревать хрупкое, зябкое... но хрупкость обманчива. Она никогда ничем не болела, знать не знала, что такое хандра, и, может быть, впечатление дурновкусия возникало лишь потому, что существу столь полнокровному и жадному не пристала обманчивая бледность, что декадентские игры со смертью никак не сочетались с ее неутолимим, жадным весельем. Но почему бы жизни не поиграть со смертью, кошке — с мышью? Когда он был с ней, смерть казалась нормальным условием контракта: если бывает такая полнота счастья — почему бы, в конце концов, и не умереть когда-нибудь?

Ять знал, отчего именно теперь так ясно вспомнил Таню Поленову. Всему виной был вчерашний визит к Казарину, знакомство с Машей Ашхарумовой и боль, пробужденная им. Казарину-то пришлось хуже: если Ять к своей идее отказа пришел после, пережив всю полноту счастья и несчастья, — Казарин отказался заранее, из врожденного страха, и потому все его аккуратные, гладкие, совершенно как надо сделанные стихи всегда что-то обещали и опять обманывали. При всей его корректности и подчеркнутой холодности манер натура его была страстная, даже порочная, — отсюда же неизлечимое картежничество, способность играть несколько ночей кряду, иногда со значительными выигрышами, которые он тратил загадочно. Говорили, что были эксперименты с морфием — алкоголь не брал его совершенно, да и не то было у него самолюбие, чтобы экспериментировать с алкоголем, доступным всякому подмастерью. Тайная тяга за пределы, к угадываемой

подлинности, жгла его изнутри и не находила выхода, и перейти последнюю грань он всякий раз страшился — потому, быть может, что знал за собой способность к безоглядному саморазрушению. Решившись раз, он погиб бы весь — и потому в стихах останавливался за шаг до единственно точного слова, а в собраниях предпочитал маску знающего, но не говорящего. Теперь панцирь его давал одну трещину за другой, и слова «Я совсем, совсем иначе теперь пишу!» обещали многое. И странное дело — Ять почти завидовал ему.

Однако пора было выбираться из-под груды наваленных на постели палыто, заново растапливать печь, приводить себя в порядок, отпрапляться к Мироходову и посещать Сенной, чтобы не являться в гости с пустыми руками. Ять давно уже спал одетым, снимая только носки — ноги не отдыхают, если спать в носках. Белья он тоже не стелил уже месяца два — какое белье, когда не разденешься. Печка выстыла, он выгреб золу и приступил к растопке. Дров положил немного: тепло требовалось часа на два, чтобы успеть дописать «Листки» — еженедельную рубрику, которую он вел у Мироходова на вольную тему. В последнее время все писали на вольную тему, потому что разобраться в реальности не было уже никакой возможности.

Он поднес зеленоватое пламя спички к кому старых газет — благо этого добра было всегда в избытке, — минут пять посидел у печки, глядя, как разгорается, протянув к ней ладони, потом встал и направился к столу. Бумаги у него хватало, самой отборной — Мироходов в прошлый раз подарил прекрасную пачку. Идея появилась у Ятя давно, но оформилась утром, и это было как-то связано со сном. «Памяти Гаршина», — написал он сверху и подчеркнул по обыкновению волнистой чертой. Попробовал ради шутки написать первую фразу по-новому, без ятей и еров: возникало досадное чувство незаконченности и почему-то бедности. Слово без ятя слепо, утрачивало нюанс, а без ера в конце глядело странно незащищенным, будто твердый знак в конце ограждал его от белого бумажного холода. Он усмехнулся и принялся писать, как привык.

18

«Обыкновенно, собираясь говорить о ком-либо из покойных наших писателей, мы ищем юбилейного повода. Считается, что обязанность журналиста — извещать читателя о новостях. Но признаемся себе, что никаких новостей давно нет — или что они вышли из сферы нашего понимания, — а потому поговорим об одном из рано погибших литераторов, которого современники считали сумасшедшим, а потомки то называли гением, то прочно забывали. Впрочем, если нужен юбилейный повод, то у Гаршина и точно юбилей: через два месяца исполнится ровно тридцать лет с того дня, как он в бреду прыгнул в лестничный пролет.

Но заговорить о нем мы решились не из-за грустного юбилея (до которого, Бог весть, доживем ли еще). Нам вспомнилась одна из его сказок, из описанных им смертей — «Attalea Princeps», произведение, прославившее его после смерти, но при жизни вызвавшее даже некоторое затруднение при публикации. Недовольство выказала цензура — но не государственная, а либеральная, в основе своей много страшнейшая, ибо действует не от лица государства, а от имени самого Абсолюта. Крупный сатирик, от которого не ускользнуло, кажется, ничто в нашем прошлом и будущем, не желал помещать в своем журнале произведение столь пессимистическое, — пусть, мол, ваша пальма прошибет теплицу и увидит за ее пределами солнце... пусть замерзнет, пусть хотя бы и умрет, но хоть на миг вздохнет всею кроною! Однако тут уж мягкий и уступчивый Гаршин решительно отказался от переделок. Слава Богу! Чего доброго, вместо истинно поэтического творения на свет явилась бы еще одна грубая аллегория, какими наводнялась наша печать и в гаршинские, и особенно в недавние времена (всем памятны бесчисленные гордые птицы, мерзкие змеи и даже, кажется, грибы, отважно пробивающие головами дорогу к свету сквозь косную почву).

Если читатель помнит, в гаршинской сказке не одно

действующее лицо на фоне чахлах и трусливых оранжевых растений, но два: пальма и травка. Травка эта не имеет никакого собственного значения и служит для придания естественного вида искусственным оранжевым грядкам. Но именно она, слабая и забитая, с мелкими пухлыми листьями, сочувствует гордой пальме, которой надоел тепличный потолок и негаснущий бледный свет. Можно сказать, что пальма все и затеяла во имя травки — дабы она увидела наконец свободу; прочим обитателям оранжеви это совершенно не нужно.

В этой истории мне видится аналогия не с тогдашним радикальным движением, а скорее с участием всей нашей интеллигенции в последний век. Полагаю, если б я хоть полгода назад высказал мысль о том, что российская государственность была, в сущности, теплицей для нашей либеральной мысли, — та самая либеральная цензура, от которой бедствовал Гаршин, подняла бы в ответ привычный, хорошо срепетированный вой.

Пальме нельзя не расти, в этом ее предназначение. Теплице нельзя не ограничивать ее роста: не будь в ней так тесно — не было бы и так тепло, и пальма бы ниоткуда в ней не выросла. Травке нельзя не тянуться за пальмой, — но приписывать этой травке какую-либо собственную волю и тягу к свободе могли лишь очень недалекие люди, не чувствующие собственной истории. Даже неловко сегодня спорить с ними после того, как жизнь сама им все объяснила — я не люблю брать сторону жизни.

Сегодня дыра пробита, в теплице сквозит, стены ее шатаются. Дивиться ли, что формы русской государственности, какими они сложились в общих чертах еще при Петре, не выдержали напора? Возможно, теплицу стоило реформировать десять, двадцать, сто лет назад — но кто же в самом деле думал, что какая-то пальма пробьет потолок, казавшийся незыблемым! Великое пророчество нашего национального гения, лишь недавно открывшееся нам в подлинном своем виде, сбывается на глазах — одно только слово следовало бы в нем заменить: «Оковы тяж-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

кие падут, теплицы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа...»

Что ж — приняла. Вокруг описанный Гаришиным хмурый пейзаж петербургского утра: снежок просеивается на улицы, словно сквозь сито, и пьяный мастеровой с гармоникой бредет, не помня — откуда, не зная — куда.

В Европе, на которую мы привыкли оглядываться, потому и не будет никогда ничего подобного, ее история потому и не знает бурных катаклизмов вот уже сто лет, со времени изгнания Наполеона, что демократия есть поистине безупречный механизм выращивания травки до уровня средней пальмы и принижения пальмы до роста крупной травки. Оттого лучшая европейская литература так напоминает в последнее время непомерно разросшуюся траву: но трава — все трава, хотя бы она и вымахала выше человеческого роста. Поразительно чутье Европы, которая уловила опасность революции, идущую от нового, умного поколения, — и тотчас бросила это поколение в войну, откуда оно выйдет и выбитым, и огрубелым. Люди, три года проведенные в окопах, далеко не способны к тем открытиям, прозрениям и бунтам, что люди, тридцать лет воспитываемые в теплице.

Что ж, спросит иной читатель, установление нового строя обережет нас от грядущих катаклизмов? Ведь пальмы будут вырублены под корень — после краха теплицы они никому не нужны? Осмелюсь успокоить этих мрачных пророков: демократия, пожалуй, и впрямь уберегла бы нас от возникновения новых национальных гениев, которым для роста потребны праздность и неравенство. Но поскольку на воцарение демократии ничто в нынешней России не указывает, вся ее будущая история предстает нам таким же чередованием болезненно-бурных расцветов и нежданно-жданных катастроф: пусть расцветы будут потусклее — зато и катастрофы помельче.

Ничего удивительного, что новое государство (если о нем вообще позволительно говорить) начало с упрощений, а по сути, отмен — от Учредительного собрания до правил правописания. Обозначилась эта тенденция задол-

го до октябрьских событий — когда вместо утонченных, в Бердслеевом духе картин наши художники стали выставлять круги и квадраты. Иногда казалось, что иные наши пальмы и сами хотят уже стать травкой, чувствуя, что несколько занеслись в своем росте... да поздно.

*А травка — что ж травка. Поживет еще и забудет пальму. Теплицу, конечно, восстановят, только будет она теперь попроще, поскудней. Никакого искусственного света — только дневной. Никакого круглосуточного обогрева — чтобы всякого рода *Attalea Princeps* не вымахивали выше среднего роста. В таком виде эта теплица может просуществовать еще многие десятилетия — единственное требование к нам, чтобы мы не выросли выше положенного. Полагаю, в новых обстоятельствах, да еще с памятью о судьбе гордой соседки, нам нетрудно будет выполнить это условие. Но все теплицы и все пальмы кончают одинаково — вне зависимости от того, стоит ли теплица в Императорском ботаническом саду или делается собственностью восставшего народа».*

Как и после сна, требовалось минут пять, чтобы прийти в обычное состояние, спокойно перечесть написанное, убрать повторы. Истина, казавшаяся новой и несомненной во время писания, выглядела теперь удручающей банальностью. Однако в целом он остался доволен — кое-какие случайные проговорки, когда пришлось отвлечься в сторону, обещали интересные варианты. Ять уложил листки в портфель и вышел из дому. Завтрака он себе давно не позволял.

19

Мироходов сидел все так же в своем крошечном, тесно заставленном кабинетике, в четвертом этаже высокого серого здания на Среднем проспекте, напротив давно закрытой пекарни, где, помнится, выпекали прелестные розанчики с разнообразными вареньями. Ять всегда улыбался, думая о «Нашем пути». В конце концов, не так много было на свете мест, где он не чувствовал себя чужаком.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

«Наш путь» (бывшая «Воля народа», а еще до того «Наша речь») размещался в одной квартире, состоявшей из пяти комнат и просторной гостиной, где собирали сотрудников или угощали гостей по случаям юбилеев. Юбилей успели отпраздновать единожды — пятилетие в марте, — но отмечали тут и дни рождения любимых авторов, и попросту выпивали без повода, когда было настроение. В прихожей обычно сидел чрезвычайно представительный дядя Лева, открывавший посетителям и охранявший редакцию на случай погрома (однажды действительно пытались ворваться какие-то мелкие драчуны, после статьи самого Ятя против Пуришкевича, но дальше перебранки дело не пошло, расколотили только с улицы пару окон). Теперь многое изменилось. В ноябре пришлось поменять название (тогда единым махом позакрывали двадцать пять, кажется, газет, но все через неделю разрешили после переименования). Дяди Левы не было — уехал из Петрограда к родне в Харьков, где казалось ему сытнее, — и Мироходов сам открывал посетителям. Он жил в том же доме этажом выше, с женой и двумя дочерьми (одна на выданье, вторая развелась, вернулась к отцу и снабжала газету переводами). Ять любил и семью с ее безалаберным, но любовным бытом, и бородатого, бровастого, подвижного ее главу, умудрявшегося шестой год делать пристойную газету среди всеобщего визга и торгашества.

— Читали нового Арбузьева? — сразу спросил Мироходов, и приятно было уже то, что спрашивает он не о новом постановлении правительства, не об отсутствии электричества и не об урезании пайка. — Удивительно! Все, что он пишет, мне чуждо, и однако, сама искренность...

— Да, очень интересно, — с порога отозвался Ять. — Кто он такой — вы так и не узнали?

— Говорят, историк.

— Ну, нет, — Ять махнул рукой. — Не обманете. Я своего брата газетчика учую за версту. Ежели хотите, расскажу в деталях, что за человек. Есть вещи, которые всякий может написать, а тут голос так и слышишь. Я даже думал, не псевдоним ли, — но не пойму, с какой бы стати сильную вещь

печатать под чужим именем. Гувер рядом с ним бледноват, а ведь Гувер серьезный малый.

— А что ж, в этом споре я за Гувэра. Он дело говорит.

Публицист Гувер утверждал только самоочевидные вещи, соглашался с авторитетами и спорил исключительно с теми, кто не представлял для него опасности. Он и теперь стоял на позициях столь правоверных, что даже Ять, считавшийся консерватором, испытывал некоторую брезгливость при чтении гуверовских слюнобрызгающих инвектив. Будь воля Гувера, он вернул бы в Россию домострой, ввел полуустан и упразднил табак. Арбузьев наскакивал на него озорно и безжалостно, заносясь, впрочем, в противоположную крайность — у него получалось, что лучше большевики, чем охранители; Ять, как всегда, не соглашался с обоими, но арбузьевский молодой задор привлекал его. Только ради многомесячной полемики этих двоих стоило иногда покупать «Путь».

— Так разве в этом вопрос, Всеволод Ростиславович? — Ятю нравилось прокатывать во рту самое имя Мироходова, столь вызывающе русское и неподходящее, казалось бы, к его образу мыслей, но точно к нему прилаженное, ибо даже при малом росте он производил впечатление силы и укорененности в мире. — Разве вопрос в правоте? Нет сегодня никакой правоты, и завтра не будет. Я давеча про то и написал, что не осталось незамаранных, и те хороши, и эти, а стало быть, придут третьи. Теперь уж не о правоте речь, а о честности. И Арбузьев мне, как хотите, приятней: он подставляется, а Гувер кругом прав. Неувлекательно.

— Все бы вам увлекательности, а между тем гибель — вот она.

— Я правоты боюсь, Всеволод Ростиславович, — твердо проговорил Ять. — Правота всего страшней. Гувер знает, а Арбузьев сомневается. Потому-то Гувер и большевик побольше Арбузьева. Вот помяните мое слово, Арбузьеву скоро руки не будут подавать. Паче всего мы боимся не угодить своему брату либеральному интеллигенту. Воплощенной укоризною и все прочее.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Вы свое-то принесли?

— Принес, — Ять расстегнул старый портфель, служивший ему талисманом, и извлек пять утренних листков.

— Что же это вам Гаршин вспомнился? — глянув на название, спросил Мироходов. — Свежих впечатлений нет?

— Это самые свежие, свежей некуда.

Почитать, однако, Мироходову не пришлось. У него была обятельная манера не прятать статью в ящик и даже не отдавать в набор сразу (что было лестно, а все-таки немного неприятно); он всегда прочитывал приносимое, пусть бегло, много выделял эффектную фразу, иронически или одобрительно произнося ее вслух; он и теперь поправил очки и пробежал уже начало, когда в редакционную дверь сначала позвонили, а потом, не довольствуясь звонком, принялись колотить.

— Обыск? — тихо спросил Ять.

— Не извольте беспокоиться, не извольте, — прокричал Мироходов, с удивительной невозмутимостью выбираясь из-за стола. — Дело самое привычное, это меня закрывать пришли.

— Так ведь уже закрывали.

— Да много ли газет осталось в Питере? Закрывать-то надо кого-то, вот и прилетел, голубок, по второму кругу...

Прилетевший голубок оказался высоким и страшно худым мужчиной с журавлиными, вывернутыми в стороны ногами, с черной бородой и огненными глазами, над которыми угрюмо нависал козырек картуза, отдаленно напоминавшего английское армейское кепи. С ним явились двое матросов и третий — явно темный, из самых настоящих, с желтым одутловатым лицом, замотанный в засаленное тряпье.

— Редактор «Нашего пути» Мироходов? — спросил голубок пронзительно-высоким голосом и гулко закашлялся. В кашле этом Ятю почувствовалось нечто картинное — привет, мол, из каземата.

— Точно так-с, — любезно сказал Мироходов, широко улыбаясь.

— Комиссар Минкин. От Единой комиссии по делам печати.

— Так я помню, помню! Вы же у меня в ноябре были! — еще любезнее расплылся Мироходов. — Я тогда требование ваше выполнил, все чин чином...

— Ваше направление не изменилось, — резко сказал Минкин. — Распоряжением Единой комиссии ваше издание закрывается.

— То есть как же оно может закрываться, голубчик?! — развел руками Мироходов. — Ему всего два месяца, и какое у нас направление? Мы, кроме афиш, и не печатаем ничего...

— Ваша газета не выражает точки зрения свободы, — крикнул Минкин, и матросы нахмурились. Темный все улыбался.

— Какая же у свободы может быть точка зрения? — поинтересовался Ять. — Я сотрудник газеты, так позвольте узнать, в каком духе...

— Я говорю с редактором! — взвизгнул комиссар. — Под прикрытием свободы вы протаскиваете угнетение. Свобода может быть одна — для победившего класса. Я опечатаваю помещение.

— Голубчик, но у меня же мандат, — спокойно произнес Мироходов. И визг Минкина, и спокойствие редактора словно входили в условия не вполне понятной Ятю, но им обоим давно ясной игры. Мироходов уверенно извлек сложенный четверо грязный листок, на котором было вкось, в начальственной манере, без ятей и еров начертано:

«Мандат. Настоящим удостоверяется, что газета «Наш путь» является проверенной мною лично и может выходить в санкционированном мною порядке без чинения ей каких-либо препятствий со стороны других комиссий и подкомиссий. Председатель Петроградского комитета по делам культурной политики Грачев».

Минкин изучал этот документ долго и так сверлил глазами каждую букву, что Ять не удивился бы, увидев бумагу прожженной в нескольких местах. Поглощенный изучением листка, комиссар даже не сразу отогнал Ятя, заглянувшего ему через плечо.

— Я не знаю никаких Грачевых, и Грачев мне не указ, — произнес Минкин уже менее уверенно.

— Зато он вас очень хорошо знает, — улыбнулся Миро-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ходов и извлек из жилетного кармана еще одну бумагу, не менее грязную и исписанную тем же почерком. Ее Ять из-за плеча читать не стал, опасаясь гневить комиссара.

— Если вам еще удастся наладить связи с отдельными слабохарактерными товарищами, это не значит, что ваша газета неприкосновенна, — с ненавистью сказал Минкин, возвращая листки. — Я проверю, что за Грачев.

— Ради Бога, — кивнул Мироходов, — чрезвычайно обяжете. Если будут сомнения, заходите, я всегда рад представителю победившего класса.

Минкин окинул его таким взглядом, что менее хладнокровный представитель побежденного класса на месте Мироходова растаял бы в воздухе — но редактор только скрестил руки на груди и стоял так, пока комиссар с матросами и темным, стуча сапогами, выходили на лестницу.

— А в самом деле, кто такой Грачев? — спросил Ять, когда грохот затих и хлопнула дверь вниз.

— А я почему знаю? — картинно удивился Мироходов. — Сегодня Грачев, завтра будет Лебедев... Я решил птичками подписываться, чтобы соблюсти систему.

— Дайте посмотреть, — попросил Ять.

На втором листке тем же твердым почерком было начертано: «т. Минкин! Прошу умерить революционную бдительность. Гр. Мироходов известен лично мне. У молодой республики достаточно врагов, и вы лучше послужите ее делу, истребляя их а не борясь с сочувствующими. Пред. Петр. Ком. По дел. Культ. Грачев». Ниже красовалась печать, в которой Ять с изумлением узнал печатку, которую он сам подарил мироходовской младшей дочери на двенадцатилетие. Печатка изображала мышь, склонившуюся над книгой.

— Сами писали? — спросил он.

— Почему сам?! — искренне возмутился Мироходов. — Метранпаж писал! Где ж мне взять такую роспись? Это же росчерк повелителя миров!

— И верят?

— Да чему же тут не верить, голубчик! — воскликнул Мироходов. — Я ее специально грязными пальцами хватывал, чтобы был настоящий документ! Они всякой бумаж-

ке верят. Вы думаете, Минкину хочется мою газету закрывать? Не читал он мою газету! Он и помещение реквизиловать не хочет: не видно разве — борец, фанатик! Ему нравится ходить и власть употреблять. Образ власти для него теперь — любой текст, написанный на бумаге. А уж когда бумага адресована лично ему... воля ваша, устоять невозможно! Он ведь послезавтра опять придет.

— А вы?

— А я ему опять бумагу, опять с печатью.

— А если узнает, что нету никакого Грачева?

— Да как же он это узнает, ежели и комиссии никакой нет! — вознегодовал Мироходов на непонятливость собеседника, от которого впряме был ожидать все-таки большей сообразительности. — Не может же он знать все комиссии! Их сейчас знаете сколько — комитетов, подкомитетов? В иерархии черт ногу сломит. Но раз его знают — значит, вышестоящие. Признак вышестоящего — знать подчиненных. А почему он ведаёт, вдруг этот Грачев шишка, вдруг он за неповиновение поперет Минкина из комиссаров на германский фронт?

— Но рано или поздно это раскроется, — покачал головой Ять.

— Рано или поздно все это кончится, — Мироходов обвел рукой окружающее пространство и вернулся в кабинет.

— Знаете что, — смеясь, проговорил Ять. — Выпишите и мне такую бумажку! Если не пригодится при встрече с патрулем, я для истории сберегу.

— Да пожалуйста, — пожал плечами Мироходов. — Будете писать мемуары — не забудьте упомянуть, что это придумал редактор «Нашей речи», большой путаник, но человек приличный.

Он взял лист серой бумаги, задумался, потом решительно начертил несколько строк и вручил Ятю. На листке стояло: «Справкой удыставерено, что предъявитель сего совершенно благонадежен и мною лично на сей предмет рассмотрен. Председатель Петр. Раб. Сов. По вопр. Пролет. Благонад. Павлинов». Росчерк занимал всю нижнюю половину страницы и в самом деле напоминал распущенный хвост.

20

На Сенной перед Ятем в наибольшей полноте и яркости развернулось зрелище, которое он привык уже видеть в Петрограде с пятнадцатого года, с первых военных неудач: иное дело, что в конце последней осени процесс этот невероятно ускорился. На всем необъятном рынке с его колеблющимися, притопывающими, дышащими паром рядами, как и по всей России, тоже колеблющейся и окутанной паром, шел обмен необязательного на необходимое, избыточного на насущное. То, что было духовным хлебом для сотен — хорошо, ежели тысяч, — менялось на хлеб как таковой, сырой и землистый. На Сенной деньги стоили мало; валютой служили картофель, коричневые кубики мыла, плоская серебристая вобла с ее невыносимым и все же аппетитным запахом (и в нем-то Ять видел воплощение главного противоречия своей нынешней жизни — смесь отвращения и жадности, с которыми ел, смотрел, прислушивался).

Странным казалось, что столько сложных, изысканных атрибутов прежней жизни враз потеряли смысл. Все они обладали ценностью только во взаимосвязи, условием существования каждой была тысяча других, — сами по себе они были странны, как вынутая из мозаики стеклянная чешуйка с обрывком линии, пятнышком цвета. Во множестве продавали книги, и вид у торговцев был отнюдь не жалкий, как думал пугливый Ять, опасаясь слишком переносимых впечатлений; расставање с книгами, понял он вскоре, вовсе не мучительно. Многие он со временем не только продал, а и сжег — февраль был жестокий, — но ведь тело книги, в сущности, служило только бедной оболочкой ее души, которая давно перекочевала в его собственную. Продавая книгу, ты ее не лишался. Были, конечно, картины душераздирающие, и с одной из таких начался для Ятя долгий обход Сенного. На углу Садовой стояла невысокая старуха, явно из мещанок, в длинном суконном

пальто и темно-зеленом платке. На снегу рядом с ней лежала стопка книг, по виду самых дешевых, не единожды прочитанных, — Ять привычно различил Назродскую; сверху лежала впервые им виденная книжка «Тепло и уют в вашем доме» — одно из бесчисленных и бесполезных пособий (полезных он не встречал), которыми вдруг наполнились книжные прилавки году в десятом. Тогда все кинулись догонять время, обустроить свою жизнь сообразно с прогрессом — словно, отчаявшись одолеть проклятые вопросы, решили зайти с другой стороны и попытаться наладить жизнь снизу, без оглядки на абсолют. Поток хлынули брошюры, и если какой-то год назад это были рекомендации по исканию и созиданию Бога, по овладению тайнами Тибета, то теперь тайны Тибета упоминались лишь применительно к аптеке, кухне и затеям под одеялом (восточная мудрость проникла решительно во все). Обывателя учили украшению жилищ, мясной и вегетарианской диете, уходу за ногтями, стихосложению, искусству составления писем; многие приятели Ятя сделали тогда небольшие, но быстрые деньги на выполнении заказа времени. Потом пришла сначала порнографическая, а затем патриотическая мода, между которыми успела еще вклиниться волна любовных саз, каждая по три тома.

Нынче, однако, никакая высокая словесность, полная великих страстей, не могла бы тронуть Ятя больше, чем копеечное руководство по обустройству жилья. Вот же, были в доме этой старухи тепло и уют, которые она старательно, по брошюре, наводила. Были те, для кого она старалась, были наивные, жалкие ухищрения, все та же ненасущность и избыточность — прелестные мелочи вроде салфеточек, вышивок, гардин. В жизни не думая об украшении собственного жилища, презирая потуги на стиль, — теперь Ять готов был плакать от умиления при мысли о милом домашнем труде. Он хотел было взять у старухи книгу и непременно взял бы, будь у него свободные деньги. Когда час спустя он покидал Сенную, старуха все так же стояла около своей стопки, и так же

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

на ледяном ветру предлагала свои советы лиловая брошюра «Тепло и уютъ в вашемъ доме».

Но попались ему и утешительные зрелища. Рослый профессор исторического факультета, из немногих последних дворян, всею статью своей опровергавших тезис о вырождении аристократии, неуступчиво и грозно торговался за толстенную «Историю италянской живописи», с красочными вклейками, проложенными папирсной бумагой, и множеством фотографий среди текста. Прогнал он дорого — когда Ять проходил мимо, речь шла о превосходном ватном пальто, в котором легко можно было пересидеть в квартире любой холод даже при недостатке дров. До войны такая книга, изданная вдобавок в Италии, потянула бы на четыре ватных пальто, но по теперешним меркам торг был равный. Ять слушал однажды лекцию этого профессора и поражался его импровизационному дару, почти спекулятивной легкости извлечения концепций из любых двух сведенных вместе мелочей; теперь профессор спекулировал не менее убедительно.

Проходя по рядам, Ять дивился количеству отсеянного, выброшенного за границы жизни. До этой последней правды хотел дойти враг условностей Толстой, но ему не дано было понять в остервенелом срывании покровов, что только в покровках и заключается вся прелесть, весь смысл. Персики делались неотличимы, когда их объедали до косточки, а люди делались не просто равны, но одинаковы, чуть только сквозь мишуру личных примет и смешных странностей злорадно, словно намекая на ошибку метода, оскаливалась основа. И Ять не удивился, обнаружив в одном из рядов скелет — лаборант горячевских курсов распродал учебное имущество.

— Это что ж у тебя, дружок, что ли? — невесело усмехнулся, проходя, желтолицый горбун в подрезанной шинели без погон и фуражке путейца. — С голоду помер, так не пропадать же?

— Первый друг! — радостно отвечал лаборант. — Возьми, браток. Мементо мори.

— На что он мне, я скоро сам такой стану, — горбун сплюнул и двинулся дальше.

Откуда бралась в городе еда, которую можно было теперь увидеть лишь на Сенной, — Ять не знал и вникать не хотел. Привычный ход воображения подсказал ему рассказ о стране, в которой ничего нет и в то же время все есть, но где-то там (придумать ряд условий, которые надо соблюсти, чтобы попасть туда — грэмовской разрядкой); в городе нет трамваев, извозчики редки, не горят фонари, — там, напротив, от трамваев тесно, иллюминация горит, как днем, и все, чего нет здесь, там в избытке. Отсюда само следовало, что все, отсутствием чего он так остро мучился здесь, перекочевало туда и пышно расцвело — любовь, мудрость; загадка была в том, что сосредоточено все было не в одном месте, а в нескольких, которые надо знать. Еды в городе нет, но вся еда — на Сенном; трамваев нет, и все трамваи на Стрельне; нет любви, и вся любовь... Господи, куда же поместить ее? Какая часть города казалась ему средоточием нежности? Вероятно, на какую-то из набережных: любовь никогда не связывалась у него с уютом, с теплом постели — всегда с простором, с ясными небесными красками: Пряжка, дымы, залив... Вся мудрость, естественно, поместилась на Елагином, где мудрецы, лишенные еды и привычной роскоши, корпят над отысканием причин этого внезапного перераспределения. Очень хороша могла быть сцена в пустой Стрельне с безлюдными, праздно ржавеющими трамваями, тоскующими по пассажирам. Электричества тоже нет... где же все электричество? Царство сияющих дуг, свист стремительно летящих частиц; любой, кто попадает в это пространство, чувствует, как сквозь него мчатся незримые лучи. Это должно быть похоже на ледяной души, на пролет сквозь грозовую тучу... может быть, один из островов? Лучшее Марсово: оно и так поле.

Так из утопии равенства, распределения всего между всеми сама собой получилась и почти уже осуществилась сказка о том, как все собралось сгустками и осело в разных частях Петрограда. Что же на его Зелениной? На па-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

смурной Зелениной ему захотелось поместить все одиночество мира, переставшее быть проклятием — ставшее блаженством и доставшееся ему. Но чем кончить, как смешать все это воедино? Почему из великого смешения получилось предельное расслоение — и когда это вышло? Видимо, ничего ни с чем нельзя было смешивать: мир состоял из вещей, все более отдельных и все менее стыкующихся. Никак нельзя было собрать воедино мудрость и любовь, и ни одна из них не годилась для союза с едой... Это могло получиться весело, особенно если решить повесть (разумеется, рамки рассказа уже будут этой истории тесны) как странствие героя через расслоившийся город, от трамваев до независимости, сквозь электрическое Марсово поле... Он запомнил сюжет и пообещал себе вернуться к нему вечером, после празднества. Здесь, на холоде, сил хватало только на первый толчок замысла.

Он выменял запонки на грудинку, за триста пятьдесят керенских рублей купил фунт карамели и отправился домой.

21

Квартира, в которой они собрались, тронула Ятя с самого начала, и весь вечер обещал удалиться — еще когда в серых петроградских сумерках, под мелкой и влажной метелью, он подходил к дому на седьмой линии Васильевского острова. Даже в воздухе разлилось что-то праздничное, обещающее. Дом был старый, годов семидесятых, с высокими лепными потолками. В прихожей Ятя встретила невысокая светловолосая девочка лет шестнадцати, в неправильном и милом ее лице светилась кроткая приветливость, и все опасения Ятя насчет того, что он окажется чужим среди молодежи, немедленно развеялись. Она так серьезно и аккуратно принялась отряхивать его шапку, что он, давно не выдавший ничьей заботы, смутился. «Проходите, почти все уже здесь, — сказала она не приглашающе даже, а просительно. — Я Зоя». Это и была хозяйка, о которой говорил Казарин. Ять церемонно вручил ей карамель и грудинку.

Зоя, дочь адвоката Коротина, впервые принимала гостей одна: родители решили устроить дочери настоящий взрослый праздник (как-никак шестнадцатилетие!) и отправились к друзьям на Зверинскую. Они прекрасно знали круг знакомств дочери. Петроградский союз учащихся был представлен в тот вечер лучшими своими людьми. Тут сошлись все, кто с февраля по декабрь успел проявить блестящие ораторские способности и даже дар организовывать митинги, и все эти гимназисты искренне полагали, что делают великое и святое дело, в меру сил способствуя раскрепощению самого бесправного класса — детей. Зайкины родители не находили ничего дурного в деятельности Союза учащихся, которая почти совершенно свернулась к началу нового года, но дружеские связи, слава Богу, не порвались. Все это были мальчики с задатками и девочки с запросами, из которых несомненно образовался бы цвет будущей государственности, если бы свободное государство не было удушено в зародыше. Зоя, которая казалась отцу изнеженным и домашним ребенком, много выиграла от участия в Союзе, обзавелась друзьями, расцвела на глазах — и оставить ее дома одну с компанией сверстников можно было без всякого риска. Естественно, мать приняла живое участие в подготовке застолья: изобрела несколько видов картофельных закусок, поджарила хлебцы, кое-что было прикуплено и отложено заранее — контраст между роскошью сервировки и скудостью угощения способствовал непредвиденному, но от того не менее обаятельному комическому эффекту. Народу собралось чрезвычайно много — гораздо больше, нежели рассчитывала Зоя, которую вслед за родителями все друзья называли Зайкой; хорошо, что каждый что-нибудь принес — иначе совсем нечем было бы накормить нежданную ораву и Зайка опозорилась бы на первом самостоятельном приеме. Явился Карамышев, сын арестованного министра, пришел его друг, студент-филолог Лосев; Казарин пригласил Льговского, с оратором Бражниковым пришел его старший брат, и средний возраст собравшихся вскоре повысился с шестнадцати до девятнадцати. Самого Казарина с Ашхарумовой еще не было — они обещали подойти к одиннадцати.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Это были хорошие дети, балованные и потому добрые, — мальчики и девочки из хороших семей, те, кому Ять с юности завидовал голодной завистью разночинца, — однако, несмотря на все разговоры о дворянском вырождении, они и теперь, в голоде и скудости, держались с достоинством маленьких лордов, с презрением ко всему внешнему, свойственным одним наследным принцам. Они были элегантны в подростковых платьицах и курточках, из которых успели вырасти, аристократично ели поджаренный черный хлеб, картаво и светски щебетали, и прелестна была их молодая способность еще трунить над всем, что вызывало скучную скорбь взрослых людей образованного круга. Воспитанные на всем лучшем, они безошибочно уловили второсортность обещанной свободы. Пока, однако, им было очень весело. Разговор некоторое время покрутился вокруг нового года, в котором фантастичность обыденности должна была достичь новых высот и превзойти самое изобретательное изображение. Ять рассказал о грядущей отмене зимы, чем вызвал дружный хохот; затем выслушал несколько остроумных соболезнований по поводу своего упразднения. Кое-кто его читал, кто-то даже помнил отдельные фельетоны февральской поры («в которых было отрезвление», — с важностью заметил Коля Карамышев; стало быть, и министр читал, — и Ять улыбнулся собственному тщеславию). Правда, сущим кумиром этой молодой публики оказался почему-то Льговский, чьи «Проблемы структуры» Ять так и не осилил, ибо не верил в возможность статистического подхода к лирике. Льговский, многих узнав в лицо (очевидно, то была его постоянная публика), заговорил о том, что каких-нибудь сто лет спустя все реалии нынешней петроградской жизни покажутся вымыслом.

— Да и мало фактов уцелеет, — говорил он, блестя глазами и посылая в разных направлениях заговорщицкие улыбки. — Никто не пишет прозы, и хорошо, если от этой эпохи останутся хотя бы дневники. Ведите дневники, это литература будущего! Проза действительно сейчас бессильна, ее напишут нескоро. Нельзя уже написать «Иван Иванович пошел», «Антон Антонович сказал»... Мера условности превышена.

Можно написать «Петр Петрович полетел», и этому поверят скорее.

— А от прежней жизни и вовсе ничего не останется, — подхватил студент-филолог. — Я сейчас уже многие стихи читаю и поражаюсь: о чем идет речь?

— Да, да! — Льговский расхохотался. — Представляете себе, как будет выглядеть через сто лет реальный комментарий... Господи, ну хоть к «Незнакомке»! Все ведь смешается, для потомков седьмой и семнадцатый год будет — одно!

— Попробуйте, попробуйте! — умолял сквозь хохот Бражников.

— Ну, извольте. Как это понять: «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух»? Вероятно, в ресторанах готовят пищу и жар поднимается вверх: стоят огромные жаровни, на них мясо... несвежее, разумеется, потому что свежее негде взять, — так что вокруг разносится «весенний и тлетворный дух»: именно тлетворный.

— «Чуть золотится крендель булочной!» — продолжила высокая горбоносая девушка с прелестными миндалевидными глазами; ее называли Идой. — Дело в том, что накал электрических лампочек внутри кренделя соответствовал количеству хлеба в булочной, и если ток был слаб, то крендель именно «чуть золотился». Отсюда же и «детский плач», раздающийся неподалеку: детям не досталось хлеба!

— «И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки!» — подхватил Мика Бобышев. — Дело в том, что горожане не выходили на улицу без котелков, в которые складывали кашу... солдатскую кашу, которую иногда раздавали на улице голодным... Но котелок был предметом дорогим и редким, взять его было негде, и потому петроградцы вырывали котелки друг у друга...

— Заламывая руки, — кивнул Льговский. — «И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен» — это, конечно, Пяст, близкий друг автора в исследуемый период; он отражен в стакане, ибо подкрался к автору сзади и намеревается выхватить у него из-под носа вождельный сосуд... Спиртное было в городе на вес золота!

— «Девичий стан, шелками схваченный!» — чуть не визжал от восторга Бражников. — Шелка — члены так называе-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

мой Школьной Единой Литературно-Критической Ассоциации, страшные бандиты из совета учащихся, нападающие на женщин по ночам. Женщины, схваченные шелками, никогда не возвращались...

— И заметьте, — уже серьезнее продолжал Льговский, — что вся эта музыка, гипнотизировавшая ваших родителей, а быть может, и вас, — сегодня никого уже не тронет, все приемы обнажены, торчат! Звукопись, сквозные «а» и «е», несколько искусственная музыкальность... а в целом — слово размыто, оно больше не значит!

Ятя хотел ему возразить, но понял, что ввяжется в долгий спор и будет наголову разбит статистическими аргументами; рано или поздно эти дети все равно поймут очарование ненавистной баллады, в которой запечатлелась его собственная глупая юность. В конце концов, немзыкальные времена невечны, отлив закончится, начнется прилив — и на черные обнажившиеся скалы хлынет живительная вода, и сами эти скалы в разводах, ракушках и трещинах предстанут под нею райскими садами.

Но пора было подумать о паре. Последняя связь Ятя, тяжелая и нервная, оборвалась в сентябре; с тех пор он жил монахом. Не сказать, чтобы это слишком его тяготило — но с тридцати пяти он все чаще просыпался по ночам, вспоминал не то, что хотелось бы... Отказ отказом, но живому довлеет закон жизни. Вокруг сидела прелестная молодежь — почему бы и нет?

Однако у прелестной молодежи были свои пароли и явки, система общих воспоминаний, в которой Ятю не находилось места. Эта компания еще до всякого Союза учащихся ездила в Озерки, бегала в синематографы, ходила на поэтические вечера, — и не то чтобы у всякой девушки непременно был кавалер: просто девушки пока и не особенно нуждались в кавалерах. Здесь царила подростковая дружба, хотя и не без того, что Толстой называл влюбленьем. Куда было Ятю с его вполне понятной целью — тут полагалось долгое ухаживание, общность интересов... Пожалуй, Ида была недурна; Зайка совсем некрасива, но до невозможности обаятельна. Ей ужасно хотелось, чтобы вечер удался, чтобы его запомнили. Она ловила все взгляды, кидалась поддерживать все разговоры, —

это была не светскость, а детскость, трогательное желание сплотить и развеселить. Ять заметил славную летучую рыбу, улыбающуюся с полудетского рисунка на стене, в самодельной рамке, — Зайка перехватила и этот его взгляд и закивала: «Очень красиво, правда? Прелесть... Это Юра нарисовал!» — и показала на студента Лосева.

Вот эту девочку и жальче всего, подумал Ять. Я все думаю, кто больше всего проиграет от происходящего, и забываю, что хуже всего придется маленьким добрым девочкам. Это перед ними больше всего виноваты декаденты всех мастей, посеявшие бурю... Когда все стало можно, большевики пришли на готовенькое. И пострадают от них больше всего, естественно, не стены Кремля, — стенам Кремля ничего не сделается, они и не такое видели, — а девочки вроде Зайки. Сейчас Зайка как раз командовала мальчишками, чтобы те убрали стол и освободили место для танцев.

22

Ять пьянел — давно не пил, а тут, помимо единственной бутылки шампанского, извлеченной из старых адвокатских запасов, стол украшала литровая бутылка спирта, который разбавляли «крюшоном» — так Зайка называла разведенное в воде клубничное варенье с крупными размокшими ягодами. Спирту принес Барцев, он в основном на него и налегал. Члены Союза учащихся пригубили, поморщились и отставили кружки. Ять, чувствуя ностальгическую грусть среди этих милых детей, выпил кружки три и проходил теперь все привычные стадии опьянения (особенно заметные, когда пил дрянь): сначала сентиментальность и умиление, потом беспричинную, тяжелую злость и под конец непобедимую сонливость. Сейчас он как раз переходил от умиления к раздражению. В начале двенадцатого, как и обещали, пришли Казарин с Ашхарумовой. Они явились не одни — Казарин прихватил любимого ученика.

Ашхарумова показалась Ятю еще красивее, чем прежде: черное бархатное платье, правда уже коротковатое, шелко-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

вые чулки, туфли, принесенные с собой в газетном свертке; преобразование ее совершилось мгновенно — только что в прихожей стояла рядом с Казариным снежная баба в толстой шубе, платке, валенках... Зайка кинулась целовать ее и тормошить — видно было, что она влюблена в Ашхарумову, как только добрые и некрасивые девушки бывают влюблены в блистательных старших подруг. Казарин нацепил на свой черный фрак линялый красный бант и острил по этому поводу. Их спутник, юноша лет двадцати, с моноклем, не понравился Ятю с первого взгляда: уже по тому, как он небрежным кивком поздоровался со всеми сразу, бегло оглядел присутствующих, вошел в комнату, уже по тому, как безукоризненно он был одет, как гибко опустился в кресло и замер в расслабленной позе, — видно было, что ученик Казарина, как почти всякий ученик, усвоил у него худшее, а лучшего не перенял. Казарин мог быть снобом, игроком, нищсеанцем, дешевым парадоксалистом, — но его жег пламень нешуточный. Ученик, представившийся Стечиным — имени не назвал, — слишком позировал каждым своим жестом, чтобы заподозрить в нем талант (для Ятя талант начинался не то чтобы со вкуса, — он знал, что талант и вкус часто враждуют, — но с простого, ненатужного, лучше бы иронического отношения к себе). И копившееся в Яте раздражение тут же обратилось на Стечина: тот молчал, но Ять поглядывал в его сторону, ждал, когда эстет заговорит и можно будет его срезать. Эсте-ты обычно полуграмотны.

Танцевали немногие — под граммофон, пост у которого тут же занял старший брат Бражникова. Между танцами Мика стал вдруг упрашивать Барцева, чтобы тот почитал, и Барцев принялся читать стихи, в которых Ять ничего не понял. Размер и рифма были в них соблюдены образцово, наличествовала даже какая-то звукопись, но смысл ускользал после первой же строчки. Барцев читал громко, скандируя, делая ударения на самых неожиданных словах: «Рас-кру-тил-ся ШАР фонарный, опустился ЖАР угарный, рухнул локоть, встал рассвет, хочешь плакать? Можно нет. Вот корова, вот пятно, вот мужик и домино. Говорили мужику: ты умеешь ку-ку-ку? Отвечает ирокез: я желал бы наотрез». Сочинить та-

кое можно было только в наркотическом бреде или шутки ради, но Барцев был необыкновенно серьезен и умудрялся как-то помнить свои алогичные сочинения. Мика, однако, покатывался. Остальные слушали с вежливым недоумением.

— Скажите, — спросил Ять, когда Барцев вдруг выпалил «Всё!», тряхнул головой и сел на диван. — Скажите, как вы их запоминаете?

— Они нетрудно запоминаются, — объяснил Барцев. — Попробуйте, сами увидите. Мне гораздо труднее запомнить «Мой дядя самых честных правил». Какой дядя? Что мне за дело до его дяди? Я пишу лучше, потому что занимаюсь конкретным искусством. У меня слово опять значит. Я его помещаю в контекст, где оно не должно стоять, и в этом контексте оно обнаруживается. Дама надела домино — скользит мимо слуха, но мужик надел домино — а еще лучше, мужик надела домино, — высвечивает и домино, и мужика.

— Это сильнее футуристов, — покачал головой Ять.

— Вы совершенно правы, — без тени иронии кивнул Льговский. — Стихи Барцева идут много дальше того же Корабельникова. Что такое Корабельников, поэт большой, но, я полагаю, уже исчерпанный? Он мой друг, отличный парень, но его стихи — тот же Надсон, переписанный дольником. Он крупный мужчина, его не понимает маленькая женщина, от этого он злится на весь свет и считает себя революционным, но революционности в нем не больше, чем, например, в «Записках охотника». Он нигилист, Базаров, шестидесятые годы. А Барцев и его друзья по конкретному искусству — это действительно революция, хоть и ямбом, потому что вещь вырывается из привычного ряда и ставится в другой, что мы и наблюдаем сейчас.

— Но ведь в итоге получается поэзия, которую невозможно любить, — улыбнулся Ять. — Можно слушать, допустимо как эксперимент, но вы не станете этого читать на любовном свидании...

— Я непременно стану! — крикнул Мика. — Смех сблизает.

Казарин снисходительно улыбнулся, Стечин остался неприоницаем. Льговский не очень понятно заговорил о том, что

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

комический эффект продуцируется в таких стихах помимо авторской воли и возникает по принципу средневекового карнавала, когда на место сакрального символа помещается символ непристойный. Он заметил также, что поэзия вообще не для чтения, не для услаждения приказчиков («Я не вас, конечно, имею в виду. Но сколько напортили поэзии приказчики всех родов со своими вкусами! Сколько сладкозвучных, слащавых, фальшивых пустышек было ради них понаписано!»). Поэзия существует для изучения, как, например, Мельников.

— О, Мельников! — подхватил Барцев, одобрительно кивавший все время, пока Льговский многосложно его интерпретировал. — «И ты, бряцающий толпою, и ты, глотающий песок, грохочешь молнией тупою и возрождаешься, как сок!»

— Только бессмысленное прекрасно, — улыбнулся Льговский в заключение своей тирады, — и вы сами, помнитесь, писали об этом.

— Я писал о вещах, лишенных прикладного смысла, — поправил Ять. — Я говорил о том, что прекрасны только вещи, польза от которых неочевидна. Но ваша поэзия, думается мне, сознательно уходит от своей первостепенной задачи — гармонизировать мир, делать его выносимым, фиксировать какие-то состояния, в которых вы могли бы узнать собственные...

— Вы гораздо больше собственных состояний можете узнать в моих стихах, — уверил его Барцев и принялся читать, словно раскалывая каждое слово надвое: — Вот: «Гаме-эли, бени-оли, Шами-лона, Мале-она»... Вы можете думать, что это о вашем отчаянии, а кто-то решит, что это об удачно выдержанном экзамене. Это понятно человеку любой страны и даже любой планеты.

— А может, вы и правы, — махнул рукой Ять. Льговский примирительно засмеялся.

Старший Бражник сел к фортепиано и принялся артистически наяривать полечку, Мика подхватил и закружил Зайку, а Казарин подсел к Ятю и, весь светясь тихим счастьем, предался воспоминаниям.

— Все мы говорили о крахе, о гибели, а были между тем

здоровые, богатые, молодые люди, полные желаний, и смерть нас манила как одно из неизведанных наслаждений, чуть более экзотическое, но и только. Вы видели шубу Брюсова? Человек в такой шубе — неужели может искренне хотеть гибели?

— Он никогда и не хотел, — пожал плечами Ять.

— Ну, не он же один так любил роскошь и почет... Или Бугаев: написал мне однажды письмо... Я думаю, что могу рассказать его содержание, потому что он всем так писал, и в статьях тоже. Что-то о черной птице, которая шелковыми крылами весь мир занавесила; что-то про плат зари... И тут же, около плата, — оплата: подробнейшие расспросы, сколько платят в «Мусагете» (я был туда вхож), сколько могут ему дать за лист... Сто рублей просил за лист, вы слышали о чем-нибудь подобном? Ясно же после этого, что все его черные птицы с шелковыми крылами не стоят ломаного гроша...

В этом был весь Казарин: безошибочно выискивал смешные и натянутые фразы в сочинениях больших поэтов и жестоко высмеивал тех, кто, несмотря на все свои провалы и глупости, был в тысячу раз отважнее. Бугаев написал пропасть всякой ерунды, но поэт был несомненный и прозаик, при всей своей вечной путанице, большой: во всякой фразе слышался живой голос. Казарин больше всего добивался, чтобы его самого в его писаниях не было видно, — Бугаев распаивался в каждой строчке.

— Но теперь, — продолжал Казарин, — теперь, когда все мы действительно лишились всего, я действительно слышу эту самую, столько раз осмеянную и опошленную музыку сфер. Словно убрали все лишнее. И если литературе нашей остались каких-то два года, прежде чем нас перебыют или мы сами вымрем, — это будут прекрасные два года, римские годы музыкального упадка...

— В римском упадке не было ничего музыкального, — сказал Ять. К ним подсел Барцев, и Ашхарумова скользнула по нему любопытным взглядом. Барцев был широкоплеч, конопат, трогательно курнос, под рыжими бровями часто моргали глаза — большие и несколько телячьи. — И я не ду-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

маю, — продолжал Ять, — что нас ожидает только упадок. У меня всегда было подозрение, что гибель — наша собственная выдумка, что мы свою гибель принимаем за конец Европы. А между тем наступает конец лишь нашей замкнутости в собственной скорлупе, может прийти свежая сила — как в шестидесятые годы пришли разночинцы, — и жизнь обновится.

— Ну что это такое! — воскликнул Казарин. — Не крестьянство же вы имеете в виду!

— Нет, конечно, не мужика... Я же говорю не о гении от станка или от сохи. Просто сами события придадут сил нам, все тем же нам, — уже появился истинный масштаб происходящего, как в начале войны. Не знаю, как вы, а я тогда радовался. То есть знал, что это постыдно, и в то же время ликовал: всем нашим связям, литературным потугам, внутрицеховым спорам вдруг придали дополнительное измерение. Историей запахло. И заметьте, что в самом августе очень многие стали писать, как давно не писали, — вовсе не о войне... Мне кажется, и сейчас будет что-то подобное.

— Обязательно, — заговорил Барцев и, как часто бывает, взяв сторону Ятя в споре, немедленно сделал его позицию смешной и жалкой. — Вот я читаю сейчас Пушкина — и мне тесно в его словаре. Словарь в несколько сотен слов. Лексикон поэту надо расширять за счет улицы, впускать в стихи техническую речь...

— Ах, да я вовсе не о том, — махнул рукой Ять и закачался продолжать полемику.

Как всегда, он оказался меж двух огней: Барцев, милое и глупое дитя, понес какую-то новомодную чушь про техническую речь, чтобы произвести впечатление на Ашхарумову, Казарин упивался гибелью, — несомненно, с той же целью, — а он, как идиот, пустился в серьезный разговор о будущем литературы. Опьянение вступало в новую стадию — поднималась тяжелая злоба. Этим людям всегда было безразлично все, кроме производимого ими впечатления.

— Ну, а вы что думаете? — спросил наконец Ять у Стечина, почти грубо прервав рассуждения.

— Я ничего об этом не думаю, — пожал плечом Стечин.

— То есть как?

— Я не думаю о таких вещах.

— Вероятно, вы слишком для этого хороши? — открыто нагрубил ему Ять.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — высокомерно отвечал Стечин, отворачиваясь.

— Я вам поясню, — сказал Ять почти вкрадчиво. Он чувствовал прилив настоящего бешенства и знал, что в таких состояниях бывает грозен. — Вы, вероятно, полагаете нужды грешной жизни слишком мелкими для того, чтобы человек вашего круга на них задерживался?

— Я не мыслю в таких категориях, — снова пожал плечом Стечин. — Я не пользуюсь такой лексикой — «нужды грешной жизни», «человек моего круга»... Я не работаю в прессе.

— То есть вам не нравится язык прессы? — еще вкрадчивее продолжал Ять. — Отлично, отлично! Я сам ненавижу его! Знаете, именно необходимость зарабатывать хлеб в газетах — это наследие первородного греха, если позволите, — лишила меня должной высоты взгляда. Я понимаю, какой чудовищной пошлостью должны вам казаться любые разговоры о политике, о размерах хлебного пайка, о деньгах, наконец... Человеку, напрямую подключенному к сферам, из которых истекают ледяные ливни искусства... так, кажется, писал г-н Маринетти?

— Мне нет дела до того, что писали всякие пошляки, — сказал Стечин, не пошевелившись в кресле. Набор пренебрежительных жестов был исчерпан: он уже и отворачивался, и пожимал плечом, и закурил — больше демонстрировать высокомерие было нечем. — Я не понимаю, с какой стати должен отвечать на ваши вопросы.

— Боже упаси, вы никому ничего не должны! — воскликнул Ять. — К вам обратились с вопросом, желая вовлечь в разговор. Тысяча извинений. Мне показалось, что вам скучно...

— С собою мне не бывает скучно, — с великолепным презрением ответил Стечин.

— Будет вам задираться, Ять, — попытался урезонить его Казарин. — Валя — человек другого темперамента, даже я не могу вызвать его на спор...

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Именно не можете! — продолжал Ять, замечая, что никто уже не танцует и не меняет пластинок — все следят за их ненужной, неуместной ссорой, — но остановиться уже не мог. — Пока мы с вами спорим, пока другие идиоты убивают друг друга — Валя покоится на своем Олимпе, совершенный, холодный, пресыщенный всем, признающий из всего мирового искусства только две строчки Рескина, три стихотворения Уайльда, хлястик пальто Метерлинка... Валя, вы любите кокаин?

— Я люблю, когда меня оставляют в покое, — отчеканил Валя. — Я люблю, когда люди знают свою меру и не пьют больше положенного.

— О да, да! Слово сказано: знание меры! Вот оно, истинное знание меры. Валя, позвольте перед вами преклониться: когда бы вы знали, до чего же я люблю людей, которые всегда правы! Ведь вы никогда ни в чем не замараетесь, потому что никогда и ни в чем не будете убеждены. Скажите, Валя: когда вы в последний раз заглядывали в газету?

— Вячеслав Андреевич, — обратился Стечин к Казарину. — Вы разрешите мне уйти? По-моему, я сильно раздражаю этого господина, и он уже не вполне владеет собой...

— Помилуйте, зачем же вам уходить! — пылко воскликнул Ять. — Как можно выживать из дома безукоризненного денди вроде вас. Оставайтесь, заклинаю! Ведь ваш выбор определен? — он обернулся к Зайке. — Ведь в вашем молодом обществе, конечно, уместнее эстет? Ради Бога, простите, что я позволил себе напомнить о реальности. Реальности нет. Честное слово, я восхищен людьми, идущими на смену! Помните, Вячеслав Андреевич, когда мы пытались усовершенствовать реальность — ничего не выходило; пришли люди, попросту упразднившие ее! И самое поразительное — поверьте, я не так еще пьян, чтобы этого не заметить, — самое-то поразительное в том, что мне решительно нечего вам возразить, — снова отнесся он уже напрямую к Стечину. — Вы умеете каждой своей репликой внушить собеседнику, что он со всеми своими надеждами и опасениями не стоит носка вашего ботинка — о, безупречного ботинка! Вы всегда будете безупречны, а мы обречены на неправоту —

хотя бы уж потому, что у нас есть убеждения, а у вас — только ваша безупречность, ваше презрение прежде всякого знания...

— Это вы на нас новые «Листки» обкатываете? — вяло спросил Стечин. — И много теперь платят за этот бред?

А, радостно подумал Ять, он читает «Листки». Но как стремительно переориентируются наши индивидуалисты: уже заговорил от лица всех! Еще немного — и этот кокаинист расскажет мне о вреде пьянства.

— Ну что вы, — почти завизжал Ять в ответ. — Кто же станет теперь платить за это? Я пишу «Листки» единственно по привычке, а питаюсь подаянием. Хожу в гости, пока пускают, и стараюсь накушаться побыстрее. Благодарю вас, господа, я и так уже злоупотребил вашим вниманием. — При общем молчании он отвесил поклон Зайке-хозяйке, зачем-то подпрыгнул и выпорхнул в коридор, не переставая истерически хихикать. Краем глаза он все время замечал упрямый и пристальный взгляд Ашхарумовой, и в нем читалось чуть ли не восхищение.

Он лихорадочно наматывал на себя шарф, когда к нему в прихожую выбежали Зайка и Барцев.

— Останьтесь, — умоляюще сказала Зайка. Она чуть не плакала: вечер испортился так внезапно и незаслуженно! — Останьтесь, пусть как будто ничего не было... да? Я понимаю, вам трудно, сейчас всем трудно...

Жалость к ней еще подогрела раздражение Ятя против Стечина.

— Видите ли, Зайка, — сказал он очень спокойно, демонстрируя владение собой. — Мы с этим господином распознали друг друга с первого взгляда. Он любит быть всегда прав, я люблю быть неправ. Разойдемся полюбовно. Простите, что я вам испортил праздник, но, ей-Богу, это не нарочно. Возвращайтесь к гостям и постарайтесь все забыть. Спасибо, все было чудесно, и вы чудесная.

— Я с вами во многом согласен, — надвинулся на него Барцев. Он был гораздо пьянее Ятя. — Вы точно сказали: хлястик Метерлинка. В наши времена к символистскому искусству уже нельзя относиться всерьез. Они не поняли

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

величия индустриального века, прошли мимо автомобиля...

— Ага, — сказал Ять. — Искусно как коснулись вы предрассудки Москвы к любимцам, к гвардии, к гвардейцам, гварди-он-цам! Да, да, вы тоже, в сущности, прелестный человек. Будете идти мимо — заходите.

И вышел.

23

Снег облепил, закружил его, обдал свежестью горящее лицо. Ять все еще не утратил хмельного воодушевления. Ему еще не казался постыдным собственный демарш — напротив, он был вполне собой доволен. Он возвращался на Зеленину, размахивая руками, громко разговаривая сам с собой.

— О да! — повторял он. — Да, вы несомненно представляете новую ступень в развитии человека. Но не спешите радоваться. Заметьте себе, что выигрывает всегда тот, кто проигрывает. Вы друг друга пожрете раньше, чем мы успеем что-либо с вами сделать. Вы не сможете воспроизводить себе подобных, потому что при таком взгляде на жизнь какие же дети? Ледяные, бездушные дети гнилого времени, способные говорить только об искусстве и кокаине... бессмертная гниль! Вот кто расчистил путь темному человеку. Пришли и сказали: можно все. Пресыщенные, усталые, безжизненные, испробовавшие все, кроме самого утонченного зла, — и зло пришло, и остановить его некому. Потому что добро стало смешно, пошло, глупо, жизнь вышла из моды — и вот кого вы все пустили в мир!

Об этом следовало еще подумать. Ять почти не чувствовал холода, а заблудиться не смог бы и в бреду: он шел быстро, не прекращая монолога. Страшно хотелось курить, но папиросы он оставил на столе. Вокруг дымилась вьюга, ни одно окно не горело, и ни одной живой души не попадалось навстречу. Шел третий час ночи. Он был уже на Пушкинской, когда фонари на

всей улице мигнули, потом еще раз — и вдруг бледно, смутно загорелись; тут и пурга утихла, как по заказу, и в ровном неживом свете Ять увидел ледяную перспективу улицы, сосулечные наросты недавней оттепели на крышах и карнизах, черные окна — многие с выбитыми стеклами. Он замер, глядя на эту мрачную геометрическую красоту, и вдруг заметил под дальним фонарем маленькую фигурку. На темной ночной Пушкарской в третьем часу стоял ребенок лет восьми — менее всего Ять ожидал увидеть в эту ночь ребенка, и, однако, это не было ни сном, ни галлюцинацией.

Он бросился бежать к фонарю. Там, сжавшись, засунув ручки глубоко в карманы пальто, в самом деле стоял и тихо всхлипывал мальчик. На голове его была вязаная шапочка, на ногах сапожки.

— Что ты тут делаешь? — крикнул Ять. Мысль о грабителях, о возможной приманке, о ловле на сострадание не пришла ему в голову. — Откуда ты?

Мальчик не отвечал и продолжал жалобно плакать, шмыгая кнопочным носом.

— Потерялся ты, что ли? — не отставал Ять. Он вытащил ручки ребенка из карманов, принялся их растирать и греть. Они были ледяными, и Ять испугался за мальчика по-настоящему.

— Я... потерял папу, — чуть слышно ответил ему наконец мальчик. — Мы шли с папой... на него напали, я убежал позвать... никого не было, я бежал... заблудился... Папа, наверное, ищет...

Вид у мальчика был ухоженный, приличный и речь хорошего, воспитанного ребенка; ужасно было видеть его ночью, совсем одного, на пустой улице.

— Ну вот что, — решительно сказал Ять. — Адрес свой ты помнишь?

— Мы... мы живем на Третьей Рождественской, — всхлипывал мальчик. — Дом четырнадцатый...

До Рождественских надо было полгорода пройти пешком — вьюжной ночью предприятие почти неосуществимое, да вдобавок ребенок был едва жив от холода. Завтра с утра надо отвести его к родителям, а теперь

Ять, присев перед ним на корточки, постарался как можно ласковей и убедительней позвать его к себе: отогреется, поест, а там и утро близко. Мальчик едва мог идти, с трудом передвигал застывшие ноги, — шаг через тридцать Ять попросту подхватил его на руки, поразившись, до чего он легок. Свет снова мигнул и погас, но метель не возобновилась (хотя так и казалось, что в темноте она начнется снова); своего уголовного дома он достиг через четверть часа. Хмель не то чтобы выветрился, но перешел в лихорадочную жажду деятельности. Ять был теперь собран и решителен.

Дома он первым делом усадил сонного, покорного мальчика на диван (ребенок, кажется, был в таком шоке от всего случившегося, что новым поворотам в своей судьбе уже не удивлялся), зажег «летучую мышь» — электричества, конечно, опять не было — и кинулся растапливать печь. Тут он обнаружил, что дров почти нету: запастись ими он думал с утра, заночевать собирался в гостях, а уходя от Зайки, о дровах думал меньше всего. Надо было что-то делать — квартиру сильно выстудило. Ять пробежался глазами по книжным полкам и принялся решительно снимать с нижней тяжелые, толстые тома, к которым прикасался редко: тут были собрания сочинений восьмидесятых годов, журнальные приложения, только занимавшие место. Это был первый раз, когда ему пришлось топить книгами, — но, видно, ничего не поделаешь. Да и как могли бы окончить свой путь эти книги, проникнутые такой многословной любовью к человечеству? Единственный способ не то что жечь, а хоть греть людей тяжелым восьмидесятичным глаголом был именно пустить эти тома на растопку. Все эти мысли вихрем пронеслись у Ятя в голове, пока он вырывал отсыревшие страницы и совал их в печь; дальше дело пошло веселее — переплетные нитки сгнили, страницы вырывались целыми блоками, их можно было укладывать, как дрова. Отсыревшая, скользкая бумага занялась не сразу, пополз тонкий едкий дым, но минут через пять все уже шипело и потрескивало,

и змейки пламени тут и там замелькали в бумажной гряде.

Убедившись, что книги занялись (да и три полена у него все-таки еще были — часа на два согреемся), Ять принялся стаскивать с мальчика сапожки и пальтецо, трясти его, тормошить — самым опасным ему казалось именно сонное оцепенение, в которое ребенок был погружен все это время. Он уже не плакал и равнодушно позволял себя раздевать. Под пальто у него оказался праздничный бархатный костюмчик. Печь разгоралась, от нагретого кафеля плыли волны блаженного тепла.

— Сейчас уложу тебя спать, — громко говорил Ять на кухне, раздувая самовар. Он не хотел, чтобы мальчик испугался, оставшись в комнате один. — Выспишься, а завтра, пораньше, пойдем домой. Ты голодный? Сейчас дам хлеба. — Ах, дурак я, дурак, оставил у них все конфеты... Но кто ж и знал...

Он вернулся в кабинет.

— Как тебя зовут?

— Петечка, — тихо ответил мальчик.

— Петечка. Чудесно. Меня зовут Ять. — Он подумал, что представиться так будет веселее. Сейчас надо было как-то его развлечь, вывести из одури.

— Ять? — переспросил Петечка и впервые улыбнулся. — Как букву?

— Ну да, как букву. Я и есть буква. Ты в гостях у буквы. Буква никому не делает зла, она безвредная. Она опасна только для гимназистов. Но ты ведь еще не гимназист?

— Нет, я пойду в гимназию только через два года, — сказал мальчик почти важно. В его речи иногда появлялась эта обаятельная кроткая важность, как бы сама подтрунивающая над собой. Так говорили только дети особого круга, привыкшие, что все умиляются каждой их фразе, и снисходительно принимавшие это умиление.

— Ну вот, а пока тебе не следует бояться буквы Ять.

— А разве буквы живут в домах?

— Ну а как же, — стремительно импровизировал Ять, доставая из буфета хлеб, картошку и воблу. — Ты думал, они живут только в книгах? В книгах, милый ты мой, живут только наши изображения. Сами мы ходим среди вас, но вы нас не замечаете. А тебе повезло, ты в новогоднюю ночь оказался в гостях у буквы. Буква может исполнить многие желания, но только особого рода. Сам понимаешь, если ты сейчас захочешь арбуз, я тебе этого устроить не смогу.

Петечка снова засмеялся — тихо и застенчиво. Вот и ладно, подумал Ять. Приходит в себя.

— Но если ты захочешь всегда писать грамотно, много читать, хорошо запоминать прочитанное — это очень просто. Скажу заклинание — и все исполнится. Вот, поешь.

— А буквы тоже едят? — спросил Петечка.

— Ну что ты. Мы никогда не едим, мы питаемся бумагой. Даже топим бумагой. Но для гостей, умных мальчиков вроде тебя, мы обязательно держим немного еды. К сожалению, я не запас конфет. Видишь ли, я ждал сегодня в гости другого мальчика. Он очень любит воблу.

— Больше конфет? — не поверил мальчик.

— Гораздо! — воскликнул Ять. — Гораздо больше конфет. Есть мальчики, которые конфет не едят вообще, потому что от этого портятся зубы. А рыба, между прочим, прибавляет ума. И если ты будешь есть много рыбы, тебе будет гораздо легче запомнить, где пишется Ять, а где не пишется. Теперь это не требуется, но это ведь временно. Через год-два, когда ты пойдешь в гимназию, потребуется обязательно.

Мальчик неуверенно отщипнул кусок хлеба и надкусил картофелину.

— А яблочка у вас нет? — спросил он робко.

— Яблочко? Яблочко будет завтра. Пойдем к тебе домой и по дороге где-нибудь достанем яблочко. Мы сможем зайти по дороге к букве «я», с которой начинается яблочко, и взять у нее.

— А у вас только то, что начинается с ятя? — догадался мальчик. — А елка? Почему у вас нет елки?

Он даже с буквой не мог перейти на ты.

— Зачем же мне елка? — возмутился Ять. — Ель пишется через «е». Ель и елка — слова родственные, а где появляется буква «ё» — туда я не хожу, потому что мы враждуем.

— Вы поссорились? — уточнил Петечка.

— Да, и очень сильно. Она считает себя самой бедной и обиженной, потому что ее вечно пропускают и изображают без точек. Точки, видишь ли, ее главное украшение. — Ять поневоле усмехнулся. Петечка улыбнулся в ответ: действительно, как смешно считать какие-то точки главной доблестью! — А я считаю, что я гораздо более несчастная буква. Меня все нороят запретить.

— Почему?

— Да говорят, что толку от меня никакого. Ты ешь, ешь, а я буду тебе рассказывать. Говорят, что звучу я так же, как и «е», что от меня одна путаница... Но мы ведь даже выгядим совершенно по-разному! Это все равно, что запрещать одного из близнецов: они ведь похожи, зачем нам двое одинаковых? У тебя нет братьев?

— Только двоюродный, — ответил Петечка с набитым ртом. Ему понравилось ночью есть холодную картошку с маслом, да еще в гостях у буквы.

— Но ведь ты видел близнецов?

— Конечно. У нашего дворника мальчики-близнецы.

— Ну вот. Представляешь, как обиделся бы дворник, если бы одного из них запретили?

— Дворник бы не позволил, — уверенно сказал Петечка.

— Вот и я не позволю, — твердо сказал Ять. — Впрочем, даже если меня запретят, я все равно никуда не денусь. Я только спрячусь. Есть же такие специальные беглые гласные, которые пропадают. Например: дурачок — дурачка. Было «о», и нет его. Спряталось. Вот и я так могу.

— А куда вы спрячетесь? — спросил заинтригованный гость.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Буду жить, где жил, только никто меня не будет видеть. Было в этом доме тринадцать квартир, а станет двенадцать. Эта будет невидимая. На месте двери стена. Только тот, кто меня помнит, сможет ко мне прийти. Ты вот, например.

— Как же я пройду сквозь стену? — не понял Петечка.

— Это для других будет стена. Для всяких дураков. А для тебя будет дверь. Ты сможешь позвонить в колокольчик и войти. И пока ты будешь у меня, никто не будет знать, где ты. Только никому не рассказывай, а то не увидишь дверь.

— А мы пойдем к другим буквам?

— Обязательно пойдем! У буквы «з» весь дом полон зайцев, — фантазировал Ять. — Они скачут прямо по квартире. Некоторые из них з-зеленые.

— Да, — подумав, сказал мальчик. — Вам не повезло. У вас очень мало всего.

— Ну что ты! — замахал руками Ять. — Что за глупости! Я есть во множестве слов, и все эти прекрасные вещи могут у меня появиться, стоит мне захотеть. И вообще, все буквы, кроме нас с «ё», очень дружат между собой и часто ходят друг к другу в гости. Если захочу, я всегда могу взять у «з» одного зайчика.

— И он тогда будет писаться через ять? — с ужасом спросил Петечка.

— Никогда в жизни, — уверил его Ять. — Если написать его через ять, у него тут же отвалятся ушки.

— Отвалятся! — выдохнул потрясенный Петечка.

— Да, да, отвалятся. Именно поэтому каждое слово надо писать правильно. Напишешь хлеб через «е» — и он будет черствый, невкусный. Напишешь печку через «е» — она будет холодная. Понял, как важно писать грамотно?

Петечка уважительно кивнул.

— Ну, вот и славно. Теперь я сделаю так, что ты всегда будешь писать грамотно. Смотри! — Ять полез на дальнюю полку, где лежала у него ароматическая соль, странный подарок Клингенмайера. — Одна щепотка

этой соли, кинутая в пламя, — и ты никогда, никогда уже не сделаешь ни одной ошибки!

Он подошел к печке и, не переставая мысленно благодарить антиквара, бросил щепотку в открытую дверцу. Пламя на миг изменило цвет — стало синим, почти фиолетовым; в комнате резко запахло какой-то пряностью. Запах был сладковатый, вроде коричневого, но гуще и таинственнее.

— Ну вот, — торжественно проговорил Ять. — Теперь ты всегда будешь писать правильно и всегда будешь помнить, как меня найти.

После кружки горячего чая, нескольких кусков хлеба и картошки мальчик осоловел и размяк. Сонные глазки его глядели прямо, ни на чем не фокусируясь. Он даже начал слегка заваливаться набок. Ять поспешил подложить ему под голову подушку и укрыть своим пальто.

— А завтра мы поиграем, — сказал Петечка, принимая весь этот неуклюжий уход с усталой снисходительностью юного принца. — Вы ведь знаете игры? Я знаю много игр, я больше всего люблю фанты и знаю также «Море волнуется»...

Вдруг он вздрогнул и сел на диване. То ли эти игры напомнили ему дом, то ли, как все засыпающие дети, он на секунду очнулся, словно от толчка, перед тем как окончательно погрузиться в сон.

— Но вы не уйдете? — спросил он Ятя, хватая его за руку.

— Нет, нет, что ты, — Ять замотал головой. — Ни за что. Как же ты мне не веришь? Вера пишется через меня, мне все обязаны верить.

Это соображение успокоило Петечку, а может, усталость взяла наконец свое — его сморило окончательно, и, даже не дослушав ответа, он снова завалился набок. Ять укрыл его, подбросил в печь предпоследнее полено и подошел к окну.

Ни звука не доносилось оттуда, и единственное окно, как всегда, светилось напротив: что делалось там? Этого Ять, как ни старался, разглядеть не мог. Свет

пробивался сквозь тонкую кисейную занавеску. Иногда мелькала тень — силуэт был так нечеток, что Ять не понимал даже, мужчина обитает там или женщина. Ничего не было проще, чем зайти однажды в дом напротив и узнать, кто там не ложится до утра; но по вечной своей склонности к тайнам, по давнему нежеланию слишком приближаться к реальности и давать себе отчет в ней он предпочитал пока угадывать, что может делаться за этим окном. Это делало жизнь куда богаче.

Внизу смутно белел снег, девственно-чистый, какого никогда прежде не бывало в Петербурге. Ять, как в детстве, прижался лбом к ледяному стеклу. От его дыхания тотчас расплозлось мутное радужное пятно. Но и холод стекла не мог отогнать страшной, тяжелой усталости, вдруг навалившейся на него. Виноват ли был хмель, вновь догнавший его в тепле, или дело было в ароматической соли Клингемайера, только держаться на ногах не стало вдруг никакой возможности. На него напала та же одурь, что и на мальчика, но на дне сознания тлела, как жар под золой, раскаленная точка: нельзя спать, нельзя, нельзя. Меж тем проскрипело четыре, он восемнадцать часов провел на ногах, намерзся, переволновался, и наконец лег ближе к печке, положив голову на руки. Он знал, что бывают минуты, когда отогнать сон можно лишь титаническим усилием, но именно этого-то усилия никто и не хочет делать, — и тогда происходит ужасное, ужасное. Горе горю, если страж не станет бодрствовать... как это было? Вот такая же сонливость и слабость овладела всеми с самого сентября, и так же вдруг опускаются руки у всех, кто долго пытается спасти почти безнадежного больного... когда остается единственное, спасительное, может быть, усилие. Этих усилий было уже слишком много, и все они ни к чему не привели. Та же одурь... но этой мысли он уже не додумал до конца.

Ему снились пестрые, беспорядочные обрывки — аворцы, визири, темные витые минареты на фоне темно-синего неба с чужими звездами. Дважды он

проснулся, вскинулся: мальчик тихо спал на его диване. Печь медленно остывала, в первое из пробуждений он подложил последнее полено, во второе закрыл заслонку, сберегая тепло, — после этого уже не проснулся до позднего утра. Небо очистилось, комнату заливал янтарный свет. Диван был пуст. Мальчик ушел незаметно, тихо одевшись, не оставив в комнате никакого следа своего пребывания. Ять вскочил, кинулся в соседнюю комнату, заглянул в шкафы, под стол (вдруг прятки?) — нет, странный ночной гость исчез, не желая будить хозяи́на. Верно, сам отправился на поиски дома. Как он дойдет до своей Третьей Рождественской? Ять набросил пальто, выбежал на улицу — никого, только прошла мимо старуха, таща за собой санки с какими-то обгорелыми досками; разбира́ла, верно, пожарище на Арсенальной. Мальчика не было нигде.

Многие потом видели этого мальчика.

24

Во второй раз Ять появился в Елагинской коммуне только через три дня после Зайкиного дня рождения. Он опасался встречаться с Казариным, чтобы избежать его укоров или холодноватого высокомерия, боялся застать там Стечина, с которым пришлось бы объясняться, — а вместе с тем хотелось посмотреть на Ашхарумову, в чем он и сам себе не особенно признавался. Вдобавок он чувствовал род ответственности за всю эту странную затею и не мог оставить дело без присмотра.

Последние три дня он провел в полубреду: система его координат так безнадежно рухнула, критерии так расшатались, что жить сколько-нибудь сознательной и активной жизнью не стало никакой возможности. Может, он и на Елагин шел главным образом затем, чтобы побыть среди людей, знакомых по былому времени. Как главное его качество — безошибочное чувство фальши — могло проявляться только в присутствии этой фальши, так и оценку происходящего он мог вырабатывать только в споре, только рядом с людьми своего

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

круга, которых никогда не бывало много, но теперь не стало совсем.

Что он делал? Сходил на Третью Рождественскую, искал четырнадцатый дом — это оказался трехэтажный пустой, запертый особняк «Лионского кредита»; мальчик что-то напутал — то ли номер улицы, то ли номер строения. Ять для очистки совести поспрашивал немногочисленных прохожих, не видали ли они ребенка восьми лет, в черном пальтишке и коричневых кожаных сапожках, — никто никого не видел, да Ять и сам понимал, что проморгал ночного гостя. Хотя как было не надеяться, что мальчик нашел-таки свой дом? Зрительная память у детей всегда лучше словесной.

В прочие дни Ять что-то писал, что-то читал, к кому-то ходил, соблюдал ежедневный урок по работе над никому не нужной книжкой, покупал у газетчиков «Знамя труда» и «Волю народа», удивлялся тому, что ничего не происходит, что немцы стоят в сотне верст от города и не делают никаких попыток его взять... хотя удивляться этому, в сущности, не деловало: ну, возьмут, и что делать? Ять ловил себя на том, что с интересом ждет любого продолжения: все было лучше, чем эта пауза. Вместе с тем ему казалось иногда, что нечто уже начало происходить, только он утратил чутье. Веяния воздуха, намеки, знаки были теперь слишком тонки, чтобы он мог уловить их. Что-то делалось, тихо и незаметно; темные с какими-то свертками сновали по городу все наглее. Заговор плелся, но цель его оставалась неясна.

Накануне прошел обильный, долгий снегопад, теперь было морозно и ясно. Ять перешел горбатый мостик и по заснеженной аллее, оставляя глубокие следы, двинулся ко дворцу. Охраны уже не было, документов никто не спрашивал. Казарин оказался дома и писал за столом, придвинутым к окну. Ашхарумова сидела в глубоком кресле с вязаньем и, когда Ять вошел, подняла на него черные круглые глаза. Против ожидания разговора о празднике на Васильевском не вышло. В Елагинской коммуне было не до того.

— Здравствуйте, Ять, — рассеянно приветствовал его Казарин. — Слышали, дела-то у нас какие? Раскол, сударь, раскол...

— Как раскол?

— Да садитесь, раздевайтесь. Маша, осталось у нас печенье? (Ятя опять кольнула их семейная идиллия, он все-таки завидовал, хоть и прятался от этой мысли.) Да, голубчик, стоит пятьдесят интеллигентов поместить в замкнутое пространство, где к тому же топят и хлеб есть, — на другой же день разобьются на двадцать фракций. Чем лучше топят, тем больше фракций.

— И сколько у вас пока?

— Пока две. Десятеро отселились, скоро и остальные уйдут. Да это только начало: потом и десятеро расколются... Нельзя же тут жить и не повторять всю общественную структуру. В себе свои болезни носим.

Рассказ Казарина поразил Ятя, но не внезапностью происшедшего, а именно глубокой органичностью, полной и удручающей предсказуемостью его. Началось, как всегда, с еврейского вопроса, с которого теперь начиналось в России все. Заспорили о мере допустимого сотрудничества с властями. Ловецкий, естественно, доказывал, что без службы себя уважать невозможно, что и Батюшков сошел с ума, покинув должность, что в согласии с государством нет ничего зазорного и прочее в таком духе. Фельдман, на беду, заговорил о том, что ежели бы интеллигенция считала для себя более приемлемым взаимодействие с властью, так и власть давно приобрела бы человеческий облик, — а заодно скептически отозвался о бомбистах и прочей крайней оппозиции, наиболее виноватой. Тут, неожиданно для всех, вскочил с места Хмелев и принялся доказывать, что кому-кому, а Фельдману не следовало бы поносить бомбистов, потому что все сделали именно фельдмановские братья, а выходило, что и сам Фельдман.

— Вы о чем изволите говорить? — кротко осведомился карлик.

— Не делайте невинных глаз, не делайте! Я помню, что такое было называться русским в пятом году! Скажи, что любишь монархию или Отечество, — и с тобою никто не захочет разговаривать! Общественное мнение, пружина чести! Кружки грязных, полубразованных ничтожеств, грязные волосы, грязные ногти! Это вы будете теперь ругать русских за то, что они допустили крайность? Это вы смеете теперь упрекнуть их в том, что они предали государя? Сперва вы рас-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

глили страну, а теперь она вам виновата?! — и прочие совершенно, ежели вдуматься, абсурдные инвективы, не имевшие к Фельдману никакого касательства: все знали, что он стоит вне политики и в немногих своих публицистических статьях призывал интеллигенцию прежде заняться собственным образованием, а уж потом — общественным переустройством.

К чести маленького Фельдмана, он пытался погасить скандал.

— Вы раздражены теперь, Николай Алексеевич, — спокойно сказал он Хмелеву. — Успокойтесь, лично вас никто не обвиняет ни в чем. Хотя бы среди нас вы могли бы не искать врагов.

Последнее «мы» взорвало Хмелева окончательно. Это «мы» посмел употребить человек, которого он никак не мог считать своим — вся хмелевская кровь бунтовала против этого. Он совершенно потерял власть над собою и открыто, никого уже не стесняясь, заявил, что жида не смеют ему ничего указывать, что они довольно уже указывали всем и что вследствие этих-то указаний Россия и погибла.

Ответить на такое обвинение Фельдман был не в силах. Ять хорошо знал его, всегда любил, но понимал, став на его место, что в эту секунду он почувствовал себя не только жертвой чудовищного оскорбления, равного пощечине или даже худшего, — но и победителем. Как ни смотри на предмет спора, а противник, позволивший себе такой выпад, уничтожал себя даже в глазах единомышленников. Казарин очень достоверно изобразил, как Фельдман в первый момент испуганно заморгал, но тут же понял преимущества своего нового положения, встал из-за стола и молча принялся отряхивать сюртучок от крошек (всегда обсыпался и обливался). Тишина была общая, даже Хмелев не мог продолжать и только хватал ртом воздух. Он весь трясся (Казарин показал как).

— Ну а вы что ж? — спросил Ять.

— А я сижу, смотрю, что будет. Легче всего вскочить и сказать: «Николай Алексеевич, извинитесь сию секунду!» Вы меня с молодости знаете, Ять, я никогда в еврея не брошу камень, а все-таки, воля ваша, Хмелев порядочный человек. Я бы его предал, если б осадил. Но Борисов-то не таков, он скорее даст бороду себе сбрить, чем допустит, чтоб его заподоз-

рили в консерватизме. Он вскочил и твердым протоиерейским басом возглашает: «Я полагаю, Николай Алексеевич, что вы обязаны немедленно прекратить эту безобразную сцену и принести при всех извинения Осипу Михайловичу, в противном случае пребывание мое в одном помещении с вами сделается невозможным». Испугал, а?

Хмелев и сам понял, что перегнул палку, — но за последние годы он так устал сдерживаться, так возненавидел либеральный диктат, казавшийся ему куда опасней монархического, что не дал волю секундной слабости и обрушился теперь на Борисова. «Вязать Борисова-щунка!» — возгласил Казарин, и Ашхарумова звонко засмеялась.

— Тут вам и все: и па-а-апрашу не указывать, и сомнительные авторитеты, и антинаучный подход, и мальчишка, смеющийся советовать тому, кому он в сыновья годится, ежели бы у приличного человека мог вырасти такой сын... Всем интересно, но и противно, и, главное, старика жалко: роет старик себе могилу, донеси кто — не то что из дворца, а из города выкинут. Ну — прорвало. Когда сделал паузу, Борисов ему очень спокойно говорит: «Николай Алексеевич, станете ли вы доводить дело до суда чести или сами поймете, что высказанные вами вещи несовместимы со званием русского ученого?» Напирает, разумеется, на слово «русский», тем более что и сам типичный богатырь, бородачица надвое. Хмелев бы, может, и раскаялся, но после разговора про суд чести понял, что дело нешуточное. Долгушов тоже встрял: как вы — это он Борису, — как вы смеете вашего же учителя, вашего же благодетеля... Он вас и при факультете оставил... Тут Борисов ему: я чту в Николае Алексеевиче своего учителя, но ежели мой учитель под действием таких ничтожных причин, как голод и холод, теряет человеческий облик и превращается в пещерного дикаря — мой долг сказать ему об этом, пока не сказали другие. Ну, после пещерного дикаря, сударь, я уж не знаю, как старик удержался от того, чтобы в него чашку не швырнуть. Тут, я думал, его и удар хватит. Весь побагровел, челюсть трясется — варвар, кричит, варвар! Вар, вар, где мои легионы! Ах, жаль, Марья не видела, она как раз в тот день мать навещала. Ну вот. Тут, естественно, Барцев вскакивает и говорит, что не позволит, что не даст...

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Сколько я знаю Барцева, — вставил Ять, — он должен был бы выступить совершенно мимо темы. Что-нибудь вроде: «Не смейте оскорблять дикарей, это гордыня белого человека»...

— Что вы, — неожиданно вступилась Ашхарумова, — он не такой. Он иногда только, чтобы посмеяться... но на самом деле вовсе не дурак!

— Да, он малый острый, — небрежно заметил Казарин. — После вашего ухода неплохие стихи читал. Ну так вот: Барцев кричит, что не позволит, Седова визжит, что не позволит Барцеву, Льговский заявляет, что он тоже еврей, Кривицкий ему отвечает, что гордиться, к сожалению, нечем, — тут к Хмелеву возвращается дар речи, и он заявляет, что секунды не останется в этом притоне и что лучше сдохнуть под забором, чем провести остаток дней среди предателей и кретиннов. Отшвыривает стул — прошлого, между прочим, века — и направляется к дверям, но на полпути разворачивается и вопит, что и страну в свое время не покинул, хотя звали и в Гейдельберг, и куда хотите, — и потому не понимает, почему должен уйти он, когда он здесь из тех немногих, кто получает еду и тепло по праву. Его город, его остров и чуть ли не его дворец. «Да, да, — бормочет очнувшийся Фельдман, — уйду я, должен уйти я, потому что из-за меня, как всегда, началось, уж такая наша доля — изгнание». Говорит он это без тени игры, не лукавя, не педалируя — видно, что солоно; а куда пойдет? Одни кричат: уйдете вы, другие: нет, уйдете вы! Под конец Фельдман плетется к себе укладываться, его поддерживает Борисов, идя на полусогнутых, а с другой стороны Барцев, тоже согнувшись колесом; Хмелева отпаивают чаем, Льговский говорит, что ноги его тут не будет, — в общем, амурь, черти, змеи.

— А вы-то что? — снова поинтересовался Ять.

— А что я? Я смотрю, и все смотрят... Коротко сказать, откололись десять человек. Поначалу хотели отвести Фельдмана домой и обеспечить уход, но потом придумали другое. «С какой стати мы будем оставлять ЭТИМ звание академической коммуны? Мы сами академическая коммуна, с не меньшим правом!» Порешили на том, что будет второе общество. Помните анекдот, как русские подрядились строить тоннель

под Ла-Маншем? «А ну как не встретитесь? — А как не встретимся, то у вас будет два тоннеля».

Ашхарумова засмеялась, влюбленно глядя на него.

— И что, ушли?

— Завтра хотят уйти. Львовский придумал на Крестовском поселиться, там тоже дворец. Паек хотят забрать, Барцев к Чарнолускому пошел с утра — просить, чтобы дворец отдали. Все равно пустой стоит. Да и дач там полно, селись в любую... Переедут, заживут отдельно.

В эту секунду дверь распахнулась, и на пороге показался Горбунов — с белым, искаженным лицом, с вытаращенными глазами.

— Вы не знаете? — крикнул он. — Вы слышали?

— Что, что такое? — вскочил Казарин.

— Кошкарёв и Шергин... этой ночью... убиты... в Лазаревской! Он хлопнул дверью и помчался оповещать дальше.

25

Вся Елагинская коммуна стремительно собралась в Овальном зале. В первый момент на лицах обитателей дворца читался только испуг, почти ужас. Большинство из них ничего толком не знали о Кошкарёве и Шергине, в лучшем случае слышали имена, — но ежели дошло до убийства арестованных, да еще и в больнице, это могло означать только одно: дело действительно серьезно, началось нечто еще небывалое. Убийцу уже взяли, больше они никого тронуть не успели; узнав об этом, Ять вздохнул свободнее. У него были свои причины беспокоиться о Лазаревской больнице.

Горбунов рассказывал чудовищные подробности. Убийство совершилось поздним вечером — Шергин уже спал, Кошкарёв читал в постели. Вломились те самые матросы, которые неделю назад отконвоировали их в больницу. Все были пьяны. Сторожу приказали открыть (сейчас выясняли, не был ли и он в сговоре), протопали на третий этаж, Шергин проснулся, закричал — ему выстрелили в рот; пуля выбила передний зуб, задела корень языка, он захлебнулся собственной кро-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

вью. В Кошкарева выпустили три пули, все попали в грудь и живот, но он жил еще полтора часа и смог назвать убийц. К нему-то и вызвали хирурга — тот сразу понял, что дело безнадежное и надо только облегчить страдания, но от инъекции морфина Кошкарев отказался. В последние минуты он плакал, жалел, что не вырастит детей (которых вчера только к нему приводили — он впервые после трех месяцев заключения увидел их), и все удивлялся: ведь матросы были к ним вполне доброжелательны... Хотели послать за женой — он попросил не делать этого, через час потерял сознание и еще через полчаса умер.

— Я знал, — тихо и твердо повторял Алексеев. — Я знал и всем вам говорил. Эта власть и нас собрала единственно для того, чтобы уничтожить одним махом. Что вы теперь скажете? А? Что вы теперь скажете?! — и тыкал пальцем в Борисова.

— Скажу, что сначала надо узнать все обстоятельства, — так же тихо и твердо отвечал Борисов. — Я допускаю и то, что это провокация...

— Чья провокация?! — забывая окать, кричал Горбунов. — Моя провокация?

— Да вы-то при чем? — отмахивался Борисов. — Может быть чья угодно, вплоть до немцев. Если выяснится, что убийство произошло по приказу властей, — это исключает всякое сотрудничество. Если окажется, что пьяные матросы разбуянились, — надо посмотреть, будут ли они примерно наказаны...

— Наказаны! — шипел Долгушов. — Чтобы своя своих не познаша? Им происхождение служит индульгенцией, они всех нас могут перебить — и ничего не заслужат, кроме поощрения...

— Вы-то что думаете, Ять? — спросил Казарин.

— Я Кошкарева знал немного, — Ять все пытался представить его умирающим, с тремя пулями в груди, плачущим — и не мог: он помнил его сначала молодым земцем, идеалистом, народолюбцем, потом посредственным, хоть и горячим публицистом, потом членом кабинета, министром здравоохранения, — доброжелательным, мягким, умеренным... — Мы в последний раз виделись, кажется, в августе, ме-

ня Мироходов попросил с ним побеседовать. Одного в толк не возьму: если кого из правительства и был резон арестовывать или казнить, то уж этого в последнюю очередь. Никакой закономерности не вижу, никакого смысла...

Он лгал, конечно, и лгал прежде всего себе. Смысл был именно в том, чтобы погибли Кошкарев и Шергин, двое кротких, неразлучных, всю жизнь бывших на «вы», но всегда сводимых судьбой в роковые часы истории. Оставалось непонятным, как поступит новое правительство: оставит убийство безнаказанным (но тогда, пожалуй, и комиссаров сметут по одному — они такие же пролетарии, как мы крестьяне) либо попытается примерно наказать, вплоть до публичной казни... последнее вряд ли. Ясно было одно — революция выходит из-под контроля и скоро пожрет собственных детей; трудно было поверить, чтобы комиссары вроде Чарнолуцкого или даже Воронова смогли удержать этот поток в каком-никаком русле. Эти соображения Ять и начал излагать Казарину, когда вдали послышался треск автомобиля. Проехать к дворцу из-за снежных заносов машина не могла и остановилась, едва съехав с моста. Все кинулись к окнам. Утопая в снегу и скользаясь, ко входу во дворец брели Чарнолуцкий и Барцев; за Чарнолуцким поспешал дюжий матрос — видимо, комиссар не ездил теперь без охраны. Лиц было толком не разглядеть, сверкало только комиссарское пенсне.

— Арестовывать приехал, — спокойно сказал Хмелев.

— Этот-то? — презрительно усмехнулся Алексеев. — Не поверю. Агитировать идет. Сейчас будет говорить про уродливые гримасы.

Чарнолуцкий с утра знал об убийстве Кошкарева и Шергина и долго сидел в кабинете, не решаясь ничего предпринять. Он знал, что убийцы и не думали скрываться — завалились спать в казарме; что даже утром, с похмелья, они считали свой поступок подвигом и не склонны были раскаиваться — «Они ж все равно были не жильцы»; Бродский, конечно, был теперь обречен, но и не в Бродском было дело. Непонятно было, имеет ли он сам право уйти, или следует остаться до выяснения всех обстоятельств. Он однажды уже подавал в отставку и писал даже негодующее письмо, которое собирался передать в газеты, — о том, что он не может отвечать за со-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

стояние культуры, которую разрушают так называемые герои революции; Бронштейн тогда высмеял его, и многие присоединились. Получилось очень гадко. Он и теперь начал было писать прошение об отставке, но, написав первые строки, застопорился. Следовало все же понять, как пойдут события, — но тут доложили о приходе Барцева, и вошел этот милый, рыжий, застенчивый, ни о чем не подозревающий футурист, с которым Чарнолуский никогда прежде не виделся. Футурист стал сбивчиво рассказывать о том, что филологи и литераторы, собранные в коммуне, разошлись по вопросу об отношении к власти, что разделил их также национальный вопрос, но суть не в этом... Словом, часть деятелей литературы настроена более радикально и хотела бы создать собственную коммуну... и Чарнолуский чуть не расцеловал рыжего: перед ним была та новая интеллигенция, о которой он мечтал, которую пестовал! Только ради этого стоило затевать всю историю: интеллигенцию достаточно было собрать в приличных условиях на неделю, чтобы из ее среды выделился передовой отряд! В этих условиях бросать пост было никак невозможно. Надо было немедленно отправляться во дворец и говорить что угодно, лишь бы успокоить елагинцев. Там наверняка уже знали, а если не знали — пусть лучше узнают от него.

Выйгравая время, он долго отряхивался на крыльце, оббивал ботинки (грубые, старые), долго пропускал Барцева впереди себя, наконец вошел, скинул пальто... Некоторое время молчали все — и комиссар, и коммунары. Наконец Чарнолуский поднял глаза и заговорил.

— Вы знаете, зачем я здесь, — начал он на этот раз без всякого обращения. — Все мы скорбим по поводу гибели честнейших, вернейших деятелей России, ее, посмею сказать, совести. Не стану говорить о том, что значили для страны имена Шергина и Кошкарева. Мой долг — лишь рассказать о том, что произошло на самом деле...

— Из первых рук, — сказал Алексеев очень тихо, но Чарнолуский услышал. Он выдержал паузу, в упор посмотрел на профессора, потом потупился, словно пытаясь справиться с чудовищной, незаслуженной обидой, — пересилил себя и продолжил.

— Революция в опасности, — заговорил он медленно и скорбно. — И никто не угрожает ей так явно, так нагло, как силы, которые она сама разбудила. Пока лучшая часть народа жертвует собой, терпя нечеловеческие лишения, — худшая его часть пользуется свободой для грабежа и убийства. Гибнут не только представители аристократии — гибнут и честные работники, и сознательные пролетарии, и лучшие из крестьян, и ни в чем не повинные герои, которые могли бы рассчитывать на благодарность масс, а получают от них пьяный дебош... Кошкарев и Шергин больше других сделали для своих убийц, но их убийцы не знали, на кого поднимали руку...

— Если бы вы их не взяли, — сипло возразил Хмелев, — эти матросы и не знали бы, кто перед ними! Вы сами указали им мишень.

— А кто указывает мишень десяткам людей, нападающим на первого встречного?! — оскалился Чарнолуский. — Кто натравливал уличных бандитов на любого прохожего в пенсне? И началось это, прошу заметить, задолго до нас! Мы первые, кто попытался остановить разгул преступности, развал фронтов, квартирные грабежи! И создание вашей коммуны, господа, — он сам не заметил, как эти «господа» соскочили у него с языка, — в конце концов, часть той же политики: попытка защитить гордость страны от голода и беззакония! И я знаю, что многие из вас ценят это, но страшатся сотрудничества с властью! Сначала царизм, а потом и правительство Керенского все сделали для того, чтобы скомпрометировать саму идею власти. Но если мы все любим Россию — нам никогда не удастся спасти ее поврозь! И потому вчерашние выстрелы — это выстрелы в нас...

— Может, их не матросы убили? — язвительно спросил Казарин. — Может, переодетые немцы или кто из кадетов? Чтобы на вас, так сказать, пала кровавая тень?

Овальный зал одобрительно загудел. Чарнолуский, к чести его, уловил иронию.

— Я не могу вам сейчас сказать, кто это сделал и какова будет участь преступников, — заговорил он, снова уставившись в пол. — Я знаю одно: они поплатятся, и жестоко. Вашей коммуне будет придана дополнительная охрана. Вы по-прежнему вольны покинуть ее в любой момент. Я слышал

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

о явлениях раскола в вашей среде и сожалею о них, потому что именно расколы не раз уже губили страну. Сейчас, после невинно пролитой крови, надлежит сплотиться, и тогда гибель двух честных работников будет хотя бы не напрасной. Пусть подтолкнет нас она к объединению, потому что иначе нам не спасти родину...

— Да ведь это вы, вы развязали злодеям руки! — не выдержал Хмелев. — Как вы смеете отмежевываться от убийц? Ведь это вы им дали оружие, поставили охранять арестованных, дали чувство безнаказанности! И у вас хватает наглости говорить теперь, что вы не причастны?

— Вы не смеете говорить мне этого! — загремел Чарнолуцкий. Все-таки и у его терпения был предел. — Вы не понимаете, чего нам стоит удерживать порядок в городе! На улицах, в лесах, в городах убивали и при царской власти — и невинных расстреливали, как девятого января, сотнями! Я знал, знал, что теперь любое уличное хулиганство будут ставить нам в вину, — но никогда не предполагал, что услышу такой упрек от образованного человека!

Хмелев, непривычный к отпору, несколько сник. Чарнолуцкий понял, что бой остался за ним и что надо ковать железо, пока горячо.

— Я прошу, я умоляю вас, — заговорил он, задыхаясь, словно этот порыв отнял у него последние силы. — Я прошу верить, что наша скорбь, наше отчаяние не меньше ваших. Трагедия должна всех нас научить беречь и щадить, а не истреблять друг друга. Подло, бесчеловечно использовать ее в политике, размахивать ею, превращать акт вандализма в акт политический! Это недостойно памяти борцов, недостойно имени интеллигентов... русских, наконец! Я клянусь вам всем, что есть у меня святого: никто из убийц не уйдет от возмездия! Если случится иначе — чего я не допускаю ни на секунду, — я немедленно выйду из правительства.

Это было сильное заявление. Похоже, Чарнолуцкий достиг цели. Возможно, теперь ему удалось бы остановить даже раскол в коммуне, — но тут заговорил Казарин.

Никто не тянул его за язык, и, вспоминая ту речь, Ять думал, что никто больше его не сделал для окончательного раскола. Он говорил сдержанно и тихо, но с таким зарядом не-

нависти, что все выкрики Хмелева меркли перед этим непробиваемым презрением. Для начала он елеинно заметил, что глубоко благодарен представителю большевистского правительства за исключительную заботу о филологической науке; ясно было, сколь горяча его благодарность. Он придал переселению профессуры в Елагин дворец характер изгнания из города чуть ли не в резервацию. Он хотел бы, конечно, надеяться, что их квартиры не будут за это время реквизированы; когда Чарнолуский открыл рот, чтобы пылко уверить в неприкосновенности профессорского имущества, Казарин, не повышая ледяного голоса, сказал, что лично он господина комиссара не прерывал. Далее, заметил Казарин, все попытки приписать убийство двух честнейших деятелей только пьяным бандитам не будут иметь никакого успеха, ибо именно на пьяных бандитов и опирается новая власть, и именно им — или таким, как они, — поручена охрана прочих арестованных. Никакою нервозностью — естественной, конечно, при исполнении такой трудной должности (тут последовала змеиная улыбка) — нельзя объяснить зверского убийства беззащитных и больных людей. Пока новая власть не освободит всех арестованных и не даст гарантий свободной печати, ни один интеллигентный человек не сможет поручиться не только за свою жизнь, но и — что всего важнее — за свою честь. И до этого ни о каком сотрудничестве с этой властью речи быть не может. Ибо даже самое жестокое наказание убийц не означает еще, что подобные зверства не повторятся, что они не происходят сейчас, в эту самую минуту... Но в эту самую минуту распахнулась дверь и вошел Льговский — бледный, небритый и необыкновенно сосредоточенный. Таким Ять видел его впервые.

— Я сейчас от Воронова, — сказал он, глядя в пустоту и обращаясь ко всем сразу. — Убийцы арестованы и будут осуждены. Бродский смещен. Семьям выделены средства, у Шергиной был Балашов.

Все названные фамилии никому ничего не говорили, но в лице Льговского столько было серьезности и сознания значительности происходящего, что никто не пристал с расспросами. Не раздеваясь, размотав только шарф, Льговский молча прошел на второй этаж.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Вы видите теперь, — торжественно произнес после паузы Чарнолуский, — что власть делает все, чтобы искупить свою вину, пусть и невольную. Мы надеемся, что вы поможете нам обуздать стихию.

Чарнолуский пообещал лично быть на похоронах выдающихся деятелей и с достоинством вышел. Барцев побежал было за ним, но махнул рукой и остался: решать вопрос о расколе было теперь не время.

— Ну что? — Казарин подошел к Ятю и слегка толкнул его в бок. — Ловко?

— Что ловко?

— Ловко я этого трепача?

Ять с трудом одолел злость. Казарин пользовался благодеянием тех, кому не хотел подавать руки, — и именно от него исходила самая непримиримая отповедь мягчайшему и несчастнейшему Чарнолускому, заложнику происходящего.

— Что сделал вам этот трепач? — спросил он почти резко.

— Мне — ничего, — бодро ответил Казарин. — А пусть хамы знают, что не купили никого своей моржевиной.

— Да ведь вы сами сюда пришли!

— Потому и пришел, что все это по праву мое, а могло достаться им. Я и в Мариинку вселился бы, будь такая возможность. Вы что же, Ять, — с ними?! — И он взглянул на него уже отстраненно, даже чуть откинув голову, словно смотрел теперь с позиций безупречной духовной элиты, из которой Ять трусливо дезертировал.

— Знаете, — сказал Ять, чувствуя тот же прилив бешенства, что и на дне рождения Зайки, — в ту минуту, когда вы принялись уничтожать этого несчастного, — самого приличного из них, можете поверить, — я был скорее на его стороне. Его, а не каких-то «их». Их я не знаю. Но отчего вы всегда хотите быть так неуязвимы?

Он бы и еще много чего ему наговорил, упомянув, возможно, и седину в бороде, и беса в ребро, — но тут подлетел громогласный, длинноносый Корнейчук и спас положение. Он перемещался по всему залу, вступал в разговоры, ужасался, надеялся, ахал, все запоминал — вот у кого память была абсолютная, хранившая залежи нужного и ненужного, — и теперь дошла очередь до них.

— А! Что! — по-репетитовски восклицал он. — Но Льговский каков! Откуда у него доступ во все эти круги!

— Да он и не скрывает вовсе, что еще на фронте разагитирован. Они у него все в дружках. — Для Казарина уже не было ничего неясного.

— Вы куда сейчас? — спросил Ять у Корнейчука, желая прекратить тяжелый разговор.

— Домой, домой, — тут же засобирился тот. — Уж третий час, мне писать... ночами не сплю, совершенно голова не работает.

— Для кого вы все пишете? — язвительно спросил Казарин. — Газеты закрыты, журналов нет, книги не издаются...

— У меня Булыгин обещал сказку купить, — объяснил Корнейчук, — и я думаю издать новонайденный отрывок Слепцова...

— Да кому теперь нужен Слепцов!

— Может, никому и не нужен, а работать надо. Дети, дети... Да и не в детях же дело. «Человека такого усталого не держи — пусть идет», — процитировал он своего любимца и, взяв Ятя под руку, пошел с ним к дверям. Ять полагал, что, едва они окажутся на улице, наедине, Корнейчук заговорит о Шергине и Кошкареве; он знал их и наверняка имел особое мнение о степени виновности властей, — но Корнейчук, против ожидания, принялся рассказывать ему о том, как он не мог заснуть и всю ночь читал Boswell'a (Ять узнал его книжный язык, верный признак самоучки)... Поначалу он думал, что Корнейчук опасается подслушивания, но вот они вышли на мост — а тот все не умолкал.

— Послушайте, — сказал Ять, остановившись посреди моста. — Вы в самом деле можете сейчас говорить о Босвелле?

— Но о чем же еще говорить?! — изумился Корнейчук. — Разве можно говорить о чем-то другом? Язык нам дан, чтобы скрывать свои мысли, каждый в одиночку переживает ужас.

— Да, да, — сказал Ять. — Я вас понимаю. Помните ответ Августина: а если бы во время игры в мяч вам сказали, что через четверть часа рухнет мир?

— Продолжал бы играть в мяч! — пылко подхватил Корнейчук. Он обожал игру в цитаты, это было для него слаще обмена паролями. — Продолжал бы играть в мяч!

26

Поздним вечером 25 января, после похорон Шергина и Кошкарева, в Елагином дворце долго не расходились, сидели при двух лампах за столами (керосин кончался, нового за треволнениями последних дней не подвезли) и изредка прерывали тягостное молчание воспоминаниями об убитых. Что-то главное оставалось несказанным, и разойтись было невозможно. Вместо того чтобы объединиться в общей горе, елагинцы все отчетливее чувствовали рознь, и любые попытки общей скорбью заслонить надвигающийся разрыв выглядели непростительным фарисейством. Ужаснее всего было состояние тоскливой неопределенности, владевшее всеми не только в Елагином дворце, — но только в Елагином дворце, пожалуй, уже догадывались, что эта-то неопределенность, вечная спутница русской смуты, и убила ни в чем не повинных, никому не мешавших людей. И потому пятьдесят человек, сидевших за столом на первом этаже и тихо, с долгими паузами переговаривавшихся в полумраке, понимали, что определяться так или иначе придется — чем скорее, тем лучше.

Было холодно, пальто никто не снимал. Иногда дежурный — на сей раз это был Казарин — подбрасывал дров в две печки, стоявшие по углам залы. За окнами было серо, потом черно.

Первым не выдержал Хмелев — впоследствии, вспоминая тот вечер, почти все были ему благодарны за это.

— Вы, вероятно, ждете, — заговорил он медленно и угрюмо, — что старый мракобес примется сейчас брюзжать и валить все на наших благодетелей. Велик соблазн обмануть эти ожидания, но делать нечего. Как хотите, с самого начала я был прав. Убийцы сидят в Смольном, и разговоры о наказании не стоят ломаного гроша. Вы скажете, конечно, что оружие направляли не они... все это мы сегодня слышали, покорно благодарю. Они три года растлевали и расшатывали страну — этого довольно. Они агитировали на фронтах — это тоже общеизвестно. Они отняли у нас профессию, упразднили то, чем во все времена приличный человек отличался от неприличного, согнали нас, как скот, в эту резервацию... мы

и это терпим, и это глотаем! Чего еще надо, чтобы понять: эта власть преступна, она ни перед чем не остановится! Раз уж мы собрались вместе, раз уж они по малоумию своему дали нам этот единственный и последний, вероятно, шанс — не воспользоваться им было бы и вовсе позорно! Нам нужно сейчас не отношения выяснять, не друг с другом спорить, а понять, понять, пока не поздно: вот кто правит теперь Россией! И мы, горстка людей, это понимающих, в силах хотя бы напоследок плюнуть в хамские рожи!

— Вы саможжение предлагаете? — спросил Томилин, сорокалетний театральный обозреватель, напросившийся в коммуны неделю назад.

— Оставьте, — махнул рукой Хмелев. — Я предлагаю не искать с ними компромисса, а выработать формы борьбы... сформулировать требования...

— Николай Алексеич! — медленно, тоном долго сомневавшегося и наконец решившегося человека заговорил Борисов. — Сделаем вид, что не было известного инцидента неделю назад. Но ведь я хорошо помню нашу беседу в июле прошлого года, когда вы с тем же пылом называли «этой шайкой» правительство Керенского. В этой шайке были и Шергин с Кошкаревым, просто теперь они мертвы и вас вполне устраивают...

— Ваша воля — доносить или не доносить на меня, обнародовать или нет мои интимные разговоры, — устало сказал Хмелев. — Да, я ненавидел Керенского и не верил в его правительство. События показали мою правоту — ни страны, ни власти эта компания не удержала. И если я их под горячую руку назвал шайкой, — не отрицаю, бываю резок, ибо душой кривить не умею, — то нынешних впору назвать взбесившимся стадом. Шайка — это хоть человеческое понятие, а стадо — звериное.

— Да Николай же Алексеич! — громче обычного воскликнул Борисов, которого никто еще не видел в таком возбуждении. — Неужели вам, человеку в полном смысле интеллигентному и безусловно честному, нравилось то, во что превратилась Россия? Неужели вам не внушает надежды возможность покончить со всею этой рутинной единым махом?

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

И назовемте уж вещи своими именами — мы с вами лучше прочих знаем русскую орфографию; кто из серьезных ученых, положив руку на сердце, назовет ее совершенной? Кто из нас осмелится защищать русскую государственность? И в орфографии, и в управлении обществом — страшные наслоения ненужных условностей, века рабства, триумф муштры, тупой силы... Нам ли с вами не знать, что такие завалы голыми руками не разгребаются — их надо взорвать, чтобы с самого начала выправить весь русский путь, вытравить русскую татарщину! Оставьте в организме одну большую клетку — завтра она вновь изуродует его, скрючит в три погибели, рабством отравит кровь! Неужели мы не оценим единственного исторического шанса, неужели отвернемся от него? Ведь если не мы — новую Россию и впрямь построят такие люди, что Господь не приведи. Нам ценить надо, что чарнолуские готовы спрашивать нашего совета. Не в традициях русского интеллигента — презирать народ, третиговать его за темноту и отказывать ему в праве решать собственные судьбы...

— Стыдно, Константин Борисович! Стыдно-с! — оборвал его Алексеев, вставая с места. По вечной привычке к кафедре он ораторствовал стоя. — Вы говорите о традиции русской интеллигенции, а два лучших русских интеллигента лежат на Волковом, и торжествующим скотам дела нет до их традиций! Традиции сострадания к народу действительны до той лишь поры, пока народ не берет колья, не жжет книг, не гадит во дворцах! Вам же угодно, как и вашему отлученному кумиру, — верю, что он теперь горит в аду на костре из своих сочинений, — лизать этот народ, трусливо прислуживать ему и гордиться его зверствами! В личной своей судьбе вы вольны, но зачем же всю нацию толкать на этот путь? Никто не скажет, что царствование последнего императора было совершенно. Не в последнюю очередь и он виновен. Но лечить больного можно по-разному, рубить ему голову — не лучший способ!

— Я слушаю вас, — вступил наконец Льговский, словно очнувшийся от задумчивости, — слушаю и тоже чувствую себя мертвецом. Что плакать по орфографической норме, которой унижали и насиловали двадцать поколений русских де-

тей? Лотреамон и Корбьер упразднили традиционную пунктуацию за пятьдесят лет до большевиков. Свифт писал вовсе без знаков препинания. Мысль является вся, сразу, не соображаясь с правилами. Мысль требует знака для наиболее полного выражения, но вынуждена довольствоваться грубыми буквами. Буквы чертил дикарь. Дикарю нужны были ограничения на любые случаи, Бог говорил с ним одним словом — «нельзя». Но пришел сын Бога и сказал, что Бог не в запрете. Мы живем в дни третьего завета. Может быть, теперь время отказаться от букв вовсе и единым иероглифом двигать миры. Когда молодой Бог творил молодой мир, он говорил «А» — и от этого звука рождались не арбуз и алмаз, надоевшие нам в азбуках, а свет и воздух, пространство и время. Вам жаль орфографии, а мне жаль, что не упразднены слова — бедные, грубые слова. Я хочу, как Мельников, говорить «Брут, браг, агабаран!» — и слышать, как братья над брагой клянутся в верности, закалывают барана, кричат от счастья в горах, и горное эхо им вторит: ага! ага! Я хочу самоценного звука и небывалого слова, а вы заставляете змею плакать над сброшенной кожей. Погибли двое, погибнут еще многие, — старый яд крепок. Но нам ли, словотворцам и словознатцам, бояться смерти? Мы не умираем, мы становимся новым словом, какого еще не было. Нет Шергина и Кошкарева, есть знак-Шергин и знак-Кошкарев, и они будут жить, пока жив язык. И я хочу быть знаком-Льговским, а не приват-доцентом Льговским.

Он говорил размеренно, словно читал Библию, четко отделяя один стих от другого. Его речь хотелось так же, по-библейски, записать — стихами, короткими абзацами, состоящими из одного предложения.

— Тупой футуристический бред, — сквозь зубы заметил Долгушов. — Я с господином Льговским спорить не стану, я не имею чести его знать достаточно близко... Но вы-то, Константин Борисыч! — обернулся он к Борису. — Вы ученый с именем, я вас студентом помню — вы были вдумчивым, любознательным юношей! Я и работу вашу первую помню, о языке Герцена, — что ж, кто-нибудь вам мешал заниматься Герценом? За демонстрацию в пятом году хотели вас исклю-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

чать, помню, — но ведь отстояли, ездили к Мирскому, петицию подавали за вас и еще десятерых студентов с задатками! Неужели вы всерьез слушаете все эти разговоры о самоценных звуках?!

— Владимир Николаевич, я все помню, — в тон ему, тихо ответил Борисов. — Но признайте и то, что вся сколько-нибудь талантливая литература в последние годы пошла налево, а не направо, и даже закоренелые декаденты...

— Да эти пусть себе выдумывают что угодно! — воскликнул Хмелев. — Писатель на то и писатель, чтобы проживать чужую жизнь. Нацию-то зачем толкать в пропасть? Поодиночке пусть спиваются, нюхают кокаин и упраздняют пунктуацию — народу-то к чему подстраиваться под них?!

— Поймите, Николай Алексеевич, — мягко сказал молчавший доселе Ловецкий, — никто не подстраивается. Это же они не с потолка взяли, а в воздухе поймали. Вы скажете, что декаденты устраивают оргии, — а я вам скажу, что оргии, которые устраиваются в сибирских деревнях, среди самых темных и озверевших мужиков, дадут сто очков вперед любому декаденту!

— Это верно, — окая сильнее обычного, словно стремясь доказать глубокое знание жизни, подтвердил Горбунов. — Это — очень верно...

— И не стал бы я считать это только бредом, — вступил барин Соломин, от которого менее всего можно было ожидать подобной реплики. — Как хотите, я всей современной поэзии предпочту Корабельникова. Если откуда и вольется свежая кровь в русскую поэзию — то не от Мельникова даже (Мельников, на мой вкус, сумбурен, в нем нет поэтической дисциплины), а вот от этого дылды с его гримом и кошками.

— Льется, льется уже свежая кровь! — надрывно выкрикнул Алексеев. — Вовсю льется!

— Не бывает без крови-то, — заметил Соломин. — Она и в четвертом, и в пятом лилась, и в четырнадцатом — море... И больше прольется, если не найдется кто-то, за кем будет сила. Воля ваша, силу я вижу за этими. Россия может быть либо сильной, либо, простите уж, никакой. В Корабельникове есть мощь... Да и Мельников, кстати сказать, дворянин, только нарочно через «т» себя пишет.

— Дворянин? — хохотнул Комаров-Пемза.

— Творянин, — спокойно поправил Соломин. В тоне его Комаров с некоторым ужасом почувствовал неискоренимое презрение профессора и дворянина, хотя бы и самого демократичного, к разночинцу, хотя бы и лучшему в Петербурге словеснику. Ему страшно было подумать, что может получиться из смеси этой сословной спеси, имперских взглядов и большевистской «свежей силы», — и он успокоил себя: померещилось.

— Неужели вам не хочется начать сначала? — снова заговорил Льговский. — Неужели вам не хочется построить новую жизнь с нуля, без кнута и татарщины? Вы скажете мне сейчас, — он прямо, тяжело посмотрел на Алексева, — вы скажете мне: чем жид — лучше татарин. Вам невдомек, что я предлагаю вам мир без жида и татарина, без границ и условностей...

— И земного тяготения, — ехидно вставил Казарин.

— И земного тяготения, — твердо продолжил Льговский.

— Вы думаете, что связаны пиджак и плечо, — сказал Барцев. — А я думаю, что связаны пиджак и четыре. Может быть логика Евклида и логика Лобачевского, физика Паскаля и физика Эйнштейна. Вы хотите жить в двухмерном мире, а я в четырехмерном. Чтобы был трехмерный, нужны мы оба.

Ашхарумова улыбнулась и посмотрела на него долгим заинтересованным взглядом. Он говорил дело. Ей давно уже казалось, что Эйнштейн, Лотреамон и Мельников упразднили старое искусство, что мир утратил прежний порядок и силу тяготения, — и падать ей было слаще, чем ходить. Она вопросительно глянула на Казарина — отчего тот молчит? — но он лишь отрицательно качнул головой. Разговор был принципиальный, дело шло не о репутациях, а о том, удастся ли сохранить единство; на единство ему было наплевать — он всю жизнь был сам по себе, — а репутацию при таком накале страстей стоило поберечь. Можно было ограничиться парой mots, не имевших особенного смысла.

— Демагогия, мерзкая демагогия! — не выдержал Долгушов. — Убивать ради искусства, насиловать ради новой логики... Боже мой! До чего докатилась нация, если таков ее цвет! И это в день, когда два мученика...

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Оставьте вы в покое двух мучеников, — неожиданно резко сказал Соломин. — Эти мученики были воплощенными посредственностями, я знал обоих, и единственный свой подвиг совершили, когда умерли. Не будем же оскорблять лицемерием их память и признаемся, что к великим событиям подошли банкротами. Ради такого признания стоило погибнуть... чтобы другие могли начать заново. Когда гибнет империя — за ее возрождение надо заплатить.

Льговский подумал, что возрождение империи — последнее, чего ему бы, пожалуй, хотелось на этом свете. Но терять такого союзника, вдобавок непредвиденного, он тоже не собирался, а потому почел за лучшее промолчать.

— Значит, война, — твердо и грустно произнес Хмелев, но тут же с последней надеждой поднял глаза на Борисова.

Борисов молчал.

— Тогда уж знайте — все пойдет всерьез, — опустив глаза, проговорил Хмелев. — Если вы с ними — мы враги.

— Если для вас важней, с кем мы, а не кто мы, — мы действительно враги, — также потупившись, отвечал Борисов.

— Ну, прощайте. Я вас всегда любил, Константин Борисыч.

— Я и впредь буду любить вас, Николай Алексеич.

Только прощального объятия недоставало, но от этого последнего движения удержались оба. Некоторое время все молчали.

— Господа, прошу ко мне, — деловито сказал наконец Соломин. — Квартира велика, там обговорим наши планы, а затем выберем новое место. Вещи можно завтра забрать, а я живу тут неподалеку.

Он встал и пошел к выходу. За ним потянулись остальные раскольники — общим числом пятнадцать человек. Льговский выжидательно обернулся на Ловецкого, но тот отвел глаза и остался на месте.

— Да, — сказал Хмелев. — Ну что ж, ну что ж. Да... Жаль, что они не дают нам спирту. Сейчас не повредило бы, честное слово.

— А вы взяли бы у них спирт? — спросил Казарин.

— Отчего ж нет, взял бы. Отняли профессию — пусть обеспечивают. Не романы же мне писать о братьях Чихачевых и роковых Маланьях.

— И что вы намерены делать?

— Будем спорить с ними, пока они будут нас терпеть. Будем бороться...

— Ну, Бог в помощь, — сказал Казарин. — Я буду с вами. Веди нас, Сусанин. Есть времена, когда важно не делать то-то и то-то, а быть там-то и там-то.

Ашхарумова посмотрела на него загадочно — он прочитал в этом взгляде только нежность, но было в нем и любопытство, и вызов, если угодно. Впрочем, она не сомневалась: где надо быть — он знает лучше других. Ночи прекраснее этой у них еще не было.

27

Первым газету развернул Ватагин; некоторое время он сидел в полном оцепенении.

— Что ж вы не читаете? — вмешался наконец Оскольцев. — Что там такого, большевиков, что ли, скинули?!

— Убили, — выдохнул Ватагин.

— Кого? Кого? — зашумели все.

— Шергина с Кошкаревым.

— Быть не может, дайте! — Гуденброк решительно шагнул к нему и вырвал газету. Ватагин не пошевелился, так и застыл с выпученными глазами. — Ну где, что? (В полутьме, вечно царившей в семнадцатой камере, человеку с его зрением трудно было разглядеть узкий шрифт «Речи».) Господи! Господи!

— Да читайте же, черт бы вас...

— «В ночь на двадцать второе января караульный Изотов, под чьей охраной арестованные министры были перевезены в Лазаревскую, с тремя матросами ворвался в больницу. Изотов, как рассказал снятый им караульный матрос, был в сильном опьянении и ярости... С караульным он не разговаривал, сказал ему только, что “нечего врагов стеречь”». — Голос Гуденброка задрожал, и он опустил на нары.

— Мерзавцы, — прохрипел Ватагин. — Как они смели нам не сказать? Мерзавцы!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— А для чего вам говорить? — тихо спросил Гуденброк. — Овца не должна знать, что ее зарежут. Но теперь-то вы поняли, что отсюда не выйдет никто?

— Мерзавцы, — повторил Ватагин. — Мерзавцы. Мерзавцы.

Все еще повторяя это слово, он встал, сомнамбулически подошел к двери и принялся медленно, размеренно колотить в нее кулаками.

Скрежетнул ключ, и в дверь просунулась голова караульного Крюкова.

— Что буяните? — спросил он с добродушием сытого кота.

— Убийца! — заорал Ватагин и плюнул; Крюков еле успел убрать голову, но тут же вновь просунулся в камеру.

— К своим захотелось? — уже без всякого добродушия, ровно спросил он. — Так это мы живо. Погодите, скоро все к ним пойдете. Кончилась лафа.

Прошло около часа — в молчании, в редком обмене ничего не значащими словами, — когда ключ опять повернулся в замке и в камеру по-хозяйски вошел Изотов. Он был крепко избит, левый глаз его заплыл, на правой скуле багровела ссадина. Между тем глядел он победителем, хозяином.

— Слышь, братишка, всех их сразу-то не пореши, — хохотнул ему вслед Крюков.

— Не бойсь, тебе оставлю, — не оборачиваясь, ответил Изотов.

Он стоял у двери, захлопнувшей за ним, на виду у всей семнадцатой камеры; девять человек с ужасом глядели на него.

— Послан для укрепления боевого духа, — сказал Изотов. — Разнежились тут, так вот для порядку. Приказ главного командования, — он усмехнулся и прошел к свободному месту в углу. Прежде это место занимал Шергин.

— Стоять! — заорал Ватагин, вскакивая. — Не смей! Не сюда!

Изотов посмотрел на него с любопытством, подошел вплотную и некоторое время постоял, качаясь с пятки на носок и заложив руки за спину. Вдруг он с птичьей, хищной внезапностью ткнул Ватагина головой — удар пришелся в нос, Оскольцев знал, как это больно. Ватагин закрыл лицо руками и сел.

— Митинг объявляется открытым, — сказал Изотов. — Слово имеет... имеет кто или нет? Не имеет. Митинг объявляется закрытым.

Он лег, вытянул ноги (толкнув Гротова), надвинул на лицо бескозырку и засопел.

28

Замысел поместить Изотова в семнадцатую камеру принадлежал Бродскому, не такому уж простому парню. В последнее время его довели до белого каления бесчисленные жалобы на жестокость новой власти. В результате новая власть второй раз вынуждена была наказывать вернейших людей, и все из-за семнадцатой камеры. А потому он принял иезуитское, но единственно логичное решение: всех этих людей, требовавших наказания для виновных, следовало проучить раз и навсегда. Бойтесь ваших молитв, ибо молитвы ваши будут услышаны. Изотова, безусловно, следовало арестовать как нарушителя революционной дисциплины, но поместить его надо было к тем, кто своими руками отправил Шергина и Кошкарева в Лазаревскую больницу. Бродский воображал, какую жизнь устроит им Изотов, — и не ошибся.

В шестом часу Изотов заворочался и сел на нарах. Некоторое время он соображал, где находится, потом все вспомнил, плюнул, высморкался и усмехнулся.

— Ну вот что, сердешные, — сказал он бодро, выходя на середину камеры. — Осталось вам немного, и кто первой отсюда выйдет в деревянном бушлате, тому остальные позавидуют хорошей завистью. Направлен я к вам, сами понимаете, не просто так. Жизнь у вас пойдет с этого дня интересная, бойкая жизнь. Заскучали вы што-та, закисло своим кружком. Боевой дух нужен. А так что ж, никакой дисциплины, одно разложение. Жить будем задумчиво, в сердешной дружбе. — Он легко воспроизводил дурашливый деревенский стиль, хотя много знал, читал и не зря вырос до старшины второй статьи. — Ну-к што ж, огласим распорядок нового нашего уставного жития. Как скляночки прозвенят шесть, так будет у нас маршировка на месте под мою команду. Ежели нет охоты

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

маршировать, так можно и ползком. Кто марширует молодцевато, тому лишнюю паечку — в подарок от того, кто марширует немолодцевато. Затем чтение вслух, интересные занимательные рассказы, вы народ культурный, я послушаю. Чесать пятки не прошу, не царское время. В обед поощрение лучшего рассказчика, а потом, сердешные, сладкий сон, как у бабки на печке. В это время, сами знаете, люблю тишину. Вечером по распорядку — кто поет, кто сказки рассказывает. Опять же не без упражнений. В нашем положении тело блюсти — это самое первейшее де...

Договорить он не успел, потому что один из обитателей семнадцатой камеры стремительным прыжком достиг Изотова, сшиб его с ног и вцепился в глотку. Удар был так силен, что Изотов в первые секунды не мог сопротивляться — так и рухнул на пол всей массой, и, пользуясь этим, нападающий сильнее и сильнее давил на его бычью шею. Кто напал — разглядеть было невозможно. Изотов хрипел, ворочался, беспомощно шлепал руками по полу, — одну руку нападающий прижимал коленом. Никто не бросился на помощь — то ли страх удерживал обитателей семнадцатой камеры, то ли остатки чести: куда вдвоем на одного, хотя бы и матроса? Страх не так легко отличить от понятий о чести; верно и обратное. Лишь когда хрип Изотова начал слабеть и переходить в бульканье, все словно очнулись.

— Оставьте, оставьте его! — кричал Ватагин.

— Убьете, тогда нам всем конец! — вторил Бельчевский.

— Да кто это, черт вас возьми! — орал Карамышев.

Темная фигура выпрямилась. Туша Изотова неподвижно лежала на полу.

— Я, Гротов, — сказал Гротов.

— Да вы убили, убили его! — Ватагин боялся тронуться с места, чтобы убедиться в своей правоте.

— Хорошо бы, — задыхаясь, ответил Гротов. — Хоть раз в жизни... сделал, что хотел.

Бельчевский вскочил и заколотил в дверь.

— Надзиратель! — завизжал он. — Над-зи-ра-тель!

Крюков просунул в дверь.

— Что, дает вам Коленька жару? — спросил он весело.

— Забирай своего Коленьку, — сказал Гротов. — Недол-

го он тут... жару давал... Начальству своему скажешь, что Гротов его отдохнуть отправил. Гротов, запомнил? Башка-то дырявая, вылетит. Забирай, а то и впрямь помрет.

Крюков испугался заходить в камеру один. Он поспешно запер дверь, протоптал по коридору и вернулся в сопровождении трех других матросов, неся с собой «летучую мышь». Один караульный стал у двери, двое других бросились к лежащему Изотову, подхватили неподвижное тело и, согнувшись, вынесли. Крюков вышел последним.

— За Коленьку... — прохрипел он рыдающим голосом. — За Коленьку... О, пададь буржуйская! Флотским братством клянусь, — если с Коленькой что... тот, кто Коленьку... жив не будет! Зубами, зубами загрызу, никто не спасет! Лично говорю!

— Пшел вон, — безразлично сказал Гротов, уже успокоивший дыхание по индийской системе. Мало кто знал, что министр финансов в последнем правительстве долго и серьезно готовил себя к испытаниям. Но, с другой стороны, кому ж, как не финансисту, было знать, куда все катится и к чему себя готовить?

— Вот что, — сказал Ватагин, когда Крюков запер дверь. — Никого не выдавать. Отвечать всем. Это, я полагаю, само собой понятно?

— Оставьте, — презрительно сказал Гротов. — Прошу не обсуждать больше это происшествие, оно не стоит того. Желательно, конечно, было бы отомстить по-настоящему, так, чтобы не откачали. Но индийская борьба запрящает брать на себя такие полномочия. — Он наконец сел на нары и замолчал, применяя практику полного расслабления. Ему нужно было сейчас совершенно опустошить голову и прогнать всякую мысль о том, что будет с ним завтра.

На рассвете загремели ключи, и сменившийся караульный рывкнул:

— Гротов! С барахлом!

Гротов заснул только под утро, а потому отозвался не сразу. Но Ватагин не спал. Он чувствовал себя смутно вино-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ватым за то, что не он вчера положил конец мерзостям Изотова, хотя и был крупнее и сильнее всех в камере.

— Отвечать будут все! — заорал он. — Никто тебе не выдаст Гротова, хамская твоя рожа...

— Оставьте, говорю вам, — с раздражением бросил Гротов. — Мне неважно, куда выходить отсюда, лишь бы вон... Ничего они мне не сделают, живехонек их Коленька...

Гротов шел по коридору, подталкиваемый сзади незнакомым матросом, и ловил себя на странном, радостном чувстве: впереди была какая-никакая, но перемена. Со вчерашнего вечера он чувствовал себя свободным, и чувство это до сих пор не прошло, а только окрепло с рассветом.

29

Новый стиль съел тринадцать дней. Ять лег спать тридцать первого января, а проснулся тринадцатого февраля — и, узнав о переходе на европейский счет времени, поймал себя на тайной радости. Если бы от каждого зимнего месяца отнимать половину, жизнь стала бы куда переносимее.

В первый день нового стиля — день неуютный и ветренный, когда особенно не хочется покидать захламленную нору, — в дверь неожиданно позвонили. На пороге стоял Льговский — вот уж кого Ять не ждал.

— Я на минуту, — сказал он. — Зайдете завтра?

— На Елагин?

— Нет, мы уж теперь не на Елагином. Всякие события.

— Да зайдите, расскажите!

— Не могу, бегу. Адрес ваш дал мне Фельдман, он тоже просит быть. Открываем свою коммуну, хватит за старье цепляться. Те, на Елагином, совсем с ума сошли от страха. Им угодно на политике спекулировать, а нам угодно новую культуру строить. Думаем, что вам небезынтересно.

— Конечно, конечно, — сказал Ять. — Во сколько?

— В шесть, не опаздывайте. Молодых соберем... На открытии Борисоглебский будет. Знаете его?

— Слышал, — пожал плечами Ять. — Но ведь это бред...

что-то там о введении новых букв? И потом, по-моему, он же ростовский...

— Уже питерский, — улыбнулся Льговский. — Волшебное совпадение. Я его у Чарнолуского встретил. Чудак, но наш: многое предсказал в своем Ростове. Я его «Орфографию будущего» как прочел — сразу понял, что иду в верном направлении. Заходите, послушаем.

— Буду, буду, спасибо. Да зашли бы, чаю...

— Не могу, бегу. — Льговский протянул ему ледяную красную руку и поспешно сбежал по лестнице. В Петрограде зимой восемнадцатого года он оставался одним из немногих людей, которым было куда торопиться.

Григорий Борисоглебский до реформы орфографии жил в Ростове и преподавал в гимназии. Система преподавания была своя, особенная, — как, впрочем, и все у него. Прежде всего, его не устраивало раздельное обучение. Лишь женская интуиция в сочетании с мужским расчетом способна была постичь двойственную суть вещей. Двуполы были все явления в мире, и постижение их с однополой, убогой точки зрения лишало мир цельности. Это, однако, было простейшей из реформ, и до нее рано или поздно должны были додуматься. Куда более порочна была сама идея раздельного преподавания всех дисциплин. Следовало создать единую науку наук, учение о мире, которое Борисоглебский называл универсологией, то есть всеобщим знанием о вселенной, — и обучать биологии, математике, физике и словесности в рамках одного курса.

Идея об отмене орфографии пришла ему не сразу: к тому моменту он два года уже преподавал в родной гимназии Красилова естественные науки и был даже любим гимназистами. Он казался им безвредным, временами скучноватым чудачком: вдруг принимался среди урока рассказывать о теории витализма — жизненной силы, пронизывавшей собою воздух, как некое животное электричество. Именно развивая эволюционную теорию о том, что общество отбрасывает условности и приближается к живой жизни, Борисоглебский и вывел, что одной из самых бессмысленных

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

условностей является орфография. Написавши фразу «Асений ветир ганял па улитсе сухии листя», он все равно мог быть уверен в том, что его поймет любой русский и даже иностранец посметливее. Занявшись на досуге подсчетами, Борисоглебский выяснил также, что упразднение идиотического ера в конце слов (без которого сам он давно обходился даже при заполнении журнала, чего никто и не замечал по крайней непонятности его почерка), позволило бы сэкономить до пятнадцати процентов бумаги, затрачиваемой ныне на книгу; так мысль об упразднении гуманитарных дисциплин явилась ему во всем своем блеске. К двенадцатому году, когда вышла наконец его «Орфография будущего», по нелепому требованию московского издателя напечатанная в соответствии с отвратительной орфографией прошлого, он был уже своеобразной ростовской достопримечательностью. Жизнь главного врага сложных условностей была опутана сотнями условностей более низкого порядка: человек, отказавшийся соблюдать сложные ритуалы, обречен повиноваться простым. Борисоглебский не засыпал, не повернувшись с боку на бок строго определенное количество раз, и никому не позволял дотрагиваться до своей чашки и ложки.

Революция добиралась до Ростова медленно, ибо юг ленив и беззлобен. Городовых тут распустили только к апрелю, и не так, как в Питере, — со злобой настоящего разгона, — а скорее с благодарностью за беспорочную службу. О такой ерунде, как Временное правительство, Борисоглебскому думать было некогда — ничто временное его уже не интересовало. Он только что построил таблицу сходств кровавых телец с дальними звездами, причем предположение его блестяще подтвердилось — из новейших астрономических трудов, за которыми он как раз следил, было уже известно, что и звезды подразделяются на красные и белые, и выводы отсюда следовали грандиозные; деление на красное и белое (а не надуманное противоречие белого и черного) должно было определять мир. К сентябрю начались трудности с продовольствием. Следовало сосредоточиться для последнего рывка, но мысли разбегались... разбегались.

К зиме жена слегла, деньги были на исходе, никто не хотел работать. В октябре он закончил «Универсологию», на страшно опоздавшем поезде дотащился до Петрограда и принялся искать публикатора.

Потолкавшись по издательствам, Борисоглебский узнал ошеломляющие новости. Весь мир объединился, чтобы заглушить открывшуюся ему научную истину. В таких условиях нечего было и думать о справедливом вознаграждении за многолетние труды, о должном внимании к его системе, о публичных лекциях и просто о хорошем издании. Жизнь в Ростове выглядела куда сытнее — они все-таки ели и птицу, и донскую рыбу, а Петроград голодал и жил по карточкам, которых у Борисоглебского не было. В гостинице почти не топили. По улицам носились взбудораженные толпы, пару раз его чуть не затерли, притиснув к стенам... Он хотел было вернуться, но вернуться просто так не мог. Папка с перебеленной рукописью жгла ему руки. Ее публикация могла остановить безумие, все встало бы на место, и вместо этой дурацкой войны люди принялись бы наконец за изучение серьезного труда, — но один издатель сказал, что ему не до того, а другой просил оставить книгу на неделю, посмотреть. Знаем мы это «посмотреть» — сейчас же набезит питерская профессура и разворует идеи. Борисоглебский давал на просмотр несколько страниц из начала и середины и заставлял читать при нем. Эти невежи ничего не понимали. Мир куда-то катился и не желал слушать своего единственного спасителя. Кончались деньги. Он дал телеграмму жене, что скоро будет, и по пути с почты в гостиницу купил газету. Так он узнал, что орфография упразднена. Случилось это, как он понял, давно, еще пятого января.

— Как... что же это! — забормотал старик. — Это же моя, моя мысль! Все украдено!

Он беспокойно озирался по сторонам, снова и снова перечитывал газету (в которой не было уже половины нужных запятых), шевелил губами, топтался на месте. Шок был слишком силен. В декрете ни разу не упоминалось его имя. Надо было немедленно к кому-то идти, чего-то добиваться.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Три дня он выяснял, кто в новом правительстве отвечает за науку, еще три дня передавал через матросов письма и записки, но никак не мог попасть к министру. В конце января началась катавасия с каким-то убийством, и только тридцатого Борисоглебский застал наконец министра (он назывался почему-то на французский манер комиссаром) на месте. Матросы сжалились над стариком и провели на четвертый этаж, в приемную с бильярдным столом.

— К вам, Александр Владимирович, — сказала бледная секретарша.

— Борисоглебский, — назвался старик за ее спиной.

— Борисоглебский?! — воскликнул чернявый молодой человек, вальяжно сидевший в кресле у комиссарского стола. — Вы здесь, вы не в Ростове?

Он вскочил и подбежал к новому гостю.

— Я давно здесь, — пробурчал старик. — Мне нужно видеть комиссара.

— Это я, — произнес приятный, но легкомысленный с виду мужчина лет сорока. — Я получил ваше письмо, товарищу Борисоглебский, и сожалею, что не мог вас принять сразу. Всю эту бюрократию искореним, дайте время. Прошу вас.

— Да вы знаете, кто это?! — радостно воскликнул чернявый. — Воистину — на ловца и зверь! Это же автор «Орфографии будущего», он первый высказал эту мысль!

— Вот видите, — еще шире улыбнулся комиссар. — А мы реализовали. Очень, очень рад.

— Это все так, — сказал Борисоглебский. — Однако второстепенно. Я закончил, видите ли, главную книгу свою. В сравнении с нею идея орфографии — частный случай, не стоящий внимания. Я полагал бы нужным эту книгу издать, и если мне за отмену орфографии причитается какой-то гонорар или вознаграждение, я не знаю, что у вас принято, — я просил бы мне ее выдать, эту сумму, потому что я издержался. Да, издержался. И я просил бы издать. Рукопись со мной.

— Вы где остановились? — учтиво спросил комиссар.

— Я живу в гостинице у Финляндского, в «Атласе»...

— И прекрасно! — повторял поклонник, представившийся Льговским. — Вы нам как нельзя кстати, как нельзя... Вы, Федоров и Мельников — отцы новой философии. Вы читали Федорова?

— Федоров — сумасшедший, — буркнул Борисоглебский. — Воскрешать покойников, заселять звезды... Есть еще один сумасшедший в Калуге, он тоже все про заселение звезд...

— Кто? Я не знаю, — заинтересовался Льговский. — Фамилию не помните?

— Да вот еще, буду я помнить всякую чушь.

Комиссар вежливо рассмеялся.

— Ну, ничего. Перебирайтесь к нам. У нас футуристическая коммуна. Новая власть помещение дала, на Крестовском. Только что, на ваших глазах, окончательно решили вопрос. Ну, это знак, Александр Владимирович. Я говорил — случайным такое совпадение быть не может. Напомните мне ваше отчество, — обратился он к Борисоглебскому.

— Константинович, — мрачно ответил тот. Ему не нравилась вся эта суэта, многословие — солидности не было. Свистульки, ничего не поймут. Для этих ли он тратил жизнь?

— Григорий Константинович тоже будет с нами. До завтра, до открытия, я его поселю у себя, а завтра переедем. Очень прошу вас быть.

— Буду, конечно, буду! — улыбался Александр Владимирович.

— Вам бы сразу с этого начать, — уже серьезнее сказал Льговский. — С футуристов. Вы свое сделали, теперь мы сделаем свое. Ну, спасибо, ждем завтра в шесть. Прошу, Григорий Константинович, — идемте ко мне, там обо всем и поговорим.

— Но рукопись, — не очень уверенно обратился Борисоглебский к комиссару.

— Завтра все и решим, — кивнул комиссар.

«Свистульки, свистульки, — думал Борисоглебский, спускаясь по лестнице. — Черт знает что».

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Лучшего момента, чем сейчас, не найти, — обернувшись к нему, полушепотом сказал Льговский, спускавшийся впереди. — Вы понимаете, что пришло наше время?

Сумасшедший, подумал Борисоглебский.

30

Крестовский остров, второй по величине среди невских островов, получил свое прозвание благодаря двум аллеям, крест-накрест его пересекавшим, и с начала века был особенно любим дачниками. Это был уж не город, а пригород — сырая, цветущая дачная местность, усаженная соснами и разгороженная на аккуратные наделы. Дачи тут были небогатые, двухэтажные, уютные; близ моста, соединявшего Елагин остров с Крестовским, выстроил себе летнюю резиденцию видный распутинец, чуть ли не правая рука всесильного самозванца, Алексей Прилукин.

Прилукин был личность известная, уважаемая и дружно ненавидимая. Его слова было довольно, чтобы погубить или вознести. Он любил поиграть в мецената, собирал у себя в летнем дворце изысканную публику, щедро угощал и сообщал на ушко сенсационные, большей частью выдуманные детали дворцового быта. Чего ради устраивает он свои сборища — не понимал никто, да Прилукин и сам не знал хорошенько. Может, желал добиться признания бывших коллег (он сам начинал как поэт, издал сборник «Вечерняя нега»), может, уставал от общества Гришки и его прихлебал, а всего вероятнее, смотрел на то, как петербургские литераторы уписывают его закуски, и думал, что какой бы дрянью все они его ни считали, а нет такого презрения, которое оказалось бы сильнее алчности. Между тем у писателей была своя корысть — их интересовал колоритный, хоть и мелковатый тип, и потому Прилукин перекочевал в добрую дюжину тогдашних скандальных романов; литературский цинизм кого хочешь перециничит: ты думаешь, что используешь литератора, а он уже использовал тебя.

Сбежал меценат таинственно: когда в семнадцатом ликующая толпа носилась по городу и искала, чего бы погро-

мить, о Прилукине вспомнили почти сразу. Кинулись к нему — дверь заперта; взломали — никого. Между тем все в доме указывало на недавнее хозяйское присутствие, кое-кто из незваных гостей даже видел тень, мелькнувшую в окне... Прилукин, однако, исчез — как сквозь землю провалился. Больше о нем ничего не слышали.

Получить наркомовское разрешение на переезд радикально-лояльной части елагинцев в покинутый дворец на Крестовском острове не составило труда. На другой день после раскола Льговский с Барцевым лично перетащили из Елагина дворца три буржуйки, еще шесть прислал комиссар, Барцев собрал дружественную молодежь, и двадцать седьмого января будущие крестовцы с благословения присутствующего тут же Фельдмана зашли в полуразгромленную дачу.

Они взялись за дело: наводили порядок, брезгливо выбрасывали хозяйское тряпье и начинали помаленьку сколачивать огромную «декорацию будущего», украсившую вход. Декорация была фанерная, по эскизу Митурина; часть деталей, выпиленных заранее, принес сам Митурин, прочее мастерили из прилукинской мебели. Льговский лично приколотил треугольник, клином входивший в круг: это футуризм (чье внеземное происхождение как бы подчеркивалось) раскалывал земной шар. Как раз такими — работающими, разгоряченными — застал их прибывший из Москвы Корабельников. Случись в это время на прилукинской даче сторонний наблюдатель, он из всех ее старых и молодых обитателей, по-своему не менее колоритных (карлик, богатырь-бородач, дворянин с молотком и долотом), выделил бы одного человека: высокого, костистого, очень худого, деловито, но с тайным торжеством командующего, что куда. Так победивший Люцифер распорядился бы переустройством рая: победили, но никаких фанфар. Деловито: облака туда, солнце сюда. Ангелы, присоединяйтесь: побежденным мы не мстим.

А вот этого Ять не знал — он и думать не мог, что Корабельников в Питере. Перед ним был строгий, сдержанный человек — ничего от юноши, ни тени истерики; отличная

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

лепка бритой головы, барашковая папаха, узкое коротковатое пальто черной грубой кожи. Прежде он ненавидел всех, кроме двух-трех ближайших соратников (и те вызывали у него приступы бешенства). Теперь он оценивал людей по единственному критерию: могут они быть полезны или обречены идти в переплавку. Новый Корабельников был ясно и недвусмысленно счастлив. И главное, у него были новые зубы.

Ять однажды увидел его рыдающим — он стоял в редакции «Сатирикона», читал какое-то письмо и истерически, со всхлипами плакал. Редакционные барышни не решались к нему приблизиться со стаканом воды и словом утешения. Ему было тогда чуть ли не двадцать два года. Ять смотрел на него со жгучим, но и высокомерным состраданием: он был почти уверен, что этот молодой человек, при всей своей хваленной мощи, так и сгинет от собственных крайностей, неряшливости, неухоженности и гнилых зубов. Теперешний Корабельников сам вел свой корабль и дюжину других, пристроившихся в кильватере.

Есть люди, с облегчением давящие в себе человеческое, как только тому начинает благоприятствовать эпоха, — и Корабельников, при всей душевной тонкости, был из их числа. Он готов был трижды оплакать участь врага, но с тем большей решимостью подписал бы ему приговор. Не случись Октября, он явно покончил бы с собой или свихнулся: о тупике кричала вся его лирика, действительно великолепная, но исчерпавшая себя за три года. Бешеная энергия, которую он научился развивать, могла направиться только на внешнее переустройство или на самоуничтожение. На его счастье, осуществился первый вариант. Многие удивлялись потом, как он умудрялся не спать по шесть ночей кряду, рисуя свои плакаты (никому, по совести сказать, не нужные): Ятя никогда это не удивляло. Все эти ураганы, которые в его «Океане» громоздили водяные горы и сносили с лица земли Чикаго, самумы нечеловеческих страстей по любому поводу — перестали наконец терзать его несчастную голову и устремились наружу; хорошо было, по крайней мере, что Корабельников мечтал не рушить, а созидать.

Он приехал без зова, по наитию, понимая, что история делается сейчас в Петрограде, которого он не любил и в котором неизменно проваливался. Москва его обожала, барышни носили на руках (и в панике бежали прочь, как только он пытался их невинное обожание истолковать по-своему и на первом же свидании предлагал разделить с ним ложе). В Питере его принимали иронически, в «Собаке» освистали, и даже питерские единомышленники с подозрением косились на эти московские эскапады. Тем не менее он примчался на каком-то поезде — шальном, вне расписания, — успел уже побывать в Смольном и предложить свои услуги, потом отправился к Льговскому и услышал от его тишайшей матери, робкой толстухи с базедовыми глазами, что Мишенька теперь будет жить на Крестовском острове. Льговский обожал мать и всегда держал ее в курсе своих перемещений.

Корабельников нагрянул на Крестовский внезапно и был встречен дружными восторгами — открываемся, присоединяйся, — и тут же его главенство стало очевидным, а распоряжения стремительно принимались к исполнению. Жуя папиросу новыми, белыми, даже с оттенком синевы зубами (он вставил их в Москве еще в июле, но в Питере его видели таким впервые), он и сам что-то уже рисовал на стене, попутно успевая объяснять восторженной пухлой блондинке, как лучше повесить занавески. Одновременно он отвечал на распросы Льговского о московских приятелях и выслушивал местные новости.

В углу бывшего прилукинского кабинета, который сейчас как раз расписывал Корабельников, сидел — точно для рифмы — тихий Мельников с лицом блаженного; глаза его были прикрыты, он улыбался, как китайский божок, и так же сомнамбулически покачивал головой. Иногда Корабельников ласково на него поглядывал. Мельникова принято было носить на руках, кадить ему и объявлять гением, — и Ять никогда не мог понять, делается ли это всерьез или в порядке дополнительного издевательства над публикой. Несчастный сумасшедший был, разумеется, ни в чем не виноват, но в стратегию футуризма это вполне укладывалось: пересмеивая все и вся, они запросто могли завести себе юродивого вождя.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Не увидев даже, а почувствовав Ятя, явившегося чуть пораньше, в надежде расспросить Льговского о расколе, Мельников вскочил и поклонился. Ять протянул ему руку, Мельников вяло пожал ее и так же стремительно, бескостно сложился в углу, заведя глаза и продолжая раскачиваться.

— А, вы? Рад, — сухо сказал Корабельников. — К нам?

— Нет, я послушать. Меня Льговский позвал.

— Через час начнем. Вот, отнесите пока наверх, ждут, — он кивнул на только что дорисованный двумя бледными юношами плакат «Вырвем запятые из книг и пустим кометами!» Восклицательный знак они, судя по всему, решили пока пощадить. Ять беспрекословно подчинился, отнес плакат в бывшую столовую на втором этаже, где несколько девушек — явных гимназисток по виду — уже натягивали огромный кумачовый транспарант «Долой искусство жирных».

Там же, на втором этаже, сидел высокий старик в поношенном черном пальто. Он прижимал к груди толстый кожаный портфель и испуганно озирался, не понимая, куда попал и что от него требуется. Вероятно, это и был хваленый Борисоглебский. Ять поклонился ему и вернулся вниз. Навстречу, дружелюбно улыбаясь, поднимался Льговский. Он тащил фанерный щит, на котором поверх хаоса кое-как валявшихся русских и латинских букв был густо намалеван китайский иероглиф.

— А повеселей у нас будет, чем на Елагином. Правда? — спросил он, подмигивая.

— Фельдман тоже у вас живет?

— Да, на первом этаже. Он у себя пока, отдыхает. Скоро Соломин подойдет.

— Соломин — с вами? — поразился Ять.

— Еще как, — усмехнулся Льговский.

«Вот все крайности и сошлись», — подумал Ять, покачал головой и пошел прикурить у Корабельникова: кончились спички.

— Только курите на улице. Больше одного курильщика при Косте нельзя, — Корабельников заботливо кивнул на юродивого вождя, так и не открывшего глаз. На лице младшего футуриста читалось благоговение.

31

Импровизированный вечер по случаю открытия второй петроградской филологической коммуны начался в половине восьмого, когда подъехал все тот же Чарнолуский с подарками: три банки краски, огромный рулон кумача, баллон клея и три таинственные коробки, которые он вместе с шофером демократично помогал разгружать. Корабельников ласково приветствовал его. Чарнолуский, имитируя мальчишескую легкость, столь уместную в облике строителя нового мира, взбежал по лестнице на второй этаж, осмотрел столовую, взгляделся в иероглиф, кивнул, якобы все поняв, и с особенным вниманием воззрился сквозь пенсне на тропининский портрет Пушкина, повешенный вверх ногами.

— Это за что же вы его так? — поинтересовался он у Корабельникова.

— Это мы не его, — хмуро ответил тот, — а портрет. Самого бы мы распропагандировали, к нам бы ушел.

Чарнолуский усмехнулся и уселся во втором ряду.

Первым говорил Льговский, кратко объяснивший причины возникновения Крестовской коммуны. Несколько слов сказал Фельдман, «позволивший себе выразить надежду, что в горниле войны и социальных катаклизмов (слова «революция» он старательно избегал) выкуется новое искусство, а без нового искусства не будет нового человека». Он был несколько растерян происходящим, но его успокоил Борисов. Сам Борисов говорил дольше — о крахе академической науки, о том, что филология без литературы мертва, что новая литература отвергает идею возврата к вчерашнему, а потому и ученые не должны отрываться от объекта своего исследования. Он выразил надежду (кивнув комиссару), что новая власть не будет препятствовать свободному самовыражению.

Выступление Корабельникова смутило Ятя. Он начал с того, что предостерег «милейшего Александра Владимировича» от поощрения свободного самовыражения. «Свободно самовыражается и вор в трамвае. Десять лет в русской литературе мертвые хватали живых. Сегодня надо закопать мертвых

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

и помогать только новому искусству. Дядя Ваня, жующий на сцене свои страдания среди раззолоченных декораций, — не просто тухлявое барахло, но такое же угнетение, как Романовы. Потом, в радостное и сытое время, любите что хотите и самовыражайтесь хоть на заборе. Но сейчас идет драка, драка живых с мертвыми, и поддерживать надо живых. Разговоры про свободу сейчас на руку тем, кто свободу как раз душил и хочет душить дальше. Я прошу прощения у Борисова, он хороший парень, просто не знает, что говорит. Он сказал тут, что филология должна быть с литературой. Вот пусть и слушается нас, литература — это мы. Мы из него эту академическую пыль выколотим, и он сам почувствует, насколько легче стало».

Борисов ухмылялся в бороду, но не возражал. Все это могло сойти за обычный эпатаж анфан террибля, однако Ять не склонен был умиляться. Он понимал, что Корабельников мстит всем, кто затирал и презирал его прежде, — и в этом не было бы ничего дурного, ежели бы он не апеллировал к государственной помощи.

— А теперь, — с места сказал Льговский в полной тишине, наступившей после корабельниковского рокота, — мы получим небывалую еще возможность выслушать величайшего социального мыслителя, чьи мечты сбываются сейчас. Мы, молодые (Ять особенно отметил про себя этих «молодых», довольно забавных в устах человека, стремившегося к солидности), возникли не на пустом месте. Были те, кто обгонял свое время и мыслил в иных категориях. Один из этих гигантов прошлого — автор «Орфографии будущего» Григорий Константинович Борисоглебский. Этот революционер в науке изложит нам сейчас свой взгляд на происходящее.

Никто не шелохнулся. Борисоглебский был погружен в размышления и по-прежнему сжимал портфель.

— Григорий Константинович! — повысил голос Льговский. — Мы вас слушаем!

Борисоглебский вскинул на него безумные глаза.

— Все не то, все не то! — горячо заговорил он, вставая. — Вспомним богов языческих: количество их в разных религиях достигало нескольких сотен. Число их неуклонно сокраща-

лось, и жертвы становились все более формальными. Не следует умножать, ибо закон витализма — убывание. Таким образом, мы видим, что в основе мира всегда лежало выявление единого закона там, где прежде соблюдалось двадцать. Упрощение и единство — вот закон мира, и вы неправы, дробя свое сообщество, отделяясь, переселяясь и прочая. Упразднение орфографии — первый шаг, а вы не хотите сделать второго. Вы говорили: искусство. Но где искусство? Я вижу ваши картины и плакаты, где вы иероглиф предлагаете. Но букв тридцать семь, а иероглифов три тысячи. Я не за отказ от письменности, нет. Есть идиоты, которые так меня интерпретируют. Но я за единое знание, которое постигнет все законы и сведет в одну науку, и созданию этой единой науки должны себя посвятить мы все. Я об этом хотел говорить, а вовсе не о ваших разделениях. Город полон хамов, хамы толкаются, не желают элементарно выслушать, — старик гневно потрясал кулаками и понес полную чушь, и, если бы Львовский не успел вклиниться в паузу (Борисоглебский закашлялся), собрание завершилось бы фарсом. Но он усадил старика, поблагодарил его за присутствие на открытии коммуны и пригласил Барцева прочесть несколько стихотворений. Следом за Барцевым читал Мельников — что-то о степях, и столь же невыносимо нудное, как сами эти степи. Футуризм на поверку оказывался еще скучней архаизма.

Положение спас Корабельников. Говорил он просто и несколько даже дурашливо, а читал великолепно, без всякого актерства, но с куда большим, чем у лучшего актера, богатством интонаций и смыслов. Эти стихи хотелось произносить вслух — так естественна и заразительна была их интонация, — и никаких непонятностей, неловкостей, режущих глаз, при авторском чтении не замечалось. Тихие мальчики и девочки, заполнившие столовую, смотрели на Корабельникова влюбленно. Чарнолуский подался вперед и слушал, не забывая картинно протирать пенсне: прослезиться иногда тоже было принято в большевистской среде.

Последним припасенным блюдом был слабый чай, но зато с настоящими конфетами, которые как раз и таились в таинственных комиссарских ящиках. Где они реквизирова-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ны — Ять старался не думать. Конфеты были прежние, подлинные, того незабвенного вкуса, который внушал счастье и будил мысль.

«Скучной книгой была бы моя жизнь, — думал Ять, возвращаясь по мосту. — Скучной и двухцветной, как этот пейзаж: всё разговоры и разговоры... Но я, может быть, затем и послан, чтобы проследить, когда и почему разговоры оборачиваются делами. Я не скучал, нет».

Очень может быть, что они правы, думал он далее. И правы не в абсурдных своих тезисах, которые у каждого свои, — правы они в своей молодости, в азарте, в желании строить, менять и просвещать... Но что мешает мне принять их и быть с ними? Неужели я большую симпатию чувствую к Хмелеву? Да Боже упаси: умный, но вздорный, потерявший себя старик. Или мне нравится Алексеев? Не настолько, чтобы забыть о его жидоборстве, пусть и вполне метафизического свойства. Нет, по всем статьям крестовцы милей, но одно в них непереносимо — вот эти заискиванья: «Александр Владимирович, скажите им... Александр Владимирович, опирайтесь на нас...» Все было бы хорошо, кабы они при этом расходились с властью, — и ведь рано или поздно непременно разойдутся, но сначала успеют победить. И этого я боюсь больше всего.

Проходя мимо Елагина острова, он заметил свет в окнах дворца, и его потянуло зайти. Дело было не в Ашхарумовой — он тотчас же с пристрастием допросил себя, не к ней ли направляется, и ответил, что не к ней.

32

— А, Ять, — с равнодушной любезностью встретил его Ловецкий. — Рады, рады. У нас тут знаете что?

— Неужели опять раскол?

— Да нет, — Ловецкий махнул рукой. — Хватит. Мы теперь о другом думаем: бред это, насчет издательства, — или стоит попробовать? Все-таки дело, может, хоть молодежь почитает... переводчикам работы дадут...

— Ну, и что решили?

— Хламиду позвали. Я думал, вы на него и пришли.

— Нет, я ничего не знал, — Ять избегал пока рассказывать, откуда он пришел сюда, но удивился собственной способности попадать прямо в водоворот событий.

— Вон вы как. Будто на заказ. Ну, останьтесь, послушайте.

— А что ж он так поздно-то? Одиннадцатый час!

— Заняты-с, — шепнул Ловецкий. — Весь день из Смольного в «Новую жизнь» бегают и обратно. Показывает: не очень я храбро-то? Годится? Ну, тогда я и дальше в том же духе...

— Не любите вы его, — констатировал Ять.

— Надоел он мне хуже горькой редьки, — признался Ловецкий. — Моя бы воля — никогда бы его не позвал. Но Долгушов с ним хорош — Хламида в позапрошлом году словарь затевал, ничего, конечно, не вышло, но планы были вселенские. Он говорит, что человек приличный и, как все интеллигенты в первом поколении, ужасно в культуру влюблен.

Ять дал себе слово не заходить к Казарину, но Ашхарумова — в простом сером платье и вязаной толстой шали — сама подошла к нему, появившись откуда-то из тени:

— Слушайте, вам обязательно будет интересно! Мы тут новых людей не видим, а здесь я всем уже рассказала. Я нашла подземный ход.

Ять слышал легенду о подземных ходах из дворца, но никогда не принимал ее всерьез.

— Откуда и куда?

— Из кухни, а куда — сама еще не знаю. В книжках все подземные ходы обязательно из кухонь или винных погребов. Потянешь за одну, самую древнюю бутылку — и открывается лаз. А тут никакого лаза. Я дежурила и нашла в углу треснувшую плиту. Отковыряла кусок, а внизу темно, подвал... Только первую ступеньку видно. Из наших никто не хочет идти смотреть, у них другие дела — всё на счет издательства. А по-моему, подземный ход гораздо интереснее.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Если хотите, — не удержался Ять, — я вам эту плиту сворочу, но лезть вниз не советую. Сырость, да и обвалиться может в любой момент...

— Но хоть посмотрим, — умоляюще сказала она. — Я никак не могу уговорить Славу, а с вами он пойдет.

Да, подумал Ять, только Славы мне и не доставало.

— Вы пришли Хламиду послушать? — спросила Ашхарумова.

— Да я случайно зашел, дался вам всем этот Хламида... Что он вам нового скажет? Я от крестовцев иду, от раскольников ваших.

— Ой, как интересно! — Она засмеялась и потащила его за собой. — Пойдемте, расскажете Славе. Он что-то хандрит.

— Не буду я ничего рассказывать, — уперся Ять. — Я сам ничего еще не понял.

— Но они очень на нас злы?

На тебя-то им чего злиться, подумал он.

— Нет, мне кажется, они просто отбросили все прежнее. Их гораздо больше интересует будущее.

— Много их?

— Пока пятнадцать человек, но будет больше. Молодежи много. Мне кажется, вам там было бы сейчас интереснее...

— Я всегда любила людей старше себя, — просто ответила она. — Ровесники — скука, не знают ничего... В человеке должна быть настойка. Мне кажется, больше всего я могла бы полюбить великого и галантного развратника, Казанову на склоне лет, когда он уже — библиотекарь из милости, за то, что кормят. Он бы мне рассказывал свою жизнь, я бы его слушала и руку ему целовала.

О да, подумал Ять. Чтобы ты с ним могла сделать все, что угодно, а он с тобой — уже ничего. Боже, какая пошлость невыносимая... Впрочем, что не пошлость? Жизнь и есть пошлость, а все-таки она очень хороша.

Главный гость опоздал. Как и комиссар просвещения, иногда он делал это нарочно, иногда нечаянно.

Ять не любил Хламиду, хотя и признавал за ним талант, выражавшийся в подмечании за всеми (и, вероятно, за собою)

самых постыдных и мерзких черт. Ежели бы когда-нибудь тот нашел в себе силы написать всю правду, а точнее, то, что казалось правдой ему, — нет сомнения, получилась бы гнусная книга, приговор роду человеческому. Чтобы уравновесить это жестокое зрение, он постоянно впадал в экзальтацию и пафос; видя всю грязь и мерзость конкретного человека — без устали воспевал человека абстрактного, никем не виданного, небывалого. К тому же, как любой литератор, испорченный ранним успехом, он способен был делать только то, что нравилось публике, и от мнения ее зависел больше, чем от любых собственных настроений. Он желал нравиться даже не по-женски, а по-детски, готов был врать про себя что угодно, говорить взаимоисключающие вещи, — все искренние порывы давно заместились у него желанием соответствовать читательским чаяниям; надо было, понятно, выбирать между разными читателями, и в начале семнадцатого Хламида быстро понял, что главной-то его аудиторией с самого начала была интеллигенция. Тогда началась его трескучая и фальшивая антибольшевистская риторика — ничуть не превосходившая в эстетическом отношении риторика самих большевиков. Между тем мнение Хламиды давно уже было мнением не самой умной части интеллигенции, образованной посредственности, читающего и думающего большинства; диктат этого большинства был для Ятя всего невыносимее... хотя снобизм Стечиных был, пожалуй, еще хуже. Да ведь и была же у Хламиды пара вещей великолепных — одна пьеса, хоть и несколько куцая, о мстительном старике, считавшем, что перенесенные страдания дают ему право судить всех (явно вывел себя и с собственной гордыней боролся), да вполне живой провинциальный цикл... Как ни кинь, а в таланте ему отказать было невозможно.

Хламида и теперь вел себя так, как будто глаза всех присутствующих устремлены на него одного. Он словно подкидывал пищу будущим мемуаристам: оправлял пиджак, раскладывал папиросы, дорогую зажигалку, стопку исписанных листков (мелкий, мелочный, мстительный почерк), перекладывал все в ему одному понятном порядке, закуривал, посмеиваясь

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

в усы... Он знал, что на него смотрят, и старался, чтобы смотрели не зря, — одолжение столичного гастролера, милостиво согласившегося на один спектакль с провинциальной труппой.

Долгушов долго, помня вкусы гостя, расхваливал его перед собравшимися.

— И вот теперь мы все, представители русской академической науки, — обратился он к Хламиде, — хотим спросить вас, писателя, с которым мы часто не соглашались, но чей талант несомненно признаем: стоит ли нам принять предложение властей о создании литературного издательства — или лучше сразу, ни на какое сотрудничество не надеясь, уйти в оппозицию к режиму? Конечно, в издательском деле мы более компетентны, чем в оппозиционном, — но есть люди, сотрудничество с которыми недопустимо ни при каких обстоятельствах. Вы нынешнюю власть знаете лучше нас — вашего ответа мы ждем.

Некоторое время Хламида молчал, суня брови. Наконец встал — и улыбнулся присутствующим самой очаровательной из своих улыбок, располагавшей к нему и закоренелых недоброжелателей.

— Тут прозвучало много лестных слов обо мне, я — не стою их, мне все казалось, что говорят о моем брате, даже — о двоюродном, — глуховато заговорил он, не забывая покашливать. Оканье его было менее заметным, чем у Горбунова. Тире в устной речи он расставлял так же часто, как в письменной: Ять так и видел их. Так же говорили и все его герои, даже в мемуарах. — Но — не стану тратить время на опровержение сих чрезмерных похвал, ибо не для того мы столь поздно собрались тут. Вопрос, который задали вы, и меня тревожит, ибо — все мы люди литературные — чувствуете вы в моих несвоевременных писаниях некую неполноту, и — есть она. Иные большевики, что понеразумней, думают, что я в глухой оппозиции, а я, по правде сказать, и сам не знаю, ибо — для оппозиции надобно видеть позицию, как говорил французский социалист Лафарг. А я позиции еще не вижу, нет, не вижу.

Он помолчал, прошелся перед притихшими елагинцами, сел на стул.

— Я — многих из них знаю, они — разные, и — большую я вижу за ними силу. Но — как бы этой силе не загубить дело, за которое тысячи лучших людей, интеллигентов, ваших друзей и братьев, отдавали жизни свои. Есть ли опасность, что вместо революции будет бунт, в котором голос интеллигенции попросту захлебнется? Есть, и — уже осуществляется. Так что решить нам всем предстоит — одно: что делать, если дело безнадежно? Стоит ли лапки поднять — или попытаемся хоть помереть достойно?

— А вы полагаете, что с режимом ничего уже сделать нельзя? — Ять узнал голос Алексева.

Хламида прищурился.

— Не подойдете ли ближе, не вижу лица вашего, так — отвечать трудно...

— А мне трудно встать, — насмешливо отвечал Алексей из темноты. — Я буду постарше, не взыщите.

— Гм... ну что ж, — Хламида своевременно закашлялся. — Не буду скрывать: в случае перехода вашего в оппозицию шансы на победу представляются мне не просто иллюзорными, а и — прямо сказать — не существующими вовсе. Сами же они еще не выбрали, по какому пути идти, и я не для того пишу, чтобы им помешать, а напротив — чтобы путь, по которому они пойдут, был не вовсе смертелен... для нас с вами. Ошибиться — можно, больше того, не ошибиться — почти нельзя. Однако ежели теперь им помочь, их направить — есть шанс еще увидеть Россию достойной.

Определение «достойная» применительно к русской жизни, как заметил Ять, заменяло либеральным публицистам все конкретные слова — «сытая», «свободная», «просвещенная» и пр.

— Ведь они, — тут Хламида подпустил мечтательности, — они — в большинстве своем — люди удивительные! Удивительные, да. Лучших — нет, умилили лучших, самодержавие российское само виновато, что у него теперь такие враги. Приходится с теми иметь дело, кто до сего дня остался. Но — есть мечта в душах их, и любят они людей, со всем их окаянством. Зверье любят... да. С ними много сейчас нечестных, временных: вот — я знаю — Корабельников. Я — не верю ему, прежде верил, теперь знаю, что ему, кроме славы и гоно-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

раров, ничего особенного не нужно. Он хочет их руками — для себя место расчистить, я — видел таких, их недолго потом помнят. Но из тех, что с ними пошли, есть — честные (он назвал несколько никому не ведомых фамилий, ибо уважал только тех литераторов, которым мог покровительствовать: едва они начинали составлять ему конкуренцию, благотворительность кончалась и автор объявлялся продавшимся или зазнавшимся). Это — люди сильные, самобытные, жизнь видели и могут рассказать о ней. Если хотите знать мое мнение, без большевиков — не выбраться России из ямы. Но и с теми большевиками, которые есть, — не выбраться. А потому, по скромному моему разумению, раз уж вы спросили меня, — долг наш понятен: в меру сил делать из них тех людей, на которых не стыдно оставить судьбу Родины. Так что предложение об издательстве, думаю я, следует вам принять... и если нужна вам помощь моя, то — вот она.

Этого никто не ожидал: даже согласие Хламида на встречу с радикальной оппозицией было чудом — а тут он сам предлагал сотрудничество! Тронуть его никто не решился бы, большевики, хоть и кривясь, терпели его «новожизненскую» публицистику, — стало быть, и издательство с ним во главе могло просуществовать как минимум несколько месяцев.

— Так я поговорю с Чарнолуским, — говорил Хламида, собирая свои бумаги, так и не понадобившиеся ему во время беседы. — Я давно его знаю, человек милый, и странности у него милые. Пишет пьесы, не умеет этого скрыть — ну, куда годится? — Теперь главное было решено, и Хламида позволил себе предаться обаятельным воспоминаниям. — В Италии часто встречались с ним, год он там прожил... да! Много врут про него, этому — не верьте: местные рыбаки с первого взгляда отличают, кто — человек. Его — любили они, говорили: вот идет легкий синьор! Он, знаете, и в самом деле пухлый, а легкий: в лодку, бывало, садился — почти не чувствовалось. Не погружается лодка, а? Какой удивительный...

— А черт его знает, — говорил Казарин, идя с Ятем и Ашхарумовой через заснеженный сад к дворцовой кухне. — Может, они ему за то и платят, чтобы он всю оппозицию гасил

в зародыше. К нему идут за поддержкой, а он и говорит: ну какая оппозиция, дорогие мои? Плетью обуха не перешибешь, давайте улучшать, просвещать... В жизни не встречал человека, который бы так врал — и, главное, сам бы так верил!

Как всегда, Казарин предполагал в человеке худшее и с редкой убедительностью обосновывал свои предположения.

— По-моему, они глуповаты для такого дальнего прицела, — отозвался Ять. — И они, и он...

— За что вы его так не любите? — спросила Ашхарумова у обоих.

— А тебе что, понравился? — Казарин даже остановился.

— Не понравился, но он добрый, это же видно...

— Толку от его доброты, — сказал Казарин. — Добрых людей ненавижу, злые хоть не врут... Ну, где твой подземный ход?

Матрос Елисеев спал. Разбудить его и объяснить, что никакой еды они брать не станут, а интересуются только древним лазом, оказалось непросто. Он долго тер глаза, мотал головой и ругался, и пахло от него прекрасным, не до конца еще перегоревшим в организме самогоном. Поняв, что никто не собирается разграблять вверенные ему запасы, он разрешил им наконец засветить кухонную керосиновую лампу и обследовать треснувшую плиту.

— Вот ведь дамочка, — приговаривал он уже добродушно, — отовсюду ход найдет...

Вместе они приподняли и оттащили в сторону тяжелую мокрую плиту. Под ней и впрямь открывался квадратный лаз.

— Ну, полезли? — спросила Ашхарумова.

— Да ты что! — решительно воспротивился Казарин. — В такое время, ночью...

— А когда же?

— Вот потеплеет, подсохнет, и полезем. Не торопись, успеется.

— Ять, да скажите же вы ему!

— Скажу, что он совершенно прав, — заявил Ять. — Ночью лезть в какой-то подпол... сырость, мокрицы... безумие! Вы ведь даже не знаете, куда он ведет.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— То-то и интересно!

Ашхарумова была разочарована и на обратном пути к дворцу дулась. Казарин же, наоборот, хотел поговорить, шел все медленнее, а возле древнего дуба, торчавшего посреди Масляного луга, остановился вовсе.

— Ведь слов никаких нет, Ять, как я люблю все это! — говорил он, обводя рукой смутное пространство снежной ночи. — Ни в каком другом городе нет такой гибельности. Вы скажете — Венеция (Ять не сказал бы ничего подобного, потому что в Венеции так и не побывал, а теперь уж и не надеялся). — Но Венеция по сравнению с Питером — курорт, кишущий здоровяками, прямо-таки пляж! Питер — последний форпост этой цивилизации, далеко выдвинутый в северное болото. Дальше — только полярные области. Посмотрите на все это, — он указал на заснеженные беседки. — Какому эллину, какому римлянину приснились бы античные постройки, рассчитанные на левантинский климат, — среди снежных полей? И какой это был бы грозный, прекрасный сон! Каждый получает, чего втайне хочет, и я всегда хотел втайне именно такой судьбы. Поздний Рим, крах империи, земля изпод ног...

— Жаль только, — не удержался Ять, — что для осуществления вашего тайного желания не пожалели страну.

— А что страна? — с неожиданной страстью заговорил Казарин. — Для чего и была нужна вся эта страна, как не для осуществления моих желаний?! Да, может быть, весь этот луг с дворцом были сделаны для того, чтобы я с предназначенной мне женщиной бродил тут зимней ночью! Весь крах империи задуман для того, чтобы я стал его свидетелем и написал четыре строчки о снеге или бабочке, — никак не о крахе, — но такие четыре строчки, которые только в гибнущем мире и возможны!

— «Быть может, все в мире лишь средство», — усмехнулся Ять.

— Да, да, да! Почему нет? Он гнусный тип, но кое о чем догадывается, иначе я и руки бы ему не подал (критерий у Казарина мог быть один — подал бы он руку или нет; увесистым подаянием была его рука!). Только он никогда не дой-

дет до настоящей гибели, он хочет погибнуть так, чтобы остаться вождем направления... Ему весь этот ледяной эфир ничего не скажет...

Зачем ему эфир, у него есть морфий, хотел сказать Ять, но промолчал.

— Да ведь и вы как-то говорили: призвали всеблагие, — продолжал Казарин. — Неужели и вы не гордитесь таким призванием?

— Я гордился бы, — медленно ответил Ять, — но гибель империи не кажется мне лучшим временем для жизни... Хотя бы потому, что в эти времена невозможно сделать верный выбор. Черт, холодно, иначе я объяснил бы подробнее...

— Так пойдемте к нам!

— Вот к вам-то я и не пойду. Не из-за вас, поймите, а из-за самого дворца, где мне бывать все тягостнее. Я понимаю: все, что защищает Хмелев, — мертво. И в каком-то смысле эта мертвечина заслужила то, что с ней происходит. Но противостоит ей варварство — молодое, веселое, здоровое варварство, нет слов, даже талантливое, — а я обречен сочувствовать слабейшим.

— Господи, да кто же вас обрек?! — искренне изумился Казарин. — Я всегда вас считал человеком трезвым, без предрассудков...

— Это не предрассудок, — сказал Ять. — Это в крови.

Он проводил их до дворца и быстро пошел к мосту.

Уже у самого дома на него из-за угла вывернул Бог весть откуда взявшийся патруль: трое с винтовками, — один в черной матросской шинели, другой в коже, третий в белом тулупе и таких же белых валенках. Сроду на Петроградской в это время не было патрулей, — Ять, конечно, видел их шагающими неизвестно куда по утренним и вечерним улицам, но на ночной дозор наталкивался впервые.

— Чего шляешься?! — весело спросил белый.

— Документы, — буркнул матрос.

Эта внезапная встреча была так забавна, что Ять не успел испугаться. Ему сразу стало весело. В городе грабили, стреляли, насиловали — а патруль ходил по самой тихой и пустынной улице и приставал к одинокому журналисту; это был аб-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

суда столь откровенный, что почти безобидный. Действуя в духе этого абсурда, Ять вынул из кармана пальто мандат, выписанный Мироходовым, и сунул белому — он выглядел главным и самым веселым.

Белый некоторое время изучал мандат.

— Знатно! — выговорил он. — Сам товарищ Павлинов, а? Это как же вы с ним знакомы?

— Работали вместе, — небрежно сказал Ять.

— Где ж это? — не поверил кожаный.

— За границей, — пояснил Ять. — В седьмом году. Он скрывался, а меня выслали за прокламации.

— Домой следуете? — поинтересовался матрос.

— Домой, — кивнул Ять. — Тут близко.

— А откуда?

— Откуда ночью бегают, — хмыкнул бельгий. — Известно, от бабы. Ступай, гражданин, мы тебе не препятствуем.

Ять кивнул, подавил в себе стыдное чувство благодарности и умиления и устремился к дому. За его спиной похотывали, сворачивали сигарки, обсуждали интеллигузию.

Удивительно, как на них действуют такие мандаты, думал Ять. А все-таки неприятно. Ну, с какой стати мне нельзя ходить по собственной улице? Надо было лезть в подземный ход... Вдруг он вывел бы в город?

Куда вел ход, он узнал два с половиной месяца спустя, и подземный ход романа мог бы вывести нас прямо к этому дню. Но подземных ходов под Елагиным дворцом множество, и один из них ведет в холодный, очень холодный день третьего марта.

33

В этот холодный день Ять не удержался и развернул газету прямо на улице; и первое, что бросилось ему в глаза на развороте, было то самое, ради чего он купил этот мерзкий листок у мальчишки-разносчика. Ужасно было, что первый поэт России, не перестававший быть первым и во время своего двухлетнего фактического молчания, печатал там статьи — и какие статьи!

Во всем-то он был прав: в предощущении конца, в ненависти к России, которая, верно, мыслилась ему курной избой или, паче того, огромной квашней, в которой вечно что-то прееет, бродит, кряхтит, но одного Ять не мог принять в нем — злорадства; оно-то и было решающей частностью, каплей, переполняющей чашу. Можно было прощать безвкусицу, невнятность, музыку в ущерб смыслу, иногда и полное отсутствие смысла — но нельзя было простить злорадства, которое выдавало в нем не вполне человека или, по крайней мере, безнадежно больного человека.

Что он болен — говорили давно; Ять от многих слышал о его безумии, причем наследственном. Кто-то знал его отца — страшного варшавского профессора, с медленными движениями и сомнамбулическим взглядом. Сын унаследовал болезнь, ибо только больному, утратившему здравый рассудок — вечную помеху на пути к постижению мира, — доступны были тончайшие движения воздуха, которые улавливал его слух. Именно любовь ко всякой болотной нечисти, безобидным на первый взгляд, но гнусно хихикающим, что-то такое знающим созданиям была предтечей будущей злобной радости, с которой он смотрел на разрушение ненавистной ему цивилизации. Всей своею болезнью, всею причастностью к миру чащоб и топей он ненавидел условности и пленительные усложнения жизни, которые только и любил Ять; комфорт был ему мерзок, уют всегда казался хрупок и оттого не вызывал ничего, кроме раздражения. Носящему в себе трещину ненавистен любой монолит — и оттого он с такой радостью обнаруживал вокруг себя приметы упадка; страшно было думать, что небесная гармония покупается этой ценой.

Все это Ять мгновенно припомнил, стремительно, на холодном ветру, проглядывая газету. Поэма помещалась на последней странице, набранная узко и тесно. Голос узнавался с первой строки, и, как всегда, речь шла о главном, о том, что станет единственным знаком времени. Он начал с ветра, и точно — был ветер; он дул, конечно, не сильней, чем в прошлые зимы, но странным образом усиливался в воображении пешехода, идущего по пустынной улице. Никогда в городе не было так пусто — а потому и так страш-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

но под этими налетающими порывами. Были мотающиеся плакаты, бессмысленные, как старые афиши; было страшное количество девок, уродливых, растолстевших от накрученного на них тряпья. И метель, которую он всегда писал как мятель — второе отклонение его личной орфографии от общепринятой: первым был желтый. Впрочем, он был в своем праве, производя метель не от скучного дворничьего «мести», но от сминающего душу смятения.

Ять и сам ненавидел потерянных людей, из которых словно разом выпустили воздух, — людей, стоявших на трамвайных путях, в подворотнях, попросту остановившихся среди улицы в тупой трагической задумчивости: да я ли это? и что тут делаю? Он знал, что сами эти люди сроду никого не пожалели, прячась в уюте своих квартир, за их картонными, как оказалось, стенами; но эти же люди имели право на сострадание, на свою жалкую, грошовую жизнь, наивное и неумелое хищничество, смешные и болезненные привязанности — и грешно было радоваться их жалобным глазам, согбенно-вопросительным позам... Мерзко было все — и то, что гыбло, и то, что шло на смену, — что же заставляло его видеть во всем этом волшебную перспективу, которая, бывает, открывается вдруг на ночной улице после снежной ночи? Ять видел такой внезапно улегшийся снегопад, когда шел от Зайки — и в черно-белой перспективе, в бледном свете внезапно включившегося электричества разглядел своего мальчика, странного гостя, исчезнувшего, словно его и не было. Там, в этой же перспективе, можно было, оказывается, увидеть и того, кому совершенно нечего делать в городе, стираемом с лица земли.

Ять мог еще представить Его ходящим по домам, подающим кружку воды или ломоть хлеба умирающему от голода старикуну; он мог представить Его утешающим ребенка, гладящим бездомную собаку, — одного он не мог себе представить: Христа во главе патруля, в котором было отчего-то двенадцать человек (беспардонная, бессмысленная натяжка — ходили по трое, пятеро, семеро, всегда нечетными группами, словно в расчете на случай, когда вопрос об аресте и расстреле придется решать простым голосованием, — так вот, чтоб без споров). Ему надо было, чтобы хо-

дили двенадцать, и он ничтоже сумняшеся их придумал, по-догнал под число апостолов, кощунственно (и как неумело, по-детски!) приклеил евангельские имена...

И страшно было подумать, что, если Христос действительно может прийти только в вымерший, вымерзший город, в котором выморожено, запугано, загнано в клетку все человеческое, — Ять знать не хотел такого Христа.

Наутро он с очередными «Листками» отправился к Мироходову и застал там Грэма, славившегося умением выбивать авансы. Однажды он просто улегся на диван в приемной Аверченко и не уходил, пока ему не вынесли пять рублей. Теперь он уговаривал Мироходова, но тот, похоже, сопротивлялся больше для порядку.

— Но учтите, — сказал он наконец, вытаскивая мятую пятирублевку, — рассказа вашего я все равно печатать не буду.

— Почему? — изумился Ять. — Простите, что вторгся в ваш спор, но...

— Прекратилась газета. Пришел Минкин и прекратил. Никакие птички не спасли. Вот, возьмите гонорар.

— Но позвольте, позвольте! Какой же гонорар, если не печатаете?

— Да какая разница, напечатано или нет? — Мироходов поднял на него кроткие, часто моргающие глаза. — Он делает свое дело, а мы свое. Он газету закрывает, а мы рукописи собираем. И платим, пока есть чем. Деньги уж тоже ничего не стоят... Меняем бумагу на бумагу, но в том-то и смысл! Если бы жизнь свести к реальности, чем бы она стала? Минкин закрывает — хотя резона в этом нет никакого; я со своей стороны принимаю авторов — не закрывать же лавочку?

— Но есть надежда, что откроют?

— Надежда всегда есть, да только не в этом дело. Ну не все ли вам равно, Ять, — двадцать человек прочли ваше сочинение или двести? Вы написали, и будьте довольны. Главное, чтобы вещь явилась, а когда до нее дойдет черед — один Бог ведает. Что должно увидеть свет — увидит. Напишите нам еще что-нибудь, рубрика ваша очень нравится читателю. Вы заметили, что мы, газетчики, всегда говорим «читатель»? Буд-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

то он один? Вот он и стал один, и гораздо почетнее писать для одного, нежели для сотни. Во мне можете не сомневаться.

— Это мысль благородная, — сказал Грэм. — Ваш должник. Ну, благодарствуйте.

На лестнице Грэм шел чуть впереди и бурчал себе под нос: «Благородно... не откажешь, благородно... Прост, но с понятием...»

— Бежать надо, — вслух сказал Ять, адресуясь, собственно, не к Грэму, а к себе самому. — Если и газеты не будет, я не выживу.

Внезапно Грэм остановился посреди лестничного пролета и обернулся к нему.

— А вы готовы бежать? — спросил он в упор.

— Смотри куда, — пожал Ять плечами. — Проситься к елагинцам мне стыдно, проситься к крестовцам не позволяет образ мыслей, а без добавочного пайка я долго не протяну.

На улице буйствовал ветер, обоим не хотелось выходить. Грэм закурил.

— Если вы н а д е ж н ы, — сказал он тихо, — и если вы г о т о в ы, я мог бы предложить вам уехать. Я как раз ищу спутника. Вы из тех людей, о которых сразу не вспоминаешь, но потом изумляешься: как же я о нем не подумал сразу? Это вам много вредит, но много и помогает, — добавил он, подняв палец.

— За границу? — еще тише спросил Ять.

— Не совсем, хотя в некотором смысле и за границу, — кивнул Грэм. — Я еду в Крым.

— Каким образом? Поезда не ходят...

— П о е з д а не ходят, но п о е з д нынче пойдет, — загадочно ответил беллетрист. — Будет контроль, но контроль мы пройдем. Есть д р у г о й контроль, но если не будет препятствий со стороны известных сил, мы минует и его. Поезд уходит завтра, в половине первого ночи. Вы успеете собраться?

— Мне собираться не надо. Крым, сказали вы?

Таких совпадений не бывает, подумал он. Ведь если я и думал об отъезде куда-то, то исключительно к ней, туда, где мы уже были счастливы однажды. Крым, конечно, теперь не тот, но он сытнее, теплее, он, наконец, бесконечно далек от этого

замороженного города. Это спасение, отпуск, бегство, что угодно, — но возможность хотя бы неделю не выбирать между черным и белым, допустить и другие краски спектра... Здесь мне оставлять некого, там есть надежда...

— В Крыму теперь тоже республика, — важно пояснил Грэм, — и на помощь ей отправляется один поезд. Попасть в него можно, надо только доказать, что вы там нужны. Мне сказал знакомый матрос, у него есть связи, и меня там будут ждать в штабном вагоне. Я буду рад, если вы согласны.

— А что там сейчас? — спросил Ять.

— Там сейчас цветет миндаль, — пояснил Грэм, — и есть т а т а р ы. У татар есть скот, и они гостеприимны, — если вы, конечно, приходите как друг.

— Хорошо, — с удивившей его бестрепетностью произнес Ять. — Завтра. Прийти на вокзал?

— Ни в коем случае. Вас никто не должен видеть. Я приеду за вами, назовите адрес.

Ять назвал адрес и отправился домой без всякой надежды, что за ним завтра приедут. Грэм со своей конспирацией, тайнами, замаскированными поездами и прочим Густавом Эмаром был ему приятен, но доверия не вызывал. Тем не менее он собрал в узел то небольшое, что было нужно, и с пяти вечера четвертого марта не находил себе места: выкурил весь неприкосновенный запас папирос, не мог читать, писать, метался, как тигр в клетке, — и не поверил своим ушам, заслышав в четверть одиннадцатого дребезжанье звонка.

— Спускаемся, — сказал ему Грэм. На нем было обычное черное пальто, потертое до крайней степени, но голову вместо ушанки украшала капитанская фуражка.

— Уши отмерзнут, — предупредил Ять.

— Неважно. Я еду к морю, а к морю надо ехать т а к.

Внизу в самом деле ждала машина — черная, лаковая (Ять никогда ничего не понимал в их марках). В машине было тепло. Шофер, одетый в кожу, не обернулся в сторону Ятя. Грэм решительно полез на переднее сиденье. Ять, больше всего испугавшись, что сейчас уедут без него, рванул заднюю дверцу. Почти все пространство салона занимал огромный, широкий, буйно-кудрявый человек, приветствовавший Ятя по-итальянски. Итальянского Ять не знал и ничего, кроме приветст-

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

вия, не понял; толстяк продолжал жестикулировать и клокотать, так что Ять еле втиснулся в машину и постоянно получал толчки и тычки.

— Это тенор Маринелли, — пояснил Грэм. — Он едет туда налаживать культурную политику. Его предложил я, потому что здесь он оставаться больше не может. Его позвали на гастроли в октябре, а в ноябре он уже не смог выехать. Славный малый, но совершенно беспомощный.

Услышав свою фамилию, Маринелли заклокотал еще громче. Голосу его было тесно в кабине.

— Он не говорит по-русски, а я не знаю ни одного языка, но понимаю его, — вставил Грэм.

Ять по-английски спросил тенора, откуда он, — тот, обалдев от счастья, что нашелся вменяемый собеседник, принял ся на невозможном, но стремительном английском рассказывать свою жизнь, прибавляя фантастические подробности. Он прибыл из Милана. Он пел в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне ему подарили дом, в Неаполе он выступал на Везувии — один из всех, один из всех! Он прибыл в Петербург по приглашению Караванова. Где теперь Караванов? Он вынужден был искать пропитания где попало, в посольстве никто ничего не знает, ему выдавали какие-то деньги и приглашали обедать, но половина посольских сбежала еще летом, а вторая половина сама не может ничего решить. Поездов нет. Ему советовали ехать в Москву. Он воздержался, ибо Москва — варварская столица и там вовсе нет ценителей прекрасного. Он пел перед солдатами, это прекрасная, благодарная публика, ему дали хлеба, но в Петрограде нет настоящей оперы. Он предлагал себя в три театра, но во всех трех нет вакансий, нет спектаклей, эти невежды не слышали его имени! И какие могут быть спектакли в городе, где нет топлива и электричества... Он жил в гостинице, жил в посольстве, жил у нового друга, но новый друг не понимает ни одного языка.

Итальянец болтал темпераментно и неостановимо и был, в сущности, добрая душа. Ять разомлел в тепле, он давно не ездил в автомобиле. Есть все-таки своя прелесть в том, чтобы быть народным комиссаром. Они катили по пустому городу, слегка юзя на обледенелых мостовых, заносясь на поворотах, — шофер не произносил ни слова, молчал и Грэм. Италья-

янец перестал рассказывать и принялся петь — и тут в перспективе пустынной улицы, уже на подъезде к Неве, Ять заметил детскую фигурку.

— Остановите! — закричал он не своим голосом, перебивая тенора. — Остановите, черт бы вас побрал!

Шофер тормознул, и машина резко встала, вильнув задом.

— В чем дело? — обернулся Грэм.

— Подождите секунду, я видел там ребенка, — задыхаясь, объяснил Ять. — Я знаю этого мальчика, он потерялся, переночевал у меня и сбежал... Ради Бога, я только посмотрю...

— Но вы не можете взять его с собой, — сказал Грэм.

— Да черт с ним, с Крымом, — если это он, я останусь. Не бросать же. А может, уладим как-нибудь, — Ять уже выбирался из машины. — Только не уезжайте без меня, я сейчас!

Он пробежал метров двадцать, скользя по льду, прятавшемуся под мокрым снегом, повернул налево — никого.

— Петечка! — кричал Ять среди пустой улицы. — Петечка!

Ответа не было. Ять пробежал метров пятьдесят, заглянул в пару подворотен — пусто. Чье-то бледное остренькое личико, больше похожее на морду хорька, прильнуло к окну второго этажа и скрылось. Света в квартирах не было — то ли бергли керосин, то ли привыкли рано ложиться. У пещерного человека не бывает вечерних досугов.

Ять бежал, и звал, и вглядывался в темноту, — но мальчик мелькнул и исчез, и снова нельзя было сказать, был он или померещился.

Искушать терпение шофера Ять боялся. Поезд ждать не станет. Он еще раз отчаянно крикнул: «Петечка!», подождал (не было и эха, звуки отвесно падали в сырую, вязкую ночь) и побежал назад к машине. Шофер тронул ее с места, когда Ять еще только захлопывал дверь.

— Мы успеем, — успокоил всех Грэм. — Теперь близко. Вы не нашли его?

— Нет, — сокрушенно ответил Ять, задыхаясь от бега.

— А что за мальчик? Вы расскажете?

— После.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Это был знаменитый впоследствии, единственный поезд, отправившийся из Петрограда в Крым за всю зиму и весну восемнадцатого года. Состав из шести вагонов 4 марта 1918 года отправился на помощь молодой Таврической республике, провозглашенной в феврале и запросившей у петроградских товарищей помощи и совета.

Крым мог дать продовольствие, был ценен и как форпост на Черном море, и потому в Смольном на просьбу откликнулись немедленно. Пять вагонов были забиты оружием, реквизированным имуществом, агитационной литературой, кумачом, без которого не может обходиться молодая революция, и краской, без которой она не напишет на кумаче ни единого лозунга. В штабном вагоне ехали военные, призванные организовать крымских матросов на защиту их завоеваний, комиссар Рыленко, отвечавший за сохранность имущества, и несколько полуслучайных людей, напросившихся в попутчики. Помимо Грэма, Ятя и Маринелли, тут была пожилая учительница, откомандированная в Крым по настоянию Чернолуского для налаживания в республике системы просвещения, и два художника — Марягин и Колосов, которых Чернолускому порекомендовали из Крестовской коммуны.

В вагоне было тепло. Это был прекрасный, чудом сохранившийся вагон — из тех, в которых ездило высшее офицерство. Он был по-прежнему украшен двуглавым орлом. Комиссар Рыленко, обитавший в первом из пяти купе, встал на встречу Грэму:

— Здравия желаю, товарищ писатель.

— Со мной друг, который наладит крымскую печать, и знаменитый певец, о котором я вам говорил, — деловито, попадая в обычный комиссарский тон, произнес Грэм. Ятя никогда не видел его таким — сдержанно возбужденным, строгим: вероятно, таков должен быть капитан на мостике. — Люди проверенные, я давно знаю обоих.

— Присаживайтесь, товарищи, — Рыленко указал на полки. — Сейчас перекусим. Путь неблизкий, не самый простой, не исключены нападения, но думаю, доедем исправно.

Он был явно из простых, но в нем обозначался уже правительственный лоск, штабная грация. Но Ятя теперь ничто не

раздражало: благодаря чудесной перемене он уезжал из города, который сделался ему невыносим, с ним случилось то, что он больше всего любил, — чудесное приключение, не имевшее объяснения, — и он, привыкший ожидать только оскудевшей жизни, радостно впитывал новизну. Душа его, истомившаяся без надежды, оживала и расправлялась, как смятый листок — или, точнее, как стрекоза, вытащенная из воды.

Маринелли намурлыкивал что-то итальянское. Комиссар проявлял к нему как к иностранцу особенное уважение и предупредительность. Ординарец, стройный юноша в кожаном пальто, тонко нарезал сало. Комиссар достал фляжку и разлил по серебряным стопочкам коньяк.

— За успешное путешествие! — провозгласил он.

Черт знает что, думал Ять. Столица едва не взята, хлеба нет, а они отправляют в Крым пять вагонов. Странный назревает режим: на необходимое у него никогда ничего нет, а на излишнее всегда найдется. Еще немного, и я готов буду их признать своими. Удивительные вещи делают с людьми сало и коньяк!

Маринелли, проникшийся симпатией к единственному за много дней собеседнику, подмигивал ему, сидя напротив. В половине первого ночи поезд тронулся. Комиссар опустил красные плюшевые шторы, и вид пронесшихся за окном ледяных пространств перестал отвлекать Ятя от трапезы. Разговоров почти не было. Разлили по третьей. Вот и бродячий артист, подумал Ять. Огромное лицо Маринелли широко улыбалось ему, певец встряхивал черной курчавой шевелюрой и то и дело принимался петь новую арию, словно провозглашавшая радостный переход от утомительных холодов и разговоров первого действия к приморской буффонате второго.

действие второе
**БЕГЛЫЙ
ГЛАСНЫЙ**

*Пляшет перед звездами звезда,
Пляшет колокольчиком вода,
Пляшет имель и в дудочку дудит,
Пляшет перед скинией Давид.*

Арсений Тарковский

*Колебания, которым подвержено множество многих
доблестных людей, объясняется тем, что смерть
по-разному предстает их воображению. Единственное, что в
силах разума, — это посоветовать от нее взоры и
сосредоточить их на чем-нибудь другом. Не так давно некий
лакей удовольствовался тем, что пустился в пляс на том
самом эшафоте, на котором его должны были колесовать.*

Ларошфуко

*Я так озлобился, что сегодня толкнул маленького
мальчишку. Прости мне, Господи.*

Александр Блок. Из дневников

Ъ

1

Многие и тогда, и потом задавались вопросом: отчего в 1918 году так много было случайных встреч, романских совпадений, отчего все герои тогдашней прозы постоянно сталкивались на необъятном российском пространстве, словно вся грандиозная катавасия для того только и затевалась, чтобы какой-нибудь Иван встретился с Катей и продолжал с маниакальным упорством обнаруживать ее везде, куда бы ни сунулся, — так что под конец потрясенному читателю начинало казаться, что в России, кроме Ивана с Катей, никого особенно не было? Сидят они, положим, в своем Петрограде или на даче в 1916 году, и разыгрываются между ними обычные для того времени комнатные страдания: у него сомнения, у нее запросы, и вообще ей больше нравятся военные. В семнадцатом году она отправилась к тетке на юг, он остался в городе и шляется по улицам, как помешанный, присоединяясь то к одной, то к другой толпе, — но и толпы шагают так же, не зная, куда бы влиться. Рано или поздно при таких делах начинают постреливать, и Иван, не желая уезжать на юг, где есть шанс увидеться с Катей, успевает завербоваться в экспедицию какого-нибудь Чулюкина, исхитрившегося убедить Временное

правительство в необходимости срочного изучения быта северных народностей.

Но не успели они доехать еще до ближайшей северной народности, как в Архангельске настигает их весть о петроградском перевороте. В экспедиции, естественно, раскол. Одни, как Чулюкин, уверены в необходимости далее следовать намеченным маршрутом: какая бы ни была в России власть, а истинным интересам страны служит прежде всего честный ученый. Другие разворачиваются и — в Петроград, в водоворот событий. Кому какое дело до ваших северных народностей! Иван мучительно колеблется, но тут встречает Катю. Катя, что с тобой, как ты попала в Архангельск из Мучкапа? Ах, видишь ли, тетя больна, дела наши совсем расстроены, и ее новый муж, адвокат Красновский, так на меня смотрел... а как раз на соседней улице остановился вернувшийся с фронта поручик Черенцов, у него там сестра. И... но ты понимаешь, конечно, ничего серьезного... он уехал сюда в британскую миссию — куда мне было бежать? И вот я здесь. Познакомься, Алексей. Черенцов щелкает каблуками, зубами, глазами. Разрешите откланяться. Катрин, не задерживайся, я буду ждать.

Ну тебя к черту, Катя, сердито бросает Иван. Не сердись, глупый, говорит она ему со снисходительностью взрослой женщины (ну как же, с поручиком!..). Мы еще увидимся, когда будем достойны друг друга... а пока нас несет, как сухие листья, нет у нас родины, нет нам изгнания.

Ивану теперь совершенно не до народов Севера. Ах так, отлично, говорит Чулюкин, играя желваками. С ним осталось всего пять человек, но ничто не останавливает исследователя. С горсткой вернейших выходит он из Архангельска и пропадает из поля зрения повествователя, затертый где-то во льдах, в «Ниве», во «Всемирном следопыте». Обрато в Питер Ивану не хочется — он едет на Украину, намереваясь оттуда пробраться за границу.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В бесконечных, битком набитых, непредсказуемо останавливающихся и трогающихся поездах, с пересадками, спотычками и провалами беспамятства добирается он до Харькова, и первая, кого он там видит, — Катя! Черенцов бежал со своими англичанами, она уехала со Злотником (Авраам, это Ваня, я вам рассказывала, наши матери дружили когда-то). Ах, матери. Больше нас, значит, ничего не связывает. Ну что ты дуешься, глупый, — зачем ему знать о нас больше? Авраам ездит по югу, скупает продукты, собирается обменять в Петрограде... вообще человек темный, но с задатками. Хорошо же, Катя. Вот до чего ты докатилась. Кстати, знаешь, Ваня, где я тут остановилась? Нам (о, проклятье!), нам сдали комнаты местная учительница, двоюродная сестра твоего Чурю... Чирю... Чулюкина, черт бы тебя побрал! Не сердись, милый.

Я не сержусь, милая, сквозь зубы отвечает Иван и тут же вступает в Добровольческую армию, которая как раз случилась тут неподалеку. Жестоко разочаровавшись в архаичном, напыщенном, далеком от народа «Белом Деле», не веря в любовь, не видя будущего для России, он дезертирует и с отчаяния пополняет собою банду местного батьки, романического типа по прозвищу Шаравый. Он сожительствоует с цыганкой, устраивает по ее капризу показательные расстрелы и питается кокаином. Однажды Ивана вызывают в штаб Шаравого: нужно допросить странного человека, побиравшегося по селам. Может быть, он шпион? Во всяком случае, выдает себя за англичанина. Иван приходит в штаб и видит Черенцова. Глаза их встречаются. Черенцов понимает, что ему конец. Иван понимает, что благородство в нем сильнее жажды мести. Да, этот человек действительно англичанин, я узнаю его лондонское произношение. Отпустите его. Отпустить, говоришь? Нет, пушай с нами остается, воюет, по-своему нас учит. Мы ведь рано или поздно до самой его Англичании дойдем. Улучив момент, поручик сквозь зубы по-английски говорит Ване: «I shall remember you for it!» В голосе его слышится не столько благо-

дарность, сколько угроза. В первом же бою Черенцов перебегает к красным. В этом бою тяжело ранят и Ваню. Подбирают его уже красные, и первая, кого он видит, — медсестра по имени Катя. Конечно, Злотник оказался мерзавцем (как будто он мог оказаться кем-то другим!). Мгновенно перекрасившийся Черенцов клеветает на Ваню, объявляя его злейшим контрреволюционером и правой рукой Шаравого. Но красный командир, бывший ученик Чулюкина (в те еще времена, когда тот преподавал географию в московской гимназии), с помощью Кати восстанавливает историческую справедливость. Черенцова уводят в расход (он оглушительно щелкает зубами), а Иван оказывается в штабе. Нам грамотные нужны.

Рассказывать ли, как, убоявшись красных жестокостей и долгих, нудных, бессмысленных дискуссий с учеником Чулюкина, Иван дезертирует и оттуда? Как пробирается в красный Петроград и устраивается в новую экспедицию, идущую на поиски предыдущей? Как в конце концов по легендам северных народностей он находит странного белого человека, прошедшего тут три года назад, и наконец обретает Чулюкина — совершенно очукчившегося, женатого на северной девушке, которую туземцы называют Сон О Полете Пчелы Вокруг Оленя. И добавлять ли, что в этой девушке он скоро узнает Катю, которая и говорит ему наконец: вот час и настал, теперь ты не мальчик, но муж?

Ах, оставь, Катя. Какой я теперь муж? Вечно мы называем мужем того, у кого не осталось надежды... Прощай, Катя, я никогда не мог застать тебя одну, но и никогда не мог избавиться от тебя вполне. Всюду, куда я ни ткнусь, ты будешь торчать на моем пути, — и я готов поспорить, что первая, кого увижу на американском берегу, сбежав в Америку, будешь ты, в обществе двоюродной сестры Чулюкина. Но слышишь ты это оглушительное щелканье бича за порогом чума? Ах нет, милый, ничего страшного, это пастух ведет оленей... Нет, Катя. Так щелкать может только Черенцов, чудес-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

но спасшийся, навеки завязанный с нами в единый узел. Нам никуда не деться друг от друга. Прощай, Катя.

...А между тем прибыли на темный симферопольский вокзал, удивительно людной для двух часов ночи: представители Таврической республики суетились у поезда, выгружая консервы, музыкальные инструменты и кумач. Товарищ Рыленко, сразу ставший необыкновенно начальственным, беседовал возле штабного вагона с председателем крымского Совнаркома. Ятю, Грэм и Маринелли он неопределенно махнул куда-то в конец платформы — там должна была их ждать крымская комиссарша просвещения; самому Рыленко было не до попутчиков. Из тихого, секретного разговора предсовнаркома Крыма с московским гостем Ять уловил только испуганный вопрос крымчанина о немцах и решительное уверение Рыленко: «Сюда — не войдут». Грэм, поманив за собой Маринелли с Ятем, сделал шагов пять в указанном направлении, после чего стремительно юркнул в щель между станционными постройками и оттуда шипящим шепотом позвал:

— Да сюда же, черт...

— Вы что, не пойдете к комиссарше?

— Только затем я и тащился полторы тыщи верст, чтобы увидеться с комиссаршей... За мной!

Ять покорился.

2

Теперь во влажной, непроглядной крымской ночи, еще холодной, но уже явственно пахнущей кипарисами и пробуждающейся землей, Ять и Маринелли шли за Грэмом, всецело доверившись его сверхъестественной памяти. По долгим скитаниям он знал в Крыму каждый куст и уж точно каждый кабак — все дальше отходя от вокзала, они проплутали с четверть часа по узким и запутанным улочкам, пока не вышли к дукану, распространявшему вокруг себя дивный аромат жареного мяса и кофе. Видимо, Грэм, гордившийся тонкостью обоняния, с самого начала шел на этот запах.

Дверь дукана была прикрыта, занавески задернуты — сквозь них сочился багроватый свет. Грэм решительно толкнул дверь.

— Здесь друзья, — сказал он, обернувшись, — и здесь нам будут рады.

Они вошли в тесное, душное помещение, где с трудом помещались восемь крепких деревянных столов с деревянными же черными скамьями; в углу шипел мангал, кидая на стены кровавые отсветы. Более средневекового трактира Ять не видел сроду. За столами, на которых плавали в плошках коптящие фитили, сидело человек пять посетителей — публика самого разбойничьего вида; один, обхватив голову руками, урюмо раскачивался из стороны в сторону и по временам коротко подвывал, словно от зубной боли, еще трое неподвижно сидели над массивными глиняными кружками, иногда одновременно приподнимая их, сдвигая в воздухе, отхлебывая и вновь погружаясь в неподвижность, — один, самый худой и длинный, спал на спине, прямо на лавке, и его чудовишно длинные ноги свисали на пол, а лицо было закрыто шапкой. У мангала в такой же фундаментальной неподвижности стоял темнолицый усатый кавказец, время от времени снимавший с огня готовую порцию мяса. Вельзевул, поворачивающий грешника над пламенем, не мог бы держать себя с большим достоинством, чем владелец ночного дукана.

— Это «Адова жаровня», — шепнул Грэм Ятю. — Лучший из подпольных кабаков в этой части полуострова. Хозяин промышляет скупкой контрабанды, и говорят, на его совести многое.

— Жарит-то хоть не человечину? — так же, шепотом, заинтересовался Ять.

Грэм посмотрел на него с тягостным недоумением и ничего не сказал. В его сказку подобные детали не вписывались. Он решительно подошел к дуканщику и тихо, но серьезно сказал:

— Добрая ночь и скорое известие.

Вельзевул и бровью не повел в ответ на этот явный пароль. Выдержав паузу, — вероятно, служившую отзывом, — он повернул к Грэму тяжелую голову и негостеприимно спросил:

— Что хочешь?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Со мной — двое, — быстро сказал Грэм. — Эти люди з н а ю т. Дай пицци, вина — что сможешь; кто дает путнику — дает Богу.

— Деньги есть? — прямо спросил дуканщик, не желая ничего давать Богу.

— Оплата придет, и Совет знает, — без прежней уверенности в голосе произнес Грэм; Ять чувствовал, что он начинает юлить. Сочинитель явно увлекся проживанием новой новеллы — таинственная таверна, ночь, пароль, — но прозаическому кавказцу не было до новелл никакого дела. Мясо тут подавали за деньги.

Как ни странно, первым об этом догадался Маринелли. Он извлек из кармана горсть мятых керенок и помахал перед дуканщиком. Тот, совсем уж негостеприимно смотревший на Грэма, сменил гнев на милость:

— Садитесь, сейчас...

Они уселись за стол, казалось навеки пропитавшийся жиром. Грэм снял тяжелое черное пальто, Маринелли только расстегнулся — житель благословенной Италии вечно мерз.

— Есть люди, — сказал после паузы Грэм, — подобные грецкому ореху. Вы видите скорлупу — и вам странна сама мысль, что под нею может быть что-нибудь, кроме грубой и складчатой древесины; но вы раскрываете ее...

Он замолк, переполненный благодарностью. Хозяин хмуро поставил перед каждым из них глиняную кружку, в которой плескалось темное, кисло пахнущее вино, — и железную тарелку горячего пряного мяса.

— Нас разорят тут, — предупредил Ять.

— Я рассчитываю выбраться отсюда на ближайшем корабле, — беспечно ответил Маринелли. — Надо потратить русские деньги — уже через три дня они сгодятся мне только для коллекции.

Маринелли ел быстро, жадно, не стараясь растянуть удовольствие, Грэм — осторожно, деликатно, как аристократы в кинодрамах; Ять научился в последние полгода извлекать из еды максимум наслаждения, разжевывая каждый кусок, и почти забыл о счастье стремительного насыщения. Теперь, в «Адовой жаровне» — если Грэм не выдумал этого названия, — он физически чувствовал, как расправляется, оживает мозг, как радуются обоняние, зрение, вкус, дорвавшись нако-

нец до подлинной пищи: глаз — до своей, вкус — до своей. После первой кружки Ять ощутил счастье.

Грэм между тем, покончив с бараниной, оглядывался по сторонам в поисках сюжетного развития — и тут же обнаружил героя: несчастный посетитель, раскачивавшийся с подвываниями над своей кружкой, был для него недостаточно романтичен, а три оперных злодея — слишком опасны, чтобы вовлекать их в орбиту фабулы. Лучше всего для общения годился спящий. Грэм склонился над ним, тормоша и тряся.

— Корнелиус! — воскликнул он с таким восторгом, что оглянулся даже дуканщик. — Корнелиус, друг мой! Сколько лет мы не виделись с тобою, мудрец и бродяга!

Предполагаемый Корнелиус приподнял голову с лавки и тут же бессильно уронил ее опять, стукнувшись затылком.

— Корнелиус! — не отставал Грэм. — Помнишь ли ты Балаклаву?!

— Балаклаву помню, тебя нет, — раздраженно проворчал Корнелиус.

— А наши странствия? А твою любовь к таинственной дачнице? Есть, есть у тебя теплый угол за пазухой, люблю тебя, странник!

— Оставь ты меня, Бога ради, — пробурчал странник, пытаясь привстать и бессильно падая на лавку плашмя.

— Оставьте его, Грэм, — вмешался Ять. — Не видите разве — он пьян?

Грэм не удостоил его и словом: он всецело переключился на Корнелиуса.

— Помнишь дом с хрустальным шаром? Помнишь, как говорил ты, бывало: небольшое жульничество — не обман, но перераспределение...

— Да ты кто такой?! — пронзительно заверещал Корнелиус. — Отойди от меня, сделай милость! Чего тебе надо?

Грэм, мечтательно улыбаясь, вернулся за стол.

— Ни за что не признает при чужих, — покачал он головой. — Задумчивая душа, спутник юности...

Лихорадка прибытия, ночного бегства и незнакомых мест сменилась умиротворенностью и теплом, медленно разливавшимся по телу. Ять задремал, дремота одолевала и Грэма. Рядом похрапывал Маринелли, привалившись к стене. Ять, од-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

нако, спал чутко — и заметил, как Корнелиус, так и не заснувший после внезапного пробуждения, тянется к карману Грэма.

— Грэм! — закричал Ять, одновременно перегибаясь через стол и хватая бродягу за руку. — Грэм, ваш друг вас грабит!

Грэм, как выяснилось, и не думал спать. Он смотрел на Ятя с горьким укором.

— Зачем вы вмешались! — вымолвил он. — Вы испортили лучший из моих рассказов!

— Рассказ рассказом, но вас тут собирались обчистить...

— Пусть бы обчистили, за такой поворот не жалко! Ах, черт, что за люди... Корнелиус, друг мой, сколько тебе нужно? Вот, возьми. Маринелли, дайте ему. Give him some money...

Маринелли невозмутимо посапывал, не открывая глаз.

— Разбудите его, Ять! У меня нет денег, только табак.

Ять отчетливо увидел, как Маринелли приоткрыл один глаз и многозначительно мигнул.

— Его теперь из пушки не разбудишь, — мгновенно среагировал Ять. — Не думаю, что он будет вам благодарен за решение поделиться с вашим другом его деньгами.

— Но Корнелиусу нужно выпить, — жалобно сказал Корнелиус, очевидно свыкшийся со своим новым именем.

— Корнелиус потерпит, — увещевающе произнес Ять. — Не огорчайтесь, Грэм, вы напишете другой рассказ.

На рассвете, расплатившись с дуканчиком и оставив всех посетителей «Адовой жаровни» точно в том же виде, как они их застали, три наших путешественника вышли на свет Божий.

Голубело небо, и тонкий туманец полз по улицам спящего Симферополя. Сухие листья прошлой осени лежали на узких каменистых улицах. Ять разглядел вывеску над входом — «Покушай»; пожалуй, это посмешней Грэмовой «Жаровни»... Вдалеке прогрехотала татарская арба, по соседней улице прошмыгнула согбенная старуха в черном. Кошка, выгнув спину, внимательно смотрела на Ятя, Грэма и Маринелли; насмотревшись и что-то себе уяснив, юркнула под забор. За ним виднелись деревянный дом и беседка, оплетенная сухими плетями дикого винограда.

— Ну что ж, — сказал Грэм, — кто куда. Я, пожалуй, налево, а вам, Ять, — прямо. Там дорога к Ялте, до Гурзуфа сорок верст. Найдете мажару, доберетесь к вечеру.

— А где Маринелли лучше всего искать серьезных людей, чтоб переправиться? — спросил Ять.

— Пусть идет направо, там базар. Ну, прощайте, увидимся, — Грэм коротко пожал им руки и решительно, словно зная цель, зашагал налево.

— Прощайте, Маринелли, — сказал Ять. — Будете в Петрограде — милости прошу.

— Будете в Европе — найдете, — улыбнулся Маринелли, и Ять утонул в его великанских объятиях. Итальянец двинулся направо, и лицо у него мигом стало деловитое — с таким лицом он, бывало, брал полуминутную паузу перед очередной арией, вспоминая текст.

А Ять пошел прямо. Хорошо было идти одному, самому по себе. Он распахнул пальто, закурил последнюю папиросу и скоро вышел из города. За плечами у него был мешок с бельем, бритвой и книгой, подаренной Клингенмайером, — может, хоть тут он поймет наконец, о чем она.

3

Для экспериментов по отъему и захвату власти Крым представлялся идеальной площадкой: более кроткой и вольной местности не найти было во всей бывшей империи. Всякая власть тут была номинальной, ибо положение тихого приморского края зависело исключительно от погоды, дачников и улова. Татары возделывали огороды, рыбаки забрасывали сети, морское побережье сплошь было застроено дачами и санаториями, вся жизнь небольших приморских городов протекала на набережных, и небогатая российская интеллигенция, снимавшая или покупавшая тут скромные жилища, знать не знала о том, как живет и кем управляется Крым. Буркин, знаменитый своими балаклавскими пиршествами, во время одного из набегов на южное побережье Крыма после особенно удачного выхода в море с рыбаками основательно закутил; ему пришла фантазия дать импера-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

тору телеграмму с просьбой о даровании Балаклаве статуса вольного города, и самое удивительное, что получил он будто бы и ответ с пожеланием непременно закусывать, — последнее, впрочем, относилось к области легенд.

До середины семнадцатого года Крым жил, словно не замечая войны и революции: по-прежнему был полон движения и шума ялтинский порт, по-прежнему заходили в него корабли союзников — но уже полные слухов о войне на море; до шестнадцатого года война велась еще по рыцарским правилам, и старая Европа оставалась собою, — но немцы, почувствовав близость поражения, потопили несколько мирных торговых кораблей, и этим ознаменовался новый этап бойни. Все реже приходили в Ялту и Феодосию французские и британские суда, груженные кофе и апельсинами, тканями и колониальным товаром; все чаще появлялись военные корабли — входили в бухты, злоеюще маячили на горизонте, неслышно проходили мимо, и хотя в городах прекрасно знали, что суда эти союзнические, охраняемые, что немецких кораблей нет и не будет вблизи побережья, но и эти тихие гости воспринимались как вестники беды. Осенью семнадцатого торговое сообщение Крыма с миром почти прекратилось — в ноябре в Ялту пришел вдруг, Бог весть с чего, американский корабль «The Glory» с грузом сигар, и все южное побережье курило сигары; с тех пор торговых судов в Ялте не видели.

Политической жизни, как и промышленности, в Крыму не было сроду — единственным заводом оставался севастопольский судоремонтный. Не мудрено, что революция ничего в нем не изменила и не посеяла даже вражды меж праздными и трудящимися классами, ибо трудящиеся только и жили за счет праздных, приехавших на курорты и дачи. Да вдобавок и владельцы крупных поместий, коих вдоль побережья насчитывалось около двадцати, редко проводили зиму в Крыму; одна фрейлина фон Кирстенхардт, родственница вдовствующей императрицы, безвыездно жила в своей небольшой усадьбе при въезде в Ялту и пользовалась общей любовью. Прочих имений старались пока не грабить, ибо неизвестно было, как оно обернется.

Все тут было иным — в особенности краски. Коричневые, пологие крымские горы, зелено-бурый плющ лесов, песчаная галька, которой засыпана была дорога на Ялту, желтая глина обочин, безлистные еще груша и миндаль в белом и розовом цвету — но чем выше восходил взгляд, тем менее различимы были оттенки: все сливалось в голубом блеске. Ять давно снял пальто и нес, перекинув через руку. По сторонам дороги тянулись молчаливые татарские деревни, где даже петухи подавали голос как бы нехотя. Иногда во дворе видна была согнутая в три погибели старуха, ковыряющая землю мотыгой, или желто-смуглый старик на крыльце; время от времени принималась лаять коротконогая собачонка — но тут же замолкала. Все молчало и ждало, но Ять и не хотел шума.

Ять бывал в Крыму почти ежегодно, хоть по неделе; как все петербургские репортеры, привозил отсюда курортные зарисовки и записи местных легенд, ездил смотреть дом Чехова, видел издали его строгую некрасивую сестру, в которую, говорили, влюбился Буркин — перенесся на нее избыток чувств, направленных на брата. Ять жил в Мисхоре, Ялте, дважды в Феодосии, ходил на Ай-Петри, один сезон провел в экспедиции Бородина — привез в подарок Клингенмайеру генуэзскую монету. Он мечтал, разумеется, и о более далеких путешествиях — но с годами рассудил, что с помощью Крыма и воображения увидит и поймет больше, чем в десяти трудных и дорогостоящих поездках. Лучшее было под крымскими мохнатыми звездами, стоявшими над черными веретенами кипарисов, домыслить узорчатое небо пустыни, чем пробираться по пустыне настоящей, раскаленной и бесконечной; лучше было на ялтинском берегу воображать неаполитанскую ночь — тем более что неаполитанская при ближайшем рассмотрении могла оттолкнуть и разочаровать, как разочаровал его когда-то Париж. Крым с избытком заменил ему Ниццу и Левант, океанские пляжи, Цейлон и Африку — в этом они с Таней были едины: лучше вообразить... Только ее вообразить было нельзя — и поэтому сейчас он шел к ней, не чувствуя усталости, легко одолевая подъем.

Смуглая молодайка подала ему напиток колючей известковой воды. Он пил долго, жадно, с полузабытым ощущением

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

свежести и полноты бытия. В одиннадцать утра он был уже на перевале, с которого начинался долгий, петляющий, пологий спуск к морю. Тут его нагнала наконец мажара — та самая татарская телега, на которую он надеялся в Симферополе. Сухонький старик с остроконечной лысиной, дачник-инженер, побоявшийся возвращаться в Питер, да так и застрявший в Алушите с женою, ездил в город с татаринцом Ногаем разузнать новости. С ними Ять за три часа доехал до самой Алушты, пересказывая старику невнятные петербургские новости.

После отдыха он пошел легко и быстро — сам не заметил, как добрался до подножия Медведь-горы, всегда, впрочем, напоминавшей ему не медведя, а толстую мышь. Он знал, что Гурзуф располагается в тени Аю-Дага, вдоль побережья, и поворот на него должен быть совсем рядом — он десятки раз проезжал его, направляясь в Ялту и Мисхор; пешком, однако, пришлось идти еще час. Указателя не было — только россыпь слабых огоньков внизу. Руки у него похолодели, дыхание сбилось. Наступило самое тревожное время дня, которое так коротко на юге, где ночь опускается стремительно. Но до темноты было еще двадцать, пусть сорок минут томительной, знобкой неопределенности: от земли потянуло холодом, резче запахло кипарисами и сухой травой, над морем явственно обозначилась голубая звезда, и колючий луч ее протянулся к сердцу Ятя. Он спускался в Гурзуф, все меньше веря, что здесь ждет его встреча, о которой он два года боялся мечтать. Колючий кустарник хватал его за полы пальто.

Ять вошел в поселок около семи. В самом начале набережной приветливо светился стеклянный куб — в десятые годы вошли в моду такие павильоны из прочного стекла, которому и морской ветер был не страшен.

— Выпью кофе, — вслух сказал Ять. — Не то прямо тут и свалюсь.

Он вошел в полутемное помещение — свечи на столах, приветливый грек за стойкой... В следующую секунду от углового стола к нему метнулась быстрая тень, и, прежде чем он успел что-то сказать, родная тяжесть повисла у него на шее. Он узнал этот запах — ни от кого больше так не пах-

ло «Степным цветком», хотя «Степной цветок» был в моде и душились им многие. Это был ее запах, ее короткие, теплые темные волосы, захлебывающийся шепот, отчаянные глаза. Больше всего он поразился отчаянию и испугу в них.

— Господи, — шептала она, — что же делать, что теперь делать...

— Потом заплатишь, — сказал грек. — Сейчас никогда не знаешь, есть деньги, нет денег... Может, завтра другие деньги будут... Обещали тут новые придумать, какие новые — молчат... Расскажи, что слышно.

Он налил Ятю маленькую коричневую чашку крепкого кофе с корицей («Есть кофе турецкий, есть персидский, а это грецкий, самый лучший») и подпер щеку рукой, приготовившись слушать.

— Это Пастилаки, Ять, — быстро говорила Таня. — Его зовут Одиссей, правда. Одиссей Пастилаки. Я думаю, фамилия такая специально, чтобы подсластить горькое имя. Он всех угощает, просто так.

— Кофе много привезли, — объяснял грек. — Кофе привезли, сигары привезли... Иногда бывает — мяса нет, кофе есть. Кофе лучше мяса. От мяса сон, от кофе крепость. Расскажи, что там.

— Да ничего там, — во второй раз за день принялся объяснять Ять. — Они сами не знают, что делать. Рады бы на пятный, но кураж не позволяет. А у вас тут кто?

— У нас Трубников, — засмеялась Таня. — Это безумно долго объяснять. Трубников дивный. Когда я в последний раз тебе о нем рассказывала — мысленно, мысленно! — поправились она, видя, как насторожился Ять. — Так вот, в последний раз я столько смешного тебе о нем говорила... знаешь, я постоянно что-то тебе рассказываю, у меня скопилось вот такая книга этих рассказов — разумеется, в голове. Отбирала штучки посмешней, и видит Бог, я когда-нибудь напишу... но чтобы спокойней было писать, ты должен быть рядом, вот тут. Трубников — это единственный гурзуфский большевик. Он приехал из Симферополя, его прислали. Бывший дворник, но какой дворник! Он читал

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

все. Министерская голова. Каждую неделю он говорит речь. Ять, ты должен это услышать! О, что ты сможешь обо всем этом написать!

— Мне некуда больше писать. Мироходов закрылся.

— Все равно, ты напишешь для себя, для меня... Это не может пропасть! Собственно, он и не властвует ни над кем — над кем властвовать в Гурзуфе? Но только таков и может быть идеальный правитель. Я познакомлю вас завтра же, он ко мне благоволит. Как-никак я столичная гостья.

Она говорила безостановочно, смеялась, закидывая голову, — он с мучительной нежностью и состраданием смотрел на ее напряженную белую шею, — но под всем этим, как подземные воды, клокотало отчаяние, причин которого он не понимал. Иногда она смотрела на него попросту испуганно. Ни злости, ни обиды, ни единого напоминания о прошлом — только эта лихорадочная говорливость и прорывающаяся бурная тоска; впрочем, он всегда видел Таню неунывающей в трудные времена и грустной — в счастливые.

Она прервалась на полуслове и горячими маленькими ручками сжала его виски:

— Но все-таки, все-таки! Господи, что же это!

— Что такое, Таня? Говори, я боюсь.

— Нет, это я боюсь. Боже, что ты натворил! И ведь я знала с самого утра. Я знала и то, что этого быть не может, и то, что ты уже здесь. Как ты пробрался? Говорят, поезда не ходят...

— Считаю, что прилетел.

— Боже мой, какое страшное счастье... Именно счастье и именно страшное.

Он видел на лице ее ту самую тоску и беспомощность, какие поражали его иногда на лицах влюбленных женщин: может быть, все его подспудное недоверие к женской природе шло отсюда. Многие смотрели на него нежно, снисходительно, победительно, — но лишь дважды или трижды видел он это испуганное, умоляющее выражение, словно возлюбленные его вмиг теряли почву под ногами; такое лицо было у Тани после их первой ночи весной тринадцатого. Ничего не было, все случилось утром — она просила его не торопиться; они

заснули вместе в его зеленинской квартире, и он проснулся от ее взгляда — тревожного, вопрошающего. Она смотрела на него пристально, тоскливо и даже сердито — и когда он открыл наконец глаза, спросила звенящим шепотом: «И что теперь будет? А? Делать-то что теперь, а?» Влюбленная женщина прежде всего боится того, что с ней приключилось, она утрачивает равновесие, лишается права повелевать — и оттого испуг в ее глазах сильнее счастья; ему и теперь померещился этот же испуг, и он успокоился. Между тем женщины боятся не только любви, а успокаиваться вообще никогда не следует.

— Но где ты живешь?

— Сейчас все объясню. Есть Зуев, историк. Он местная знаменитость и светильник разума. Открыл народ, от которого произошли крымчане. У него дома собственный музей. Он сдал мне мансарду, и там я живу.

— Скажи, а кто пустит меня? Может быть, ты знаешь кого-то...

Она отшатнулась.

— Но ведь ты приехал ко мне?

— Да, конечно, но...

— Ять, что с тобой? Ты хочешь поселиться отдельно?

— Ты знаешь, чего я хочу. Но если ты не одна...

— Идиот. Ненавижу. Уезжай немедленно. Взбредет же в голову! — Она смеялась и плакала. — Хотя бы я была замужем, хотя бы я была с кем угодно — неужели ты не понимаешь, что я уйду к тебе от любого, по первому зову? Это рок надо мной, я давно уже примирилась, а ты, я вижу, все ерепенишься...

— Но не скажешь же ты, что ждала меня все эти два года?

— Нет, конечно. Ждешь ты осени или весны? Ты просто знаешь, что они будут, — и я знала. Кстати, как ты меня нашел?

— Неважно, после. Да ведь ты и не скрывала.

— Конечно. В Питере все знают, где я. Я думала, ты написал маме.

— Ты отлично знаешь, что я никогда не стал бы ей писать.

— Любовь зла, вдруг тебе стало невмоготу... Но идем же. Ты выпил свой кофе?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Все это время Пастилаки смотрел на них с флегматичным умилением. Это был высокий, полный грек в темно-красной феске и вязаной жилетке, небритый, с большой бородавкой под правым глазом. Из-под фески выбивались седеющие кудри. Ему могло быть и сорок пять, и шестьдесят — кто определит возраст Одиссея? В скитаниях год идет за два, особенно если боги не помогают.

4

Ну нет, понял Ять, этот — не соперник. Кто угодно: пусть Трубников, пусть даже Одиссей Пастилаки с его стеклянной кофейней и красной феской. Но Зуев и в самом деле данник одной, но пламенной страсти: он знал таких сутулых, длиннолицых, вислоусых людей, страшно упрямых, поглощенных единственной идеей. Женщины, случается, любят мономанов — но на взаимность рассчитывать не могут; а Таня, если не может рассчитывать на взаимность, чар расточать не станет.

— Очень рад, — в нос повторял Зуев, — очень рад. Татьяна Константиновна говорила...

— Зуев, милый, — мягко сказала Таня. — Я предложила вашу мансарду, не спросясь...

— Вы можете распоряжаться свободно, — не слишком любезно, но как будто без злости заметил Зуев; правда, призрак обиды мнительный Ять различил-таки в его голосе. — Поднимитесь, посмотрите...

— Завтра ты непременно должен посмотреть его экспонаты, — с преувеличенной живостью говорила Таня. — Там, в мансарде, висят гравюры... но сейчас темно, ты ничего не разглядишь. Поднимайся, идем!

Дом Зуева стоял на самом въезде в Гурзуф. Это был хороший каменный дом с деревянной мансардой-надстройкой, в которую с первого этажа вела узкая скрипучая лестница. Изначально он принадлежал зуевской чахоточной тетке, выбравшей Гурзуф из-за благодатного климата: она проводила тут зимы. Тридцатилетний Зуев интерном Москов-

ского университета приехал вступить в права наследника — и остался, полюбив море, туфовые скалы, а более всего альмеков. Исследованием этой безвременно рассеявшейся цивилизации он думал сделать себе имя и очень скоро стал центром Крымского исторического кружка.

Тогдашний Гурзуф (тысяча жителей, большей частью татар) состоял из набережной и сотни домишек, чудом держащихся на склоне; их крыши ступенчато спускались к морю. В начале набережной сияла кофейня Пастилаки, в конце возвышался дуكان Кавалеридзе. Были, разумеется, в городе и другие питейные заведения — например, корчма «У Селима», где подавали баранью шурпу и дешевое чернокрасное сладкое вино, — однако главная конкуренция разворачивалась между греком и кавказцем, поскольку посетители чаще всего проникали в Гурзуф с той стороны, которую облюбовал Пастилаки. До дукана доходили только те, кому действительно хотелось шашлыка.

Гурзуф был славен санаторией «Суук-Су» — почти домашний стол, умеренные цены, кислый источник, — романтически торчащими из воды скалами Адаларами, что значит по-татарски «близнецы», дешевым базаром и старинным парком, где по-паучьи раскинул толстые ветки помнящий Пушкина платан.

Однако главной городской достопримечательностью были Голицынские винные склады. Почти вся верхняя часть Гурзуфа росла за счет работников прославленного виноградника, разбитого на пологом склоне князем Голицыным, потомком одного из екатерининских фаворитов. Голицынские виноградники простирались до самой Никиты, в которой повелением Александра Благословенного учрежден был лучший ботанический сад во всей империи. Ближайшее участие в учреждении Никитского сада принимал Голицын-старший, открывший в себе непреодолимую тягу к ботанике; в поисках драгоценных растений отплыл он в Испанию, где вдруг женился на семнадцатилетней местной аристократке по имени Лаура. Он перевез ее в Тавриду, и в 1823 году родился Голицын-младший (о котором поговаривали, впрочем, что смуглый курчавый отрок зачат не без помощи

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

поэта, гостившего тут как раз за девять месяцев до того). Кто говорит так, не знает испанских нравов: Лауру поэт впоследствии увековечил, но пусть будет плохо тому, кто стыдно об этом подумает.

Душа у Голицына-младшего была самая поэтическая: за свои 80 с лишним лет (он скончался в девятьсот четвертом) потомок фаворита и испанки превратил дикий берег в один из лучших виноградников мира, где выращивались редкие сорта. О винной коллекции его ходили легенды. Говорили, что единственная в мире бутылка малаги шестнадцатого века хранится именно у него — всякое вино трижды выбродит за такой срок в уксус, но малага была с секретом, над которым старик тщетно бился в последние годы.

Деятельность винного завода к лету семнадцатого прекратилась почти полностью, но склады охранялись по-прежнему, и какие бы революции ни сотрясали Гурзуф — ни одна живая душа не пыталась прорваться на их территорию. Сторож держал гигантского волкодава, но ни волкодаву, ни сторожу не приходилось исполнять свою должность, давно уже сделавшуюся символической — впрочем, как и все в Крыму весной восемнадцатого года.

— Тут дивные, дивные люди, — приговаривала Таня, ведя Ятя наверх. — Но что у тебя с руками? Ледяные! Ты замерз? Ты отвык от меня? Ты чего-то боишься? Говори!

В мансарде у Зуева пахло совершенно по-дачному: старое дерево, сухая лаванда, книги. Если бы не море за окном, легко было вообразить себя в небольшой усадьбе в средней России.

— Скажите честно — я не стесню вас, Виктор Николаевич? — церемонно спросил Ять.

— Я сплю внизу, — флегматично ответил историк и, пожелав доброй ночи, спустился к себе.

Окно выходило на крыши и море — этот вид долго еще стоял перед глазами Ятя, хотя засыпал он напротив этого окна всего две недели. По стенам и впрямь висело несколько темных гравюр — в темноте не разглядеть было, что на них.

Часто, часто думал он в последние два года о том, как это будет. Чаще, может быть, чем о другом, вечно занимавшем

его мысли и по-прежнему непонятном... То, что происходило между ним и Таней, тоже было немного смертью, полным растворением границ между ним и жизнью, единственным достоверным мистическим опытом, который перепал на его агностическую долю.

Быть с ней казалось таким естественным и понятным, что он и сам теперь не ответил бы — что делал в эти два года, как позволил себя так обокрасть? Она вернулась, разделась, легла.

Трубников оказался маленьким хитроватым мужичком, по лицу которого все время блуждала застенчивая улыбка. О планах гурзуфского переустройства он высказывался туманно. Планов, собственно, и не было. Установление советской власти в Крыму было актом совершившимся и нетрудным, — оставалось решить, что теперь делать; Ять подвернулся Трубникову как нельзя более кстати.

— Вы ведь газетчик? — ласково спрашивал он. — Добре. Вернетесь в Петроград — напишите, что у нас тепло, сытно. Что курорты ждут. Может, трудящийся класс теперь отдыхать поедет. У нас недорого. Оно конечно, отдыхать рано, сначала надо мировую революцию залудить... Ну, да уж до нее недолго. Вот, говорят, немецкие товарищи зашевелились... Нам главное — публику привлечь, а если привлечем — то и живы будем. И которые из бывших, тоже пушай едут. Мы и дачи пока не отбираем, потому понятие имеем. Если дачи отобрать, кто приедет? Непорядок получится...

Ять медленно приходил в себя. Они сидели с Таней и Трубниковым в дукане Кавалеридзе. Трубников угощал Кавалеридзе — длинный, фантастически носатый — уважительно наблюдал издали. Все утро Ять пытался понять, как жил без нее все это время, и никак не мог привыкнуть к себе прежнему, двухлетней давности: нужно было заново приноровиться к этой остроте восприятия, к значению каждого слова, к запахам, бликам, вернувшемуся счастьем жизни и страху смерти.

— Да, да, — рассеянно кивал он Трубникову. — Разумеется, непременно...

И неотступный, тревожный, восторженный взгляд жег ему щеку.

5

В последнее время Оскольцеву — узнику семнадцатой камеры, откуда накануне забрали Бельчевского, — отчего-то казалось, что бессмертие вообще есть вопрос личного выбора: душа может либо зажмуриться в последнюю секунду, испугавшись ослепительного блеска, — и тогда темнота станет ее уделом навеки, — либо, напротив, расправиться, до предела раскрыть глаза, если возможно говорить о глазах души; ну, скажем, — напрячь все способности к восприятию и взглянуть смерти в лицо. Тогда вместо смерти можно увидеть то, что за нею следует, — но и эта версия была несправедлива, по отношению хотя бы к тем, кто умирал в бессознательном состоянии. Одно время он думал даже о преимуществах смертной казни под хлороформом: в последнее время, он слышал, наркотизаторы нашли способ усыплять человека на сколь угодно долгое время одним, почти мгновенно действующим уколом; тогда момент смерти фактически подменялся моментом впадения в наркотический сон, — но этот наркоз как раз и лишал права жить вечно. Ему вспомнился рассказ одной из его недолгих подруг, некоей Тани, девушки умной, но ветреной, — об ее подруге, отказавшейся от хлороформа во время долгих и болезненных родов: «Как я могу пропустить такое интересное страдание?» Для него интересных страданий не было — за эту мелочность, трусость души он и расплачивался сейчас.

И все-таки, все-таки. Стоит сказать себе, что ничего нет, поставить на этом крест, вообразить себе, как хорошо было бы посвятить жизнь разоблачению поповской лжи и корысти, — как сразу за этой решительной констатацией открывается неразрешимый вопрос, почва немедленно оказывается зыбкой, предательской, и способ заменить страх ненавистью — единственно надежным лекарством — вновь рушится. Ибо и сжав веки до боли в глазных яблоках — видишь все-таки вспышку света, много, не дневно-го; допустив на миг, что ничего нет, — тут же угадываешь за этим «ничего» неучтенное нечто. Избыточность человека была столь наглядна, что жизнь казалась бесконечно

больше смерти, — но тут выплывал убийственный аргумент: смерть равна жизни, не станем от этого прятаться. Трагедия бесследного исчезновения человека соизмерима с величием самого феномена человека, и ни одна другая не достойна нас. Исчезнуть отсюда, но сохраниться где-то — в этом была половинчатость; человек же велик во всем, и существование его должно увенчаться великим отчаянием.

Эта мысль о величии участи ненадолго согревала, дарила еще один гипноз — но и он вскоре рассеивался, поскольку в том, чтобы терпеливо ждать бессмысленной гибели, не было никакого величия. Нельзя от человека требовать мужества; и если будут пытаться... Если будут пытаться, в этом будет то единственное преимущество, что смерть станет мыслиться как избавление. Мысль же о пытке неотступно присутствовала в его сознании потому, что непрерывную муку претерпевало его сознание, — сама собой являлась мысль о физическом выражении этого насилия; все-таки страшней заключения человечество не придумало ничего. Нет никакой свободы речи и мысли, а есть свобода толкнуть дверь и выйти из помещения; лишение этой свободы, естественной, как дыхание, не могло быть оправдано ничем.

Пока Оскольцев в тысячный раз пытался помыслить себя вне тела, просачивался сквозь омерзительные, шершавые серые стены, удалялся по коридору навстречу сиянию дня, — спорщики дошли уже до пресловутого еврейского вопроса, обсуждавшегося в семнадцатой камере, впрочем, весьма мирно.

— Удивительное вообще дело еврейчики, — размышлял Ватагин. — Заметьте, какова двойственность их морали. Ведь они Новый Завет только для того написали, чтобы всех неевреев сбивать с панталыку! Посмотрите, что они разрешают остальным и что запрещают себе, — и увидите полное совпадение сих двух списков! Еврейские корчмари споили Русь — но часто ли вы видели пьяного еврея? Евреи настаивают на космополитизме — но часто ли вы видели еврея, женившегося на русской, или, того паче, жидовку, вы-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

данную за Ваню? Евреи призывают забыть о национальности, отменить ее — но ни один еврей не откажется от того, что он еврей!

— Вы скажете, что Америка или Европа погублены евреями? — язвил Гуденброк. — Дай Бог нам такой гибели!

— Погублены, и очень просто! Вы не видели, а я в Берлине два года жил. Вырождение и есть вырождение.

— А в России, значит, нет вырождения.

— И в России есть, но нам Господь дал такое православие, что оно бесконечно далеко от Христа. Мы Христа не восприняли, оставшись во многом язычниками, а потому он нам не так страшен. Вот это-то и чувствуют жидки, а потому Россия для них — главная кость в горле... была, покуда они с революцией народ не надурили. Да ничего, этот народ и их сожрет — дайте только время: Кроме нас, на них другой силы нет...

Оскольцев молчал. Все это опять было мимо темы.

6

Крайний слева что-то делал, склонившись к огромному камню, обтесанному криво и грубо; небольшая группа справа стояла на коленях у костра, еще трое трубили в рога, четвертый неподвижно лежал рядом на спине, и на груди у него, молитвенно сложив руки, сидел пятый. Шесть фигурок в левом углу картины кружились в сложном и нерегулярном движении: двое плясали с поднятыми руками, еще двое скакали на одной ноге, пятый шел гусиным шагом, шестой упер руки в бока.

— Это встреча солнца в Барабулинских степях, — уважительно сказал Зуев. — Последние остатки альмеков празднуют свой ежеутренний праздник. Их согнали с насиженных мест году в триста двацатом. Потомки рассеялись. Но я нашел памятники — вот эти камни. Рисунок выполнен местным художником Михеевым по моим указаниям. Он же и гравировал.

Пожалуй, местному художнику Михееву лучше всего удалась последняя сцена из долгой альмекской истории

в картинках: в ней чувствовались тревога и свежесть, какие бывают утром после бессонной ночи. Полтора десятка человек, кружась в бессмысленных, но строго регламентированных танцах, были явно обречены и стремительно приближали собственную гибель, не желая отказаться даже от самого невинного из своих правил; но солнце, встающее над ними, давало их игрищам оправдание, а им — надежду. Ясно было, что никто не выживает: ставка — на оправдание в вечности.

— Я намерен, — с достоинством заметил Зуев, — выступить в Императорском географическом обществе. Собственно, я бы и раньше... но интриги...

— Императора нет, но Общество цело, — обнадежил его Ять. — Теперь оно будет, конечно, преобразовано... Может быть, переименуют в марксистское.

— Но марксизм пасует перед альмеками, — с легким удивлением проговорил археолог. — Он так же не объясняет их цивилизации, как дарвиновская теория — по-своему, нет слов, стройная, — не объясняет бесконечного богатства природы. Столько расцветок, форм, хитростей, и все ради выживания? Увольте. Альмеки — первая цивилизация, у которой вовсе не было базиса в марксистском понятии, и уж поверьте, эта цивилизация не была единственной. Мы просто знаем не всё, история — вообще наименее изученная из наук... Но скульпторы острова Пасхи или строители Стоунхенджа — вы слышали о нем, конечно, — представляли именно этот тип общества. Уверяю вас, со временем будет прочитана и письменность майя, чья жизнь тоже состояла из бесчисленных сложностей. Взять календарь...

— Но, может быть, поначалу все было иначе? — спросил Ять, рассматривая витрину с предметами таинственного назначения. Больше всего она напоминала клингенмайеровский шкафчик с талисманами, но те талисманы, при всей их обшарпанности, обладали по крайней мере понятным происхождением: каблук, огарок, спичечный коробок... Здесь же ничего было не понять: костяная трубка с отверстиями, вроде флейты, но изогнутая в форме буквы Z; деревянный шарик с вытравленными пятнами — глобус небывалой планеты... —

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Почему вы не допускаете, что поначалу ваши альмеки были грубыми и неотесанными существами, потом вступили в период расцвета, изнеженности, стали, как римляне, позволять себе все больше бессмысленных изделий и празднеств... а потом надстройка попросту задушила базис, как оно всегда и бывает?

— Все это марксизм, — поморщился Зуев. — Мы разрыли все побережье и чуть ли не весь Аю-Даг, но не нашли ни единого свидетельства в пользу вашей версии. Альмеки с самого начала были цивилизацией предельно усложненной, но отчего-то в первые пятьсот лет ее существования всему населению хотелось соблюдать ритуалы, а потом это стало делом жрецов... пока и жрецы не бежали в степи от скифских завоевателей. Их задушила сложность, но последние были верны закону так же, как и тысячу лет назад. Этких-то последних и встретил Луазон в таврическом путешествии, когда по приглашению Екатерины посещал Гурзуф.

Ять вздрогнул. Луазон преследовал его.

— Это тот Луазон, который синергетик? — спросил он, не желая изобличать собственное невежество.

— Ну да, — небрежно кивнул Зуев, — он и теорию свою бредовую вывел отсюда. Конечно, это не были уже собственно альмеки — так, кто-то из потомков... Они вышли потом из степей, стали жениться на дочерях местных пастухов, рассказывали легенды о былом богатстве и величии — я записал их, вот свод, — он показал пухлую рукопись. — Луазон сидел на берегу, когда к нему подошел оборванный старик и протянул для продажи сложную конструкцию из ракушек и веток — один из знаменитых альмекских силков, хотя никакими силками это, конечно, не было. Ни одна птица не поймается в такую сеть. Для чего они служили — мы до сих пор не знаем. Луазон заговорил со стариком. Тот рассказал ему о великом государстве, жившем на этом берегу и погибшем от скифского нашествия, а Луазон изложил историю в «Началах». От него и пошло это сообщение, как Атлантида от Платона. Он, кстати, уверял, что альмеки и есть потомки атлантов, которых весь мир тщетно искал в Америке. Но это уж полный бред.

— А письменность их расшифрована? — спросил Ять. Зуев усмехнулся наивности собеседника.

— Понимаю ваше любопытство. У альмеков не было письменности. Мир собственных представлений казался им слишком сложным, чтобы его описать. Они не верили в письменность. Цифры были — очень простые, похожие на римские. А описания они считали делом излишним: все, что порядочный человек должен знать, может поместиться в его памяти.

— Но откуда тогда знание обо всех их ритуалах, да еще в таких тонкостях?!

— Ну, милый друг, — развел руками Зуев, — существует же огромная литература! Просто ее никто не принимал всерьез — альмеков считали вымышленным племенем, сатирой на клерикалов, на жрецов... Зачем письменность тому, кто и так навеки запомнится? Описания их ритуалов сохранились во множестве рукописей, есть целый трактат Авзония, римского поэта времен упадка, «О благодравии»: его долго считали сатирой, пока я не доказал, что Авзоний бывал в Гурзуфе! Приезжие так поражались обычаям альмеков, что записали практически всё. Да и у Овидия в «Ex Ponto» находим важные свидетельства — многое, конечно, по слухам, но кое-что воспроизвел точно.

Ять перешел к противоположной стене: там висели две гравюры, на которых маленькие бородатые человечки с мрачным и сосредоточенным видом кружились вокруг приземистой пушечки.

— Ритуал зарядания альмекской пушки. Я мог бы воспроизвести полное ее название, но в нем двадцать один слог, — пояснил Зуев, заметив его интерес. — Здесь Михеев сильно упростил — они бегали вокруг нее не по кругу, но по довольно сложной фигуре, больше всего похожей на правильный двенадцатиугольник. Самое любопытное, что огнестрельное оружие они знали уже во втором-третьем веках до нашей эры, хотя порох у них был не чета нашему, совсем другой состав. У меня своя версия, но сосед мой — он химик — утверждал, что такая смесь не взорвалась бы. Нет специалистов, не с кем обсудить... Войны свои они проигрывали одну за

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

другой — поначалу, конечно, спасали вот эти пушечки, но первые-то их противники соблюдали какие-никакие правила, а следующие уже ничего не хотели знать. Пока альмеки брались за оружие — а это сложнейшая была процедура, из двадцати трех примерно стадий, — те уже успевали ринуться в атаку. А ни один альмек без ритуала за меч не хватался, да и мечи у них были так себе. Пока кузнец выполнял все нужные приседания да бормотал заклинания, железо успевало остыть. Ну вот, они, бедняжки, только начнут выкликать свои клики, а тут уже конница... куда было деваться? Пару раз их пограбили, а потом выгнали. И никакого бы следа не осталось, если б не Луазон да не вот эти предметы... — Он кивнул на витрину.

Следы альмеков были в самом деле немногочисленны. Больше всего свидетельств осталось в Гурзуфе, ныне жалком поселке, а в конце дохристианской эры — мощном центре альмекской цивилизации. Без многоступенчатого ритуала альмеки не делали ничего, однако странней всего было то, что их изошренная, напряженная религиозная жизнь никак не коррелировала с бытом, домашними обязанностями и сельскохозяйственными работами. Кажется, ни в одной другой религии мира культ не был так слабо увязан со сбором винограда, посевом пшеницы и наступлением холодов. По счастью, на побережье изобильно произрастали оливы, виноград, на тучных горных пастбищах паслись козы и овцы — земля плодоносила при минимуме человеческих усилий, а потому все остальное время можно было спокойно предаваться отпращиванию культа.

...Горько было думать о последних днях альмекской цивилизации, с фанатичным упорством сохранявшей себя даже тогда, когда насущнейшим вопросом для альмеков было уже не сбережение традиций, но выживание как таковое. Не каждый день находя пищу, ютясь в жалких степных жилищах, неумело построенных из камыша и глины, они каждое утро встречали рассвет бесконечно длинным ритуалом — и, не успев толком выспаться, провожали солнце. И если бы Ять задумался когда-нибудь о проекте памятника человечеству — истребившему себя или истребленному катастрофой

вроде нового ледникового периода, — он ничего не придумал бы лучше, чем изображение двенадцати альмеков, встречающих степной рассвет. В конце концов, если солнцу и стоило зачем-то взойти во времена позднеальмекской цивилизации, то исключительно ради танца в бескрайних Барабулинских степях.

7

Скучен был год 1917—от Рождества Христова, но март 1918 года был еще скучнее. И если был в этом году унылый город, то это был Петроград. Гибель его не определилась, а потому кое-кто еще надеялся; в мире нет ничего более жалкого и менее творческого, чем надежда, а уж надежда на милосердие и расцвет принадлежит к числу самых бездарных, так называемых общественных. Надежда парализует. Человек надеющийся живет, как иные сидят в приемной у дантиста. Он боится пошевелиться и сам не скажет, на что, собственно, уповает. Больно будет все равно. В надежде есть что-то умоляющее.

Но еще более омерзительны люди, не способные обольщаться и на заре каждой новой эпохи мрачно предрекающие новое падение нравов; искренний скептик вызывает сострадание, но большинство скептиков заботится лишь о собственной правоте. Это самодовольные, любящие покушаться существа, чей скепсис, распространяемый на все человечество вкупе с его прошлым и будущим, обычно испаряется, когда заходит речь о карьере и рационе самого мыслителя. Правда, аппетит некоторых мыслителей есть лишь следствие глобального пессимизма, желание жрать у них вызывается причинами метафизическими — все дрянь, так хоть нажремся. Слово «жрать» Хламида произносил с особенным чувством. Он говорил уже сорок минут. Первое заседание «Всеобщей культуры» проходило в голубой гостиной.

Редеют, редеют наши ряды, думал Казарин. Правда, Хламида привел человек семь новых — как он уверял, из очень, очень талантливой молодежи; рекомендациям его, как всегда, можно было верить ровно до тех пор, пока талантливая мо-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

лодежь не перерастет хвалителя. Молодые были заносчивы, бледны, с некоторым вызовом оглядывали присутствующих, вертя гладко причесанными, однако явно давно не мытыми головами.

— Я — знаю пессимистов, это — легко, — покашливая чаще обычного, говорил Хламида. — Проще всего сказать: мы бережем белизну одежд своих и от грубой жизни держимся подальше, политикой же не занимаемся вовсе. Но культура никогда не служила политике, хотя марксисты и трактуют ее как всеобщую наложницу, которая с кем делит кров, тому и принадлежит. Должны ли мы, презирая власть, отказываться от кровного дела своего — созидания всемирной культуры? «Никак», любил отвечать один публицист, более известный под именем Павла... Прислуживаем ли мы власти, занимаясь делом жизни своей? Никак: мы служим: детям нашим и детям детей наших.

Глава издательской коллегии, как называли теперь елагинцев, все говорил и говорил, не забывая влажнить глазами в трогательных местах. Наконец он сделал особенно долгую паузу, закурил и закашлялся.

— Простите назойливость мою, — сказал он глуше обычного, — говорить — не с кем, а писать — не все напишешь. Я болтать люблю, а слушателей — нет у меня.

— Переселяйтесь к нам, — нелюбезно пригласил Алексеев.

— Рад бы в рай — грехи не пускают, — виновато улыбнулся Хламида. — В доме приживальцев и гостей полно, я сам-девят, да и... суетлив я очень для академической жизни. Бегать надо то в редакцию, то в издательства, а от вас — далеко будет. Впрочем, если сбудутся прогнозы скептиков и всем нам рано или поздно дорога за Можай, то там заживем все вместе — надеюсь, дружно. Я — сидел, это — нетрудно... а впрочем, не будем уподобляться глупой птице, которая все хочет наклепать бурю на голову свою.

Елагинцы переглянулись. Столь явного отречения бывшего романтика от собственных ранних иллюзий не ожидал никто.

— Да-с, много ерунды пустил в свет, а потому прошу: ког-

да будем составлять том современной поэзии, меня не включайте... нет — не включайте.

Молодые несмело заулыбались. Для них Хламида был мэтром.

— Что ж, приступим. Каковы, господа, будут предложения ваши по составу первых тридцати томов?

К заседанию готовились тщательно: вся питерская профессура была дружна, а потому в коллегиях был приглашен известный античник Локтев. Он переселился бы в коммуны охотно, ибо давно уже вдовел и сильно страдал от одиночества и недостатка ухода, — однако боялся оставить коллекцию и библиотеку, которые, впрочем, мало кому были нужны в Петрограде 1918 года.

— Я полагаю, — звучным лекторским голосом, который непонятно как умещался в тщедушном, скрюченном тельце, заговорил Локтев, — что архаическим литературам следует уделить как можно более места. Народу всегда ближе эпос, и собственный мой опыт показывает, что представители любого народа, даже самой необразованной его части, восторженно воспринимают эпические поэмы, относящиеся к временам, так сказать, детства человечества. Начать библиотеку всемирной словесности должен, по моему разумению, Гомер, чьи права неоспоримы...

— Отчего же не Библия?! — с горячностью встрял Корнейчук. — Простите меня, Виктор Васильевич, но если говорить о древности, то древнее Книги Бытия вряд ли есть литературный памятник...

— Вы позволите? — вступил в разговор Ловецкий. — Мне кажется, что, начав библиотеку с Библии, простите за тавтологию, мы думаем не столько об интересах литературы, сколько о манифестации...

— Я думаю, сегодня такая манифестация весьма уместна, — твердо сказал Долгушов. — Это с самого начала заявляет нашу позицию...

— Господа, Библия есть в каждом доме, часто во множестве экземпляров, — не соглашался Локтев, любивший Грецию и не любивший попов. — Самый необразованный крестьянин знает, за сколько дней Бог сотворил мир, и понятия не имеет, сколько лет продолжалась осада Трои.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Между тем насчет творения мира за семь дней все довольно спорно, а насчет осады Трои Шлиман доказал неопровержимо, что...

— Виктор Васильевич, голубчик! — простонал Корнейчук. — С гимназических времен помню все про осаду Трои и не знаю, сделала ли меня эта история хоть на йоту человечнее. Кроме плача Приама и Ахилла, не нахожу там трогательного эпизода. Библейские же легенды — разумеется, с тщательным научным комментарием — способны напомнить о фундаментальных ценностях человеческого сообщества...

— Вы имеете в виду комментарий разоблачительный? — точно выбрав момент, подал голос Казарин. — Так сказать, утверждение литературной ценности с попутным разоблачением культа?

— Я не давал вам повода, Вячеслав Андреевич! — взвился Корнейчук.

— Я только предположил, — пожал плечами Казарин. — Мне кажется, что Совкомпом... или как это в точности называется... не будет приветствовать издание религиозной литературы, хотя бы и в научных целях.

— Я полагаю, господа, — оборвал полемику Хламида, окая сильнее обычного, — что издание одной только Библии было бы несправедливым в стране многих верований, как Россия. Я полагаю, что Библия с кратким научным комментарием должна быть издана вместе с Кораном и Ведами на правах дополнительных томов, не в самой библиотеке, а как бы при ней (он нажал на «при»). Воля ваша, я в церковь не хожу, но воспринимать эти сочинения как чисто литературные, кто бы их ни продиктовал, мне не удастся. Значение их иное, а потому, уважая предложение Николая Ивановича, я предложил бы начать уж с Гомера... ибо по нему не крестят, не женят и не отпевают.

По Средневековью прошлись галопом. Видно было, что никто его особенно не любил. К семнадцатому веку, однако, набралось уже двадцать томов из тридцати задуманных; почти невозможно было вообразить пролетария, который после рабочего дня, хотя бы и восьмичасового, и проведенного в статусе хозяина жизни, взялся за Сервантеса. Неко-

торое время поспорили о том, включать Рабле в полном виде или адаптировать, — Хламида заметил, что убирать непристойности «никак невозможно», ибо они и сыграют роль главной приманки для пролетариата, тем самым приблизив к нему глубокое гуманистическое содержание. О Рабле Казарин помнил только — и то из университетских лекций, — что там подтираются гусенятами. Это было по-пролетарски.

— Зато Шекспира, — предположил Долгушов, — я включил бы почти полностью, ибо самая логика его пути есть увлекательнейшая драма и главный аргумент против гипотез о коллективном авторстве.

— Об актере Шекспире, — насупился Хламида, — спорят весьма много и, смею сказать, бесплодно. Народный наш комиссар Чарнолуцкий, которого честь имею знать и любить с пор уже незапамятных, по склонности своей к авантюризму популяризирует сюжет о графе Рэтленде. Любит он этого графа, как иная простая девушка любит почитать о виконтах. (Казарин не преминул заметить про себя, что в самой слабой из пьес Хламиды про виконтов читала проститутка; хорошо же он думает о наркоте, — рассказать к случаю.) Главное доказательство рэтлендианцев — некие Розенкранц и Гильденстерн в списке однокашников одного графа. Я хоть и признаю это убедительным, а — не верю: ну, может, рассказал он Шекспиру, а? Или, может, всех датчан звали они в те времена Розенкранцами и Гильденстернами, как в Италии иной простолюдин зовет всех русских Иванами?

— И потом, — развязно заговорил кто-то из молодых, — я не верю, чтобы заветную вещь можно было напечатать под псевдонимом. В любом, кто пишет под чужим именем, легко заметить неискренность. Не случайно большинство революционеров, и Ленин в частности... неперемнная кличка, чаще всего со значением...

Повисла неловкая пауза. Юноша и сам понял свою ошибку — конечно, это была случайная бестактность, а не сознательная попытка уязвить Хламиду, ни строки не напечатавшего под собственным именем.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Бывает такой псевдоним, что прирастает, — заметил Казарин. Он почел для себя более выгодным защититься в этой ситуации Хламида — трудного противника, но полезного союзника. — «Ленин» — гораздо точнее его природной фамилии, которой я и не припомню; если бы не умственная лень русского народа, кто поверил бы ему?

— С Лениным иначе, — Хламида успел кинуть на Казарина быстрый благодарный взгляд. — Он, я думаю, сознательно выбирал. Лишний он тут, и сам понимает, что лишний. Посмотрите, какой ряд выстраивается: Онегин — Печорин — Волгин (ежели вы «Пролог» читали, скучнейшая, кстати, книга) — Ленин. Он — один такой среди них, практик еще небывалый, и — тяжело ему среди демагогов и спекулянтов марксистских...

Казарин представил себе Ленина в онегинском боливаре, потом в уединенном кабинете за полировкой ногтей и, наконец, у постели дяди: дядя был отчего-то с плехановской бородкой. Ленин сидел на стуле у постели родственника, не доставая до полу короткими ножками. На его круглом лице читалось низкое коварство.

— Нельзя не ценить стремлений Уайльда к прекрасному, — настаивал между тем Хламида, — ибо любовь его к красоте, пусть извращенная, есть уже протест против свинцовой мерзости жизни, как писал у нас ровесник его... Странно, оба прожили по сорок четыре года — и оба были, в сущности, эстеты. А ведь и в пьесах их есть сходство, бесплодные разговоры вымирающих, но умных и прелестных дворян, людей легких, учтивых... (Как все люди внешней, книжной культуры, он высоко ценил учтивость и родовитость.) Я читаю и — горжусь человеком: понимает, что вымирает, а — острит! И обоих ругали циниками, и даже, — Хламида увлекся собственной мыслью, — оба почти в одно время в каторжной тюрьме побывали, только один за содомию, а другой добровольно! И чеховский «Сахалин» — чем не «Баллада Рэдингской тюрьмы», только русская?! Уайльда ведь тюрьмы — искал, на тюрьму — напрашивался, ибо устал от ее величества королевы Виктории. А Чехов... кто знает, зачем он поехал туда? Я — спрашивал, он — отшучивался... Думаю, все от того же, от мелочности жизни нашей. А может, пострадать хотел, а — в революцию

не мог идти: народнической пошлости боялся, террора не любил... Чехов же, если задуматься, — единственный русский писатель, которого посадить было не за что! — И он громко расхохотался.

«Ну, новые-то нашли бы», — подумал Казарин.

— А — не сделать ли нам и впрямь общего тома для них? — все больше распалялся Хламида. — Таких параллельных изданий — не было еще, а сходства ведь бывают разительные! Взять, скажем, Надсона и Рембо, двух гениальных юношей, кои...

Про двух гениальных юношей Казарин слушать не стал из понятной неловкости и привычно замкнул слух, переключившись на собственные мысли. Он представил встречу Надсона и Рембо где-нибудь в Париже. Они пили абсент. Надсон все время кашлял, сплевывая в платок, и Рембо смотрел на него со смесью омерзения и восторга. Отчего-то в пару русскому писателю Хламида непременно находил содомита, словно компенсируя недостаток любви, от которого так страдали лучшие из наших певцов.

— Позволю себе подвести итог, — тонким голосом заметил один из молодых, самый длинный и важный. Он оказался секретарем коллегии — как-то вдруг, не будучи даже никому представлен; Хламида его, в сущности, кооптировал, втайне не доверяя демократическим процедурам на русской почве, где все обязательно вырождалось в бесплодный спор о формальностях. — Гомер — один том, Лукреций, Вергилий и Овидий — один том, архаические эпосы малых народов — один том...

Хламида слушал внимательно, не забывая делать бумажные кораблики. Вдруг он коротко засмеялся:

— Это, знаете... напомнило мне, как сидел я однажды в Нижнем в гостях у Мудрова, старовера. Очень скучал богатством своим и любил поговорить об культурном, а — не с кем было. Я ему, понятно, талдычу про издание книг для народа, а он — мне: что издавать-то? Список набросайте... А дел у меня, кроме того списка, было по горло: семью кормить, писать; у него просить — не решался я... он дал бы, да что за охота? Но — не должно упускать случая сделать добро.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

И вот — ночь, жена — спит, а я — список ему кропаю: Толстой — два тома, Тургенев — один, Достоевский — один (хоть и не люблю я его, а — надо)... День жаду, два жаду, когда он за мной пришлет, — нет от него ничего! Наконец сам еду. Обычно-то меня прямо к нему самому проводили, а здесь — ждите, доложим; ну, жаду, а себя уж проклиная да и список свой заодно. Наконец перепуганный лакей возвращается: пожалуйте на второй этаж. Во втором этаже вхожу я в мудровский кабинет — батюшки! Сидит Мудров в одном белье, а с ним белошвейки, он фабрику учредил для девочек-сирот, благотворитель... Девочки лет по тринадцати-четырнадцати, голенькие, так вокруг него и вьются, — самое-то страшное, что визжат от удовольствия! Да... В углу, в кадке, розги мокнут... А он сидит среди них, как сатир, — видно, что ничего еще не делает, только распалается... И мне кричит: ай, писатель, вовремя! Айда к нам! Вишь, какое веселье! А я-то ему — со списочком... вообразите!

Таких историй, о странных, извращенных мерзостях, Хламида знал множество, и почти все они были с голыми девочками. Именно их рассказыванием он и составил себе репутацию знатока жизни, хотя знал о ней почему-то лишь вещи определенного свойства.

Все поднялись расходиться. Хламида покашливал, стоя в кружке молодых. Казарину хотелось пару слов сказать Корнейчуку, ставшему вдруг необычайно жалким в своем потертом пальто.

— Николай Иванович, — мягко сказал Казарин, — не хочу вас обидеть, но неужели вы можете во все это верить всерьез?

— Всерьез? В это? Нет, конечно! — засмеялся Корнейчук даже несколько громче, чем нужно.

— Но тогда зачем же?

— Зачем же? Почему я знаю! А зачем все? Неужели в литературе больше смысла? Или в революции, от которой только прибавилось запрещений и беспорядка? Вот вы, Вячеслав Андреевич, — неужели не перестали бы писать на необитаемом острове?

— Только там я и писал бы по-настоящему, — вздохнул Казарин. — Не мешает никто...

— И сейчас никто не мешает! — вдохновенно воскликнул Корнейчук. — Создавать план книгоиздательства — и не издавать книг! Не держать корректур, не вылавливать опечаток, не заботиться о реализации! Это же наивысшее блаженство, литература в чистом виде... Да еще и чай горячий. Какого другого рая надо литератору? Мне обещали крупы для детей...

— Да ведь время-то тратится ни на что...

— Почему ни на что?! — возмутился Корнейчук. — Мы коллегиально выбрали сегодня лучших представителей мировой литературы, построили и опровергли оригинальную теорию о Чехове и Уайльде, в течение трех часов смотрели на человеческие лица и слушали человеческие слова... Или вам мало, Вячеслав Андреевич?

— Мало, — сказал Казарин и отошел. Пламень, сжигавший его, ни в чем не находил выхода.

Побеседовав с молодыми и пообещав им просмотреть рукописи будущего альманаха «Тысяча вторая ночь», Хламида спускался на первый этаж Елагина дворца. Его почтительно сопровождал длинный секретарь.

— А вы не думали пригласить в коллегия... — он смущенно назвал имя поэта, о котором Хламида и сам давно думал — чаще, чем хотелось бы.

У них никак не складывалось даже самых поверхностных отношений, какие связывают иногда литераторов. Хламида, если уж начистоту, боялся приближаться к нему. В этом человеке, не похожем на прочую литераторскую братию, была почти невыносимая правда, и Хламида боялся ее тем сильнее, что в болезненной, патологической честности самого поэта усомниться не мог никак. Всего ужасней было то, что поэт с радостной готовностью встречал гибель культуры — той культуры, в которой Хламида видел панацею. Оно и понятно: поэт был сам — культура, да еще многовековая, от профессорского корня, потому и мог себе такое позволить. Хламида сознавал эту разницу и потому втайне его сторонился, а презирать — не мог. Он выучился презирать почти всех, с кем разошелся, всех, кого считал

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ниже себя по таланту или значению, но с поэтом все было не так просто. Только вчера они встретились у Чарнолуского, был короткий разговор — и оба снова не смогли сказать друг другу ничего существенного.

— Он — болен, — глухо ответил Хламида секретарю. — Душевно болен. Я — виделся с ним вчера. Он рассказывает странное. Говорил, что озлобился. Шел вчера по улице и увидел мальчика, маленького мальчика, просто стоявшего у стены. И — вдруг, без всякой причины, сильно толкнул его... После очень раскаивался, кинулся искать, но мальчика, конечно, уже и след простыл. Нет, ему — не до работы теперь.

— А читали вы... — секретарь назвал недавнюю поэму в «Знамени труда».

— Читал, читал. Это — плохо, это — нерусское у него. То же болезнь, если хотите.

К себе Хламида возвращался пешком. Мальчик, мальчик... Что за странную историю, в самом деле, выдумал поэт с этим мальчиком, зачем вчера, в приемной, рассказал ее? Был хмурый оттепельный вечер, небо, напитанное влагой, висело над самыми домами Петроградской стороны. Вокруг шуршало, капало, хлюпало. С чего же ему так злиться? Впрочем, он и всегда был злой. Честные люди не бывают добры, они вечно помешаны на своей правде — что в ней толку? Поневоле начнешь бить детей... Хламида вздрогнул: в высокой арке, ведущей во двор, мелькнул в тумане силуэт ребенка, съживившегося у стены.

— С ума я схожу, что ли, — сказал он вслух, по инерции сделал еще несколько шагов, развернулся и побежал назад.

В арке было пусто. Да и пойдя пойми в таком тумане, был ли мальчик.

8

Между тем декрет от 5 января об отмене орфографии, из-за которого и произошли все описываемые события, исполнялся из рук вон плохо, то есть не исполнялся вовсе. В «Нашем пути» от 17 марта появилась заметка следующего содер-

жания: «Труб сомодержавия еще смердит. Целесообразно, кажется, наконец сделать все, чтоб у антенародново элемента вырвали жало. Омирзительные враги пятнают наш стяк и гризнят его, но мы идины и непобедимы. Много еще затрад предстоит нам, масштаб битв неописуем. Но жызнь возьмет свое!» Краткое редакционное послесловие просило снисходительно отнестись к произведению полуграмотного, но искреннего бойца революции, матроса Убытко, лично принесшего в редакцию свой первый опус. «Надеемся, что читатель наш не станет по-гимназически подчеркивать красным карандашом ошибки начинающего публициста», — лукавил в заключение безымянный комментатор.

— Что ж, подчеркнем, — прищурился Комаров-Пемза.

Неверное пламя пятнадцати свечей трепетало в сыром подzemелье. Глубоко в катакомбах, в подземных ходах Елагина острова вернейшие ученики, навещавшие строгого, но любимого преподавателя даже после упразднения его должности, продолжали изучать русскую орфографию. Разумеется, никто не мешал бы им заниматься этим и в его аскетически строгой комнатке на втором этаже дворца, но самая подпольность и таинственность служили лучшим стимулом к запоминанию правил, сделавшихся вдруг необъяснимо привлекательными. О подземном ходе, ведущем из кухни неизвестно куда, Пемзе рассказала Ашхарумова.

— Подчеркнем, — предложил Пемза Коле Соловцову, славному, веселому мальчику, только что от души хохотавшему над матросской публицистикой.

— Труб, — уверенно начал Коля. — Следовательно, подчеркиваем Б. Сомодержавие... О. Целесообразно... здесь, помоему, ненужное удвоение? А...

Через пять минут у Коли, к общему восторгу, получилась фраза «Большевики идиоты».

Тени метались, вытягивались, чудовищно длинными руками норовили схватить друг друга. Только здесь, в катакомбах, и стоило учить, только отсюда и мог разлиться по миру свет истины. Пемза придумал и конспиративные клички — Стекланный, Оловянный, Деревянный, Звезда, Гнездо, Седло, Бел-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ка, Лес, Бес... Все они были теперь исключениями из правил, так что и имена следовало подобрать соответствующие.

— Бес человечный, — хихикнула Таня. — Бес честный. Бес путный.

Они лежали, тесно обнявшись, укрывшись всем, что удалось найти в зувеской мансарде. Ночами было все еще так холодно, как бывает только на юге, близ моря. И это была отдельная игра — укутываться, греться, устраивать нору; потом остывать, сбрасывая с себя все эти пальто, платки, шали; потом снова сооружать гнездо...

— И что, теперь можно писать «без» через «с»?

— Вероятно. Теперь все можно.

— Послушай, но это прелесть! Представь себе только этот легион! Бес толковый. Вдумчивый, солидный бес, им одержимы серьезные люди...

— Бес платный. Он соглашается одержать — одерживать? — только за деньги, долго пишет договор, шуршит купюрами...

— Бес совестный. Им одержимы мыслители вроде графа Толстого.

— Бес кровный, отвечающий за кровную месть. Бес телесный, бес плотный — эти понятно чем заняты... Скоро их будет у нас больше, чем божеств у альмеков!

— О-о, мне кажется, проснулся бес телесный! — Она куснула Ятя за ухо. — Жил-был Ять, у него был ер...

Да, твердый знак — идеальный эвфемизм, если вдуматься. Как естественно и ясно было с ней все, что так мучило его с другими, — и как сладко и болезненно было это воссоединение с собой, мгновенное пробуждение к жизни, новое привыкание к себе самому.

— Ты ничего не можешь рассказать — что там, как там...

— Да откуда же мне знать, Таня? Что я должен помнить? Вот я лежу сейчас, здесь, — и слышу море, и хрип зувеских чаш, и нас с тобой, и все это так ясно, что буду помнить и через десять, двадцать лет... Вот на чердаке у него что-то шуршит...

— Там летучие мыши. Правда, я видела! Днем висят вниз головой, а ночью шуршат.

— Ну, пусть будут мыши. Видишь, теперь я всегда буду помнить мышей. А там... ну представь, что ты на все смотрела одним глазом, да еще полуприкрытым.

— Да, знаешь, странно. — Она села в кровати и укуталась в шаль. — Без тебя я как будто замечала любую мелочь, а появился ты — и все это смыло. Никогда не могла понять. То ли вправду не было ничего интересного, то ли у меня от счастья помрачение ума.

— Не от счастья, а со страху. Ты боишься, что я начну выпытывать про все, что с тобой было. Про всех, я имею в виду.

— Во-первых, ты не начнешь, а во-вторых, Ять, — святой истинный крест! — она перекрестилась, шаль распахнулась на груди, — я правда не помню никого! Если постараюсь, вспомню имена, может, род занятий... но вот как это было? Ять, ничего не было!

— А у меня было, — сказал он гордо. — Да, да, мы нужны не только вам, мы всегда найдем какую-нибудь убогонькую...

— Бес честный, — засмеялась она.

— Так-таки никого не помнишь?

— Только одного, он был этнограф, путешественник. Вечно куда-то уезжал, а потом появлялся. А фамилии не помню... что-то связанное с частью, с неполнотой... Обрывков? Осколков?

— А меня ты помнила?

— Да я жила тобой все это время, неужели ты не чувствовал? Я только ждала, когда замолчит твое дурацкое самолюбие, из-за которого мы столько ссорились. Ты-то уязвил меня сильнее всех и знаешь это. Душа тобой уязвлена.

— Между прочим, ты тоже могла объявиться...

— Но разве я не объявлялась? Ты садишься в трамвай и видишь сторбленную старушонку: это моя душа, уязвленная и брошенная тобой... скорчившись в углу... несчастная, жалкая...

— Танька! Дрянь! Где твоя совесть!

— Совесть? Моя совесть?! Ты смеешь мне говорить о совести?! — Она гладила, трясла, тормошила его, ее волосы падали на его лицо. Сколько раз за эти два года, разрешая себе подумать, да какое там, допуская, да какое, зная, что рано или

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

поздно они сойдутся снова, — он предвкушал не только блаженство, но и ужас, с которым будет замечать в ней чужое: новые привычки, слова, ту Таню, которой она была с другими. Но в ней ничто не оставляло следа, словно малейшая перемена разрушила бы всю гармонию чудесно сложившегося облика. Ни к кому другому не мог бы он тянуться с такой радостью и жадной, — может быть, судьба их и впрямь была сходиться и расходиться до конца дней, всякий раз заново ощутив всю полноту счастья и всякий раз не выдержав ее. Их встречи и разлуки похожи были на биение тайного ритма, и как знать — не билось ли сердце мира в эту ночь в зувеской мансарде? Так он думал, когда она заснула.

Или только казалось, что она спит? Ять поразился легкости, с которой она вдруг приподнялась и широко открытыми круглыми глазами уставилась на него. Был четвертый час ночи.

— И знаешь, — быстро зашептала она, словно в комнате был еще кто-то, — только с тобой можно говорить о том, что я вижу, например, за морем. Как только тут темнеет, и на набережной начинают ходить с фонариками — видел ты эти стеклянные, старинные, со свечками, — и как только звезды, я сразу вижу почему-то «Тысячу и одну ночь», витые башни, синее небо, и на одной из башен, в узком четырехугольном просвете, сидит старик в чалме, и перед ним ковер... Я прекрасно знаю, что ничего не было, что все было не так, — но вижу эту Турцию или Персию, в которой никогда не была и не буду. И обязательно ходят сторожа. Всю ночь обходят город. Но это я еще могу выразить, а знаешь, когда серое, или нет, такое желто-серое небо, старый гобеленный шелк, и все это над морем, — облака по горизонту, как паутина, — и вдруг какая-то воронка, как будто горловина огромной печи: там золотится и тлеет, и все это закручивается... нет, не могу; но ведь ты видел?

— Да, да, часа в четыре. Когда еще светло. Там будто какая-то мистерия, я в детстве всегда себе представлял эту небесную борьбу добра со злом, но мистерия... как тебе объяснить? Ведь это такой детский жанр, а дети так безразличны к настоящему добру и злу, что добро и зло

в этих сказках всегда одной природы, как облака. То есть они борются, но это борьба сродных сил, показательная, что ли, — борьба-зрелище, за которой можно наблюдать, никому особенно не сочувствуя. Наблюдаем же мы за природой, никому не сочувствуя? Вот растет трава, вот осыпаются камни, и кто-то даже гибнет — но никто не гибнет насовсем. Вот если бы мне так научиться смотреть на мир, — понимаешь, просто любуясь, не беря ничьей стороны...

Ять счастливо вздохнул.

— Теперь мы будем играть. Мы переиграем во все. Завтра ты-будешь местная помещица, а я — знатный иностранец (на самом деле, естественно, беглый авантюрист), который скрывается в вашей глуши от кредиторов и морочит тебе голову, но сам не замечает, как влюбляется по настоящему...

— Да, да — Она снова легла и начала устраиваться уютнее — прижималась к нему то животом, то спиной, сворачивалась, разворачивалась, крутилась, щекотала, тормошила. — А потом ты будешь судья, а я разбойница... или нет, ты будешь богач, а я циркачка. Ты покинешь дом и уйдешь странствовать с нами, атлет будет тебя ненавидеть, потому что он любит меня...

— Я забыл тебе сказать, что познакомился с Машей Ашхарумовой.

— Маша? — обрадовалась она. — С кем теперь Маша? У вас был роман?

— Нет, что ты. У нее роман с Казариным, которого я терпеть не могу. Но она напоминала мне о тебе — отдаленно, конечно, отраженным светом, — и я избегал их обоих. Вероятно, это была зависть.

— Бес честный, — повторила она. — Ну и что, она счастлива?

— Не знаю. Кроме нас с тобой, никто не счастлив.

— Врешь, врешь. Если бы ты ничего не писал и весь был только мой, тебе надоело бы на другой день.

— А тебе еще раньше.

— Не знаю, Ять, честно... — Она сладко зевнула. — Господи, как все чудно, чудно, чудно...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Она еще что-то пробормотала, засыпая, и наконец затихла; от нее шло ровное сонное тепло, абсолютный покой спящего ребенка, готовый, впрочем, мгновенно смениться лихорадочным жаром нового пробуждения и новой игры.

Ять осторожно встал, с наслаждением закурил и подошел к холодному окну. До рассвета было еще далеко, но луна сместилась вправо, к мысу, и по ровной воде пролегла золотая, расширяющаяся к берегу дорога. За плоскими ступенчатыми крышами начиналось фосфорическое, бледно-голубое свечение моря. Страшно было даже представить себе холод этой спокойной воды. Интересно, если бы мне сказали, что для спасения ее жизни я должен проплыть до тех скал? или до мыса? Я поплыл бы, конечно. Отчего-то при ней мне так легко расстаться с жизнью, жизнь так мало стоит в ее присутствии. Скажи мне кто-нибудь: умри сейчас. Да сейчас и лучше было бы. Я никогда не найду этому объяснения.

Да, думал Ять: очень может быть, что я для того и встретился с ней, чтобы поиграть во все. Когда она рядом, какая мне разница — кто прав, кто виноват? Теперь по крайней мере понятно, почему Казарин теперь так безразличен ко всем елагинским спорам. Может быть, я для того здесь и случился, чтобы вместе с ней переиграть все возможные роли: счастливого любовника, отвергнутого воздыхателя, богача, ушедшего за циркачкой, судьи, простившего разбойницу... Быть ее рабом, господином, врагом, тайным другом, мужем, соблазнителем — может быть, я только потому и люблю ее, что могу с ней в один день пережить все, чего с другой не пережил бы за полвека мирного брака. Может быть, смысл только в том и заключается, чтобы перепробовать правоту, неправоту, власть, отверженность — все, что можно?

Она всхлипнула во сне, и он вернулся в постель.

— Что с тобой? Приснилось что-нибудь?

— Нет, нет, ерунда, мне показалось... Какой ты холодный. Бес трепетный. Какое сегодня число?

— Наступило шестнадцатое марта. А что?

— Нет, ничего... Пятнадцатого был счастливый день, шестнадцатого тоже будет счастливый день... Не уходи больше.

9

Эсер Владимир Свинецкий со своим отрядом вошел в Гурзуф ранним утром шестнадцатого марта. Отряд состоял из убежденных боевиков, в основном босяцкого происхождения, какими всегда кишел плодородный и привольный юг России. Свинецкий был членом Боевой организации с пятого года, побывал на каторге, вернулся, попал в ссылку, бежал и до февраля семнадцатого жил за границей. Вернувшись, он нашел партию деградировавшей, а Боевую организацию — упраздненной. О терроре никто не вспоминал. С июля разочарованный Свинецкий лечился в Ялте от туберкулеза, нажитого, как ни странно, не в Сибири (там никакая хворь не брала), а в благополучнейшем Давосе. Поистине, тихая жизнь была для него смертельна.

В Ялте он и узнал о победе большевиков в Петрограде. С ноября по март он собирал дружину и разрабатывал план действий. Естественно, захватить большой курортный город вроде Ялты им пока не по плечу, но создать опорную базу в Гурзуфе и начать там вербовать добровольцев из татар и крестьян — наиболее реальный путь к превращению Крыма в оплот подлинно революционных сил. Собственно, где был Свинецкий — там и оплот; повезло на этот раз Крыму.

Конечно, победить в России должны были именно большевики — наиболее циничная партия, прибежавшая на готовое. Февраль был делом рук лучших товарищей, он оплачен кровью святых борцов — но вот вам цена соглашательства! Победила самая ползучая братия, гад, повторявший рельеф местности и почти невидимый на ней. Свинецкий прощупал ялтинскую публику — рыхло, зыбко; понимание он нашел только в порту. На всякий случай он провел среди своих портовых единомышленников пару занятий по обращению с оружием — и был изумлен, насколько лучше гвардейцы осведомлены в этих делах, нежели он сам. Любой портовый босяк с поразительной ловкостью метал нож, отменно стрелял и не испытывал страха перед возможным кровопролитием.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Чувствовалась обширная практика, к политике, впрочем, отношения не имевшая.

Теперь с верным отрядом из пятнадцати человек, с пятью винтовками, двенадцатью нагайками и шестью самодельными пиками они входили в Гурзуф, мирно спавший под властью Коммунистической Таврической республики. Пора было возвращать смысл слову «коммунизм». Свежий утренний воздух бодрил Свинецкого. Погода стояла великолепная — сама природа приветствовала истинных рыцарей свободы. Тысячи бликов дробились и зыбились на серо-золотом море. Отряд мерно приближался к городу со стороны Ялты. Ехали молча, ничем себя не обнаруживая: внезапность — половина победы.

Небо голубело над каменистой дорогой, петлявшей среди сухого кустарника; рыжеватые глинистые осыпи спускались к диким пляжам в окрестностях Гурзуфа. На одном из этих пляжей умывался холодной утренней водой комиссар Трубников. Маленький, худой, волосатый, он приседал и подпрыгивал, скакал по гальке, высоко поднимая колени, быстро окунался, выскакивал на берег и разогревался снова. В порыве счастья он принялся кружиться на одном месте, и тут взгляд его упал на дорогу: по ней в город неслышно, почти не бряцая оружием и сбруей, двигались шестнадцать всадников. Комиссар Трубников давно ожидал чего-то подобного, а потому стремительно оделся и побежал берегом прочь от города. У него была надежда добраться до рыбацкого поселка, лепившегося к подножию Аю-Дага. Предупреждать в Гурзуфе ему было некого — он правил единолично и успел порадоваться, что так и не собрался осуществить принцип коллегиального руководства.

Свинецкий равнодушно посмотрел на местного жителя, обливавшегося морской водой на берегу и вдруг резво припустившего куда-то вдоль берега. Мало ли кто купается по утрам: в Сибири он знал крестьян, окунавшихся в ледяную воду ежедневно до глубокой осени.

— Граждане Гурзуфа! — кричал он два часа спустя перед двумя сотнями обитателей поселка, согнанных на площадь

его людьми. — Для вас настало царство истинной свободы, равенства и благоденствия!

Граждане Гурзуфа переминались с ноги на ногу и смотрели главным образом на окрестные горы. По лицам их блуждали неопределенные ухмылки. Все это они слушали в пятый раз — сначала в феврале прошлого года, потом два раза в ноябре, потом в январе.

— Но свободу надо уметь защищать! — загремел Свинецкий. — И потому первое, о чем мы должны подумать, — это создание революционного ополчения!

— Так ведь мир заключен, господин командующий, — заметил рыбак по фамилии Бурлак, ражий детина с пудовыми кулаками и младенческим добродушием на щекастом лице.

— Мир заключен с немцами, а с нашими, российскими захватчиками у нас нет и не может быть никакого мира! — Свинецкий пронзил Бурлака презрительным взглядом. — То, что ваши прежние трусы градоначальники называли свободой, не имеет с ней ничего общего! Большевики позорно предали дело революции, и никто из вас не дезертирует к мирным занятиям, пока из Крыма... а потом и из России... не будет изгнан последний большевик!

— Быть не может, — выдохнул Ять. — Это же Свинецкий! Черт меня побери совсем...

С самого начала пламенной речи нового вождя он мучительно припоминал: тот или не тот? Был ли это герой первого его нашумевшего очерка — двадцатипятилетний тогда террорист, участник неудавшегося покушения на прокурора Сырищева? Выходило, что сейчас Свинецкому должно подходить к сорока; Ять слышал, что он отбыл три года каторги, бежал с поселения, далее следы его терялись. Разговаривали они всего дважды: редактору «Глашатая», бульварнейшего листка, где Ять числился репортером в начале пятого года, удалось добиться разрешения на встречу с террористом в тюрьме и публикацию очерка — естественно, для предупреждения культа отважного мученика среди молодежи. Ятю он поставил иную задачу: пишите так, чтобы все содрогнулись.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В первый раз они увиделись еще в тюремной больнице, где эсер приходил в себя после перелома двух ребер и многочисленных осколочных ранений левой руки. Свинецкий имел вид мексиканского бандита — черноволосый, маленький и хмурый. На священный огонь и ангельскую чистоту в его чертах не было и намека. Клочковатая борода, сбивчивая речь, каша во рту — и эта дикая, птичья манера вскидывать голову после особенно эффектной трели: зрелища более жалкого нельзя было вообразить. Ять сердечно пытался убедить его не то что покаяться — об этом и речи не было, — но по крайней мере обратиться к друзьям с призывом к ненасильственному разрешению противоречий. Ни о чем подобном Свинецкий и слышать не хотел, да он и вообще был глух после контузии. Из разветвленной системы аргументов, которые Ять приготовил, до него доходила едва треть, но и ту он неспособен был воспринять. Когда же Ять, не выдержав, закричал, что новой фазой борьбы неизбежно станет истребление рода человеческого, — Свинецкий, впервые посмотрев на него с любопытством, серьезно заметил, что таков и был завет Христа — окончательное переселение сынов человеческих в царство Божие. Ять оставил возражения и расспросы и только слушал. Ему открылось в разговорах со Свинецким нечто важное, и этим важным была выявившаяся наконец-то ущербность всякого человека, готового теоретические вопросы разрешать практически действиями, убийствами же в особенности.

Прежде для Ятя именно собственная тяга к недеянию, невмешательству в жизнь (какое уж там насилие!) была признаком тайной ущербности; в несчастных счастливицев, способных метнуть в ближнего бомбу во имя высшей цели или перерезать ему глотку для цели низменной, он взглядывался с напряжением естествоиспытателя, но ничего, кроме твердой, плоской простоты, не обнаруживал. Душа его колотилась о Свинецкого, как волна о камень. Свинецкий был досадно, обезоруживающе прост, — и Ять честно написал об этом, в неприкосновенности донеся до читателя все его монологи. Герой лично отцензурировал очерк и нашел его недостаточно героичным, — писал человечешко мелкий,

хоть и честный; презрительным кивком он дал согласие на публикацию без существенных исправлений, заменил только пару раз «прекрасную» на «божественно чудную». Речь шла об атмосфере в БО.

«Да, это Свинецкий, — понял Ять, когда оратор вскинул голову и повернулся в профиль к нему, широким жестом обводя горы. — Его жест и его нос. Вот где привелось свидеться. Ну, ежели так, мы с Таней в безопасности. Такого диктатора опасаться нечего».

И в пятом, и в восемнадцатом он был одинаково жалким пророком.

10

Седова умерла в ночь на шестнадцатое марта, одна, в своей монашеской комнатке на третьем этаже Елагина дворца, рядом с дворцовой церковью. Ей не было и шестидесяти лет, она все жаловалась на усталость, но и сама не придавала значения хворям, и другим запрядала расспрашивать о них. Утром она не вышла к завтраку. Ловецкий побежал наверх, отчего-то уже на лестнице догадавшись о случившемся. Седова лежала поверх одеяла в своем неизменном мышеватом, как его называли, платье, — сером с прозеленью, шерстяном; будто прилегла отдохнуть, не раздеваясь, и здесь умерла в одночасье. Один глаз был полуоткрыт и мутен.

О чем она думала в свои последние минуты, что делала в своей холодной, маленькой, аскетической комнатке, что читала, кроме всюду путешествовавших с ней житий? Не было даже догадок, да по большому счету — кого и могла всерьез заинтересовать Седова, пока была жива? Она за все время пребывания в коммуне брала слово два или три раза; и слова ее были самые безликие, самые ортодоксальные — всю жизнь изучая цветистые, избыточные русские говоры и диалекты, сама она говорила стертым голосом, стертыми

словами, точно раз навсегда испугавшись всех этих народных художеств и противопоставляя им холодную петербургскую норму. Раз только видели ее вышедшей из себя — когда она вдруг закричала, что не позволит Борису позорить его учителя, — но и тогда она почти тотчас успокоилась. Как ни ужасно это признать, но бывают люди никакие: всякому из нас приходилось хоть раз наскочить с лёту на такого человека, разрешать его загадку, отыскивать в нем то, что дает силу жить в этом равновесии — и отступаться в недоумении: сосуд запечатан, на поверхности — ни трещины, ни шва. Бушевали ли в седовской душе непредставимые страсти? Хранится ли где-нибудь зашифрованный дневник с засушенным цветком или закладкой из той самой ленты с той самой шляпки? Или во всю свою жизнь умудрился наш таинственный спутник не полюбить, не отчаяться, не обрадоваться? Быть может, только так жить и следует — и, как некоторым дается от рождения вера в Бога, так другим, вероятно, вручается душевное равновесие, род нирваны. Я не хотел бы такой участи, нет — не хотел бы. Казарин даже тряхнул головой, прогоняя видение.

Похороны назначены были на третий день, на Волковом кладбище — у Седовой обнаружилась вдруг двоюродная сестра, рослая шумная старуха, уже семнадцатого с утра явившаяся в коммуну. Сестра тут же принялась выспрашивать, кто в коммуне главный (за главного с самого начала считался Хмелев, но никакими административными полномочиями не обладал), не причитается ли ей теперь какой пенсии или пайка за Седову, не будет ли помощи от Наркомпроса в деле организации похорон, нельзя ли ей поселиться вместо сестры, приведя с собою заодно и бабу-прислугу, — и сколь ни был Хмелев заинтересован в росте численности своих единомышленников, кухне он отказал наотрез. Понявши, что он никакой не начальник, двузначная баба принялась на него орать, прямо обвинять в гибели единственной родной души (о которой

она до того годами не вспоминала) и в равнодушии к ее посмертной участи; Хмелев действительно не находил в себе сил ехать к Чарнолускому и требовать гроб, могильщиков, пособие, которого так домогалась двоюродная сестра... Обо всем неожиданно позаботился Хламида, которому сразу доложил бледный длинный секретарь: хотя Седова и не приняла никакого участия в работе «Всеобщей культуры», под патронаж Хламиды автоматически попадали теперь все елагинцы, и вопросы решились тут же. Кузина сообщила, что отец Седовой (между прочим, главный инженер Головинского чугунолитейного завода) похоронен на Смоленском кладбище в 1902 году и на могиле его стоит огромная чугунная клетка, сваренная из лучшего сорта чугуна, который инженер Седов лично разработал. Под клетку и решено было положить дочь инженера.

Никогда не устаивалась Седова таких почестей: гроб несли по очереди лучшие представители столичной профессуры, шел за ним и Хламида, печально опустив голову, пощипывая усы и порой смахивая слезу. Он видел Седову единожды в жизни и понятия не имел, кто она такая. Процессия растянулась на десятки метров, к ней приставали нищие, интеллигенты, потрепанные аристократы, городские сумасшедшие, и часть пути прошел даже патруль, которому все равно днем делать было нечего — так хоть поглазеть. В хвосте процессии не знали, кого хоронят, да и ответить на этот вопрос было затруднительно: как объяснить петроградскому нищему, что к последнему упокоению движется прах диалектолога? Он решит, что это дохтур, и будет по-своему прав. «Профессор», — скупно отвечал Казарин. Хламида честно пытался достать и оркестр, но музыканты были в тот день заняты — в городе одновременно закладывалось три памятника героям революции, в том числе Шарлю де Костеру; в честь Костера Чарнолуский говорил речь, а потому на похоронах Седовой присутствовать не смог. Если б не Костер, вероятно, он пришел бы — и события могли

пойти по непредсказуемому сценарию; но нарком, никак не ожидавший превращения похорон Седовой в митинг, предпочел говорить речь об искрометном Тиле, злейшем враге косности и поповщины. Большая часть пролетарской аудитории, собравшейся на закладку памятника, заключила, что Костёр — нечто вроде псевдонима, взятого пламенным борцом за народное дело. Поскольку в речи Чарнолуского, растянувшейся, по обыкновению, на три четверти часа, постоянно упоминался какой-то пепел класса (очевидно, пролетарского), слушатели пришли к выводу, что буржуазия вместе с поповщиной бросила своего злейшего врага в костер: ты, мол, так прозывался, так ты же теперь и гори. Уже после того, как нарком, заложив первый символический камень в столь же символический постамент, уехал с Лиговки в Смольный, обыватели долго еще делились впечатлениями:

— Вишь, они говорили ему: отступися! Отступися, добром просим! А он — ни в какую: вы, говорит, утиль! Ну, они и кинули его в костер, в костэ-эр, по ихнему-то говоря: гори, говорят, разбойник ты эдакой. Твоим же салом тебя и по сусалам. Вот как болел за народ, а не то что сейчас.

— Да, эти-то гладкие ездют...

День был солнечный, ясный, с блекло-голубым, совсем уже весенним небом. Ослепительно, радостно блестела грязь, и кое-где обнажились мостовые. У часовни Ксении Петербургской толпились, как всегда, богомольные старухи и кладбищенские нищие; молодая заплаканная девушка долго стояла у стены, прижимаясь к ней то ладонями, то губами, — потом повернулась и быстро пошла прочь; за кого она просила? Ксению звали «скорой помощницей», Казарин любил легенды об этой истинно русской святой, любил и саму святую, в которой так просто и ясно воплотилось все лучшее в его городе. Ему никогда не нравился Питер каменный, Питер административный, — чуть больше он любил город салонный, ресторанный и клубный,

но какой-то частью души особенно сладко и болезненно чувствовал родство с окраинами, с их сырым простором и деревянными купеческими домами. Это был город нестрашных суеверий, тихих, невидимых миру слез, глубоких и скрытых страстей — тут случались примеры любви удивительной, надрывной, верной, тут ютилась кроткая нищета (часто готовая, впрочем, обернуться зверством), и Ксения Петербургская была хранительницей и заступницей этих мест. В ней не было ничего от грозной правоты русских святых, — но и в том, как она ночами выходила в поле, за город, молиться, и в том, как тайно носила кирпичи на леса строившейся тогда Смоленской церкви, и в том, как клюкой грозила мальчишкам, и даже в том, как говорила купеческим дочкам — «Беги на кладбище, там тебя ждет жених» (а в это время на свежей могиле лежит без чувств молодая вдова), — была подлинная, ни с чем не сравнимая святость, и агностик Казарин безропотно и любовно склонялся перед ней. Он и теперь незаметно и неумело поклонился часовне Ксении Петербургской, но креститься не стал — не потому, что боялся быть уличенным, а потому, что не любил публичных жестов. Многие после переворота принялись демонстративно креститься на храмы, — но что на свете хуже дозволенной фронды?

В церкви отпевали какого-то старика, пришлось ждать; Казарин считал отпевание оскорбительным предрассудком, пение над гробом казалось ему бессмысленным; различив слова о том, что раба Божия Анна должна упокоиться в лоне Авраамовом, он попытался себе представить, что общего у Седовой с этим старым евреем, — и, коря себя за кощунство, никакого сходства не нашел. Может быть, ограничивая роль церкви в жизни общества, компомпы были не так уж и не правы, — если б только это делали не они, совсем было бы хорошо; но эти мысли он отогнал тут же. Он твердо знал с самого начала, что оправдывать их нельзя ни в чем — от частных оправданий был все-

го шаг до сговора с дьяволом, а лик дьявола во всей его грубой простоте рисовался Казарину ясно, стоило вспомнить о декретах, реквизициях, упразднениях и разрешениях всех мировых вопросов путем ликвидации вопрошающих. От марксизма воняло — воняло с тех еще невинных пор, когда молодые русские профессора принялись поверхностно им увлекаться; от марксизма же, прошедшего через окопы, воняло так, что, даже если бы Ленин выучился словом излечивать чуму, Казарин сделал бы все, чтобы заразиться. Разумеется, это была только метафора, — теперь надо было жить, жить любой ценой, пусть даже и удерживаясь у зверя на спине, вцепившись обеими руками в его жесткую, колкую холку. Он посмотрел на Ашхарумову: хороша! Марья и в церкви была на месте, и что-то старорусское, иконописное проступило в ее лице. Как стремительно она меняется — платок, что ли, виноват? Спасительная протейность, воплощенная органика: может, за это не тронут их обоих?

Клетка седовского отца виднелась издали; в ограде еле нашлось место, чтобы рядом с этим невероятным памятником положить дочь инженера. Первым говорил Хламида. Он говорил о хранителях культуры, чьи ряды редеют с каждым днем, об ордене, прячущем ковчег, о тайном братстве, оберегающем огонь знания от варварских орд... и о том, что ничего не пропадает... Один Ять, пожалуй, оценил бы его слова, — но и Ятя, верно, отпугнули бы эта расчетливая прочувствованность, дерганье усов, якобы в поисках единственного слова (давно затертого, насквозь книжного), эти слезы на ядовито-синих глазах.

После Хламиды, однако, заговорил Хмелев. Тут уж не было громких словес и всхлипываний, которыми так часто прерывалась речь писателя: скупое и сухо перечислив научные заслуги Анны Васильевны, скромного и честного труженика лучшей, без сомнения, диалектологической кафедры России, он почти сразу перешел к смутным угрозам, намекам и чуть ли не к при-

зывают начать кампанию гражданского неповиновения. Начав скромно, он постепенно распалился и вскоре уже сам искренне верил (как всякий хороший лектор, способный убедить любого, и в том числе себя), что в смерти Анны Васильевны непосредственно виновны комиссары.

Похороны на глазах превращались в митинг, — как и все в Петрограде в последний год: хлебная очередь, гимназический урок и даже свадьба. Впрочем, в последние тридцать лет российской истории не было стихийного бедствия, в котором не обвинили бы правительство; Казарин резонно рассудил, что большевики не заслужили никаких привилегий и должны разделять участь всех властей.

Он почувствовал внезапный укол тоски, представив, как слушает эти речи Седова — если слушает, конечно; ни в какую загробную жизнь Казарин не верил, но по литераторской привычке к допущениям вообразил ее тихое удовлетворение. Конечно, она не возразила бы. Она удивительно легко покорялась любому начальству, и все ее работы были, в сущности, добротным развитием чужих открытий, — так о ней за глаза говорили в коммуне при жизни; сам Казарин о ее трудах понятия не имел. Она во всем брала сторону Хмелева. И теперь, когда он на глазах елагинцев и приставших по дороге бездельников производил ее в жертвы режима, она не возразила бы ни словом.

— И мне видится символ в том, — грозно закончил Хмелев, привычно чувствуя власть над аудиторией, — что на могиле этой жертвы — жертвы, увы, не первой и не последней, — высится железная клетка: в эту клетку заточено ныне любое проявление свободной мысли, в этой клетке томится теперь русская наука, от этой клетки нет спасения и в смерти. Перед нами простой выбор: доживать, довольствуясь гнилым мясом, которое нам бросают, и надеясь на пришлого освободителя, — или попробовать в последней попытке сломать эти прутья... и умереть, как умерла наша союзнца.

Теперь выходило, что Седова умерла в борьбе за свободу (которой боялась больше всего на свете). Хмелев отошел от ограды, и место его тотчас занял Алексеев, — но не успел он закончить первой фразы («Лучшие люди России гибнут вместе с Россией»), как послышались звуки погребального оркестра. Все обернулись. По соседней аллее приближалась толпа крестовских раскольников. Четверо, и в их числе возвышающийся над толпой Корабельников в барашковой шапке, несли обтянутый красным кумачом длинный гроб. Нельзя было разглядеть, кого несут; зато отлично видна была несомая перед гробом черная деревянная конструкция, сбитая из фанерных кругов, квадратов и треугольников. Это был футуристический памятник Борисоглебскому.

11

За пять дней до того, тринадцатого марта, молодой Краминов — ученик Льговского — принес от Чарнолуцкого столь долго ожидаемые мандаты на чтение лекций для питерского пролетариата. О местонахождении пролетариата у Чарнолуцкого было весьма приблизительное представление: он даже сходил за консультацией к Бронштейну, но тот обругал его и выставил. В самом деле, смешно было идти к военному, наиболее занятому наркомму с вопросом, где сейчас может быть пролетариат. Значительная его часть после подписания мира вернулась с фронтов, но работать не спешила: едва ли в Петрограде действовало хоть три фабрики. Большинство трудоспособного населения занималось грабежом, спекуляцией и иными формами перераспределения собственности. Иногда Чарнолуцкому являлась даже крамольная мысль о том, что Маркс где-то ошибся (а впрочем, он толком не читал Маркса, в чем никому не признавался: этот глубокий эконом невыносимо скучно писал): революцию с пер-

вых ее дней называли пролетарской, а между тем роль пролетариата в ней была пренебрежимо мала. Можно сказать, ее вовсе не было. Чарнолуский утешал себя тем, что название перевороту дают не те, кто его совершил, а те, во имя кого он совершался, — но никакого одобрения со стороны пролетариата опять же не было, если не считать грабежей, которые можно, конечно, рассматривать как выражение восторга, но лишь с известной натяжкой. Поэтому, когда Льговский, Корабельников и Краминов по очереди требовали от наркома хоть какой-нибудь работы на благо революции, Чарнолуский только улыбался, пытаясь охладить их пыл, а сам замирал от стыда и растерянности: он был комиссаром отсутствующего просвещения в городе пустых гимназий и еле функционирующего университета.

Впрочем, к шестнадцатому марта он нашел выход — простой, как все гениальное. Из очагов культуры в городе исправней всего действовали кинематографы, на каждом сеансе заполнявшиеся до отказа. Надо полагать, пролетариат сидел там. В городе не хватало решительно всего, даже мирный договор почти не улучшил положения с зерном, крупами, мукой, не говоря уж о мясе, — настоящего голода, как в феврале, уже не было, но людей на улицах по-прежнему шатало от слабости; и в этом-то городе был в избытке представлен кинематограф как отечественного, так и иностранного происхождения. Видовые, комедийные, мелодраматические картины, экранизации, любовные трагедии, одинаковые истории с неотличимыми роковыми красотками (голые плечи, жирно намазанный рот, черные блюда вместо глаз) заполняли собою Петроград.

Там и надо было ловить пролетария. Чарнолуский выписал Краминову несколько предписаний для дирекции синематографов (прикинув попутно, что к лету пора бы и обобществить их — стригут, подлецы, купоны и ни копейки не платят в казну!) и порекомендовал в случае сопротивления — мало ли, откажутся

пускать или еще что — сразу звонить в Смольный. Тематику лекций они обговорили давно: новое искусство, левая поэзия, опыты Мельникова с языком.

Борисоглебский уже около месяца жил в Крестовской коммуне и совершенно не понимал происходящего. Пару раз он проглядел газету с нескромным названием «Правда». Мир, не желавший постичь его учение, уже расплачивался за это, в нем было неспокойно, клокотала Германия, поживалась Франция, и даже в Англии что-то назревало. Ничего не происходило в одной России, скучной, как всегда, — только шипела какая-то гидра да сияло чье-то равноправие. О царе не сообщалось ничего. Вероятно, он совсем погряз в роскоши и перестал управлять страной. Борисоглебский машинально ел, пил слабый чай, отвечал на приветствия короткими судорожными кивками — но не мог отдать себе отчета, что он тут делает в обществе всех этих людей. Пару раз он заикнулся о том, что хотел бы вернуться в Ростов, — и ему со всей деликатностью объяснили, что поезда в Ростов временно не ходят, придется ждать. Он дал дочерям несколько телеграмм, но не получил ответа. Рукопись «Универсологии» у него постоянно просили — то для ознакомления, то якобы для издания, — и он отлично раскусил все эти хитрости и никому книгу не давал. Каждый из обитателей коммуны норовил украсть идею, хотя на вид все были славные мальчики из приличных семей, великовозрастные гимназисты, чистые личики. Больше всех Борисоглебского раздражал высокий, в кожаном пальто и курчавой шапке: этот вообще плохо понимал обращенную к нему речь, кивал «да-да, совершенно верно», — и стремительно убегал, словно стыдясь своего невежества. Все невежды перед «Универсологией», никого нельзя назвать знающим, пока он не постиг основополагающей системы, — но люди, окружавшие его, не только мало знали, но и учиться ничему не хотели! Им казалось, что все и так понятно.

Занятия крестовцев были и в самом деле беспорядочны: Кульбин и Митурин взялись было расписывать стены домов, в соответствии с манифестом «Искусство — улице», но были задержаны патрулем и три часа провели на Гороховой, поскольку документов при себе не имели. Попытки получить у Чарнолуского мандат на роспись питерских зданий окончилась ничем: комиссар поил художников чаем, долго и смущенно хихикал, говорил об исторических ценностях — короче, оказался типичным «музейщиком», хотя и добрейшим малым.

Корабельников устраивал почти ежедневные поэтические вечера, на которых разделялся со старым искусством и провозглашал окончательную победу футуризма во всероссийском масштабе. Он лично рисовал афиши, постоянно требовал от Чарнолуского новых заданий — у него как раз проекты были конкретные, деловые: писать агитплакаты, стихами переписывать сведения о международном и внутреннем положении, доходчиво излагать законы о наказаниях за спекуляцию и саботаж... Он соглашался, что искусство должно быть внятным, и даже мог быть в самом деле полезен, но уж слишком активно отгеснял от этой пользы всех других, настаивая, что он и его друзья — единственные подлинные революционеры в искусстве. Правда, о том, чтобы растерзать Пушкина, он уже не заикался. Чарнолуский поругивал его за вождизм.

Прочая молодежь во главе с Барцевым вообще резвилась как хотела. Гимназистки, курсистки, медички, студентки, члены Союза учащихся бегали на Крестовский, устраивали праздники, маскарады и самодеятельные спектакли. Родители давно махнули на все рукой. Сидеть в притихших, голодных домах было страшнее. Пожалуй, больше всего веселилась в восемнадцатом году петроградская молодежь — шестнадцатилетние и семнадцатилетние юноши и девушки, для которых все происходящее было одной грандиозной мистерией, специально для них разыгранной в осыпающихся столичных деко-

рациях. Они радостно приветствовали вторую молодость своего города, так счастливо совпавшую с их молодостью. Им казалось, что и дома радуются, сбрасывая опостылевшие вывески, и природа ликует, потому что март восемнадцатого года был холодный и солнечный, синий и льдистый. Нищих больше не было, потому что нищими были все. Дети, воспитанные в интеллигентских разговорах о мерзости русской действительности, никак не могли понять, отчего их отцы и матери, которые вели с ними эти самые разговоры, не радуются осуществлению своих надежд. До революции, марксизма, большевизма и прочих слов детям не было никакого дела. Они видели, что настала небывалая жизнь, — и им нравилось ночами на Крестовском слушать небывалую поэзию, бегать домой к доброму заумнику Труханову, заваривавшему травяной чай и похожему на лесного гнома, под руководством Барцева выкладывать из сухарей сложные композиции (Барцев утверждал, что сухари от этого становятся питательнее) и устраивать студию футуристического танца на втором этаже прилукинской дачи (танцевали почти голыми — руководительница студии, сорокалетняя армянка Акопова, часами могла говорить о поэтике тела и решительно отменяла эротический план танца: и то сказать, после столь бурной молодости, какая выпала ей, придавать эротизму серьезное значение было поистине невозможно; то ли дело пластические этюды).

Впрочем, детям нравились не только футуристы. Очень многие уже месяц ходили к Комарову на Елагин, в его подпольную лингвистическую студию, и на тайных заседаниях орфографического общества добрались до вполне серьезных языковых открытий. Корнейчук, проводивший теперь на Елагином по десять часов ежедневно в бесконечных спорах, сколько и в каких переводах взять во «Всеобщую» из Лонгфелло, а что — из Суинберна, затеял детский театр и лично взялся переделывать для подростков «Ромео и Джульетту»; когда он успевал редактировать бесконечные

рукописи, заведомо не могущие претендовать на публикацию, писать детские пьесы и записывать воспоминания старух шестидесятниц — один Бог ведал, но, если бы он не глушил себя работой, в чуткой и умной душе его, верно, завыл и засвистел бы такой ужас, что Корнейчук, и так с детства страдавший бессонницей, вовсе лишился бы сна.

Самое удивительное, что и в студию футуристического танца, и в детский театр Корнейчука, и на семинары Барцева, и в подпольную академию Комарова-Пемзы заходили по большей части одни и те же подростки, общим числом до ста человек; часть принципиально не посещала Елагин, часть избегала Крестовского острова, но этих упрямых маленьких бойцов (среди которых первенствовала старшая дочь Корнейчука) было не больше десятка. Все прочие решительно не понимали, отчего коммуны двух островов враждуют между собой: в конце концов, порознь все их обитатели были прелестными людьми, каждый со своим чудачеством, а отстаиваемые ими принципы казались так ничтожны на фоне радостного крушения всего и вся, что вдаваться в причины раскола петроградской профессуры у юных гостей не было ни времени, ни желания. Куда интересней было слушать рассказы Комарова о летописях или сказки Труфанова о странствиях. Молодежи не нравился только Борисоглебский — высокий ворчливый старик, говоривший вдобавок с неприятным южным акцентом. Он был явно сумасшедший, и его боялись.

Именно ради него и затеял Льговский вечернюю лекцию в «Паризиане». Собственно, «Паризиан» было две: одна на Невском, вторая в Пятой линии Васильевского острова. Вторая была ближе, да и начинать лекции следовало с небольшого зала, чтобы не так громок оказался провал. Льговский прочел за свою двадцатипятилетнюю жизнь страшное количество лекций в самых разных аудиториях — от основательных докладов в Обществе любителей словесности до кратких предва-

рительных замечаний в «Бродячей собаке», где выступали друзья-поэты, поставлявшие стиховой материал для его теоретических работ. Он умел распалить и подразнить аудиторию, знал тонкости литературной полемики и даже акустические особенности петербургских залов, но понятия не имел, как говорить с пролетариатом. В душе он сильно сомневался, что площадное искусство в самом деле способно заинтересовать тех, кто ходит по площадям, а просвещать пролетариат в кинематографах было с самого начала идиллической затеей. Единственным оправданием этого мероприятия могло послужить публичное выступление Борисоглебского: у старика в самом деле были удивительные прозрения, он явно томился и скучал в Петрограде.

Кинематограф «Паризиана» на Васильевском представлял собою полуподвальное помещение с десятью рядами по двенадцать кресел, служившее некогда пивной (запах пива впитался в стены и сделался дополнительной приманкой для публики). На всех сеансах шла кинодрама в пяти частях «Поруганные грезы», слепленная ханжонковцами в 1916 году. Кинодрама была сильная, со специально приглашенной из Парижа звездой варьете Мари Суаре (которая, точно, была приглашена из варьете, но харьковского, и звалась на самом деле Варварой Суриковой). На вечерних сеансах перед «Поруганными грезами» демонстрировалась видовая фильма из двух частей «Полет фельетониста Кокини на дирижабле, в Одессе». Кокини, в настоящее время сотрудник одесской ЧК, в недалеком прошлом журнальный репортер, без обмана летал на дирижабле, и это было еще самое невинное из его предприятий. О нынешних его занятиях тоже можно было бы снять неплохую видовую фильму.

Льговский без проволочек прошел со стариком прямо в комнатку около кассы, где директор кинематографа Кугельман пил спирт. Жизнь Кугельмана в последнее время была нервная. Он с минуты на минуту

ждал, что у него реквизируют помещение. Трудно было представить, кому могло понадобиться такое помещение, но ведь и цели большинства других реквизиций не мог объяснить никто. Кугельман боялся и поэтомупил спирт, и тут вошли двое — маленький, крепкий, лысый, весь в черной коже, и длинный, старый, в потрепанном пальто, хмурый и глядящий в пол.

— Имею честь говорить с директором? — вежливо спросил маленький, кожаный. Непонятно было, каких он лет: может, двадцать, может, и все сорок. Кугельман почувал было слабое, теплое дуновение надежды: кожаный был как будто еврей.

— Я директор, — сипло сказал Кугельман, не успевший запить спирт.

— У меня мандат от наркома образования, — вынул бумагу кожаный, и у Кугельмана оборвалось сердце. Это была реквизиция, конец.

— Я тоже имею мандат от наркома образования, — сказал он.

Мандат действительно был, его написал для Кугельмана писарь Петроградского гарнизона, уверявший, что он умеет выправлять такие бумаги; правда, бумага давала лишь право ночного передвижения по городу — без этого права Кугельман не мог бы показывать ночные картинки, особенные картинки из самой Одессы, попавшие туда из Марселя, — неподвижные, но очень интересные для матросов.

— Ваш мандат нас не интересует, — улыбнулся кожаный. — Мы пришли выступить с лекцией перед зрителями.

В следующую секунду Кугельман испытал облегчение, которое не с чем было сравнить. Сердце его, оставившееся было, забилося с утроенной силой. Он боялся, что его удары будут слышны гостям. Он нагнулся, достал из корзины для бумаг бутылку спирту и взболтнул ее перед кожаным.

— Не желаете перед лекцией? — спросил он уже вполне по-свойски. — Очень хороший спирт, настоящий медицинский.

— Откуда? — пресекая панибратство директора, поинтересовался Льговский.

— Ах, оставьте. Довоенный запас, — отмахнулся Кугельман. — Может быть, ваш товарищ выпьет?

— Я выпил бы, — вдруг сказал Борисоглебский. — Сильная натура напряжением воли подавляет опьянение, но питательность спирта выше хлеба, выше даже масла, а энергичные затраты организма на его усвоение значительно ниже.

— Ну, налейте, — разрешил Льговский. Он чувствовал смутную вину перед стариком, которого сначала привел на прилукинскую дачу, а теперь вот втравил в еще более сомнительное предприятие. — Когда у вас ближайший сеанс?

Кугельман вынул тяжелые, безвкусные серебряные часы с механикой.

— Через двадцать минут. Перед началом кинодрамы — видовая фильма, я вам предлагаю читать между ними. Когда зритель будет уже заинтригован. Я вас лично представляю.

— Не надо, — брезгливо сказал Льговский, которому был противен этот развеселившийся трус. Льговский и вообще питал предубеждение против своих братьев по крови, но, как философ, понимал, что национальные предрассудки приводят к религиозному миросозерцанию, которое с формальной точки зрения было системой ложной и противоречивой. Поэтому он предпочитал о еврейском вопросе не думать, но уж очень не любил одной черты, наблюдаемой им в любом еврее: все они, когда проходила опасность, слишком явно радовались и чересчур быстро расслаблялись, — тут же начинались панибратство, заигрывания, предложения «выпить» и прочая атрибутика, которую он называл «синдромом внезапно отпущенного».

— Ну, не надо — так не надо, — развел руками Кугельман. — Билетов можете не покупать.

«Паризиана» была заполнена до отказа. У Кугельмана разрешалось курить. Тапером служил талантливый мальчик, единственная надежда матери, которого привели к Кугельману общие дальние родственники; поначалу директор не верил восторженным рекомендациям, однако мальчик оказался и впрямь способный. Он знал весь модный репертуар, а по ночам импровизировал такое призывное и страстное, с долгими тремоло, с внезапными порывами форте, что особенные картинки приобретали вид высокого искусства. Тапер втайне мечтал показать свои опыты Стравинскому, но Стравинский давно был за границей.

После того как Борисоглебский под испуганным взглядом Льговского и уважительным — Кугельмана хватанул полстакана спирта, могучим усилием воли заглушив опьянение и восприняв одну энергичность, лекторы прошли в зал. Кугельман чинно вынес им из своей комнатенки два низких стула с гнутыми кавалерийскими ножками. Борисоглебский был угрюм, хотя и сильно покраснел лицом; Льговский знал, что, как только он скажет первые слова, ввяжется в драку — страх пройдет тут же, но пока тянулось самое противное — ожидание; он и в детстве ненавидел это состояние больше всего на свете. Мучительно длился для него последний урок в гимназии, после которого — он знал это — на углу Малой Николаевской улицы в родном южном городе его будет поджидать страшный, страшный человек Каська Каленый (он и теперь не знал, почему его звали Каськой: быть может, от Касцио?). Каленый не преследовал никаких материальных целей — гимназисту Льговскому денег не давали; он издевался над мальчиком Льговским из чистого удовольствия. Мальчик Льговский не сопротивлялся, это было бесполезно. Он крепился, молчал и падал, как мешок. Каська Каленый оставил мальчика Льговского в покое только после того, как гимназист выпросил у дружественной кухарки медный пестик от ступы и очень серьезно достал его из кармана курточки,

в очередной раз завидев Каську на углу; нельзя было сомневаться — он успеет ударить один раз, но этого раза окажется достаточно. «Тю, скаженный!» — сказал Каська и лениво, вразвалку удалился — но по спине его было видно, как хочет он ускорить шаг.

Теперь сотня этих касек — может быть, и добродушных, может быть, и чистых душою — заполнили полуподвал, и Льговскому предстояло перед ними говорить. Он не выбрал еще темы, хотел объяснить по крайней мере, как приняли петроградские художники революцию и зачем они вообще нужны, — но люди пришли в кинематограф, и отвлекать их от зрелища было неправильно... Они гоготали, толкались, дымили, у некоторых были винтовки (краем глаза Льговский заметил матросский патруль, зашедший погреться и повеселиться — явно бесплатно. Погас свет, и тотчас усилился гогот. Фельетонист Кокини подъехал к дирижаблю.

Маленький очкастый тапер заиграл «Прощай, любовь». Кокини подставил руку тоненькой даме, выходящей из кареты; короткий поцелуй на прощание. Решительный проход к дирижаблю (тема «Прощай, любовь» зазвучала маршеобразно). Кокини по лесенке взобрался в гондолу и махнул короткопалой рукой; помощники бросились обрезать канаты. «Прощай, любовь» пошла крещендо, с немислимыми вариациями (молодец тапер, подумал Льговский, жаль, некому оценить, никто не смеется). Дирижабль взлетал криво, приседая на хвост, — потом выровнялся, и Кокини, уменьшаясь, бешено замахал оператору. «Паризиана» разразилась хлопками и одобрительным гиком. Плавно взмывающий дирижабль растворялся в небе под звуки романса, сыгранного уже в его природном темпе. В конце фильма Кокини медленно приземлялся среди совсем другого поля, и к нему от правой границы кадра, придерживая шляпы, бежали зрители; гондола тяжело бухнулась о землю, выбив фонтанчик пыли (сухое, зная, лето). Дирижабль заметно сдулся, но еще бодрился, какое-то время тащась по полю; на-

конец выбрался Кокини, и на первом плане грянул добежавший наконец до места посадки беззвучный оркестр. Особенно старался толстяк с тарелками. Тапер изобразил туш. Кугельман включил свет.

— Господа товарищи! — обратился он к публике, раскланиваясь, как одесский фельетонист на старте. Это обращение, видимо, в «Паризиане» было принято. — Господа товарищи, у нас по предписанию народного комиссара товарища господина Чарнолуского выступают сегодня два лектора. После них сеанс продолжится, как и было объявлено. Я человек законопослушный, у них предписание, так что — прошу!

Представь себе, что это зал Второго коммерческого училища, чуть не вслух сказал себе Львовский. Ты предвараешь Мельникова, только что вернувшегося из Монголии, его никто еще здесь не слышал, вас освищут, растерзают, ведь для чистой и изломанной публики нет законов — они могут быть у матросов, но не у этих снобов, пришедших смотреть на твой позор; вставай, сейчас будет драка, но ты представляешь здесь от имени искусства и не отдашь его на поругание. Вставай, сейчас все они будут твои. (А все-таки приходится представлять себе тех чистеньких мерзавцев, успел подумать он. Те — враги, но свои, а эти не враги, но...)

— Товарищи! — сказал он, встав перед экраном; Борисоглебский стоял рядом и смотрел в пол. — Вы видели сейчас кино — искусство, за которым будущее. О том, каким будет это будущее и зачем нужно в нем искусство, — мы сейчас расскажем. Я хочу представить вам моего учителя. Вы увидите человека, который задолго до нашей революции предсказал и объяснил эту революцию. Григорий Константинович Борисоглебский жил в Ростове, но учение его распространится по всему миру. Это он придумал отменить правописание, закрывавшее вам путь к грамоте. Он первым понял, как устроен мир, и сейчас изложит вам это понимание.

Зал разочарованно загудел, когда Кугельман объявил лекцию, но вид маленького Льговского и длинного старика, похоже, развеселил аудиторию, приведенную в благодушное состояние удачным приземлением Коккини. Вероятно, дирекция для разнообразия завела своих Пата и Паташона.

— Отчего летает дирижабль? — громко и уверенно, с места в карьер начал Борисоглебский, подняв наконец голову и в упор глядя на аудиторию. — Дураки скажут: он легче воздуха. Но он не легче, а теплее воздуха и благодаря нагретому пару летит. Пар от блюда, если кто из вас видел блюдо чаю, тоже поднимается вверх. Но так и все в природе: теплое поднимается вверх, а холодное остается внизу. Роль теплоты в обществе выполняет умственное развитие, умственные силы должны подниматься наверх, а глупые, неразвитые — опускаться на дно. Все другие попытки подняться наверх обречены, такой дирижабль не полетит. Мир един, и нравственные его законы едины с физическими. В крови борются красные и белые тельца. Красные — это теплота...

— Жарь, старик! — крикнули сзади. — Красное сверху!

— В небе борются красные и белые звезды, — продолжал Борисоглебский, не слушая выкриков. — Каждого из нас можно бесконечно делить на клетки, клетки — на другие, еще мельчайшие частицы, и дойти в их дроблении до конца никогда нельзя. Но мир бесконечен и в другую сторону — в сторону увеличения, и никогда нельзя сделать вещь, которая бы оказалась больше всех вещей...

— Сколько ни навали — придет лошадь и больше нагадит! — крикнул молодой солдатик. Его замечание встретили одобрительным хохотом.

— Нет, человек больше лошади гадит, — скептически сказал много повидавший пролетарий. — Человек самый из всех вонький...

— Человек прорастает в космос, — не слушал их Борисоглебский, — и космос внутри человека. Космос специально задуман таким, чтобы мы могли его по-

нять, потому что картина звездного неба совпадает с анатомическим атласом...

«Он прекрасно говорит», — подумал Льговский. В эту секунду в Борисоглебского угодила ручка, оторванная от кресла.

— Ша, дядя, — сказал молодой ленивый голос. — За фильму плочено.

Борисоглебский замолчал и внимательно взгляделся в полутемный зал.

— А вы идиоты, — неожиданно и спокойно сказал он. — Идиоты и хамы, и место ваше на дне истории. Вам на коленях надо слушать, что я говорю. Вам надо в хлев, в стойло, и потому вы загаживаете все, чтобы хлев был там, где вы. Но организм выводит из себя отходы, и общественный организм тоже выведет из себя отходы. Куча этих отходов и есть вы, и потому все ваши мысли бродят вокруг дерьма...

— Э, дядя! — предостерегающе произнес все тот же ленивый голос. — Легше, дядя...

— Ты на кого попер?! — внезапно, подзаходясь на ходу, впал в истерику какой-то солдат, явно из контуженых. — Я кровь лил, а ты мне — отходы? Во мне кости целой нету, а ты мне — дерьмо?

— Тебя кто заслал?! — угрожающе загудел какой-то матрос, и двое с разных концов зала уже спешили к первому ряду, чтобы Борисоглебского взять; зашевелился и патруль, до того только переглядывавшийся и пересмеивавшийся.

Льговский понял, что, если сию секунду не спасти положения, им обоим никогда уже не выйти отсюда. Кугельман злорадно усмехался и, конечно, не пошевелил бы и пальцем, чтобы прекратить расправу. И футурист выпрыгнул из угла, в котором стоял, скрестив руки и слушая Борисоглебского, — выпрыгнул так, что оказался прямо перед гигантской бабой с семечками, и пошел вприсядку, визгливо распевая:

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Ой, ктой-то такой на тебе, Матрена!

Ой, ты ж, моя мать, сроду не... —

и далее весь текст народной баллады, записанной им на первом курсе филологического факультета, в краткой фольклорной экспедиции под руководством совсем еще молодого Борисова; исполнив половину баллады, то есть наименее цензурную ее часть, он перешел на «Здравствуйте, женившись, дурак и дурка», сочинение ТрEDIAKовского, выученное наизусть все на том же первом курсе и исполнявшееся хором на всех студенческих свадьбах, после чего без всякого перехода рассказал известную скоморошину про попа и вдову; ему уже хлопали и подсвистывали. Не переставая притопывать, кружиться и исполнять уже что-то вроде лезгинки, он с сильным горским акцентом рассказывал гимназическую переделку лермонтовской колыбельной, в финале которой русский овладевал горцем, но этим его познания в области народной неподцензурной поэзии исчерпывались. Тогда он выдал танец — вовремя включился сообразительный тапер (спасибо, мальчик, может, ты жизнь нам спас), и Льговский изобразил потрясающее попури из танго, матчиша, шимми (в пару подхватил толстую бабу — зал лег), он танцевал все, что знал, прошелся на руках и отбил чечетку. Несмотря на слабость и отвычку от физических упражнений (в университетские времена каждый день начинал с пробежки и гирь), плясалось легко — страх придавал ему сил. Остановиться до известного момента нельзя было: они должны были изнемочь прежде, чем он. И они изнемогли: смех перешел в стон, в хоровой вой неизъяснимого томления. Льговский же, танцуя уже чуть ли не переделемешке, припоминал Паралипоменон, Давида, пляшущего перед Богом, и Мелхолу, уничижающую его в сердце своем. Не совсем понятно, правда, в честь какой радости пляска: может быть, в честь отмены правописания и возвращения к простейшим, жестоким и главным вещам, о которых так сильно у Мельникова —

«каменари, плоскогари, животари, братари»... все, я сейчас рухну.

Но рухнуть он не успел — его подхватил под руку тапер. Под неистовые рукоплескания Кугельман раскланялся, даром что не имел к их успеху никакого отношения, и кнопкой выключил освещение. Механик закрутил аппарат, в пыльном луче за клубились объемные тени, затрещала кинодрама — пока без музыки. «Я сейчас!» — крикнул тапер, подталкивая Льговского и Борисоглебского к выходу.

На улице морозный ветер ударил Льговского в разгоряченное лицо, голова сразу закружилась.

— Я вас узнал, — восторженно, подростковым дискантом повторял тапер, — вы Льговский, я был на вашей лекции год назад... Это правильно, что вы ушли в эксцентрику. За эксцентрикой будущее. За словами — первичные формы, синкретическое искусство, мистерия, танец... удивительно! Я и сам над этим давно думаю, позвольте мне к вам зайти. У вас есть инструмент? Я покажу вам свой балет для голоса с хором...

— Непременно, непременно, — задыхаясь, кивал Льговский. — Спасибо, очень славно играли, и на сеансе тоже...

— Я живу на Прядильной, восемнадцать, зайдите, — быстро прощался тапер. — Простите, мне играть... Вас я найду, я знаю про Крестовский. Превосходный номер, благодарю!

— Да, да, — невпопад кивал футурист. — Спасибо и вам...

Тапер скрылся за дверью, и почти сразу из-за нее донеслись звуки романса «Дай мне руку». Лекторы в оцепенении стояли на Пятой линии.

— Простите меня, Григорий Константинович, — после долгого молчания произнес Льговский. — Я не рассчитал... но со временем, конечно, они начнут понимать. Не нужно их сразу, насильно накачивать высшими достижениями культуры, они только начинают путь... и вообще революция для художника, а не художник для революции...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Да, да, — тускло ответил Борисоглебский. — Ничего, я сказал, что хотел.

— Ты сдался, — рычал Корабельников на Льговского. — Ты пошел на поводу. Тебе бы еще спеть им солдатские частушки.

— Я не знаю солдатских частушек, Саша.

— Надо было начать читать им стихи.

— Твои, что ли?

— Хотя бы и мои! Я читал перед матросами, они всё понимают...

— У меня нет такого голоса, Саша.

— Не в голосе дело! Есть энергия слова, есть звук, ты сам писал!

— Они не слышат звука.

— Звук все слышат! Мельникова можно корове читать, и она поймет.

— Вот и читай корове. Я не буду больше устраивать лекции в синематографах. Нельзя тащить человека силой через шестьсот лет развития искусства. Пока футуристы пришли к новой простоте, они прошли через всю сложность и через кризис ее. Революция не для того делалась, чтобы тыкать рабочего носом в наши книги.

— Значит, пусть он смотрит «Поруганные грезы»?

— Значит, пусть смотрит, — сказал Льговский и пошел проведать Борисоглебского.

Тот лежал в своей комнате на втором этаже, поверх одеяла, не раздеваясь. Железная печка погасла, а растопить ее у него не было сил. Но он не чувствовал холода. Льговский побоялся ее топить — старик заснет, угорит...

— Вам не нужна помощь, Григорий Константинович? — спросил он.

— Что? Нет, ничего. Идите, идите.

Льговский пошел с горя в студию пластического танца, долго сидел там, глядя на упражнения Акоповой и ее учениц, и горько жалел о том, что не выпил кугельмановского спирта.

— Раз-и, два-и! — командовала Акопова. — Свободнее, свободнее! Ну! — и «свободнее» звучало у нее резко, как хлыст. Какая может быть свобода в танце?

Борисоглебский проснулся ночью от невыносимой тоски, какой не знал еще никогда в жизни. В окне горела одинокая звезда и чернела за Малой Невкой далекая полоса парка на Елагином острове.

Некоторое время он лежал неподвижно, припоминая, откуда в Ростове эта река и далекий парк. Обычно, просыпаясь по ночам, он видел напротив магазин Арзумяна «Портьеры и ткани», два фонаря, крутой спуск... Понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, где он, и не меньше получаса, чтобы ответить на главный вопрос: зачем он тут? Ответа он не знал и беспомощно затряс головой, чтобы сдвинуться с проклятого места, обойти логическую ошибку. Но ошибка не исчезала: он попал не туда.

Разумеется, он был не настолько глуп, чтобы невнимание пьяной матросни принять за знак ложности своей теории. Он просто спросил себя, зачем теория, если сам он сейчас стар, беспомощен и бесконечно несчастен, а жена его мертва и дочери мучаются неизвестно где? Борисоглебский и представить не мог, что они благополучны: весь мир, все вокруг были несчастливы, и сиротливая звезда над далекой, черной, чужой полосой была несчастней всех. Тоска его шла из ниоткуда, из темной, непостижимой глубины, куда он всю жизнь боялся заглядывать. Быть может, он и теорию стал придумывать для того только, чтобы замазать роковую щель, скрепить собственное расплывающееся «я».

Говорили потом, что он сжег «Универсологию». Это неправда: он никогда, даже и в предсмертной слабости, не совершил бы столь мелодраматического поступка. Памятник тщетному усилию иногда важнее памятника высокому, удавшемуся свершению: жизнь, потраченная на оправдание и обоснование смерти как наиболее последовательного и героического акта, многих может отвести от ложного пути. «Универсология»

дошла до наших дней при обстоятельствах, о которых будет сказано в свое время.

Боль и холод разливались по всему его телу, как тяжелая, густая ледяная вода, сама плоть становилась холодом и болью; сиротство всего сущего на Земле было невыносимо, и не было в ту ночь на Петроградской стороне более горького сироты, чем шестидесятилетний Борисоглебский.

Сиротствующий мир вокруг Борисоглебского полнился звездным холодом и болью. Льговский, придя навестить старика поутру, нашел его уже окоченевшим.

12

— А-а, — хрипло протянул Хмелев. — Приспешнички.

Борисоглебского разрешили похоронить на Смоленском кладбище, ближайшем к островам. Обращаться к наркому Льговский отказался — он лично договорился с могильщиками, добыв для них по каким-то своим каналам бутылку спирта; молодежь поговаривала, что он силой отнял ее у какого-то владельца синематографа. Нашлось и место, и удалось даже организовать оркестр — юноша-тапер из «Паризианы» имел широкие знакомства в кругу петроградских молодых музыкантов.

Казарин узнал маленького человечка, шедшего перед гробом и почти скрытого гигантской супрематической композицией, сколоченной из фанерных кругов и квадратов. Во главе процессии шел Мельников — живая легенда нового искусства, странник, редко случавшийся в Петрограде, не вылезавший из таинственных азиатских степей и пустынь. Гроб несли Льговский, Борисов, Корабельников и Соломин. Последний за время жизни на Крестовском приобрел особый начальственный лоск, странную сановитость — словно он-то и выиграл от раскола больше всех. Последним, тяжело опираясь на палку, ковылял Фельдман, закутанный не по

погоде в слишком длинную для него шубу. Он постоянно теперь мерз.

Елагинцы, цепочкой пробиравшиеся к выходу с кладбища, остановились, глядя на крестовцев. Те старались не обращать внимания на идейных противников. Надгробное слово произнес Корабельников: он, наслаждаясь бархатным звуком собственного баса, сжато и властно сказал о заслугах лучших представителей старшего поколения, которые не испугались нового искусства и нового строя. Говорил он так, словно лично решал, кого из представителей старшего поколения следует простить и оставить в живых.

Следом говорил Льговский. Он был бледнее обычного, и вид у него был подавленный. В долгих паузах между своими фразами-абзацами он опускал глаза.

— Говорили, что отмена правописания превращает знакомое слово в незнакомое, — начал он. — Говорили, что над каждым словом придется думать. Мы отвыкли думать над словами. Нас отучили от этого гладкие размеры, символистские штампы и правописательные нормы. Григорий Борисоглебский вернул слову непредсказуемость. Он вернул нам медленное чтение. Он сделал авторский почерк видимым сквозь печатную строку. Устойчивые ошибки автора, прихоть его правописания говорят мне о нем больше, чем любое сочинение. Борисоглебский вернул свободу букве. Его идея осуществилась, и это единственное пока деяние новой власти, которое имеет прямое отношение к свободе. Но и этого деяния нам довольно, чтобы увидеть направление пути.

— Нам тоже, — сквозь зубы сказал Долгушов. Крестовцы не расслышали его замечания.

После читал Мельников, не имевший о Борисоглебском ни малейшего понятия; читал, как всегда, непонятно и длинно, в руках у него дрожали листки разного цвета и даже формы — был один ровный круг, вырезанный из ученической тетради, и слова на нем шли по кругу, приходилось вертеть; где кончалась одна вещь

и начиналась другая, уловить было невозможно. Из всего содержания Казарин уловил только, что мертвецы приветствовали нового товарища, но потом приползла откуда-то русалка, выходил говорящий дуб, произвольно чередовались ямб, хорей и проза; сколько можно было судить, сочинение было выдержано в жанре мистерии, из которого, впрочем, Мельников и не вылезал. Главный герой, воскресающий среди освобожденных вещей и трав, носил фамилию Такович. Через десять минут Мельников запутался, махнул рукой и отошел к Барцеву. Гроб заколотили и опустили, четверо оборванцев с одутловатыми желтыми лицами забросали его землей, смешанной с грязным мартовским снегом, и на вершине холмика Краминов установил вместо памятника красно-черные круги и квадраты, сколоченные в невнятное подобие разрушенного города, над которым опускается солнце. Корабельников сказал, что смерти не будет. Пошли к выходу.

Две процессии двигались параллельно. Иногда Борисов, не сказавший о Борисоглебском ни слова, вскидывал глаза на Хмелева, но тут же отводил взгляд; Барцев пристально смотрел на Ашхарумову; Казарин искоса поглядывал на Корабельникова — он терпеть его не мог, а все-таки чувствовал в самом плоском и громяющем из своих противников некую опасную мощь, потому и пытался разгадать его секрет. Никто не нарушал молчания, но Алексеев, еще во время мельниковского чтения бормотавший что-то о небывалом кошунстве, все-таки не выдержал.

— Что, господа, — окликнул он крестовцев, — дружба с новыми хозяевами еще не дает бессмертия?

Хмелев дернул его за рукав, но Корабельников, стремительно ввязывавшийся в драку и мигом находивший плоский, но меткий ответ, уже прогудел:

— Кто стнил при жизни, всегда завидует покойникам..

— Завидую, нет слов, — немедленно отозвался Алексеев. — Привел Бог видеть, как недавние коллеги и ученики лижут руки убийцам.

Этого упрека бросать не стоило. Второе подряд упоминание о продажности могло взорвать хоть кого, а Корабельникова в первую голову: те, кто не мог свести с ним счеты литературно, пытались мелко, помышиному отомстить разговорами о большевистских подачках, о поэте на службе, о трусливом хулигане, испугавшемся настоящей силы...

— Это кто там прохрюкал насчет убийц? — проревел он. — Друзья охраны?

Этого тоже говорить никак не следовало: среди университетской профессуры доносчиков не водилось. Но отождествление с охранкой давно уже сделалось в полемике таким же штампом, как и разговоры о продажности.

— Как вы смеете! — не выдержал Хмелев. — Из нас половина допрашивалась по делу о студенческой демонстрации пятого года, а вы и плетки жандармской не нюхали!

— Это вы мне? — спокойно спросил Корабельников. — Я год просидел и вас не видел.

— Вы с бандитьем сидели, среди уголовных! Вас до вашей хамской победы к приличным людям на порог не пускали! — стремительно распалялся Хмелев.

— Я сам избегал ходить к приличным людям, чья родня гордится правом выносить царские горшки! — шараясь в ответ Корабельников, и это был беззастенчивый удар ниже пояса: двоюродный брат Хмелева был одним из врачей, регулярно приглашавшихся на консилиум по поводу здоровья цесаревича.

— Вы... вы... — задохнулся Хмелев и начал лавировать между могилами, пробираясь в параллельную аллею. Он оскользался, падал, цеплялся лапами шубы за ограды, спотыкался и хватался за памятники. — Я вас...

— Господа! — хрипло закричал наконец Фельдман. — Господа! Опомнитесь же, вы на кладбище!

Хмелев замер, Корабельников опустил голову. Скорее всего, их отрезвил не смысл сказанного, но сам вид крошечного, горбатого Фельдмана, воздевшего трость

и тут же утратившего точку опоры; он рухнул в грязь, но, и пытаясь подняться, повторял: «Опомнитесь... опомнитесь, господа».

Хмелев вернулся назад и быстро пошел к выходу. За ним брели елагинцы. Крестовцы бросились поднимать Фельдмана — успокаивать карлика и отчищать его шубу. Он смотрел на Корабельникова с такой горькой укоризной, что тот отошел; старика повел под руку Барцев.

— Нельзя же уравниваться, — тихо говорил Фельдман. — Нельзя же терять человеческий облик, для чего же всё, если изживать из себя человеческое...

— Это не мы начали, — сказал Барцев.

— А какая же разница, кто начал? Борьбу добра и зла тоже начали не мы, но выбор делаем мы... Что бы ни делали наши противники, это нас не оправдывает... Неужели цель борьбы — истребить врага? Цель борьбы — превзойти врага высотой духа и тем показать ему путь...

Он говорил скорей сам с собой, нежели с Барцевым. Да и не было у него надежды, что Барцев услышит его. Поднимая и отчищая Фельдмана, крестовцы отстали, и елагинцы смогли беспрепятственно покинуть кладбище, не столкнувшись с ними в воротах: на кладбище был только один вход, он же выход.

Восемнадцатого марта товарищ Воронов попросил Чарнолуского зайти. Чарнолуский оскорбился — кто такой был Воронов, чтобы вызывать... ну, пусть приглашать к себе — комиссара правительства? И однако, сам Воронов не заходил почти ни к кому, разве что изредка к Бронштейну, — а являться по его приглашению рекомендовалось без промедления. Чарнолуский слышал это от многих.

— Присаживайтесь, товарищ Чарнолуский, — ровным голосом сказал Воронов. Гладкое лицо его было непроницаемо. — Есть сведения, что организованная вами академическая коммуна на Елагином острове превращается в очаг контрреволюции.

— Откуда у вас эти сведения? — спросил Чарнолуский предательски севшим голосом.

— Вас никто не обвиняет, — продолжал Воронов, игнорируя вопрос. — Перед переездом нам следует закончить в городе все текущие дела. Оставлять коммуну на снабжении первой категории, отапливать ее и занимать издательским делом признано нецелесообразным.

— Кем признано? — перебил Чарнолуский.

— Поэтому, — так же ровно произнес товарищ Воронов, — вам лично рекомендовано произвести разъяснительную беседу в Елагином дворце и предложить профессуре разойтись добровольно.

— Вы можете, конечно, игнорировать мнение народного комиссара, — артистически попадая в ровный тон Воронова, заговорил Чарнолуский, — но я лучше осведомлен о ситуации, причем не прибегаю для этого к услугам добровольных информаторов. Вам известно, что коммуна раскололась? На Крестовском острове живут молодые революционные художники, наши активные сторонники, мастера агитации. Закрывать одну коммуна — значит скомпрометировать другую, вы не можете этого не понимать!

— Скомпрометировать перед кем? — спокойно спросил Воронов.

— Перед всей петроградской культурой, — уверенно сказал Чарнолуский.

Воронов помолчал, глядя на него без всякого выражения.

— Мы вернемся к этому разговору, — сказал он так же тускло.

Чарнолуский вышел из его кабинета, прошел к себе (жаль будет оставлять бильярдный стол, подумал он мельком), достал чистый лист серой бумаги и, окуная вставочку в лиловые чернила, написал прошение об отставке — второе за пять месяцев своей работы.

После этого он поднялся в приемную Ильича и с важностью вручил бумагу Лидии Александровне.

— Александр Владимирович! — ахнула та.

Чарнолуский кивнул.

— Если не можешь чего-то остановить — надо по крайней мере не участвовать, — сказал он негромко. — Если отдельные стражи революции хотят удушить ее в объятиях, я в этом не участник.

— Я передам, — кивнула Лидия Александровна.

Чарнолуский пошел к себе и в дверях столкнулся с Хламидой, несшим в руках мелко исписанные листки.

— Профессора Гольцева взяли, — сказал он хмуро. — Физика, европейскую величину. Выдумали бред, будто он динамит готовит. По доносу соседа — какой?! Вот, несущее прошение, я лично старика знаю...

Чарнолуский долгим понимающим взглядом посмотрел ему в глаза и вышел. Хламида молча протянул бумагу секретарше, и так же молча она положила ее в папку, где уже лежало прошение Чарнолуского об отставке и еще штук тридцать писем о заступничестве, в том числе и его собственных, никем не прочитанных. Хламида это знал, и секретарша знала, что он знает.

— Благодарю вас, — сказал он сурово и пошел к дверям.

— Ильич спрашивал, как ваше здоровье, — робко сказала ему вслед Лидия Александровна. Непонятно было, чего больше в ее голосе, — сочувствия к Хламиде или уважения к заботливости Ильича.

— Благодарю вас, — повторил Хламида, не оборачиваясь.

13

— Что же, — говорил Свинецкий, сжимая и разжимая кулаки, отступая в глубь кабинета начальника гурзуфской управы и кивая с выражением крайней неловкости. — Что же, прошу вас, прошу. Очень рад.

Со стены еще не был снят портрет Ленина, на другой красовался приколоченный гвоздями красный флаг. На столе царил фарфоровый письменный прибор, уцелевший от прежних времен. У двери, с античной небрежностью опираясь на

самодельные пики, стояли двое — стража нового градоначальника.

— Садитесь, без церемоний. Что же, вы давно оттуда? — спрашивал эсер, не вполне еще выбрав интонацию: величественная снисходительность, горячая радость при встрече с давним, хоть и заблуждающимся приятелем, жадный интерес политика к последним известиям? — Что делается, какие настроения в городе?

— Чужих настроений я не знаю, а мое неважное, — ответил Ять, улыбаясь. — Они, по-моему, не очень себе представляют, что делать с властью, а потому занимаются всякой ерундой. Орфографию вот отменили.

Свинецкий кивнул, словно подтверждались давние его догадки.

— Каково положение столицы? Немцы близко?

— Этого не знает никто. Но судя по тому, что они могли уже несколько раз взять Питер и ни разу не захотели, — им он тоже не нужен.

Все это время неуместная улыбка так и не сходила с лица Ятя: он очень рад был видеть Свинецкого. Во-первых, это была встреча с собственной юностью, с наивными временами, когда он всерьез полагал, что эпидемия террора охватит всю Россию; во-вторых, приятно было видеть, что эсер жив и невредим. Все-таки Ять чувствовал перед ним подобие вины. Да и Свинецкий, кажется, обрадовался знакомцу: не так уж много осталось людей — и не в Ялте, а на свете, — помнящих начало его славных дел.

— Что вы думаете о большевиках?

— Сказать по правде, я мало о них знаю, — ответил Ять. — Ясно, что это не революция, а контрреволюция, но мне так не понравился февраль...

— Чем же именно?

— Да всем... — Ять пожал плечами. — Пovyлезла всякая мразь и объявила себя победительницей. Свобода, свобода... Неразбериха, истерика... толпа... Правительство не может ни черта... Ликуют одни либералы, а их я не любил никогда. Это им кажется, будто была какая-то свобода, а народ ее не уберет. Никакой не было свободы. С самого начала ждали, когда у кого-нибудь достанет сил ударить кулаком по столу. Ну и дождались.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— А мне казалось, вы и сами были либерал. — Свинецкий побарабанил по столу пальцами и поглядел в окно, за которым качалось море. Ять предпочел бы сейчас пройтись с ним по берегу, а не сидеть в этом кабинете, где смешались реалии трех властей.

— Мало ли кем я был. Я щенок был, да и вы тогда недалеко ушли. Либерализм труслив, мелок. Либерал разрешает вам многое, но себе — еще больше. Либерал ненавидит все великое, потому что в нем ему мерещится насилие. Лучше всего, когда власть либеральная, а интеллигенция консервативная. Но у нас всю жизнь наизнанку. Рай — это когда любовница-французенка и жена-немка, а ад — когда наоборот.

— Так, так... — Свинецкий покивал, то ли соглашаясь, то ли получив очередное подтверждение своим догадкам — на этот раз о Яте. — Ну, а что вы сами делали... все это время?

— Работал в газетах, издал несколько книг.

— В партиях состояли?

— Какие партии, о чем вы... Состоял в Обществе любителей российской словесности, но теперь и оно расколото. Одни за старую орфографию, другие против всякой.

— А вы?

— А я свою позицию объяснить затрудняюсь. С одной стороны — я не против реформы правописания, с другой — мне очень не нравятся те, кто ее проводит.

— Но вы считаете, что правописание нужно?

— Да, конечно. Я только до сих пор не знаю, зачем оно нужно. Скажем, какие-то главные правила пусть останутся, их необходимость видят все. Но вот почему надо писать «ни в чем не повинный» непременно раздельно — я понять не могу. Знаю только, что грамотный человек мне приятней неграмотного. Он все-таки признаёт над собой законы.

— Ну, не в орфографии дело, — перевел разговор Свинецкий. — Меня интересуют ваши взгляды вообще... как таковые. В конце концов, я нуждаюсь в соратниках. Мне в правительстве нужен будет министр внешних сношений. Брать же вас просто так, не расспросив про убеждения, — согласитесь, легкомысленно.

— Я мало гожусь в министры, — усмехнулся Ять. — Но рассказать... я не знаю, что именно вас интересует? Политическое мое кредо с двадцати трех лет не изменилось: нет лучшего средства отдалить цель, чем борьба за нее. Большевики двадцать лет боролись за свободу, чтобы в конце концов от этой свободы отказаться. Вы боролись за нравственность — и власть, истребляя вас, стала символом безнравственности. Начиная борьбу, вы автоматически перенимаете черты людей, которые вам ненавистны, и очень скоро перестаете отличаться от них. Первым гибнет то, за что вы боретесь, а без него ничто не имеет смысла.

— Любопытно. И что же, терпеть?

— Я не знаю. Если бы знал, я был бы, вероятно, в Петрограде. Но мне там делать больше нечего: скучно, газеты закрываются, работы нет.

— Вы здесь один?

— Здесь с прошлого лета гостит моя невеста.

— Невеста? — переспросил Свинецкий. — Вы не женаты?

— С первой женой разошелся.

— И все-таки... — Эсер никак не мог слезть с раз избранной темы. — Я никак не уясню себе, есть ли у вас политические воззрения?

— Да конечно, есть! — воскликнул Ять. — Я люблю никому не нужные вещи, интересуюсь одинокими чудаками, мне дороже всего то, что не имеет отношения к выживанию. Мне нравится зазор между человеком и... как бы это сказать? В человеке есть избыток... что-то сверх его нужд, а может, даже и вопреки его нуждам. Вот этот излишек я и люблю, а больше меня ничего не интересует. Мне симпатично то, что делается вопреки жизни, а сама жизнь представляется мне довольно скучным местом. Если ее вообще можно назвать местом. Как по-вашему, это политический взгляд?

— А религиозные убеждения у вас есть? — не отвечая, продолжал допрашивать Свинецкий.

— Есть, конечно. В нас слишком много необязательного, чтобы мы могли быть результатами эволюции. По-моему, это так понятно... Я и вами интересовался в основном потому, что

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

меня восхищает способность человека легко отказываться от жизни. Но ведь это не для всех. Если вы хотите управлять городом, вам надо руководствоваться Ветхим Заветом, иначе город развалится сразу же. А я стараюсь руководствоваться Новым и потому не гоюсь вам в советники.

— Однако, как я понимаю, — Свинецкий в упор рассматривал его, — бороться с моим режимом вы тоже не собираетесь?

— Я еще не знаю, что за режим. Вас, эсеров, всегда так занимала борьба, что не было времени подумать о власти. Как вы собираетесь ею распорядиться?

— Мои взгляды изменились мало, — сказал Свинецкий. — Я по-прежнему считаю, что человек стоит столько, сколько он готов пожертвовать.

— Это очень симпатично, но жертва — дело добровольное. Нельзя ее требовать от обывателя.

— Обывателя больше не будет, — твердо сказал эсер. В мыслях он уже распространил свою власть от пламенной Тавриды до холодных финских скал. — Нельзя требовать жертвы, но можно создать условия, в которых жертва станет естественной для каждого. Люди трусливы и ленивы, и не у каждого достанет сил сделать шаг к высшему состоянию. Дело власти — дать им эту возможность. Как я могу заключить из ваших слов, все двенадцать лет, что мы не виделись, ваша душа проспала таким же непробудным сном, что и эти несчастные рыбаки. — Свинецкий вскинул голову, носом указав в сторону берега. — Мой долг разбудить и их, и вас. Вы арестованы.

— Очень приятно, — сказал Ять. — Нет, в самом деле. Царизм меня хотел арестовать за антивоенную газету, но воздержался. Теперь пришли вы и начинаете с того, что арестовываете меня. Хороша свобода.

— Оставьте, — махнул рукой Свинецкий. — Вам ли говорить о свободе? Жертвовали ли вы собой? Прощались ли с товарищем, идущим на смерть? Может быть, вы караулили на ледяной улице, ожидая, когда проедет карета, везущая вашу цель, вашу смерть? Если вы ничего не знаете о смерти — что знаете вы о свободе?

— То есть для Гурзуфа, если я верно вас понял, настал период смертных казней, — кивнул Ять. — поголовный переход в царство небесное с последующей рассортировкой. Ладно, все это очень интересно, но мне пора.

— Сидеть! — рывкнул Свинецкий, и двое с пиками лениво подошли к Ятю. Они встали по сторонам его кресла, и тот, что справа, с нехорошей улыбочкой положил тяжелую руку ему на плечо.

«Шутки кончились, — подумал Ять. — А я-то перед ним так распротрался. Когда уже пройдет этот подростковый идеализм, заставляющий предполагать в дураках высшие человеческие начала!»

— Вы достойный ученик большевиков, — пустил он в ход последний козырь. — Они тоже первым делом стали бороться с газетчиками...

— Я и не собираюсь бороться с газетчиками, — гордо ответил Свинецкий. — Я дам вам все необходимое — перо, бумагу. Вы сможете писать и печататься, как могли в свое время мы. Больше того — я приду к вам в узилище, как вы когда-то приходили ко мне, и там мы продолжим нашу беседу. В истории есть благородная симметрия, вы не находите?

— Я нахожу, что вы слишком много читали Достоевского, — сказал Ять.

«Попробовать все, — повторял он, лежа в подвале гурзуфского полицейского участка на жестком тюфяке. — Что ж, в этом есть смысл. Что ни придумаю — сбывается дословно; надо бы перестать придумывать».

Замок с дверей гурзуфского участка был торжественно сбит в день, когда установилась большевистская власть. Это было своего рода разрушение Бастилии в местном масштабе. Нового замка никто навесить не удосужился, тем более что за скобяным товаром надо было ездить в Ялту. Дверь поэтому не закрывалась, и Ятя посменно караулили люди из отряда Свинецкого.

Разумеется, была особая ирония в том, чтобы за полторы тысячи верст добраться к Тане, встретиться с ней после двухлетней разлуки, чтобы после двух ночей, проведенных вместе, снова оказаться в одиночестве, и где? — в трех шагах от нее!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Именно эта близость была всего невыносимей. В доме напротив она спала, ходила по комнате, писала ему (записку передал стражник)... Хорошо еще, что Свинецкий, до конца решивший играть в просвещенного властителя, тут же известил ее об аресте жениха, да не через курьера, а лично. Впрочем, возможно, у него просто не было курьера.

«Он полный урод, — писала Таня, — и если это прочтет, то пусть знает. Видишь, вот мы и начали с тобой пробовать все. Ты теперь узник, а я невеста борца. Будь спокоен, не пройдет и двух дней, как окажешься на свободе. Не думай, пожалуйста, что я выкуплю тебя ценою своей добродетели. Ты не стоишь моей добродетели».

Отсюда, из подвала двухэтажного здания, были слышны звуки местной жизни: ранним утром к морю спускались рыбаки, чуть позже шли на базар торговки, и с девяти утра (часы Ятю оставили) доносились крики веселого южного торга; к десяти открывал кофейню Пастилаки. Как всякий приморский город, Гурзуф жил лениво и беспорядочно: кто зависит от переменчивой стихии моря, тому смешна деловитость. Прилежно работали одни татары: ковыряли глинистую землю виноградников, доили коз, латали крыши. Татары жили в верхней части города обособленно. Рыбаки их втайне презирали за неистребимую сухопутность, скучную домовитость и еще за то, что жены их и дочери были строгих правил.

В подвале было оконце, выходящее на улицу, — располагалось оно слишком высоко, чтобы Ять мог до него дотянуться. Сквозь него проникал слабый свет, позволявший, однако, догадываться, что на улице прелестно. Как и обещал Свинецкий, Ятю принесли керосиновую лампу (вероятно, в надежде на самосожжение), бумагу, чернильницу и стальное перо.

«Свинецкий — свинья», — написал Ять и нарисовал свинью с бородой.

О политической жизни Гурзуфа на протяжении двух дней правления Свинецкого он не знал ничего, а между тем такой бурной политической жизни, как в эти два дня, у Гурзуфа не было ни до, ни после. Первым же декретом Свинецкий упразднил шестидневную рабочую неделю и сократил ее до трехдневной, поскольку физический труд казался ему проклятием

человечества. Он ввел несколько новых праздников — около пятидесяти дней рождения павших борцов; сооружение памятников было провозглашено важнейшей задачей дня. Какого бы культа предков ни придерживались альмеки, в сравнении с культом павших, который установил Свинецкий, их религия была апофеозом жизнеутверждения. Пятьдесят дней в году Гурзуфу предстояло одеваться в траур. Культ героической смерти исключал всякую заботу о нуждах низкой жизни. Свинецкий ввел беспрецедентно жесткую регламентацию повседневных занятий и собирался менять эту регламентацию ежедневно, чтобы не давать жителям поселка зажиревать: рутина опаснее всего. Год он собирался властвовать лично, а потом, когда свобода проникла бы в плоть и кровь подданных, намеревался инициировать заговор против себя и погибнуть в результате безукоризненно спланированного акта. Власть развращает, а потому все надо успеть за год: и раскрепостить народ, и вырастить смену. Ять казался ему достаточно храбрым человеком, чтобы стать этой сменой, но за год его предстояло провести через многие испытания — подстроить побег, поймать, подвергнуть пытке, научить подбирать соратников и готовить покушения. Главное — не останавливаться, ибо Свинецкий давно уже знал, что революция не имеет никакой конечной цели, кроме себя самой.

Рынок он не закрыл, но ввел карточную систему. Татарам, торговавшим молоком, козьим сыром и сушеным виноградом, отныне вменялось в обязанность раздавать свой товар бесплатно — прежде всего семьям, где были дети. Татары не поняли. Свинецкий объяснил, но, кажется, у них остались сомнения. Рыбачить он разрешил два дня в неделю, в прочее время обязав рыбаков отработывать по шесть часов на строительстве памятников павшим борцам. Три часа своего времени ежедневно отвел на преподавание в гурзуфской школе (в поселке насчитывалось тридцать детей разного возраста — от двух до шестнадцати лет; всех он намеревался обучать вместе по методике Штайнера, о которой услышал в Швейцарии). Портрет Ленина сжег. Семью комиссара Трубникова, на которую ему тут же указали услужливые доноскики из числа гурзуфских обывателей, осыпал милостями

и просил передать, что Трубников может вернуться. Трех вернейших из своей гвардии Свинецкий отправил в Ялту — агитировать обывателей для последующего захвата Ялты; ночью, возможно, он под парусом лично выедет туда и выяснит ситуацию. Большевики там слабы, серьезного сопротивления не будет.

14

Ятя разбудил в одиннадцатом часу вечера вдребезги пьяный стражник; эту рожу Ять видел впервые — видимо, сменился караул. В камере горела керосиновая лампа, по стенам плясала чудовищная тень.

— Слышь, малый, — кряхтел и возился над ним усатый толстяк. — Вставай, слышь. Хватит дрыхнуть-то, работать пора. Баба твоя тебя ждет, слышал, нет?

— Какая баба? — не понял Ять.

— А их што, много у тебя? — захохотал страж. — Знала бы, не выкупала бы... Только смотри, время у тебя до утра. Утром марш назад, как положено. Ну, я покараулю — домик-то напротив, не сбежишь... Мне без разницы, где караулить...

— Как — выкупила? — все еще не соображал Ять.

— Вот так! — Страж показал ему немалых размеров бутыл, оплетенную соломкой. — Самый первейший самогон, татары гонят. Где взяла, это уж ты у нее спроси. Ничего девка, и сама пить здорова. Тяжело тебе с ней, худосочному, — босяк зычно расхохотался.

— А что, если ко мне ночью этот нагрянет... главный-то ваш? — на всякий случай поинтересовался Ять. — Он, я знаю, любитель ночные разговоры разговаривать...

— Не нагрянет, — успокоил страж. — Он в Ялту уехал, лодку взял... Хочет там растрясти кой-кого. Вставай давай, ждут тебя. На, хлебни для бодрости.

Пошатываясь, Ять вышел из подвала в синюю, влажную, тяжелую гурзуфскую ночь. Над горбатой улочкой стояла огромная желтая луна, вдалеке золотилось море. Ять плотней

закутался в зуетское пальто и несколько раз глубоко, с наслаждением вдохнул. По всей чаше Гурзуфа, по темным лесистым склонам, по рыбацкому поселку и татарским дворам перелаивались собаки: начинала всегда одна, самая маленькая и злая, высоким, пронзительным тявканьем словно устыжая остальных: проснитесь, проснитесь, какой сон в такую тревожную ночь! «Что?! Что?!» — тут же хрипло, отрывисто подхватывала вторая откуда-то снизу, ничего еще не понимая, но уже угрожая невидимому противнику; в ответ вступал целый хор сверху — не дадим! не пустим! — после чего слева лениво, снисходительно гавкал басовитый пес — сторож Голицынских винных складов: да ладно! да кто посмеет! Наступала короткая тишина, в которой отчетливо было слышно змеиное шуршание гальки внизу; оно-то и бесило ту самую маленькую собаку, с которой все начиналось, — потому что этот звук нельзя было отпугнуть и избыть: оставалось только заглушить его. И бессонная маленькая собака снова и снова поднимала переполох: не спите! не спите! крадется! — и снова вступала свора, и снова снисходительный бас с винных складов водворял короткую тишину. Вся эта история, как всякая история, двигалась слева направо и не имела ни конца, ни смысла.

Ять выслушал две серии этих шакальих воплей (интересно, как лает настоящий шакал?) и вошел в незапертую дверь зуетского дома. Он старался оттянуть миг встречи — не только потому, что вообще имел привычку отдалять блаженство, но и потому, что до сих пор не пришел в себя. А перед Таней, как бы он ее ни любил, надо было появиться во всеоружии — смятения она не прощала.

И точно: на ощупь поднявшись по темной лестнице, он застал картину почти идиллическую. Таня, спокойная и умиротворенная, штопала одну из его рубашек, сидя за столом, на котором вокруг керосиновой лампы были расставлены фантастические яства. Была тут и еще одна оплетенная бутылка, и сыр, и маслины домашней засолки, и холодное жареное мясо, и несколько пресных лепешек, и даже тарелка жидкого желтого меду, который, Ять знал, на гурзуфском базаре можно было только выменять — ни-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

каких денег за него не брали, ибо мед в восемнадцатом году был валютой более надежной. Ять стоял в дверях их комнаты и не сводил глаз с убогого пиршественного стола, с Таниного полуосвященного, сосредоточенного лица со сдвинутыми густыми бровями, с лампы, вокруг которой плясал, стучаясь иногда о стекло, одинокий длинноногий комар карамора. Таня молчала, давая Ятю проникнуться всем очарованием этого хрупкого уюта и ее собственного облика — на этот раз домашнего и необычайно естественного; он редко видел ее такой и никогда не мог представить женой — в ней было слишком много огня, и движения, и неумения долго оставаться на одном месте, — а она могла быть и решительной, спокойной хозяйкой, в отсутствие мужа починающей его пожитки и раздобывающей жалкие деликатесы к его возвращению. Он не знал, сколько обличий осталось у нее в запасе и какие чудеса ему еще покажет эта девочка, естественная во всякой среде, своя на любом базаре, мечта каждого мужчины, доставшаяся отчего-то Ятю.

— Спасибо, Таня, — тихо сказал Ять.

— Ах, этот охранник такой славный, — ответила она, не отрываясь от шитья. — Бродяжничал по всему югу, рассказывал удивительные вещи об Астрахани. Скажи, там очень холодно — в подвале?

— Не особенно. Я даже выспался.

— Бедный, я не даю тебе спать. Садись же скорей, ешь и рассказывай. Я думаю, они тебя и не кормили там?

— Почему, Свинецкий распорядился. С утра принесли печеной картошки и даже сыру кусок.

— Говорят, он тебя навестил? О чем говорили?

— Ерунду какую-то нес, я заснул. Мне гораздо важнее знать, о чем вы с ним говорили. Он тебя хвалил, говорил — образцовая невеста.

— Да, знаешь, я сыграла ему такую монашку! Я уверена, что он завтра выпустит тебя. Сколько я успела понять, у него принцип — ни один закон не должен действовать дольше суток, иначе население привыкает. Очень возможно, что завтра ты уже будешь премьером.

— Или он повесит меня на базарной площади, чтобы народ не успел закоснеть.

— Ты отлично знаешь, что он этого не сделает. А если и попробует — я ему не позволю: у Зуева есть ружье, только никому ни слова.

— Ты стрелять-то умеешь?

Она перекусила нитку.

— Дай Бог тебе так стрелять.

— Где выучилась?

— Этому, Ять, не учат, это, Ять, врожденный талант. Ешь, пожалуйста. Зря, что ли, я оболыцала татар?

Ять отломил кусок лепешки, обмакнул в мед и жадно проглотил. Голод проснулся мгновенно. За лепешкой с медом последовал кусок мяса, горсть маслин, два куска сухого соленого сыра («Ты слышала, что греки делали паштет из такого сыра, меда и чеснока?» — «Ах, радость моя, чеснока-то я и не купила!»), все это он запил стаканом ледяной воды, налил полстакана самогона («Тоже татары?» — «Нет, это уж из запасов Пастилаки, но не думай, пожалуйста, он совершенно бескорыстен, взял только гитару»), залпом выпил и мгновенно осоловел.

— Танька, Господи... как же ты теперь без гитары?

— Уверяю тебя, гитара вернется.

— Но почему ты ничего не ешь?

— Только самоубийцы да узники едят по ночам. Ты же не хочешь, чтобы к тридцати я стала похожа на матрешку? Не волнуйся, мы утром чудесно позавтракаем вместе.

— Странно, — сказал Ять. — Странно все.

Он встал и подошел к окну.

— Странно, но ведь хорошо? — спросила она с новой, тревожно-заботливой интонацией.

— Конечно, хорошо, — уверенно ответил он. — Лучше, чем может быть. Это и странно. Понимаешь, совсем вне времени...

— Да, да. Серьезно. Как на маяке. Серое море, и маяк... и на нем мы.

— У Тютчева я больше всего люблю одну строку: «Как океан объемлет шар земной...» Мне, собственно, дальше и не надо ничего знать, наверняка какое-то умозрение, — совсем

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

не помню. Но вот одна строчка — причем, заметь, обязательно неправильная — у него всегда волшебна. Ведь так нельзя сказать, что океан объемлет шар земной. Он объемлет куски суши, но благодаря неправильности получается прямо картина звездного океана, который окружает землю со всех сторон. И океан делается какой-то предвечный, — знаешь, я о таком и мечтал всегда: в нем нет людей, земля еще необитаема, — так, водоросли и какие-то страшные первообразы, морские гады...

— Но люди должны быть. Так что это уже не предвечный океан, а то, что будет после всего. Нас двое осталось, и мы на маяке: иногда я выхожу приманивать этих гадов морских, и ты с ужасом смотришь, как они повинуются мне...

— Выносят тебе жемчуг.

— Да, да, конечно! И ты дико меня к ним ревнуешь.

— Нет, после всего — это слишком грустно. Мне именно нравится, что этот океан — водный, звездный — еще и обещание всего. В нем и так есть уже все...

— В феврале я чувствовала себя тут, как в конце времен, — сказала она, откладывая шитье. — Посмотри, почти незаметно: художественная работа! Просто удивительно, до чего я все умею. С вас, барин, полтинник. В феврале тут хуже всего: кажется, любой питерский холод не так тяжело перенести, как здешний ветер. Чувство, будто никогда уже не остановится — так и будет дуть, дуть, выть, выть...

— Почему ты не уехала в Питер, Таня? — Он впервые спрашивал ее об этом и боялся услышать невыносимое, мучительное, с чем нельзя будет жить.

Таня вздохнула.

— Сначала думала пересидеть до ноября, — скучным голосом сказала она. — Тепло и почти сытно. Потом пришли новости про эти дела, которые все вдобавок называли по-разному: я и теперь не очень понимаю, что там произошло.

— Утешься, никто не понимает.

— Вот, а там декабрь — пошли перебои с поездами, ужасные слухи о голоде, о том, что царь убит... И потом, я знала, что будет какой-то толчок и вытолкнет меня отсюда. Может быть, ты приедешь.

— Не говори только, что ты этого ждала.
 — Конечно, ждала. Чего же еще мне было ждать.
 — Таня, я ведь все равно спрошу, с кем ты была тут.
 — Конечно, спросишь. Ты ужасно одинаковый. Тебе всегда будет недостаточно того, что сейчас я с тобой. И всего этого тебе будет мало, — она обвела взглядом комнату, — и этой ночи мало..

— Ах, да Бог с ним со всем, — сказал он, чтобы успокоить ее. — Но ты поедешь со мной обратно?

— Конечно, поеду. — Она словно удивлялась, как об этом можно было спрашивать вообще, но эта-то пылкость и показала ему наигранной.

— Не поедешь, я знаю, — подначил он.

— Ну не здесь же оставаться. — Таня пожалала плечами. — Конечно, уедем. Я уехала бы к тебе и раньше, если бы только была уверена, что ты не оттолкнешь меня.

— Честно тебе сказать, я и сам бы не уехал, — произнес Ять, закуривая и всматриваясь в темноту за окном. Собаки снова подняли перебрех по всему Гурзуфу. — Что там делать? Здесь действительно дырка в другой мир, ни пространства, ни времени, и все нищи, и у всех все есть — еда берется ниоткуда, уж подлинно Господь посылает... Бегают какие-то милые чудачки вроде Зуева или Свинецкого... Возвращаться не хочется, право. Там такая скука теперь и настолько невозможно разговаривать с людьми — все упирается в керосин, в карточки и в несчастный вопрос, за кого я. А за кого быть, когда там петля, тут удавка... Остались, пожалуй, два человека, ради которых стоило бы вернуться, — старый да малый, и обоих ты, кажется, не знаешь.

— Может быть, и знаю. А кто?

— Один — Клингенмайер, собиратель древностей, а в сущности, старьевщик. С ним я любил разговаривать, потому что он кое-что понимал... А про второго даже я почти ничего не знаю, знаю только, что я перед ним ужасно виноват.

И он рассказал ей про мальчика.

— Ять! Мы найдем его, непременно найдем и возьмем к себе!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— У него есть родители.

— Если есть — отведем к родителям. Но скажи на милость, чем же ты виноват? Привел к себе, накормил...

— Мало накормить, надо было уследить. Впрочем, вряд ли тебе все это интересно.

— Ять! — Она вскочила, подошла и спрятала лицо у него на груди. — Отчего ты злишься? Что я не так сделала?

— Все так, я просто понимаю иногда, что нам опять придется куда-то деваться друг от друга. Это ветер.

— Господи! — Она подняла на него сердитые круглые глаза. — Нет такой идиллии, среди которой тебе вдруг не стало бы тошно.

— Это точно, — кивнул он. — За это-то меня все и упрямляют. Кто ни придет, тот и гонит из азбуки. Вся надежда на Свинецкого: его бы воля — он ввел бы двадцать ятей и за ошибки арестовывал, чтобы вырастить когорту настоящих борцов. Одна беда — когда эти борцы победят, они вообще отменяют письменность.

— Да выпустит он тебя, что ты все о нем думаешь!

— Нет, знаешь, его я совсем не боюсь. Как ни странно. — Ять сел на диван, Таня легла и положила голову ему на колени. — На опасность у меня чутье с рождения, а он не опасен. Могу на него злиться, могу смеяться — но чувствую, что он не сила. Такая же лишняя буква, как и я.

— А кого боишься?

— Здесь — никого. — Он гладил ее теплые темные волосы, зарывался в них руками и готов был сидеть так бесконечно. — А в Питере есть кого бояться, и именно поэтому так смешны мне все эти споры — в сущности, между своими. Ведь и среди большевиков полно своих, с которыми вполне можно разговаривать; и среди интеллигенции довольно хамья... Один такой барин жил и на Елагином до раскола — действительно барин, белый, холеный, но удивительно ловкий на всякую работу и страшно приверженный сильной власти.

— Я тоже ловка на всякую работу.

— Ты другая. А впрочем, и в тебе кое-что пугает меня. Ты была бы своей при всех, со всеми.

— Да, но при этом ничьей. Не забывай, пожалуйста.

— Это-то меня и утешает. Так вот, они ссорятся, выясняют отношения, марают друг друга, как только могут, — а те, кого действительно надо бояться, выжидают только момента, когда им можно будет вылезти наружу. Этим я действительно боюсь — потому что для нас еще есть запреты, а для них нет.

— Да разве в запретах все дело? Ты их сам ненавидишь.

— Не в запретах, Боже мой, а... как бы сказать? В бессмысленных условностях, по которым только и узнаешь своего. Без этих условностей, этих своих — я сам уже иногда не знаю, есть ли я на свете или меня вправду упразднили вместе с буквой... Дело даже не в пресловутой вежливости или обращениях на «вы»: простонародье как раз очень вежливо, соблюдает этикет, салфет вашей милости... Я знаю, как извозчики в своей среде презирают того, кто грязнее прочих, или того, кто не выучился господской речи... Как же-с, очень понимают! Нет, мы скорее как те зувеские альмеки, которые и сами не скажут, зачем все это проделывают. Просто их жизнь оплетена паутиной сложнейших взаимодействий с миром. Не знаю даже, как сказать...

— Ах, что ты объясняешь так долго! Я все это знаю тысячу лет. Почему в детстве иногда кажется, что надо сейчас же открыть окно, или прикоснуться к столу, или переставить стул?

— Да, вроде этого. Некоторые всю религию выводят из таких предчувствий. И знаешь, я помню день, когда тебя встретил: ведь я мог не пойти туда, не хотел — но был какой-то уголек, тлел, тлел и не давал сидеть дома...

— Да. И еще, знаешь, меня очень утешила история, когда некто собирался ехать к другу, но вдруг почему-то, уже в трамвае, почувствовал сильнейшее желание вернуться домой и поменять местами две книги на полке. Зачем, с какой стати? Но он вернулся, пешком пошел домой, переставил эти книги — и тут узнал, что в доме друга внезапно обрушился потолок, как раз в столовой, где они наверняка были бы в эту минуту!

— Ну, это совпадение: может, ему каждый день хотелось вернуться и переставить книги, а один раз это спасло...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Скорее всего. Но я точно знаю, что слышу какие-то струны. Они словно проходят через меня.

— И грамотность, кстати, той же природы. Я сам чувствую, что, ставя «а» вместо «о», нарушаю что-то в самой ткани мира...

— Ты засыпаешь?

— Нет, просто успокоился. Я всегда успокаиваюсь, когда ты у меня в руках.

— Господи, как мало тебе нужно. Я сошью себе поводок. Надеюсь, в уборную ты меня отпустишь?

— Да, но ненадолго. И спать, скорее спать.

Как ни ужасно в этом признаться, но сны, которые снились ему во всякую ночь с Таней, были не похожи на обычные, заставлявшие Ятя смеяться. Он бывал удивительно счастлив во сне, но только не с ней. С ней все было слишком прекрасно наяву — и потому ночами его не покидало ощущение свершившегося предательства, рокового упущения. Может быть, дело было именно в том, что он не привык к счастью и все время чувствовал себя смутно виноватым за него, — но почти каждую ночь, когда они были вместе, короткий обморочный сон нес ему тоску и тревогу, и Ять просыпался, не чувствуя ни облегчения, ни отдыха.

Так и теперь, едва она затихла рядом, спиной к нему, поджав колени почти к подбородку, свернувшись, как зародыш, — он оборвался в такой же тревожный сон.

Во сне он жил здесь, в Крыму, в Гурзуфе, со своим мальчиком, неуловимо похожим на Петечку: это был их собственный сын, сын от Тани, но Таня, как почти всегда в его снах, отсутствовала. Она никогда не снилась ему, и в этом было особенное, деликатное милосердие, за которое он в годы разрыва был благодарен и ей, и силам, ее пославшим. Тани не было, но мальчик был ее, с теми же мягкими черными волосами и круглыми глазами, — мальчик ласковый, нежный, любящий его бесконечно. Ему было лет восемь. Они шли в горный хвойный лес, вроде того, через который он проходил на перевале, — только не в пример более густой и рыжий, осенний. То ли по грибы (он помнил, что в Крыму грибной сезон начи-

нается осенью), то ли попросту гулять, дышать хвоей, — и, как всегда (не только во сне), из самого его страха родилось несчастье. Он знал, что заблудится, что до сих пор плохо знаком с этими местами, — и точно, еще минуту назад за деревьями виднелся поселок, а сейчас вокруг во все стороны был рыжий хвойный лес, и в самой рыжине его было что-то болезненное: не могла теплая, ранняя еще осень так густо выстлать землю сосновыми иглами, так побить холодом кедры. Это был больной лес и больное пространство, из которого надо было любой ценой вернуться в прежнюю, уютную жизнь, — но он и сам не помнил, где и как пересек границу. Задыхаясь, он бормотал какую-то ерунду, чтобы мальчик не почувствовал его страха. Это был пугливый, домашний мальчик, ему мгновенно передавались все чувства Ятя, но он еще не плакал, крепился. Во все стороны было одно и то же — гора, хвоя; спуститься к морю, подумал Ять, там-то уж вдоль берега вернемся, — но и вниз пути не было, ибо склон вдруг обрывался. От обрыва Ять торопливо пошел вверх, таща за собой мальчика, — но вдруг испугался его молчания: он не жаловался, не спрашивал, когда же они наконец выйдут, вообще был подозрительно тих; Ять присел перед ним на корточки, заглянул ему в лицо — и понял, что случилось самое худшее, то, чего он боялся с самого начала. Это все еще был его сын, но уже начавший неумовимо меняться: глаза его прямо глядели в глаза Ятя, но в лице, во всем облике проступало что-то звериное, зверье, и всего ужасней было то, что с самого его рождения Ять об этом подспудно догадывался. В самой его тихой ласковости, кротости, понятливости было обещание грядущих перемен и бед, ловушка, обман доверия; теперь, выждав час, когда Ятю неоткуда ждать помощи, он на глазах развоплощался. Зверь — это было бы еще не так страшно; он оставался человеком, но из него уже торчал нелюдь, одновременно жалобный и безжалостный. Черты его лица словно обтекали, плавились, приобретали жалкое, просительное выражение, но все это была ложь — он готовился к прыжку, собирался укусить, вцепиться в глотку, и все это с тоской и страхом в круглых черных глазах; кожа его становилась желтой, шафрановой. Он скривил рот, чтобы запла-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

коть (может быть, так плакала подлинная, еще живая его сущность, неотвратно побеждаемая зверем), — но вместо тихого, скулящего плача Ять услышал гортанный пронзительный крик — визг затравленной, долго скрываемой радости; в следующую секунду маленькое визжащее существо прыгнуло прямо на него, и он очнулся, вскочив на кровати и задыхаясь.

С улицы доносился тот же гортанный крик. Таня стояла у окна, накинув его пальто. Было уже довольно светло. Ять натянул кальсоны и подошел к окну.

— Что такое? — спросил он, еле ворочая языком.

— Кажется, татары пришли, — весело улыбаясь, ответила она.

Вниз по улочке удалялся верхом на коне кудрявый толстяк, во все горло распевавший отлично поставленным тенором хищную татарскую песню. Он с удивительным искусством, словно вырос в степях, клекотал, заливался, выделявал горлом замысловатые коленца; песня его полнилась звериным, степным восторгом бытия. Ять узнал его черные кудри и распахнул окно.

— Маринелли! — крикнул он во весь голос.

Толстяк подпрыгнул на лошади и остановился, потом развернул свою кобылу и устремился назад.

— Друг мой! — кричал он на всех европейских языках. — Единственный друг мой! Я знал, что увижу вас! Как вы здесь очутились? Я расспрашивал, я расспрашивал всех!

— Я арестован, — по-английски объяснил ему Ять.

— Недурная охранница! — заметил Маринелли, оглядывая Таню.

— Отпустили к невесте только на ночь. Сейчас я должен вернуться, потому что поклялся.

— Вы никуда не должны возвращаться, вы совершенно свободны! — кричал Маринелли. — Власть взята татарами, the tartars, tartarians, barbarians from the hell! Ваш диктатор бежал. Город принадлежит татарскому правительству, я песнями поднимаю дух войска. Спускайтесь ко мне, захватите прелестную спутницу! Сейчас на базаре будет пир.

— Тут внизу был мой охранник, guard, — вспомнил Ять. — Он жив, надеюсь?

— Он заботится о своем guard! — захохотал Маринелли. — Все оборванцы и авантюристы бежали, город принадлежит нам. Спускайтесь же быстрее, я расскажу вам мою удивительную историю!

— Я говорила тебе! — глядя на Ятя восторженными круглыми глазами, хохотала Таня. — Я говорила, что ты еще сегодня будешь свободен! Мы спускаемся, спускаемся! — Она схватила из пыльной бутылки сухую розу и кинула ее Маринелли. Толстяк ловко поймал ее и комически раскланялся. Лошадь под ним едва удержалась на ногах.

По бульжному спуску в Гурзуф нестройно входили скалящиеся, переговаривающиеся по-своему, деловитые конные и пешие татары. Ять никогда не видел столько татар.

15

Неясности начинались с его фамилии: то ли Извольский, то ли Изборский. Представлялся неразборчиво, спросить было неудобно. Тайной было также, кто его привел, кто был к нему ближе остальных, кто пустил: мигом стал своим, перезнакомился со всеми и лез ко всем.

Он был среднего роста, с длинным лицом (отчего туловище казалось коротким), с бегающими глазками; носил пенсне. Удивительно хорошо был осведомлен о научной деятельности каждого елагинца. Любому умел сказать единственно нужное слово, обольстить, попасть в тон. Поначалу не знали, как к нему относиться: ждали, переговаривались, косились на Хмелева. Хмелев явно одобрил. И Извольский стал своим.

— Публицист, — представлялся он, пробормотавши фамилию. — Знаком с вашими трудами, возмущен позорной ссылкой. И ведь они дальше пойдут! Вы слышали про резервации для детей? Ну как же, весь город говорит! Силой отторгать детей от родителей и свозить в какие-то лагеря. Тоже коммуны. Там дети из порядочных семей вместе с беспризорниками. Весь день маршировка, зубрежка из Маркса, стрелковые соревнования. Мальчики и девочки спят в одной спальне. Что вы, как можно этого не знать!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Но как родители отдадут?! — возмутилась жена Долгушова, пришедшая навестить мужа.

— А как не отдать? Вооруженное сопротивление? Сразу расстрел. Они всех рассуют по резервациям, разлучат семьи, и вы не слушайте, что они сейчас обещают не трогать интеллигенцию. С интеллигенции-то всегда и начинается. Мозг — самое хрупкое, без кислорода гибнет в три минуты. Вы не слышали? Ну как же, опыты Павлова... Они всерьез рассматривают обобществление жен, делать-то больше нечего — в экономике ни бельмеса, в политике того меньше... Весь мир глядит, рот открыв. Жен — отдельно, мужей — отдельно. Понятие дома упраздняется как таковое. Все на физические работы. Детский разврат поощряется, а взрослым будет предписано абсолютное воздержание. Первый лагерь уже строят, туда, для виду, посадят своих несогласных. Потом примутся за остальных.

Поначалу всю эту репетиловщину не воспринимали всерьез, тем более что Извольский заносился в своих фантазиях далеко; но когда слух о разгроме «своих несогласных» подтвердился (Горбунов принес «Правду», в которой изничтожили эсеров), к публицисту стали прислушиваться. Слухов в городе и впрямь ходило множество, и каждый, кто их переносил, претендовал на небывалую доверительность со стороны какого-то одного высокопоставленного, раскаявшегося и чрезвычайно болтливового большевика; говорили, что немцы уже в пути и войдут в Петроград не сегодня завтра и никакой сепаратный мир не защитит; что в Киеве всю власть взял таинственный гетман, которого погнали большевики, которых, в свою очередь, погнали анархисты — наверняка с песьими головами; более экзотических слухов не воспроизводил и Афанасий Никитин, описывая географию Индии со слов своих индийских приятелей. О, как любил Казарин эту книгу, эту сказочную, волшебную географию, ботанику и зоологию, с печальной птицей Гугук, предвещающей смерть, со всеми песьими головами и волосатыми людьми, заселяющими таинственные окраины плоского покуда мира! И как страстна, как трогательна была эта неожиданная молитва в конце — спаси меня, Господи, помилуй меня, Господи, убе-

реги, дай мне приют от твоего бесконечного разнообразия, животного, растительного, ползущего, бляющего, блещущего, — спаси меня, Господи, помилуй, Господи... Но в восемнадцатом году в Петрограде некому было умиляться бесконечным Божиим чудесам, да и волосатые люди с песьими головами не сидели больше по окраинам мира, а посматривали из каждой подворотни. Передавали, что Одесса занята французами, которых вдруг выгнали англичане. Рассказывали, что в Германии революция, в Италии восстание, а большевики для того только взяли власть, чтобы тем вернее восстановить монархию, — но слух этот, утверждал Извольский, запустили сами большевики.

— Ленин? Еврей, — уверенно говорил публицист. — Поймите, я никоим образом не оправдываю погромов и вообще не приемлю наших жидоборцев, эти кислые щи... но задумайтесь: ведь вся верхушка — еврейчики! Конечно, я понимаю, угнетение и все прочее, хотя не так уж и угнетали... у меня множество друзей в этой среде, и все прекрасно сотрудничали в печати или имели обширную адвокатскую практику... Но положим даже, что угнетение: разве может быть случайностью такой состав правительства, в котором русских не больше четверти? А насчет Ленина лично знаю, слышан от его же бывших товарищей. По отцу русский, и то сомнительно, по матери еврей. Вы послушайте эту картавость, а главное — посмотрите на жесты, на иудейскую убежденность в своей правоте...

— Слушайте, Илья Васильевич, — не выдержал как-то Казарин, встретив в коридоре Ловецкого. — Вы всех знаете, везде печатались. Этот Извольский, или как его, он что, в самом деле публицист?

— Точно не скажу, голубчик, — сокрушенно покачал головою Ловецкий. — Возможно, что и публицист. Этого добра знаете сколько развелось перед войной? Где-то я его определенно видел. Вертелся по редакциям или на митингах орал — но мордография мне знакома.

— По-моему, он тут не просто так, — многозначительно сказал Казарин.

— А по-моему, он идиот, и только, — кротко отвечал Ловецкий.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Идиоты-то всех и опасней, — сквозь зубы проговорил Казарин, отходя.

На четвертый день беготни и трепотни Извольского он пошел к Хмелеву.

— Можно к вам, Николай Алексеевич?

— Входите, входите, — добродушно пригласил профессор.

Он постарел за последнее время и как-то смягчился, словно побоище на Смоленском его отрезвило; и странное дело — в этой мягкости чувствовалась большая сила, чем в желчности и ярости, кореживших его в январе.

— Вы, я знаю, простите меня, если что не так скажу, — начал Казарин, усаживаясь (он поколебался, не перекреститься ли на икону, которую Хмелев с первого дня в Елагинском дворце повесил в правый угол комнаты, — но решил, что перед серьезным человеком притворяться грешно). — У меня сильные подозрения, что этот наш новый гость — провокатор.

— Не думаю, — нахмурившись, сказал Хмелев. — Провоцировать нас бессмысленно, у них других дел хватает. Что, по-вашему, в Смольном только и думают, на чем нас подловить?

— Очень возможно, — кивнул Казарин. — Они сами теперь не знают, как от нас избавиться: хотели дворец искусств, а получили очаг сопротивления. Самый лучший способ пересажать всю петроградскую интеллигенцию — это спровоцировать нас на выход из берегов.

— Да опомнитесь вы, Вячеслав Андреевич, вон Гувер в «Нашем пути» в каждом номере пишет, что их надо перевешать, — и что ж они, реагируют? Два раза закрыли, редактор поменял вывеску — и пожалуйста!

— Писать про них можно что угодно, они читать не любят. А вот заговор — прекрасный предлог, и заговор они в скором времени слепят, — твердо сказал Казарин. — Своими руками, чтобы тем вернее скомпрометировать нас. Пока мы действуем в рамках закона — убогого, неправого, несправедливого, какого угодно, — мы в своем праве. Но как только они поймут нас на заговоре, а еще лучше бы на спекуляции, — прикроют не только коммуно, это бы Бог с ним, а и всю прессу и всякое инакомыслие.

— Да с чего вы взяли, что он плетет заговор?

— Он постоянно об этом говорит. Вы послушайте его за обедом, как разглагольствует!

— Я не слушаю, я далеко сижу...

— А напрасно! Он только и повторяет: вы, первые жертвы режима... сосланные, запертые... создать оплот духовной борьбы, возглавить движение против извергов! И все это, знаете, так пылко — совершенно в духе большевиков!

— Вы что, предлагаете мне выкинуть его отсюда? — вскинул брови Хмелев. — Но какие мои полномочия?

— Чтобы указать на дверь, полномочия не нужны.

— Вот что я вам скажу, Вячеслав Андреевич, — проговорил профессор серьезно и тихо. — Время теперь такое, что складывается все на много лет вперед. И повернуть события еще не поздно — я знаю, что говорю. Неужели вы вправду думаете, что они удержат власть? Что Россия так вот и дастся им в руки? Погодите, будет и сопротивление, и захват Петрограда патриотически настроенной армией, и расправа над всей этой швалью. Громко ликовать не будем, тихо перевешаем. Но — перевешаем, миндальничать не станем. Так вот, пока наши не вошли в город, наше дело — расшатывать их власть изнутри: митинги, разговоры, что хотите. Мы начнем, армия поддержит.

— Вы что, всерьез в это верите? — В следующую секунду Казарин понял, что говорить этого не следовало.

— А если вы не верите, так вот вам Бог, а вот порог, — указал на икону, а потом на дверь профессор.

— Я пришел к вам, чтобы вы выставили провокатора, а вы выставляете меня, — скорбно ответил Казарин. — Впрочем, это логично...

— Нет-с, не логично, Вячеслав Андреевич. Да никто вас и не выставляет. — Хмелев устыдился своей резкости. — Я говорю только, что в решающий момент лапки складывать — грех. Я профессор, старик, половину жизни над русскими летописями просидел, а другую — над «Словом о полку». Сроду пистолета не взял в руки, ружье охотничье только и видел, что у приятеля в усадьбе, — а и то чувствую, что нельзя отсижи-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ваться да играть в постороннего. А вам вдвойне грех, вы молодой.

— И зачем вам этот Изборский... или Извольский?

— А об Изборском в свой черед узнаете. Мне его верные люди прислали. Организатор он дельный, приведет побольше народу, выведем людей на улицы... И послушайте вы меня, голубчик... — Хмелев заглянул ему в глаза почти просительно. — Вы взрослый мужчина, вы в том возрасте, когда дело дороже слова... Видит Бог, я люблю и знаю поэзию, я никогда не жил монахом, — но как можно, чтобы весь мир заслоняли стихи да юбка? Простите, что лезу не в свое дело, но уж коли пошел такой разговор: ведь не за стихи нас будут судить, а за дела наши. Что ж, вы на суде стихи предъявите? Один-единственный шанс нам дает история — погибнем, может быть, но хоть пример подадим. На что мы, книжники, годны? Только на то, чтобы гибель наша разбудила остальных. Если и не выйдет ничего, так, может, обыватели, увидев беспримерное зверство, проклянут их поганое правление.

— Вы ненавидите декабристов, а рассуждаете, как декабрист, — улыбнулся Казарин.

— Что ж, в том-то и беда, что и у мерзавцев иногда хватает решимости... Знаете, какую мне сказку студенты из экспедиции привезли? Они много ездили — по Кижам, по Заонежью, — удивительные былины привозили. Я уж не помню в деталях, но суть была в том, что дьявол с Христом спорил: отчего, говорит, никак я над тобой верха не возьму? Ведь все могу дать — и золота сколько хочешь, и женщин, и славы, — что ж ты побеждаешь, объясни мне, пожалуйста, это чудо! Христос и говорит ему: мучеников, говорит, у тебя нет, а без мучеников мертво всякое дело. Вы вдумайтесь! Если нет мучеников — мертво дело; и ежели не хотите вы писать зайца через «ю», обобществлять детей да гадить в храмах, то без мученичества тут никуда. И уж простите, пусть Извольский болтает что хочет: он не только болтать может.

— Да ведь он дурак, — одними губами прошептал Казарин.

— И что ж, что дурак? Во-первых, все-таки поумней Чарнолуцкого, а во-вторых, не боги горшки обжигают. Чтобы со-

противление поставить, только такой и нужен. Хватит, кончились игры, позаседали мы во «Всеобщей культуре», послушали Хлаמידку, покушали конинки. Надо дело делать, раз уж Господь так управил, что всех нас тут собрал.

— Последнее, — сказал Казарин. — Я не буду вам клясться в верности, расписываться кровью — вы знаете, что мне отступать некуда, я свой выбор сделал и останусь с вами до конца. Но погибать из-за провокатора — и провокатора грубого, тупого — мне обидно. Насколько тверды ваши гарантии, что этот человек не шпион?

— Достаточны, — посуровел Хмелев. — А что до гарантий... проститься надо с этим, Вячеслав Андреевич. Какое же мученичество, ежели гарантии. Нам и бессмертия никто не гарантировал. Кто чует в себе бессмертную душу — тот ее бережет, кто не чует — тому не докажешь.

— Благодарю вас, — сказал Казарин. — Спокойной ночи.

«Господи, как все глупо, — думал он, пробираясь со свечой по длинному коридору второго этажа. — Глупо и ложнокрасиво — первый признак настоящего идиотизма. Чего ради, чего ради... Ведь я первый задохнусь, если даже цель их осуществится и вернется хмелевский идеал: удесятеренное самодержавие-православие-народность, с виселицами на площадях... И какой это обыватель пойдет на улицы после ареста тридцати старых филологов?»

Бывают дни, когда все представляется в особенно мрачном свете и лепится одно к одному; кажется, что мир сошел с ума. С таким чувством после разговора с Хмелевым подходил Казарин к своей комнате, — прекрасно зная, что срывать зло и страх на Марье нельзя, однако сильно сомневаясь, что удастся сдержаться. И сдержаться, естественно, не удалось: она сидела на ковре, принесенном из дома, и смотрела в багровый глазок их печки. При виде ее спокойно-мечтательного лица Казарин ощутил страшное одиночество: ей ли понять его смятение? Он вспомнил всю свою жизнь с ней и с небывалой ясностью понял, что и с ней он все равно один — более, чем когда-либо. Он был стар, она — молода, он болен, она здорова, она весело, почти

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

азартно следила за тем, как рушится его мир, — и ради нее он взял на душу тяжчайший грех: оставил жену! Сейчас, при виде Марьи, сидящей у печки на ковре, он испытал не привычное уже умиление, а жестокий стыд. Она была чужая, еще дальше от него, чем Ираида, и все, что пугало его, вызывало у нее смех.

— Половина первого ночи, — сказал он тихо. — Ты, я вижу, не очень-то удивлена моим отсутствием.

Она пожала плечами:

— Ты сам себе хозяин.

— Могла бы хоть испугаться...

— Что от этого изменится?

— Да, ты-то женщина без предрассудков...

Слово за слово, он выдал ей по первое число. Она слушала молча, ни разу (против его ожиданий) не заплакала и все смотрела в огонь, иногда подкладывая в раскаленный печной зев сырое еловое полено. Тогда огонь принимался шипеть. Молчание ее бесило Казарина сильнее всего.

— Если хочешь, я уйду, — наконец сказала она устало.

— Нет, уйду я! — крикнул он в ответ. — Я уйду, потому что ночевать вместе после этого — страшная ложь! Подожди, за ночь я, может быть, приду в себя. Прости, если я наговорил тебе лишнего. Но я в самом деле сейчас не владею собой.

Она кивнула, удерживать не стала, и это тоже взбесило Казарина. Он хлопнул дверью, промчался по коридору и вышел в ночь, сырую и пахучую, как еловые дрова.

В последний раз они гуляли вместе неделю назад. Он быстро прошел по мосту, брезгливо миновал Крестовский и очутился на Петроградской. В город они с Марьей выбирались редко — для прогулок был парк, в гостях бывали и того реже: пару раз у Стечина да трижды у Зайки. Теперь он шел по ночному Питеру в смятении и раскаянии: не надо было ссориться; если часто ругаться, она непременно уйдет. За все время знакомства мы не ссорились столько, сколько за январь, — но что поделать, совместная жизнь трудна. Удивительно, как профессора до сих пор друг друга не поубивали.

По ночам все еще было холодно. Уличное электричество, само собой, отключили, и город наполнился звуками — словно только свет мешал им набрать настоящую громкость. В городе пели, кричали, звали на помощь, убегали от погони, стреляли, — Казарин отвык от такого количества звуков в своей елагинской идиллии. Он остановился посреди Зелениной и прислушался.

Казалось бы, все было на месте: ночь, весна, город, — и даже зеленый оттенок неба, словно грезящего о поре, когда зазеленеет все; и вместе с тем этот Петербург был так не похож на волшебный мир его юности, что и в самую юность верилось с трудом. Миг, когда от столицы отлетела душа, остался никем не замечен. Последняя зима была еще прекрасна — голодной легкостью всего тела, кокаиновым снежным холодом, губельным вдохновением; но с весной все кончилось, потекло, отсырело. Петербургская весна всегда была временем тягостным и гнилым — но в болотистых ее испарениях, как в парах опия, были болезненное опьянение, темные зовы, мучительные обещания. Нынче каждый дом был только домом, подворотня — только подворотней. «А всего верней, это я постарел», — подумалось ему.

Казарин родился в чопорной, вместе гордой и уязвленной Варшаве, провинциальность которой сразу понял, едва в восемнадцать лет приехал держать экзамен в Петербургский университет. Он любил и время, которое проклинали теперь все кому не лень, — время расшатывания устоев и прилежного усвоения пороков. Казарин знал, что в обвинителях недостатка не будет — его поколению припомнят и роскошь, и праздность, и мнимое равнодушие к великим вопросам — однако был ли лучший ответ на великие вопросы, нежели все эти легкие, невесомые мальчишки и девочки, так любившие пудру и сафьян, так мало любившие жизнь?

О да, они были легки — но кто упрекнет в избытке легкости фарфоровую танцовщицу из музыкальной шкатулки? Кто же не знал, что у Сонечки Голубкиной чахотка? — но как весело смеялась сама Сонечка и как светло она пла-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

кала: из-за скорой смерти, думаете вы? Дудки! стоит ли смерть наших слез, покрасневших глазок и бледности! Она плакала из-за того, что парикмахер испортил ей локоны, перекалив щипцы. Княжнин прочел письмо Спесивцевой, расхохотался, ушел в кабинет и застрелился. Инеса, чьего настоящего имени никто не помнил, пять раз клялась, что отравится от несчастной любви, и отравилась после шестой клятвы; и можно ли было желать лучшей судьбы для крошечной большеглазой девочки, вечно ходившей в черном и влюбленной в какого-то католика, монаха, которого, скорей всего, никогда не существовало? Но откуда тогда на ее похоронах взялся строгий джентльмен — тоже в черном, — ни слова ни с кем не сказавший и исчезнувший так же неожиданно, как и появился? Бедная Инеса.

Да, Бердслей, да, маскарад, да, запоздалые русские игры в галантный век — которого у нас не было, потому что какая же галантность под вечный хриплый крик терзаемого на дыбе, под щелканье бича, под азиатское гиканье Пугача и его зипунного войска! Казарин за то и любил Стечина, что в нем и его приятелях узнавал ту же легкость — только новые денди меньше улыбались; прежние выбрали гибель добровольно — новых никто ни о чем не спросил. Неприспособленность к жизни; о, эта неприспособленность к жизни! Да было бы к чему приспособляться... Деньги стоило только получать в наследство или выигрывать в карты. Прекрасны неприкаянность и беспомощность, отвратительны угрюмая земская честность, самодовольная основательность, болтовня борцов...

Тут Казарин остановился, заметив на углу Большого проспекта странную сутулую фигуру, закутанную в тряпье. Он узнал растрепанную бороду и длинные седые космы: сомнений не осталось, ночью по городу бродил издатель Булгаковский, бывший священник и неутомимый борец с пьянством. Этот пропагандист воздержанности и труда давно уже был общим посмешищем, — Казарин отлично помнил, как Княжнин принес на одно из заседаний «Клуба сумасшедших» (помилуйте, когда же это было? тринадцатый год!) брошюру «Жалость взя-

ла». Таких учительных брошюр Булгаковский выпускал по два десятка в год, названия их помнились Казарину и по сей день: «Терзание одно», «Несчастные», «Замерз в поле» — и каждая сопровождалась уведомлением на обложке: «Автор награжден серебряной медалью на Парижской выставке 1908 г. за брошюры с приложением световых картин из жизни людей, преданных пьянству». Эти «преданные пьянству» произвели в клубе гомерическое действие. «Ждет не дождется бедная жена любимого мужа, — при общем стоне зачитывал Княжнин, в одной руке держа книжонку, в другой — бокал. — Но тщетно дожидается несчастная своего голубчика: лежит он, хмельная головушка, в грязной канаве!» Вероятно, тут следовало показать световую картину, но приобретать эти стеклянные пластины для демонстрации в волшебном фонаре Княжнин не стал то ли из лени, то ли из жадности. Не вполне было понятно, на какую аудиторию рассчитывал Булгаковский: волшебных фонарей в избах не держали, а в состоятельных семьях не читали брошюр из жизни людей, преданных пьянству. Особенно забавна была святая уверенность автора, что как только русский народ перестанет пить — тут же и разрешатся сами собою все роковые вопросы.

Булгаковский, качаясь то ли от ветра, то ли от слабости, стоял под мертвым фонарем и время от времени обнимал его, чтобы не свалиться. Казарин подошел, интересуясь, не нужна ли помощь, — и отшатнулся: издатель был пьян в стельку.

— Да-с, — сказал Булгаковский, подняв на подошедшего Казарина жалкие глаза. — Не имею чести знать, но... Позорно слаб-с. Гибну и сознаю.

— Полно, — дружелюбно сказал Казарин. — Этому пороку я сочувствую больше прочих.

— Сочувствовать пороку нельзя-с, — слабым, дрожащим тенорком, столь странным при его могучей поповской комплекции, произнес Булгаковский. — Сочувствие пороку широко отверзает для него двери; притворяемся человеколюбцами, а любим между тем один порок... Не ишу сострадания и не хочу оправдания. Покуда мог, противился. Но вот уже пятую ночь не имею сил удержаться, пал низко. Григорий

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Алексеев, наборщик, из раскаявшихся пьяниц (издатель про-износил «пианицу», придавая грубому слову дополнительный музыкальный смысл), возымел жалость и своими путями до-стал мне спирту. Вы добрый господин, примите исповедь не-счастливого, погубившего свою душу.

— Нет ли у вас еще спирту? — поинтересовался Казарин.

— Нет, — посуровел Булгаковский, — но хотя бы и был, не дал бы. Губить себя — моя воля, губить другого я, и падши, не стану.

— Что же, слушаю. — Казарин был разочарован (выпить в самом деле очень хотелось), но отказать несчастному не мог. Такие ли сумасшедшие встречались ему в ночных скитаниях пятилетней давности!

— Дети, — хрипло прошептал Булгаковский.

— Какие дети?

— Ночные дети, — еще тише проговорил он. — Перенес бы все, но здесь бездна глубже человеческого разума. Вы не видывали?

— Нет.

— Стайками, — отрывисто пояснял издатель. — В подво-ротнях, в переулках. Молча. Этакие ангельские личики.

— Господи, да мало ли нищих детей! — Казарин рассме-ялся с облегчением. — У Николаевского всегда отирались...

— Нет-с, это не нищие, тех я знаю-с... — Булгаковский по-смотрел на него с обидой. — Тех я видел-с, и они ничего-с. Эти же набрасываются на прохожего и забивают в секунды, с жест-токостью истинно зверской. В последние годы слаб стал телом, но, быть может, предостерегу. Спирт же пью единственно для угнетения страха, терзающего меня повсечасно. Ибо ежели и дети отданы диаволу, то из нас ни единый не спасется.

— Да, может, вам померещилось, — неуверенно предпо-ложил Казарин.

— Померещиться мне не могло-с, — строго произнес Булгаковский. — Возвращался в первом часу от старого моего друга, священника Никольского собора. Своими глазами видел, как забили прохожего. Повалили, обобрали. Ни слова единого, но слышал легкое как бы урчание, слов-но у голодного пса. Когда разбежались, лежал раздетый.

Сам же я укрылся в воротах ближнего дома, по счастью не запертых, и долго еще не решался выйти, кляня позорную трусость. Ежели бы взрослый грабитель, я тут же вмешался бы. Но тут нечто свыше нашего разумения, и потому согрешил. Теперь посильно искупаю грех мой, но не имею сил выходить на ночную стражу без спирта. Ужас ведет вдоль всего тела как бы ледяным лезвием, — доверительно добавил он, — и в ногах чувствую слабость, не соответственную возрасту. Оно и голод, и годы, конечно, — но тут иное. Дьяволу отдана вся власть, и дети наши обратились против нас. Сказано: открылся кладязь бездны... Се иду как тать.

— Пойдемте, я провожу вас, — предложил Казарин и взял Булгаковского за рукав, но тот деликатно отстранился.

— Нет, это я провожу вас, ежели угодно, а сам продолжу ночную мою стражу. Грех мой неискупим, но, быть может, хоть одну живую душу спасу. Далеко ли изволите идти?

— Я дойду, — успокоил его Казарин. — Мне близко. Но я не хотел бы оставлять вас... в таком состоянии...

— Состояние мое прискорбно, — кивнул издатель. — Но чему поглумишься, тому поклонись. Прощайте, Господь с вами, господин.

Он тяжело вздохнул и, пошатываясь, побрел по пустому проспекту. Казарин посмотрел ему вслед и решил вернуться. Пока он шел один и вспоминал свою молодость, никто не мог его тронуть — он был словно невидим для встречаемых, облако сожалений и воспоминаний окутывало его. Он всегда предполагал, что человек, сосредоточенный на собственных размышлениях, легко проходит через заставы и караулы — просто потому, что не замечает их; однако теперь, насильственно возвращенный к реальности, он чувствовал себя неудобно. Вдобавок за домами протрещали выстрелы и тренькнуло разбитое стекло — Петербург уже привык к этим звукам, но бродить Казарину враз расхотелось.

Посреди овального зала на стуле по-прежнему похрапывал матрос Елисеев. Он не проснулся, даже когда Казарин нарочито громко хлопнул дверью. Охрана! Да эта охрана не пошевелится, если нас придут вырезать, а то и поможет резать... Казарин тихо вошел в свою комнату и прислу-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

шался к темноте. Дрова прогорели, печь остывала. Он зажег керосиновую лампу. В комнате было пусто. Марья ушла.

Да, ушла. Этого надо было ждать. Саквояж ее, правда, стоял на месте, но за вещами она вернется, когда сочтет нужным. Она не из тех, кто думает о вещах. Только теперь он понял, в какую невыносимую пустоту попадет без нее, как много поставил на эту карту, как ничтожны все ее грехи и грешки перед тем великим и важным, что было между ними. Боже мой, куда я пойду теперь? И куда делась она в пустом городе? Бежать, искать? Все бессмысленно, все к черту. Он сел на пол и схватился за голову.

В этой позе и застала его Ашхарумова десять минут спустя, когда вошла в комнату.

— Вернулся? — ласково сказала она. — Вернулся, вернулся. Ну прости меня.

Он поднял на нее дикие, больные глаза.

— Где ты была, Маша?

— Это я тебя должна спрашивать, радость моя. Выдумал убежать от меня по ночам. Мне стало грустно, я пошла к подземному ходу. Комаров мне говорил, что там дальше интересный зал, я решила дойти... ну, прошла и подальше зала. Знаешь, куда ведет ход?

Она наклонилась к его уху, горячо зашептала, засмеялась. Он неуверенно улыбнулся.

— Да не может быть!

— Вот представь себе.

— Господи, Маша, какое счастье, что ты здесь. — Он обнял ее, прижался щекой к холодной щеке. — Господи, Маша, как я боялся. Прости меня за все, я знаю, что невыносим...

— Ну что ты, что ты. Зато теперь я знаю...

— Как я боялся, — повторял он. — Как я боялся.

16

Хорошим или плохим, а все-таки Корабельников был прежде всего поэтом и потому все последние дни не испытывал ничего, кроме тупого ужаса. Ужас этот был той са-

мой породы, что и в болезненном сне, когда понимаешь, что вся логика этого сна дурная, ложная, — и, однако, она неотвратимо толкает тебя в пучину. Все, что с ним происходило, было логично, одно вытекало из другого, и вместе с тем в конце маячило нечто невыносимое. Он расписывал стены домов, читал перед матросами и обучал восхищенный молодежь. На страдания не было минуты свободной, и, может стать, все прежние страдания происходили исключительно от избытка времени. Днем и ночью под его руководством шестеро художников-плакатистов и три поэта сочиняли и рисовали агитационные рассказы в картинках, лозунги и информационные бюллетени в стихах, и спал он три часа в сутки, подложив под голову собственную барашиковую шапку солдатского образца, укрывшись кожаным пальто. Искусство служило делу и производилось поточно. И тем не менее Корабельников чувствовал, что бешеную свою деятельность он не может прекратить ни на секунду именно потому, что без нее ужас захлестнет его волной и лишит рассудка. Корабельников, как ни искал, не мог найти ошибки: он все делал в согласии с убеждениями — и вышло только хуже, потому что год назад его тошнило от всего человечества, а в последние три месяца от себя самого.

Он думал сначала, что причина в скудости быта, в отсутствии отдыха, — но здоровья у него было на роту солдат, а в тюрьме, где он по дурости отсидел три месяца семнадцатилетним щенком, развлечений не было вовсе, однако такого отчаяния он не испытывал и там. Наоборот, были некий подъем духа и гордое сознание правоты; здесь он оттаивался, поскольку дальше пришлось бы признать, что теперь никакого сознания правоты нет и неизвестно, когда будет. Каждый день приходилось мириться еще с чем-то гнусным, и количество гнусностей обещало возрасти в геометрической прогрессии. Происходило все, о чем он мечтал, и оттого к неотступному ужасу добавлялось сознание своей к нему коренной причастности. Его уносило все дальше от него самого, и остановить это движение не было никакой надежды.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Он не мог даже сказать, что именно его пугает. Просто с некоторых пор любой враг был ему ближе друга, и все чаще он ловил себя на тоске по этим врагам. Те, кто не пускал его в литературу и издевался над юношескими эскападами, не желая видеть за ними трагедии, те, кто клеветал на него в своих листках и речах, те, кто в тяжелейшее для страны время картежничал по притонам или пил ворованный спирт, — были все-таки людьми, и он понимал, как с ними себя вести; те же, кто окружал его на Крестовском, на лекциях и в некоторых кабинетах Смольного, людьми совсем не были, а признать их новой, высшей ступенью эволюции отказался бы и закоренелый дарвинист. Но не успевал Корабельников, стыдившийся сантиментов, посочувствовать врагам, как они затевали очередную подлость, и он опять оказывался обречен на войну. То, что они вытворяли, было неслыханно. Его объявили продавшимся, палачом, лично ответственным за все исчезновения и перестрелки в городе и вдобавок публично намекнули, что он примкнул к крестовцам небескорыстно. Корабельников непристойно отругивался и несколько раз — сам себя в душе презирая — прозрачно намекнул Чарнолускому, что оплот контрреволюции на Елагином пора прикрыть. Ведь они там защищают не свободу (больно много у них было свободы при Николае! — и ничего, терпели), а собственное право считаться героями. Они, кажется, разрешили себе уже все, от прямой клеветы до шантажа, и в борьбе с этим очагом «правой революции» запрещенных приемов не было. Так он думал днем, но вечером земля опять уходила из-под ног — и вместо злобы накатывал мальчишеский, стыдный стыд.

Переезд правительства в Москву тоже не добавил ему радости. Выходило, что они таки боятся, ни черта не веря в собственный мирный договор, за который их разлюбили и те, кто честно пытался полюбить. Корабельников на фронте себя не мыслил, один раз уже обманул судьбу, устроившись после мобилизации чертежником (впрочем, никто уже не ловил уклонявшихся — все бежали кто куда); других могли ввести в заблуждение его зычный бас и челюсть молотобойца, но сам твердо знал, что при виде пер-

вого же убитого впадет в истерику, а в бою растеряется, не поймет, где свои, где чужие, — ужас тошнотой подступал к горлу, едва он воображал иттыковую или газовую атаку.

Так что на фронт, тем более в плен, ему не хотелось, а между тем переезд правительства означал возможную сдачу города; что еще хуже, он означал трусость комиссаров, в которых Корабельников искренне пытался увидеть новых людей. В Корабельникове сильно было желание работать на власть: вывести Россию в будущее можно было только общим усилием — сто лет дворянской фронды доказали это вполне. Между тем из всех представителей новой власти в Питере остался один Чарнолуцкий, но у него, как назло, вкусы были самые фармацевтические.

Для довершения картины Чарнолуцкий придал футуристам двух товарищей непонятного назначения — что-то вроде матросов, обслуживавших Елагинскую коммуну, но с функциями идейных руководителей и чуть ли не цензоров. Согласно идее наркома, именно они должны были осуществлять связь между ним и художниками: визиты крестовцев стали его утомлять. Хотели руководства — получите руководство. Приданные товарищи отличались друг от друга разительно: один был крупный, крепкий, круглый, с крутым розовым лбом и каменным затылком, с вечным окурком на губе и приплюснутой кепочкой на бритой голове; второй — маленький суетливый еврей, хитролицый, юркий. Первого звали товарищ Камышин, второго — товарищ Драйберг, и никто не знал, что эту почти цирковую пару поместили в коммуну по личному указанию товарища Воронова. Товарищ Воронов не стал объяснять Чарнолуцкому своих мотивов, да Чарнолуцкий и сам был достаточно умен, чтобы понять: речь идет о вульгарной слезке на предмет благонадежности. Странно было, что никого не прикомандировали к елагинцам, и Чарнолуцкий боялся дать себе самый простой ответ: там осведомитель, видимо, уже был.

Камышин при ближайшем рассмотрении напоминал не пролетария, а бандита: он слишком часто упоминал о своем

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

происхождении (настоящие пролетарии даже после революции скорее стыдились родословной), чересчур умилялся стихам, в которых не должен был ничего понимать, и навязывался с разговорами. Он без приглашения тяжело входил в комнаты и мрачно говорил:

— Вот, пришел я.

— Вижу, что пришел, — хмуро откликнулся Льговский. — Чего забыл?

— Да так, мимо шел... Ты как сам-то?

— Все как обычно, — отвечал Льговский.

— А-а, — говорил Камышин и усаживался в кресло. — Ну, ладно, ладно...

— Ты бы шел себе, Боря, — не выдерживал Льговский. — Я работаю.

— А-а, — повторял Камышин. — Так я ж тихо посижу.

— Тебе что, посидеть негде?

— Негде пока. Извини уж. Исайка (так называл он Драйберга) до того всю комнату выстудил, что у тебя прямо Африка, после нашей-то. Погреюсь да пойду. Ты работай.

Льговский умел держать себя в руках, но шумного присутствия этого крупного человека не выносил. Камышин принимался дымить, сопеть, кашлять, ругать спекулянтов, из-за которых в городе табу не купишь, — рабочее настроение испарялось моментально. Льговский всерьез подумывал о том, чтобы сбежать из коммуны. Как ни скудно, ни выстужено было его одинокое жилье на Васильевском, как ни прекрасны были вечера с товарищами по искусству — присутствие новых насельников портило всю атмосферу. Это было тем противнее, что Камышин и Драйберг представляли вали на Крестовском от лица читателей, ради которых всё. Только теперь Льговский признался себе, что до читателей ему нет никакого дела и лучше бы их не было вообще.

Между собой Камышин и Драйберг общались мало, по крайней мере на людях. Иногда оба исчезали — уходили, видимо, за заданиями в Смольный, где сидели в ожидании переезда остатки правительства, — и возвращались с мешками крупы, которые везли на санках, с заказами на очередной плакат или просто с экземпляром газеты, где несколько стро-

чек было подчеркнуто: их надлежало популярно изложить и проиллюстрировать. Эта система сдачи работы через посредника очень злила Корабельникова, однако товарищи (их иначе и не называли) оказались по крайней мере сносными курьерами. Все готовые агитплакаты исправно вывешивались на Бассейной, Гороховой и Морской.

Как могли дружить, да еще и работать вместе столь непохожие друг на друга персонажи, как Драйберг и Камышин, никто объяснить не мог. Как проводили они день, не участвуя в художественной работе и не умирая со скуки, — половина коммуны искренне не понимала. Лишь однажды, идя мимо их двери, Барцев случайно услышал их разговор: видимо, играли в шахматы.

— А теперь мы вас так и так, — спокойно говорил Камышин.

— А потом мы вас, — тоненько отзывался Драйберг, вероятно съедая фигуру в ответ.

— А потом все-таки мы вас.

Барцев не удержался, постучал и заглянул. Товарищи встали ему навстречу.

— Вечер добрый, — прогудел Камышин. — Располагайтесь. Чайку?

— Нет, я на секунду, — ответил Барцев. — Мне показалось, что вы играете в шахматы.

— Нет... это что ж, это так... Разговоры.

Шахматной доски в комнате и впрямь не было. Для Барцева так и остался темен смысл диалога, возобновившегося сразу, чуть он вышел за дверь.

— А потом мы вас, — злорадно обещал еврей.

— А потом мы вас, на столбах, — добродушно посмеивался Камышин.

Видимо, за такими проектами они и коротали время.

Девятнадцатого марта, на склоне серого облачного дня, каких немного было той сверкающей весной, Корабельников не выдержал наконец и пошел к Чарнолускому на квартиру.

Он демонстративно не пожелал идти в Смольный, ибо надеялся придать будущему разговору характер частный. Чарнолуцкий жил на Шпалерной, там же зачастую и вел

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

прием — поток посетителей не останавливался, а после переезда правительства питерцы повалили к нему валом со всеми бедами. Комиссар принимал жалобников, накладывал бессмысленные резолюции, объезжал гимназии, где помаленьку возобновлялись занятия, — и нередко ловил себя на мысли, что без Совнаркома ему в городе ничуть не хуже, а то и, страшно сказать...

Добираться с Крестовского на Шпалерную стало делом долгим; Корабельников выбрал путь вдоль Большой Невки с ее набухшим, ноздревато-серым льдом. Никогда еще город не был так грязен. На Стрелке лежала отвлратно раздубившаяся дохлая лошадь. Корабельников прошел мимо, стараясь не вдыхать. Брезгливость была ему присуща в крайней степени, он вечно боялся всякой заразы, и мертвое казалось ему опасней живого. На Невском, однако, он повеселел: тут уже попадались автомобили, проходили люди, кричал мальчишка-газетчик, продававший «Наш путь». Около шести неожиданно, на один час, включилось уличное электричество. Стоя под фонарем, Корабельников развернул газету и на последней странице обнаружил фельетон Губера «Избирательная слепота», в котором как дважды два доказывалось, что Ленин — немецкий шпион. «Остается только дивиться на тех господ, — писал Губер, — которые притворяются гимназистами второго класса, не желая замечать очевидно. Полноте притворяться, гг. Корабельниковы, полноте играть в добродушную наивность! Вам хватило здравого смысла, чтобы понять, где заканчиваются игры и начинается власть, с которою лучше не шутить. Но ежели вам, гг. ниспровергатели, хватило чутья, чтобы оставить ваши протесты и побежать в услужение к столь опасному противнику, у вас должно было хватить чутья и для того, чтобы разглядеть источник большевистской победы. Нельзя же, в самом деле, проявлять проницательность в тех исключительных случаях, когда эта последняя гарантирует вам дровяной паек и временную безопасность!»

Корабельников хотел выбросить газету, но передумал: пригодится. Он осторожно сложил ее вчетверо и сунул в карман брюк.

Одно из самых сильных и неприятных ощущений, знакомых человеку, — это внезапное понимание того, насколько сильно его, оказывается, ненавидят и насколько серьезны намерения его врагов. К этому всегда себя готовишь, но каждый раз отчего-то изумляешься: Господи, неужели все настолько всерьез? Стало быть, ни перед чем не остановятся? Стало быть, война? И это при том, что сам я всю жизнь старался не бить ниже пояса, даром что все мои враги — люди куда более толстокожие и благополучные, чем я... (точно так же думает о себе и каждый из них).

Значит, война, сказал Корабельников. И нечего миндальничать. И если Чарнолуский не хочет, чтобы над ним издевались в открытую, — он распустит елагинцев и прикроет пару листов, а от нас уберет эту пару гнедых.

17

Корабельников явился на Шпалерную к семи вечера. Народный комиссар пил чай в кругу семейства, прием был окончен, но футуриста выпустили и даже пригласили к столу — крайне скромному как по меню, так и по сервировке. Были пареная репа, о которой нарком произнес небольшой спич («Отчего думают, что она проста? Нет, репа сложна!»), тонко порезанный черный хлеб с маргарином, селедка, а для мальчика — чашка бульону из американского кубика. По статусу нарком имел личную охрану — тихого, ненавязчивого матроса, всю жизнь прослужившего на торговом флоте. Его демократично посадили за общий стол.

Комиссар с нарочитой веселостью в голосе осведомлялся, кто над чем работает и не кажется ли жителям коммуны, что паек недостаточен. Разумеется, увеличить паек было не в его власти, но продемонстрировать заботу о художниках он любил всегда. Наконец ужин окончился, и Чарнолуский чуть более строгим голосом пригласил гостя к себе в кабинет. Кабинет был просторный, с камином, — Чарнолуский вселился в эту квартиру недавно: владелец пришел в Смольный и сам предложил сдать за копейки. Разумеется, Чарнолуский отка-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

зался бы — для себя ему почти ничего нужно не было, он и ночевать-то не всегда приезжал, — но семья... измученная жена, Боба, которому все больше нужно места для игр... Почему им хоть год не пожить по-человечески? К тому же он аккуратно платил.

— Ну-с, чем обязан? — сказал он, указывая гостю на диван. — Не делайте только вид, что зашли посмотреть, как я живу.

— И не собираюсь, — ласково пробасил Корабельников. — Я хочу попросить вас, Александр Владимирович, о небольшом подарке. У меня второго апреля день рождения, так вот нельзя ли...

— Разумеется, разумеется! — воскликнул Чарнолуский. — Чем, как говорится, смогу...

Он вмиг утратил всю строгость.

— Многого не потребуется, — утешил Корабельников. — Уберите шпионов, Александр Владимирович. Обо всем, что вас заинтересует, можете спрашивать меня напрямик, да и остальные, я думаю, не для того туда съехались, чтобы от вас прятаться.

— Да почему же шпионы? — быстро заморгал Чарнолуский.

— Жаль, — сказал Корабельников и пошел к двери. — Я думал, у нас будет серьезный разговор...

— Хорошо, — сказал вдруг комиссар, наклоняясь подбросить дров в огромный камин. Лица его Корабельников не видел, но догадывался, что выражение фальшивой радости сошло с него, уступив место усталому, но все еще сосредоточенному вниманию. — Допустим, я эту вашу просьбу выполнил. И что вы, лично вы мне скажете о жизни коммуны?

— Я не докладывать пришел о жизни коммуны. Вы при желании и сами можете приехать...

— Ну а все-таки? Я приеду максимум на час, а ведь надо знать изнутри... Чего не хватает, что вас тревожит?

— Тревожит многое, — вздохнул Корабельников. — Вот, не читали? — И достал газету.

Чарнолуский бегом просмотрел фельетон.

— А, Гувер... Дельный господин; надо бы его перетянуть...

Ну, и что ж тут такого? Вы должны быть готовы к нападкам, если работаете с нами. Враг сердится, значит, паникует.

— А почему надо обязательно терпеть эту клевету?

— А что же вы предлагаете? — развел руками Чернолуцкий. — Расстрелять?

— Расстреливать я никогда не предлагаю, — лениво сказал Корабельников, развалившись на диване. — Я, Александр Владимирович, не понимаю только, почему эта гнусность печатается, а мы ни одной книги издать не можем.

— То есть вы предлагаете, — Чернолуцкий прищурился, — изъять у них бумагу и на ней издать ваши книги?

— Почему нет? — спокойно ответил Корабельников.

— Знаете что, Александр Александрович, — улыбнулся Чернолуцкий, — а ведь статья-то Гувера вас задела глубоко. Ошибочные выступления так не задевают. Кое в чем Гувер, возможно, не так далек от истины. Например, в предположении, что вам и революция-то нужна только для того, чтобы как следует пощипать собственных врагов... а?

Корабельников вскочил.

— Ну, знаете... От кого-кого...

— Да сядьте вы, ради Бога! — еще ласковей улыбнулся Чернолуцкий. — Посторонних тут нет, про мое отношение к вам вы знаете, так уж имейте терпение дослушать. Я высоко ценю вашу работу. Я знаю, каково вам приходится. Мне одно только не нравится: уж очень вы полюбили запрещать... Поймите, Александр Александрович: победил не футуризм. Победил пролетариат. А культура елагинцев пролетариату, может быть, еще и нужнее ваших настенных росписей...

— Да ведь это все ложь! — шепотом закричал Корабельников. Он боялся разбудить ребенка, которого повели спать. — Они врут на каждом шагу — или вы не видите? Их силком согнали во дворец, для них устроили резервацию, мы собрались в пику им... Вы и дальше хотите терпеть все это?

— Почему же терпеть. Напишите ответ, я уверен, что опубликуют...

— Мой ответ будет — оторвать Гуверу руки, чтобы больше такого не писал.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Ну, это еще кто кому оторвет, — холодно сказал Чарнолуский. — Он тоже, говорят, детина здоровый.

— Александр Владимирович, пролетариат не для того делал революцию, чтобы ходить в Художественный театр.

— Конечно, нет, — кивнул Чарнолуский. — Пролетариат делал революцию, чтобы ходить в синемаграф.

— Вы это всерьез?!

— Слушайте, товарищ Корабельников, — неожиданно жестко сказал комиссар, и в эту секунду Корабельников понял, почему этот смешной оратор и слабый критик оказался в конце концов министром большевистского правительства. — К войне пролетариата за свои права лично вы, насколько я знаю, имеете не самое прямое отношение. И пока еще нарком я, а не вы, — я не позволю вам руками победившего пролетариата сводить счеты со своими литературными противниками и вместо пролетарской диктатуры устанавливать собственную! Мне эти претензии на то, чтобы быть единственным революционером, до поры забавны, но потом начинают и утомлять, знаете ли! В конце концов, я и сам десять лет мотался по ссылкам и границам не для того, чтобы мои дети учили наизусть «ахрр, ахрр, дырбурши!»! Помогаете нам — помогайте, но не ждите содействия во всех своих безумных планах вроде росписи неба в красный цвет. А когда и кого мне запретить, знаю покуда я сам. Если будет нужно, меня поправит партия. Но не вы, товарищ Корабельников, — вы хорошо меня поняли? Не вы будете указывать мне, кого и когда я должен запретить.

Он перевел дух.

— Что до двух товарищей, приданных в помощь комму-не, — я решу этот вопрос, если они вам в тягость.

— Не так думал я поговорить с вами, — после долгой паузы хмуро сказал Корабельников.

— Что ж, и неожиданности бывают полезны.

— Александр Владимирович... — Корабельников вдруг посмотрел прямо в глаза Чарнолускому своими огромными, широко расставленными карими глазами. — Я не в обиде на вас — в конце концов, если вам кажется, будто я свожу свои счеты, будет еще случай убедиться, что это не

так. Скажите одно, мне действительно нужно знать. Для себя. Я ни с кем не буду об этом говорить, — хотите, поклянусь матерью, это на Кавказе страшная клятва. Ленин... действительно не сговаривался с немцами? А то пишут... это вранье, да?

Чарнолуский не отвел взгляда.

— И вы могли допустить?

— Я не знаю, Александр Владимирович, — честно сказал Корабельников.

— Как вы говорите — поклянусь матерью? Страшная клятва? Так вот, поклянусь вам сыном. Думаю, эта клятва страшнее.

— Спасибо, — улыбнулся Корабельников. — Спасибо. А этих... этих вы все-таки уберите.

«Этих-то я уберу, — думал Чарнолуский, провожая его до двери и неловко подавая пальто. — Остальных куда дену?»

После ухода Корабельникова он посидел в кабинете, глядя в огонь, но вдруг поднялся и стремительно прошел в спальню. Боба, сущий ангел (в кого только?), мирно спал разметавшись. Предрассудки предрассудками, но клясться бы все-таки не надо... Чарнолуский на цыпочках вышел от сына, позвал матроса и спустился к машине, стоявшей у подъезда.

— На Елагин, — хмуро сказал он.

Матрос Елисеев, разбуженный звуком автомобиля, выбежал на крыльцо, вытянулся, козырнул.

— Добрый вечер, — пробормотал Чарнолуский. — Ну, как тут?

— Без происшествий, — пожал плечами Елисеев.

— Ну, ну, очень рад... Хмелев дома?

— Куда денется.

— Он на втором?

— На втором, шестая дверь.

Чарнолуский расстегнул пальто и, слегка задыхаясь (одышка, старость, черт знает что такое), взошел на второй этаж.

Он был у Хмелева впервые: удивляло малое количество книг (да и книги — все больше не по профессии, а религиозного содержания). Ничего общего с профессорским жили-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

щем, каким его представляют: иконка, лампада, жития — схимник, да и только. Старик явно укреплялся духом в преддверии долгой борьбы.

— Простите, что я без приглашения, Николай Алексеевич.

— Вы здесь хозяин, Александр Владимирович. Прошу. Чарнолуский пропустил колкость мимо ушей.

— Я к вам приехал сообщить пренеприятное известие, — сказал он просто. — Я получил сегодня телеграмму из Москвы.

Хмелев все понял сразу.

— Прикрываете лавочку?

— Да.

— Всех под арест?

— Что вы, Господь с вами, Николай Алексеевич. Идея, кажется, в том и заключается, чтобы распустить вас по домам, а не перемещать всей компанией в камеру.

— Похвально. — Хмелев усмехнулся в усы. — Поняли, стало быть, что затея была ложная?

— Ложная, — кивнул Чарнолуский. — Нельзя облагодетельствовать того, кто избрал лозунг «Чем хуже, тем лучше».

— Лозунг-то ваш, — уточнил Хмелев.

— Был — наш.

— Вот собрали бы вас год назад в тихий пансион под Петербургом — что, не стали бы сопротивляться? Не заговорили бы о подкупе?

— Наверное, вы правы, — кивнул Чарнолуский. — Но подумайте: мы ведь вас не просто так распускаем. Каждому пенсию выпишем, с осени, Бог даст, возобновятся занятия в университете — если немец не помешает. Там и академический паек. Оформлять пенсии начнем вот-вот, бедствовать не будете. А нам делить нечего. Я все равно сразу после роспуска коммуны в отставку подаю.

— Это, положим, вам сделать будет трудно, — снова усмехнулся Хмелев. — Начальство ваше в Москве, а мы с вами в Петрограде.

— Ничего, с этим сладим.

— Тэк-с, тэк-с... И на чем же прикажете договариваться?

— Какие приказы, полно вам. Об одном прошу: разойдитесь с миром. Не заставляйте силой разгонять.

— Сколько сроку даете? — Хмелев поглядел прямо в глаза Чарнолускому, и тот поразился его сходству с Розановым: тот же неприязненно-острый взгляд, немного брезгливый, как на известном портрете, — старческое умное лицо, словно говорящее: я столько про тебя знаю, а ты со мной вон как... Что говорить, у Розанова были причины так смотреть.

— Через неделю, думаю, мне придется докладывать об исполнении.

— Тэк-с, тэк-с... Ну, а причина? Непосредственный, ежели угодно, повод?

— Есть и причина, — понимая, что сейчас следует выдерживать жанр и все договорить до конца, ответил Чарнолуцкий. — Есть сведения, что в вашей тихой академической коммуне занимаются отнюдь не только «Всеобщей культурой».

— Ну а как же! — просиял Хмелев. — Еще лексикологией, палеографией, морфологией... Специалистов-то собрали — по всем областям гуманитарного знания!

— Я оценил вашу шутку, — холодно сказал Чарнолуцкий.

— Ааа, — протянул профессор. — Стало быть, бомбу делаем? В гимназиях-то, чай, все учились прилично, химию помним... Собралась петербургская профессура да и соорудила адскую машинку. Ашхарумова Машенька будет за Перовскую, я, знамо, за Кибальчича...

— Положим, бомбу вы вряд ли соорудите. — Чарнолуцкий не принимал игры. — По части самоотречения, сколько могу судить, у интеллигенции не так все просто. Очень комфортом дорожим. А вот о разговорах за общим столом кое-что стало известно, причем не мне. Тут уж надо кого-то из ваших поблагодарить: есть во дворце человек, который передает содержание почти всех разговоров.

— Ну, вы-то не можете не знать этого человека, — заметил Хмелев. — Сами же и готовили...

— Перестаньте, Николай Алексеевич, — поморщился нарком. — Что бы я здесь делал, будь у меня с самого начала план вас загубить?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Вот я и не понимаю, что вы здесь делаете, — развел руками Хмелев.

— Прошу вас разойтись добром и уж по крайней мере тщательно проверить все свои связи. Среди вас провокатор, говорю со всей ответственностью. И это не мой провокатор — поверьте, я от тайной полиции в свое время потерпел и наших чересчур ретивых пинкертонов, будь моя воля, осадил бы решительно.

— Тэк-с, тэк-с, — в третий раз проговорил профессор и вдруг преобразился. Он встал, выпрямился в полный рост, очки его блеснули в свете керосиновой лампы. Перед Чарнолуским стоял ни много ни мало Фауст, отвергающий сделку с Мефистофелем. — Вот что я скажу вам, господин нарком. Учинить тут раскол и всеобщее друг за другом шпионство вам никак не удастся. А что до разгона, то как вы намерены поступить? Пожарный расчет пришлете или патруль?

— Думаю, все будет проще, — ответил Чарнолуский, тоже поднимаясь. — Сначала прекратится снабжение, потом вывезем печурки. Они в больницах нужны. А силком никого вывозить не станем, не надейтесь. Ваш брат интеллигент только в тепле фрондирует, уж простите за резкость. Мучеников из вас никто не сотворит, не беспокойтесь. Никаких разгонов, бастионов, рavelинов..

— Да уж понятно, — кивнул Хмелев. — Что ж, предупреждение ваше я принял и полагаю разговор оконченным. Время позднее, возраст мой, сами понимаете...

— Не совсем оконченным, не совсем, — прервал его Чарнолуский. — Ответьте мне, Николай Алексеевич: на откровенность не напрашиваюсь, но что вам так-то уж в нас не нравится? То, что мы правописание отменили? Так не верю я, что весь сыр-бор из-за правописания! Вот скажите по совести: разве сравнимы наши меры с тем, что творили Романовы? Разве по доброй воле мы продолжали войну? Разве не мы заключили мир, поднимаем сейчас фабрики, покончили с невыносимой эксплуатацией? Или вам незнакомы условия на питерских заводах (нет уж, минуточку, я договорю), или вы не видели толпы нищих детей на улицах? Мы за полгода больше сделали, чем все последние русские правительства.

Или вам нравилось, когда Распутин у руля стоял? Или вам Николай Кровавый кажется идеалом просвещенного монарха? Что мы сделали-то вам всем, скажите на прощание — и продолжим войну!

— А, — кивнул Хмелев, — вам во время перемирия пооткровенничать угодно... Чтобы потом, так сказать, с утроенной яростью...Что ж, извольте. Я вам короче отвечу, чем вы спросили. Любите поговорить, господин комиссар, — это вам на будущее. Лаконичней надо с нашим народом, он нетерпелив. Так вот: очень уж мне хамские рожи ваши не нравятся. Довольны ответом?

— Оченно вами довольны, барин, — невозможно ответил Чарнолуцкий. — И ведь какой ответ-то безупречный: в иное время самому ответить бы за него пришлось. А теперь-то, в дряхлой немощи, да на положении гонимого, — вполне можно положиться на благородство противника. Ежели не проявит благородства — еще и носом ткнуть: вот как вы с нами, престарелыми страдальцами... Это вам все можно — и выругать нас хамами, и заговор сплести, и пострелять, ежели до дела дойдет. Так ведь?

— Уж вы удовлетворения не хотите ли? — с убийственной иронией произнес Хмелев.

— Куда мне, кухаркину сыну. Удовлетворен сверх меры. А мне урок: впредь с врагом не переговариваться. Ну, честь имею. — Он повернулся идти.

— Сомневаюсь, — вслед ему съязвил Хмелев.

— Меньше сомневайтесь, — обернулся Чарнолуцкий. — Народ наш не любит сомневающихся.

— Он не из худших, — сказал Хмелев вслух, оставшись один. Он давно научился разговаривать сам с собой, чтобы не сойти с ума от одиночества, — привычка эта возникла лет за пять до Елагинской коммуны. — Но в том и дело, чтобы противостоять дьяволу, когда он ласков, а не когда грозен. Не люби его беленьким, а черненьким его всякий погонит... Провокатором стал пугать. Умник.

Он-то знал, кто доносил в Смольный о заговоре.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Либеральный идиот, — сквозь зубы ругал себя Чарнолуский, сбегая по лестнице. — Ну, хорошо. Неделя — после пеняйте на себя.

Он понял теперь, что Корабельников прав во всем. Ему захотелось немедленно увидеться с ним и как-то загладить сегодняшнюю резкость. В конце концов, единственной его опорой среди петроградской интеллигенции осталась Крестовская коммуна.

— Подождите, — бросил он матросу и быстро, в распахнутом пальто, пошел через мост на Крестовский остров. Машине тут было не пройти — снег еще не стаял. Огни прилукинской дачи приветливо горели среди темного Крестовского, как последний форпост города на краю неоглядной тьмы.

На первом этаже, в жарко натопленной зале, бешено вращались полуголые танцоры. Это козухинская студия под ритмичные прихлопы танцмейстера занималась эквиритмическими танцами. По стенам эквиритмично плясали фантастические тени.

— Корабельникова нету? — спросил нарком.

— Как будто не приходил! — весело блестя глазами, отозвалась прелестная девушка лет пятнадцати, одетая более чем легкомысленно. Вот где были юность, свежесть, надежда...

— Так, так... А где Драйберг и Камышин?

— У себя, — небрежно бросил Козухин. — Второй этаж, шестая дверь.

«Ну, совпадения», — подумал Чарнолуский.

— Добрый вечер, — приветливо улыбнулся он, входя в маленькую, тускло освещенную комнату. — Ну что ж, товарищи. Я пришел к вам с приятной новостью.

— От приятного человека всякая новость приятна, — с мягкой пролетарской учтивостью отвечал Камышин.

— Новость моя та, что миссию свою вы можете полагать оконченной, — сообщил Чарнолуский, пожав руки друзьям-неразлучникам. — Вы свободны, возвращайтесь по домам, присутствие ваше тут больше не нужно.

Друзья переглянулись.

— Да вроде как нужно, товарищ народный комиссар, — помявшись, отвечал Камышин.

— Нужно, нужно, очень нужно, — закивал Драйберг.

— То есть как? — оторопел Чарнолуский. — Позвольте, но это решать мне!

— Да вроде как не вам, товарищ народный комиссар, — тем же сочувствующим тоном произнес Камышин. — Мы не вашего подчинения, мы другого подчинения...

— Чьего же? — резко спросил Чарнолуский.

— Да это уж позвольте нам знать, — с внезапной наглостью произнес Камышин. — А то спрашивают, спрашивают... Очень много стали спрашивать, вот и вы туда же, товарищ народный комиссар! Сказано раз, сказано два: не вашего мы подчинения. Ну так и не допытывайтесь, вам же хлопот меньше!

— Вам же меньше хлопот, конечно, — подхватил Драйберг. — Гораздо меньше вам же хлопот, товарищ народный комиссар.

— Вы пожалеете, — серьезно сказал Чарнолуский. Обычно этот переход с добродушно-иронического тона на серьезный, не оставлявший сомнений в грозности его намерений, удавался ему отлично, — но сегодня он уже не сработал с Хмелевым (который попросту опередил комиссара, переведя беседу в иной регистр), а потому обречен был сорваться и во второй раз.

— Очень, очень жалею, товарищ народный комиссар! — воскликнул Драйберг. — Очень жалею, но только что же можно поделаться. Очень, очень вам сочувствуем, дорогой товарищ комиссар...

Чарнолуский хлопнул дверью и бегом спустился на первый этаж.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Камышин. — Вот как надо. Вот так вот потом и мы вас.

— А потом мы вас, — широко улыбнулся Драйберг.

Дома Чарнолуский стремительно прошел в кабинет, сел к столу, написал прошение об отставке, бросил его в камин и до утра просидел, сжимая голову руками.

18

А допустим еще такой вариант: происходит все-таки просмотр прежней жизни, грехов в особенности, — и тут я вижу, что все мои грехи были не чем иным, как следствием одной небольшой ошيبки, дефекта души вроде близорукости или леворукости. И вот это извлечено на свет и показано мне — то, что всю жизнь стояло на моих путях, закрывало перспективу, ссорило с людьми. О, будь я в силах определить эту ускользающую материю! Но она потому и задумана столь неуловимой, что при жизни ничего угадать нельзя — таково условие. «Господи, если бы я увидел себя — я бы увидел Тебя», любимая фраза из Августина, но если бы я увидел себя, Господа можно было бы понять разве что от противоположного.

Оскольцев с каждым днем все больше ненавидел себя. Прежде у него бывали минуты истинного упоения своим даром, почти самолюбования, — но как было любить эту дрожащую тварь, со дня на день ожидающую гибели? Он месяц не мылся, последняя баня была в начале марта; отец передал ему две смены белья, и больше у него не было ничего. Без ремня, в спадающих штанах (как будто тут было где повеситься), полубезумный, отчаянно сосредоточенный на ежедневном, ежеминутном переживании собственной гибели, — он был так себе мерзок, что, ей-Богу, заранее оправдывал своих убийц.

Итак, так. Не будем отвлекаться. Он увидит наконец то, что ему подспудно мешало на каждом шагу, то, что раздражало еще гимназических товарищей, превращая его в вечного чужака, бросалось в глаза соученикам в университетскую пору, когда он всей кожей ощущал недоверие, подозрительность, нежелание пускать его дальше определенно-го предела; сколько раз он вынужден был превращать в шут-

ку разговор, дошедший до этой точки! Его не приближали, не любили, не желали делить с ним какую-то общую тайну. Поездки, наука, лихорадочные метания из одной экзотической области знаний в другую — все было из-за этого, только книги не могли выставить против него роковой заслон и нехотя, с презрением открывались. Там, по всей вероятности, тайну ему раскроют, и все незаметные, но главные узлы его жизни будут перевязаны. Все будет прожито заново, но уже без врожденного вывиха: судьбу вправят. И, с ужасом и облегчением оглядываясь на тот путь, ошибочный, черновой, — он заплачет сладкими слезами прощенного.

Допустим теперь самое страшное. Сознание сохраняется и в могиле... но ведь это страшней, чем проснуться в гробу? Параллельно с разрушением тела идет разрушение сознания — гниение, зловоние, забвение слов; медленная деградация, на которую он обречен уже сегодня. Не может же быть, чтобы все сразу гасло? Страшнее всего бред, полусон; допустим даже, что будет Страшный суд — но не в этом ли полусне придется пребывать до Страшного суда? Пройдут годы, поколения, сама земля, быть может, исчезнет, — а я все буду ждать своей участи, без конца пересматривая все один и тот же сон о своих тридцати пяти годах... нет, нет, немыслимо, я не могу и представить этого изоцирентнейшего мучения.

Но и вечное мучение было не так страшно, как вечное отсутствие, с которым не могла примириться его все еще живая, все еще жаждущая душа.

Гуденброк мучился тоже. У его мучений была куда более земная причина: у Гуденброка болел зуб. Бродский вдруг решил продовольственные передачи, и жена Гуденброка принесла в Петропавловскую крепость кусок сала. Сало это она выменяла на Сенном, отдав за него прекрасный пуховый платок, подаренный мужем во время поездки по русскому Северу. Поделили кое-как, откусывать пришлось зубами — нож не полагался; на фоне гнилой капусты и мерзлое желтое сало было деликатесом. Гуденброк принялся жевать шкуру, что-то в зубе мудрости хрустнуло, а через сутки он уже на

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

стену лез от боли. Полоскал вечерним кипятком — тщетно; утром следующего дня едва задремавший Оскольцев проснулся оттого, что бывший товарищ министра по делам национальностей бьет головой о стену. Безумные глаза его были широко открыты, на щеке явственно дулся флюс.

Тут с Оскольцевым случилось странное: приказ держать их взаперти, пока сами не передохнут, возник в его сознании и утвердился там мгновенно. Он все понял — их попросту морят унижением, страхом, неопределенностью, а чтобы продлить мучения — разрешили проклятое сало; он подбежал к двери и заколотился об нее всем телом.

— Караул! — орал он. — Ка-ра-ул!!!

В дверь просунулся Крюков. Он в недоумении уставился на Оскольцева, прежде не замеченного ни в каких непорядках. В том же недоумении смотрели на него проснувшиеся четверо — Ватагин, Головин, Соловьев и Карамышев.

— Вы не смеете мучить людей! — завизжал Оскольцев, не узнавая собственного голоса. — Во врачебной помощи не отказывали и в Бастилии! Немедленно врача!

— Чего с тобой? — откровенно забавляясь, спросил Крюков.

— Человек третий день мучается зубной болью, у него кость воспалилась!

— Оставьте их, — простонал Гуденброк. — Им же это в радость...

— У кого кость? — переспросил Крюков. — Кто тут больной?

Оскольцеву отчего-то казалось предательством показать на Гуденброка, но он понимал, что неподвижно стоять — еще хуже. И он показал на него.

— Щас, — со злорадным предвкушением проговорил Крюков. Он положил вонючую грубую пятерню Оскольцеву на лицо и с силой толкнул его. Оскольцев не удержался и рухнул на пол.

— Господи, зачем вы, — страдальчески посмотрел на него Гуденброк. — К чему...

Все молчали. Через четверть часа по коридору протопал Крюков.

— Больной, с вещами на выход! — радостно проорал он. — Ступай, враз вылечим!

Вечером этого дня Оскольцев впервые потерял сознание. Он очнулся от того, что Соловьев бил его по щекам и дул в лицо.

— Слава Богу, жив, — произнес он. — Милый, не убивайтесь вы... Вас никто не винит!

— Он не вернулся? — прошептал Оскольцев.
Соловьев покачал головой.

19

— После вашего столь внезапного бегства, — непрерывно жестикулируя и бросая на Таню восхищенные взгляды, рассказывал Маринелли в корчме «У Селима», — после вашего столь объяснимого теперь бегства мы с Ростиславом тоже не виделись. В отличие от вас пленная прелестница не ожидала нас в Крыму. (Он так и выразился — «captured beauty»; Таня хихикнула. Она смотрела на Маринелли с таким обожанием, что, не будь итальянец так комичен, Ять не на шутку взревновал бы.) Утром я отправился нанимать повозку до Ялты. Благослови Бог Ростислава, уведшего нас от комиссаров! О каком вообще насаждении искусств можно тут говорить, когда у них в руках одно здание в центре города? Никто не знает, чья власть, крестьяне скептически... о, ни в одной стране мира нет таких скептических крестьян! Никто не хочет везти в Ялту. Наконец, в одном дворе вижу рыдающего ребенка, показываю ему все, что умею, влюбляю в себя раувге enfant и с помощью пяти русских слов, которые знаю, умудряюсь растопить лед. Его мать, огромная русская ба-ба, запрягает чахлую лошаденку — и везет меня в телеге; как несчастное животное сдвинуло с места телегу, в которой нас было двое, — не постигаю. От перевала она предлагает мне следовать пешком, ибо уже недалеко; к следующему утру я и впрямь в Алуште. Там полный разброд, все попытки заработать тщетны, постоя нет, гостиница разграблена. Если бы не благородный юноша — о, благороднейший юноша, — ес-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ли бы не юноша, участь несчастного тенора была бы поистине ужасна. Но есть, есть еще чуткие души! Он определил Маринелли на постой к the tartarians, нет, не говорите мне, что их подлинное имя другое, — они сущие дьяволы, несмотря на кроткий вид. Посмотрите только, как они скалятся. Татары обещали отвезти его в Ялту. Однако вчера утром прискакал на пузатой лошадке какой-то человек из Гурзуфа и поднял все татарское население Алушты отбивать город от ужасного захватчика, запретившего торговлю. Я все это узнал от благородного юноши. Мои tartarians рванулись в Гурзуф, а так как это по дороге в Ялту, я отправился с ними. Мне дали крошечную лошадь, за жизнь которой я не поручусь теперь, — хотя настоящий наездник, друзья мои, всегда облегчает путь коню. Одно дело — поднять балерину, которая весит шестьдесят фунтов, и совсем другое — куль муки того же веса. Маринелли — прекрасные наездники, это у нас в роду. И вот я здесь и не теряю надежды покинуть Россию морем, ибо в Ялте наверняка есть иностранные суда: не убивайте меня сразу, не говорите, что это не так!

— Я еще не был в Ялте, — улыбнулся Ять.

— Но как?! Как вы могли?! Впрочем, я понимаю вас. Я тоже шагу не сделал бы от the beauty, особенно в такое время. Но кто такой этот захватчик, упрямивший рынки?

— Ах, все это вовсе не так серьезно. Кукольный переворот. Я немного знал его по Петербургу.

— В Петербурге все друг друга знают! Удивительная страна Россия: образованный слой так мал, что все знай ударяются друг о друга. Впрочем, Италия и того меньше... Как он умудрился завоевать город?

— Боже мой, он никого не завоевывал. Здесь сейчас царствует тот, кто войдет и прикажет. Я с наслаждением наблюдаю весь местный калейдоскоп: мы уже видели большевиков, это не страшно, видели Город Солнца в духе вашего Кампанеллы, теперь увидим национальное татарское правление. Еще не было только республики и анархии, но все впереди.

— Свобода не благоприятствует искусствам, — назидательно произнес Маринелли. — Боюсь, я не заработаю в Ял-

те... И что делать, если меня не возьмут на корабль? Прикажете наниматься матросом? Ять, не заняться ли нам развитием татарской культуры? Ведь нас, в конце концов, за этим прислали: развивать культуру победителей. Кто же знал, что победителями окажутся именно татары; но ведь на всякого гунна найдется варвар, а на всякого barbarian — tartarian! Татар победит только тот, кто проще татар, то есть тот, у кого нет даже и нации. Кто это будет, на ваш вкус? Море? Растительность?

— Русские, — рассмеялась Таня.

Маринелли просиял и поцеловал ей руку.

— В самом деле, у русских нет десятой доли тех ограничений, которые соблюдают татары! Они недоверчивы к чужим, их дочери целомудренны, их вера строга — русские же вбирают в себя все и не слушаются никакого закона! Жаль только, что русские так неоднородны. Есть верхний слой, чья жизнь состоит из сплошных табу; есть нижний слой, которому можно все. Держу пари, что этот ваш запретитель рынков (bazaar-banner) из вашей интеллигентской породы!

— Во всяком случае, не из народа. А вы хитрый малый, Маринелли!

— Друг мой, я слишком долго пел арии мудрецов и злодеев. Доверяйте музыкантам, они всегда умеют расслышать главную тему в оркестровом хаосе! Ваша главная тема — поиск победителя; им будет тот, кто ограничен наименьшим числом условностей. Право, с русскими низами в этом смысле могут посоперничать только немцы — они жадней. Вы не боитесь, что вас покорят немцы? Вся Европа дала им по шапке, и только Россия собирается подписывать мир...

— В России все увязнут, — твердо сказал Ять. — Но ешьте, ешьте! У нас тут относительно сытно — опять же благодаря татарам и грекам.

— Я не могу испытывать два наслаждения разом, а здесь их целых три: красавица, каких я давно не видел, беседа, которой был лишен почти неделю, и жареное мясо, которого не ел с той самой ночи в Симферополе! Теперь, конечно, они пируют (и впрямь в обеих татарских корчмах — на въезде и выезде из Гурзуфа — жарилась баранина и распивалось ви-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

но), но статус наш непрочен. Подумайте о том, что я сказал, Ять!

Поздним вечером они, захватив Зуева, гуляли по набережной. В кромешной тьме едва серебрилась пена прибоя, как полоска белка из-под ресниц. К вечеру с гор напозли тучи, луны не было видно, и, кроме белой мерцающей полосы, поначалу на море нельзя было разглядеть ничего. Лишь потом, приглядевшись, Ять различил в невероятной дали крошечный пароходик, Бог весть как сюда забредший: два дрожащих огонька на самом горизонте. В корчмах и кофейнях горланили татары.

— Всегда такие тихие, — недоумевал Зуев, которого едва уговорили погулять. — И не видно их, и не слышно...

— А что, их в Крыму ведь больше всех прочих, — вспомнил Ять. — К тому же они коренное население и потому в своем праве...

— Коренное население — альмеки, — упрямо сказал Зуев. — Татары — вырождение, запустение, минимум духовной жизни...

Маринелли шел под руку с Таней (Ять намеренно не препятствовал и начинал уже понемногу беситься).

— Довольно вам спорить, русские! — возгласил тенор. — Я предпочел бы сейчас послушать хорошее пение, но поскольку вы в отличие от итальянцев прелестным вечером вроде нынешнего не хотите петь, а хотите только спорить, — я подозреваю даже, что это и есть ваше национальное пение, — показать свое искусство придется мне. Увы, я не смогу продемонстрировать вам мой полный голос: нетатарские песни тут долго будут под запретом.

Он отошел к парапету, встал в концертную позу — голова закинута, левая рука отведена, — и крымская ночь огласилась звуками ночи итальянской: понеслась баркаролла, и волна услужливо вторила ей тихим плеском. Словно кобра из мешка укротителя, на голос Маринелли вышла из-за облака тяжелая дынно-желтая луна и прочертила дрожащую дорожку по масляной зыби.

— *Divino!* — воскликнула Таня. — Брависсимо!

Однако намек на ревность довольно было Ятю, чтобы вспомнить все сумасшествие давних дней. Ять видел тогда, что они с Таней не выдерживают близости, что в их стычках все больше желания, а в соитиях — вражды; нужно было бежать, подсунув ей другого, доброго, простого, надежного, — и был этот ласковый и простой, с крупными руками, напоминавшими отчего-то лапы породистой собаки; была его мягкость, сила, его двадцать два года, — и Ять прекрасно знал, что Таня клюнет на эти приманки; он подводил к этому как мог, но одного не учел: ее радости. Он ожидал увидеть все что угодно — раскаяние, стыд, метания между ним и новым возлюбленным, — но увидел только открытое, бесовское счастье. И то, как легко, без малейших колебаний она попросила у Ятя денег на подарок новому возлюбленному, подкосило его окончательно. Ятю она редко дарила подарки. Он не удержался и сказал ей об этом.

— Ты — другое, — совершенно искренне изумилась она. — Ты ведь — почти я... во всяком случае, не отдельно. Зачем я стану самой себе подбирать подарки? Я так счастлива, так ужасно счастлива с ним. Ведь быть с тобой — это быть с собой, а быть с ним — это отвлечься на другого. Ну, Ять, ну, не будь жадиной...

И он не пожадничал, а потом и вовсе устранился, отдав ее окончательно и бесповоротно. Три месяца ненависти к ней сменились двумя годами старательно культивируемого равнодушия. И только в последнюю неделю жизнь вернулась — но вместе с ней вернулись ревность, боль, страх, смутное беспокойство, вина — все, что проникло в его сны. С ней было божественно бодрствовать, но спать с ней было невыносимо: во сне приходило раскаяние, словно с Таней он каждую ночь изменял кому-то.

— А ведь он тебе нравится, — полушутя, полусерьезно кольнул он ее, когда они поднимались к зуевскому дому. Зуев тащился где-то сзади.

— Как Маринелли может не нравиться? — рассмеялась она. — Ты привозишь дивных, дивных людей, вокруг нас все дивно... — Она обняла его. Они остановились, Ять гладил Таню по волосам и видел, как далеко внизу, низко опустив голову,

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

пьяноватый Зуев одолевает подъем. Вид у него был потерянный и жалкий.

— Послушай... Ты не думала о том, чтобы в самом деле куда-нибудь податься? — вдруг спросил Ять, нарушая самому себе данный зарок — не касаться будущего.

— За границу, с ним? Ты не поверишь, но он завел сегодня речь об этом. Разумеется, имея в виду нас обоих, — никаких вольностей, он, кажется, действительно тебя полюбил.

— Ну, актерам тут веры нет...

— Пойдем, поговорим наверху. Нечего перед Зуевым...

Она открыла дверь своим ключом.

— Так вот, — говорила она на втором этаже, раздеваясь бесстыдно и просто, как всегда, но зная, как она хороша, и потому бессознательно кокетничая, улыбаясь, медля. — Он говорил, что мы оба могли бы уехать с ним, что он удивляется, как ты до сих пор не озаботился этим...

— Что ж мне заботиться. Я не думаю об отъезде. Почему мне здесь плохо, а там будет хорошо?

— Я примерно так ему и ответила. Что ты не сможешь без языка и все прочее. Да и потом, здесь сейчас самая жизнь... Но знаешь, я думаю иногда — ведь я за границей не была три года. Хоть маму увижу.

— Я все-таки думаю, что она сама вернется.

— Ты совсем не знаешь ее. Иногда понимаешь все, а иногда вовсе ничего. Что ты уставился в окно, ныряй же ко мне.

— Да, да... — Ять понимал, что разговор идет важный, а нырнув к ней, он долго еще ни о чем не сможет думать, и они снова не определяют своего будущего. — Скажи мне одно: ты действительно хочешь остаться со мной?

— Ты знаешь, что я не перестану быть с тобой. Куда же мне деться? Это все равно что спросить — не хочешь ли ты, милая, оторвать себе уши?

— Спасибо, мой ангел. И все-таки: пока нам обоим чего-нибудь не оторвали — может быть, действительно есть смысл подумать о каком-то обустройстве? Я не верю, что Крым вечно будет таким межеумочным. Морской фон с дыркой — суй голову и снимайся.

— А как бы хорошо так и дальше! — Таня лежала, закинув руки за голову, и мечтательно улыбалась ему; на столике

у кровати горела лампа. — Сегодня то, завтра это, и все новые, новые, новые люди... Ты уже был узником, завтра, глядишь, станешь муфтием... но ты еще не был царем, рабом, надсмотрщиком! Ни разу не допросил меня, шпионку соседней державы! Каким счастьем было бы оставить в стране такой полуостров, на котором разыгрывается вся мировая история! Посылать сюда студентов, устраивать игры, менять власть...

— И ссылать сюда всех радикалов. Чтобы каждый попробовал, как Свинецкий: всероссийская опытная площадка! И России какая выгода, каких катаклизмов она избежит... На казни, естественно, в Крыму вводится запрет: разве что понарошку. Падай, ты убит. Да, в таком Крыму я бы остался. Но ведь этого не будет.

— Не будет, — согласилась Таня. — А впрочем, что мы все о будущем? Тебе уже не нравится настоящее?

— Хочется определенности, какой-никакой. Я бы что-нибудь сочинил...

— Сочиняй, кто тебе помешает? Разве татары?

— Все правильно. И все-таки тебя зацепила эта идея, согласись. Я же кое-что чувствую...

— Только чтобы попробовать. Ты сам говорил, что тут есть что-то странное, располагающее к отъезду. Как будто все сползает в море. Если уж ехать, то из Крыма, — разве нет?

— Может быть. Да и морем — как-то лучше, чем сушей. Я только не хочу сейчас. Мне бы досмотреть.

— Конечно, — кивнула она. — Конечно, досмотрим. И потом, мы попробовали далеко не всё...

20

Ять сидел в кофейне Пастилаки на набережной, когда бородатый странник с детски-ясными глазами и кротким бледным лицом спустился по главной улице Гурзуфа и остановился как бы в раздумье. Задерживаться странник не собирался. Он надеялся разжиться тут парой лепешек да, может, четвертушкой круглого овечьего сыра, делать который татары были первейшие мастера. Постоявши на пло-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

щади перед управой, над которой реял зеленый флаг татарского правительства, он отправился к морю: там, на берегу, аппетитно курился над крышей дымок.

— Здравствуйте, оседлые люди, — сказал странник, переступая порог кофейни, кланяясь и широко крестясь.

— Будь здоров, будь здоров, — словоохотливо отозвался Пастилаки. — Кофе турецкий, кофе грецкий, кофе арабский?

— Кофию я не пью, — виновато сказал странник. — Кофий — баловство одно, не в обиду тебе, хозяин. Я бы водички испил да лепешечки кусок съел, одна беда — заплатить мне нечем. Ежели не побрезгуешь, я тебе отработаю.

— Э! — Грек махнул рукой. — Какие теперь деньги? Каждый приходит, придумывает свои деньги. Садись, пей свою воду, вот тебе хлеб. Будет власть, будут деньги, вернешься сюда на купания, разочтемся.

— Не вернусь, — вежливо, но твердо сказал странник. — Я лучше сейчас тебе крыльцо почию или, если надо, крышу перекрою. Возвращаться нам никак нельзя.

— Что, примета плохая? — спросил из угла Зуев. Он играл в нарды с маленьким круглым татаринном, хозяином скобяной лавки на выезде из города.

— Не примета, оседлый человек, — ласково отвечал странник. — Не примета, а вера. Ходим по свету, дважды в одно место не заглядываем. А ты что, оседлый человек, на меня так смотришь? Ай встречались где?

Последние слова относились уже к Ятю, который с самого появления нового гостя не сводил с него глаз и морщился, то ли силясь припомнить обстоятельства их прошлых встреч, то ли уже припомнив и ужасаясь переменам в знакомце.

— Встречались, — тихо сказал Ять. — И у Ираиды Васильевны, сестры вашей, и у Бугаева на Арбате.

Пастилаки изумился, увидев, как странник резко вскочил с места, подбежал к столу Ятя и склонился к самому его лицу.

— Без очков-то и не разглядеть, — бормотал он, — треснули очки-то, где и взять новых... Ах ты, Боже мой, ведь я лю-

дей из той жизни почти не встречал с той самой поры, как братья меня позвали! Как, как вы здесь? Неужели тоже теперь ходите?! — Он гладил Ятя по плечу, тормошил его, называл по имени-отчеству, в речи его замелькали московские и питерские литературные фамилии, и обороты, появившиеся в ней, никак уже не напоминали речь странствующего богомольца.

— Ну, говорите же: что Ираида, что Вячеслав Андреевич? Как они, обеспечены ли?

— Все благополучно — Ять не собирался вдаваться в перипетии отношений Казарина с бывшей женой. — Конечно, насколько это вообще теперь возможно... Я сам из Питера две недели как, жизнь меняется быстро.

— А я-то уж три с половиной года не был! — простонал странник. — Что город, цел ли?

— Да что городу сделается, стоит. Вы про себя расскажите, Георгий Васильевич.

Четыре года странничества сильно изменили московского анарходекадента: черты, прежде мягкие, полудетские, обрели завершенность и строгость, плоть словно отлилась в форму — он похудел, ссутулился, тощая борода придала ему сходство с нестеровскими старцами.

— Про себя мне особенно говорить нечего, — потупился он, — и едва ли уместно простому страннику смущать оседлого жителя. Довольно будет сказать, что братья наши меня достойным и явили мне откровение учителя нашего Льва Николаевича Толстого, гладкий ему путь.

«Гладкий ему путь», вероятно, в терминологии поздних толстовцев означал своеобразный эквивалент «Царства небесного».

— С тех самых пор, как я узнал вас, — продолжал Георгий Васильевич, — я верил, что душа ваша ищет истины. Может быть, и теперь мы встретились не случайно, и вы уже готовы к странствию. Если так, я мог бы рассказать вам в подробности, что такое наш путь к спасению.

Обманывать Ираидиногу кузена было последним делом, но Ятя слишком интересовала тайна его ухода.

— Не знаю, готов ли я воспринять ваше учение, но обещаю конфиденциальность...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Конфиденциальности не нужно, — покачал головой анархо-декадент. — Рано или поздно тот, кто должен к нам присоединиться, и сам постигнет истину. Об этом Лев Николаевич сказал в последнем письме. Иногда довольно лишь толчка, и я готов его дать вам...

— Я ничего не знаю о последнем письме, — признался Ять. — Оно за границей напечатано?

— Оно нигде не может быть напечатано, — улыбнулся странник, — и вам неоткуда знать его. Оно отправлено всего три месяца назад.

Вот так. Нечего ждать откровений от душевнобольных.

— Удивление ваше мне понятно, — без тени снисходительности, но с тихим ликованием благовестника произнес Георгий Васильевич. — Лев Николаевич вот уже семь лет ходит по России, подав всем истинным сторонникам своим великий пример Ухода. Те, кто веровал Льву Николаевичу и поклонялся его прозрениям, поняли призыв великого старца и последовали за ним. Сегодня по всей России не осталось истинных толстовцев, кроме ходунов. Те, что живут в коммунах и смеют именовать себя толстовцами, — оседлые люди, убоявшиеся света правды. Уход — вот главное, что провозгласил Лев Николаевич, и чудесное его бегство — залог истинности Пути.

— Что же, он не умер в Астапове?

— Вернейшие помогли ему скрыться, он ушел стараниями Александры Львовны и Душана Петровича, — радостно кивнул странник. — Скульптор Меркулов изваял гипсовый портрет великого старца в полный рост, статуя и похоронена в Ясной Поляне. Лев Николаевич знал, что ему не будет покоя, пока вся страна следит за его бегством. В Астапове он понял, что много пути обмануть погоню нет.

— Но ему должно быть уже...

— В августе девяносто лет. Странствие чудесно укрепило дух великого старца. Новые его творения обличают второе рождение гения, Владимир Григорьевич передал, что закончен первый том романа о Федоре Кузьмиче.

Под Владимиром Григорьевичем, несомненно, подразумевался Чертков, а под Федором Кузьмичом — первый русский ходун Александр I.

— Вы видели его?

— Не имел этого счастья, — грустно потупился Георгий Васильевич. — Но письма собственноручные читал и для себя копировал, некоторые имею при себе.

— Их можно увидеть? — так и подпрыгнул Ять. Он готов был поверить сумасшедшему и сам корил себя за это, но ситуация была совершенно в духе графа и его поклонников.

— Не ранее, чем вы уясните себе смысл Пути, — предостерегающе поднял палец Ираидин кузен. — Лев Николаевич пишет для тех, кто уже проникся Истиной. Ему нет нужды разъяснять вернейшим, в чем она состоит. Но вам, еще стоящему на пороге, должно знать все обстоятельства.

Анархо-декадент забыл о голоде и, лишь изредка прихлебывая воду из глиняной кружки, принялся излагать историю движения ходунов. Как всегда, рупором графа выступил Чертков, в декабре десятого года распространявший «Письмо к моим последователям» — первый документ нового толстовства. После долгих размышлений граф пришел к выводу, что избежать порочных и ложных связей можно единственным путем — а именно кочевым, цыганским образом жизни. Странник не платит налогов и не содержит армию, полицию, суды; он живет подаянием и тем смиряет гордыню; он не заводит семьи, не вступает в блудный грех и не отягощает совесть ненужными обязательствами перед детьми. Можно, конечно, возразить: а ежели все начнут странствовать? Но все, утверждал граф, точно так же никогда не начнут странствовать, как никогда не откажутся от роскоши, блудодействия, разврата, праздности и армейской службы. Те же немногие избранные, кто находит в себе силу отказаться от оседлости и всей связанной с нею лжи, повторяют подвиг апостолов — с тою только разницей, что ходят за незримым Христом.

«И за вьюгой невидим», — вспомнилось Ятю.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Из сбивчивого и не в меру восторженного рассказа Ираидинового брата Ять заключил, что граф после ухода встречался с последователями редко. Пастырские послания он направлял верным людям, в чьих домах ходуны могли обитать. Общее число ходунов давно превысило количество толстовцев, до сих пор продолжавших жить коммунами, месить глину и изготавливать бочки. По России, если верить анархо-декаденту, их насчитывалось до десяти тысяч.

— Скажите, — спросил Ять, замирая, — а не могу ли я краем глаза увидеть... послание?

Он ожидал чего угодно — кичливости посвященного, мажорской строгости, — но не той кроткой ласковости, с которой Георгий Васильевич запустил руку в пыльный холщовый мешок и вытащил несколько обтерханных страниц с полустершимися письменами.

— Лев Николаевич не только не запрещал распространять его сочинения, — улыбнулся странник, — но уподобил сокрытие их утаиванию воды от жаждущего (и здесь его физиологические сравнения, с радостным чувством узнавания заметил Ять). Иное дело, что жаждущий должен сам попросить о воде, — Лев Николаевич считает теперь, что навязывать путь свой всем есть величайшая ошибка спасающегося...

Ять сам удивился трепету, с которым протянул руку к истершимся страничкам. Всего печальнее было бы обнаружить скучную сектантскую подделку, унылую стилизацию, какая по силам сатириконскому пародисту. Странное дело: в душе он прекрасно понимал, что граф умер в октябре десятиго года, — но легенда так вязалась со всем его обликом и с собственной толстовской верой в невозможность своей смерти (слишком велик, слишком сложен, слишком повязан со всеми, чтобы вот так взять и исчезнуть целиком), что ему не хотелось с этой легендой расставаться. Пусть бы он, в самом деле, так и ходил.

— Кстати, — произнес Ять, намеренно оттягивая неизбежное разочарование. — А что он думает обо всем... ну, обо всем этом?

— Что именно имеете вы в виду? — с ласковой готовностью катехизатора спросил Георгий Васильевич.

— Октябрь... февраль... — Ять в самом деле не знал, как еще назвать происшедшее.

— У Льва Николаевича нет упоминаний об этих событиях, — пожал плечами странник. — События, происходящие в оседлом мире, не затрагивают его души и не должны отвлекать ходящего от заботы о совершенстве.

В эту секунду Ять уверовал.

Нельзя было нарочно придумать ничего подобного. Все без исключения публицисты, в том числе и в родной «Речи», задавались вопросом: что сказал бы граф о русской революции? Никому не приходило в голову, что граф бы ее не заметил.

Ять протянул руку к листкам. «Письмо двадцать пятое: об оседлости духовной». Почерк был женский, гимназический, благоговейный: наверняка творения великого старца размножали и рассылали теперь именно такие аккуратные, беззаветные поклонницы. Но сквозь гимназический почерк явственно проступала иная рука (он так и видел эту руку — старческую, жилистую, до сих пор крепкую). Ять не решился бы уверенно сказать, что это писал ОН. Но мог писать и ОН — ветхозаветный пророк, поверивший Новому Завету и погибший от него. Он начинал с отчета о семилетнем странствии: был на Кавказе, в Сибири, на Волге, пришел теперь в Крым и думает переждать в нем зиму. Дальнейшее содержало предостережение против страшнейшего вида оседлости — укоренения духа в одном из учений: общего для всех учения нет, вера в любую правду рано или поздно приводит к розни и крови, а путь человека в мире — не спасение мира, но спасение собственной души. Если каждый займется самоспасением, то и некого будет спасать насильственно. Крайняя вера в собственную правоту привела уже к волнениям в Твери и Казани (Господи, почему там?). Спасение мира есть дело не человеческое, но Божеское, — человек же должен помогать Богу единственно заботой о собственной духовной и телесной чистоте да невмешательством в дела Божии. Так, так, это логично, это

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

вполне вытекает из прежнего, — да и как ему было не отчаяться после сорока лет бесплодной борьбы? Он узнал этот ритмический прибой, упорное, безостановочное повторение мысли — повтор, призванный заменить собою доказательство, ибо нельзя было доказывать то, что явилось как аксиома. Никто не знает правды, и никто не смеет учить. Ни одна вера не лучше другой, и признать абсолютную правоту одной веры — значит присвоить себе право убить иноверца; это так же ясно, как то, что человек, признающий какую-либо вещь своею, присваивает то, что на деле ему не принадлежит. Удел странника — ходить среди людей, останавливая их от крайних проявлений нетерпимости, признавая над собою единственную власть Бога, но не бесчисленных пророков и переводчиков его. Это специфически русское странствие и было, по графу, спасительной миссией его родины..

Наверное, в этом был резон. Наверное, единственный способ всегда быть правым действительно заключался в том, чтобы не признавать никакой правды, а единственный выход в бесчисленных русских противостояниях — в том, чтобы не брать ничьей стороны. Но Боже, как это было скучно — и как через год приелась бы даже Пушкину его собственная мечта: по прихоти судьбы скитаться здесь и там, дивясь божественным природы красотам...

Он не успел додумать — коричневый татарчонок вбежал в кофейню и подал ему английскую записку от Маринелли: «Приходите сейчас же в дом местного губернатора (видимо, так он называл управу). Я не могу выйти. Вам нужно немедленно идти в Ялту».

Отовсюду-то мне нужно немедленно идти. Так хорошо было сидеть здесь, пить кофе, слушать море, смотреть в ласковые глаза Георгия Васильевича...

— Георгий Васильевич, вы подождете меня здесь? — спросил Ять.

Тот покачал головой:

— Мне надолго нигде нельзя. Я подожду вас там, — он махнул рукою куда-то вдаль.

И ведь самое ужасное, подумал Ять, что дождется.

У входа в управу стояли двое караульных — оба русские, одного Ять знал даже в лицо. Это был бродяга с базара, один из тех грязных и хищных типов, в которых Хламида в оны дни предполагал задатки байронизма.

— Что, брат, и тебя дернули? — сочувственно спросил другой — белокурый, пухлый, лет двадцати с небольшим. — На допрос, что ли?

Ять изумился тому, что незнакомый мужик обращается к нему так запросто, — но тут же сообразил, что различия между русскими в условиях татарского владычества были упразднены. К сожалению, славянское единение всегда покупалось именно ценой коллективного попадания в рабство.

— Я по делу, к Маринелли, певцу-итальянцу, — отвечал он уклончиво. — Ты-то чего тут делаешь?

— А к татаровьям нанялся, — просто ответил белокурый. — К ним если на службу не пойдешь — так и на базаре ничего не продадут. Слыхал?

— Нет, не слышал. — Сидя в кофейне и беседуя о графе, Ять, оказывается, пропустил самое главное.

— Ну как же! Страшное дело, ты что. Ты зайди потом на базар-то, ежели выпустят, — буднично посоветовал мужик.

— А что, могут и... того? — Ять изобразил пальцами решетку.

— Шагай, шагай, — с внезапной злобой поглядел на него хищный и темный. — По тебе там пузырь твой, чай, соскучился.

Ять не стал спрашивать у караульных, где искать несчастного итальянца, — в расспросах не было нужды, поскольку ровно в полдень с балкона управы разнесся по всему Гурзуфу голос, который нельзя было спутать ни с одним другим. В нем звенела поистине стихийная мощь. Маринелли исполнял сурю Корана: Ять мгновенно узнал муэдзинский распев — во время своего единственного путешествия в Египет, в одиннадцатом году, он с наслаждением прислушивался к этим тоскливым воплям, смысла которых не понимал (и только потому наслаждался). Правда, на сей раз в них звучал не столько животный восторг, смешанный с отчаянием, сколько хорошо рассчитанный оперный пафос. Тенор почти не запи-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

нался — когда только успел изучить новый репертуар?! Ять задрал голову. Небо сияло. Рядом с Маринелли на балкончике стоял смуглый мулла в головном уборе, напоминающем высокую чалму, и одобрительно кивал.

— Ишь чешет! — восхищенно сказал белокурый. — Как всю жизнь пел по ихнему-то. Ай, грех.

— Много не разговаривай, — с той же непонятной злобой отозвался темный.

Маринелли в последний раз протяжно выкрикнул что-то умоляющее и вместе наглое: сура в его исполнении звучала как попытка вальяжного делового человека договориться с тем, кто бесконечно сильнее и проще его, — договориться, не теряя лица и не роняя достоинства. Мулла кивнул, и оба ушли с балкона. Ять по широкой мраморной лестнице взлетел на второй этаж.

— О, друг мой! — возопил Маринелли. — Благодарю, что вы поспешили! Какое счастье. Объясните этому жрецу, что вы мой помощник и я должен с вами говорить!

— Я его друг, — сказал Ять мулле. — Нам надо поговорить.

— Хочешь — говори, — пожал плечами мулла. — Я жду.

— Он не отходит от вас? — по-английски осведомился Ять у Маринелли.

— Я больше себе не принадлежу! — воздевая руки, кричал толстяк. — Случилось худшее: они сделали меня своим священником! Им понравился мой голос, и теперь я должен трижды в день исполнять их песнопения, которые они переписывают для меня русскими буквами. Хвала богам, что я по афишам знаю ваш алфавит — и что я атеист! Иначе на том свете меня припекли бы каленым железом за измену папе. Они не отпускают меня ни на секунду, я нужен им для примера! Им кажется, что теперь им покорятся все иноверцы. На завтра назначено мое обрезание... Вы должны спасти меня, Ять. Сделайте что угодно, я этого не перенесу!

— Уверяю вас, в обрезании нет ничего ужасного, — попытался Ять утешить итальянца.

— Я знаю, но какого черта! Грязный татарин насильственно обращает меня в свою веру варварским способом... По-

спешите, ведь это может коснуться и вас! Они сделают это со всеми, вот увидите!

— Но что я могу сделать? Поднять восстание?

— Идите в Ялту, умоляю! В Ялте наверняка есть полиция, или красные, или черт, или дьявол, — не может быть, чтобы они захватили весь Крым! Пригоните этого вашего террориста, пусть хоть он с ними сладит... Идите и уведите Таню, вам все равно бессмысленно здесь оставаться — русским они ничего не продают на базаре. Вы должны это знать...

— Я еще не был на базаре! Я не начинаю свой день с базара...

— А напрасно! Главные события теперь происходят именно там. Ять, бросайте все и идите в Ялту. Быть может, вы найдете там итальянское судно, французов, англичан... Должны же там быть корабли! Бегите, прошу вас, иначе будет поздно — с заходом солнца, я знаю, они и кошку не выпустят из города! Я здесь никого не знаю, кроме вас.

Мулла многозначительно кашлянул.

— Боже мой, они меня торопят! Сейчас опять поведут кормить этой ужасной вареной бараниной! Кажется, только полдень, а кормили уже трижды! Если так пойдет дальше, я не доживу до обрезания. Ять, бегите, умоляю...

Он безнадежно махнул рукой и кивнул мулле. Вместе они проследовали в одно из помещений второго этажа, откуда доносился бешеный треск пишущей машинки. Ять не выдержал и заглянул в кабинет: откуда бы татары так бойко выучились ремингтонировать воззвания? Посредине комнаты стоял казан с остывшим вареным мясом, сверху его покрывал ровный слой белого жира. У стола сидел молодой татарин и со счастливой улыбкой колотил по клавишам, даже не заправив листа в каретку. Татарин подмигнул Ятю, мулла оглянулся, и лицо его скривилось в брезгливой гримасе. Ять никогда не видел столь чистого примера азиатского правления. Он поспешно захлопнул дверь и быстро спустился по лестнице.

— Ну, видишь — не взяли, — приободрил его белокурый.

На базаре было людно, пыльно и пестро от халатов. Русских лиц почти не наблюдалось — Ять узнал только несколь-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ких местных бродяг, которые с обычным утрюмым и презрительным видом сидели у входа; им перемена власти ничем не грозила. Для начала Ять подошел к смутлой морщинистой татарке, у которой в первый свой гурзуфский день угощался вином.

— Домашнего-то не нальете? — спросил он, старательно изображая небрежность.

Татарка покачала головой.

— Кто ж у вас теперь покупать будет, если не русские? — попробовал Ять урезонить ее. — Тут же русских — две трети города, да еще летом, может быть, приедут...

Она не удостоила его ответом. Что-то от каменной бабы вдруг проступило в ее чертах и позе: она сидела неподвижно, поджав ноги, словно не предлагала вино покупателю, а демонстрировала плоды трудов своих неведóмому богу.

— А, черт с тобой, — сказал он, разом перестав бояться последствий. — Черт с вами со всеми, властители.

Таня стряпала на зуевской кухоньке: на дровяной плите стояла сковородка, в ней плавилось баранье сало, Зуев на правах подмастерья промывал рис. Замышлялся плов.

— Слава Богу, — выдохнул Ять. — Они не лезли? Не угрожали?

— Да Бог с тобою, — в удивлении обернулась Таня. Сильные, уже посмуглевшие на мартовском солнце руки ее были обнажены до локтя, лицо раскраснелось, черные пряди спадали на лоб. Она чистила увядшую прошлогоднюю морковь для плова. Надо признать, ей шел и этот декор — кухня, сковорода, готовка, засученные рукава, хотя сочетание моркови и ножа вновь наводило на тягостную мысль об ожидающем всех обряде. — Они все дивные... Один — Ильдар — на базаре мне лишний фунт баранины положил...

Черт знает, как она умудрялась устраиваться в непрерывно меняющихся обстоятельствах!

— И что потребовал взамен? Свидания?

— Знаешь что, Ять! — Таня вспыхнула. — Если бы я не боялась тебя убить по неосторожности, я бы влепила тебе вели-

колепную плюху! Послушать тебя, меня домогается каждый кипарис...

— Если бы каждый кипарис давал тебе лишний фунт мяса, я волей-неволей предположил бы это. Таня — да и вы, Зуев, — предлагаю вам сегодня со мной уйти. Оставаться опасно.

— А куда идти? — поднял на него Зуев вечно обиженные глаза. — Тут по крайней мере дом...

— Да выгонят из дома-то! — Ятя начала злить его непонятливостью. — Отберут под мечеть, он у вас как раз в мавританском стиле... Пойдемте, пока можно уйти. В Ялте хоть спокойнее...

— До Ялты пятнадцать верст, — сосредоточенно перемыывая рис, отвечал Зуев.

— Что такое пятнадцать верст, если вечером начнется погром?!

— В вас, Ять, наследственный страх погрома, — не глядя на него, произнес Зуев. — Вы не должны обижаться, зная мою национальную теорию. Против крови-то не пойдешь. Я понимаю, что с вашей, ненамеренно юдаистской точки зрения национальный вопрос обязательно разрешается погромом. Но поверьте мне как русскому, с татаринoм всегда можно договориться...

— Давайте в другой раз обсудим национальный вопрос! — взбеленился Ять. — Я польщен, конечно, вашей попыткой свести все на евреев, но напрасно вы думаете, что русским ничто не угрожает. Сейчас не важно, что вы русский, а важно, что не татарин...

— Да почему вы знаете? — повышая голос и оторвавшись наконец от риса, возразил Зуев. — Род наш восходит к татарам, я это запросто докажу... У меня летописные свидетельства есть о татарском хане Зуе, давно подобраны — интересовался, знаете...

— Ага, — кивнул Ять. — Вы, стало быть, тоже с ними? А что же альмеки?

— Не бойтесь, не бойтесь за альмеков! — раздраженно огрызнулся Зуев. — Я ученый, меня политические пертурбации не касаются. Мне важно свое дело делать, а не вдаваться в тонкости...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Знаете, Зуев... — Ять чувствовал, что еле сдерживается. — Для меня национальный вопрос всю жизнь стоял на семьдесят первом месте. Но когда мой город захватят татары, я — полужидок, урод в русской семье — прежде всего вспомню о том, что я русский, черт бы меня задрал совсем...

— Ять, это же смешно! — воскликнула Таня, шинкуя морковь. — Ну с чего, в самом деле, ты взял, что будет погром?

— Маринелли предупредил. Он у них вроде муллы.

— А, значит, ему-то можно, — язвительно протянул Зуев.

— Что — можно?! Они удерживают его насильственно.

Он-то и умолял меня бежать за подмогой.

— Нет, Ять. — Таня убрала со лба прилипшую прядь. — Я никуда не пойду. На базаре мне по-прежнему рады, громить никого, я надеюсь, не будут, — а если ты их боишься... Нет, я допускаю, конечно... Но если ты и вправду считаешь нужным помочь Маринелли — хотя он, по-моему, неплохо устроился, — сходи на один день в Ялту, заодно успокоишься... Может быть, там в самом деле есть иностранные суда... Сам подумай: что мы там будем делать втроем?

— Понятно, — сказал Ять. — Понятно.

Он знал, что через пять минут остынет и начнет укорять себя за то, что оставил в Гурзуфе беззащитную женщину под сомнительной защитой слабого, непрактичного ученого, — а потому, чтобы не терзаться весь день, пересилил себя и предпринял последнюю попытку.

— Я, может быть, глуп и напуган, простите меня. В конце концов, вы оба здесь гораздо дольше. Но подумайте серьезно: они в самом деле хотят отомстить русским, они только попробовали власти, последствия могут быть любые...

— Но ведь ты вернешься завтра? — спросила Таня. — Ты правда вернешься? Ты же не бросишь меня тут?

— До завтра в любом случае ничего не изменится, — миролюбиво поддержал ее Зуев.

— У вас ружье-то в порядке?

— Да, я проверял еще при Свинецком.

— Ну что ж, — кивнул Ять. — Тогда мне надо спешить...

— Постой, куда ты? Дождись хоть плова!

— Нельзя, идти надо на голодный желудок. Танька, Танька, ради Бога... впрочем, ты все знаешь сама.

— За меня не бойся, — засмеялась она. — Если я выкупила тебя у террориста, то с татарами договорюсь по давню. Если надо будет, я Вельзевулу голову заморочу, только бы вынуть тебя из ада, куда ты вечно умудряешься вляпаться...

Он поцеловал ее — пожалуй, несколько длительней, чем нужно было для скромного и прилюдного прощания, — и не заметил, как, сжав зубы, отвернулся Зуев.

— Ну, полно, — выдохнул Ять, оторвавшись от нее наконец. — Иначе я никогда не уйду.

21

«Уйду, уйду», — думал Львовский, но думать — одно дело, в этом есть тайная услада вечно оттягиваемого окончательного решения, а уйти — совсем другое: что прощается уходящему, у которого есть еще шанс передумать, того не простят ушедшему, обрубившему все концы. Как Чарнолуский, в надежде оправдать себя, писал и писал бессмысленные заявления об отставке, — так и Львовский примеривался к разным вариантам ухода, отлично зная, что не уйдет ни сегодня, ни завтра. Не в пайке было дело, хотя желающих попрекнуть их пайком прибавлялось с каждым часом; не в социальном статусе, который давало членство в Крестовской коммуне. Статуса, ежели вдуматься, никакого не было: идея с лекциями провалилась, писать рифмованные сводки и рисовать плакаты он не умел, а от кружка, в который исправно ходила молодежь, проку не было, — он чувствовал даже смутную вину перед этой молодежью, которая смотрела на него как на мудреца, а мудрец понятия не имел, куда движется. Не утешила его и статья Арбузьева, появившаяся на следующий день после отвратительной клеветы Губера.

«Не будем лгать друг другу, господа, и перестанем лгать себе, а бросим лучше ретроспективный взгляд на всю историю русской революции: почему победили большевики,

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

именно и только большевики? — вопрошал Арбузьев. — У эсеров было больше сторонников, у кадетов — умных вождей, у Союза Михаила Архангела — больше денег; но ни один из этих критериев не имеет отношения к выбору победителя. Победителя мы назначаем себе сами — и сами же отвечаем за собственных врагов, ибо сами и создаем их; большевики были зеркалом русского самодержавия, единственной партией, которая вполне уравнилась с ним. Зло никогда не побеждается добром — оно лишь формирует другое зло по своей мерке; это закон не нравственный, но физический, и потому стенать бессмысленно. И уж вовсе смешно видеть в торжестве физического закона нечто вроде результата мирового заговора.

Сегодня русская оппозиционная интеллигенция, привыкшая к тому, что только ненависть к правительству и Отечеству дает ей статус святой великомученицы, продолжает розыски незримого врага. В сознании этих людей единственной достойной задачей является разрушение, единственным оправданием собственного бытия — враждебность к властям, каковы бы они ни были. Любой, кто поддерживает власть, хотя бы и в борьбе с холерою, — является уже пособником антихриста, подручным палача и вдобавок агентом Германии. Именно об этом свидетельствует и вчерашнее выступление моего всегдашнего противника г. Гувера, увидевшего в русской революции железную руку германского генерального штаба, а в поселении на Крестовском острове — хорошо оплаченную большевиками провокацию одних художников против других. Неужели ключевым пунктом для оценки русской революции является именно содействие (активное или пассивное) германского генштаба в проезде г. Ленина и его веселых товарищей на Родину? Неужели в характере русской революции меняется что-то от того, что она совершилась при участии германского генштаба? И неужели она не совершилась бы БЕЗ этого участия? Увы, при той старательно культивируемой ненависти к Отечеству, которая сжигала и вместе ласкала сердца русских оппозиционеров, едва ли можно было избежать ее.

Нет, не г. Ленин со товарищи уничтожил русское самодержавие. И не пора ли за честнейшим из наших поэтов повторить горькую правду: сами мы подкладывали щепки в костер, а после забежали вокруг него с криком «Горим». Иное дело, что в борьбе, которую усиленно вело с самодержавием русское общество, деградация самодержавия и общества шла параллельно и в конечном итоге, как бывает во всякой борьбе, непримиримые враги уничтожили друг друга. Единственным исходом всякой борьбы является взаимное уничтожение борющихся. Лучшим примером этой закономерности служит французская история: на руинах монархического правления и якобинской диктатуры, пожравших друг друга, вознесся неожиданный победитель — Наполеон, не принадлежавший ни к тому, ни к другому лагерю. Во всякой борьбе побеждает третий, возрастая на почве, обильно удобренной кровью борцов. Так в борьбе русского самодержавия и русского общества, свидетельством крайней деградации которого было появление большевизма, — возросло нечто третье, чему все мы сегодня свидетели. Каким станет это третье — зависит исключительно от нас.

Русский большевизм погиб в самую минуту победы, исполнив единственную свою миссию — заключенную в доведении до абсурда всех родовых признаков русской общественной мысли. Посмотрите сами, много ли общего у сегодняшней российской власти с тем большевизмом, который провозгласил когда-то свободу печати, мир, хлеб и прочие превосходные вещи. Все эти лозунги отброшены за ненадобностью, а на лицах г. Ленина и его сподвижников читается страшная растерянность людей, которых использовал и выбросил на свалку таинственный дух истории. Все замерло в ожидании новой силы, которая возрастет на руинах русского самодержавия (выродившегося в Николая Романова) и русской революции (дошедшей до большевистской неразборчивости в средствах). Приметы этой третьей силы я вижу, с одной стороны, в цензуре и почти тотальной мобилизации, в разговорах о «пролетарской» диктатуре, с другой же — в сообществе свободных художников, которым, безусловно, нет резона покупать себе расположение

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

новой власти. Скорей уж власть должна привлечь их на свою сторону, — и то, что она заботится о прокормлении художника, само по себе способно внушить надежду.

Те, кто берется сегодня действовать в союзе с новой властью, пока не сознающей себя, — идут на немалый риск, ибо власть эта вполне может оказаться людоедской. Но чтобы она не оказалась таковой — нужно внушать ей человеческие законы, обучать ее уважению к искусству и предостерегать от ошибок прежних российских правителей. Пусть отряд доблестных героев, объединившихся под знаменем «Мы говорили!», не раз еще бросит нам в лицо упрек за все неудачи и погрешности этой власти. Пусть! Они всегда будут правы — и всегда мертвы, ибо ошибается только живущий. Это и есть главная его примета».

Арбузьев как будто говорил дело, более того — многие его мысли были словно подслушаны у Льговского, однако еще Хламида заметил, что ничто нас так не уязвляет, как солидарный с нами пошляк. Самое ужасное заключалось в том, что крестовский вождь Корабельников был не прочь воспользоваться ситуацией: всякий поэт желает быть единственным, но не с государственной же помощью! В искусстве для него существовали чистые и нечистые, свои и чужие, — и отчаянная тоска этого разделения не давала Льговскому спать. Они ушли из Елагина дворца не потому, что хотели бороться, а потому, что их выгнали, — Корабельников же, которого никто не звал, сам заявился сюда делать из них боевой отряд. В искусстве не бывает боевых отрядов, победы одерживаются без помощи запретов. Уйду, уйду.

Но окончательно он решился уйти в день, когда Соломин привел попа.

Поп явился в три часа пополудни. Льговский только что вернулся из нетопленной Публичной библиотеки с грудой ценных выписок, все по восемнадцатому веку (к едва освоенному опыту которого, без сомнения, должна была теперь обратиться русская поэзия). Все фантастические тезисы, весело и напряженно обдумываемые по пути на Крестовский, остались у него в голове: сесть за письменный стол ему пришлось

только в половине шестого, и не для работы. Он вошел, как выяснилось, через минуту после попа.

Поп раздевался на первом этаже, снимал длинное пальто с меховой оторочкой, сбрасывал его на руки подобострастному Соломину, долго расчесывал редеющую шевелюру и густую рыжую бороду. Вид у него был хитрый. Во всех движениях попа была сладкая плавность. Он продул расческу и спрятал ее куда-то под рясу, долго смотрелся в волнистое зеркало, подмигнул отражению и обратился к Соломину:

— Ну-с, Николай Константинович, я готов.

— Так пойдете, пойдете, — засуетился Соломин. Такое подобострастие было вовсе не в его духе — он был человек уверенный, не без барства, которое всегда раздражало Льговского. Поп явно был зачем-то нужен барину, но что попу делать у крестовцев?

Соломин обходил комнаты: он специально приурочил явление попа к обеду. Обедали на Крестовском в три. Выходили в столовую не все — в коммуне художники преобладали над учеными, а потому предпочитали есть у себя, в одиночестве. Впрочем, сегодня Соломин настоятельно просил собраться всех: первым пришел заинтересованный Корабельников, за ним тихой тенью просеменил Мельников, неуклюже протиснулся Барцев, спустился Краминов, явились неразлучные Кульбин и Митурин, внеся с собой стойкий запах краски, — следом анархо-крестьянствующий Конкин, конструкционист Ладыгин и поэт-речитативист Лотейкин, Бог весть с чего причислявший себя к футуристам, но гордо приделавший приставку *moi*. Разумеется, ни одно сборище по-прежнему не обходилось без Драйберга и Камышина.

— Что ж, други, — это было любимое обращение Соломина, оказавшегося большим славянолюбом. — Я вам представляю сегодня человека, в котором, не шутя, вижу для Родины большую надежду. Здесь, что греха таить, мы много говорим о новой России, России без попов. Но представьте — есть и в церкви у нас единомышленники! Позвольте представить: отец Алексей Галицкий, священник Троицкого собора, большой мой друг и, смею сказать, учитель. Думаю, что и вам послушать его душеполезно, как говорят люди церковные.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

«Фи, мерзость, — подумал Льговский. — Раскаявшийся батюшка. Сейчас начнет говорить, как устроены плачущие иконы. Предложит свои услуги в агитации. Все это под варено из мороженой картошки... Нет, уйду, уйду».

— Любезные братья по вере! — густо проговорил поп. — Знаю, что не всем понравятся слова мои, но вера у нас одна, на том стою. Все мы с вами посильные труженики великого обновления России, и как русский священник, чающий этого обновления, — я благословляю вас и силу, вас породившую. Патриот моего Отечества, я благословляю Ленина. Ибо великой Россия станет только с большевиками: силу за ними чувствую былинную, решимость мученическую. Христианство давно призывало богатых одуматься, бедных — выпрямить спину. Вместе мы построим новую церковь — Великую красную церковь единой обновленной России! :

Ах вот как, догадался Льговский. Ему приходилось читать про обновленцев (почти всегда что-нибудь брезгливое), но живого попа обновляющейся церкви он видел впервые.

— Из всех сил, присутствующих сегодня в жизни нашей, — басил поп, — одним большевикам под силу удержать Россию от разрухи, распада, отрешения окраин... Россия создана быть империей — или не быть вовсе. Империей ей и быть — под большевиками или нет. Сказано: откроюсь не искавшим Меня. Сбывается на глазах: большевики отвергли Христа — чтобы тем верней следовать Его путем! Отряхнув вековую патину... вместе с молодой властью... нести сжигающую весть... и та-та-та...

Льговский уже не слушал. Он давно ждал чего-то подобного. Там, где ему рисовалось вольное содружество художников, мир веселой свободы и творческой молодости, — возрождалась прежняя империя, только безмерно поглупевшая, и точно так же пели над ней сановитые, хитрые попы: пели они какую-то сучь, вроде «Интернационала». Впереди шагал Христос. Вот что, оказывается, имелось в виду: сказать бы автору...

— В Ленине есть дух великих русских пророков, — опершись о стол, солидно продолжал поп. — Отсесть все лишнее... разрушить храм старого... библейский Самсон...

Тут Льговский хихикнул. Ленин был лыс, как колено. Страшно подумать, во что ушла сила у этого Самсона.

— Стихийная избяная Русь... — гнусил поп.

— Правильно! — крикнул Конкин. Отличительной особенностью этого крестьянского анархиста было то, что на фаянсовый унитаз в роскошном прилукинском клозете он забирался с ногами и устраивался орлом. Он вполне мог бы сидеть на нем в менее горделивой позе, но шел на неудобства ради сохранения глубинной подлинности, которой Льговскому было не постичь.

— Это все хорошо, — с ядовитой, бархатной учтивостью вступил Корабельников; его медный бас с легкостью перекрыл поповское бляение. — Но скажите вы нам, любезный: при чем тут Бог, которого, по моим наблюдениям, нет и неизвестно?

Он готовился к очередному бою, который собирался выиграть одним из своих грязнейших кошунств: надо было сразу показать гостю, кто тут главный. Поп, однако, был малый не промах — он явно готовился к беседе.

— Не вы ли, Александр Александрович, написали «Апостола»? — вкрадчиво спросил он.

— «Апостола» моего ваш Синод под нож пустил, — буркнул польщенный Корабельников.

— Всякий поэт с великим даром вроде вашего свидетельствует о Господе, — не давая ему вставить слова, заторопился поп. — Поэзии нет без Господа, хотя бы она и не искала, и не созначала его. Россия не примет революции без Бога, нельзя разрушить храм, не создав нового...

— Мы вместо храма предложим машину! — пискнул конструкционист Ладыгин.

— Однако и машина свидетельствует о Господе своей соразмерностью, — не терялся поп.

— Бездушной вашей машине молитесь сами! — провыл Конкин. — Мы будем молиться ослезненным глазам кобылиц!

— Революция — стихийное явление народной веры, — поддержал Алексей Галицкий. — Вера народа — не книжная вера интеллигенции, а подлинный Христов огонь, который очистит... закалит... выжжет... переплавит...

Вот и всё, понял Льговский. Они прекрасно договорятся между собой. Самое мерзкое, что было в тех временах, и са-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

мое угрожающее, что есть в этих. Они сольются и построят свой дивный новый мир. Я, которому только и нужна свобода, опять остаюсь не у дел. Палач и жертва обнялись, над ними молнии взвились. Когда я наконец привыкну, что вся их борьба — чистая видимость? Попользовались нами, хлюпиками, да и амба. Мы помогли им раскатать лодку только для того, чтобы они имели шанс пересечь на дрейноут.

— Мы с товарищем попом еще поспорим, — гудел между тем Корабельников. — Я об заклад побьюсь, что товарища попа вдрызг разагитирую. Но сейчас такой веселый товарищ поп — нужный нам союзник. В борьбе союзниками не бросаются. Вашу руку, товарищ богоносец!

Товарищ рогоносец пожал руку товарищу богоносцу. Плохой, вредный я человек, бессовестный человек.

— Ну-с, други, — засуетился Соломин, — для такого дела... Товарищ Камышин, неси припас!

Камышин, подчиняясь барскому приказу, стремглав вылетел из прилукинской столовой и через полминуты вернулся с тремя подозрительными бутылками, в которых бултыхалась мутная жидкость.

— Свекольный, не побрезгуйте, — приговаривал Соломин. — За встречу, по-русски...

Выпить хотелось, но Льговский пересилил себя. Он встал и бочком, бочком выбрался в коридор. За ним выскользнул Драйберг.

— Что же ты не пьешь, товарищ? — спросил он умильно. — Все, понимаешь, пьют, а ты не хочешь.

Льговский остановился, некоторое время постоял спиной к Драйбергу, потом повернулся к нему, взял за пуговицу и раздельно сказал:

— Если ты, тварь, еще раз подойдешь ко мне, я мозги тебе вышибу.

— Ой, страшно, страшно, — засмеялся Драйберг. — Брат, не шуми. А то я не знаю за твои дела с Телятниковым, ой, я умоляю вас...

Льговский вздрогнул. Про дела с Телятниковым мог знать только тот, кто следил за ним давно и пристрастно:

во время войны, в начале шестнадцатого... сущий пустяк... поучаствовал сдуру в благотворительной подписке, получил свой процент, потом слышал, что издатель и меценат Телятников скрылся со всеми деньгами, собранными в пользу раненых... Даже из врагов никто не попрекал его той историей: он не знал, что тут мошенничество, и как было знать? Теперь он понял, что значит быть под колпаком; ловушка захлопнулась. Под наблюдением были все, их повязывали нагло, без стеснения. Вякни слово — в ответ вытащат из рукава безотказный козырь, ошибку юности, позор детства. Теперь, возможно, и бежать уже поздно.

Он замахнулся, сдержался, скрипнул зубами. Драйберг спокойно улыбался.

— Таки не зря мы хлеб кушаем? — спросил он.

Льговский резко повернулся и прошел к себе.

«Дорогой Саша, — написал он. — Я ухожу.

Прости.

Была надежда сделать выбор, не запачкавшись.

Хватит утопий.

Всякий раскол — не последний.

В литературе победителей не бывает, а побежденных не судят.

Я ушел плясать».

Он собрал книги и выписки в единственный чемодан, с которым пришел сюда, туда же побросал немногие свои пожитки, сунул записку под дверь Корабельникова и вышел через боковой вход. Было шесть часов вечера, и нежно-алый закат сиял над Малой Невкой. В небе угадывались силуэты кораблей, клочья парусов, язычки флагов. Чувствовалось, что город стоит у моря.

Есть восторг разрыва, дающий почувствовать, что мы живы. Всякий уход — всегда к себе, и у себя всегда лучше.

Через десять минут он уже не думал о Корабельникове. Не забыть передать ребятам, что собираемся теперь у меня.

С этого дня он подписывался Давидом.

22

С верхней дороги два коричневых камешка Адалар казались висящими в воздухе. Граница между морем и небом не просматривалась отсюда — слева открывалась сплошная хрустальная бездна той голубизны, какая бывает на юге только в конце марта, на еле заметном переломе от дня к вечеру. Ять шел уже час, но не устал ничуть. Было три пополудни. Дорога оказалась на удивление безлюдной — только на повороте к Никитскому саду встретился ему перепуганный дачник с вязанкой серых корявых поленьев. Ничего пугающего в облике Ятя как будто не было — видимо, старик боялся всего.

По обыкновению, чтобы не скучать наедине с собой, Ять принялся придумывать историю. Представим приморский город, в котором — в мирное, разумеется, время, без всяких революций, — сошлись, не сговариваясь, приятели старинных лет, прежде любившие съезжаться на недорогих русских курортах. Ни один не признается, что познало его сюда: измышляются фантастические причины, делаются многозначительные намеки... Ну, вот ты, положим, что здесь делаешь? Да так, подлечиться: ты же знаешь местные воды. О, прекрасно знаю: купец Железников разливает их в большие мутные бутылки (якобы дневной свет вредит целебным свойствам воды из нещерного источника): самая мутность бутылок негласно предупреждает о том, что дело нечисто. Ну хорошо, а ты зачем приехал? Показать же не места моей юности. А давно ли ты женился? Недавно, меньше года... И приехал сюда с женой в марте? Да, ведь все гораздо дешевле! Но где жена? Ах, она простудилась и уехала. А я остался.

Итак они обмениваются этими глупостями, и каждый прекрасно понимает другого, — все скрывают истинную причину, — но вот незадача: причины, похоже, никто не знает. Каждый делает вид, что ему есть что скрывать, — но наедине с собой признается: я не знаю, что здесь делаю. День идет за днем, и сам я прошел полверсты, разрабатывая завязку, — но что же было дальше?

Сейчас, сейчас. Никогда нельзя обманывать читателя, обещая ему развязку, сервируя закуски в предвкушении главного блюда — и оставляя голодным: иное дело, что двинуться все должно в небывалом направлении, которого он сам еще не видит. Вот тоже был занятный, если вдуматься, сюжет: одно время... когда же это было? Да, точно, тринадцатый год: «Биржевка» стала вдруг на последней странице публиковать — в пунктирной рамке, чтобы желающие могли вырезать, — список, о котором никто не мог сообщить ничего достоверного. Просто — «Списокъ», без всякого уточнения. Там было тридцать девять фамилий, довольно нейтральных, часть из них он знал — Мизеров, Фоскин, но с другими инициалами. Что, если бы он обнаружил там собственную? Был ли это список членов тайной организации (несомненно, для террористов определенного толка особый шик заключался в том, чтобы опубликовать его под носом у правительства, по принципу «прячь лист в лесу») или невинный перечень учредителей акционерного общества, у которого не хватило денег на публикацию своего слишком длинного названия, — Ять так никогда и не придумал; как-то раз он обсудил эту историю с Грэмом.

— Это был список д е й с т в о в а т е л е й, — сказал Грэм, как обычно в р а з р я д к у, не потратив и трех секунд на выдумывание новой сказки.

— Ну-ка, ну-ка, — подбодрил Ять.

— Действителей, то есть людей, предназначенных к изменению мира. В этом составе они способны действовать с максимальным результатом, как пуля, посланная в цель под верным углом.

— Но кто определяет этот максимум?

— Не «Биржевка», конечно. Раз в неделю приходит таинственный человек в рыжем пальто, непременно в рыжем. Он передает список, а при нем конверт с деньгами. Метранпаж набирает, но каждый раз заменяет одну фамилию, думая, что этим срывает дьявольский замысел. В один прекрасный день метранпажа находят мертвым. Но уже поздно — все пошло не так, и в результате мы живем в том именно мире, в котором живем. Это хорошо бы, знаете,

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

жечь с двух концов: сначала таинственный список, потом убийство метранпажа.

— А вы не хотите вместе со мной разобраться, что за список?

— Нет, конечно! — с ужасом воззрился на него Грэм. — Зачем мне знать, как е с т ь, если я знаю, как н а д о?

Вот, однако, и Ялта. И понятия не имея о том, что его здесь ожидает, он с предчувствием счастья узнал белый амфитеатр, спускающийся к морю: ажурный летний театр, ресторан «На горе» со знаменитой террасой, белые плоские крыши, черные кипарисы и золотой купол церкви святого Николая — покровителя рыбаков, хранителя плавающих и путешествующих. Храни меня, святой Николай.

Ялта начиналась с пригородных дач — чем ближе к центру, тем больше и богаче они становились, — с заколоченных магазинов, пустых кофеен и безлюдных белых дворцов. Город словно вымер. Около бежевого особняка, смутно знакомого по прежним одиноким прогулкам, Ять остановился: вдали послышался топот целой кавалькады. На узких улочках пешему трудно разминуться с конным отрядом; Ять поднялся на крыльцо роскошного двухэтажного особняка и прислушался. Внезапно дверь распахнулась, сильные руки сгребли его в охапку и втащили внутрь. Ять так обалдел от неожиданности, что, увидев перед собой Грэма, уже не удивился: реальность окончательно утратила смысл.

— Грэм, откуда? — только и спросил он.

— Вы что, самоубийца? — запыхавшись, спросил, в свою очередь, Грэм. — Кто ходит по городу в эту пору?!

— Но до темноты еще долго...

— При чем темнота? Гетман объявил комендантский час с трех!

— Какой гетман?

— Вы ничего не знаете? — округлив глаза, спросил Грэм.

— Откуда мне знать, я только из Гурзуфа!

— А разве в Гурзуфе не то же самое?

— Нет, там татары.

— Я мог ожидать, — кивнул Грэм. — Ну, идемте.

— Погодите, вы-то как здесь оказались?

— Идемте, идемте — Грэм потянул его за рукав. — Сейчас чем дальше от дверей, тем безопаснее.

И точно — где-то неподалеку, чуть не напротив, бренькнуло разбитое стекло. Вскоре кавалькада заюкала совсем близко, но всадников Ять не видел: все окна были забраны ставнями и в доме царил полумрак.

— Я вас увидел в г л а з о к, — гордо заметил Грэм. — Еще немного — и я не поручился бы за вашу будущность...

Сухо треснул выстрел.

— О, дум кер! — послышался из соседней залы ворчливый старушечий голос. Ять различил шарканье туфель, открылась дверь, и перед ним предстала невысокая старуха в сером платье и теплой шали. Судя по всему, это была хозяйка дома.

Большевики в Ялте не удержались — уже в декабре местный градоначальник Терновский предпринял попытку реванша; в ответ из Севастополя явился крейсер «Верный» и учинил небольшую расправу. Власть в Ялте на короткое время вновь получила Таврическая республика, а Терновский спасался в подвале дома, который, словно по молчаливому сговору, избегали разорять все власти.

Впрочем, в середине марта Бог весть откуда явился гетман Чернорудько, пообещавший для начала разобраться с жидами, а потом перевешать и остальных большевиков; тут-то градоначальник и попытался активизироваться, но Чернорудько его не принял, передав на словах, что по-хорошему за сдачу города голодранцам он заслуживает повешения, — а впрочем, пусть убирается: Ялта теперь часть Вольной Сечи, которую гетман намеревался восстановить в границах семнадцатого века. В перспективе он подумывал и о завоевании Туретчины.

Утратив надежду на гетмана, градоначальник Терновский вернулся в спасительный подвал, где уже переживал внезапную беду глава большевистского правительства Ялты Кропачев. Большевик Кропачев и градоначальник Терновский вынужденно уживались под общим кровом — и, надо заметить, не враждовали. Оба мечтали скинуть гетмана. После

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

бескровного захвата Гурзуфа босяцкой армией эсера Свинецкого к ним присоединился бывший глава гурзуфского большевистского правительства Трубников, который хотел попросить у Кропачева подмоги, но в результате разделил с ним подвал.

А Грэм привел в подвал Свинецкий, давний товарищ по ссылке. Свинецкий как раз приехал в Ялту из Гурзуфа на предмет небольшого экза — и обалдел от множества неожиданностей сразу: во-первых, в городе уже хозяйничал гетман, во-вторых, в нем невесть откуда появился старый приятель Кремнев! Являться на прежнюю квартиру Свинецкому было опасно — его хорошо знали в городе и могли запросто сдать молодцам гетмана; возвращаться в Гурзуф ночью было рискованно. Чутьем опытного конспиратора эсер нащупал в Ялте безопасное место, где все в итоге и встретились — градоначальник, большевик, несостоявшийся диктатор Гурзуфа и беллетрист. В эту-то компанию и попал неожиданно Ять, которому в силу его иудейской внешности — черная шевелюра, нос с горбинкой, — могло капитально не поздоровиться при встрече с гетманским патрулем.

Все это Грэм тут же бегло изложил ему.

— Ночью возможны о б л а в ы, — со значением шепнул он. — Обыск тут едва ли будет, но в подвале надежней... Завтра днем попытаемся уйти.

Он представил Ятя хозяйке («Мой друг, известный писатель из Петербурга»).

— Как много едет в этот сезон писателей, — прокряхтела старуха. — Ялта стала модное место, да...

— Ну, идемте в гостиную, — гостеприимно пригласил Грэм. — Я вас сейчас со всеми познакомлю.

Больше всего сборище напоминало пятерку приятелей из только что придуманного рассказа, неведомой силой собранных в приморском городе после долгих лет разлуки. В гостиной при свечах мрачно сидели по углам осунувшийся Свинецкий, толстый и благодушный градоначальник Тернов-

ский, никогда не терявший бодрости духа большевик Кропачев, сам рыбак, из бывших матросов, и до смерти перепуганный Трубников; он был уже не рад, что ввязался в большую политику. Свинецкий грыз спичку: табак был на исходе, приходилось экономить. Появление Ятя явно прервало затяжной спор.

— Вы? — вскинулся Свинецкий. — Но ведь я арестовал вас. Побег?

Это «я арестовал вас» выглядело так трогательно в его положении, что Ять почувствовал к нему теплую симпатию.

— Видите ли, — осторожно попытался он объяснить эсеру особенности текущего момента, — история несколько укорилась. Власть переменилась.

— Значит, вы не бежали, — зажимая бороду в кулаке, мрачно констатировал Свинецкий. — Как были тряпкой, так и остались.

Даже в этой ситуации его больше всего заботил вопрос о воспитании из Ятя истинного революционера.

— Не успел, — виновато признался Ять. — Татары освободили.

— Татары? — вскинулся Терновский. — Восстание? Что вы говорите!

— Да, восстание. Обиделись на закрытие рынка и ночью захватили Гурзуф.

— На Ялту идти не собираются? — с надеждой спросил Кропачев. — Они бы эту суку гетманскую в один укус...

— Не знаю. Пока устанавливают в Гурзуфе свои порядки. Русским на рынке ничего не продают, готовится всеобщее обрезание...

— Кто бы мог подумать! — всплеснул пухлыми руками Терновский. — Такие смиренные...

— Революция электризует массы, — важно заметил Свинецкий. — Я рад, что возрождаются национальные движения. Российская империя была тюрьмой для всех народов, кроме русского...

— Вот вам национальные движения! — Терновский мотнул головой в сторону наглухо закрытого окна. — Пришел неведомый хохол и прогнал всех.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Пролетарии все братья! — стукнул кулаком по колену Кропачев. — Что ж мы, для того русского царя скинули, чтобы у нас гетман сидел? Или, того хуже, мулла? Спасибо вам широкое от рабочего классу, сменяли гуся на порося!

— Сейчас не спорить надо, товарищи, — робко заметил Трубников. — Сейчас думать надо, как татар погнать да гетмана скинуть, а уж там договоримся...

— Нет, не договоримся! — вскинул голову Свинецкий. — С вашими товарищами пытались договориться — они украли революцию, как цыгане крадут ребенка! Мы должны выяснить все между собою сейчас, и только сейчас!

Эта уверенность, что в полутемной ялтинской гостиной решается судьба России, окончательно развеселила Ятя. Он уселся в свободное кресло и приготовился слушать.

— А как вы попали в Крым? — подозрительно спросил Терновский. — С большевистским поездом?

— Это не был большевистский поезд, — веско пояснил Грэм. — Не верьте слухам. Я тоже прибыл этим поездом, но с о с о б о й миссией.

— Позвольте узнать, какой?

— Терпение, терпение, — усмехнулся Грэм, и Ять поразила его уверенности: не было в России другого писателя, который бы так уверенно претворял вымысел в явь.

— О, как это будет прекрасно! — не слушая никого, увлеченно фантазировал Свинецкий. — Могучая центробежная сила революции... страна, подхваченная ею, распадается на множество автономий! Гибнет удушающая центральная власть, в каждом вольном городе расцветают свои таланты... своя письменность... Потом можно объединиться, но вначале, когда падают скрепы... Гигантская махина, лежавшая тяжелой тушей на пути человечества к будущему, превращается в цветущий сад национальных государств, свободных, новых...

В эту торжественную минуту послышался резкий стук в дверь, и мимо гостиной прошаркала хозяйка, сквозь зубы ругающаяся по-датски.

— Кто это? — трясущимися губами прошептал Трубников.

— Господи, да успокойтесь! — отмахнулся Грэм. — Это Егор, дворник, пришел с базара...

Послышались стук отодвигаемой щеколды и тяжелые шаги. Дворник басовито отчитывался о приобретенном и потраченном.

— А почему она всех пускает? — полюбопытствовал Ять. — Что за старуха?

— Это фрейлина двора, Анна Густавовна фон Кирстенхардт, дальняя родственница императрицы Марии Федоровны, — уважительно пояснил Терновский. — Но пускает не всех — не то бы тут уже было, знаете... Мы с ней старые друзья, а новая власть, — он кивнул на Кропачева, — к ней еще в декабре ездила представляться. Слава Богу, хватило ума не трогать старушку.

— Со старушками не воюем! — огрызнулся Кропачев.

— Она бабушка известная, — подтвердил Трубников. — Ее на всем побережье знают. Помогала много, на бедных давала...

— А вы и брали, — презрительно заметил Свинецкий. — Вот — рабство...

— Однако вы тоже здесь, — тяжело, всем телом повернулся к нему Терновский.

— Здесь... потому что здесь пока безопасно. А все-таки я презираю и этого так называемого монарха, и его семью. Она надеется купить себе жизнь, когда кто-то из нас вернет власть, — вот ее расчет. Ведь все мы здесь — представители власти, вопрос только — кто раньше ее получит.

Ять тихо рассмеялся.

— Простите, — говорил он сквозь смех, — простите, господин диктатор, а все-таки это уж очень смешно. Сидят в одном убежище четыре властителя... прелесть что такое! Это, знаете, пасьянс такой был — четыре короля... Секунду, сейчас вспомню. Значит, четыре короля пошли к четырем дамам, выпили, расшумелись, пришлось, значит, соседям вызвать полицию... Полиция — это валеты. Потом все смешалось, а потом это как-то так раскладывалось, что...

— Вы всегда иронизируете, — недовольно заметил Свинецкий. — Это позиция труса, но вы сами себе не желаете отдать в этом отчет. Когда-нибудь придется платить за все... решаться на что-то... Боюсь, из вас так никогда и не сделаешь человека.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Не имею чести вас знать, — обиженно заметил Терновский, — вы, может быть, с особой миссией из Петербурга, но позволю себе заметить, что градоначальник Ялты — должность не пустая, я в должности седьмой год, и город в его современном виде...

— Да я не подвергаю сомнению ваши заслуги! — миролюбиво остановил его Ять. — Но как вам в этом, с позволения сказать, убежище не ясна тщета всех ваших разногласий? Ей-Богу, только русские могут сидеть в подвале и еще спорить, спорить, спорить...

— А что делать?! — вскинулся Свинецкий. — Лапки кверху — так, по-вашему, благороднее?

— О душе думать, — вздохнул Ять. — Или хоть сообразить, как гетмана сбросить...

— Мы об этом и спорим! — развел руками Терновский. — Нельзя же действовать, не договорившись об основах...

— Да вы для того только и спорите об основах, чтобы не переходить к делу. Вот вы, Владимир Васильич, — отнесся Ять к Свинецкому, — хоть бы акт организовали! Не насмерть, конечно, но так, чтоб оглушить. У вас получится, я думаю... — Ять изо всех сил пытался загнать внутрь неудержимый смех, но он лез наружу, как пена из бутылки.

— Акт? — с невыразимым презрением отозвался Свинецкий. — Чтобы власть досталась господину Терновскому или вашим друзьям большевикам?

Ять понятия не имел, с чего большевики вдруг стали его друзьями, но доискиваться причин не стал.

— Все мы тут временно, — продолжал Свинецкий. — Я пересажу комендантский час, утром выйду и продолжу работу... Но союзничков среди большевиков или царских прихвостней искать не намерен — если мы и победим, то сами!

— Вот оттого-то вы, товарищ эсер, никогда и не победите, — ласково заметил Кропачев. — Большевицкая тактика борьбы — она какая? Она такая, что хоть с чертом лысым, хоть вот с товарищем Терновским на врага идти, — а потом и разбираться, чья возьмет.

— Эта тактика нам слишком известна, — поджал губы Свинецкий.

Воцарилось тягостное молчание.

— А табачку у вас, товарищ, нету? — нарушил его Трубников, искательно глядя в лицо Ятью.

— Есть немного.

— Спустимтесь в подвал, перекурим? Тут нельзя, у хозяйки грудь слабая...

— Пойдемте, — кивнул Ять.

— Я с вами, пожалуй, — встал со стула Грэм. Видно было, что курить очень хочется и Свинецкому, но он не мог себе позволить брать табак у идейного противника.

— Вы не будете? — спросил его Ять.

— После, — с усилием ответил эсер.

Спуск в подвал находился в кухне — внизу хранились припасы и вина, которые старухе поставляли с Голицынских складов. До молодого красного вина она была великая охотница. Трое — Грэм со свечой впереди, Ять и Трубников сзади, — спустились в небольшое помещение, тесно уставленное деревянными ящиками. Пол в подвале был земляной, холодный, пахло сыростью.

— И вы тут всю ночь просидели? — поежился Ять.

— А что ж делать. Гетману-то закон не писан — нагрянет с обыском, не посмотрит, что старуха... Одна надежда — сюда не полезут. Правда, у Свинецкого пистолет, но что мы с одним пистолетом... Я его давно знаю, по ссылке, — человек хороший, но в е з е н и я не знает ни в чем.

— Вы его тоже знаете? Вот мир тесен...

— Не так мир тесен, как нас мало, — утрюмо улыбнулся Грэм.

Трубников молчал и с собачьей преданностью заглядывал в лицо то одному, то другому. Грэм прилепил свечу к ящику и присел на другой.

— Знаете, Грэм, — сказал Ять после первых жадных затяжек, — я историю выдумал. Как раз в вашем вкусе. Встречаются у моря пятеро друзей, которые прежде тут бывали, влюблялись, веселились — но после жизнь их раскидала. Скрывают друг от друга, зачем приехали, выдумывают дурацкие предлоги, — но потом выясняется, что они и сами не знают, зачем собрались. Так, внезапный толчок. Дальше не придумал. Как по-вашему, что дальше?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Это может быть любопытно, — кивнул Грэм и ненадолго задумался. — Я думаю, что они — один человек, действие внутри человека.

— То есть?

— Меня всегда тянуло написать детектив, где бы все убили одного, потому что этот один стал им мешать. Но он не вне, а внутри героя. Допустим, вы встречаетесь с девушкой и вы влюблены, как только умеете быть влюблены. Само собою, от этой любви вы становитесь другим — добрей, умягченной, чище. Но прочие части вашей души остаются теми же: вы ходите на службу, бегаєте к надоевшей любовнице, читаете газеты, играете в клубе, и все это разный вы — в разном кругу... Из этой пятерки, составляющей подлинный ваш облик, есть еще один, которого никто не знает, — это вы наедине с собой, и только вы повелеваете остальными. Теперь представьте: она разлюбила вас. Кому нужен этот чистый, этот г л у п ы й?! Он только тревожит остальных, и они замышляют убить его. И здесь, у моря, — он уже увлекся и импровизировал, глядя в темноту, не чувствуя, как окурок жжет ему пальцы, — здесь, у моря, где она когда-то бросила вас, вы убили его, вытравив из себя. Но убийцу тянет на место преступления, и они, все пятеро ваших «я», толкают вас приезжать сюда снова и снова — так бы я это развернул.

— А дальше?

— Ничего не надо. Стоят у моря, и каждый видит его не так, как другой. А вас, их сумму, дать в конце глазами девушки, х о р о ш е й девушки, спешащей мимо: она видит, как одинокий нервный человек, потирая лоб, стоит у моря и говорит сам с собою. Ей страшно, что он прыгнет сейчас. Она подходит. Ну, и дальнейшее — на воображение читателя.

— И убитый воскреснет?

— Может быть, и да, а может быть, родится другой, — твердо сказал Грэм, очень довольный собой. — Так — вам нравится? Вина не хотите?

— Так ведь чужое...

— Глупости, куда старухе столько вина. Мы в прошлую ночь вон тот ящик почти опорожнили, но одна бутылка еще есть.

— Не могу, — отказался Ять. — Я гость...

— Я тоже гость, но мы художники, — возразил Грэм. — Мы никогда не возьмем вещей или денег, но все вино мира принадлежит нам. — Он взял из дальнего ящика последнюю пыльную бутылку, ловко вышиб пробку и принялся жадно пить, запрокинув голову.

— Оставьте, товарищ, — робко попросил Трубников. — По-братски...

Грэм неодобрительно хмыкнул, но пару глотков непрошеному братцу оставил.

Старухино вино оказалось превосходно, еды она не предложила, и после третьей бутылки терпкого веселого напитка он-таки охмелел. Все события последних дней — встреча с Таней, эсер, арест, ходуны, татары, — смешались у него в голове. Ни одно из них — кроме, конечно, возвращения к Тане, на котором тоже с самого начала лежала печать странной обреченности, — больше не имело веса. Все это могло быть, могло не быть, а больше всего похоже было на тяжелый, отрывистый сон; и если сам он, опытный сновидец, мог так существовать весьма долго, — для страны, хотя бы и такой дикой, прелестной и печальной, как Крым, все это было куда как неблагоприятно.

Сказывались бессонные ночи, и Ять задремал, привалившись спиной к неподвижно сидящему Грэму. Когда он просыпался, ему казалось, в подвал набились какие-то новые люди, прячущиеся от очередной власти. Ять тряхнул головой, отгоняя морок. Голоса были прежние: властители опять спорили. Отчего русские так много спорят, и всегда в подвале? На воле, знать, времени не хватает, или слишком боятся попасть в подвал, тогда как в подвале бояться уже нечего...

Кто-то тяжело, гулко — так, что слышно было в подвале, — колотил в дверь.

— Господи! — взвизгнул Трубников.

— Облава, — сквозь зубы прошипел Свинецкий. — Всем молчать! Кто посмеет пикнуть — пристрелю!

Некоторое время сверху доносились только невнятные ругательства старухи да мягкий басовитый говор вошедшего. Наконец крышка тайного хода откинута, и по деревянным ступеням заскрипели тяжелые шаги.

— Не лякайтесь, не лякайтесь, шановны панове, — проговорил незнакомец. — Це ж я, ваш хетьман.

Ять расслышал, как Свинецкий взвел курок.

— Не стреляйте, ради Бога! — умоляюще проговорил гетман на чистом русском языке, почти без акцента. — Господа, я ровно в том же положении, что и вы... Умоляю... Позвольте мне объясниться...

— Ни с места, наглая рожа! — заорал Терновский, чувствуя себя хозяином положения. — Дошел, значит, и до тебя черед! Что, солдаты в городе? Скинули-таки тебя, тварь чубатая?!

— Сядьте, Терновский, — брезгливо сказал эсер, зажег свечу и закурил. — Рассказывайте, гетман, в чем дело.

— Ночью... ночью пришел крейсер «Верный», — уныло забасил гетман. — На нем бунт, матросы отказались слушаться большевиков...

— Молодцы! — восхитился Свинецкий. — Я знал!

— Да, да... Говорят, не для того царя скинули, чтобы теперь нас свои же угнетали... Они ушли из Севастополя, пришли в Ялту и хотят тут установить анархию. Черный флаг, наших всех погнали...

— А как же твои черножупаннички?! — торжествующе воскликнул градоначальник. — Армия твоя голоштанная как?

— Да какая же армия, — оправдывался гетман. — Я ж не военачальник, панове! Я хотел только, шоб вильна Украина... Вижу, шо большевики не особо много чего могут, ну и собрал горстку хлопцев...

— Горстку! — усмехнулся Кропачев. — От горстки мы б не побежали. Ты штыков триста набрал!

— И ста не было, вот те крест! — поклялся гетман. — Я ж не командир, панове. Я ж бухгалтер из са-

натории Крошева, под Мисхором. Чернодурко моя фамилия. Но вижу — все, кому не лень, власть берут, так шо ж я, хуже грузчика? Две буквы переставил, ну и...

— Ты грузчиков не трогай! — крикнул из угла Кропачев. — Грузчик, ежели он сознательный, землю двигнет!

— Та шо нам теперь делить, панове! — понурил голову Чернодурко. — Ну, напужал я вас трохи... Думаете, я не знал, где ты, Кропачев, сидишь? Негде тебе больше было, Кропачев, сидеть, кроме тут! Не стал бы вас брать, вот те крест! — Он размашисто перекрестился. — Теперь-то шо я могу, теперь матросы в городе... Анархья! Хлопцы мои разбежались, сам я сюда еле добеж — стреляют вовсю... Ух, хорошие ребята! — не последовательно восхитился он. — Черный флаг и это... Ленты пулеметные крест-накрест, бескозырочки... Ну, дадут теперь жару! Хорошо, если старушку нашу не тронут. Да шо вы речочете, панове? Шо я смешного сказал?

Но Ять уже не мог остановиться. Появление гетмана было последней каплей.

— Может, истерика? — озабоченно спросил Терновский.

— Ка... ка... какая истерика! — задыхаясь, слабым счастливым голосом выговорил Ять. — О... о... опомнитесь... Боже, какой восторг!

Терновский тяжело повернулся на своем пустом ящике, тот треснул, и скоро хохотали все семеро, включая гетмана.

23

— Ну ладно, мне пора. Благодарю вас, нижайше благодарю, — сказал Ять, стоя на крыльце особняка Анны Густавовны. Старуха смотрела на него неодобрительно. Было шесть часов вечера — до сумерек они проспали после тревожной ночи.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Но куда вы пойдете, в городе бандиты, — ворчала она.

— Мне они не страшны. Пусть гетман боится. Я попробую с ними поговорить насчет Гурзуфа — может, они и татар выкинут..

— Ага, выкинут, — кивнул Грэм, стоявший рядом. — И разграбят Гурзуф до фундаментов.

— Нет, я пойду. Спасибо за приют, но я долго в подполье не вынесу.

— Да я с ним пойду, — словно уговаривая мать гимназического приятеля отпустить его с собою на дикий пляж, вступил Грэм. — Мне тут тоже не опасно, я сам анархист.. Благодарствуйте, Анна Густавовна! Не надо ли чего? Может, дров наколоть?

— Егор все сделает. Но объясните, отчего эти перемены?

— В революцию играют. Свинецкий, а вы куда?

— У меня свои дела, — вскинул бородку Свинецкий.

— Что ж, гетман один останется?

— Почему ж. С Кропачевым. Трубников еще. А вам, Ять, я советую напрямик направляться в Гурзуф. С анархистами разговаривать — это не с гетманом нашим картонным. Они матросы, тут настоящий агитатор нужен. Я и пойду.

— Владимир Васильич, вас первого убьют, — попытался остановить его Ять. — Они агитаторами сыты по горло..

— Ладно, ладно. Не вам судить, какой я агитатор. Ступайте в Гурзуф и готовьте почву, я войду в город с отрядом не позже послезавтрашнего утра.

— Бог в помощь, — сдался Ять. Останавливать эсера было бесполезно, он знал это.

Не удостоив Анну Густавовну благодарности, Свинецкий сбежал по ступенькам и быстро зашагал вниз по тенистой улице, среди белых дач — к центру Ялты. Скоро он скрылся за поворотом.

— Что ж, — вздохнул Ять. — А я назад. Грэм, вы со мной?

— С вами. Благодарю вас, Анна Густавовна. — Грэм еще раз низко поклонился.

— Не на чем, не на чем.. — Старуха закрыла дверь и долго возилась с засовом, ругаясь по-датски.

— Чудесная старушенция, — сказал Ять. — Может, в са-

мом деле имеет смысл остаться, постеречь дом? Матросы, кто их знает...

— Я знаю, — решительно сказал Грэм. — Матросы не станут разорять домов. Анархия — это не то, что вы думаете. Это лучше, чем гетман.

Они спускались по узкой каменистой улочке. Пахло прелью от прошлогодних листьев, свежестью — от земли, морской солью и гнилью — от приближающегося моря.

— Знаете, Грэм, я, кажется, придумал конец истории с этими пятью. Но совсем не так, как у вас.

— Значит, хуже, — уверенно сказал Грэм.

— Возможно, возможно! Но мне кажется, что они все умерли. Просто в их жизни не было ничего лучшего, чем эти молодые поездки к морю, — вот они после смерти и полетели сюда. Но они еще не знают, что умерли, и ходят среди живущих, ни о чем не догадываясь. И встреча их, и посиделки в кофейнях, и разговоры, кто зачем прибыл, — все происходит после смерти. Что я здесь делаю? Может, меня действительно больше нет? Вот вы — живы?

— Нет, — сказал Грэм.

— То есть как — нет?!

— Нет, — повторил он. — У меня было лучше.

Ять расхохотался. Беллетрист был приятным спутником, особенно если подвигнуть его на одну из блестящих и темных импровизаций, смысла которых всегда ускользал, но детали были ослепительны.

Было уже темно, когда Ять с Грэмом вышли на последний, прямой участок засыпной дороги, ведущей к Гурзуфу. Идти оставалось не более часа. Дымка по-прежнему висела над горами, но над Аю-Дагом небо расчистилось: там, словно шары на ниточках, висели в густо-синем небе три крупные звезды. От божественной их чистоты и хрупкости на душе становилось еще более смутно, и с каждым шагом Ять ощущал нарастание тревоги: его не было тут сорок часов, за это время при нынешних темпах могло случиться что угодно... Он не боялся застать Таню униженной, оскорбленной, порабощенной, арестованной или, не дай Бог, пущенной по рукам. Ничего

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

подобного, чувствовал он, с ней случиться не могло. Он ожидал другого — вдруг ее вовсе нет в городе? Вот это было вполне в ее характере — внезапное исчезновение, бегство с другим, необъяснимая блажь...

— Все-таки, — вдруг сказал Грэм, — я ее не люблю.

Ять остановился, пораженный совпадением его слов со своими тайными опасениями. Человек вроде Грэма вполне мог читать мысли.

— Кого не любите? — спросил он на всякий случай.

— Россию. Не понимаю, как можно любить страну, в которой все время нужно прятаться в складках, а не то бьют ногами. Не одни, так другие.

— Но что делать-то, Грэм? — Ять перевел дух. — Вообще ее выжечь, что ли?

— А зачем что-то делать, — буркнул Грэм. — С д е л а т ь вообще ничего нельзя, родился — так живи. А она ест и не давится, ест и не давится...

— Это тоже слишком легко, — покачал головой Ять. — Верно, но легко. Вот это меня и останавливает.

Внезапно слышался приближающийся конский топот; земля задрожала. Грэм отпрыгнул с дороги и потянул Ятя за рукав в колючие кусты. Мимо них на малорослых, коротконогих татарских лошадях промчался отряд человек в тридцать — не оглянувшись на путников, они стремглав пронеслись мимо. Ять, однако, успел разглядеть халаты и островерхие шапки.

— Татары уходят из города, — все еще шепотом сказал он Грэму, когда они снова выбрались на дорогу, словно татары могли расслышать и вернуться.

— Может, анархисты пришли раньше нас? — предположил Грэм.

— Все может быть... Черт, я ноги стер... Но все равно — надо быстрее!

Первое, что они услышали на набережной, была ария Эскамилло в исполнении Маринелли. Его голос без труда покрывал полуверстное расстояние: до набережной было еще идти и идти, а Ять уже узнал любимый напев; правда, голос у Маринелли был тонковат для тореадора, но недостаток гус-

тоты покрывался избытком темперамента. Маринелли пел по-французски.

— Французы в городе, — шепнул Ять и улыбнулся. Отчего-то он сразу успокоился. Если пел Маринелли — все было в порядке.

Странная мысль пришла ему в голову, и он запомнил ее как лишнее подтверждение собственной же старой догадки: на самом деле мы все про себя знаем, но не все позволяем себе сказать. Ничто не предвещает разрыва, никогда любовь наша не была такой идиллической, — но две недели назад я входил в город с другой стороны... а теперь вхожу со стороны Ялты, словно совершив за эти две недели кругосветное путешествие. И опять набережная, и опять вечер, и наверняка она там — и ждет меня. И все хорошо, как никогда, — но все кончается... все кончается.

Впрочем, пять минут спустя, когда он подошел к дукану Кавалеридзе, он не думал уже ни о чем подобном: Таня, непостижимым чутьем снова угадав его приближение, выбежала на крыльцо. В ее раскрасневшемся лице, раскрытом объятии, во всей стремительной и напряженной фигуре было ликование, она даже привстала на носки.

— Ять! Ять! Я знала! Свобода, свобода!

Никаких мыслей не осталось в его голове. Он бешено прижимал ее к себе и вдыхал родной запах волос. Грэм стоял чуть поодаль, улыбаясь умильно: он обожал наблюдать и описывать чужое счастье.

— Свобода! — вырвалась она. — Ты знаешь? Татар погнали!

— Кто погнал?

— Собственно, они сами себя погнали... но идем же, я все тебе расскажу!

В дукане, за дальним столом, сидел одинокий Зуев, закрыв лицо руками.

В отсутствие Ятя гурзуфская татарская республика стремительно прошла свой отмеренный судьбой, не слишком длинный путь. В первый же день в городе вспыхнул конфликт между церковной и светской властью, а поскольку базар обезлюдел и продать почти ни-

чего не удалось — остро встал и вопрос о механизмах экономического выживания Гурзуфа; вдобавок внутритатарские разногласия по вопросу о государственном устройстве — республика или монархия — обострились в восьмом часу вечера: почти все непроданное вино было к тому времени выпито победителями, и в городской управе разгорелся многочасовой спор.

Вопрос о притязаниях духовной власти на единоличное управление Гурзуфом был решен немедленно: мулле Омару деликатно объяснили, что в Крыму всегда чтут аллаха, однако муллы не сеют и не пашут, а потому не могут досконально знать нужды простого народа. Истинной же причиной недоверия к церкви стало неодобрительное отношение консервативного муллы к употреблению спиртного. Мулла Омар, недовольно ворча, ушел выводить Маринелли на балкончик. Вопрос об отделении церкви от государства стал, таким образом, единственным, который успела решить крымско-татарская автономия.

Около девяти уже обозначился первый враг народа — грамотный татарин Ногай, зажиточный крестьянин из-под Алушты, считавший, что в совет, который будет управлять Гурзуфом, надо ради справедливости ввести хоть одного русского. Татарин Керим, пьяный в доску, в ответ заорал, что русские всех споят, — и Ногай, за подрыв национального духа, препроводили в бывший гурзуфский участок, где еще недавно сидел Ять. Следующий спор разгорелся из-за того, какой государственный строй следует установить в Гурзуфе: Керим настаивал на монархии, Селим — на республике с выборной властью; естественно, формулировалось все несколько иначе, поскольку слов «монархия» и «республика» никто из вожакон татарских отрядов не знал. Парадокс, однако, заключался в том, что республиканец Селим предлагал решить вопрос монархически, то есть послушаться его, Селима, — а монархист Керим требовал решения республиканского, то есть желал опросить присутствующих на предмет выявле-

ния большинства. Присутствующие имели свое мнение и предложили Кериму схватиться с Селимом; победил Селим, поскольку Керим не слишком твердо стоял на ногах. Сторонники монархии покинули зал заседаний и разлеглись на втором этаже.

Следующим обсуждался вопрос о захвате русских домов. Честный татарин Марат, в прошлом мясник, заявил, что грабежи во время установления правильного строя — это удел русских, а они, татары, всегда были известны своей честностью; Марата немного побили и легли спать. Утром, проснувшись с головной болью, наиболее авторитетные татары обнаружили, что ни один из главных вопросов государственного устройства не решен, а государственная деятельность сводится покуда к аресту Ногая. Ногаю отправили миску плова и бутылку домашнего вина, а сами приступили к решению главного вопроса — о письменности; Керим настаивал на русской грамоте, поскольку немного ее знал, Селим предлагал латиницу, поскольку собирался торговать с Европой, а Марат предложил писать по-арабски, так как рядом Турция и торговать в основном все равно придется с ней, а кроме того, так завещал пророк. Вопрос о письменности вызвал самые бурные споры — грамотных среди крымских татар почти не было, а потому собственное мнение об орфографии имел каждый. Все это время каждые три часа Маринелли добросовестно пел суры с балкончика. Русские с изумлением наблюдали за междоусобной дракой доселе кротких и мирных татар. В здании управы не осталось ни одного целого стекла, из комнат постоянно доносилось грозное «шайтан!», и к восьмому часу вечера старшины татарских отрядов заснули беспокойным сном лидеров национальной автономии.

В это самое время молодой рыбак Бурлак с товарищами подошли к управе, около которой несла стражу очередная смена русского караула, и быстро этот караул уложили внезапными и сильными ударами в живот (Бурлак для верности еще и оглушил каждого здоро-

вым пинком по башке). После этого половина рыбаков поднялись на второй и третий этажи, где аккуратно повязали спящее руководство гурзуфской республики. Прочие рыбаки и способное к драке русское население под водительством Бурлака тихо двинулись в верхнюю часть Гурзуфа, где лепились к горе татарские жилища. На щекастом лице Бурлака играла детская улыбка. Погром был краток и убедителен: пришлые татары разбежались кто куда, а коренное население раскаялось и долго еще не понимало, что это на него нашло. Финал гурзуфской национальной автономии был отмечен дружной попойкой на берегу. Связанные старейшины скрежетали на втором этаже управы. В карауле стояли темный, хищного вида бродяга и белокурый рыбак — те самые, которые несли стражу еще накануне. Этой службой им предложено было загладить коллаборационизм. За каждого из связанных они отвечали головами.

- Так-то, брат, — вздыхал белокурый.
- Рот закрой, — шипел темный.

Снов в эту ночь не было. Не было и близости. Ять устал: все ночи для любви и споров, а субботняя — Гипносу, богу твоему. Эллинизм в иудейской редакции. Он заснул, едва коснувшись головой подушки; Таня выстирала его белье и тоже легла.

— Здесь пора наводить порядок, — мрачно сказал дуканщик, когда в пятом часу утра в дукане остался один Зуев. — Торговли нэт, гостей нэт. Скоро сезон, никто не приедет. Как жить будем? Есть адын человек, который может навести порядок. Я его знаю, я его приведу.

24

Как и следовало ожидать, наведение порядка по плану Кавалеридзе началось с того, что пришли за Пастилаки.

Ять по обыкновению встречал утро в кофейне у грека. Было двадцать пятое марта, воздух уже потеплел, миндаль от-

цвел, зато распустились маленькие белые цветочки, очень душистые — грек называл их снежниками. Сам Пастилаки дремал на стуле, выставив его на солнышко. На нем была все та же лоскутная фуфайка, во рту торчала погасшая носогрейка, а Керим все так же играл сам с собою в нарды, словно и не было никакого татарского правления. Ять пил свой кофе, прихлебывал ледяную чистую воду, читал книжку из библиотеки Зуева и ждал, пока придет Таня: ей захотелось прибраться у Зуева в благодарность за прибежище, и Ять не возражал.

Таня зашла за ним вместе с Маринелли, намеренным искупаться. «Я совершенно не чувствую холода, полнота имеет свои преимущества». Ять встал, захлопнул книжку, радостно потянулся и, кивнув дремлющему греку, посмотрел в светлоголубую, сияющую даль. Все было хрустально и обещало волшебный день.

Они отправились в сторону диких пляжей, туда, где на кончике мыса — белый на белесом — еле виднелся гурзуфский маяк.

Словно только того и дожидаясь, им навстречу по набережной в сторону кофейни вихляющей походкой — руки в карманы — двинулась давешняя парочка: темный бродяга, словно выдуманный Хламидой для раннего романтического рассказа, и его светловолосый спутник. Ять хорошо их запомнил — три дня назад они охраняли захваченную татарами управу. Темный нехорошо посмотрел на Таню. Разминулись. Ять с облегчением вздохнул.

Между тем двое дошли до кофейни и приблизились к дремлющему Пастилаки.

— Э, Одиссей, — сказал один. — Пошли.

Пастилаки проснулся.

— Ты чего? — возрился он на гостей. — Пошли вон, я вчера вам наливал. Хватит.

Пришедшие переглянулись и неприятно усмехнулись.

— Пойдем, пойдем, — сказал другой. Речь их как-то странно изменилась: у обоих появился явственный кавказский акцент.

— Да куда мне идти? — спросил грек, и татарин Керим,

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

оторвавшись от народа, уловил в его голосе панические нотки. Это было уже странно — двое бродят вряд ли могли всерьез испугать толстого Пастилаки.

— Куда надо пошли, — сказал первый. — Сам знаешь.

— Не пойду никуда! — взвизгнул Пастилаки, но двое подхватили его под руки и бесцеремонно потащили вверх по дороге в город. Он тут же обмяк у них в руках и перестал сопротивляться, словно поняв, что раз тащат — значит, имеют право, протестовать бесполезно.

— Кому платить? — спросил Керим в крайнем недоумении.

Грузин неопределенного возраста Акакий Могришвили, до того сторож и фактически единственный хозяин покинутого имения Кавкасидзе, а ныне столь же единоличный правитель Гурзуфа, вошел в город ранним утром, по традиции правителей последнего месяца. Идти ему было недалеко — сторожка находилась у самого въезда в Гурзуф. В этой сторожке он обычно и сидел целыми днями, курил самосад, покашливал да смотрел сквозь кипарисы на море, синевшее внизу. Выражение, с каким он смотрел на все это, определить было сложно: он словно одобрял незыблемый порядок вещей, однако знал и иной, более совершенный порядок. Все можно устроить правильнее, но его пока никто не спросил.

О том, что Могришвили получил власть, в городе узнали мгновенно. Как ни странно, все были давно готовы именно к такому развитию событий. Сами понимаете, когда в городе давно нет порядка, обязан найтись кто-то, кто возьмет на себя ответственность. Так ли уж важно, что доселе он был сторожем в имении? В конце концов, имение по размеру превосходит весь Гурзуф. Как знать, может быть, при нем мы действительно заживем наконец как люди... Такие или подобные разговоры шли на базаре с утра. Общее настроение одним словом определить трудно: в нем деятельная бодрость сочеталась с расслабленной вялостью. Что-то вроде: «Итак, мы наконец выходим в решительный бой — но не столько мы идем, сколько нас идут, а потому оставьте усилия».

Могришвили был прагматик в высшем смысле слова — из тех, которые даже не знают, что такое прагматик; и это в самом деле совершенно не обязательно. Мало того: Могришвили был садовник, а это решает все. Из всех правителей Гурзуфа он был единственный, кто обладал народным, природным инстинктом власти — умел, когда нужно, подчиниться обстоятельствам, а когда можно — подчинить их себе. Есть вещи, которых не имитируешь, — они чувствуются; у народа и Могришвили было, если можно так выразиться, чутье друг на друга.

Как всякий истинный садовник, Могришвили знал, что программа действий не нужна и даже вредна — другие выдумают ее за тебя, прослеживая извилистый ход твоих интуитивно угадываемых действий, а в крайнем случае, изобретут задним числом в поисках оправдания для самих себя. Такое было время, — а какое было время, они выдумают, когда им надо будет оправдаться. Обо всем этом Могришвили много говорил с деревьями, населявшими его парк; он привык выступать перед ними с краткими успокоительными речами, когда обрезал или рубил. Говорить с деревом надо так, чтобы оно понимало, а понимает оно повторы, ибо привыкло к смене зимы и лета, зимы и лета — и так каждый год. Никого не надо поощрять к труду — это инстинкт труженика; так и дерево не надо поощрять к росту, ибо у дерева есть инстинкт роста. Надо только внушить дереву, что если оно принесет плоды и даст новые ветки — его не срубят, обрежут сушняк, удобрят и дадут тем самым веру в то, что оно трудилось не зря. Дороже всего в мире заведенный порядок — стоит завести его, как все начинает крутиться само собой.

Он вошел в загаженную управу и быстро объяснил страже, охранявшей управу, кого ей теперь нужно слушаться, — и они не возразили, как не возражали ему юные кипарисы, когда он садовыми ножницами придавал им благородную круглую форму. Он не стал говорить речи с балкона, а просто предупредил знакомых, чтобы те предупредили знакомых, а те — своих знакомых: все будет теперь правильно, то есть как по-старому, но лучше, чем по-старому. Чтобы сад рос, много усилий не надо — нужно не мешать естественному порядку вещей и мешать противоестественному; так я говорю?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Они сказали: так.

Он велел прислать к себе старшину рыбаков. Нельзя, чтобы у рыбаков не было старшины. Быть может, они еще не знали об этом, но теперь, когда он приказал позвать старшину, его немедленно выберут — хотя бы от страха; а тот, кого выбирают от страха, и есть самый законный старшина. В каждой оливковой роще, в каждой кипарисовой аллее Могришвили безошибочно выбирал главное дерево и, объясняя свои действия, обращался главным образом к нему. Наибольшим авторитетом среди рыбаков пользовался молодой Бурлак, победитель татар. Бурлак пришел к Могришвили. Молодой, это хорошо. Но он считал себя очень сильным, нехорошо. Могришвили объяснил Бурлаку, что теперь опять надо ловить рыбу, а больше ничего не надо. Платить четверть от выручки надо ему, Могришвили, потому что его люди стерегут базар. Раньше так не было — но раньше и порядка на базаре не было. Теперь на базаре будет чистота, он позаботится. Выстроят новые ряды, об этом он тоже позаботится. За все это надо платить, а кто не будет платить — не будет торговать на базаре. Другого базара не будет. Это говорит он, Могришвили, и говорит по-доброму, дружески. Есть закон, а как без закона — мы все уже видели. Ты понял меня, рыбак? Иди, рыбак.

Он не против, чтобы на базаре торговали татары. Но татары уже устроили один беспорядок, и городу не нужен другой беспорядок. Пусть татары платят городу треть, а не четверть, потому что их надо защищать от гнева русских. Русские делают вид, что простили бунт, но они ничего не забывают. И если татары хотят торговать на этом базаре, пусть платят треть. А другого базара не будет. Ты понял меня, татарин? Иди, татарин. И запомни: если ты хочешь говорить по-татарски — ищи другой город. Я грузин, но смотри — я говорю по-русски. Ведь ты понимаешь, когда я говорю? Я тоже хочу понимать, когда говоришь ты. Я так уважаю тебя, что хочу понимать все, что ты говоришь. Иди, татарин, и скажи татарам: скажи по-татарски, в последний раз.

В городе есть дома, которые занимают люди, ничего не сделавшие для города. Может быть, это хорошие люди, но нет

закона, чтобы хорошие люди жили в хороших домах. Есть закон, чтобы в хороших домах жили полезные люди. Иногда хорошее дерево растет не на своем месте: в дубовой аллее не должен расти кипарис. Кипарис должен расти в кипарисовой аллее, верно я говорю, историк? Зачем тебе двухэтажный дом, тебе не нужен двухэтажный дом. Ты понял меня, историк? Дуканщик Кавалеридзе кормит мясом весь город, и ему нужнее двухэтажный дом. Он имеет дочь. Иди, историк.

— У меня гости, — робко сказал Зуев.

— Нам не нужны гости, — спокойно сказал Могришвили. — У нас самих не так много пищи. Иди, историк, и скажи, чтобы твои гости ехали туда, где их дом. Я даю им время до завтра, но завтра хочю, чтобы было, как я сказал.

И еще Могришвили мечтал об опере. Он всю жизнь мечтал об опере, потому что знал, что в настоящем городе должна быть опера, и еще потому, что музыка благородно действует на деревья. Они меньше раскидываются, растут стройней — словно дисциплина, которой подчиняются звуки, волшебным образом распространяется и на ветки. Люди должны слышать благородную музыку, а не грубые песни. В Тифлисе Могришвили однажды был в опере. В опере все сидят чинно, одетые по-праздничному. Гурзуфцам нечего шататься по вечерам — они должны сидеть в дукане у друга Кавалеридзе и потом идти в оперу, а впоследствии он совместит дукан с оперой, чтобы люди могли слушать музыку и кушать в перерыве. Опера делает жизнь красивой и благородной, в опере любят красиво и убивают красиво. Я слышал, что у татар был певец. Пускай позовут певца.

Маринелли нашли на пляже. Он стоял у воды в полосатом купальном костюме чудовищного размера — Ять и не предполагал, что такие бывают; впрочем, тело итальянца отнюдь не производило впечатления рыхлости. Он был толст, но мускулист, и Таня невольно залюбовалась им.

— Я мечтаю искупаться с тех пор, как сюда приехал! — торжествующе объяснял он по-английски. — С этими вечными сменами власти никогда не дадут выкупаться! Я понимаю теперь, почему у русских есть настоящие певцы, но нет на-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

стоящих пловцов: певцов воспитывает каждая власть, а плавать некогда. Но ничего, теперь я вам всем покажу, как плавают итальянец. Вода, конечно, не та, что в Неаполе, — о, мате Тиггена, мое лиловое счастье! Но я и в Неаполе купался во всякую погоду, и холод меня не остановит. Отойдите, я разбежусь...

Однако разбежаться он не успел. Решительно ему не судьба была купаться в этот сезон, по крайней мере в Гурзуфе.

— Слышь, пошли, — сказал темный, спускаясь на пляж. — Ты, питерский! Усатый! Объясни ему.

— Что-то ты раскомандовался, — миролюбиво ответил Ять.

— Слышь! — крикнул темный. — Рассуждаешь много! Оторвись от бабы своей и валяй толмачь!

— Чего они хотят? — спросил насторожившийся Маринелли.

— В морду они хотят, — ответил Ять и без особенных колебаний ударил темного в глаз. Он не любил драк, но был предан и его терпению. Кое-чему он в молодости учился. Темный полетел на гальку, но сзади на Ятя наскочил белокурый и с силой выкрутил ему левую руку. Ять согнулся, крикнул, попытался лягнуть его ногой по колену — не вышло; тут поднялся и темный, подбежал к Ятю и врезал ему по носу. Ять рванулся, вырвался — не тут-то было: оба уже крепко держали его. Таня набросилась на них с кулачками, темный хотел отпихнуть ее, но сдержался.

— Слышь, ты не ссорься с нами, — сквозь зубы проговорил он. — Не то хуже будет. Власть теперь наша, понял? Толмачь кучерявому, и пошли.

— Они требуют, чтобы вы пошли с ними, — задыхаясь, перевел Ять.

— Пусть дадут мне одеться, — пожал плечами Маринелли. Он старался держаться невозмутимо, но крупно дрожал и явно перепугался не на шутку.

Поразительна была скорость, с которой черный и белый признали новую власть своей, хотя она и обременила их множеством дополнительных обязанностей; вероятно, дело было

в том, что она была своей по духу, — а еще вероятней, в том, что наряду с обязанностями снабдила их необычными полномочиями. Маринелли надел штаны и красную рубаху, в которой щеголял с утра.

Таня стояла поодаль, сжимая и разжимая кулаки.

— Отпустят их, отпустят, — жалостливо, несколько по-бабьи утешал ее белокурый, оборачиваясь. Все это время он не выпускал запястий Ятя; хватка была железная. — Я твоему и давеча говорил: глядишь, и отпустили.

— К управе топай, — сквозь зубы сказал Ятю темный. — Лишний раз шевельнешься — уьем, время не прежнее.

Это Ять и сам понимал.

— Почему двое? — равнодушно спросил Могришвили.

— Пересказывает он ему, — пояснил белокурый.

— Противился, сука, — сплюнул темный.

— Это ничего, что противился, — все так же спокойно сказал Могришвили, взглянув на заплывающий глаз босяка. — Если ты стража, тебе всегда противятся, если ты хорошая стража — возьмешь верх. Если ты плохая стража — будет новая стража. Хорошо, что ты пришел, — кивнул он Ятю, как будто тот пришел сам. Ятя поразила надменная царственность его скупых жестов. — Я объявил городу и теперь объявляю тебе, что нам не надо гостей. Сейчас не такое время, чтобы принимать гостей. Будет курортный сезон, мы подготовимся и тогда примем гостей. — Его речь с ритмическими повторами гипнотизировала, как суры Корана, но в ней не было той пронзительной, пустынной тоски, искупавшей многое. — С тобой девушка, заведи девушку. А ты, — обратился он к Маринелли, — будешь петь в опере. Мы построим оперу, и ты будешь петь в нашей опере.

— Он требует, чтобы мы с Таней уехали, а вас заставит петь в опере, — перевел Ять.

— Все заставляют меня петь! — взорвался Маринелли. — Скажите ему, чтобы он пошел к черту! Я сорвал

себе голос на этих сурах и не намерен больше выступать бесплатно! Я еду с вами! Я уезжаю на родину! Мы вместе едем в Ялту, находим корабль и сматываемся отсюда к чертовой матери! Не может быть, чтобы при анархистах в Ялту перестали заходить иностранные корабли!

— Хорошо кричишь, — невозмутимо сказал Могришвили. — Сильно кричишь. Я хочу послушать теперь, как ты поешь.

— Он просит, чтобы вы спели сейчас, — перевел Ять.

— Скажите ему, чтобы он пошел к черту, — заорал певец.

— Так и сказать? — уточнил Ять.

— Черт, черт, черт! Черт понес меня в эту страну! Чего доброго, они начнут меня бить. Этот хуже татар, я его насквозь вижу... Что я должен петь? Кто он такой?

— Грузин, судя по акценту. Житель Кавказских гор.

— Что такое «грузин»? Я не знаю кавказского репертуара!

— Пойте что хотите.

Могришвили спокойно слушал их перебранку.

— Хорошо кричишь, — одобрительно приговаривал он, — громко кричишь. Можно сделать так, что будешь совсем громко кричать.

— Что любят грузины? — быстро спросил Маринелли.

— Женщин, — не очень уверенно ответил Ять.

— Женщин любят все! Что еще?

— Вино.

— Вино, вино... Черт с ним, я спою ему про вино!

Маринелли встал в позу, и управа огласилась звуками застольной из «Травиаты» в оригинале. Ни о чем не подозревавший Грэм, который с утра ушел бродить по городу и сейчас добрал до базара, задрал голову и прислушался. Он обожал эту музыку. Под такую музыку должен был прибывать в город флот триумфаторов, на головном корабле — оркестр; оркестр на море — это следовало обдумать.

— Хорошо поешь, — кивнул Могришвили. — Но в одном месте не так: та-та-а-а-та, та-та-а-а-та!

Он пел фальшиво, негромким дребезжающим голо-сом. Он слишком долго вполголоса пел деревьям, боясь, как бы его не услышал кто-нибудь из Кавкасидзе и не поднял на смех.

— Повтори! — кивнул Могришвили.

— Спойте за ним, — перевел Ять.

— Но он фальшивит!

— Слышу!

— Что мне делать?

— Спойте, как надо. Может, не заметит.

Маринелли повторил первую фразу арии.

— Хорошо поешь, — кивнул Могришвили. — Но надо не так. Ми люди не гордые, ми повторим. — акцент его от раздражения усилился, лицо слегка побледнело, но больше он ничем себя не выдал. — Та-та-а-а-та, та-та-а-а-та! Слышишь, нет? Макароны любишь? Макароны ти любишь?!

— Он спрашивает, любите ли вы макароны, — тревожно перевел Ять.

— Скажите, чтобы он поцеловал меня в задницу! — заорал Маринелли и тут же точно скопировал фальшивое пение Могришвили.

— Вот-от, — удовлетворенно сказал диктатор. — Теперь вижу, что не только макароны любишь, но и музыку любишь. У нас будет опера, настоящая опера. Но ты поешь грубо, ты поешь низко. В настоящей опере должен быть кастрат, и у нас будет кастрат.

— Wha-at?! — взвился Маринелли, узнав слово, примерно одинаково звучащее на всех европейских языках. — What the hell is he saying?!

— Вероятно, — Ять едва сдерживал неудержимое и вовсе неуместное желание расхохотаться, — вероятно, он перепутал вашу фамилию. Помните, был некто Фаринелли?!

— Откуда этот кретин знает мою фамилию?! Прекратите ржать, разрази вас гром!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— О Господи, простите меня, Маринелли. Он не знает вашей фамилии. Он просто слышал, что в опере поют кастраты.

— Да черт вас всех подери! Почему каждая революция в этом городе начинается с того, что бритвой тянется к моим гениталиям?!

— Это не революция, — пояснил Ять. — Это контрреволюция. Она всегда начинается с этого.

Он до сих пор не верил, что все происходит всерьез.

— Скажите ему, что я иностранный подданный! — фальцетом закричал Маринелли.

— Он итальянец, — пояснил Ять диктатору и страже.

— Я вижу, — кивнул Могришвили. — Итальянцы хороший народ, макарони любят. Если Италия захочет повоевать, мы повоюем с Италией.

Ять перевел.

— Может быть, ему надо денег? — тоскливо спросил Маринелли.

— Боюсь, такое предложение только ухудшит наши дела.

— Ну, хватит, — сказал Могришвили. — Я послушал, как ты говоришь. Ты хорошо говоришь. Этого в участок, — кивнул он на Маринелли, — а ты останься.

— Но за что его в участок?! — не выдержал Ять. — Что он вам сделал? Вы просили спеть, он спел...

— Хорошо спрашиваешь, — кивнул Могришвили, — но тут ми спрашиваем. Ми! — неожиданно взвизгнул он. — Завтра вечером он будет петь на базаре, — добавил диктатор после паузы, демонстрируя подданным недюжинное владение собой. — Чтобы никуда не делся, будет сидеть в участке, репетировать. А ты садись, с тобой разговор будет...

Ять опустился в кресло, в которое так недавно его судорожно-величественным жестом усаживал Свинецкий. Все повторялось — не было только стражи. Ну ничего, сейчас поговорим, и, может быть, все окажется ерундой. Он добродушный мальй, наверняка все это шутки. Всегда можно договориться.

— Теперь слушай, что я скажу, — спокойно сказал диктатор, останавливаясь прямо перед ним. — Знаешь, кто я?

— Нет, — честно ответил Ять.

— Я Акакий Могришвили, садовник. Был садовник там, — он показал куда-то себе за плечо, — теперь садовник тут. Ты хорошо слышишь?

— Да.

— Встать!

Ять встал.

— Сесть, — спокойно сказал диктатор.

Ять исполнил и это.

— Встать. Сесть. Встать. Вот так, — удовлетворенно сказал Могришвили. — Хорошо стоишь, теперь сесть. Слушай еще, что скажу.

Он сделал паузу.

— Какое твое занятие?

Ять понял, что назвать себя журналистом — значит подписать себе приговор. Не исключено, что новый хозяин города захочет издавать в Гурзуфе газету.

— Я филолог, — ответил он.

— Встать, — невозмутимо приказал Могришвили. — По-русски скажи.

— Специалист по языку.

— Зачем специалист по языку, когда каждый знает язык? Ты всю жизнь чужой хлеб кушал, теперь понимаешь? Что ты еще можешь?

Могу удавить тебя, подумал Ять. Но тут же понял: не может. Эти желто-зеленые глаза парализовали его.

— Могу переводить, — глухо сказал он.

— Нам не надо переводить. Пусть они наш язык учат, правильно? — дружелюбно спросил Могришвили. — Русский язык — красивый язык, богатый язык. Сейчас скажи мне: правда, что в России отменили грамоту? (Об этом Могришвили услышал, когда в январе ездил в Ялту.)

— Правда.

— Хорошо, — кивнул Могришвили. — Вот бумага, пиши. — Он придвинул к Ятю чернильницу. — Пиши разборчиво, печатно и так, как я говорю. Дикрет номер

адын. Дик-рет, ти слышишь? Номер адын. С э-та-ва дня — сегодня какой дэнь?

— Двадцать пятое, — еще тише ответил Ять.

— С э-та-ва дня, двадцать пятое цифрой, каждый пищит, как слышит. Это а-би-за-тэл-на. Записал? Хорошо пишешь быстро пишешь. Но не так пишешь! — Могришвили выхватил у Ятя листок. — Это какая буква?

— Мягкий знак.

— Какой звук он делает?

— Он не делает звука, — объяснил Ять. — Он смягчает согласные.

— Согласные и так согласны, зачем их смягчать? — Невозможно было понять, шутит Могришвили или говорит серьезно. — Нам не нужны мягкие согласные, нам нужны твердые согласные. Какая это буква? Вот эта, в начале слова.

Его желтый, очень твердый ноготь упирался в слово «Обязательно».

— «О», — сказал Ять.

— Зачем «о»? Ты говоришь, ты знаешь язык. Как ты знаешь язык, если «о» и «а» не различаешь? А-би-за-тэл-на.

— Но вы сказали — писать, как слышу, — возразил Ять.

— Ты ТАК слышишь? О-бя-за-тел — мягкий знак — но? Нэт, ты слышишь а-би-за-тэл-на!

— Так слышите вы, — упрямо ответил Ять, чувствуя, что есть предел и его унижению — дальше он попросту не сможет о самом себе думать без отвращения. — Но откуда вам знать, как слышу я?

— Все будут слышать, как слышу я, — ровным голосом сказал Могришвили. — Потом словарь сдэлаим. Нá еще листок. Пиши: Дикрет номер адын. Дальше должен помнить. Дата, подпись. Подпись будет моя. Теперь ступай. И завтра тебя нэт. В девять проверю. Историку скажи — сам приду.

Ять вышел пошатываясь. Могришвили любовно посмотрел на декрет — первый документ гурзуфской государственности, с которого начнется отсчет новой эры. Но с введением нового летосчисления он решил подождать. Не нужно слишком много реформ сразу.

Вернулась стража, отводившая Маринелли в участок.

— Ты наберешь охрану к управе, — сказал Могришвили темному, безошибочно почувствовав, кто из двоих главный. — Будешь начальник этой охраны. Ты пойдешь со мной, — обратился он к белокурому. — Я пойду осматривать парк, ты будешь охранять меня в парке. Да, и вот еще что, носатый. — Он шутливо, но больно ухватил темного за хищный клюв. — На базаре повесишь вот это. Хватит им писать безграмотно, пусть пишут грамотно.

Он вручил темному декрет и вышел в сопровождении белокурого охранника, страшно гордого новой ролью личного стража.

Против воли Ять все ускорял и ускорял шаг, так что вниз, к дому Зуева, летел пулей. Отчего-то ему казалось, что стоит вернуться туда, на второй этаж, к которому он так привык и где был так счастлив, и все станет по-прежнему: он снова будет тот, утренний, счастливый Ять, никем еще не униженный, не предавший несчастного Маринелли (ведь это явное предательство — то, что он дал его увести), не исполнявший дурацкой гимнастики перед садовником — сесть-встать, сесть-встать, — там, в доме, безопасность и покой; и, может быть, перед лицом Тани развеются, как всегда, все химеры.

Дом был пуст. Ни Тани, ни историка нигде не было. Взять не могли, нет, взять не могли — ведь убираться сказали ему с Таней, а к Зуеву диктатор назавтра собирается с визитом — не иначе диктовать «дикрет номер два», о том, что предки гурзуфцев альмеки были грузинами...

Хлопнула входная дверь.

— Ять, ты здесь?! — кричала Таня. — Охрана мне сказала, что ты здесь!

— Ты была там? — в отчаянии крикнул Ять.

— Да, конечно! Я не могла больше ждать. Они сказали, что тебя выпустили. Что они там с тобой делали? Где Маринелли?!

— Со мной не делали ничего. (Он скорее оторвал бы себе голову, чем рассказал ей о гимнастике и декрете.) Он продиктовал мне идиотский декрет о том, чтобы все писали, как

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

слышит он. У него нет другой заботы, кроме грамоты. Маринелли увели и хотят сделать оперным певцом, но сначала обещают кастрировать. Думаю, угроза пустая, но чем черт не шутит.

Снова хлопнула дверь, и на второй этаж взлетел Зуев. Ять никогда не видел его таким: смуглое лицо стало зеленым, пенсне болталось на нитке.

— Вы здесь? Вы уже знаете?

— Смотря что, — отозвался Ять.

— Меня выгоняют из дома!

— Только этого не хватало. — Ять окончательно уверился, что спит. — Когда он столько успел?

— За мной пришли с утра... эти двое ублюдков... Он сказал, что теперь здесь будет жить дуканщик.

— А Маринелли арестован, — сказала Таня.

— Да черт с ним, с вашим Маринелли! Я прожил в этом доме полжизни, куда мне теперь деваться?! Здесь библиотека, архивы, рукописи... здесь всё!

— Может, можно как-то скинуть этого урода? Кто он вообще такой?

— Он местный садовник, — махнул рукой Зуев. — Никто не обращал на него внимания. Я всегда думал, что он сумасшедший. Ходил по саду, разговаривал сам с собой...

— Неужели в Гурзуфе не осталось нормальных людей?

— Откуда?! Их тут никогда не было много... Историческое общество частью разъехалось, частью запугано... Муравлев не пустил меня на порог, Самохвалов на рынке отвернулся, как от зачумленного... Откуда все так быстро становится известно?

— Знаете, — раздумчиво проговорил Ять. — Я был у него сегодня и знаю, что, если еще раз его послушаю, — дальше жить не смогу. Мне дышать будет стыдно. Вы не должны завтра уходить из дома.

— А что мне делать?

— Мы запремся тут. Таня, конечно, уйдет. Мы ее отправим в Ялту за подмогой.

Таня, все это время сидевшая на плетеном стуле молча, с низко опущенной головой и холодными руками, зажатыми между колен, — вскочила и топнула ногой:

— Я никуда не уеду! Как ты смеешь отправлять куда-то меня одну?

— Ну, не сидеть же тебе в осажденном доме...

— Идиот! Я никогда еще не сидела в осажденном доме! Мы же договорились попробовать всё!

— Таня, это не шутки! — крикнул Ять. — Шутки кончились!

— Шутки только начинаются. — Она тряхнула головой, внезапно развеселившись. — Что у нас есть, кроме ружья?

— Ружье есть у Самохвалова, — тихо сказал Зуев. — Ружье он, конечно, даст, но может и донести. Я его знаю, гниловат...

— А сколько человек сможет мобилизовать садовник?

— Сколько угодно, — пожал плечами Зуев. — Если он прикажет громить дачи... или грабить дома, что попримечнее... или откроет Голицынские склады...

— Кстати! Почему их не разграбили до сих пор?

— Это последнее табу, — покачал головой Зуев. — Не забывайте, гурзуфцы — потомки альмеков. Есть запреты, через которые и они не могут переступить. Но если этот заставит... тогда последние табу полетят к черту. В городе восемьдесят лет не было ни одного убийства! — Он вскочил со стула и бешено заметался по комнатке.

— Главное — первым выстрелом положить его, — твердо сказал Ять. — Без него толпа немедленно отрезвеет.

— Да? — скривился Зуев. — Вы хотите, чтобы толпу повели на штурм эти бандиты — черный с белым?

Ять замолчал. В словах историка был резон.

Неожиданно снизу, с улицы, донеслась «Марсельеза», исполняемая на языке оригинала.

— Что это?! — встрепенулся Зуев.

— Это Маринелли. Ах, черт! Что же можно для него сделать, пока эти не пошли нас штурмовать?

— Передайте ему вина! — воскликнула Таня. — Я сейчас же куплю на базаре.

— Но, может, попытаемся насчет побега? — предложил Ять. — Как-то подговорить... стойте, я сейчас.

Он спустился вниз. Дверь участка была заперта снаружи на гигантский висячий замок. Караул был теперь не нужен.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Ять забарабанил в дверь. В ответ донесся град ругательств на незнакомом гортанном языке. Голос, однако, с несомненностью принадлежал Маринелли.

— Маринелли, это я! — крикнул Ять. — Откуда замок — вы не знаете?

— Он замок с собой принес, — отозвался печальный голос Пастилаки. — Это с его склада замок, он там лопаты хранит. Ключ всегда при себе носит.

Ясно, безнадежно подумал Ять. Каждый входит со своим символом государственной власти; этот пришел с замком.

— А на каком это языке вы сейчас ругались? — не удержался он. Любопытство было в нем едва ли не сильней сострадания.

— Меня научил владелец кофейни! — отвечал Маринелли. — Он утверждает, что это кавказские ругательства.

— Вы что, подумали, будто диктатор явился за вами?

— Да. Учтите, я дорого продам свою жизнь!

— Хотите вина? Я попробую передать вам через окно.

— Лучше сбейте замок!

— Э, не балуй, не балуй! — раздался голос позади Ятя.

Он оглянулся. Наискосок, в тенечке, сидел его давешний охранник — человек из отряда Свинецкого.

— Я и не заметил тебя, — удивился Ять.

— Слона-то он и не заметил, — процедил образованный босяк. — Там на базаре отряд набирают — дай, думаю, послужу. Скушный город Гурзуф, грабить некого. На две дачи слазил — тошшишша!

— Слышь, — сказал Ять. — Я ему бутылку передам — ничего?

— Бутылку можно, — зевнул босяк. — Бутылку — милое дело...

Ять подошел к нему поближе и шепотом проговорил:

— А чтобы выпустить этих — сколько возьмешь?

Босяк посмотрел на него как на недоумка.

— Ты чего? — сказал он наконец. — Ты с кем шутики шутишь?

— Но меня же ты... или забыл?

— Так то ж на ночь, — искренне недоумевая, как можно

не понимать таких простых вещей, пояснил босяк. — И куда ты сбежишь, ежели у тебя баба тут? И начальство тогда в город уплыло, к тому же было большое на всю голову. А теперь такое начальство, что — уж! Ты мне хучь бочку выкати, хучь баб роту приведи — не, я с этим шутковать не стану... И тебе скажу — не шуткуй. На Руси до трех считают, на Кавказе до одного...

— И многих он там навербовал, на базаре?

— Да человек, считай, до ста наберет, — уверенно сказал босяк. — А потом и больше. Делать в городе нечего, а он хучь порядок наведет...

— Что ж, он вам и оружие дал?

— Оружие у нас вот, — босяк молниеносно извлек и покрутил в пальцах перед Ятем превосходную стальную бритву. — Да от эсерчика кой-что осталось... В общем, хлюпа вроде тебя порешим, да и толстячка, если сунется куда, не упустим...

— Ять! Эй, Ять! — донесся снизу счастливый голос Грэма. — Я нашел, слышите? В с е нашел!

Если подумать в тишине и при настоящей музыке, все сразу находится, — говорил Грэм, слегка задыхаясь. — У меня никогда не было кабинета: к чему? В кабинете ничего не высидишь. В ходьбе можно найти ритм, а у моря можно найти т е м у. И вот т е м а: старый моряк живет в поселке с маленькой дочерью...

Наивность Ятя была такова, что он посчитал это невинной болтовней, которой Грэм надеется отвлечь внимание босяка, чтобы сообщить нечто важное. Решив, что вино для Маринелли подождет, он вернулся с Грэмом в дом и вслед за ним поднялся к себе.

— Живет моряк с дочкой, — продолжал Грэм. — Он списался на берег, но делать береговую работу не умеет, как птица не умеет ходить. Город сплошь состоит из ужасных, приплюснутых жизнью особей...

— Да что вы нашли-то? — спросил наконец Ять. — Тут можно, все свои.

— Как — что? — не понял Грэм. — Это и нашел! Но послушайте сюжет: это будет феерия!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Грэм... — Ять сардонически улыбнулся, поняв, что есть в городе люди, понимающие в жизни еще меньше, чем он. — Вы знаете, что в Гурзуфе переворот?

— Знаю, конечно, татар погнали. И что?

— Татар погнали вчера, — еще ехиднее улыбнулся Ять. — А переворот случился сегодня. И я сильно подозреваю, что он последний.

— Кто теперь? — по-прежнему радостно спросил Грэм. — Рыбацкое временное правительство?

— Если бы. Теперь диктатура. Сторож из соседнего имения.

— Садовник, — мрачно поправил Зуев.

— Так прогнать его к чертовой матери, и дело с концом, — беспечно рассмеялся Грэм. — Татары — это я еще понимаю: татар много, и у них есть опыт и т а. Но садовник...

— У садовника гораздо больший опыт и т а, — передразнил его Ять. — У Зуева отбирают дом, нам с Татьяной предписано покинуть город, а в участке сидит певец Маринелли, которого хотят кастрировать.

— Ловко, — уже серьезнее заметил Грэм, взглянув на стенные часы. — И это все к трем часам дня? Ловко.

— Это не все. Он ввел новую орфографию, построенную на фонетическом принципе. Пишите, как слышится, но не так, как слышится вам, а как ему. Ему все слышится с кавказским акцентом: тарэлька, но — сол. Понимаете? Русский язык облагорожен клекотом горного орла.

— Его еще не растерзали? — деловито спросил Грэм.

— Напротив. Он пользуется в городе полной поддержкой. Наконец-то порядок и все прочее. Кроме того, за него все босяки и дуканщик.

— Так я пойду ему уши оторву, — беззаботно предложил Грэм. — Или, если хотите, вместе.

— Будет вам! — не выдержал Зуев. — Разве об этом сейчас надо думать, Господи! Надо понять, как организовать оборону...

— Тут мы, видите ли, решили не отдавать дом, — пояснил Ять. — Они завтра придут выселять Зуева и вселять дуканщика, а мы не пустим. Может, постреляем, может, восстание по-

дымем... Короче, есть план забаррикадироваться. Айда с нами?

— Что ж, — сказал Грэм. — Побывать в осаде — я всегда с удовольствием. Я как раз хотел писать об осаде, но не давалась развязка. Есть повести, которые без пули не окончишь.

Словно в подтверждение его слов, послышались одиночные выстрелы, шелкавшие в горах и отдававшиеся многократным эхом.

— Атакуют, — с досадой прошептал Грэм. — А мы не готовы... ничего не сделали, черт!

— Почему ж они с той стороны заходят? — не поверил Ять. — Нет, это не садовник...

И впрямь, это был не садовник. В Гурзуф входил сводный анархо-черножупанный отряд под командованием эсера Свинецкого. Во главе его, рядом со Свинецким, разбойно высвистывала дикий степной мотив видная балаклавская анархистка Татьяна Ястребова по кличке Птичка. Вслед за нею поспешали три ее телохранителя — бывший поручик Опалинский, беглый монах Жигунов и толстый матрос Сидоренко, лихо горланивший на мотив «Яблочка»:

— Эх, Родина,
Да ты уродина!
Вам уродина,
А нам смородина!

25

Барич пришел в маске лешего, Пемза оделся звездочетом (халат, колпак), даже бледный секретарь нацепил смешные заячьи уши, выклеенные из цветной бумаги. Хламида был в черной хламиде неизвестного происхождения, придававшей ему чрезвычайно торжественный вид. Да и случай был подходящий — последнее заседание «Всеобщей культуры», просуществовавшей ровным счетом две с половиной недели.

Удивительно, как они за эти шестнадцать дней притерлись друг к другу — тридцать человек, сплоченные полной изоляцией от прочего мира. А возможно, ничто так не спла-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

чивает, как обреченность, — все с самого начала понимали, что делают мертвое дело. В «Культуре» были не одни елагинцы, но и добрый десяток приبلудных персонажей, осколков бурной и тоже обреченной питерской литературной жизни тринадцатого года. Не было задачи более абсурдной, чем приобщение эстетов к народному просвещению, — но самая ее абсурдность и заведомая неосуществимость задачи были как-то сродни болезненному эстетизму Грабского, Працкевича, Тулина, Савина и оформителя предполагавшейся серии художника Хорошевского, прелестного, легкого человека, все делавшего шутя, щеголя, который и работает легко, щегольски, и так же голодает, и так же когда-нибудь умрет. Казарин им любовался.

За две недели они успели создать целую культуру «Культуры» — Корнейчук завел альбом, куда во время заседаний по очереди писали всякую чушь, приходящую в голову; Грабский сочинил драму в стихах «Противоестественный отбор» — о спорах при составлении проспектов; Барич испек цикл пародий — на Хламида, Корнейчука, Казарина; все были узнаваемы, над каждой смеялись. Восемь заседаний (Корнейчук сетовал, отчего их не сделали ежедневными) сдружили всех — и не зря сказал Хламида в прощальной речи, что для одного этого уже стоило затевать революцию, простите Господи.

Хламида полагал, что узнал о разгоне первым: ему протелефонил Чарнолуцкий и, пресекая расспросы, сообщил, что сделать ничего нельзя. «Им не нужно быть вместе. Кому-то наверху кажется, что это контрреволюция. Они стерпят инакомыслие, но заговора не стерпят», — сказал он, не дав возразить. Поразмыслив, Хламида признал поражение здравым.

— А издательство? — на всякий случай спросил он.

— Не знаю, — честно ответил Чарнолуцкий. — Вероятно, книги для чтения победившего класса будет теперь отбирать сам победивший класс.

— Но он понятия не имеет, из чего выбирать!

— Тем лучше для него. А впрочем, я не сказал последнего «нет». Может быть, потом, со временем... или их привле-

кут к составлению новой орфографии — нельзя же вечно без правил? Но сейчас несвоевременно, объясните им, как сможете...

Хламида не мог; и, придя на Елагин, был рад обнаружить, что во дворце все уже знают.

Итак, Хламида был в хламиде, Барич — в маске, Казарин — в банте, Корнейчук — с носом («Я всегда с носом», — шутил он) и даже Працкевич — в уродливой черной полумаске, очевидно, выкроенной из старого сюртука (ничего не умел делать руками). Этот Працкевич вообще был явный безумец — только в десятые годы такой безумец мог считаться поэтом, — но в стихах его на двадцать мусорных строчек попадалась одна алмазная; бывали и чистые восьмистрочные шедевры, пронизанные тоской такого невыносимого одиночества, что Казарин не смел смеяться над ним; говорят, такая тоска бывает перед припадком — сердечным или эпилептическим, а Працкевич жил от припадка до припадка.

Сходились, рассаживались: Хламида, просивший не опаздывать, по-прежнему строго посматривал на пустые стулья. Хмелев очень быстро перестал ходить на заседания, остальные являлись исправно. Последним влетел Корнейчук с тяжелым альбомом под мышкой.

— Что ж, все в сборе? — покашливая, встал со своего места Хламида. — Приветствую вас, господа, на далеко не последнем заседании редакции «Всеобщей культуры». Говорю так не с намерением вас утешить, ибо не люблю утешителей — они для того только заговаривают чужую боль, чтобы их ею не тревожили. Не стану говорить также, что полюбил вас — ибо двух недель мало для таких слов... но в наше время день идет за месяц, а потому знаю вас больше года и люблю, чертей лиловых! — воскликнул он, улыбаясь сквозь слезы, глаза его сияли густой синевой. — Люблю и верю, что не в последний раз мы собрались, потому что, рано или поздно, неизбежность нашей работы станет ясна всякому. Проспекты, нами составленные, я сохраню, и когда мы в скором времени встретимся — то начнем работу не с пустого места, а с этого вот фундамента, — он прихлопнул ладонью стопку листов, исписанных его мелким,

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

прямым полууставом; буквы стояли отдельно друг от друга — так, читал Казарин в доморощенном пособии по графологии, пишут люди, которым никак не удастся осознать связь между собой и другими. — Не падайте духом, будьте тверды и — не озлобляйтесь: те, кто разгоняет нас теперь, — не народ и даже не исполнители воли его. Народ — те, для кого мы трудимся; он, будет час, — и поймет, и оценит. Будет и наша библиотека — в сто, нет, в двести томов! Главное — не озлиться, не окаменеть в сердце своем: окаменеть — просто. Сколько я видел в жизни такого, что страшно казалось перо в руки взять: ну — чего ради? А — брал: без этого — уж совсем страшно.

А теперь, — закончил Хламида, снова улыбаясь прелестной застенчивой улыбкой, так удававшейся ему, — возьмем от жизни то единственное впечатление, которое брат от нее безболезненно и даже приятно вельми. Сие есть граппа, сиречь италианский самогон, из личных моих искитанских запасов. — Он жестом фокусника извлек из-под полы огромную оплетенную бутыль. — Берег сие для spryskivaniya первой нашей книжки, но для будущей серии найдется у меня кое-что и потом, а теперь хочу предложить вам сию усладу рыбарей искитанских. Кисловатая, но чистая, и протекает от нее, как писал преподобный Филофей-книжник, сила духовная и веселие сердечное, без примеси злобства и похоти. Виночерпий, ргео! — и подвинул бутылку к ушастому секретарю. Тот уже представлял перед собою заранее приготовленные стаканы, из которых на заседаниях «Всеобщей» пили обычно бледный чай с желтым сахаром. Сегодня чаю уже не было — но не сказать, чтобы замена огорчила елагинцев.

— Первую — за «Всеобщую»! — возгласил Хламида.

— Не чокаясь, — тихо добавил Горбунов.

— Чокаясь! — громко и властно настоял председатель. — Хоронить меня — рано, говаривал мой дед: я еще на твоих похоронах простужусь!

Несмело посмеялись, вытили по первой; народу было много, и при всей огромности бутылки больше чем на три глотка на каждого в ней не набиралось.

— А как вы полагаете, — спросил Горбунов, который за последнее время проникся к Хламиде если не полным доверием (никогда не любил его литературы), то неким подобием солидарности: оба окали, оба пострапанствовали. — Как вы полагаете: если мы откажемся расходиться — это их отрезвит?

Хламида сразу помрачнел. Вопрос был неприятный — еще и потому, что правильного ответа не существовало.

— Видите ли, — сказал он, помолчав. — Я могу ведь с вами говорить откровенно — не так ли?

— Конечно, конечно, — зашумели за столом.

— Так вот, — покашляв, как всегда в начале долгой речи, заговорил Хламида. — Сект — боюсь я, с тех еще пор боюсь, как Малинин свой скит сзубил. Не слышали? Ну — как же, громкая была история. Мужичок невзрачный, а — страшный: силу имел редкую, морок такой наводил, что, помню, чуть живой от него ушел. Последователей у него было, не собру, до трех тыщ человек; он, конечно, не всех учениками признавал, в ближнем кругу числил ровно сотню. У него это дело очень четко было поставлено: тридцать три — ад, это оглашенные; тридцать три — рай, это ближние; ну, и еще тридцать три — междуцарствие, как он называл. Сам он, сотый, был Петр — с ключами от рая; хорошо, что Господом он себя не провозгласил, это тонко было, умно. Я еще, помню, умилился. Что он в раю вытворял — вы уж, верно, догадались (Казарин догадался сразу — все истории Хламиды рано или поздно сворачивали на свальный грех). Любопытно, что в рай к нему очень все стремились; одна только, кого любил он по-настоящему, Галей звали, — все просилась в ад; интересная была девушка, некрасивая, но из тех, что — поглядишь в глаза и пропал. Ну вот: слава его была велика, «круги» по всей России пошли — извините за каламбур, кругами называл он общины, устроенные по его образцу. Церковь терпела, терпела да и не вытерпела: о свальном грехе в городе стало известно, он на свои радения райские и писателей приглашал, обещал «сладость малинову» и малиновый звон — я не пошел, мне — хватило впечатления от разговоров его. Собирались

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

они на радения в лесу — выстроили себе там терем, почти дворец с виду, в этакое, знаете, русском стиле. Из города выслали полицию, войска — уговаривали сдаться. Он в ответ: кто нас тронет — зажжемся! И они кричат, кружжането его (так они себя называли): голодом морите, пулями стреляйте — не вылезем! Что делать? Ждали три дня, а на четвертый штурмом пошли. Думали — он и впрямь запалиться хочет; ни-ни! У них у всех бритвы были припасены, да дурманом каким-то он обкормил их: как только солдаты на приступ — тут же все в скиту, и мужики, и девки, себе вены взрезали. Дом, говорят, весь в кровище был — потолки забрызгало. Правда, себя-то он тронуть не решился, — и тогда Галя, та, которую любил он, вся уже в крови, сама к нему кинулась и райский-то ключ под самый корень отхватила. Историю сию знать — следует: очень она остерегает от того, чтобы считать себя, знаете, орденом обреченных. Кончается тем, что — все вены режут, а главный боится; хорошо, коли найдется кто — нечто ему отхватить...

— Можно, конечно, и так сказать... — прервал молчание Казарин. Он не хотел вступать в спор, ибо сам еще не определился: оставаться было все тошней, уходить — все стыдней. Однако и сдерживаться было уже нельзя: он выговаривал наконец то, о чем давно думал бессонными ночами, рядом с тихой и тоже неспящей Марьей. — Можно сказать: не доводите их до зверств — и зверств не будет. Не запирайтесь, не протестуйте, не выходите на митинги — и вас не посадят, не поведут пытаться... Но это и значит попустительствовать — ведь тогда они еще верней перебьют всех, кто не они! Пусть не изжарят живьем, пусть только повывернут суставы да и повесят из милости, — но чего ждать, помилуйте? Неужели по всему, что они делают, не видно: правда теперь будет одна, и она у них?

Он задохнулся и умолк.

— Не могу я с вами больше спорить, Вячеслав Андреевич, — грустно отозвался Хламида, — ибо в словах ваших уже слышу голос посаженных в крепости. Разойтись и бо-

роться или уж боевым отрядом взять Смольный — это я могу понять; но запереться в скиту...

— Что мы можем взять?! — подал голос Горбунов. — Какой боевой отряд, если у нас тут один человек моложе сорока, и та девушка?

— Я вас в отряд не зову, — пожал плечами Хламида. — Я вообще думаю, что — хватит отрядов-то, не в отрядах истина...

— А сами бы в отряд пошли? — Граппа окончательно развязала язык Казарину; мало надо голодному человеку, чтобы охмелеть!

— Теперь — не пошел бы, — задумчиво проговорил Хламида, — а как повернется — не знаю... Никогда ведь не скажешь.

— Что же должно произойти? — не отставал Казарин.

— Вот ежели вы запретесь да запалитесь, тут бы я уж подлинно в отряд пошел — вас вытаскивать. — Хламида посуровел и принялся нервно теревить усы. — А насчет другого... я — не солдат, то есть другого полка солдат. Были, знаете, солдаты Преображенского полка: так вот, я — Преображенского. Мое дело — мир преобразать, а штыком его не преобразишь... нет! И остановиться трудно... Посему — позвольте об одном только просить вас: воздержитесь от боевых действий. Сам же я не премину еще не раз зайти к вам — не для работы уже, а для одного только удовольствия говорить с вами. Пустите?

— Конечно, конечно, — зашумели за столом.

— Вот и добре, — снова улыбнулся Хламида. — Хотя предпочел бы я заходить в гости к каждому из вас по отдельности — а?

Несколько виноватых улыбок было ему ответом.

Последним сюрпризом Хламиды был Напельбаум, обвешанный своей техникой. Он долго регулировал магниевую вспышку — лишь у лучших фотографов Петербурга было это приспособление, позволявшее снимать в темноте без электричества; например, на природе. Наконец установил, поджег, щелкнул — группа запечатлелась на века. Это пер-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

вое и последнее фото «Всеобщей культуры» — пятнадцать человек на втором этаже Елагина дворца; кто-то не захотел фотографироваться, кто-то ушел к себе. В центре — Хламида с бумажным корабликом в руке; у его ног картинно лежат Працкевич в полумаске и Корнейчук с длинным приклепанным носом. Секретарь на всякий случай сдернул бумажные уши — часто ли доведется сниматься в таком обществе? Казарин стоит крайним справа — у него понурый, виноватый вид. Пемза приобнимает хорошенькую Веру Головину, — она пришла сказать, что кружок уже собрался на очередной урок. Так Вера Головина осталась в вечности — обычно под этой фотографией ее обозначают как «Неизвестную». Других материальных следов ее существования нет — год спустя она умерла от тифа.

26

Пока Казарин сидел на прощальном заседании «Всеобщей культуры», Ашхарумова быстрым и широким, почти мужским шагом шла на Сенной рынок, где с началом весны открылся писательский книжный ряд.

У Ашхарумовой было несколько походок (и возрастов, и голосов): эта текучая протеичность ей самой казалась залогом если не вечной жизни, то по крайней мере долгой молодости. Люди вокруг начинали коснеть поразительно быстро. Некоторые так и умудрялись в двадцать лет застыть, при этом еще гордясь своей неизменностью, — и в пятьдесят рушились в одночасье, как стены. Смешно в Петрограде семнадцатого года думать, что в мире остались принципы. Мир давно уже текуч, — а может быть, и в другое время, в каких-нибудь брадатых семидесятых тоже было так, но не было Ашхарумовой, чтобы понимать это.

Мир летел, и она летела в текучем мартовском мире, в разрушающемся городе; двадцать минут назад она была женой, сейчас — свободной странницей, кем будет через десять минут — Бог весть. Вокруг ослепительно плавился лед. Оплавления и город, избавлявшийся от твердых форм: осыпались зда-

ния, смягчались контуры, размывались границы улиц. Текущий мир сверкал. Ашхарумова таяла в его блеске: ей было девятнадцать лет или тысяча лет, а в общем, и не было никакой Ашхарумовой. Умрем — перейдем в эти камни или почву, перетечем в иные формы, ручьями хлынем по улицам, сольемся с облаками, вплетем голоса в единый хор бытия. Она пролетела по Зелениной, протекла по Дворцовому, проросла в Сенную, и лучистый, тающий след тянулся за ней.

Писательский ряд на Сенной являл собою зрелище гротескное — как почти все тогдашние зрелища: нищета и жалкость дошли до такого абсурда, что перестали вызывать слезы, а только дряхлый, мудрый смех, каким, должно быть, последние римляне смеялись над собою и галлами. Где-то в тайных, полулегендарных питерских подвалах еще выменивались драгоценные рукописи на такие же сказочные, недостоверные вещи — фунт масла, окорок; но на Сенном торговали в основном литературой русского золотого века, наивными альманахами, где шла площадная литературная борьба, где ловили оппонентов на опечатках и с витиеватым многословием намекали на их тайные грешки — проигрался, донес, жил на содержании... Публика была самая живописная и разношерстная: тут было начало распада петербургской школы — заумники, «ушкуйники», пустоглоты, ничевошники, метафористы, аквилеги, людодоходы и вовсе уж загадочные квазеры. Тут тихо стоял похожий на гнома седобородый Труфанов с пачкой узорчато переписанных «Северных старин», якобы собранных во время радений под Архангельском, — на деле же взятых из сборника былин и обработанных до полной невнятицы; был замечен со своей кодлой распевавший похабщину Несеин («А прозванье-то мое — от того, что крестьяне мы не простые: не сеем, не жнем; крестьяне не по труду, а по нутру»). Пару раз пришел Мельников — повидаться с товарищами своих загадочных странствий; он раздавал местным полусумасшедшим крестовские пайковые папиросы и расспрашивал о знакомых бродягах, сведения о которых приходили по всероссийскому беспроволочному телеграфу. Что Константин? что Филимон? цел ли Рыжий Полковник? Все были живы, слава Богу; большинство подались на хлебный юг. Од-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

на беда — крестьяне уж очень озверели. Из темного разговора заумников, впрочем, немного можно было понять.

Барцев забегал сюда при первой возможности. Он еще оставался на Крестовском, не видя разницы между уходом и неуходом. И Льговский был прав, и Корабельников мил, а горячая каша — не последнее дело. Стечин, Аронсон и маленький, бледный Альтергейм (с пятнадцатого года в силу известных причин вся его семья писалась Альтеровыми) рылись в книжных развалах под равнодушным, отсутствующим взглядом букиниста, который, кажется, и не стал бы преследовать вора, — но в книжных рядах не воровали. Там их и увидела Ашхарумова: трудно было не узнать рыжего, широколицего, смешного малого, читавшего бессмысленные стишки у Зайки. Прав он был: при всей несвязности стишков она до сих пор помнила пару строчек. «Отвечает ирокез: я желал бы наотрез». Она поймала взгляд Стечина, помахала ему и подошла.

— Видите, Маша, Альтергейма в действующую армию провожаем, — сказал Стечин с непонятной интонацией — то ли гордясь, то ли, как всегда, насмехаясь. — Это поразительно: знаете, что я недавно слышал от одного сумасшедшего математика? Чем меньше для события предпосылок, тем больше вероятность, что оно случится. Ей-Богу, начинаю думать, что история движется по этому закону. Не говорю уже про всю прошлогоднюю заваруху, но призвать Альтергейма... Можно жарить соловья, но жарить морского конька...

— Ничего не понимаете вы со своим математиком, — ровным, бледным, бумажным голосом сказал Альтергейм, не переставая листать тонкими пальчиками французскую книжечку *in octavo*. — Надо же посмотреть, в чем там дело. Я открыл способ соединять далекие слова, способ вытолкнул меня к соединению с далеким материалом.

— Это надо Льговскому рассказать, — кивнул Барцев. — Он тоже все: материал, материал...

— Нет, это, право, удивительно, — продолжал Стечин. — Что б им, кажется, призвать меня? Ну, хоть Павла? Одень его в шинель — и готов Кузьма Крючков. Но Альтер, Господи! Отец старик, мать, сестренка четырнадцати лет, студент уни-

верситета, все детство проболел... Лотерея там у них, что ли? У меня в квартиру напротив вселилось пролетарское семейство: здоровяк на здоровяке, два брата с женами. Ни одного дня их трезвыми не видел. Напьются — бьют детей, топором перила рубят, соседи боятся нос высунуть... Отчего их никто не призывает? Или они теперь хозяева, а мы работники? Но при таких работниках недолго им кормиться...

— Надо же посмотреть, в чем там дело, — ровно повторил Альтергейм.

— А что, не являться никак нельзя? — спросила Ашхарумова.

— Можно, вероятно — Альтергейм пожал плечами. — Но скучно... Допустим, я уйду из дома; перееду к тетке... тетка с сыном живет. как с мужем. Очень мне интересны их игрища. Если все равно из дому, так лучше хоть подальше от города...

Он сказал о теткинском сожителе с сыном, не повышая голоса, не меняя интонации, и Ашхарумова подумала было, что ослышалась, — но тут он оторвал взгляд от страниц и взглянул на нее прямо; в его взгляде не было и тени восхищения ее красотой, здоровьем и силой, она не привыкла, чтобы на нее смотрели так тускло.

— Вырождение, — сказал Альтергейм, — что же вы хотите.

Ашхарумовой нравилось, когда люди не боялись смерти и даже искали ее. Но этот бумажный солдатик был как-то изначально мертв, и она его испугалась. Как все мертвецы, он знал о людях одно худшее и сейчас, глядя прямо в ее круглые счастливые глаза, что-то понял о ней; она вся выпцвела под его взглядом. Ей стало понятно, чего он ищет на фронте, — и чем быстрее найдет, тем лучше для всех.

— Какая вы свежая, — сказал Альтергейм бесцветным фальцетом. Compliment был сомнительный, от него припахивало мертвецкой: свежий труп, богатый материал.

Видя, как она поморщилась, Стечин на правах друга поспешил спасти положение:

— Ну что там, среди ваших ископаемых? Царя не выбрали еще?

— Там сегодня последнее заседание «Всеобщей». Слава

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

с ними остался. Что дальше будет — неизвестно; разгонят, по всей видимости.

— Разгонять не надо, — сказал Барцев. — Надо богадельню. Прямо сразу, только вывеску сменить. Как вы с ними выдерживаете, не пойму, честное слово. Приходите к нам!

— Знаешь, Паша, — усмехнулся Стечин, — наивно думать, что вид молодого дурака внушает больший оптимизм, нежели вид дурака старого. Старый дурак по крайней мере скоро излечится навсегда, а молодому еще лет сорок мучиться... Впрочем, по нынешним временам не поручусь.

— Сам дурак, — беззлобно отозвался Барцев. — Нет, Маша, я всерьез: не хотите на Крестовский — я понимаю. Старцы заклюют. Но не на Крестовском же свет клином, приходите в «Левей»!

— Где это? — удивилась Ашхарумова. Она никогда не слышала ни про какой «Левей».

— Это кружок, который левей Корабельникова, — пояснил Барцев. — Туда Льговский сейчас перешел и мигом всех подмял. Честное слово, приходите. Они на квартире у Калашниковых собираются — знаете сестер Калашниковых? Надя, Мила и Люба. Очень славные девушки, глупые такие.

Ашхарумова рассмеялась, хотя и понимала, что это нехорошо.

— Приходите, правда, — уговаривал Барцев. — Вы там в своем дворце совсем скиснете. У вас даже танцев не бывает.

— А у вас бывают?

— На Крестовском? Да у нас, можно сказать, одни танцы! Про кружок Акоповой слышали?

— А, Марьям-нагая...

— Точно. В последнее время еще эквиритмическая студия открылась. Козухин, не слышали? Говорит, что надо вращаться, вращаться и попасть в ритм земли, и тогда начнешь видеть будущее.

— Стало быть, земля видит будущее?

— Ну, это он так думает. Крутился, крутился и Корабельникову сказал: вы, говорит, последний. Корабельников даже побледнел весь. Он-то думает, что он первый. Стал допытыв-

ваться, что Козухин имеет в виду. Козухин сказал, что лучше ему этого не знать. Значит, точно по стихам последний. Корабельников плюнул и сказал, что с шаманами пусть Мельников разговаривает, ему ближе. В общем, у нас своя ерунда, у вас своя.

— Что же вы не уйдете? — улыбнулась Ашхарумова.

— Но ведь и вы не уходите.

— Мне есть для кого там оставаться.

— Ну и мне есть, — сказал Барцев. — Там каша прекрасная. Я вот знаю, что сейчас Валя про принципы скажет. Но ведь я за кашу не убивал никого. И они пока, — Барцев кивнул на стоящего неподалеку рослого матроса, — никого особенно не убили... Что, лучше было и дальше гнить?

— Да ничего я не скажу, — протянул Стечин и махнул рукой. — Я тебя с трех лет знаю, что мне с тобой спорить? Я не люблю, когда ходят с таким видом, будто им истина известна. Я гниль и знаю, что я гниль. И пусть не лезут со своими правдами. Ты любишь кашу, ну и люби кашу. Что мне за дело. Не хватало еще о политике спорить... Следующая стадия — гусарские анекдоты.

— Я знаю гусарский анекдот, — ровно проговорил Альтергейм, внезапно отрываясь от книги. — Его долго рассказывать, но история того стоит. Думаю, для дам в нем особенная пикантность...

— Я сейчас отойду, и вы расскажете, хорошо? — краснея и стыдясь этого, проговорила Ашхарумова. Менее всего ей хотелось бы выглядеть кисейной барышней, но она могла себе представить, каковы должны быть гусарские анекдоты от Альтергейма.

— Не стану, не стану, — успокоил Альтергейм. — Но тогда и вы сделайте мне одно одолжение. Других не понадобится. Приходите, в самом деле, завтра на проводы. Это не в «Левой», а у меня дома. Мне кажется, вам будет приятно на меня смотреть и думать, что больше вы не увидите меня никогда.

— Не нужно так говорить, — с усилием произнесла Ашхарумова.

— Никогда не говорите другому, что ему нужно. Просто

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

приходите, будет весело. Свежо, — добавил он, улыбаясь тонкими серыми губами.

— В пять, — добавил Барцев. — Будут мальчики замечательные, из Петершуле.

— Вячеслава Андреевича захватите, — присоединился Стечин.

— Я не обещаю. Постараюсь, но не обещаю.

— И правильно, никогда ничего не обещайте, — сказал Альтергейм. — Просто приходите, и всё. Это Восьмая линия, двадцать пятый дом, на четвертом этаже. А квартиру вы и так угадаете.

Ашхарумова вовсе не была уверена, что явится на приглашение живого трупа, как она тут же про себя окрестила Альтергейма. Но Казарин весь следующий день мучился разлитием желчи, да и после прощального заседания «Всеобщей» он проникся настроением общей гордой обреченности: как ни иронизируй над собой, а даже самые здравые люди в их поколении были бессильны перед гипнозом общих мест и благородных собраний. Он знал, что смешон, и злился на себя за это. Ашхарумовой доставалось вдвое. «Нельзя же над всем смеяться! — выкрикнул он вдруг, ни с того ни с сего. — Нужно хоть к чему-то относиться серьезно, иначе к черту всё!»

— Ведь я здесь, я с тобой, — со всей мягкостью, на какую была способна, ответила Ашхарумова. — Я не уйду никуда...

— Ради Бога, не нужно одолжений! Я прекрасно вижу, что тебя это тяготит...

— Это тяготит только тебя, Слава, ты снова придумываешь невесть что...

— Нет, я все понимаю! Тебе девятнадцать лет, тебе должно быть скучно в стариковском обществе... Но пойми ты, что сегодня эти старики — последние, кто спасает честь города! Если не всей страны...

— Ты сам мне говорил, что в осажденном городе нельзя сохранять здравомыслие. Тебе не кажется, что ты заразился от них?

— Но город-то вправду осажден! — взорвался он. — Ты не видишь этого?

На самом деле он злился еще и потому, что боялся. Всю ночь после закрытия «Всеобщей» ему снились ночные дети.

— Осажденных городов не бывает, — улыбнулась Ашхарумова, пытаясь его обнять (он уклонился). — Это горожане придумывают, когда приходит зима. Они прячутся от холодов и вьюги, растапливают камин и ждут конца света. А можно выйти и поиграть в снежки...

Она произнесла это с той родной интонацией, с какой всегда рассказывала ему на ночь свои смешные сказки, их общие сказки, — и от того, что этот родной голос говорил бесконечно чужие ему слова, Казарин почувствовал себя еще более чужим ей, чем когда-либо прежде.

— Маша, — сказал он вдруг с такой живой болью, что она вздрогнула: нельзя же было, в самом деле, из-за этого искусственно вызванного осадного положения так серьезно растравлять себя! — Маша, кончится тем, что тебе придется уйти. Я вижу это. Я не дам тебе погибнуть за чужое дело, в этом будет страшная ложь. Чему поглумишься, тому поклонись: я пришел сюда с тобой, чтобы найти угол, а нашел гибель. Я понимаю теперь, что ее-то и искал с самого начала — просто я видел ее... (он хотел закончить, в тебе, но вовремя поправился) не там.

— Слава, — серьезно сказала Ашхарумова, — я буду, где ты.

— Хорошо, хорошо! — Он все не успокаивался. — Но ты видишь, какой я сейчас. Сходи к матери, что ли... или что хочешь... но сейчас я могу тебе наговорить Бог знает чего, и сам потом с ума сойду от раскаяния. Иди, я отлежусь. Сам бы ушел, но видишь... — Он развел руками. Укрытый клетчатым пледом, желтый, высохший — он казался еще более невесомым, чем всегда. Ей стыдно стало своего здорового, сильного тела.

— Я приду вечером, — сказала она. — Но лучше бы мне посидеть с тобой, честное слово. (Вот ведь привязалось это барцевское «честное слово»!) Вдруг тебе что нужно, а никого нет...

«Мне сейчас и нужно, чтобы никого не было», — хотел он сказать, но сдержался. И Ашхарумова отправилась на Васильевский остров.

Крайний слева что-то делал, склонившись к столетнему, наверняка зольмановскому дивану, основательному, сделанному крепко и грубо; небольшая группа справа стояла на коленях у погасшего камина, еще трое дули в детские дудки, четвертый неподвижно лежал рядом на спине, и на груди у него, молитвенно сложив руки, сидел пятый. Шестеро в левом углу комнаты кружились в сложном и нерегулярном движении: двое с поднятыми руками, еще двое скакали на одной ноге, пятый шел гусиным шагом, шестой упер руки в бока.

— Что это? — шепнула Ашхарумова на ухо Барцеву.

— Композиция номер пять, — вполголоса ответил он. — Или пятнадцать, не важно. Опыт соединения разных ритмов в одном объеме.

— А-а, — кивнула Ашхарумова.

Барцев посмотрел на нее и понимающе усмехнулся.

— Я сам понимаю, что шарлатанство. А все-таки идея в этом есть.

— Да я что же, — обиделась Ашхарумова, — я разве против. Им нравится, ну и ладно.

Зрители стояли в дверях, расчистив центр комнаты, из которой вынесли ради представления все стулья. Композиция номер пять или пятнадцать продолжалась уже минут десять; Ашхарумова появилась в разгар действия. Дверь в девятую квартиру была открыта, так что она сразу поняла, куда ей. Она постучала — никто не отозвался: как выяснилось, все уже смотрели представление. Квартира Альтергеймов была большая, да и семья немаленькая; в последний гражданский день родители не мешали сыну праздновать печальный праздник, как ему хотелось, — но уйти им было некуда, и они сидели в своей спальне. Видно было, что семья старательно налаживала быт — но он разлезался; сестра была с дурным характером, тетушка со стран-

ностями, отец — с вечными драмами на службе; в комнате сына устроен был род гимнастического станка, с множеством лестниц и перекладин, личной отцовской конструкции, — но трудно было представить себе, что можно упражнять в этой паутине кое-как скрепленных железок и деревяшек; юный Альтер, презиравший семью за смену фамилии, за государственную службу отца, чиновника в полицейском управлении, за экономию, за отчаянные и жалкие попытки скрепить расползающийся уклад, — с первых сознательных лет упражнялся единственно в презрении и скоро стал писать стихи, очень воздушные и музыкальные, но лишенные и намек на смысл. У него был круг поклонников и единомышленников, писавших очень похоже, — все мальчишки из таких же небогатых, большей частью немецких или еврейских семей, тщетно пытавшихся стать русее русских. Обособленный кружок Альтера, неохотно принимавший новых участников, стал известен Стечину — и Стечин, увидев тут долгожданную новизну, ввел на Альтера подобие моды.

Композиция окончилась внезапно: дудевшие перестали несвязно дудеть, пляшущие — неритмично плясать. Зрители молча расселись по диванам и стульям, снова расставив их вдоль стен. Обсуждать увиденное тут было явно не принято.

— Я вам сейчас покажу всех, — начал Барцев, но вмешался Альтер:

— Благодарю, Паша, но позволь мне. Как-никак это мои проводы, и уговорил ее тоже я. Справа налево: это Чашкин, писатель. У него четыре романа, а если считать так называемый ненаписанный роман, то пять. Ненаписанный считается вершиной жанра, поскольку каждый наполняет его своим содержанием. Вот Даниил, поэт. Это Катя, его кузина, она ничего не пишет, и потому считается, что как поэт она выше Даниила. Это Руфь Масарская, режиссер того, что вы только что

видели. Рядом Лика Гликберг, вы о ней еще услышите. Она может подобрать формальное основание под все, что делают остальные. Назарьян, живописец...

Ашхарумова кое-кого помнила по январским посиделкам у Зайки. Она с ровным, доброжелательным любопытством оглядывала огромного Чашкина, чьи красные худые руки торчали из рукавов короткого пиджачка, приземистого Даниила, казавшегося еще ниже от того, что на голове у него был высокий цилиндр, его длиннолицую кузину Катю, нервную мужеподобную Руфь, непрерывно курившую самокрутки. Угощение было супрематическое, то есть заурядно-нищее, как в большинстве петроградских квартир в марте восемнадцатого года: водка, вобла. Говорили о том, можно ли остаться чистым, поселившись на Елагине или Крестовском, продавшись за репутацию или паек. В разгар торжества, все больше напоминавшего средневековый диспут обо всем сразу, Ашхарумова подседа к Лике Гликберг, одиноко сидевшей на диване. Ножки ее не доставали до полу.

— Вы тоже думаете, что на Елагине и Крестовском всех интересуют только дрова и каша? — спросила Ашхарумова.

Гликберг поморщилась:

— При чем тут дрова, каша... Люди реализуют себя. В политике это по понятным причинам стало невозможно, в литературе — еще меньше...

Она говорила книжно, гладко, ровным голосом, который Ашхарумова никогда не приняла бы за голос хошенькой ровесницы.

— Но на Крестовском все-таки занимаются политикой? — не сдавалась Марья.

— Это другое, это трансформация, — небрежно пояснила Гликберг. — Наш термин: приложение формального анализа к явлениям жизни. Крестовцы — трансформированное стремление к первенству: замена «лучших» на «единственных». Добиться эстетического превосходства уже невозможно, поскольку тра-

диционная шкала рухнула. Борьба переносится во внеэстетические сферы, в том числе и в политику, это просто.

Все это она говорила как бы между прочим, словно была поглощена тайной думой, от которой ее отвлекают ненужными разговорами. Ашхарумова никогда не отличалась робостью и прямо спросила Лику, что за тайная мысль ее терзает.

— Я трансформирую Пашу, — сказала Лика доверительно, глазами показав на Барцева. — Я прилагаю к нему наши способы, пытаюсь прочесть его как текст... Но это текст без подтекста... Вы заметили, что единицей ожидания становится не день или неделя, а паяк? Два пайка назад Паша был у меня и обещал приходить. Это была чистая фигура речи — «Приду» вместо «До свидания», — но этикетность ее снималась формулой «Приду, если не рехнусь». Момент обязательности встречи вводится мотивом сомнительного условия...

Несчастливая девочка Гликберг была очень умна. И однако — Ашхарумова боялась трансформировать это ощущение с помощью формального метода, — было немного приятно думать, что Барцев был у Гликберг всего единожды, и то два пайка назад. Она, Марья, не открыла никакого метода и не умеет говорить, как Гликберг, и все-таки Барцев не сводит с нее глаз.

В восьмом часу она вышла в кухню — подышать у открытого окна, покурить в одиночестве. На кухне, в полумраке весеннего вечера, слышались однотонные всхлипывания. Ашхарумова всмотрелась. В углу стоял Альтергейм и, закрыв лицо руками, плакал жалобно и как-то механически, шмыгая носом и подвывая через равные промежутки времени.

Не допуская и мысли, что ему неприятно быть обнаруженным тут, в слезах, в кухне, она кинулась к нему и принялась отнимать от лица его мокрые слабые руки, нагнувшись, как над ребенком:

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Что с вами, Альтер? Не плачьте, Бога ради! Ну, хотите, я спрячу вас на Елагином, и вы не пойдете в эту проклятую армию? Они нас пока не досматривают, и кроме того, я знаю прекрасный подземный ход! (О чем говорить, она не думала; сейчас важно было говорить.)

— Меня Котя зовут, — тоже по-детски ответил Альтер до предела истончившимся фальцетом.

— Ну вот видите, вас — Котя, меня — Маша, будем знакомы, очень приятно. Не надо только плакать. Не будем больше плакать? — Всю ее усталость как рукой сняло, она была нужна и чувствовала в себе неисчерпаемую силу. Она могла утешить всех плачущих детей мира, спрятать всех перетрусивших призывников, примирить враждующие армии и в простых словах, а может, и вовсе без слов объяснить им бессмысленность всякой войны. — Сами посудите, зачем вам на войну? Вы молодой, красивый, у вас будет еще миллион случаев применить вашу теорию!

— Меня не любит никто, — сказал успокоившийся Альтер. Он говорил теперь ровно, тонко, бумажно. — Я противен всем. Я онанизмом занимаюсь.

Сказавши это, он взглянул на Ашхарумову с некоторым лукавством — или ей померещилось в сумраке?

Что ответить на такое ошеломляющее признание, она не придумала. В принципе новая культура не признавала табу, и Ашхарумову трудно было смутить — особенно после того, как сама она в шестнадцать лет пришла к Доронину, твердо решившись потерять с ним невинность, а он был с нею груб, как извозчик, и на следующее свидание отвел в мебели-рашки, сказав на прощание, что на профурсетках не женятся; в теле не было ничего, чего стоило бы стыдиться, и в некоторых вещах не признаются только потому, что они предназначены для разговора с единственным.

— Ну и что, — пробормотала она, — в этом нет ничего такого...

— А потом собираю и пожираю, — просто сказал Альтергейм. На его лице заиграла блаженная улыбка. — Я совершенно, я идеально одинок. Сделайте со мной, что хотите. Я ваш на всю ночь. Отдайтесь мне, меня убьют завтра. Я до фронта не доеду, меня солдаты изнасилуют.

Он улыбался все шире.

— А в стихах у вас лучше получается, — сказала Ашхарумова и закурила. — Ну-ка, еще что-нибудь.

— Не курите, мне дым вреден, — скулящим голосом попросил Альтер.

— Ничего, вас все равно скоро солдаты изнасилуют. Меньше будете мучаться. Почитайте лучше стихи.

— Вы свежая, — снова сказал Альтер. — Вы быстро приноравливаетесь, и с вами легко. Простите, что я вас обидел.

— Я не обиделась.

— Простите. Ведь меня правда убьют, я чувствую. Оно и хочется, и вроде обидно иногда. Все живы будут, а я нет. И все потому, что я пишу такие стихи. Другие ужасную дрянь пишут, и ничего.

— Ладно, ладно, не жалуйтесь, — весело сказала Ашхарумова. — Я теперь не поддамся.

— И не надо. Я сейчас без задней мысли. Одна передняя... — Он не удержался и хихикнул. — Никогда они нас не поймут. Где они плачут, мы уже даже не смеемся.

Ашхарумова поняла, что речь идет о старших; эта мысль приходила и ей.

— Вы мне будете писать? — спросил он.

— О, конечно. Если захотите. Я люблю писать письма.

— А по письмам вы меня полюбите, я вернусь, вы выйдете за меня замуж, мы родим детей, в нашей кухне отвратительно запахнет капустой...

— Кухни не будет, — покачала головой Ашхарумова, мечтательно улыбаясь. — Каждый будет жить в одной комнате — тут и плита, и тюфяки на полу, и ведро.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Но ведь вас изнасилуют солдаты. Вас будет тяготить мое общество. Каждый вечер вы будете уходить на улицу, искать солдат, возвращаться под утро, добавляя к капусте и ведру запах махорки, пороха и ружейной смазки...

— Я вас обожаю, — сказал Альтергейм. — Пойдемте к гостям.

— Ну, как вам? — спрашивал Барцев, когда полчаса спустя они вышли на восьмую линию.

— Интересно, — сказала Ашхарумова. — Я рада, что пришла. Но, конечно, одно это не может быть новым искусством...

— Разумеется, — пожал плечами Барцев. — В новом искусстве должно быть все.

— Я тоже так думаю. Чашкин же, мне кажется, просто болен...

— Ну, а кто из больших писателей здоров? Мне стыдно иногда своего здоровья.

— Не стыдитесь, — улыбнулась Ашхарумова. — Болезнь не может быть источником искусства.

— Я бы поспорил.

— Ну, поспорьте. Я не буду.

— Правильно, — сказал Барцев. — Вы мне лучше расскажите про себя. Я так мало про вас знаю.

— Зачем вам?

— Интересно, правильно ли я угадал.

— Расскажите, что угадали, — я вам скажу, где не правильно.

— Что ж, это можно, — сказал Барцев и откашлялся.

Все было превосходно. Темнело уже по-весеннему поздно, большая звезда висела над прозрачной перспективой пустых улиц. На западе лиловый и багровый сменялись темной зеленью петербургской ночи. Под ногами чуть слышно похрустывал тонкий, слабый лед. Барцев чувствовал себя беспричинно и совершенно счастливым — в это сложное ощущение не совсем законного счастья входили и близость веселой, пре-

красной девушки, и уход Альтергейма, и спор с Чашкиным, с которым, несмотря на разногласия, он ощущал кровное родство, обещавшее долгую дружбу; все это было заключено в раму пустого города, сделавшегося чистым произведением искусства, без всякой функциональности. Собственно, только ради этого вечера город и был построен.

— Кстати, — начал он, — особенность нашего времени в том, что про вас можно с равной убедительностью наговорить противоположностей. Какой-нибудь человек восьмидесятых и даже десятых годов — о Вячеславе Андреевиче я не говорю, конечно, — весь на ладони: он определяется одной чертой. Сам себе ее выбрал в гимназии и нипочем не отступится. Знаете, я читал где-то, что художник кончается, как только он определился: вот это несчастное «свое лицо», которого все требуют критики, — это конец, верно? Застыл — и погнал повторы... Мне страшно иногда думать про эти толпы людей, которые жили себе чинной, размеренной жизнью, читали «Вестник Европы» и «Русское богатство», на двадцатилетие деятельности давали обеды, на тридцатилетие — издавали сборники... Журналисты, адвокаты, чиновники, и все такие либералы — с готовым набором взглядов, способностью поддерживать любой разговор... страшно ограниченная публика, но притом — хорошие люди, порядочные, с надутыми бородами... Корабельников — он неправ, когда говорит, что все они сволочи.

— Корабельников — неприятный, — твердо сказала Ашхарумова.

— Да, конечно, мне и Борисов говорил. Александр Александрович, конечно, настоящий поэт и все подобное, но... он кровожадный какой-то, и потом, надоедают все эти гиперболы. Но и он ведь, в сущности, человек десятых годов, только опоздавший. Он пришел, а всё уже съели. И он: ну, тогда я хоть тарелки побую...

Ашхарумова прыснула.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Ну вот, — продолжал ободренный Барцев, — а вы не такая, и я, страшно сказать, не такой. И Альтер, честное слово. Но Альтер — это, конечно, крайний случай, он любит гадости. А про вас можно напридумывать что угодно, потому что вы могли получиться и в такой семье, и в другой, и вот в этакой. Новый век принес главный кошмар: что правда не одна. Этого надушенные бороды никогда бы не вынесли. Отсюда вся эта борьба, странные расколы между своими... до бесконечности можно дробиться. Не могут люди понять, что — и ты прав, и ты прав, и Альтер прав... Хорошо хоть, это теперь математически объясняется: математике больше верят.

— Э, нет, — сказала Ашхарумова, — так можно далеко зайти. Скоро у вас получится, что правды вообще нет, а потому и Славины стихи, и стихи Альтера равноправны.

— Конечно, — удивился Барцев. — И «Лориган Коти» — искусство, и обертку от него еще в музее выставят, вот увидите.

— Но вы не учитываете одного, — погрозила она ватрежкой. — «Лориган» — «Лориганом», но прошлое у меня все-таки было одно. И если вы не можете его угадать, то и вольно вам доказывать, что могло быть то, а могло — другое... Так же и в стихах: Слава может угадать и поэтому пишет мучительно и мало, а ваш Альтер...

— Да какой же он мой?

— Хорошо: наш Альтер ничего угадать не может и потому без усилия пишет о том, как он не может угадать. Разницу видите?

— Вы опять хотите сказать, что мерка одна!

— Почему, она может быть разной. Просто теория ваша... извините, но в ней крестовский дух. Революция, все можно. Пойду и напишу: «Корова здорова», и будет лучше Пушкина.

— Понял! — торжествующе воскликнул Барцев. — Теперь понял. Извините, иногда нужны вопросы и даже прямая провокация. Наконец все вижу. В об-

щем, вы невероятно самолюбивы. Но это у вас идет не оттого, что — вот, я хороша, — а от причастности к чему-то, что вам дорого. Если вас оскорбляют или просто не любят, то это в вашем лице не любят само искусство, саму жизнь, если хотите. Гликберг называет это переносом: вы за другого обижаетесь, а не за себя. Дальше: вы страшно здоровы. Вы здоровы так заразительно, что даже бедненький Альтер немного стал мужчиной. Я поражаюсь вашей двужильности — а ведь я сам... — Он быстро и неожиданно подхватил ее на руки, немного покружил и поставил. — Это был не жест, как говорит Гликберг, а демонстрация, как говорит она же.

— Положим, — задумчиво сказала Ашхарумова. — Насчет переноса вы с ней правы — я действительно всякий раз обижаюсь не за себя... Насчет здоровья — ну, это нетрудно.

— Подождите, это ведь не всё. Вы падки на лесть, по той же причине, по которой обидчивы. У вас плохая память на стихи, вы запоминаете только то, что вас сильно задело. Почерк у вас прямой — заметьте, я ведь его не видел! В детстве вы дружили только с мальчиками. У вас мог быть старший брат... да, старший брат, скорее всего, есть.

— Есть, — она внимательно посмотрела на Барцева. — Вы знакомы?

— Нет, — поморщился он. — Вы хотите, чтобы всё совсем просто... Потом: вы легко помогаете, и чем труднее требуемая помощь — тем больше вас это захватывает. У вас нет такого, что — вот, моя жизнь, мои дела, почему я должна все это бросать и на другого тратить... Для вас нет разницы — что писать стихи (которых вы, я думаю, с гимназии не пишете), что кормить какого-нибудь, например, кота или спасти его с крыши, — так?

— Кота даже интереснее.

— Вы легко засыпаете, — перечислял он все быстрее, — вы любите есть, вам нравится Шопен, вам никогда не дава-

лось фортепиано, вы терпеть не можете бездельничать, вам нравится чувство опасности, вы хорошо вяжете, у вас в детстве была птица, вы знаете немецкий, у вас никогда не было собаки, левым глазом вы видите чуть хуже, вы охотно поехали бы в ресторан с Распутиным, вы уверены в своем бессмертии, я вам все еще не надоел?

— Всё правильно, — засмеялась она. — И с Распутиным бы поехала, обязательно. Из всех исторических злодеев не поехала бы только с Иудой.

Они оба нарочно замедляли шаг, им не хотелось расставаться так скоро.

— Но заметьте, в половине случаев вы говорили первое, что в голову взбредет.

— Совсем нет. Вы недооцениваете метод. Я ставлю себя на ваше место, полностью перевоплощаюсь — и вот... Что и требовалось доказать! Когда-нибудь я напишу этим методом целый роман. Все романы написаны неправильно, но мой будет правильный. Когда революция, роман должен взрываться изнутри. В него придет масса. Каждый герой появляется и исчезает, недолго помаячив перед камерой — как, знаете, в съемках. Главного нет.

Но тут Барцев, разрезвившийся и утративший всякую солидность, вдруг резко замолчал и инстинктивно попытался заслонить собою Ашхарумову: навстречу им по набережной медленно, тяжело шел сутулый человек с огромным камнем в руках. Он тащил его из последних сил, надрываясь, — хотя и человек был большой, под стать камню; он остановился передохнуть — остановились и Барцев с Ашхарумовой.

— Проходите, — сказал он издали слабым, тонким голосом. — Проходите, на меня не смотрите. Я передохну и дальше понесу.

— Вам помощь не нужна? — с облегчением спросил Барцев.

— Нет, это я могу только один. Только сам.

Он постоял немного и снова поднял свой камень и, крихтя, прижимая его к груди, потащился дальше. Камень тянул его вперед и вниз, и несчастный переносчик тяжести словно на каждом шагу падал, в последний момент успевая восстановить равновесие; слышно было его сиплое дыхание.

— Я мог бы еще понять, — сказал Барцев, когда они отошли достаточно далеко от странного прохожего, — тащи он бревно. Но камень... он что, на растопку его понес?

— На утопку, — усмехнулась Ашхарумова. — Топить Муму.

— Черт, а вдруг самоубийство такое экзотическое? Прыгнет с камнем, чего доброго... Надо было его остановить!

— Эх, Паша. В душах читаете, а прохожего распознать не можете. Я самоубийцу всегда чувствую. Он простой сумасшедший, без всяких самоубийственных вымыслов. Неужели самоубийца будет на другой конец города тащить себе камень, каких на мостовых множество? Тут что-то серьезное, заранее обдуманное и явно рассчитанное на жизнь...

— Да, пожалуй, — успокоился Барцев. — Тащить, когда тут можно с любого места прыгнуть... это я того.

— А вот это в вас как раз от тех, с надушенными бо-родами. Вам все кажется, что все должны с мостов прыгать. А очень многие счастливы, счастливее, чем были...

Он сам не ожидал, что с ней будет так легко.

— Стойте! — вдруг резко остановилась она и подняла руку.

— Что такое?

— Тише...

Прошла минута.

— Мне показалось, что сейчас действительно придется спасать кота. Или плачет кто-то?

Недалеко от Елагина моста в сырой зеленой ночи едва можно было различить маленький сторбленный силуэт.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Я его вижу, — сказал Барцев. — Бежим туда.

Они подбежали к мальчику.

— Откуда он тут ночью? — спросила Ашхарумова. — Ты что тут делаешь, маленький? Ты потерялся?

Мальчик поднял на них огромные испуганные глаза, но едва Ашхарумова попыталась подойти ближе — обнять, погладить, утешить, — как он стремительно отбежал на несколько шагов и снова замер, испуганно на них глядя.

— Не бойся! — упрасивала она. — Ну же! Мы никакого зла тебе не сделаем!

Барцев боялся сказать слово: его ребенок испугался бы скорее. Но и Ашхарумовой никак не удавалось приблизиться к нему.

— Ну что ты?! Не бойся!

Мальчик громко всхлипнул и опрометью кинулся в темные улицы. Казалось, от страха он забыл все слова.

Ашхарумова растерянно оглянулась на Барцева.

— Что вы стоите? Бегите за ним!

— Мне его не догнать. Да его уже и не видно...

— Толку от нас с вами никому и никакого, — сказала она зло.

— Я найду его, — сказал Барцев. — Хотите?

— Да конечно! Бегите скорей!

Он тяжело побежал в ту сторону, где меж домами скрылся мальчик. Ашхарумова некоторое время смотрела ему вслед, невольно улыбаясь. Ей не очень нравилось, что Барцев сам не кинулся вслед, — но зато нравилось, что по первому ее слову он отправился на ночные опасные поиски.

А все-таки было бы интересней, если бы он ее проводил. Вероятно, он захотел бы ее поцеловать. И она не была уверена, что не позволит ему этого. Завтра он, наверное, зайдет рассказать — нашел мальчика или нет.

Но он не зашел, потому что никого не нашел.

28

— Что, — сказал Свинецкий, — понимаете ли вы теперь?

Они сидели в кофейне Пастилаки, и вокруг пламенел неопикуемый, красно-лиловый закат. Виноградные кисти туч лежали на горизонте. Только у Рериха видел Ять подобные краски. Вся верхушка Аю-Дага была в дымке, что обещало пасмурный день; о, как страшно, должно быть, сейчас в пустынной роще на вершине! А здесь было счастье и бродили люди — те самые, которые три часа назад казались Ятю исчадиями ада. Теперь они были милы, просты и домашни, и каждый испытывал ту смесь разочарования и облегчения, которую всегда приносит с собой избавление от соблазна. Ять возвращался однажды ночью на извозчике с большой скучной литературной попойки, дремал и проснулся, только когда извозчик поворотил на Разъезжую (в то время он еще снимал квартиру там):

— Эй, слышь! Тебе где тут?

Это был неприятный, фамильярный малый — Ять терпеть не мог, когда извозчики ему тыкали, но в тринадцатом году это было уже нормой.

— Через три дома, — вялым голосом отозвался он. Во рту было отвратительно, голова гудела.

— Чуть не облегчил я тебя, — говорил извозчик со странной смесью восторга и разочарования. — Ты спишь, пальта расстегнутая, я и гляжу: бумажник. Из кармана торчит. Я бы взял — ты бы нипочем не заметил! Что, много ведь там у тебя?

— Почти пусто, — сказал Ять. — Заплачу тебе — будет совсем пусто.

— Чего ж такой бедный? — неодобрительно спросил лихач.

— Да так, с собой не ношу, — разочаровал его Ять. Малый, однако, был безутешен: сообщением о том, что кража была бы лишена всякого смысла, Ять окончательно уничтожил его подвиг. Примерно в таком настроении прогуливались сейчас по набережной жители Гурзуфа: оно, конечно, хорошо, что пронесло, что не взяли на душу греха... а все-таки как было соблазнительно! Еще чуть — и Могришвили сделал

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

бы из Гурзуфа столицу Крыма; а что данью обложил торгующих на базаре да пару домов потребовал отдать — ну, что ж, бывает, может, потом бы и погром небольшой... но что делать, если иначе не понимают?

Дукан Кавалеридзе был закрыт. Интересно, где теперь Кавалеридзе? Приходилось сидеть у Пастилаки, но Ять всегда больше любил Пастилаки; а что у него не было еды — так после этого безумного дня ему и не хотелось есть.

Неотвратимо темнело. Среди лиловых, округлых, громоздящихся друг на друга облачных глыб все меньше было розово-алых просветов; море, густо-лиловое вдали, у берега было темно-синим — потому что над городом сгущалась синева и только на закате что-то еще буйствовало, боролось. Там клубился дым вокруг невидимого жерла, словно ядро только что вылетело в сторону берега.

— Вы поняли теперь? — повторял Свинецкий. — Вы поняли, что нельзя отделяваться иронией, желать мира, отсиживаться в кустах? Вы поняли, чего стоит человек без ежеминутной готовности к смерти?

— Да, да, — умиленно кивал Ять. Со стыдом и восторгом смотрел он на своего спасителя, сохранившего Зуеву — дом, Маринелли — пол, а Ятю — остатки самоуважения. Бескорыстный, чистый диктатор Свинецкий провел первую в жизни удачную боевую операцию — спасибо, конечно, анархистам: они не рискнули подходить к Гурзуфу на крейсере, да и стоит ли стрелять из пушки по воробьям, — но отправили с эсэром конный отряд. К нему присоединились раскаявшиеся черножупанники гетмана, желавшего загладить свою вину.

Могришвили бежал со всей своей охраной, не приняв боя. Конница анархистов преследовала их до самых непроходимых мест — грузин хорошо знал окрестности Гурзуфа; в трех километрах от города начинались пещеры. Завербованные им босяки частично сдались, частично последовали за ним в горы.

— Но теперь вы понимаете, — упорствовал Свинецкий, — что счастье — в постоянной борьбе, прежде всего с собой? Что надо ежесекундно себя закалять для возможной битвы? Найдись один человек, который воодушевил бы массу, —

и этого крошку-диктатора погнали бы в три шеи без нашей помощи!

— Не знаю, — задумался Ять, — не знаю... Я знаю только, что вы недооцениваете его. Да, дурак, да, трус, да, мелкий диктатор... но он не остановился бы ни перед чем, я уверен. Я чувствовал за ним страшную волю — говорю это не в оправдание своей трусости, но чтобы вы не успокаивались. Я еще не встречал таких людей, хотя много писал о городских низах. Говорю вам — это что-то новое.

— Ничего нового, — покачал головой Свинецкий. — Не демонизируйте зло, в нем нет ничего интересного. Главное — что вы поняли теперь, в какого моллюска превращает человека неверие. Ведь поняли?

— Я и не сомневался в этом. Отсюда вся моя ненависть к себе... хотя, что скрывать, и гордость иногда.

— Вам ясно, что вы должны вернуться в участок? — просто спросил Свинецкий.

— Да, да, конечно! — горячо ответил Ять. — Я виноват перед вами...

— Ненадолго, — успокоил Свинецкий. — Еще два-три разговора — и вы поймете всё. Но без этого символического пребывания там вы не прочувствуете, что такое ненависть.

— Я не буду ненавидеть вас, — покачал головой Ять.

— Речь не обо мне. Как бы то ни было, на сегодняшний вечер и на всю ночь вы свободны. А утром пожалуйста в участок — денька на два, на три. Там подумаем, что с вами делать. Может быть, поработаем вместе в управе. Грэма я тоже звал, но он хочет уйти с утра. Говорит, что вернется к Рыленко — хочет писать какую-то мистерию...

— Последний вопрос, — сказал Ять. — Что вы думаете делать с орфографией?

— С орфографией? — изумился Свинецкий. — Об этом я, признаться, не думал... Вы и займитесь, когда выйдете. Есть у вас идея реформы?

— В последнее время мне кажется, что надо изъять только меня. Все остальное пусть будет как будет. И твердый знак после слов пусть остается. А то у нас слишком мало еров, понимаете?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Ну уж нет, — твердо сказал Свинецкий. — Изымать себя я вам не дам ни при каких обстоятельствах. Нужно только ввести твердые правила, как вас употреблять, — и почаще менять их, чтобы умы не коснели. Но обо всем этом надо подумать серьезно, когда я решу вопросы с продовольствием и армией. Ладно, идите к невесте. Ждет, наверное.

— Спасибо, — сказал Ять, чувствуя, как к горлу его подступают слезы — сладкие слезы прощенного.

— Господи, как я тебя люблю, — плакала Таня. — Как я тебя люблю.

— Не плачь, маленькая, — повторял Ять, глядя ее волосы, плечи, руки. — Что ты? Все же кончилось. Мы скоро с тобой уедем.

— Ах, ты не представляешь, как я боялась все это время. Стоило тебе приехать, и они как с ума посходили...

— Ну конечно. Так всегда бывает. Любовь устраивает вокруг себя бурю.

— Нет, я знаю, знаю: ты опять уйдешь... Все это у нас всегда ненадолго. Мы не можем быть вместе долго: слишком горячо.

— Мы уже расходились, Танька, — кому было лучше?

— Никому, но это, наверное, неизбежно. Обними меня, мне холодно. Что он все ходит и ходит?

Внизу по диагонали мерял комнату Зуев — не мог заснуть: видимо, от переживаний этого дня. Маринелли так и не пришел — праздновал счастливое избавление с новыми победителями.

— Я не могу без тебя, но всегда есть что-то... Все дело в этой аналогии, по которой не может установиться никакая власть. Все бездарны, все смешны, ни одна не удержится. Так и у нас с тобой не может быть семьи — постоянной семьи. Ты понимаешь? Всегда будет полная радуга, все испытания, все страсти, все виды тоски — и опять разрыв, и до новой вспышки, пока кто-то не выдержит...

— Танька, хотя бы накануне возвращения в участок можно и не говорить мне таких вещей.

— Он же сказал — два дня, и ты в городской управе.

— Все равно. Я буду бояться, что ты сбежишь.

— Я никуда не сбегу, сбегаешь ты, всегда ты...

Вдали грохнул выстрел.

— Что это? — вскочила она.

— Не бойся, анархисты пьянствуют, в воздух палят.

— Где они взяли столько вина? — сонно протянула Тая. — Неужели склады?

— Вряд ли. Они люди сторонние, про них не знают. Не обращай на них внимания.

— Да, не обратишь тут...

— Ну, вспомни садовника. Ничто так не успокаивает, как мысль о счастливо миновавшей опасности

— Не знаю, Ять. У меня не так. Я принимаюсь тысячу раз все перебирать в уме и бояться заново...

— Не бойся. Всегда придет какой-нибудь Свинецкий и спасет.

Она теснее прижалась к нему, заворчалась, смешно заворчала — «костлявый, костлявый», — и скоро заснула; он чувствовал плечом сонное ровное тепло.

Ну вот, подумал он, все и позади.

Вроде бы с самого начала все шло по предугаданной им схеме — удержать распадающийся мир можно было только ценой упрощения, выбора самой простой и надежной власти; чем больше у власти было ограничений — тем быстрее она падала. Гетман оказался проще большевиков, ибо в фундамент главного разделения положил самый простой, изначальный признак; и его, и татар скинули анархисты, разрешившие себе вообще все... Осталось понять, кто будет проще анархистов. В новую победу Свинецкого верилось с трудом — откуда была и тревога; Ять знал, что вне теплицы пальме не жить, а Гурзуф, даром что весенний, на теплицу не походил. Может быть, все проще? Может быть, все решается готовностью к смерти и кто больше всего к ней готов — тот и победит? Может быть, потому христианство и одолело всех варваров своей сложностью, что варвару жить хочется, — а христианин швыряет жизнь в лицо врагу, и с этой армией смертников ничего уже

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

не подделаешь? О, тогда у Свинецкого было большое будущее, — но где ему набрать такую армию? Он же, Ять, — не боец вовсе: вот почему так страшна была ему мысль о завтрашной осаде. Если бы не любовь, как было бы легко умереть. Но как жаль оставить... Надо любить то, чего не бывает, — как Свинецкий. Господи, как глубоко сидит во мне Ветхий Завет — семейственность, очаг, проклятое наследство отца... Бродит сын, потерявший отца, бродит отец, потерявший сына, — и все никак не сойдутся. Не верю, что Христос вернулся к Отцу. После всего, что он тут нашел, — как вернуться, как сказать «Твой мир хорош»?! Но с любовью ничего не подделаешь, и вот они ищут один другого, не понимая еще, что разошлись навеки; и все мы мучаемся, пытаюсь их свести, — но никак не пойдем, что свести нельзя: либо один, либо другой... Господи, зачем ты не сделал меня человеком одной крови... одной крови хоть с кем-нибудь...

Мысли путались, и он заснул, как всегда по утрам, недолгим, прозрачным сном без снов. Он так и не научился ничего предсказывать, но предчувствовать умел всегда. Это действительно была их последняя ночь.

Двадцать шестое марта было тихим, теплым, пасмурным днем. Аю-Даг не обманул — с него на Гурзуф, на имение Кавкасидзе, на Ялту напоздали серенькие тучи. Иногда брызгал и тут же прекращался мелкий дождь. Ять, бодрый и радостный, несмотря на предстоящее пребывание в застенке, бродил вдоль полок, выбирая книгу. Смену белья он брать отказался — Свинецкий не станет врать, выпустит скоро. Важно было соблюсти условность, и это радовало Ятя, как всякий бесполезный символ.

— Ну, жди меня, — сказал он напоследок и крепко поцеловал Таню. У той глаза были на мокром месте — не сравнить с первым его заключением, когда, веселая и деятельная, она выкупала его на ночь у стражи. И лицо у нее было обреченное — как в тот день, когда он обнял ее на набережной около кофейни, в первый его день в Крыму, в котором, казалось, он живет уже многие годы.

— Ять, — тихо и грустно повторяла она, — Ять, прости меня, ладно? Прости меня, Ять...

— Да за что же, глупенькая? За то, что не идешь туда со мной?

— О, это было бы хорошо! — оживилась она. — Этого у нас еще не было... Но теперь ты не узник, а будущий почетный гражданин. Хорошо, иди, иди. А то я правда разревусь, и у меня отвратительно распухнет нос. Ты должен запомнить меня бойкой, чтобы укрепить дух перед узилищем.

— На ночь отпустят, может быть...

— Ну, может быть, и отпустят. Ступай, ступай, я правда сейчас заплачу...

Он спустился на улицу. После ночного веселья было пустынно — жители либо отсыпались, либо побаивались казать нос на улицы, по которым бродят новые хозяева. Наискосок краснела лужа рвоты — кто-то хорошо попил у Селима его любимого красного вина. Анархисты анархистами, а пить не умеют. Как ни странно, около участка не было никакой стражи. Замок сбили еще вчера, выпуская грека и итальянца. Дверь, однако, была заперта на кипарисную ветку — только пьяному могла прийти в голову столь иллюзорная защита. Ять дернул дверь и вошел.

Внизу было темно, свет едва проникал в полуподвальное окошко, и Ять не сразу разглядел человека, лежавшего на матрасе. Человек был бос, невелик ростом и с головой закрыт простыней. Кто мог улечься тут на ночлег? Разве что кому-то из анархистов захотелось такого странного постоя, не дошел ни до какого другого дома? Но вчера вечером гурзуфские женщины были очень не прочь пустить к себе матросиков...

Он подошел к лежащему и откинул простыню.

На полосатом матрасе лежал Свинецкий. Бороденка его жалобно торчала вверх, словно выражая небу последнее несогласие. Кулаки были судорожно сжаты. Его убили выстрелом в грудь, крови на рубахе почти не было. Свинецкий уже остыл.

Ять в ужасе отшвырнул простыню и, отряхивая почему-то руки, побежал наверх. Улица была по-прежнему пуста. Он побежал на площадь — топот его сапог далеко разносился во

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

влажном, мягком воздухе и казался оглушительным ему самому.

На площади никого не было. С другого конца Гурзуфа донесся вдруг тяжкий, протяжный вой — выла собака, охранявшая Голицынские склады. Она и лаяла, и выла басом. Вой ее то судорожно прерывался, как захлебывающееся рыдание, то снова поднимался к низким небесам. На пути от площади к базару лежал матрос в черном бушлате — Ять сначала испугался, что он мертв, но он был всего лишь смертельно пьян.

— Эй! — Ять схватил его за ворот. — Эй! Да проснись же!

— А-а-э, — невразумительно простонал матрос. От него разило чудовищным перегаром, рожа была красная и мятая, изо рта выходили пузыри. Ять бросил его — матрос глухо стукнулся головой о брусчатку, но боли, похоже, не почувствовал; оставалось бежать к Пастилаки — тот всегда знал все.

Кофейня была разгромлена, знаменитые стекла, которыми так гордился хозяин, зияли звездообразными трещинами. Пастилаки со своей носогрейкой неподвижно сидел на стуле, глядя в серое туманное море.

Ять подбежал к нему и тронул за плечо.

— Пастилаки! Одиссей, голубчик! Что тут было?

— Кофейню разбили, — тихо сказал Пастилаки. Он по-прежнему смотрел на море, и глаза его словно напитывались морской влагой. На самом деле он плакал, но слез было мало, и они не проливались.

— Господи, — сказал Ять. — Что было-то? Ты знаешь, что Свинецкого убили? Освободителя твоего?

— Знаю, — ответил Пастилаки.

— Да кто убил-то? Говори наконец!

— Спишь крепко, — серым, как море, голосом ответил грек. — Склады взяли. Нет больше складов. Три дня пить будут, пока не выпьют. Он не давал — говорил, не надо грабежа, мы не воры... Кто-то из матросов его застрелил. Там много было, кто — не поймешь.

— Господи! — выдохнул Ять. — Как же они... Ведь он их привел!

— Это он думал, что привел, — сказал грек. — А они думали, что пришли вино пить. Собаку камнем оглушили, а его

убили. Собаку пожалели, а его не пожалели. Сразу сапоги сняли, себе взяли...

— А почему он... в участке?

— Мы с певцом отнесли. Не там же бросать. А куда еще положишь?

— Где певец-то?

— Не знаю. К ним вернулся. Я в кофейню пошел, а к утру разбили кофейню.

Да, да, в этом и была самая страшная правда. Свинецкий не мог победить. Они пришли брать винные склады и попутно освободили нас. Господи, как все просто! Как все страшно просто! Это проще, чем даже Могришвили. Может быть, лучше было оставить у власти садовника?

— Что же ты теперь будешь делать?

— Греция поеду, — тихо сказал Пастилаки. — Греция близко, там тоже море. Надо же вернуться когда-нибудь.

Он всхлипнул и затрясся.

— Хороший город был, — проговорил он, глядя на Ятя сквозь слезы. — Хороший город...

Ять без сил опустился на камень у его ног. Он не знал, сколько они так просидели вместе. Солнца не было, с гор продолжала ползти серая сонная дымка. Ни единый корабль не показывался вдали.

На первом этаже было пусто. Ять увидел только, что Зуев всю ночь рвал и жег бумаги. На втором этаже на кровати сидела Таня, перед ней на коленях стоял Зуев, и она гладила его по голове с тем же выражением обреченности и тоски, с каким обнимала Ятя на набережной три недели тому назад.

Ять замер на пороге. Она подняла на него глаза, в которых, как и у Пастилаки, стояли непролитые слезы, и сказала:

— Да. Вот так.

Зуев не обернулся. Может быть, он и в самом деле от блаженства потерял слух.

— Я вернулся, Таня, — сказал Ять, ничего еще не понимая. — Свинецкий убит.

Зуев обернулся и встал.

— Как — убит?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Ночью взяли Голицынские склады. Они за этим и прибыли.

— Ну что ж, — сказала Таня. — И за чем бы им еще прибывать?

— Свинецкого убили, — повторил Ять. — Он пытался их остановить, и...

— Ну, убили, — тускло сказала Таня. — Его все равно бы убили. Свинецкий был не жалецкий.

— И ты можешь так спокойно об этом говорить?

— А как мне еще об этом говорить, Ять? — протянула она. — Как мне еще говорить, когда тут убили меня?

— Не плачь, не плачь, ради Бога. — Зуев кинулся к ней, снова встал на колени, обнял. — Ять, я вам сейчас всю объясню, — обернулся он. — Сейчас, сейчас... Может быть, водички?

— Я бы спирту выпила, — сказала Таня.

— Сейчас, — Зуев метнулся к столу, на котором еще стояла та самая бутылка, выменянная у татар для ночной трапезы. Он налил ей в стакан мутной виноградной водки, Таня залпом выпила и поморщилась. Ять знал, что от слез всякий едкий вкус усиливается — даже теперь, начиная догадываться обо всем, он чувствовал все, что должна была чувствовать она, и тоже скривился.

— Прости меня, Ять, — сказала она хрипло. — Прости. Я думала сказать тебе, когда ты выйдешь. Я сейчас скажу тебе все, сейчас... — Она глубоко вздохнула. — Ну, слушай: я во всем виновата сама. Никто не мог подумать, что ты окажешься тут. Я давно с ним, давно... с того времени, как приехала, то есть с августа, что ли? — Она всхлипнула. — Ты же не приехал ко мне тогда, ты не виделся со мной два года... Господи, что я делала в эти два года! Но я думала, все время думала о тебе! — Чем дальше она говорила, тем неудержимее плакала, но и сквозь слезы продолжала, давясь и всхлипывая: — Что я могла, Ять? Куда мне было деваться? Он здешний, он хороший человек... он, можно сказать, спас меня! Здесь такие страшные зимы... Я жила у него, тут приехал ты... ну, Ять! Что ты так смотришь? Витя добрый, он понял... он все простил... Но пойми, тут нельзя больше быть! Мы с самого начала дума-

ли, как уехать. Наконец в феврале он узнал, что в конце марта в Ялту зайдет французский торговый корабль... Это последний корабль — они заберут из Крыма всех иностранцев... Нам сказали в порту, это страшный секрет... За большие деньги туда можно попасть. Витя решил продать дом, его хотел купить этот дуканцик... Мы сговорились, что двадцать седьмого уйдем, а он въедет, еще в феврале сговорились! Ты понимаешь теперь, что наделал этот садовник? Ять! Ять! Не молчи, Ять!

Но Ять молчал, потому что понял теперь, за *что* собирался рисковать жизнью в осажденном доме. О несчастный идиот, когда ты станешь человеком? Он собирался умирать за неприкосновенность чужого жилища, а умер бы за то, чтобы дом не задаром достался дуканцику; за то, чтобы Таня могла уехать с другим!

— Вчера вечером, пока ты сидел со Свинецким в кофейне, — все так же навзрыд рассказывала она, — пришел этот Кавалеридзе... Черт бы его побрал совсем! — вдруг закричала она сквозь слезы. — Я думала, все сорвется, я останусь с тобой, я умру с тобой! Но он принес золото, все, что копил... все свои мерзкие кольца! Этого хватит, чтобы уехать...

«То-то дукан был закрыт», — понял Ять.

— Ночью я уничтожил архив, — сказал Зуев непонятно зачем: то ли чтобы утешить Ятя — мол, не тебе одному несладко, — то ли чтобы успокоить насчет судьбы архива: никому не достанется. — Жег редчайшие изыскания, рисунки, легенды... Осталось только несколько альмекских вещей. Не возьмете на память? — И он протянул Ятю костяную дудочку, изогнутую буквой Z.

Ять машинально взял альмекский предмет и сунул в карман.

— Ну что ты молчишь?! — закричала Таня. — Что такого я сделала, в конце концов?! Ведь не возненавидела же я тебя, когда ты два года не вспоминал обо мне! Ты помнишь сам, как я тебя встретила! Я за все это время не сказала о тебе ни одного плохого слова. Витя, говори же хоть что-нибудь, почему я оправдываюсь одна! — Она упала на кровать, уткнула лицо в подушку и принялась молотить ее кулачками.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Ять умер бы за каждый из этих кулачков, за каждую жилку на них, — но все это не мешало ему понимать главное, самое страшное, чего не понимала она. Он с трудом разлепил губы; было больно говорить, больно набирать воздух — словно его ударили, но не извне, а изнутри; словно что-то разорвалось в нем и ударило в ребра, в легкие, в горло.

— Таня, не в этом дело. Но скажи: ты полгода прожила с ним... и после этого... в его доме... со мной, у него на глазах... Как ты могла, Таня? Неужели я бы не понял? Зуев, — он перевел взгляд на Зуева, — почему вы не убили меня?

— Но как же... — забормотал историк. — Таня столько рассказывала о вас... о вашей жизни с ней... Я все понимаю, я не имею права на ее жизнь до встречи со мною...

— Вы не убили меня, — повторил Ять. — Вы не убили меня, потому что мало любили ее. Я, наверное, тоже мало ее люблю, если не убиваю вас...

— Ять, да что ты говоришь! — закричала Таня. — Что за средние века, почему он должен убивать кого-то? Не хватало вам дуэль сейчас устроить! Он знал о тебе, да и что мне было делать? Ты ради меня проехал две тысячи верст, приехал в Крым, и мне — оттолкнуть тебя? Опомнись, я ведь люблю тебя!

— А его? — спросил Ять.

— И его, — заревела она совсем по-девчоночьи. — И его... Что вы оба делаете со мной, я ничего уже не знаю! Я хочу уехать отсюда! Я пыталась объяснить тебе ночью, но ты не хочешь понимать: нам все равно не жить вместе! Ты всегда будешь уходить, как только я не так что-нибудь скажу или не так повернусь! Я должна уехать, там мама! Ты никогда, никогда не думал. Ять! — оборвала она сама себя и подбежала к нему. Он никогда так не любил ее, как сейчас, — измученную, с красным, мокрым лицом. — Ять! Прости меня! Прости, но что же делать! Когда ты уходил в Ялту, ничего не было! Слышишь ты, ничего!

— Не было, — кивнул от стола Зуев.

— Да-да, — сказал Ять. — Я верю. Это, в общем, не так важно... Прости и ты меня. Я должен был знать. Танька, скажи мне одно: ты любила меня когда-нибудь?

— Я буду любить тебя всегда, всегда, всегда! — тихо сказала она. — Понимаешь, Ять? Всегда, всегда, всегда!

«Вот и конец, — подумал он. — А я еще думал — почему это мне так кажется? У жизни всегда есть изнанка, и как бы я ни старался о ней забыть — душу-то не обманешь. Все эти две недели она спала со мной, а он метался вниз, и все это время она знала, что уедет с ним...»

— Я знала, что ты не поедешь, — сказала она, как всегда, угадав его мысли. — Ты же сам говорил мне... здесь, ночью...

— Останься со мной, Таня, — вдруг просто сказал он. — Ничего никому не объясняй, просто останься.

Но по тому, как она отвела глаза, он понял: она уже в Париже.

29

Сначала прислали веселых матросиков выносить печи, потом перестали завозить продукты — и хотя трехдневный запас, по словам Елисеева, еще оставался, но обреченность Елагинской коммуны стала к двадцать шестому марта ясна и тем, кто привык надеяться до последнего.

У Хмелева все чаще случались припадки сомнений и слабости: он был все-таки немолод, шестьдесят восемь лет, — в такие годы не становятся вождями оппозиции, особенно когда шансы ее ничтожны. Хмелев своей бескомпромиссностью добился худшего из возможных результатов: он заставил Чарнолуцкого действовать — и действовать не по приказу свыше, а по зову оскорбленного самолюбия. Ни один елагинец даже после закрытия «Всеобщей культуры» не верил, что нарком пришлет матросов за печами; но и после этого у всех оставался шанс мирно разойтись по домам. Однако расходиться после такой крайней, унижительной и низменной меры, как вывоз печей и отказ в продовольствии, было вовсе уж неприлично, — так Чарнолуцкий, сам того не желая, исключил мирную развязку.

Во всякой весне бывает точка перелома, когда зима с ее геометрической ясностью окончательно сдает свои басти-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

оны; ее имперский мрамор принимается плавиться, оседать, и ясно уже, что дальнейшее непредсказуемо. Есть две-три ночи в году, когда мир замирает на пике равновесия — с тем чтобы низринуться в бездну перемен. Эти ночи обещают многое. В них есть томительное счастье — для тех, кто ждет весны, любви, благотворной перемены, — но и невыносимая тоска: для тех, кто решился и торопит приход неизбежного. Скорей, скорей! Выбор сделан, и будь что будет.

Март восемнадцатого года был такою точкой перелома и для елагинской коммуны, и для крестовского ее двойника, и для всей переехавшей власти, от которой требовалось наконец определиться; и если до двадцать шестого — дня, когда братишки-матросы, подмигивая и пошучивая, вывезли из коммуны последние печки, — можно еще было отыграть назад, то после холодной и душной ночи на двадцать седьмое пути назад не было ни у кого из участников нашей истории, неизменной русской истории.

В эту ночь не спалось никому, однако в конце концов уснули почти все — кто раньше, кто позже. Не спали двое — Хмелев и Ашхарумова.

Хмелев долго читал, потом пробовал писать, потом на керосинке вскипятил себе чаю (керосинка была собственная). Сон не шел. Тревога была в воздухе, душный холод — так искони называли в Питере пору ледохода. Словно весь воздух был вытисн невским льдом — и вернуться мог лишь тогда, когда лед расколется и поплывет. Звезды сухо горели над Елагиным, над антрацитной черной Малой Невкой, над улицей Большой Зелениной, получившей название от пороховой фабрики, заложенной тут при Петре (весь район был артиллерийский, арсенальный, — зельем именовался порох); порох был в воздухе, и каждая звезда могла поджечь его. Одной искорки хватило бы Петрограду, чтобы взлететь на воздух, — но искорки не было, холоден звездный огонь, — и длилось безмолвие.

И при всем при том, не в силах спать, Хмелев не сказал бы, что он бодрствует: какая там бодрость, ясность

ума — когда все его члены были словно скованы. Он боялся пошевелиться, как если бы кто наблюдал за ним сквозь глазок двери, а может — чего стесняться, — уже и проник в его комнату. Он встал на молитву — зная, что никакой страх не может его смутить во время беседы с Богом, — но и молитва не шла на ум: слаб был Хмелев со своей патриархальной верой перед накатом неотвратимых событий. Он упал на кровать в шестом часу, и сон его больше походил на беспомощность.

Не могла заснуть и Ашхарумова. Она вставала, пила воду, смотрела в узкое окно — потом наконец не выдержала, накинула пальто поверх халата и вышла из комнаты. Матрос Елисей похрапывал в зале первого этажа, сидя на стуле, разбросав длинные ноги. Лицо его имело выражение суровой нежности. Похоже, он переживал во сне прекрасные моменты своей биографии. На самом деле ему снились пироги с разнообразной начинкой.

— Елисей, — тронула его за плечо Ашхарумова.

— А, что! — вскочил матрос. — Стреляю!

— Не стреляйте, это я. Простите, что разбудила.

— Здорово, товарищ барышня, — успокаиваясь, проворчал Елисей. — Что не спим, ходим? — Это обращение во множественном числе, как говорят с детьми, было отчего-то очень распространено у патрулей, матросов и пролетариев: что ходим, почему врем... Вероятно, мы все и впрямь перед ними дети.

— Тяжелая ночь, Елисей. Спать не могу, — ответила она, присаживаясь на холодный дворцовый стул. На ночь их придвигали к общему столу, и казалось, что за столом чинно сидят призраки, решая по ночам судьбу новых обитателей дворца.

— Плохо тебя твой хахаль баюкает, — усмехнулся матрос. — Курить будешь?

— В помещении нельзя, Елисей.

— Мне тут ночью все можно. — Елисей скрутил сигарку и задымил отвратительно кислым табаком.

— Что, уходите от нас завтра? — спросила Ашхарумова.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Да, мы люди подневольные. Скажут — охраняем, скажут — уйдем. Я и сам не знаю, чего вас тут караулил: кому вас грабить-то?

— Ну, а продукты?

— Продукты сами бы охранять могли, в очередь. Да теперь и продуктов не будет, вам теперь охрана совсем без надобности.

— А если придет кто нас всех поубивать? — улыбнулась Марья.

— С чего это? Может, вы мешаете кому? Богодулы и есть богодулы, и не знаю я, чего ты с ними делаешь...

— Муж у меня тут, — важно сказала Аишхарумова, не уставая дивиться странному слову «муж».

— Э, милка, у тебя таких мужей еще будет — до Москвы раком не переставишь, — хохотнул Елисейев, и она не обиделась. В конце концов, это было даже лестно.

— Ну, а сам ты куда потом?

— Да куда прикажут. Я есть матрос Петроградского отдельного особого столичного боевого гарнизона, куда пошлют — туда и пойду. А может, вообще отпустят. Говорили, что мир теперь, только я не верю. Немцу сейчас какой же мир. У него по всем фронтам швах, обязательно на нас отыграется. Очень просто.

— А дома-то кто у тебя?

— Дома? Мать с сестрой, батя помер давно. Тульский я. — Он заплел сигарку и метко кинул ее в угол, в корзину для бумаг. Матрос Елисейев был человек культурный и понимал, в каком особенном месте находится.

— И не жалко тебе будет? Уходить-то? Мы вон к тебе и привыкли будто...

— Да, привыкнете вы, — хмыкнул матрос Елисейев. — Вашему брату до нашего брата — как мне, извиняюсь, до вши. Так оно ж и правильно. Каждому свое занятие. Пусти тебя, к примеру, на корабль, — тоже ют от носа не отличишь.

— И что, даже не вспомнишь нас?

— Почему, вспомню, — зевнул Елисейев. — Очень вспомню. Как этот ваш... Горбушка-то... плиту дровами в первый

день растапливал, а? Очень было завлекательно. Еще и братишкам расскажу.

— Ну спи, Елисеев, — сказала Аихарумова. — Спи. Извини, что разбудила.

«И ведь в самом деле, — подумала она, — что он вспомнит про всех нас? Богадельня и есть богадельня. Уходить, надо уходить. Но самое страшное, что теперь-то и нельзя уйти».

Утром матрос Елисеев постучался к Хмелеву.

— Да-да, — слабым голосом ответил тот.

— Пойду я, товарищ профессор, — произнес Елисеев, стоя на пороге. Форма его была в образцовом порядке, ременная пряжка начищена, усы расчесаны, на лоб молодцевато свисал чуб.

— Ступай, ступай... Как это у вас? Благодарю вас за службу.

— Не хворайте тут, — весело сказал матрос.

— Да уж постараяемся. Будь и ты здоров. Если пошлют тебя в нас стрелять — может, хоть подумасишь, прежде чем палить-то.

— Да что ж вы такое говорите-то! — весело воскликнул матрос. — Я тогда к вам на защиту, по старой памяти. Ну, бывайте здоровеньки.

— Прощай, прощай.

Хмелев не подал ему руки, да Елисеев и не ждал этого. Он четко повернулся на каблуках и с нарастающим чувством радостного облегчения сбежал с лестницы. Двадцать седьмое марта было ослепительным и гулким, дельта Невы наполнилась хрустом и треском, под Елагиным мостом дробились искры. Серая, ноздреватая Невка вскрылась. На невских мостах стояли едва вытолзшие из своих щелей, зеленоликие, источенные петроградские жители. Треск и трение, шорох и скрежет слышались с реки. Далеко еще было до ладожского льда, последнего на Неве, — но панцирь ее уже треснул и, разбитый на неправильные многоугольники, медленно сплавлялся вдоль Университетской, Петропавловки, Дворцовой. И весело было Елисееву.

— Вот, — гордо сказал Извольский. — И таких воззваний — по всей Петроградской, по всему Васильевскому — расклеено больше сотни. Ремингтонщицы всю ночь не спали.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Хмелев прочел воззвание, машинально подчеркивая ошибки. Их было немало — Извольский не отличался грамотностью. Жители столицы извещались, что варварская власть уничтожает последний оплот петроградской профессуры, моря голодом и холодом пятьдесят заслуженных филологов. По этому случаю все, кому надоел производ, приглашались на мирный митинг, с тем чтобы выразить свое отношение к зверствам большевизма.

— Не бойтесь? — спросил Хмелев. — Резкое воззванице..

— Сейчас надо действовать, — пожал плечами Извольский. — Арестовать вас — они пока не посмеют, а чтобы и впредь не посмели — надо стать известными всему городу. Пусть знают, что тут не большевистская учная коммуна, а цитадель противобольшевистских сил. Люди не поднимутся, если не почувствуют нашей решимости...

— Это я понимаю. А все-таки нет ли перебора?

— Вы увидите, какая придет толпа, — убедительно сказал Извольский. — Мои люди агитируют во всех районах, лично я гарантирую не меньше ста участников. А сколько привлечет афишка — предсказать не берусь. Все-таки надо бы попробовать позвать Хламиду — на него пойдут...

— Только не этого, — твердо сказал Хмелев. — Этот все сведет на примирение. Их прихвостней привлекать к делу бесполезно: да, да, а как дойдет до дела — не могу, болен... Даже не пробуйте. Если сам заявится — другое дело.

Извольский развил деятельность бешеную. На следующий день взамен унесенных железных печек «его люди» — крепкие немногословные ребята — привезли пятнадцать других, более ржавых, однако вполне исправных. Никто особенно не спрашивал, откуда взялись печки, — ясно же, что у Извольского вообще неограниченные способности по добыванию ценных предметов. Да и чувствовать себя последним оплотом петроградской интеллигенции было приятнее, нежели разбредаться по выстуженным домам и доживать в одиночестве.

— И все-таки, — сказал Фельдман, — это возмутительное свинство. Нет, нет, и не уговаривайте. Ведь вы понимаете, как после этого выгладим мы... ну, все мы?

Корабельников мрачно вышагивал по своей комнате. Уход Львовского сильно его озлобил. Это было прямое предательство, бегство с передовых позиций. И тут еще это безобразие в Елагинском. Вот представьте: вы воюете. И узнаете, что врагу в этот день не подвезли каши. На войне, может быть, все средства хороши, и добить голодного врага тем легче. Но наши войны другие, они пушками не выигрываются. И кто отнимает пайки? Своя же власть, те, кому он так искренне намеревался помогать в святом деле мирового переустройства. Какое же это переустройство? Закрывать — да, он сам предлагал разогнать Елагинскую коммуну. Но осаждают... морить голодом... вывозить печи... Чего доброго, пересажают еще.

— И что? — зло спросил Корабельников. — Вы вернуться хотите?

— Вернуться, к сожалению, нельзя. Но, может, вы с Чернолуским поговорите? Объясните ему, что это самоубийство, что это дискредитирует его же...

— Нет у него выбора, понимаете? — останавливаясь прямо напротив Фельдмана, сказал Корабельников. — Нету. Они сами все сделали. Они хотят рыбку съесть и на елку влезть: вы нас кормите, а мы вас будем помоями поливать и заговорчики плести. Ну, а в Смольном тоже решили драться всерьез. Лично я их понять могу. А то ваш брат интеллигент все думает: можно гусей дразнить до бесконечности. Гуси начнут щипаться — он тут же: свобода, свобода! Много свободы было под Романовыми?

— Знаете, об этом можно уже спорить, — быстро заговорил Фельдман, — это уже предмет для спора, но спор надо вести... И нужно обеспечивать необходимым, чтобы он мог идти... Ведь это наше, понимаете, наше дело спорить с ними — административно же это не решается! Культура — ведь это такая вещь... это же не политика, тут не может быть правых. В политике спор, вероятно, вреден, но в науке это единственное условие... Мы для того и должны все время друг с другом воевать, чтобы лились чернила, а не кровь, это наша жертва миру, если хотите...

— Елагинские не спорить хотят, — мрачно сказал Митурин. — Они воевать хотят. Только так, чтоб у Чернолуцкого

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

руки были связаны. Ну, понятно — старые, больные, голодные... Мне можно все, а тебе во, — он показал огромную грозную фигу.

— Но вы понимаете, что мы не можем просто так... Что это с нашей стороны уже неприлично — смолчать после таких мер? Знаете слова Вольтера: я ненавижу ваши убеждения, но готов умереть за ваше право их высказать?

— Вольтеру хорошо было, — усмехнулся Краминов из своего угла. — Сидел себе в эмиграции и в ус не дул. А я не готов умирать за их право, потому что им чихать на мое право!

— Это один Бог рассудит, кто из вас прав, — торопливо повторил Фельдман, — вы не можете брать его полномочия...

— Про Бога — это к товарищу попу. — Корабельников кивнул на дверь. Алексей Галицкий часто приходил в Крестовскую коммуны, один раз даже приехал на автомобиле, — но на постоянное жительство не перебирался. Соломин, который в последнее время не ладил с Фельдманом, тоже не пришел на собрание.

— Если по совести, — сказал вдруг Мельников, почти никогда не открывавший рта на общих собраниях, — то равенство есть равенство. Ты, Саша, неправ. Когда бьются двое и сломался меч, то и другой брось меч, чтобы видели горы, как надо — честно. Надо бросить меч, я разумею — паек. Мы таковичи, и пусть видят.

— Но с какой стати? — взорвался Корабельников. — Прости, но тут — прямое юродство! Ты, может быть, и не пишешь плакатов, тут твое право, один может агитировать, другой работает с языком. И то и другое — работа. Но чтобы мне картошки не испечь, чтобы девчонкам, которые по трафарету раскрашивают сотню плакатов, каши себе не сварить, — это, извини меня, черт-те что! Ради красивого жеста разбрасываться... решать за всех...

— Саша, тебе и мертвому эту картошку еще будут в спину кидать, — тихо сказал Мельников. — Ты не знаешь, а я знаю. Надо отказаться, мы заработаем. Я никогда не зарабатывал, а тут заработаю. Остается не то, что ты сделал, а то, что про тебя сказали дураки, потому что дураков больше. Откажись от пайка, Корабель, и мы найдем, чем заработать денег.

Я продам самописьма: если их покупают на Сенной, значит, они нужны. Митурин продаст живописьма Соколова, я знаю, распишет ткани на заказ. Мы найдем себе на жизнь, Саша, но не будем есть то, что отняли у других.

— Вот видите! — воскликнул Фельдман. — Даже он понимает! (Этого «даже» он тут же устыдился, но Мельников не обращал внимания на подобные мелочи.) Поймите: сегодня они, но завтра мы!

— Черт! — не выдержал Корабельников. — Но ведь когда мимо вас ведут преступника в тюрьму, вы же не думаете, что сегодня он, а завтра вы?

— Обязательно думаю, — тихо сказал Мельников. — И когда есть гривенник, всегда ему дам, а нет гривенника, то дам сухарь. Я ли прав перед ханом? Преступнее меня нет преступника, я по случайности до сих пор не взят в колодки. И ты, Саша, тоже, — потому что ты хоть и злой мальчишка, а художник, совершенно незаконный сын Бога.

— А что? — прогудел Митурин. — Мельничек говорит дело. Я бы продал два холста, у Крагина есть работы, Лотейкин рисует такое... знаешь, в билибинском духе... Приличная могла бы получиться выставка, с аукционом. И уж если где устраивать, то... — Он с таинственным видом огляделся по сторонам и предложил нечто, заставившее даже угрюмого Корабельникова широко улыбнуться.

— А что! — сказал он прежним молодым голосом, каким когда-то на первых своих выступлениях читал знаменитое «Тьфу». — Это будет, я понимаю, скандал. Это будет хар-роший скандал!

30

Нелепо было бы думать, что Чарнолуцкий не знал о предстоящем собрании: добровольных осведомителей хватало и у него. Беллетрист Ягодкин, заметив ремингтонированное воззвание на Васильевском, аккуратнейшим образом отодрал его от столба и доставил наркомю. Тот прочитал и задумался.

С одной стороны, конечно, придавать избыточное значение самодеятельному митингу не следовало: организаторы из

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

них никакие, бояться нечего. С другой — игнорировать сборище тоже не хотелось: быть может, он должен именно сейчас действовать решительно, чтобы не дать болезни зайти слишком далеко... Было и еще одно важное соображение — Чарнолуцкий терпеть не мог Апфельбаума, нынешнего хозяина Питера но от Апфельбаума теперь зависело многое. Тот спал и видел, как бы оправдаться за свою несчастную глупость 23 октября, когда, пойдя против Ильича, он с Розенфельдом тиснул в дрянной эсеровской газетке бессмысленный *votum separatum*. Конечно, никакого предательства он не замышлял, да и кто читал ту газетку? Выступление в последних числах октября было секретом полишинеля; однако Ильич, чьи нервы были напряжены до предела, увидел тут именно предательство — или, напротив, отлично владея собой, решил пугнуть оппонентов этим жутиелом. Так или иначе, клеймо предателей на Розенфельде и Апфельбауме стояло прочно, и, несмотря на прощение Ильича (он умел прощать — то есть якобы забывать), Апфельбаум, став хозяином города, из кожи вон лез, чтобы выслужиться. С него запросто бы сталоь разогнать демонстрацию. И Чарнолуцкий, чуть не скрипя зубами, спустился со своего четвертого на второй этаж Смольного, где сидел теперь глава городского совета.

Даже узнав каким-нибудь чудом о его будущей мученической судьбе, Чарнолуцкий все равно должен был бы признать, что ничего не может сделать со своим отвращением к этому человеку. В нем было все, за что ненавидимо еврейское племя, — и ни одной черты, за которую оно ценимо даже противниками. В нем была иудейская трусость — без ума, настойчивость — без таланта, самолюбование — без страдания; он был уродлив уже сейчас — и страшно было подумать, каков будет в старости. Чутье на силу у него было безупречное: посповав между Ильичем и Бронштейном, он безошибочно выбрал Ильича. Он был из тех, кто идет в революцию с единственной надеждой взять реванш за бесчисленные унижения скудного детства и убогой юности; в нем и близко не было ничего поэтического. Чарнолуцкий никогда не мог понять, что заставило Ильича оставить город на такого человека; иногда, впрочем, мелькало у него юмористи-

ческое подозрение (как-никак он знал Ильичев юмор), что город в самом деле решено сдать немцам. Лучшего способа избавиться от Апфельбаума, отомстив ему за все, в природе не существовало.

— Гриша, — сказал Чарнолуский. — Тут намечается митинг один — так ты не реагируй пока, ладно?

— Профессоров своих покрываешь? — нехорошо посмотрел на него Апфельбаум.

— Там будут не только профессора. Там и мои художники, — не моргнув глазом, соврал Чарнолуский. — У них что-то вроде диспута, понимаешь? Не мешай.

— А если вооруженные люди? Если начнется стрельба? — юлил градоначальник.

— Ты отлично знаешь, что никакой стрельбы не будет. И потом, я пойду туда сам.

— Но учти, Александр: это последний раз! — погрозил пальцем Апфельбаум. — И под твою ответственность! Я все равно, конечно, пошлю своих людей...

— Да ради Бога, — сказал Чарнолуский.

«А все-таки неплохой я актер», — подумал он.

Хмелев не верил, что соберется хоть сорок человек — столько, сколько было в коммуне. Но двадцать девятого года выдалась прекрасная, работы у большей части столичного населения по-прежнему не было, и на острова потянулись любопытные, да почти все жители улиц, выходящих на Невку, да мальчишки, да старушки — и к двенадцати часам дня на лужайке перед Елагиным дворцом, среди роскошного парка, разбитого когда-то к вящему удовольствию Екатерины Великой, стояла немаленькая толпа. Вероятно, Извольский тоже постарался — едва очистившаяся от снега подъездная дорожка ко дворцу и Елагин мост были запружены народом.

Люди Извольского — все те же крепкие, немногословные, желтолицые и тем похожие на азиатов, — соорудили из досок трибуну, похожую на гроб (доски остались от разобранной еще в январе караульной будки). Покрасить ее не успели — не то она была бы похожа на гроб повапленный; впро-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

чем, на некоторых досках сохранились черные и белые полосы — в старину красили крепко.

— Начну я, — тихо сказал Извольский. — Нужно с самого начала выйти на верный тон — а там посмотрим.

Он взлез на трибуну — невысокий, с длинной головой и коротким туловищем, с бородавкой на носу, оседланном вдобавок круглыми очками, — и понес такое, что даже готовый ко всему Хмелев в первый момент испугался.

— Господа! — кричал Извольский. — Сегодня, когда большевистская диктатура удушает все живое... на наших с вами глазах... уничтожается последний оплот свободной мысли! Не ограничившись закрытием лучших газет и убийством достойнейших слуг народа... наши доморощенные Мараты и Робеспьеры... удушают костлявой рукой голода заслуженных стариков, сливки петроградской профессуры! (Вообразив себе удушаемые сливки, Ловецкий не выдержал и хихикнул; прочие елагинцы, стоявшие позади трибуны, яростно на него зашикали). Это только начало — в самом скором времени арестованы будут все жители Петрограда, получившие высшее образование! (Эта была одна из его излюбленных баек, вроде обобществления жен. В толпе глухо зароптали, даром что высшего образования, судя по виду собравшихся, у большинства не было). Нас могут спросить — на что мы надеемся? Мы надеемся, что с подвига участников Елагинского общества, которое пытаются разогнать голодом и холодом, начнется духовное возрождение России! Эта горстка седых подвижников, эти борцы, закаленные в научных спорах, обремененные годами, согбенные скорбями... вот достойнейший пример для всех нас, трясущихся по своим щелям! Если сегодня мы не защитим наших ученых, завтра придут за каждым из нас! Помните величайший закон социального развития: если ты молчишь, когда ведут на казнь твоего брата, — завтра на казнь поведут тебя, и некому будет крикнуть «Долой»!

Весь этот бред был тем удивительнее, что большая часть обитателей и гостей Елагинской коммуны сроду не чувствовала себя подвижниками; сам Хмелев, хоть и находил некоторое удовольствие в новом статусе борца с большевизмом, никак не замахивался на столь масштабные цели, как восстание.

Выстоять, доказать право независимой мысли на существование, не дать провести хамскую реформу с отменой орфографии — да; возможно, вернуть ять, возможно, спровоцировать большевиков на отказ от диктатуры и даже на созыв Учредительного собрания; но мысль о народном восстании и в голову ему не приходила, поскольку умом историка он прекрасно понимал, что ни одно народное возмущение еще не послужило торжеству разума и приличий. Ему даже показалось на миг, что Извольский, столько успевший напести про Елагинскую коммуну, использует ее лишь как предлог для устройства собственных тайных дел — ничем иным объяснить его рвение он не мог; впрочем, объяснение пришло само собой.

— Я сам — профессорский внук! — голосил Извольский, с легкостью покрывая все пространство Елагина острова. — Мой дед — профессор биологии Петербургского университета, и я знаю, скольким простым крестьянам, самородным талантам, *бес-плат-но* помогал мой дед подготовиться к поступлению! (Хмелев попытался припомнить биолога Извольского... или Изборского? Но он почти никого не знал на биологическом...) Новая власть согнала профессоров в заброшенное, холодное здание... кинула в лицо тухлую рыбу... заперла в резервации... а теперь пытается лишить и этого последнего прибежища! Какова же страна, позволяющая хамской власти так издеваться над почетной, заслуженной, беспомощной старостью!

— А ведь, чего доброго, нас теперь точно пересажуют, — шепнул Хмелеву Казарин. — Помните, Николай Алексеич, у Тэффи рассказ про модного адвоката? Так защищал, что вместо штрафа повешение присудили!

— Так вас никто не держит, Вячеслав Андреевич, — спокойно отвечал Хмелев. — Не поздно и уйти...

Казарин в ответ промолчал, справедливо заключив, что свободы мнений в осажденной крепости требовать не приходится. Алексеев одобрительно кивал, подняв воротник пальто. Ашхарумова слушала речь Извольского с непроницаемым лицом, по которому время от времени пробегала дрожь. Казарину казалось, что то была дрожь брезгливости, но Ашхарумова вся тряслась от еле сдерживаемого смеха.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Помните: сегодня они, завтра вы! — взвизгнул Извольский и слез с трибуны, сделав в сторону елагинцев широкий приглашающий жест, не относившийся, впрочем, ни к кому лично. По логике вещей, говорить следовало Хмелеву, но его неожиданно опередил Ловецкий, и старик мысленно возблагодарил судьбу. Он решительно не знал, что можно было сказать после такого громкого вступления.

— Дамы и господа, — весело и как будто небрежно сказал Ловецкий, словно выступал на пикнике. — Выступавший передо мною господин... Изборский (он придерживался этой транскрипции) несколько сгустил краски. Вы можете, чего доброго, подумать, будто мы сидим тут с заключенными окнами и забитыми дверьми, выставили пики и приготовились к смерти. Поймите нас правильно: мы не хотим никого свергать, мы исходили из возможности честного сотрудничества...

— Все дело портит! — сквозь зубы простонал Извольский.

— Но, к сожалению, власти приняли решение о том, чтобы нас распустить. Мы, однако, думаем, что при отсутствии культурных учреждений в новом Петрограде наше общество могло бы сослужить вам всем неплохую службу, — Ловецкий поправил пенсне. — И нам не очень приятно, что собравший нас нарком образования теперь своими же руками отбирает у нас то небольшое, что три месяца назад — без всякой нашей просьбы — дал.

Чарнолуский, этаким гарун-аль-рашидом стоящий в толпе (низко надвинутая шляпа, затемненные очки), выругался про себя. Ловецкий не нравился ему еще с того вечера, на котором читал историю чихачевской мануфактуры. Этот человек из всего норовил сделать клоунаду, а между тем явно имел серьезные намерения...

— Мы, конечно, не ведем речи о восстаниях и прочих крайностях, — продолжал Ловецкий. — Много уже было восстаний, пора отдохнуть. Мы хотим только, чтобы вы знали о нашем положении и не питали иллюзий относительно власти, а также помогли нам, если можно, завершить наш главный труд — издание народной библиотеки. Мы не просим денежной или продовольственной помощи, мы просим только вашей защиты в случае, если нас разгонят или, наоборот, запрет.

— Вы должны сказать! — страшным шепотом убеждал Хмелева Извольский. — Вы должны сказать, что это капитулянтские настроения, что этот человек вообще взялся неизвестно откуда... Кстати, он что, тоже профессор?

— Нет, — покачал головой Хмелев. — Он фельетонист.

— Я чувствовал, — сплюнул Извольский.

Выступление Ловецкого, как ни странно, толпе понравилось. Приятен был его улыбчивый вид и мягкие манеры. Но Ловецкого на трибуне сменил Хмелев, и публика подобралась: этот, сразу видно, был профессор, из благородных, старой закалки.

— Господа! — начал Хмелев, как начинал он обычно свои лекции. — Я прошу вас не обращать особенного внимания на то, что вам только что сказали. Помогать нам — это хорошо, сотрудничать с властями — тоже, наверное, хорошо, но лично я ни с какими властями сотрудничать не собирался. Меня привезли сюда силой, против моей воли. (Ай да профессор, подумал в толпе Чарнолуский, ай да совесть мыслящей России! Надо, надо было всех вас оставить подыхать по пустым квартирам, без пайка...) Мне дали сырых дров и невыносимо дымящую железную печь — такие, знаете, еще называют душегубками (он вовремя щегольнул знанием новой речи). Все это пытались выдать за великое благодеяние новой власти, начисто забыв о том, что эта власть отняла у меня мою работу, моих студентов и предмет моей сорокалетней заботы — грамотность русского народа. Впрочем, это не только у меня — это у всех нас отняли, сделав невежду героем эпохи. Да, это власть невежд, — возвысил голос Хмелев, — и она будет уничтожать всех, кто хоть на мизинец выше установленного ею ранжира! Да, это власть ничтожеств, и всякий, кто знает и любит свое дело, ей ненавистен в принципе! Такая власть никогда и ни над кем не одержит победы. Сколько крови пролито, сколько напрасных обещаний дано! Народ наш, умный и ядовитый народ, уже спрашивает: чем же вы так хвалились? Не хвались, едучи на рать, — дальше вы знаете.

В толпе одобрительно засмеялись. Усмехнулся для конспирации и Чарнолуский, хотя что там дальше — не знал. Вероятно, какая-нибудь грубость.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— И вот, не в силах одержать ни одной победы, подписав постыднейший мир, сбежав из славной столицы, эти вожди народа решили победить хотя бы нас, раз уж больше никого не удастся. Они хотели сыграть на ненависти невежд к образованию! Но тут-то и вышел у них главный просчет: никогда, никогда русский народ не был врагом образованности! Он и Петру простил все его кровавые злодеяния за то, что тот насадил на Руси образование! Нынешние Петры начали с упразднения наук, думая тем купить себе славу; вместо того чтобы учить грамоте — они вовсе упразднили грамоту! Подлый этот замысел не удался: сотни молодых людей приходили на Елагин остров, чтобы принять от нас эстафету знания. Но большевикам не нужно, чтобы этот священный факел передавался из рук в руки: им нужна тьма!

— Так вот, — возвысил голос Хмелев перед решающим штурмом. — Мы, над которыми думали они одержать легкую победу, станем тем камнем, на котором они споткнутся. Можно запретить печатать грамотные книги, но нельзя заставить меня писать «еще» с пятью ошибками — «истчо»! Можно разрушить русское государство, но разрушить русскую культуру нельзя, пока жив хоть один ее носитель. И даже если они тайно перебьют всех нас — нами, к счастью, культура эта не ограничивается! Есть вы, вы, оплот культурной России!

Он сделал широкий жест в сторону собравшихся мещан, лавочников и патрулей Петроградской стороны; впрочем, было в толпе и несколько интеллигентных лиц, болезненно кривившихся на протяжении хмелевской речи.

— Да, они споткнутся на нас! — закончил он, уже начинающая сипнуть. — И то, что сюда пришло сегодня столько людей, для которых культура не пустой звук, — верный знак, что Россию не удастся превратить в тупое стадо! Имеющий уши да слышит! — тут он чуть не пустил петуха, надеясь, видимо, что расслышат его и в Москве, — и под одобрительные крики сошел с трибуны.

— Крой, дедушка! — выкрикнул матрос из задних рядов. Ему очень нравились митинги и жаль было, что в последнее время их стало так мало. Правда, недавно он слушал похоже-

го старика в «Паризиане», куда часто заходил, — но тот оказался клоуном.

Извольский одобрительно кивнул Хмелеву. Тут, однако, произошло непредвиденное: из первых рядов на трибуну вышла худая, оборванная баба в сером платке и пронзительным голосом зачистила:

— Правильно, все как есть правильно! Ить до чего довели Расею: мясо, мясо стало по пятьсот рублей! Корова стоила десять рублей, а теперь мясо по пятьсот!

— Это жисть теперь ничего не стоит, а мясо вона как! — весело крикнули из толпы.

— По улице стало не пройти! — верещала старуха. — И грабют, и насильничают как хошь!

— Да тебе-то, мать, бояться нечего! — еще веселее крикнул другой голос. — С тебя-то что взять?

— Теперь на лицо не смотрят! — отозвался какой-то матрос. В толпе захохотали.

Тут выскочил замухрышка в кепке, вертлявый, с безумными глазами, и встал перед трибуной:

— Граждане! Позвольте вам прочесть политические куплеты, напечатать которые трусят газеты! Я шел навстречу патруля, в себе имея три рубля! Когда мне встретился патруль, он мне оставил ровно нуль! Еще, дальше: за сотню керенских рублей купить ты можешь фунт соплей, а по карточной разверстке не дадут тебе и горстки! Еще: видать, прогневала ты Бога, страна несчастная моя: начальства стало очень много, а хлеба нету вообще!

Носители русской культуры бешено заплодировали.

Митинг на глазах становился неуправляем. У народа накопилось множество претензий к миропорядку, и все высказывались хором, без соблюдения очереди и даже не выходя к трибуне. Про елагинцев никто не вспоминал. Кого-то уже били, и зрители, радуясь забаве, с удовольствием расчистили круг. Еврейчик в студенческой фуражке кинулся выручать избиваемого, так что теперь били и его.

— Жиды! — с удовольствием кричал сочным басом огромный детина, на котором петроградский голод никак не сказался. — Всё от жидов! Колоти жидов!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Его, его держите, братцы, я его видал, он салом спекулировал! — указывая на детину, взъерился тощий, непомерно длинный мужик с щеткой седеющих усов. — Подожди с жидами, жидов успеем...

Все это легко могло перерасти в массовое побоище; Чарнолуский стремительно соображал, что ему делать. Сейчас еще они бьют друг друга, но завтра легко могут подняться на нас...

В эту самую минуту в толпу разноцветным клином врезалось карнавальное шествие. Больше всего это было похоже на внезапное появление бродячих артистов, но в подозрительно большом количестве: словно цыганский табор в полном составе откуда-то с юга ворвался в весенний Петроград. Крестовцы подготовились к шествию серьезно: всю ночь писали картины, шили костюмы и расписывали роли. Впереди в красных, желтых и зеленых юбках, в старых гимнастических костюмах, обшитых бантиками, двигалась группа эвритмического танца. Следом Митурин с компанией тащили свои холсты, плакаты и листы фанеры, на которых наскоро были намалеваны супрематические композиции, а также вещи, более доступные пониманию обывателя: женщины, сплошь из пышных розовых округлостей, те же самые женщины, но уже в кубическом варианте, то есть состоящие из розовых кубов, прихотливо поставленных друг на друга; была пара пейзажей и даже одна церковь, изображенная в подчеркнуто лирической манере. В центре процессии важно вышагивал Корабельников, наряженный Вельзевулом, за ним маршировали черти, вооруженные отчего-то классическими атрибутами трудящихся — огромным серпом, молотом, швейной иглой и земным шаром, по которому распозалась гигантская красная клякса. Чертей на вербовали из мальчиков и девочек, бегавших на Крестовский слушать футуристов. В добровольцах недостатка не было: молодежь скучала без карнавалов.

— Человечество! — зычно кричал Корабельников; его спутники дудели в дудки и били в детские барабанчики, которые натащили из дому. Толпа разом прекратила драку. — Расступись! Тут будет показ нового искусства! Отдельные дубоголовые граждане утверждают, что мы, футуристы, худож-

ники пролетариата, кормимся с рук новой власти. Мы сами себе зарабатываем, граждане товарищи зрители! Сейчас состоится выставка-продажа и лотерея-аллегри нового, единственно революционного искусства! Потеснитесь, старорежимная публика, — он небрежно отпихнул куплетиста, продолжавшего что-то орать, и опрокинул трибуну.

— Убирайтесь вон! — крикнул Хмелев и тут же закашлялся.

— А это мы посмотрим, кто уберется, — спокойно пробасил Корабельников. — Граждане, чего хотим: этих старообразных слушать или новое искусство посмотреть?!

— Валяй! — отозвалось несколько голосов; разумеется, полуголые девки, которые, невзирая на мартовскую погоду, знай себе скакали вокруг наглого верзилы в бумажной короне, были гораздо интереснее, чем всякая говорильня.

— Свободные мастера зарабатывают на хлеб, холсты и краски! — возгласил Корабельников. — Художник, товарищи, такой же пролетарий, как вы. Художнику жрать надо, понятно? Покупаем первую картину, изображающую голую бабу в том виде, в каком нам ее рисовали последние пятьсот лет! Работа пролетарского художника Теремных!

Высокий, пышноусый Теремных, усмехаясь, встал рядом с Корабельниковым. В руках у него была черная клеенка, на которой, за неимением холста, он подробно изобразил рубенсовскую красавицу с розой на причинном месте.

— Начальная цена голой бабы в натуральном виде — сто рублей! Баба удивительных свойств, при правильном пользовании способна заменить настоящую! Сто рублей — раз!

— Давай ее сюды! — крикнул с места обтерханый мещанин без пальто, в куцем пиджачке, зато чуть не до глаз замотанный шарфом.

— Настоящая теперь дешевле! — осадил его кто-то. — Хлеба дай — все твои!

— Такую сейчас не найдешь, — пояснил мещанин, пробираясь к Теремных. — Теперь все кожа да кости... На тебе сотню, отдавай бабу!

Обрадовавшись быстрой удаче, Корабельников не стал торговаться дальше. Елагинцы с брезгливым ужасом на-

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

блюдали, как он королевственным жестом подозвал Митурину.

— Теперь, товарищи граждане, мы увидим с вами ту же бабу, но уже исполненную в технике современной! — сообщил он, без напряжения перекрывая шум толпы. — Теперь эта баба гораздо лучше, потому что настоящих и так полно, а такую вы не увидите нигде, кроме как у себя в доме! Начальная цена бабы, волшебным образом преображенной футуризмом, повышается на пятьдесят рублей!

— На что она такая, у ей сиси как кирпичи! — крикнул матросик, любивший ходить в «Паризиану».

— Дурак ты, — осадил его другой остряк. — Это новая баба, большевицкая. Это для Ленина баба, потому что ему обычная не дасть...

— Сто пятьдесят старорежимных керенских рублей! — кричал Корабельников. — В вашем доме поселится произведение новейшей живописи!

— Давай ее! — отозвался угрюмый мужик лет сорока. — Покажу своей, какие теперь бабы бывают...

Как ни странно, у собравшихся водились деньги. Мельников порывался продать самописьма — рукописную книгу стихов, — но его никто не слушал. Корабельников могучим голосом нахваливал церковь, намалеванную Митуриным за двадцать минут, и его же супрематическую композицию, отнявшую два часа (три круга, два квадрата, пересекающиеся плоскости). Продажа пяти картин обогатила крестовцев на восемьсот рублей, которые, впрочем, ничего не стоили. Елагинцы дружно вернулись во дворец. Впереди шел негодующий Хмелев. Досматривать крестовское представление остались Казарин с Ашхарумовой и — вероятно, в порядке обогащения собственного митингового опыта — Извольский. Разумеется, митинг нового образца мог иметь успех только в виде карнавала с плясками. Это стоило уцелеть.

— А теперь! — трубно объявил Корабельников. — Разыграно будет героическое, патетическое и черт-те какое изображение нашей эпохи, которым новые артисты и футуристические поэты встречают шестой месяц нашей революции! Для дураков краткое содержание: черти под предводительст-

вом Вельзевула влезают на небеса и свергают окопавшегося в облаках Бога, который и отпрапляется на Землю в видах перевоспитания! Он, конечно, на Землю не хочет и говорит, что он весь из себя культурный — а ему говорят, что хоть ты и культурный, а поди-ка к станку! Нашему времени нужна новая драма, ее место на площади. Сейчас вы ее увидите! Написано мною и вот товарищами Краминовым и Мельниковым, а сыграно творческой молодежью революционного Петрограда!

Тут же, без всякого перехода, он начал роль Вельзевула. По пьесе, первой взбунтовалась чертова мать (ее прелестно играла высокая, почти в корабельниковский рост, горбоносая девятнадцатилетняя армянка Маркарян, безответно влюбленная в своего Вельзевула). Вдохновленные чертовой матерью, пролетарские черти строили гигантскую пирамиду (уроки эвритмистов не прошли даром). Саваофа изображал Барцев, срочно приклеивший ватную бороду и вещавший почему-то по-старославянски. Саваоф не мог ничего сказать в свое оправдание, кроме того, что он — культура. Под конец он понес полную околесицу, потому что его главный монолог писал Мельников. Черти не стали его дослушивать и всыпали по первое число. Низвергнутый Саваоф отпраплялся к станку и даже начинал находить в работе своеобразное удовлетворение, а черти рассаживались на небесах и первым декретом освобождали труд. В заключение они исполняли «Интернационал» с новым, корабельниковским текстом, от которого Чарнолуский — при всей прелести и свежести исполнения — невольно поеживался: там дважды упоминался «мерзавец бородатый». Корабельников, несомненно, имел в виду Творца, но не учел Маркса, да и про Ильича наверняка не подумал.

Кое-что почитав из корабельниковской лирики хотя бы и двухлетней давности, Чарнолуский представить себе не мог, что этот мальчик с надорванным голосом с такой легкостью переключится на площадную драму: видимо, мир действительно начинался с чистого листа. Драма была так себе, на уровне аудитории, — но все полчаса, на протяжении которого адские жители штурмовали небо, толпа не расходилась.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Чарнолуцкий от души раскаялся в том, что был резок с крестовцами. Нынче же приехать и объясниться. То-то будет смеху, когда я расскажу, как смотрел их инкогнито...

— А теперь, граждане публика, соберем на обед артистам у кого что есть! Мы ж не просто так тут глотку драли! — сказал осипший Корабельников, снял вельзевульскую корону (оказалось, она наклеена на обычную шляпу, которую пожертвовал Драйберг) и пустил ее по толпе. Скоро она приплыла к нему, наполненная мятыми бумажками, поверх которых лежала одинокая вобла.

— Благодарю, товарищи! — крикнул футурист. — Приходите к нам на Крестовский, там живут художники, они покажут вам новое искусство и новый быт!

— А когда?! — крикнуло несколько молодых голосов.

— Да хоть сейчас, — великодушно разрешил Корабельников. — Айда с нами. У кого есть спирт — приносите, артисты замерзли.

Но артисты не замерзли. Черти и чертовки были чертовски счастливы. Казарин мельком оглянулся на Марию — и ощутил жестокую ревность: она смотрела на крестовцев, чуть приоткрыв рот от счастья и удивления, и лицо ее было таким светлым, каким он видел его только в самом начале знакомства.

«Что я сделал с девочкой, — подумал он. — Что я сделал...»

— Кстати! — уже собравшись идти на Крестовский во главе своей армии, к которой присоединилось несколько любобпытствующих зрителей, Корабельников обернулся и безошибочно узнал Казарина. — Гражданин товарищ Казарин! Вы же как будто из бывших будете. Не желаете часть выручки? Как-никак зрителей-то ваши собирали! Вот, не хотите? — он потряс шляпу и помахал воблой.

Казарин, ни слова не говоря, отвернулся и побрел во дворец. Крестовцы победили — он не стал бы с этим спорить, — но не умели соблюсти меру в стремлении унижить побежденных.

Ашхарумова пошла рядом с ним, заглянула ему в лицо, увидела страдальческую гримасу:

— Тебе плохо? Слава! Да Слава же!

Да, ему было плохо. Хуже всего оттого, что, прежде чем пойти за ним, она секунду помедлила в нерешительности. Этого Казарин не забыл — может быть, потому, что предчувствовал.

31

Оскольцеву снилось, что сошлись его друзья: явились прощаться и знали это. Каждый принес скромное подношение — цветок, платок, экзотическую бутылку. Ужасно было то, что приходящие веселые посетители (веселые искренне, а не натужно) ничего не могли сделать с тем, что ему предстояло; общая атмосфера веселого заговора царила в комнате. Ужасно было и то, что первая его возлюбленная была коротко стрижена, и он все время шутил по этому поводу. Тот, с кем она пришла, вдруг решительным жестом оборвал общее веселье; все встали по углам. Оказалось, он был тут главный. Между тем Оскольцев видел его впервые. Спутник первой возлюбленной был торжественно и сдержанно благожелателен, как все палачи. Он был тут распорядитель. Странно, что Оскольцев во сне так много знал о палачах, и это служило лишним, теперь уже нежеланным доказательством того, что душа есть и знает больше, чем надо. Высшей точкой отчаяния была подсудно пришедшая мысль о смертности души: есть, но конечна.

Казнь заключалась в разделении Оскольцева на составные части — не грубом и кровавом, подлинно топорном расчленении, а в разложении на то, что одушевлялось и собиралось вместе некоей магической светящейся точкой, которую следовало очистить от всех наслоений и торжественно погасить. Вот отделяется зрение, вот голос, вот слух, вот те странные сущности, которые вечно друг другу противоречили и спорили в нем, — он может наконец увидеть их в лицо. Почему-то их звали Ацем, Коцем и Децим. Смысл был только в имени Децима — а впрочем, и смыслов уже не было. Вот отделились смыслы, вот ушло все, — принесли маленький деревянный ящик со множеством отделений (зрения уже нет, но он как-то видит ящик): в одно отделение кладут пузырек с голосом, в другое — пузырек со слухом. Он с высоты увидел собственное недвижимое, кротко лежащее тело

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

в черном сюртуке, собственное лицо с выражением доверия и покорности и чуть не заплакал от жалости к этому бывшему ребенку, доверчиво подставлявшему себя манипуляциям бесчисленных врачей и палачей, сколько их было в его жизни.

В конце концов ему надлежало лежать закрытому белой полупрозрачной тканью, а голос невысказанной чистоты и силы пел над ним, и он понимал, что это уж точно последнее. Ящик был уже закрыт, запечатан сургучом и убран до лучших времен (он запомнил это выражение — «до лучших времен»); друзья затеплили свечи, лицемерно потушившись. Но голос был подлинным, голос летел над ним и отпевал его, и все страдание, вся мука, весь бесплодный протест были в этом голосе: погляди, погляди, что с ним сделали! Оскольцев с невыразимой ясностью осознал, что сейчас его не будет. Возможно, что и не стало бы, — но тут он проснулся. Было темно, и громко храпел Ватагин.

— Меня не будет, — сказал Оскольцев вслух. — Нет, не может быть.

Тем не менее могло, и он окончательно понял, что никаких попыток не надо. Он не выдержит, он готов, согласен на что угодно. Только бы жить, жить, только бы жить.

32

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали!
Товарищ, мы едем дале-о-око,
Подальше от этой земли!

Ять знал эту песню. Ее с большим чувством исполнил на Варшавском вокзале нищий, наряженный матросом; он знатно подыгрывал себе на аккордеоне. Маринелли пел без малейшего акцента, а кто-то из моряков художественно аккомпанировал ему — опять же на аккордеоне. Ять и не предполагал, что итальянец так изучил русский матросский репертуар. Не иначе, сказывалось чудесное действие Голицынских винных складов.

На палубу вышел — сознания уж нет,
В глазах у него помутилось... —

страдальчески выводил Маринелли.

Ять подошел поближе.

— Fine job, Marinelli! — сказал он сквозь крики одобрения.

— Частушки знаешь? — спросил басом толстый матрос.

— Как не знать! — отозвался итальянец на чистейшем русском. — Эх, кончилась монархия, наливай да пей! Мама нам анархия, папа нам портвей! Обождите, братишечки, все спую, только тут дружок ко мне подошел, поговорить надо.

— Наливай и дружку, — разрешил матрос. Около его ног стояла огромная бутылка, в каких прежде продавали шампанское; бутылка была грязная, явно исхищенная из чьего-то чулана. В ней плескалось красное вино.

— Пей, товарищ, — сказал матрос, наливая Ятю кружку. — Самолучшее, со складов.

Ять выпил, не почувствовав вкуса. Это была малага 1586 года.

Маринелли отвел его в сторону.

— Если вы еще раз, — сказал он сквозь зубы, — обратитесь ко мне по-английски, вы погубите всё.

— Так вы — русский? — в ужасе спросил Ять.

— А какой же я? — бешеным шепотом отвечал Маринелли. — Или вы только прикидываетесь идиотом?!

— Господи, — Ять вытер лоб. — Опять я ничего не понял. Когда уже кончатся мои обольщения... Почему же вы Могришвили не сказали, когда он собирался вас кастрировать?!

Маринелли посмотрел на него в крайнем недоумении.

— Вы что, вообще ничего не понимаете? Это была моя единственная надежда. Иностранца, может, он еще побоялся бы тронуть. Как русский я для него не представлял ценности, а иностранцев у нас всегда берегут.

— Что ж вы перед этими не стали притворяться? — снова не понял Ять.

— Слушайте, как вы вообще до тридцати пяти лет дожили?! Надо же чувствовать хоть что-то! Когда в России есть власть — надо быть иностранцем, потому что власть бережет иностранцев для своих целей. Когда в России нет власти — надо быть русским, потому что всех нерусских немедленно начинают бить! Вы еще не поняли? Ладно, хватит философии. В случае чего — я вас не знаю, вы меня не знаете. Решайтесь. Через два, много три дня здесь будут немцы, и от всего этого веселья не останется мокрого места.

— Какие немцы? Откуда?

— Мир подписан, баранья вы голова! — Маринелли стукнул себя по лбу. — По этому миру вся Украина и Крым отошли к Германии, в благодарность за содействие.

— Подождите, подождите... Но ведь когда нас отпращивали сюда поддерживать советскую власть, мир был уже подписан?

— Это же большевики, мамма миа! — Маринелли схватился за голову. — От кого вы ждете логики?! У них левая рука не знает, что делает правая! Крым был в секретном протоколе, и те, кто нас сюда отправлял, понятия не имели, что Крым уже не русский! Лично я ехал сюда только в надежде унести ноги, потому что в Гельсингфорс из Питера сейчас не попадешь — выпускать перестали сразу же. Я думал уйти на любом корабле, но тут начались эти смены властей, аресты, концерты... От России мы теперь отрезаны. Завтра сюда придет последний французский корабль...

— Я знаю, — сказал Ять.

— Откуда? — поразился Маринелли.

— Неважно.

— Однако! Этак на него будет рваться весь Крым. Никому не говорите, умоляю. Так вот, я уговорил Бурлака. Из города никого не выпускают, сделали заставы, но морем вполне можно... Я все придумал. У него пристойная лодка, на море спокойно. Ночью отчалим, через три часа будем в Ялте. Решайтесь. С вами девушка, ей в России делать больше нечего.

— Она же не со мной, — покачал головой Ять.

— Да не время же заниматься всей этой чушью! — снова застучал себя по лбу Маринелли. — Вы что, опять

ничего не понимаете? В Париже сразу расстанетесь, словно и не виделись никогда!

— Я не поеду, — покачал головой Ять. — Уезжайте сами. На корабле вас ожидает сюрприз — думаю, скорее приятный...

— Она тоже едет? — немедленно догадался Маринелли.

— Скорее всего.

— Она что, изменила вам? Какая кошка между вами пробежала?

— Никто мне не изменял. Я ухожу отсюда.

— Куда вы, к черту, уйдете? К немцам в пасть?

— Ничего, буду пробиваться в Петроград. В самом деле, порезвился, и будет. Чем кончится здесь, я уже понял. Надо посмотреть, чем кончится там. Спасибо, артист. Кстати, скажите уж напоследок, кто вы такой?

— Идиотский вопрос, — хмыкнул Маринелли. — Раб Божий, артист императорских театров, репортер, карманный вор, какая разница? Кончились времена, когда каждый был — кто-то. Сегодня, если жить хочешь, утром надо быть одним, вечером другим, а ночью чтоб вообще тебя не видно... Вы что, серьезно думаете, что в России перед войной жили одни кадеты, эсдеки, поэты, репортеры? В России были и серьезные люди. Если б она нас слушала, приличная была бы страна, в первый ряд могла выйти... Но сырая, пресная, сообразительности никакой. Немного авантюризма — и тут можно найти Клондайки! Если бы я да мой друг Извольский, о котором, я верю, вы еще услышите, успели провернуть одно дельце — никакого октябрьского бунта тут не было бы, к чертям собачьим, и никакого Керенского тоже! Вот вы — что вы умеете? Писать? Хорошее дело для мужчины в тридцать пять лет! Поедем со мной, я сделаю из вас человека!

— А вы что умеете? — спросил Ять, все больше забавляясь этим разговором.

— Я?! — взвился Маринелли. — Я говорю на пяти европейских языках, пою на прекрасном любительском уровне, показываю фокусы, рисую валюту десяти главных стран мира, открываю предприятия, знаю рынок

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

угля, мыла и граммофонных пластинок! Я понимаю в оружии, технике и пиротехнике! У меня друзья во всех столицах! За тридцать восемь лет жизни я объездил шестьдесят государств! Аудиенция у государя у меня сорвалась единственно из-за Февраля!

— Вот видите, — ласково сказал Ять. — Сама судьба против того, чтобы вы спасли Россию. Спасибо, Маринелли. Меня восхищает ваш моторчик. Но предоставьте нас нашей судьбе.

— Жаль, — сказал Маринелли и сплюнул. — Если будете-таки за границей, найдите в Париже, на Севастопольском бульваре, кафе «Три голубя». Хозяин скажет вам, как связаться со мной. Он мой агент в этой части Европы.

— «Три голубя», — повторил Ять. — Непременно, непременно.

Невозможно было представить, что бывает какой-то Париж.

— Слышь, кучерявый! — позвали Маринелли. — По-ди сюда, спой чувствительное!

— Лечу! — отозвался Маринелли.

— Постойте, постойте, — Ять взял его за рукав. — Одна, последняя просьба. Надо похоронить Свинецко-го. Нельзя же, чтобы он там... так лежал...

— Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов! — прошипел Маринелли. — Где вы хотите его похоронить?

— Где угодно, хоть в Пушкинском парке. Там земля мягкая, лопаты есть — Могришвили устраивал общественные работы, инвентарь так и валяется...

— Чертова сентиментальность! — ругнулся Маринелли. — Они сами его потом зароят, не звери же...

— Нет, нет. Это должен сделать я. Но я не смогу его дотащить один. Могилу я сам выкопаю. Прошу вас, помогите только донести!

— А, ч-черт с вами, подождите. Друзья мои! — крикнул он матросам. — Я вернусь буквально, буквально через минуту! Ждите, я спою вам любимый романс императора!

— В первый раз я увидел его в тюремной больнице, — задумчиво сказал Ять. — Это было почти пятнад-

цать лет назад. А в последний раз вижу в полицейском участке.

— Когда человек ни черта не умеет делать, — ругался Маринелли, зачем-то снимая чехол с матраса, — он всегда занимается ерундой...

— Зачем вы снимаете чехол?

— Да не лезьте вы с вопросами, помогите лучше. Что вы, так собирались его тащить? В простыне? Появиться в пирующем городе с трупом — это вполне в вашем духе... Пихайте его туда!

— Как — в чехол?!

— А, безрукий, — махнул рукой Маринелли и сам принялся натягивать грязный чехол на уже заочевевшего Свинецкого. Сначала он просунул туда его тощие босые ноги, потом, приподняв тело, потянул дальше; Ять преодолел себя и стал помогать. Свинецкий был невелик ростом — он целиком поместился в чехле.

— Допустим, я помогаю вам вынести на свалку какой-нибудь мусор или старый матрас, понятно? — шипел Маринелли. — Ну, я возьму его, а вы идите следом.

Певец легко взвалил Свинецкого на плечо и поднялся наверх. Ять как потерянный шел за ним. Против всех ожиданий, от участка Маринелли направился не налево, а направо.

— А как же мы пройдем в парк?

— Какой, к черту, парк? Вы думаете, я действительно собираюсь копать ему могилу? Нашли могильщика! Он найдет могилу в волнах, как и хотел бы, наверное. Вы знаете Генуэзскую скалу?

— Да, конечно.

— Там есть отвесный обрыв, сразу под ним глубина. Он мирно пролежит на дне до второго пришествия, и никто ничего не заметит.

— Мне все-таки кажется... — неуверенно сказал Ять.

— Тысячи моряков похоронили в море, и никому ничего не казалось! Учтите, там высокий подъем, вам придется мне помогать. Ну, живо!

Маринелли с гибкостью толстого кота взобрался на выступ скалы и уселся на него верхом:

— Подавайте!

Ять опять поднял Свинецкого на руки, Маринелли ухватил его, как мешок, и втянул наверх. Он еще подал руку Ятю, но тот взобрался сам: кое-что умел на свете и он. За огрызком башни, торчащей на скале, — еще различалась заросшая, мшистая кладка — открывалось нечто вроде смотровой площадки, длиною не больше сажени. Внизу поплескивало море да торчали два больших плоских камня, на которых любили загорать гурзуфские мальчишки.

— На камень бы не попасть, — озабоченно пробормотал Маринелли. — Бульжников положите, всплывет! — И сам принялся собирать вокруг крупные и мелкие обломки. Их запихали в мешок к Свинецкому. Ворочая камни, Ять — как всегда, несвоевременно, — вспомнил, что в Риме отцеубийцу сбрасывали в Тибр, завязав в мешок с петухом, змеей и крысой. Крыса олицетворяла жадность, змея — коварство... Он не помнил только, что олицетворял петух. Но если посмотреть с этой точки зрения — в мешок Свинецкому и впрямь можно было бы положить только камень, вечную тяжесть его судьбы...

Ну, хватит, — сказал Маринелли и затянул тесемки матрасного чехла. — Раскачиваем! И сами не улетите — с вас станется! Раз-два!

По его команде Ять взял Свинецкого за ноги, Маринелли поднял чехол за края — и, когда певец выдохнул «три!», полосатый мешок полетел в воду. Всплеск был несильный, и через минуту только этот белый след напоминал о присутствии в мире эсера Свинецкого.

— Ну, царство небесное, вечный покой, — сказал Маринелли и широко перекрестился. — Славный был малый, но не сумел собой распорядиться. In pace requiescat. Пойдемте со мной.

— Я останусь пока, если можно, — просительно произнес Ять.

— Ладно, — ответил певец. — Помните про Париж.

Ять просидел на скале, пока не начала сгущаться бледная синева. Он сам изумлялся потом, что у него не возникло и мысли прыгнуть вслед за Свинецким. Он никогда всерьез не думал о самоубийстве, рассматривая

его как величайшую метафизическую невоспитанность — демонстративный акт, настойчиво требующий жалости к тому, кто в ней уже не нуждается. Он был уверен также, что почти всякий самоубийца в последний момент жалеет о своем решении. Самоубийство оправдано только тогда, когда жить дальше в самом деле нельзя — нельзя по определению: непрерывная пытка, позор, слабоумие. Он просто сидел на скале, глядя в море и зная, что нескоро теперь увидит его опять. Надо было понять что-то главное — о себе, Маринелли, Свинецком, море, — но мыслей не было. Была блаженная пустота: ни на что другое нельзя смотреть так долго — только на море, которое само себе смысл. На самом деле море одно — Тирренское, Эгейское, Адриатическое, Эвксинский Понт, море Лаптевых... Океан объемлет шар земной, и хорошо там, где нет ничего, кроме воды и неба. Почему так хороши эти две пустоты в своих бесконечных разнообразиях, в немислимых оттенках? Видимо, дело именно в абсолютной бесцельности, в полной взаимной достаточности: ты освещаешь меня, я отражаю тебя.

Далеко далеко, на горизонте, виднелись жемчужно-серые облачные купола, угадывались верхушки минаретов, чалмы, островерхие колпаки, — там бурлил небесный базар, там путник входил в крикливый восточный город, стража искала смутьянов на улицах, кричали ишаки; призрачный, райский край ежеминутно менял очертания, и все оттенки серого строили в небесах дивный пейзаж. Там страдали — но так, как страдают в раю.

С набережной донеслось бесконечно печальное пение Маринелли — это он исполнял для анархистов, впавших в сладостную грусть, любимый романс бывшего императора. Непонятно было, с чего он взял, что это любимый романс, — но император и вправду любил Плевницкую, все знали. Ять тоже любил эту песню, жалкие слова которой так мало вязались с мелодией:

В лу-унном сия-анье... снег серебри-ится,
Там, по дороге... троечка мчится...
Динь-динь-динь, динь-динь-динь,

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон
О любви говорит.

Полно, какая любовь, на что надежда?! Вот Свинецкий — никогда ни на что не надеялся, потому и умер героическим, защищая святыню... Впрочем, какая это святыня — Голицынские склады? А вот я — всю жизнь просил себе немного жизни, крошку счастья, теплый угол, молил, умолял, вился ужом, добывал, выгрызал, вцеплялся мертвой хваткой, потом от всего отказался — и все же надеялся... И вот он мертв, а я жив; и есть ли тут выбор, если все кончается матрасным чехлом в одном случае и пустотой в другом?

Но и теперь он в душе знал, что живому лучше. Живой хоть песню слышит.

Ни одна лодка, по условиям нового вольного времени, не имела права покинуть гурзуфский берег: праздновать велено было всем, до упора. Только ради мистериального пения, которое пообещал продемонстрировать Маринелли, сделано было исключение. Бурлак уже сидел на веслах. К восходу луны на гурзуфской набережной стояло почти все население города: рыбаки, дукащики, дачники, уцелевшие от расправы татары и босяки из бывшей свиты Свинецкого.

Ровно в одиннадцать вечера туман вдруг исчез, и небо очистилось. Луна вышла из-за Генуэзской скалы, и над морем разлилось ровное серебристо-голубое сияние. Маринелли в античной тоге (под которой, однако, угадывалось несколько слоев толстой шерстяной одежды), под громовые аплодисменты взошел на борт. Бурлак взялся за весла.

Ять стоял у самого парапета набережной, мучительно чувствуя, что Таня рядом — но теперь уже навеки и окончательно отдельно; он боялся оглядываться по сторонам. Все было отвратительно, хуже некуда, и вместе с тем в этом-то «хуже некуда» и был самый сладкий сок — последний и полный разрыв (он знал, что самого последнего и полного не будет никогда), еще одна пере-

вернутая страница бессмысленной и непонятной жизни... Туманное, зыбко-серебристое море как нельзя лучше соответствовало его прохладной тоске. В руке Маринелли трепетал огромный смоляной факел — он зажег его, едва лодка отошла от берега. Вдруг над лодкой взвилась и с треском рассыпалась огромная красная ракета, следом — зеленая и голубая: Маринелли понимал-таки в пиротехнике. Больше трех ракет он выпускать не стал — остальные могли пригодиться в открытом море, при встрече с европейским кораблем.

Толпа на набережной восторженно взвила, но Маринелли легко покрыл этот вой могучей песнью: для прощания он выбрал «Лознтрина».

— Mein li-i-eber Schwan!
Ach, diese letzte, traur'ge Fahrt,
Wie gern hatt'ich sie dir erspart!

Рыбак Бурлак, выступавший в функции любимого Лебеда, приналег на весла, словно говоря: да ладно, хозяин...

— In einem Jahr, wenn deine Zeit
Im Dienst zu Ende soltre gehn...

«Хорошо он предваряет приход немцев», — подумал Ять.

— Dann durch des Grales Macht befreit,
Woll't ich dich anders wieder sein...

«Как же, вернешься ты...»

Маринелли был великолепен. Его драматический тенор дивно сочетался с серебристо-голубой гладью, смиренно внимавшей ему. Несколько не хватало оркестра, но, пожалуй, это было бы уже чересчур. Лучшим аккомпанементом к божественной арии служили тихий плеск весел да потрескивание смоляного факела. Никто не шевелился. Матросы, солдаты, татары и гурзуфские обыватели смотрели как зачарованные на лодку, тихо скрывавшуюся за мысом.

— Андел, — сказала какая-то баба. — Чистый андел поплыл.

Ять еще некоторое время смотрел на удаляющийся факел, потом повернулся и, раздвигая загипнотизированную толпу, вышел в Пушкинский парк. Тут было пусто, кедровые иглы мягко пружинили под ногами. После дождя сильно, терпко пахло хвоей. Миновав пьяную заставу, он выбрался на верхнюю дорогу и вышел из пределов Гурзуфа.

Двадцать пять лет тому назад они с матерью уезжали из Мисхора. Он бросил тогда в сияющую синюю воду теплый желтый медяк, и странно было думать: вот, сейчас я держу его в кулаке, пока еще держу, а в следующий миг он полетит в воду, и никто не возьмет его уже никогда... но вот он решился, и медяк с веселым всплеском, не жалея о своей участи, стал медленно опускаться и отсвечивать зеленым. Где-то и теперь лежит на дне близ Мисхора этот медяк.

Всякий раз, уезжая из Крыма, он бросал монету — и всякий раз возвращался. Но теперь у него не было монеты — и меньше всего на свете он хотел сюда вернуться.

Впрочем, когда-нибудь, стариком... когда все здесь будет другим, кроме воды и неба, и развалится зувский дом со скрипучей лестницей, и немцы понастроят лечебниц, санаториев, купален... Или все вовсе обезлюдет, зарастет, запустеет — да, так бы лучше всего. Вот тогда бы вернуться сюда — просто вспомнить, что жил.

33

Поезд, переваливаясь, тащился по степям вторые сутки — его штурмовали на долгих, двух- и трехчасовых остановках, и все набивались и набивались новые люди, хотя, казалось, дальше-то некуда. Это был последний поезд, уходивший из Крыма перед немецким вторжением: никто до конца не верил, что придут немцы, но слух, все более упорный, наконец подтвердили симферопольские газеты — и с этого дня бегство из Крыма приняло панический характер.

От роскошного вагона, в котором Ять прибыл в Крым, нынешний отличался примерно так же, как сам Ять, пол-

ный надежд, смущенный внезапным подарком судьбы, — от теперешнего, еле живого, опустошенного. На попутной мажаре — догнал в Алуште — добрался он до Симферополя. На вокзале штурмовали поезд, идущий в Петроград. Это была судьба — последний, может быть, шанс; и он не упустил его.

В Симферополе в нем проснулась настоящая, глухая злоба, он почувствовал в себе способность если не убить, то сильно поуродовать человека. Почему, в конце концов, он должен терпеть? Почему всякий строй начинается с того, что лишает его крыши или запрещает передвижения, отнимает его ремесло — единственное ремесло, от которого что-то останется будущему? В конце концов, если Бог дал ему жизнь — он что-то имел в виду, и не всяким кретинам отбирать ее. Хватит, по-прежнему! Полгода он честно мирится с тем, что никому не нужен и только уступает дорогу ликующему хамью: прав был Свинецкий — всем нам, проклятой интеллигенции, еще только предстоит стать людьми. Нет, баста. «Баста», — повторял он сам себе. Преимущество Ятя было в том, что он ехал без вещей, голый человек на голой земле, — только узелок с книгой Клингенмайера — и вдобавок был в отчаянии, а это не всегда плохо. Сил его хватило не только на то, чтобы по головам татар, дачников и горожан пробиться в вагон, но и на то, чтобы помочь молодой матери с ребенком — хохлушке, совсем простой бабе. Принимая из ее рук младенца, Ять в проеме вагонной двери в последний раз увидел симферопольский вокзал: чуть поодаль, в стороне от толпы, приступом берущей вагон, он заметил невысокого бровастого старика. Старик был бритый, сухонький, в теплом картузе. Он стоял, заложив пальцы за пояс, и серыми злыми глазками внимательно смотрел на столпотворение.

Ять не успел вспомнить, где видел старика, да и не было времени приглядываться — надо было локтями прокладывать путь из тамбура. Ему достался вагон второго класса. Он втянулся на верхнюю полку и оттуда смотрел на кишашие в проходе тела. Все тащили какие-то мешки. Воля ваша, этого он совсем не понимал. Мешки-то куда? Что делать с мешками? Эти люди, даже зная, что едут на смерть, захватили бы с собой никому не нужный, вшивый скарб.

Книгу, однако, он берет.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Поезд тронулся, но с него еще опадали последние уцепившиеся, — ясно было, что уже не втиснуться ни в один тамбур, а они все лезли. Странное дело — Ятю было решительно плевать на всех. Он никого больше не жалел и ни о чьей судьбе не заботился: то ли потому, что от его жалости и заботы ничего не зависело, то ли по причине спасительного отупения. Вагон стоял, голосил, плакал, кто-то надрывно, тягуче звал неведомого Олёшу, зловоние стояло невыносимое, и Ять время от времени утыкался лицом в ладони — чтобы почувствовать какой-никакой, а свой запах. Больше ничего своего в этом поезде не было. До полуночи вагон гомонил, потом стал храпеть... Внизу, под Ятем, украинец переговаривался с украинкой — многословно, пустословно, тонким, нитяным голосом, и эта нитка все лезла Ятю в ухо, все щекотала его: заснуть было решительно невозможно. Украинец рассказывал бабе всю свою жизнь. Жизнь была такая, что лучше бы не родиться. Посреди повествования оба делали друг другу куртуазные сельские комплименты:

— Ой, — говорила она, — я же ж вижу, что вы такой человек, что вас же ж всякий может, простите меня, обмануть или провести, потому что честного же ж человека видно..

Этот честный человек, штурмуя вагон, только что не грыз стоявших впереди, и рожа у него была при этом самая зверская, — Ять его запомнил. Впрочем, он и сам был хорош.

— А вот скажите, — в свою очередь обращался хохол к собеседнице, — ведь я же ж вижу по глазам, что вы часто верили людям и много раз в них обманывались..

Этот письмовник в лицах продолжался до утра, когда две ангельские души, обретя гармонию, утомились наконец взаимными изливаниями. Ять нарочно не сказал им ни слова, не желая прерывать столь идиллическую беседу, а главное, вновь не чувствуя за собой права никому ничего навязывать. Впрочем, был у него и некий экспериментальный интерес — проверить, проснется ли у них совесть; он ворочался наверху, свесивал голову — но никто не обращал на него внимания. Да и кто бы разглядел его кудлатую башку в темном вагоне.

«Вот в этом-то вся и разница, — рассуждал он в полубреду, когда эти двое в конце концов смолкли. — Я могу думать о чужом неудобстве, а они — нет; и никаким происхождением, никаким воспитанием, ни даже возрастом этого не объяс-

нишь. Просто одни могут все, а другие — не все, и больше между людьми нет никаких различий; теоретические дискуссии надо запретить, а вот поездить всем вместе такими поездами — это могло бы быть полезно, честное слово... Сразу стало бы ясно, кто мне единомышленник, а кто враг...»

Помочиться он пробрался в тамбур между вагонами и еле влез обратно; днем вагон нагрелся, невыносимо хотелось пить, хохлушка внизу достала огромную бутылку чего-то красного — «компот», называла она эту жидкость, — и предлагала соседу. Ять не решался попросить — сейчас и так не хватает всего; хохлы пили и кушали с большим аппетитом. Наконец какой-то солдат протянул Ятю медный чайник — в Джанкое набрали воды. Ять сделал несколько глотков, чувствуя, как внезапные, необъяснимые слезы сжимают ему горло. Впрочем, этот же солдат с легкостью отпихнул бы его от дверей, атакуя поезд, или проорал бы до утра пьяную песню, все одну и ту же, — нимало не смущаясь тем, что мешает кому-то спать.

Вторая ночь путешествия — они давно уже должны были выехать из Крыма, а все тянулась за окном сухая желтая степь, — была тошней первой. Снова духота, вонь, храп, внезапные остановки, паровозные искры и копоть, idiotские слухи — то о немецком, то о жидовском происхождении Ленина, то о том, будто в Питере всех баб пустили по рукам, а браки больше не регистрируются и каждый может каждую, то, наконец, о том, что столица обратно перенесена в Москву (это был предел апокалиптических ожиданий — главное, кому это было надо?!). Много спорили о немцах, еще больше — о своих бандитах, которые уже всю берут власть в городах; упоминались и обнаглевшие татары. Татары испуганно молчали — в этом поезде они были в меньшинстве.

Вдруг поезд резко дернулся и встал. Ять едва не свалился с полки. Заголосили и тут же испуганно замолчали женщины. В наступившей тишине послышался стук копыт вдоль насыпи. В соседнем вагоне зазвенело разбитое стекло.

— Грабят, — в ужасе прошептала хохлушка внизу. — Мамынько, грабят...

Треснула пара выстрелов.

— Выходи-и! — протяжно крикнул мужской голос из тамбура. — Выходи, т-твою... Стоп машина.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Ежась от ночного холода, Ять спрыгнул с подножки вагона. Его тут же оцупали две пары чрезвычайно проворных рук.

— Вещи е? — спросил веселый конопатый хлопец.

— Портянки, — Ять показал узелок.

— Э, тут не одни портянки.. Бритва, га? — Конопатый взял бритву и сунул в себе в карман. — Еще шо есть? Сам говори лучше.

— Книга.

— Добре. Тикай, дядя, — сказал хлопец и принялся досматривать следующего. Все сколько-нибудь ценное изымалось немедленно: иная баба принималась было голосить, но на нее тотчас цыкали. Удивительно, какой тихий и организованный получался грабеж.

— А вы чьи будете? — спросил Ять у конопатого, все еще не отходя от поезда.

— Да батьки Щаравого, — ответил тот. — Кого увидишь — всем расскажи: батька Щаравый — одна теперь сила на Ук-райне. Прочие все — так, один запах..

— А где батька? — поинтересовался Ять.

— Ты шо, побалакать с ним надумал? — мрачно спросил второй хлопец, не переставая рыться в корзине хохлушки. Хохлушка стояла зажмурившись, чтобы не видеть, как утекает ее добро. — Лучше тебе с ним не встречаться, я так скажу.

Конопатый жизнерадостно захохотал.

— А поезд-то пойдет еще?

— Тикай в степь, дядя, — отозвался конопатый, — тикай и забудь про поезд. Машиниста чпокнули, стопиться не хотел.. А у нас, сам знаешь, нема тут машинистов..

— Есть тут город поблизости? — спросил Ять.

— Та полно. Туда — Симферополь, — конопатый махнул рукой назад, — туда — Питер. Тебе шо больше нравится?

Погрузив мешки на огромную подводу, банда лениво ускакала. Люди сидели у вагонов, не зная, куда податься. Некоторые тихо плакали, другие уходили в степь.

— Где мы? — спросил Ять у куртуазного хохла.

— Та, може, й Харьков близко, — неуверенно ответил он. — А може, ще не близко..

Так встретили они рассвет. Ять посмотрел в бледнеющее небо, потом хлопнул себя по коленям и встал.

— Надо ийти, — сказал он.

— Идите, идите, — еле слышно проговорила хохлушка. Она все не могла уняться — плакала об украденном.

— А вы как же?

— Шо мы? Зараз усе... — она не договорила. Видимо, путешествие потеряло для нее всякий смысл.

Ять зашагал вдоль поезда, благословляя свои сапоги — еще вполне прочные сапоги. Были бы поновей с виду — веселая банда батьки Щаравого непременно бы стащила. Вот и все, что у него осталось, — сапоги да книга. Мы-то думаем — вот он, предел, а предела нет.

Почему-то ему казалось, что надо идти. Сидеть просто так, на путях, и ждать неизвестно чего — было уж совсем невыносимо.

Из двери паровоза свешивалась окровавленная голова машиниста.

Ять шел вдоль рельсов весь день, пока не стемнело. Несколько раз ему попадались разбитые полустанки. Один раз встретился колодец — можно было напиться, вода оказалась чистой. Есть было нечего, во всем теле чувствовалась небывалая легкость. Ему мерещилось, что он идет очень быстро. Между тем он едва делал версту в час, голова кружилась.

Ночью на горизонте появилось красное зарево — видимо, там горела деревня. На зарево Ять не пошел — боялся отклоняться от рельсов. Степь была кругом, голая скифская степь. Он шел весь день и всю ночь. Поначалу разговаривал сам с собой, принимался читать стихи, доканчивал старые споры... После говорить не стало сил, и он шел молча, сомнамбулически, ничего не понимая и ни о чем не думая, — и не поручился бы, что не идет на месте. Несколько раз мелькали обрывки мыслей — о Тане, о том, что она сейчас точно так же плывет по бесконечной ровной воде; совпадения были ужасны. Надо наконец распараллелиться.

Ближе к ночи он понял, что идти больше не может. У железной дороги росли три дерева, до нижних веток Ять смог дотянуться, надергал сухой травы и запалил маленький костер. Ветра не было, трава занялась легко. Можно было обогреться.

Он уже задремывал, глядя в огонь, когда вдали замаячило размытое бледное пятно. Пятно приближалось, и Ять вскочил, охваченный безумной надеждой: к нему шел человек.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Это был сутулый, длиннорукий — кисти болтались на уровне колен, — неопределенного возраста мужик с треугольным желтым лицом. Глаза на этом лице смотрели беспокойно, рот был полуоткрыт, как у слабоумного, — и точно так же, как у этих несчастных выродков, ключьями росла у него черная борода: так, пух на остром подбородке и на огромном, выступающем кадыке.

— Ты кто?! — закричал Ять. — Откуда ты? Где я?!

— Этово тово, земляк, — промьчал мужик. — Как оно тово...

— Да говори ты! Где мы?

— Тово, земляк, тово, — мотал головой мужик.

Ять понял. Это был идиот из споровшей деревни — или из любой другой деревни, — бродящий в поисках пропитания. Когда самим голодно, кто будет кормить идиота? Черные всклокоченные волосы дыбом стояли у него на голове, словно он чего-то раз навсегда испугался и так с тех пор не пришел в себя.

— К огоньку бы, земляк, — сказал странный гость. — К огоньку бы...

Верно, «земляк» было единственным известным ему обращением.

— Ну, садись, — разрешил Ять.

Все попытки разговорить мужика остались тщетны — он молчал, из открытого рта у него текли слюни. Ять и сам не сказал бы, как ему страшней — с таким попутчиком или одному в степи, однако задремал, а когда проснулся — было уже светло, мужик исчез.

В этот день ему повезло — он попал на поле, засаженное подсолнухами; поле было большое — птицы расклевали не всё. Подсолнухи перестояли зиму, некоторые легли, — Ять срывал головки с измочаленных бледно-желтых стеблей, да готов был грызть и стебли. Удивительно, сколько было сил в его истощенном, с декабря голодавшем теле. Отъелся в Крыму — да разве так отъедаются? Он зубами раздирает головки подсолнухов, с кожурой глотал безвкусные семена. Потом он, кажется, потерял сознание, потому что очнулся уже ночью; снова кое-как нарвал травы, стащил несколько подсолнуховых стеблей в кучу, попытался поджечь — горело еле-еле; так, тлело.

Он опять не заметил, как из темноты снова появилось мутное пятно. Оно приближалось, обретало контуры, и скоро к едва тлеющему огню подошел вчерашний попутчик.

— Этово тово, земляк, — протянул он.

Ять вскочил, от резкого движения закружилась голова.

— Кто ты?! — заорал он.

Мужик не отвечал. Уже не спрашивая разрешения, он присел к костру — и Ять уловил еле слышный запах тления, исходивший от ночного гостя.

— Да кто ты, наконец?! Какого черта таскаешься за мной?!

Попутчик мычал, молчал, грыз стебель подсолнуха. Ять повалился на землю. Очнулся он оттого, что идиот, пошатываясь, пытался выгащить у него из рук узелок с книгой и портянками.

Ять поднялся и резко ударил его в желтое треугольное лицо. Сил на настоящий удар уже не было — попутчик покачнулся, но устоял.

— Тово, земляк, — умоляюще протянул он.

Ять, не помня себя, стал изо всех сил колотить в мотающийся перед ним треугольник. Мужик упал, не смог подняться и, оставляя цепочку кровавых капель, пополз прочь. Уже светало. Обессиленный Ять сел на землю и сидел так долго. Потом встал, подхватил отвоеванный узел и, шатаясь, побрел. Все спасение было в том, чтобы брести. Тут рельсы внезапно кончились — они просто обрывались посреди степи, и неясно было, куда идти дальше. Вышло бледное солнце. Ять прошел еще шагов триста, стараясь не терять направления, — и увидел впереди большую воду.

Он не знал, море это или озеро. Серая ровная вода простиралась до горизонта. Степь переходила в нее незаметно. Уже виднелся глинистый берег и на нем полусгнившие серые мостки. Дальше пути не было.

Ять все понял и лег на спину. Это была смерть. Он сам не заметил, когда она пришла, но, видно, после смерти все так и есть. На земле не бывает таких больших пустых пространств.

Небо над ним темнело и клубилось. Черно-серебряные тучи бродили и сталкивались в нем. Подул ветер. Вот, оказывается, что надо было делать. Пока он шел, ветра не было. Надо было с самого начала лечь, смириться — и тут же что-то началось, задвигалось. Зашелестела трава. Скифская степь медленно

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

оживала. О! — вот и птица. Прежде птиц не было. Ять испугался, что птица выклюет ему глаза, — но она не снижалась, так и кружила над ним. Потом ее снесло ветром.

Он приподнял голову — издалека к нему шли люди.

Они шли, растянувшись по всему горизонту, широкой цепью, как идут солдаты: он видел это на фронте. Вот приблизилась, вот отдалились. Они словно делали несколько шагов вперед — и тут же отступали назад. Встречают, подумал Ять, ритуал встречи. И счастливая догадка пронзила его: Барабулинские степи! Вот где я — в степях, которых не бывает; сюда ушли последние альмеки. Теперь они пришли за мной.

Птица кружила, кружила над ним, потом спустилась и подала кружку молока.

— Пей, пей, — сказала она ласково. — Выпьешь, еще дадим.

Цыганский табор, подобранный его в степи, шел на север, к столице. Цыгане отпоили его молоком, и через три дня он мог уже внятно отвечать на вопросы.

— Куда шел? — ласково говорила молодая цыганка, давая ему напиток. — Степь одна, до города верст двести было. За чем шел?

— Слушай, — сказал Ять. — Я странного мужика встретил. Он ко мне ночью выходил, на огонь. Смуглый такой, желтый. Этот не из ваших?

Крутом засмеялись.

— Колю видел, — объяснила старая цыганка, сидевшая рядом.

— Какого Колю?

— Степной человек такой, Коля. Он не страшный, навроде комара — только кровь не пьет. А так комар и есть, руки-ноги длинные, сам тощий.

— Он что, живет тут? — не понял Ять.

— Он везде живет, — засмеялась цыганка. — Он к тому приходит, кто в степи ночью гуляет. Вреда нет от Коли. Бродит, вроде как мы.

— Все с места сорвались, — удовлетворенно сказал старый цыган Миша. — Все бегут, все едут... Скоро мы на одном месте жить станем, а все побегут. Гадать будут, коней у нас красть...

И он усмехнулся.

— Как прозвище твое? — спросила старая цыганка.

ОРФОГРАФИЯ

— Ять, — ответил Ять.

— Ну, ладно, — кивнула она, не удивившись. — Всякие имена есть. Я Марья, она Соня..

«Хорошо, — успокоенно думал Ять. — Вот тебе и бродячий цирк.. Буду водить медведя..»

Водить медведя, однако, ему не пришлось. Цыгане промышляли воровством и гаданием. От него ничего не требовали — он был пришлый. В благодарность за спасение он выгучил было одного цыганенка грамоте, но Марья его отняла: сказала, что незачем. Незачем так незачем — навязываться он не стал. Никому здесь не было до него дела — это оседлым людям есть дело друг до друга, а странникам никогда.

Через неделю, обходя города и передвигаясь в основном по ночам, они дошли до Лути. В Луте жил какой-то важный цыган, с которым предстояло совещаться. Как понял Ять, все цыгане вокруг Петрограда и в самом городе слушались его. Совещаться с ним пошел Миша.

— Сказал на Урал идти, сытно на Урале, — сказал он.

— Не пойду на Урал, — сказал молодой цыган Ян.

— Не ходи на Урал, — легко согласился Миша.

— В Польшу пойду, — решил Ян.

— В Польшу иди, — разрешил Миша.

И вправду альмеки, понял Ять. Разговор с главным цыганом был чистой условностью — кто куда хотел, тот туда и шел.

— Ну что, мил человек, — сказал Миша и ударил Ятя по плечу. — Тебе тут близко. Одним налево, другим направо, а тебе туда, — и показал рукой куда-то на север. Там был Петроград.

— Спасибо, — сказал Ять.

— Будь здоров, — равнодушно сказала Марья.

— Колю больше не видай, — засмеялась Соня.

И, не споря, не ища правых и виноватых, не прощаясь, они поделились: кто хотел, пошел направо, кто хотел — налево, а Ять — прямо.

Он вернулся в Петроград пятнадцатого апреля — полуседые космы, борода, узелок с книгой в руке.

действие третье
**БЛЕДНЫЙ
БЕС**

*Плачет птица об одном крыле,
Плачет погорелец на золе,
Плачет мать над люлькою пустой,
Плачет крепкий камень под пятой.*
Арсений Тарковский

Собака собаку ешь ,а последнюю черт съест.
Пословица

*У него все герои гибнут — потому что невесомы и умеют
только гибнуть.*
Ю. Тынянов



1

Опера есть самое бесполезное музыкальное действие, торжество чистой условности. Вот увертюра, в ней слышатся отзвуки будущей бури, в ней лес шумит и ветер воет, а молодой герой в виде своего будущего лейтмотива знает себе развиться на лужайке, ничего не желая предчувствовать. Но все грозней и грозней порывы ветра, все слышней и отчетливей поступь рока — и когда откроется занавес, ясный утренний свет никого уже не обманет.

Перед нами площадь в Севилье, а не то в Гранаде. Вот молодой пастух, кичащийся своей силою; он выделывает ножками так и так, распевая о прелестях юной удали и отваги. Молодой пастух влюблен в озорную прелестницу, здесь же и прелестница со своей ариэткой. Общее ликование. Тут едет граф сиятельный, знак восклицательный. Он обращает внимание на юное лирическое сопрано, похищает его и запирает в ужасном черном замке. Юный пастух в смятении. Он бежит по сцене и напрягает свой драматический тенор. Духовые и ударные, час настал! Силуэт черного замка виднеется на заднике, на фоне темно-зеленого неба, из которого проклевывается носик зачаточной молнии. Все было бы вовсе ужасно, кабы не обязательный комический персонаж, отвлекающий зрительское внимание от поступи рока. Он ловкач, хитрец,

мастер на все руки, беззлобный оборотень, сельский шут, он тоже влюблен, но счастливо, — ибо цельные, светлые люди всегда любят счастливо: его зовут Аристид, ее — Алкмена, они вечно ссорятся, а потом целуются, ссорятся — и опять целуются; дуэтами их хорошая опера прослоена, как пражский сыр — ветчиной. Сыр — ветчина, сыр — ветчина, сыр — ветчина-а-а! Смета-а-ана!

Как вкусно, как жирно все, связанное с оперой. Сейчас будет антракт, взбитые сливки, возможность обежать весь театр, от самой сцены до самого верха, и вволю попрыгаться за красными плюшевыми портьерами. Как все избыточно — золото, пурпур, бархат, плюш; какие тяжелые имперские складки! В них можно затаиться и переждать лютые бури; пыльно, а сладко! Но бьет третий звонок, и центральное второе действие захватывает нас с первой ноты.

Молодой пастух поднимает народное восстание. Для автора, творившего в мрачную эпоху да еще в условиях жесточайшей цензуры, это был только повод представить зрителю несколько блестящих оркестровых номеров с народными песнями, танцами и площадными шуточками; либреттист позднейших времен, эпохи расцвета стиля неовампир, раскопал в авторском архиве несколько мощных хоров, содержащих проклятия угнетателям. Бывший акмеист, трижды в год ритуально отрекающийся от заблуждений молодости, дрожа за чудом сохраненную ему жизнь, затаясь в одной из имперских складок, поспешно кропает для них русский текст, пронизанный ненавистью к угнетателям: эй, режь, ешь, жри, жги, рви, дуй, плюй, взвей, взбей, рушь, жарь, — добрая половина второго действия занята подготовкой к народному восстанию, словно начать его никак невозможно без получаса яростных плясок, призванных взвинтить сознание масс до нужного градуса. Тут же являются несколько вождей, плавно сменяющих друг друга: один предлагает отложить поход до лучших времен, другой вообще не советует связываться с графом, потому что не стоит глупая баба наших жизней; третий предлагает позвать на помощь ужасных лесных разбойников, которые, случившись тут же, исполняют арию с танцами. Трудно

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

сквозному действию удержать на себе весь этот концерт: мясо вставных номеров тяжело виснет на тоненьких ребрах фабулы. Но тут, руководствуясь безошибочным классовым инстинктом, вступает молодой пастух — и графа идут жечь, жрать, рвать, отказавшись от помощи сомнительных в этическом отношении разбойников.

Акт второй, картина третья: буря в разгаре, замковый ров полон водой, однако отважные освободители вплавь подбираются к черным скользким стенам. Дуй, ветер, дуй! Плюй, ливень, плюй! Режь, пастух, рушь! Замковая охрана по воле либреттиста переходит на сторону восставших. Черные чары рассеиваются. Грохот ударных. Занавес. Но это еще не конец? Нет, не конец.

Как описать это странное смятение перед третьим актом? Все мы как будто знаем, чего от него ждать, — триумф над злом, единение влюбленных, народный дивертисмент в декорациях первой картины, — но все уже как-то не то и не так, и не радуют взбитые сливки, и в красных портьерах все больше пыли, все меньше плюшевости... Опера не была бы оперой без метафизического прорыва, без того, чтобы теза и антитеза первого и второго действий не увели нас в итоге бесконечно далеко от первоначального замысла. Не зря же эти грозовые порывы духовых, ритмическая поступь струнных, дробный грохот ударных — грохот будущего обвала! Сейчас будет что-то куда более страшное, чем борьба добра со злом, ибо добро и зло давно уравнились в правах и нечто третье мерцает со сцены.

Что же он думал? Неужели он думал, что она и впрямь будет его? Или кто-нибудь может похитить женщину без ее воли? Нет, она давно и страстно жаждала похищения. Зачем ты пришел, глупый пастух, зачем ты разрушил чары? Это лучшая ария во всей опере. Даже несчастный акмеист дрожащими руками подневольного прелазгателя не сумел загубить первозданной мощи текста, а уж музыка, музыка, стон поруганной и тоскующей души! Прочь, прочь, пастух, со своим народным восстанием! Когда, в какой опере народное восстание могло что-нибудь решить?! Прочь, прочь, прочь, пастух!

Ах так?! Режь, ешь, жги, рушь — я ведь тоже не прежний аркадский пастушок, я штурмом брал замок, убил графа, и я не из тех, кто сносит оскорбления. Умри.

Но не тут-то было. Он за ней, она от него. Он прыгает, она взлетает. Он коршуном, она зайцем; он волком, она рыбкой; он рыбаком, она птичкой. Проходя весь круг оборотничества, он носится за ней в безвыходном отчаянии, но тщетно: всякий раз в цепи превращений она опережает его на шаг. Будь моей или умри! Умру, а твоей не буду. В ужасе смотрят зал, хор, простак со своей простушкой, как на наших глазах классический оперный герой превращается в коршуна, волка, кита, мечась по сцене за ускользящей героиней, — но никогда, никогда уже им не совпасть, не простить, не догнать друг друга. Не спеть ли нам для душевного успокоения народный дивертисмент? Ну, давайте: я начну, а вы подпевайте. Но и песня не поется, и пляска не пляшется: мы в ином времени и пространстве, и музыка не та, и концы не сходятся с концами. Что ж, простимся, хоть под конец соблюдая видимость чистоты жанра: опера — искусство условное, и негоже кончать представление без мощного апофеоза. Выйдем на авансцену и назло жестокому миру, отвергающему наше помпезное и избыточное искусство, споем бессмысленную застольную, даром что нет ни столов, ни кубков. Запеваает комический простак, тоже волшеб-но преобразившийся: оборотничество так оборотничество, и в пении его все громче звучат трагические обертоны, текстонические диссонансы. Мир сдвинулся, господа присяжные заседатели! Комический простак знал это с самого начала, и его ликующей застольной на руинах традиционной фавулы заканчивается представление.

Таково либретто; хоть поздно, а вступленье есть.

2

Больше всего поражало количество темных полтора месяца назад Ять и предположить не мог, что их столько расплодится.

Он не узнавал города, и город не узнавал его. Разумеется, дело было не в одних грабежах, не только в разрушении, ко-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

торое исподволь подтачивало столицу и теперь вырвалось наружу: всему причиной была дружная и стремительная весна восемнадцатого года. Город был охвачен яростным и бурным разложением, и земля, придавленная его камнями, страстно мстила ему, почувяв долгожданную слабость царственного противника. Все живое, растущее, прущее, ползучее, цепляющееся и оплетающее жадно рвалось сквозь камень, и пророки, с наслаждением рисовавшие картины гибели цивилизации вследствие реванша природы, не нашли бы лучшего примера. Станным образом и темные вписывались в картину отмщения: их вынесло на поверхность земли, словно слизней, которых можно весной в изобилии обнаружить под старыми досками. Весна, разумеется, приходит не ради них — но они из тех, кто раньше прочих успевает ею воспользоваться.

Большинство вывесок было сорвано, окна разбиты, витрины заколочены. Некто наивный приклеил над витриной модного магазина трогательную записку «Охраняется государством» — за размахистой и, видать, старательно имитированной подписью, — но бумажки, срабатывавшие в январе, в марте уже никого не останавливали: витрина щерилась осколками стекла, и из всего былого великолепия валялось в ней одинокое примерочное тулово-обрубок — последняя жертва на поле боя. Ять никогда не обращал особенного внимания на одежду встречных, но теперь, когда и сам он был похож на огородное пугало в грязном, болтавшемся на нем пальто, — ему на каждом шагу бросались в глаза свидетельства распада: столичные жители перестали следить за собой. Если еще в январе девушки старались прихорашиваться, графдамы соблюдали подобие стиля, а мужчины брились — весной, да еще после утраты столичного статуса, из города словно вынули душу и позвоночник. Попадалась и молодежь — веселая, с ярко-розовыми от ветра лицами, — но преобладали унылые фигуры неопределенного возраста, большей частью в обносках: вся сколько-нибудь приличная одежда была уже выменена на продукты. Ять почти не выделялся на фоне прочего питерского населения, даром что был страшно слаб и неухожен: казалось, прочие в эти полтора месяца пережили все то же, что и он. Он не обладал уже исключительным

правом на сострадание — более того: тем, кто дожил в Петрограде до середины апреля восемнадцатого года, пришлось, быть может, и посолоней.

Доехать до Петроградской было не на чем — на извозчика не хватало, ибо Ять вернулся в город в буквальном смысле без гроша; цыгане сунули ему с собой пять мятых бумажек — еще в Луге он купил на них хлеба и твердого, как камень, копченого мяса, которого никогда прежде не ел и которое больше всего напоминало конину. Этот черный кусокпряного мяса он грыз и сосал полдня. Только теперь начинал он понимать всю сложность и многозначность процесса насыщения. В прикосновении языка к шершавой, ноздреватой поверхности хлеба, в самой его грубой фактуре было блаженство; как всякое дело, совершавшееся механически в эпоху относительного изобилия, еда стала теперь многосоставным, осмысленным ритуалом, сулившим открытия. Соленое наводило на фантазии, острое подстегивало мысль и заставляло изобретать извилистые концепции прошлого и будущего; еще в Гурзуфе он заметил стимулирующую роль козьего сыра, необычайно приятного на вкус, запах и на медленное раздавливание упругих комочков во рту. Сладкое расслабляло, лишало воли к сопротивлению, зато внушало странное умиление. Он стал пьянеть от еды, как прежде — от водки: появлялось то же горячее возбуждение, говорливость и доброжелательность к собеседнику, та же сонливость потом. Ему не много было нужно теперь, чтобы насытиться. Он понял, что есть милосердие природы или истории, по чьему попущению голод всегда сопутствует великим катаклизмам: голодный воспринимает мир как во сне, он слишком сосредоточен на мысли о пище и не успевает задуматься об ужасе происходящего. Если б не голод — очевидцы Столетней войны или нашего Смутного времени попросту сошли бы с ума, глядя на дело рук своих, — но совесть их молчала, ум спал. Может быть, привычный уже голод не давал Ятю заново ощутить всю боль от расставания с Таней, всю ненависть к тому, с кем она сейчас, — но тогда лучше было и не есть вовсе. Он вспомнил старуху, одно время служившую у них в доме кухаркой, — году в пятнадцатом он решил ее навестить, помочь, если что (слу-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

чались у него такие, смешные и жалкие припадки филантропии — когда очень уж остро чувствовал свою бесполезность на свете): старуха незадолго перед тем похоронила мужа и теперь почти ничего не ела. «И не надо мне, — говорила она. — Что ж я тоску свою кормить стану?»

К четырем часам пополудни Ять добрал наконец до своего жилища на Зелениной. Никаких эмоций не вызвал у него даже дом, в котором он жил последние пять лет: видимо, сентиментальность тоже требовала подпитки. Единственным чувством было облегчение: дом был какой-никакой пристанью, тут в ящичке стола лежали деньги — пусть почти ничего не стоившие, а все-таки словно удостоверявшие, что и он, Ять, полноправный гражданин; в восемнадцатом году деньги были лучшим документом. Тут была постель, книги, оставался даже кое-какой запас сахара — все, все он бросил перед стремительным бегством... о котором, пожалуй, не жалел.

Он медленно поднялся на шестой этаж. Жаль, если ограбили... хотя окна, он видел это с улицы, были целы. Поразительна была эта способность бояться чего ни попадя — и не замечать опасности очевидной: разумеется, никто его не грабил. Той зимой было что поразорять, кроме частных квартир. Формой грабежа, применявшейся к частным жилищам, было так называемое уплотнение — вселение малоимущих по распоряжению домового комитета; а если не было в наличии владельца — так и тем лучше: сбежал, убоившись. Ну и получи.

— Они все целеньки, все целеньки, — робко приговаривала дворничиха, показывая ему его собственный ящик стола, довольно грубо взломанный, однако до сих пор хранивший его деньги и бумаги. — Мы ничего не трогали, все как было...

Видимо, в глубине души они все-таки побаивались его возвращения и еще не чувствовали себя хозяевами в этих хоромах. Только столяр, ютившийся прежде в полуподвале дома напротив, косился на него мрачно и с тайной угрозой; столяр, к слову сказать, был плохой — на него вечно жаловались. Ять давно уже знал, что чем хуже мастеровой — тем меньше он доволен своей участью: логика ясно подсказывает, что, ежели

его не слушается рубанок и валится из рук молоток, стало быть, он рожден для занятий более высоких и жизни более утонченной, которая лишь по гнусной случайности досталась другим.

Квартира, и без того не слишком просторная, поражала теперь неописуемой теснотой: страшно было представить, сколько накопилось вещей у этих бедных людей. На плите кипела кастрюля с бельем, и все жилище Ятя пропахло бельевой сыростью, прогорклым маслом, капустой. В кабинете разместился дворник с женой и тремя мальчиками пяти, семи и одиннадцати лет; в гостиной жил столяр, урвавший наконец от судьбы хоть часть подло утаенных благ. В спальне устроились две сестры-работницы, ткачихи, с синеватыми, испытанными лицами, похожие на тени. Ять толком не разглядел их — заметил только, что обе очень уродливы. Он избегал вглядываться. Жилье было не его — занятое, опоганенное; он только теперь понял, как хорошо иметь мало вещей. Тут же, в коридоре, висело белье, шлепавшее по лицу всякого, кто шел из комнаты в кухню.

— А мы уже думали, вы не вернетесь, — ласково, угодливо говорила дворничиха. — Не видно и не видно: ну, думаем, совсем ушел... А сами мы не вселялись, нет, домовый комитет вселил... — Она произносила «домовой», с ударением на последнем слог, словно комитет состоял из мелких домашних божеств в духе Ремизова: входите, мол, гости дорогие, располагайтесь... Угодливость и ласка в ее голосе тоже казались влажными и словно облепляли лицо, как белье в коридоре; дворничиха явно боялась, что их теперь выселят.

Она предложила ему вареной картошки с постным маслом и куском вязкого хлеба (он жадно съел все это, отметив, что его любимые тарелки давно не мыты; видимо, водопровод так и не работал с зимы). Налили ему и стакан слабого чая и даже дали к нему кусок серого сахара, который он с наслаждением разгрыз. Пока он ел, дворничиха стояла рядом, не сводя с него глаз и вытирая сухие красные руки о передник. Ему было неловко, что она так волнуется.

— Это все, положим, понятно, — сказал Ять по возможности беззлобно. — Но мне-то где же теперь жить? Я ведь платил за полгода вперед, квартира-то моя...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— А вы спросите в домовом комитете, они и скажут! — Дворничиха от души обрадовалась, что можно на кого-то перевалить решение. — Вы к ним ступайте, и они всё скажут!

— А ежели ночевать, так вот в кухне пока, — с неприкрытым злорадством добавил из коридора столяр; дворничиха усердно закивала.

— И где этот ваш комитет?

— Председатель комитета в седьмой квартире, Матухин Николай, с бондаревского завода, — частила она. — Он вам все и обскажет, как и что...

— Мы ж не своей волей, — пробасил дворник из угла. Он ужасно смущался и вступил в разговор, только когда Ять собрался уходить. — Я ж разве своей волей полез бы... нешто мы без понимания... Но видят — пусто, а с дитями как?

Дети с визгом носились по коридору; но вышел столяр и влепил одному здоровую затрещину. Младшие притихли, а старший так и сидел в своем углу с книжкой — то был «Географический атлас» в издании Миронова, Ять дорого за него дал, — и внимательно изучал политическую карту Европы на цветной вкладке. Ять подумал было, что мальчика интересует исключительно качество бумаги — змей или мало ли что, — но ребенок вдумчиво водил пальцем по границам и шевелил губами, вслух проговаривая названия столиц. И в самом деле, ему нужней. Вдруг самородок, Ломоносов, и тогда вся моя жизнь оправдана покупкой этого атласа. Кто сказал, что на свете есть что-нибудь мое?

— Постойте, — уже в дверях сказал Ять. — Но ведь в седьмой квартире не было никакого Матухина. Там жил профессор Чечельницкий, историк, я хорошо знал его...

— Профессор уехали, — закивала дворничиха, — они к дочери переехали еще зимой, так и сказал мне: прощай, Клавдечка, и прости, пятнадцать лет тут я прожил, а теперь еду, потому старость и не могу себя обслуживать. И теперь Матухины вселились, он сам и детки, и там он ведет прием...

— Да-да, — рассеянно ответил Ять. «Черт те что, — подумал он, — до чего мне безразличны люди... Профессор съехал, а я и не заметил... Положительно, я и революции не заметил бы, если б не прикрыли газету».

Звонок в седьмой квартире скрежетал громко и пронзительно, но никто не открыл; Ять решил напоследок постучать — и дверь тут же распахнулась. Видимо, на звонки тут не отвечали принципиально, считая их буржуазным пережитком, — тогда как на стук сразу же вышла огромная суровая баба, уперла руки в бока и смерила Ятя враждебным взглядом. За спиной у нее клубился тот же пар, что дворниково семейство развело в квартире Ятя: то ли от кипящего белья, то ли от дворниковых самокруток, а всего верней — от тумана в их головах.

— Ну? — только и спросила она. Вид Ятя, впрочем, и в самом деле не внушал доверия.

— Матухина бы мне, — сказал он, стараясь говорить небрежно.

— Нету его. Всем вам Матухина. Ушел Матухин.

— А когда вернется?

— Когда придет, тогда и вернется. Он мне не докладывает.

— А где его сейчас можно найти?

— Почем я знаю. Может, в пятом доме, а может, в одиннадцатом. Он за весь участок тут ответственный, где ж мне знать, куда его позовут.

— Дело в том, — сказал Ять зло и твердо, — что он меня из дома выселил.

— Выселил — значит правильно, — сказала баба. — Взяли моду по одному в троих комнатах жить, — она так и сказала: в троих. — Он тебя выселил, а надо было тебя, сволочь такую, к ногтю.

— Э, э, — Ять сам изумлялся собственному спокойствию. — Ты язык-то не распускай.

— Чаво?! — закричала баба. — Иди отсюда, морда пархатая! Через вас все и вышло, через гнусавых! Пшел, покуда я с лестницы тебя не спустила!

Матухина он нашел почти сразу — в одиннадцатом доме по Большой Зелениной; баба не соврала — тот стоял посреди двора, опустив голову и глядя на свои сапоги. Матухин был рослый мальчуган лет тридцати

пяти — Ять, однако, никогда не заподозрил бы в нем ровесника: надо полагать, тяготы труда и нездоровый образ жизни состарили его прежде времени. Во всем его облике чувствовалась не сила, но тяжесть, не достоинство, но злость. Иногда он ковырял сапогом мартовскую грязь. Вокруг главы домового комитета стояло пять потрепанных и тоже преждевременно состарившихся женщин с детьми, и все наперебой кричали ему, что воды нет, и дров нет, и постановка на паек задерживается, а дополнительный паек вообще удерживается, а он молча, даже не кивая, выслушивал этот крик; создавалось впечатление, что обе стороны играют свои роли без всякой надежды на взаимопонимание. Одни кричат, потому что так положено, другой слушает, потому что таков его крест; и впрямь, выкричавшись, женщины успокоились и по одной разошлись.

Ять сразу понял, что перед ним именно председатель домового комитета. Да и к кому другому стали бы тут обращать жалобы?

— Вы Николай Матухин? — спросил он.

— Я, — ответил Матухин, подняв на него желтые глаза и неприятно щурясь.

— Председатель домового комитета?

— Участковый председатель, — поправил он. — Слушаю, товарищ.

— Пока я был в отъезде, мою квартиру заняли, — сказал Ять.

Матухин молчал. Вероятно, любая речь только роняла его в собственных глазах: власти подобала важность.

— И где мне теперь жить? — спросил Ять.

— Какая квартира? — после паузы спросил Матухин.

— Тринадцатая, в седьмом доме.

— А я почему знаю, — выждав еще около минуты, проговорил Матухин. — Не я ж решаю, верно? Есть решение: иди, товарищ Матухин, и уплотняй. Товарищ Матухин идет и уплотняет.

Именно тут Ять заметил главную речевую особенность всего нового начальства: получив самую малую власть, эти люди немедленно начинали говорить о себе в третьем лице, словно председатель домкома не был уже прежним Матухиным, а мгновенно объективировался от него. Был некий Николай, бондаревский рабочий, токарь или слесарь, — и отдельно от него, как огромная тень, молчал, двигался и разрешал мировые проблемы товарищ Матухин, та душа, которая в древних языческих культах проделывала самые опасные дела за своего носителя, пока он валялся в трансе у ног колдуна.

— Товарищу Матухину сказали, — продолжал товарищ Матухин, — он и сделал. Потому решение, так? Решение уплотнить. Которые не живут, тех целиком. Которые живут, тем комнату. Вы не живете — вас целиком.

— Но я выехал всего на месяц, по работе...

— Откуда же мне знать, куда выехал? Я вижу, что отсутствуют, я и вселяю. Если бы я видел, что присутствуют, я бы не вселил, верно? Или если бы предупреждение. Могли подойти, предупредить: так и так, товарищ Матухин. Товарищ Матухин не вселил бы. Или вселил бы не целиком. Но если нету никого, так я и вселяю. Это ж не я решил, верно? Есть решение уплотнить...

Ять понял, что по этому кругу товарищ Матухин может ходить бесконечно.

— А мне где жить? — снова спросил он.

— А я знаю? — отвечал товарищ Матухин. — Если мне будет распоряжение, то я вселю. Если не будет распоряжения, то не вселю, так?

— Чье распоряжение?

— От Петроградского совета распоряжение, — охотно ответил Матухин. Вероятно, это была цель заведомо недостижимая, и потому к ней он переадресовывал Ятя с такой же радостью, с какой дворничиха отправила его к главе домового комитета. — Петроград-

ский совет должен распорядиться в районный совет, оттуда должны дать направление в участковый комитет, а там я на заседании участкового комитета рассмотрю и вселю. Если распоряжение, я сразу вселю, верно? Когда распоряжение, то как же...

Ять почувствовал, что Матухин заходит на новый круг, и поспешил прервать его:

— Но есть договор, есть расписка об оплате. Эта квартира — на весь год моя.

— А что договор? Все договора не действуют, вон даже с Францией не действуют. Что мне договор? Мне нужно распоряжение от Петроградского совета, чтобы районный совет дал в участковый совет, а я потом на домовом комитете могу рассмотреть.

Вся эта цепочка, начиная с недостижимого Петроградского совета, которому только и дела было до вселения Ятя, напоминала нечто сказочное, чуть ли не из Афанасьева: поразителен был мгновенный перенос фольклорных представлений на государственную жизнь. Изначальная установка была загадочна: пойдись туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Все выходило по грэмовскому рассказу: не успел Ять прийти в родной город после долгих странствий, как должен снова уйти, двинуться по кругу, найти волшебный клубок, по нему прийти в Петроградский совет, там усыпить дракона, умиловать пса, расположить к себе стальной замок, добраться до Председателя (Кашей Бессменный: скелет, корона), от него получить перо лебединое, куда поплывет — туда пойти; поплывет в совет районный, где надо дунуть, плюнуть, подковать блоху, грянуться оземь, обернуться кисою, доказав тем самым столь ценимую новой властью способность к превращениям, — тогда председатель районного совета обернется мышью; председателя Петроградского совета изловить, тут он прямо в кошачьих лапах закычет зегзицею, а ты должен обратиться в коршуна, после чего, уже в твоих когтях, он сделается орехом, а ты белкою, и тогда, утомленный цепочкой превращений,

довольно отдуваясь, выдаст он тебе предписание, а та-кожде лук со стрелами. Стрела упадет во дворе дома одиннадцать по Петроградской стороне, а там уже стоит товарищ Матухин в кожаном картузе; как стрела попадет ему в картуз, так он обернется серым волком, и ты на нем въедешь в квартиру тринадцать, дом семь, — после чего нынешние ее обитатели тотчас ска-таются пыльными шариками, вернувшись в привыч-ное свое состояние, только столяр, сопротивляясь дольше других, убежит огромным тараканом, рыжими усищами шевеля.

— Ну? — грозно спросил Матухин. — Что смешного нашел?

— Тебя, — беззлобно сказал Ять, повернулся спиной к представителю власти и, пошатываясь от смеха и слабости, пошел со двора. Темнело, и в густеющей си-неве все ясней становилась сказочность происходяще-го. Разумеется, ничего подобного нет и быть не может. И конечно, я не пойду ни в какой Петроградский со-вет. Я обожаю преодолевать препятствия, но лишь тог-да, когда воздвигаю их себе сам, — я готов грянуться оземь и обернуться кем угодно, но не по твоему мановению, товарищ Матухин. Слава Богу, мне есть еще ку-да пойти, — и разрази меня гром, если я хоть на миг до-пускаю, что над этим моим прибежищем властна хоть какая-нибудь из властей.

— Давно поджидаю, — сказал Клингенмайер. — При-сесть прошу. Представьте, сегодня гадал по книге Тиволиуса, и смотрите, какой катрен открылся: я предпочитаю соловьев-ский перевод, хотя орловский, говорят, точней: «Гвоздь, молот-ок, кремень, сова, дворовый волк попрал права, вернулся друг, глава как снег, готовы пища и ночлеги». Нет, что вы ни го-ворите, а Тиволиус превосходит Нострадамуса настолько же, насколько гадатель превосходит историка. Я только не совсем понимаю, что бы значило «дворовый волк попрал права»...

— Это самое точное, — кивнул Ять. — Я потом расскажу вам.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Конечно, конечно.

— Мне, напротив, непонятно про «гвоздь, молоток, кремь, сову»...

— Это просто. Первая строка каждого катрена определяет не события, а, если угодно, главные элементы, духовную атмосферу происходящего. Кремь — вероятно, вы, сова — я в своем затворничестве, а гвоздь с молотком... ну, это вещь очевидная.

— Очевидная.

Ять блаженствовал в кресле за хрупким деревянным столиком. Клингенмайер священнодействовал с отварами и настояями, горели свечи, потрескивало пламя в маленьком камине. Какое счастье, что Клингенмайер был в лавке, а не на квартире! Как вовремя всегда был открыт его таинственный магазин! Собачьим чутьем Ять нашел место, где будет ему ночлег, где будут ему рады, — и сразу лишился сил, словно достиг наконец цели долгого пути.

— Расскажите, Фридрих Иванович, что тут без меня делалось.

— Ничего не делалось, Ять, в том-то и страх. Все выжидают, а первым никто не бросится; но чем дольше ожидание, тем ужасней может получиться потом.

— А про Елагинскую коммуны что-нибудь слышали?

— Как не слышать, ее тут закрыть хотели, но пока не вышло. К ним многие ходят, там чуть не клуб... Ну, раскол — это еще при вас.

— При мне.

— Пейте чай, это бомбейский, мне позавчера прислали.

— Так почта действует?

— Не всякая, — уклончиво ответил Клингенмайер. — Правительство переехало, столица теперь в Москве — к этому, впрочем, триста лет уже шло. К чему азиатской стране европейская столица? Наилучшим вариантом было бы разделение, и до этого еще может дойти: когда не могут поделить власть, надо делить страну. Подобный путь предложил Грозный — возьмите опричнину; но у этих вряд ли хватит ума... Петроград теперь ничей, совершенно ничей. Но так ведь, согласитесь, и интересней — только в паузах стоит жить; перелома я ожидаю не раньше мая. Скажите лучше, где были вы.

— Я — в Крыму, там интересно... было, — добавил Ять, с наслаждением отпивая большой глоток крепчайшего чая, слабо пахнувшего таинственными пряностями, цветами, джунглями. — Теперь немцы, и вряд ли что-то осталось от всего этого двухмесячного карнавала. Четыре власти поменялись, потом началась кровь... а теперь, вероятно, ордунг.

— На юге всегда все быстрее, — подтвердил Клингенмайер.

— Кстати! — Ять порылся в кармане и извлек альмекский сувенир от Зуева. — Вот ведь: так и протаскал с собой все время. Не хотите в коллекцию?

Клингенмайер хищно схватил дудочку.

— Откуда это у вас?

— Подарил один специалист по древней истории Крыма. Что, редкость?

Клингенмайер поднял глаза на Ятя.

— Думаю, вы не представляете истинной ценности этой вещи.

— Очень может быть, — легкомысленно кивнул Ять. — Но обмен в любом случае получился равноценный.

— Что вы дали за это?

Собиратель был подозрительно серьезен.

— Случилось так, что моя невеста уехала с ним.

— Вы наверное знаете, что она уехала?

— Лично не провожал, но имею все основания думать так.

— Надо было, конечно, удостовериться лично, — Клингенмайер нахмурился. — Хотя... Как давно она у вас?

— Дудка? Недели две...

— Гм. Предвстие странное, чтобы не сказать более... Посмотрите-ка на это. — Клингенмайер распахнул шкаф, где лежали у него самые бесполезные и необъяснимые древности, и извлек еще одну дудочку из сухого белого дерева, похожего на кость; он легко соединил их и с осторожной нежностью подул. Звук получился неожиданно богатым, низким, едва ли не виолончельным.

— Что это? — заинтересовался Ять.

— По-хорошему, — с тою же серьезностью проговорил Клингенмайер, — того, кто дал вам эту вещь, надо из истори-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ков разжаловать... не знаю даже куда. Одна надежда, что невеста ваша быстро превратит его в карманного вора. Видывал я невежество, но такое... Это альмекская флейта второго века, один из пяти описанных экземпляров. Судя по тому, что об остальных четырех вот уже лет сто ни слуху ни духу, — у вас последняя.

— Вы знаете об альмеках?

Клингенмайер презрительно фыркнул.

— А вы грамоту знаете?

— Простите, я не думал, что это так... фундаментально.

— Фундаментально... История, Ять, не одна, и куда все эти ваши коллеги, начитавшись Пинкертон, ищут мировой заговор — заговор вот он, под носом, только никто не хочет его видеть. Есть две истории — одну знают все, другую пишут избранные. Мы осведомлены о таких вещах, какие ни одному университету не снились, но ведь их публиковать — бессмысленно: загрызут тут же. Кто поверит в альмеков, ежели альмеки не вписываются ни в какую теорию? Однако они были, и свидетельства раскиданы по всему миру. Беда, если драгоценная вещь попадет в руки профана: сколько раз я писал — строже, строже блюдите тайну!

Если даже Клингенмайер фантазировал — это было мило-сердно: он сумел блистательно отвлечь Ятя от его забот. Но, скорее всего, он, как и Грэм, верил в легенду, творимую на глазах собеседника. Впрочем, чем черт не шутит — сегодня Ять не поручился бы ни за какую истину.

— Трагедия альмеков, — продолжал собиратель древностей, — случилась из-за того, что один из жрецов — полное его имя долго произносить, а краткое оскорбит его память, — приказал разъединить флейты. О точном их числе сведения расходятся: по одним источникам — двадцать шесть, по другим — тридцать одна, — но разъединение их, по альмекским меркам, было... с чем бы сравнить?

— Отмена орфографии, — кивнул Ять.

— Что вы! Жрецу в голову бы не пришло ничего подобного. Дело в ином: он хотел многократно усложнить ритуал встречи восхода... но это усложнение, видимо, оказалось кри-

тическим. А может быть, он просто нарушил древнее табу, смысла которого забылся: нельзя разъединять флейты! И вот вам: с четвертого века пошла неуклонная деградация. К восьмому-девятому от могущественной страны в благодатном краю уцелели жалкие поселения...

— Так вы полагаете, эта дудка в самом деле драгоценна? — как можно небрежнее спросил Ять.

— Думаю, что любой музей — разумеется, в стране, где еще действуют музеи, — дал бы за этот экспонат больше, чем за всю мою коллекцию. Но я не знаю коллекционера, у которого хватило бы сил выпустить альмекскую флейту из рук. Со временем я вам дам книгу... но не теперь, конечно.

Очень возможно, что все это Клингенмайер выдумал. Несомненно было одно: зувская белая буква зет и клингенмайеровская сухая дудка идеально подходили друг к другу и издавали странный, дивный, тревожный звук.

— Знаете, Фридрих Иванович, — робко улыбнулся Ять, все еще чувствующий себя слабым и подавленным. — Если я в силах хоть как-то отплатить вам за все, то считал бы за счастье подарить вам эту вторую половину... хотя и совершенно убежден, что всю эту прелестную новеллу вы сплели единственно для того, чтобы я не чувствовал себя только докучным посетителем.

Клингеммайер исподобья, внимательно посмотрел на него.

— Разубеждать вас не стану, — сказал он мягко. — Не стану и благодарить, ибо есть вещи, за которые не благодарят. Живите здесь, сколько нужно, и помните, что тремя веками жизни в моей лавке на полном пансионе не уравновесили бы вы этого дара. Вы когда-нибудь сами поймете всё, а пока милости прошу закусить.

3

Странно было после двухмесячного отсутствия, в которое вместились пять смен власти, два безумных путешествия, разрыв, снова прийти на Елагин остров. Поразительна была отходчивость природы: только что все спало мертвым сном, ле-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

жало покорной серой пустыней, но едва отпустило — началась бешеная подспудная работа, зароились тайные силы, появились жуки, червяки, ростки, обиды, надежды и желания. Жизнь перла отовсюду как бешеная. Вся поверхность Масляного луга, обратившаяся весной в царство черной жижи с подмытыми глинистыми краями и замшелыми статуями, разбросанными тут и там, готова была покрыться ядовитой ранней зеленью, похожей на плесень, и кое-где уже зазеленела.

Внутри, на первом этаже Елагина дворца, кипела столь же бурная жизнь, как и за его стенами, — и точно так же, как на Масляном лугу, все это выглядело довольно гнило. Ощущение плодородной грязи и цветущей плесени только усиливалось в главной зале с ее клетчатым полом и строгим некогда обликом: теперь тут во множестве торговали сомнительные личности, привлеченные Извольским. Во дворце развернулся, по сути, филиал Сенного рынка — и многие жители Петроградской отоваривались здесь. Извольский изменил бы себе, не воспользуйся он дворцом в коммерческих целях, — и хотя главной его коммерцией стала теперь политика, он положительно не в силах был отказаться и от сиюминутной выгоды, как тот анекдотический портной из рассказа Буркина, который, захватив трон, еще бы немножечко — и шил. Предоставив мешочникам помещения для складов и сделок, он брал с них скромную дань — своего рода паек для обитателей коммуны, взамен отнятого Чарнолуским. Чарнолуский прекрасно знал о дворцовой лавочке Извольского, но не имел еще полномочий ее прикрыть: в конце концов, так называемый публицист не делал ничего незаконного; правда, неизвестный доброжелатель уже направил в Смольный подробное письмо — со старательными, явно нарочитыми вкраплениями грамматических ошибок — о том, что предполагаемый очаг культуры, последний якобы оплот духовного сопротивления, превратился в центр спекуляции.

Нарком просвещения давно догадывался, что в Москву его отзовут только после того, как будет решен вопрос с елагинцами и, коль уж так получилось, с крестовцами. Ни о каком общественном мнении Чарнолуский, само собой, давно

не думал — общественное мнение вместе с правительством переехало в Москву; он просто не знал, с какого конца взяться за это безнадежное дело. Интуиция драматурга, пусть плохонького, подсказывала ему, что елагинская оппозиция развалится тем скорее, чем меньше станут обращать на нее внимания, — но появление Извольского в профессорском стане путало все карты. Этот не собирался сидеть во дворце и пассивно сопротивляться: он таскал на Елагин иностранцев, вон и американский консул десятого апреля был приглашен туда для демонстрации бедственного положения национальной элиты, — в доносе промелькнуло даже темное сообщение об оружейном складе, устроенном в подвале кухни... Казалось бы, чего проще — объявить дворец памятником культуры, а стариков развести по квартирам, в крайнем случае свезти в богадельню на Обводном канале; но момент был безнадежно упущен. Извольский устроил во дворце склад, он проводил митинги, наводнял оставшиеся газеты гневными очерками о произволе властей и вообще вел дело к серьезной стычке, которая скомпрометировала бы новую власть капитально и надолго. Пора было решаться — а все-таки решиться Чарнолуский не мог.

Ища способ избежать большой крови, он подумывал даже о поджоге дворца, но тут же встряхивал головой и пытался отвлечься. Отвлечься, однако, было нечем. Похоже, решение елагинской проблемы стало в глазах товарищей чем-то вроде инициации: только разобравшись с последствиями собственной сомнительной затеи, мог он на равных войти в правительство. Впрочем, была у Чарнолуского одна идея; над ее-то осуществлением он и размышлял в то самое время, как Ять входил во дворец.

Ять, конечно, всего этого не знал. Он видел только бурно развернувшуюся торговлю на первом этаже дворца. Вот кому достаются дворцы, захваченные восставшим народом! — тут был жестокий, но ясный символ. Да и кто, кроме Чарнолуского, мог вообразить, что в чужом доме после изгнания хозяев возможны занятия искусствами и коллективный поиск истины? Подобное могло еще получиться в добровольно оставленном жилище вроде прилукинской дачи, но в принудительно отчужденном дворце мог разместиться только блошинный рынок. Ни об отнятии пайка, ни об угрозе разгона коммуны Ять

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

еще не слышал, — он принял разгул предпринимательства за признание большевиками собственного бессилия. Снабдить стариков крупой, хлебом и чаем они могли теперь, видимо, только при помощи спекулянтов.

Спекулянты были не простые, а с понятием: каждый знал, что на острове образовался своего рода культурный заповедник, где столовались и отоваривались почти все оставшиеся в городе писатели. Заходили сюда и артисты — в этой среде у Извольского были особенно обширные знакомства; артистам полагались скидки. Никогда еще не было у петроградских спекулянтов столь блистательной клиентуры: певцы из Мариинки, красавицы из бывшей студии Комиссаржевской, завсегдатаи богемных кабаков — все шли на Елагин остров. Извольский скромно называл свою торговлишку «Лавкой искусств».

Каждый, кто приторговывал в Елагином дворце, обзавелся собственным альбомом, где постоянные клиенты оставляли автографы, стихи и приятные пожелания. Самый толстый альбом, еще прошлого века, с картонными сиреневыми страницами — в каждом углу по виньеточке, — имелся у Шраера, торговца дровами. Где брал он дрова — для всех оставалось тайной. Шраер был человек могущественный: толстый (что в Петрограде восемнадцатого года уже служило знаком власти), и не водянисто-дряблый, как иные, опухшие от кипятка и глинистого хлеба, а тугой, плотный. Он имел вечно сонное, умильное выражение лица и огромную бородавку под левым глазом, тоже отчего-то усиливавшую впечатление достоинства и силы. Он лениво записывал в огромную засаленную тетрадь имя и адрес заказчика, и на другой день к тому приезжала требуемая порция прекрасных березовых дров. На восхищенные, робкие вопросы об источнике этой главной петроградской валюты образца 1918 года (апрельские ночи были холодны) Шраер скромно потуплялся и замечал, что надо же ж вертеться. Алексеев его ненавидел. Перед ним был не просто жида, но воплощение, идея жида, — и от этого жида зависел теперь и Алексеев, и все. Он не мог отказаться от услуг Шраера, отапливал комнату его дровами, добытыми Бог весть где, способствовал Шраерову обогащению — он, именно и предсказавший такое развитие событий десять лет назад! Они для того и расшатали всю русскую госу-

дарственность — под предлогом защиты своих прав, которые никто не ущемлял, и отмены оседлости, которую никто не соблюдал, — чтобы теперь свободно торговать и рассказывать свои анекдоты, а русская интеллигенция чтоб была у них на посылаках, — ясно же, что жиду отроду не была нужна никакая свобода и культура, а только торговля и анекдот!

«Лавка искусств» поражала изобилием; Ять горячо пожалел об отсутствии денег. Нечего было растравлять душу зрелищем этого великолепия, и он решительно прошел к Казарину.

Казарин был дома, один, — лежал на постели, укрывшись пледом; у него было холодно — ржавую печь он сегодня не топил. В комнате пахло гнилью, болезнью — даром что было по-монашески голо и чисто.

— А, Ять, — сказал он без всякого выражения, словно они виделись вчера. — Заходите, рассказывайте, что нового.

— Рассказывать долго. — Ять присел на кровать. — Что, нездоровы?

— Да, знаете... впрочем, это давно. Где вас носило, что не заходили? Пошел слух, будто вы за границу подались... Чаю хотите? Есть чай, настоящий.

Казарин всегда был несколько томен и вял, но сейчас в его слабости не было и тени притворства: лицо приобрело зеленоватый оттенок, щеки ввалились, он едва шевелился, а когда протянул руку — указать на расписную чашку, в которой заваривал чай, — Ять поразился худобе этой руки и неуверенности всех его движений. Отрастил он, кроме того, огромные ногти — желтые и кривые, хищного вида, никак не сочетавшиеся с хрупкостью, почти бесплотностью самого Казарина.

— Благодарю вас, я пил сегодня. Как вы, как Марья?

— Марья ушла, — спокойно сказал Казарин. — Она, кажется, на Крестовском теперь.

— Простите, ради Бога, — проговорил после паузы опешивший Ять.

Казарин прикрыл глаза.

— Ничего, ничего. Что тут такого. Вы же не могли знать.. Это давно уже случилось.

Ять ощутил при этом известии толчок счастья, которого немедленно устыдился: выходит, не только у него случается такое. Вид идиллической пары, счастливая и цветущая Ашхарумо-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ва — все это сильно уязвило бы его; он опять позавидовал бы Казарину — даже больному.

— Ушла, ушла, — повторил Казарин, не открывая глаз и не шевелясь. — И я думаю, правильно. Это должно было быть, и лучше, что так. Вы решите, вероятно, что я зол на нее, — нет. О, если бы я мог быть на нее зол. Но иногда я думаю, что и сам бы хотел... не сразу, конечно, не с начала, но чем дольше, тем сильнее я подталкивал ее. Знаете, есть сюжеты... их власть велика: полюбил молодую, привязал к себе, мучил — ясно же, что уйдет, должна уйти. Бывают такие молодые, что остаются по доброй воле, и не ради тебя, а потому, что видят в этом служение. Согласитесь, так хуже. Есть тут какое-то вранье. Если хотите курить — курите, у нас теперь много всякого... добра.

Он лежал вытянувшись, говорил медленно и едва слышно.

— Вам не до меня теперь, — сказал Ять. — Я зайду еще. — И он поднялся уходить.

— Посидите, — просительно выговорил Казарин. — Посидите, вам я могу сказать... я же знаю, у вас было подобное. Мне надо говорить, я привык, что в комнате кто-то есть, и одному трудно... До сих пор ошибаюсь — доплетаюсь до этих, с лотками, и говорю: дайте нам... нам нужно... А между тем нам ничего не нужно, и я почти труп. С ней было бы хуже, но без нее... — Он неожиданно всхлипнул, из угла закрытого глаза скатилась маленькая слеза.

— Но мне казалось, она любила вас, — после паузы заговорил Ять.

Казарин открыл глаза — огромные, черные.

— Она и теперь любит, — с жаром сказал он. — Конечно, любит. Это самое страшное. Она приходит иногда — вы знаете? Не может сразу уйти, и я это терплю. Что прикажете делать, ведь ей тоже трудно. Привычка, и потом, я всего третий. Первого стараются забыть, со вторым долго мучаются, с третьим впервые узнают счастье и помнят долго. В том-то вся и беда, что любит. Если б она ушла из-за того, что разлюбила, — я не мучился бы, я был бы теперь здоров. Это другой уход. Если б не давняя ненависть к этому слову, я сказал бы, что это уход идейный. Но и это не совсем то. Ей, видите ли, показалось, что там — жизнь... а здесь — только я, который боится выйти этой жизни навстречу. Опасно любить жизнь, вы не находите? Она всегда уходит.

— Я думал об этом, — кивнул Ять. — У меня, в сущности, то же самое.

— В самом деле? Расскажите! — потребовал Казарин. — Мне нужно теперь.

— Это надо рассказывать или очень долго, — улыбнулся Ять, — или не рассказывать вовсе. Я за этот месяц пережил, считай, всю российскую историю — бывшую и будущую. Там только и стало понятно, за что я ее люблю. С ней, понимаете ли, в короткое время можно успеть очень много — все ускоряется вдесятеро. Ну, а в конце, естественно, — все как всегда. Она теперь за границей, а я тут. И боюсь, что теперь это уже последний разрыв. Во всяком случае, она не вернется, да и я вряд ли уеду — я вовсе там себя не мыслю..

Казарин кивнул.

— Да, там тоже жизнь.. а вы выбрали смерть, и правильно сделали. Всегда надо выбирать смерть. Я у какого-то японца читал: живи так, словно ты уже умер. Это нетрудно.

— Ну, зачем же так? Бог даст, и вы поправитесь..

— Что — я? — громко и страстно проговорил Казарин. — Я теперь скелет, голая кость, и надо хоть сдохнуть с пользой, раз я жить никогда не умел. Знаете — «ты взвешен и найден очень легким»; но хотя бы это перо надо кинуть на правильную чашу. Мне теперь отсюда дороги нет, я человек конечный, — но ведь с самого начала к этому шло. Я и говорил вам, помните?

— Но почему вам не вернуться домой?

— Шутите? — Казарин посмотрел на него с неприязнью. — Нет-с, я из осажденной крепости не побегу. Нас ведь разогнать хотели, вы слышали?

— Ничего не слышал, потому и пришел..

— Чарнолускому кто-то донес, — со вздохом, словно его тяготил долгий и бессмысленный пересказ, начал Казарин. — Написали ему, что тут контрреволюция.. А может, и не ему, может, и выше, — но закрыть приказали ему как изобретателю всей этой.. затеи. — У Ятя застучало в висках. — Ну, тут мы сами, конечно.. Есть тут один — организатор, он и мешочников привел. Публицист такой, Извольский, — не слышали?

— Где-то определенно слышал, — сказал Ять. — Сейчас не припомню.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— А я не слышал. Но я никогда публицистики не читал. Таковой, знаете.. живчик. Мечется, бегает, ведет разговоры.. Пошляк, словом. Я сначала к Хмелеву сунулся — Николай Алексеевич, голубчик, что вы делаете, ведь он и не филолог никакой, и не писатель подавно.. Но он тогда хорошо меня осадил: сколько, говорит, можно прятаться от жизни в тетрадь да под юбку. Я обиделся сперва, но потом много думал.. Знаете, трещина между нами — между мной и Марьей, я хочу сказать, — обозначилась почти сразу. Для нее все это было развлечение: вот, молодая девчонка, много читала, конечно.. кружилась в полубогемной компании.. тут — или живут, или чай пить приходят — все ее кумиры.. да и я человек не последний.. В общем, лестно, конечно, и я вполне могу ее понять. Но ведь она, видите ли, никогда и ничем за это не платила. Есть люди, которые всю жизнь — около искусства, они пьют его мед, но не знают его яда.

Э, подумал Ять, ты все-таки залишься, и сильно. Впрочем, все правда.

— Ей игры, а мне гибель, — продолжал Казарин, приподнимаясь на локте. — И я сам сказал: уходи. А она.. только того и ждала.

— Как хотите, Вячеслав Андреевич, — глядя в пол, сказал Ять, — мне все же казалось, что вы шли сюда за квартирой и ничем более.

— Да я и не скрывал! — с досадой ответил больной. — Что вы меня разоблачаете, когда я сам себя давно приговорил! Виноват, кругом виноват: захотелось счастья на старости лет. Закаат печальный и тому подобное. Пришел искать убежища в горящий дом: люди кричат, из окон прыгают, а я знай в спальне резвлюсь..

— А у меня, — вдруг сказал Ять, — пока я в Крыму был, квартиру отняли.

— То есть как?

— Ей-Богу. Приезжаю — уплотнили. Если, говорят, хотите — живите в кухне.

Он почему-то улыбался, рассказывая об этом.

— Да, да, я слышал про такое, — закивал Казарин. — Но чтобы без вас.. Они что же, дверь взломали?

Ять кивнул.

— И кто у вас там?

— Прелестные люди. Дворник наш с семьей — из деревни приехали, — фабричный какой-то, с женой и тремя детьми.. Я и думать не думал, что у меня там столько места. Замечательное решение проблемы города и деревни: помните, все говорили — пропасть между крестьянином и горожанином.. Вот и всё, и никакой пропасти. Если в каждую питерскую квартиру поселить по пятнадцать человек, где раньше жили трое, — скоро в деревне никого не останется.

— А хлеб кто будет растить? — слабо улыбнулся Казарин.

— Понятия не имею. Покупать будем. Теперь же свобода — зачем работать-то?

— И где же вы теперь?

— Пока — у Клингенмайера, это друг мой, историк и собиратель. У него, конечно, надолго нельзя — неловко, знаете.. Так что в конце концов, может, и к вам подамся.

— Ну, к нам не зову, — неожиданно сухо возразил Казарин. — Кто же своею волей в пекло полезет..

— Ночевать негде — так и в пекло полезешь, — Ять попытался свести все на шутку. — Новую квартиру теперь не снимешь. И не хочу вам напоминать, но ведь и вы сюда пришли не за орфографию бороться..

— Да какая теперь орфография, — махнул рукой страдалец. — Про нее и не помнит никто. Теперь или они нас, или мы их — то есть мы их, конечно, никогда не опрокинем, но по крайней мере покажем миру, что тут такое делается в действительности. Не советую лезть в эту передрагу.

Ага, разозлился Ять. Мало того, что этот герой не имел никаких прав на вселение сюда, — он мне, действительному члену Общества любителей словесности, черт бы ее драл совсем, запрещает преклонить голову во дворце, который я же для них приискал! Ах, Казарин, Казарин, отвергнутый любовник, — нашел себе правду, и прислонился, и отпихивает теперь от нее всех, кто еще не втиснулся в нишку! Выплыл среди обломков корабля, ухватился за доску и ногами, ногами расшвыривает остальных: моя доска, на ней буду героически гибнуть! Прочие могут гибнуть негероически, коли уж у них так сложилось.. Ах, Казарин, Казарин, какая ты все-таки дрянь — поделом от тебя ушла красивая девушка со смородинными глазами..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Кстати, — не удержался Ять и ударил под дых. — К кому ушла ваша Марья?

— К Барцеву, — спокойно ответил Казарин. Он снова лег, вытянулся и закрыл глаза, всем своим видом показывая, что до предела утомлен разговором — а может, и вправду устал? — Помните, рыжий... бородатый?

— Боже мой, но ведь он идиот!

— Не такой уж идиот, как оказалось. Мне даже кое-что нравилось у него... Она хотела его сюда привести, но тут уж я встал горой. — Немыслимо было себе представить, чтобы Казарин, лежащий тряпкой, встал горой. — Никто из них сюда не войдет, пока тут мы... хватит уже осквернений. А ваша к кому ушла?

— К очень славному типу. Скучноват, правда... но надежен. Историк. Они вместе уехали, он ради этого продал дом. Может, все действительно правильно: я бы дома не продал.

— Удивительный вы человек, Ять, — желчно проговорил Казарин. — Как это вы умудряетесь так безопасно жить, ни в чем не замараться? Из квартиры вас выгнали прелестные люди, невеста ушла к очень славному типу... Нельзя же, в самом деле, вот так проскользнуть, надо же когда-нибудь и возненавидеть кого-нибудь до смерти... и подставить себя под настоящий удар... Дивлюсь вам, право.

Он сам не замечал, как почти дословно повторяет обращения к нему хмелевские упреки месячной давности, — но теперь у него было на это право.

Конечно, думал Ять, переходя по мосту на Крестовский остров. Конечно, мне нечего там делать. Выдумали себе обреченность и купили за нее правоту. Очень просто. Я в детстве, бывало, прятался от всех в чулане: сначала мне очень нравилось, как я сейчас всех напугаю... потом начинал досадовать, что никто меня до сих пор не хватился, и наконец уже ненавидел их за то, что они так легко обо мне забыли; может быть, именно в чулане, среди собственных старых игрушек я и понял впервые, что смерть — это примерно так же: вычли меня, и никто не вспомнит... И я выходил злой, зареванный, и мать долго, долго не могла успокоить меня... Заперлись в чулане со старыми игрушками — твердый знак,

государь, профессорский статус — и ждут, пока за ними придут; да никто за вами не придет! Права была девочка, что сбежала отсюда.

4

На прилукинской даче тоже переменялось многое: на берегах и соснах, подступивших к покосившимся заборам, красовались красные треугольники и черные круги, а на самой даче вывешен был транспарант с четырьмя крупно намалеванными буквами ЕПБХ — трудно было вообразить большее неприличие. Подле каждой из букв виднелась жирная точка, словно подтверждавшая: да, за каждой буквой стоит вполне конкретное слово. Наверняка тут был вызов общественной морали — не могли же они не понимать, что у них случилось? Ять заулыбался было, но тут ему навстречу прямо из дверей ЕПБХ выпал той-футурист Лотейкин. Он явно был не на шутку перепуган, хоть и старался соблюдать респектабельность — вот, спешу на прогулку прекрасным апрельским днем... Вслед ему неслись громовые проклятия.

— И чтобы духу твоего тут не было! — ревел Корабельников. — Сунешься — в Невке утоплю!

— Но Саша! — заячьим голосом зывал Лотейкин. — Уверяю тебя, что все...

— Спекулянтов уверяй, мародер! — пробасил глава футуристов. Из дверей вылетел и шмякнулся в грязь возле Лотейкина узелок с вещами.

— Лик-ви-дирую! — пообещал напоследок Корабельников. Из окон прилукинской дачи выглядывали хохочущие лица Краминова, Барцева и — да, в этом не могло быть сомнения — Ашхарумовой. На крыше прилаживал к трубе что-то футуристическое художник Черемных: оторвавшись от работы, он одобрительно наблюдал за изгнанием бывшего собрата.

— Вы все скоро побежите туда! — провизжал Лотейкин. — И нечего тут играть в чистоту! Я прекрасно знаю, кто еще... — тут он осекся.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

На крыльцо вышел огромный, голый по пояс Корабельников, мрачно жуя папиросу. Руки его были скрещены на груди, а за спиной так и угадывались крылья пролетарского демона: одно черное, другое красное.

— Пошел вон, гнида! — заорал демон, и Лотейкин, подобрав узелок и оскальзываясь в жидкой грязи, поспешил к мосту. Поравнявшись с Ятем, он жалобно улыбнулся:

— Теоретические споры. Саша совершенно невыносим. Никаких несогласий не переносит...

— Ять, Ять! — закричала Ашхарумова, распахнув окно. — Где вы были все это время? Идите сюда!

— Не слушайте его, он врет! — вторя ей, высунулся из окна ликующий Барцев. — Он к елагинцам жрать ходил! Небось к ним тепер. Ну, они его не очень-то и примут, перебежчика.

— Если бы по идейным соображениям, никто бы слова не сказал, — захлебываясь, рассказывал Краминов. — Вот Маша к Казаринову ходит — все же знают, что он болен. Мы не звери, верно?

Маша слушала, невозмутимо стоя в углу и по-корабельниковски скрестив руки. Ять украдкой взглядывал на нее: нет, не переменялась. На ней в самом деле ничто не оставляло следа: те же круглые смородиновые глаза, тот же румянец и чистый, открытый лоб. Барцев по временам перехватывал эти взгляды, словно говоря: что, хороша, да? Хороша Маша, и теперь наша.

— И чем вы тут заняты? — поинтересовался Ять.

— Да кто чем, полная свобода. Давайте и вы к нам, дело найдется. Сейчас вот к Первому мая готовимся, впервые будет в Питере демонстрация без полиции и ограничений. Думаем весь город превратить в эстраду.

— А что такое ЕПБХ?

— Единое Петроградское братство художников, — серьезно ответил Краминов. — Мы живем в эпоху сокращений, когда каждое слово сводится к букве, к знаку. В будущем сокращения должны вытеснить обычную фразу. Например,

вместо «Который час?» будет сначала «КЧ», а потом какой-нибудь особенный звук...

— В будущем у всех будут свои часы, — серьезно поправил Барцев.

— А вам не приходило в голову, что это... довольно двусмысленно? — все еще полагая, что его разыгрывают, спросил Ять.

— Что двусмысленно?

— Да вот это ваше ЕПБХ. Это же можно расшифровать и... не знаю... Ежи против бешеных хомяков...

Ашхарумова захлопала в ладоши:

— Bravo, Ять! Да вы совсем наш! Переходите к нам, честное слово.

— А что, очень может быть. Меня уплотнили, вы знаете?

— Меня тоже, — небрежно кивнул Краминов. — Я теперь домой и не захожу. Всё — тут. Правда, Ять, давайте! Рук не хватает. Будете кубы клеить, плакаты писать...

— Да не слушайте вы его, Ять! — перебил Барцев. — Тут каждый делает что хочет. Корабельников, конечно, немножко диктатор, но иногда слушается. Мельникова, например. А Мельников вообще ничего не делает, он будущее вычисляет. У нас поголодней, конечно, чем у елагинцев. Спекулянтов не пускаем. Паек сохранился кое-какой, потом платят за «Окна»...

— Какие окна?

— Да так, пишем, — уклончиво улыбнулся Барцев. — Самописьма продаем, то есть автографы. На Сенном книжный рынок, зайдите посмотреть. Вы где были-то?

— В Крыму.

— А Таню видели? — оживилась Ашхарумова.

Ять хотел соврать — не нашел, разминулись, — но тут же разозлился на себя и на нее: какого черта ему юлить перед девчонкой?

— Да, видел. — Он посмотрел на нее в упор. — Я ведь за этим и поехал.

— Ну что, как она?

— Почти как вы, — сказал он чуть жестче, чем хотел.

Ашхарумова отвела глаза. Барцев быстро посмотрел на нее, потом на Ятя, но промолчал.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Нет, серьезно, переселяйтесь! — спас их от неловкости Краминов. — У нас тут, правда, двое противных типов — то ли для охраны, то ли для связи с правительством... Но они в общем безобидные. Мы притерпелись.

— А Льговский что же, ушел?

— Ему поп наш не понравился. У нас же теперь и поп свой, обновленец. Говорит, что благословляет революцию. Хитрит, конечно, но рискован: ездит по церквам, проповеди говорит... На митингах выступает. Мистерию Сашкину благословил... Ах, это все так долго рассказывать! Если вкратце, Солонин считает, что большевики должны построить красную империю. Они с Сашей чуть не задрались, но я помирил. Помоему, сейчас надо сообща, а разберемся потом...

Все это слишком напоминало разговоры в подвале Амалии фон Кирстенхардт, и Ять поднялся уходить.

— Где же вы живете? — спросила Ашхарумова.

— Пока — у приятеля... Кое-какие сбережения у меня остались, уплотнители не тронули, — но газета закрыта, работать негде... В крайнем случае приду клеить кубы.

С ним простились дружески. Ять уже вступил на мост, когда его догнала Ашхарумова.

— Простите, — запыхавшись, сказала она. — Простите, я не хотела, чтобы вы... не так поняли. Вы были у Славы, да?

— Был, — просто ответил Ять. Он не хотел помогать ей в этом разговоре и выжидательно замолк.

— Вы, конечно, осуждаете меня?

— Да за что же. Ведь вы не за пайком ушли.

— Никто не уходит за пайком, — она тряхнула головой, взмах черных волос еще живее напомнил Таню. — Даже Лотейкин ходил к спекулянтам потому, что ему противно стало с Корабельниковым.

— Но передо мной-то чем же вы виноваты? Я, кажется, в осуждение ваше слова не сказал...

— Иногда не надо говорить. По вам все видно.

— Если чувствовать себя виноватым, то увидишь, что и солнце отворачивается. Вы, Маша, кругом правы. Вы ушли потому, что полюбили одного и разлюбили другого, а это такая штука... неуправляемая. Виноватых нет.

Ашхарумова опять замотала головой.

— Вы все сводите на одно — полюбила, разлюбила... Я не Таня. Меня в Тане всегда отпугивала эта зависимость — от своего хотения. Смешно, что вы мне говорите о правоте — вы, который прав всегда и перед всеми... потому что вы — никогда и ни с кем! Я не знаю, что сделала вам Таня, я не хочу только, чтобы все вам теперь казались на одно лицо... на ее лицо. Я не к Барцеву ушла, хотя Барцев и все они — бесконечно великодушнее Славы, и им гораздо труднее. Если на то пошло — умирать в гордом сознании своего мученичества в тысячу раз легче, чем жить... по-новому, впервые! Я ушла... просто потому, что в этом есть ложь — во всей этой осажденной крепости со спекуляцией салом! И ведь он честный, он умный человек — как он может этого не понимать!

— Да все он прекрасно понимает, — поморщился Ять. — И зря вы про Таню — будто она слушается своих прихотей, а вы сознательно выбираете жизнь. Просто Таня не оправдывается, — добавил он мягко. — Я уж не помню, у какого это китайца сказано: кто не любит смерти, тот не любит жизни... Я — не люблю, за это меня из алфавита выгнали. И вовсе вам не надо одобрения от такой полуживой буквы, как я...

Она покачала головой, повернулась и медленно пошла к прилукинской даче. Ятю было стыдно: пусть хоть самую малость, но он лукавил. Какой вообще может быть выбор между жизнью и смертью, если обе неизбежны? Дайте мне хоть раз в жизни право не выбирать из двух, будь то жизнь и смерть, большевики и Романовы, Елагин и Крестовский... Предложите мне что-нибудь третье, ибо жизнь и смерть, как они есть, стоят друг друга — и не стоят меня.

А все-таки она была очень хороша. Бедняга Казарин.

Как ни странно, в апреле керенки подросли в цене: деньги не были уже бросовыми бумажками, ибо стало ясно, что все надолго. Ятю случилось однажды беседовать с авиатором Гороховым, который на своем «фармане» падал с трехсотметровой высоты и умудрился не разбиться: было ли время о чем-то думать в машине, несущейся к земле? «Очень бы-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ло, — ответил Горохов, парень простой и дружелюбный. — Падаешь, падаешь, даже привыкаешь».

Петроградская торговля начала входить в колею: будущий строй ни по одному параметру не определился, действия новой власти были хаотичны и выборочны, однако эта неопределенность превратилась в динамическое равновесие, в киселеобразное ни то, ни се. Ни у кого не было сомнения, что огромный, тяжелый самолет России падает, — но он падал уже десять лет, то принимаясь бодро чихать мотором, то покорно замолкая, и в этой падающей машине началась своя жизнь, с расколами, товарообменом и книгоизданием.

На Сенном рынке тоже многое переменялось. Деньги вновь потеснили расцветший было натуральный обмен; за триста рублей можно было купить буханку, за пятьсот — пачку папирос, и все это где-то выпекалось, набивалось, хранилось... Словом, весна восемнадцатого года внушала поначалу надежды — и иногда казалось даже, что никакой революции не было, а так только, власть поменяли да грамоту отменили.

Отмена грамоты сказывалась уже на размывании речи: многого Ять попросту не понимал. Речь елагинцев и крестовцев, в силу их относительной изоляции, оставалась прежней — но на рынке было множество новых слов и понятий. Червонец назывался чириком, сало — балаласом, спирт — бимбером; вдоль рядов похаживали патрульные Апфельбаума, которых, неприязненно глядя вслед, называли почему-то шуринами. Вместо привычного «почем?» все чаще раздавалось отдающее южным базаром «в какую цену?», деньги назывались башлями, семечки — оглодышами, проплевышами; рослого, здорового торговца именовали «шпенда», «штымп», ружье — плеткой или волыной. Тюремный жаргон, о котором Ять имел представление благодаря общению с уголовными хроникерами, щедро мешался с суржиком и цыганским аргом: баранку именовали коралькой, девчонку — сикарашкой, секельдявкой, но так же обозначали и селедку; нередко поминался таинственный екарный бабай. В этой новой речи было что-то дурашливое и вместе грубое — каждое слово было по-своему забавно, чем посылно преодолевалась омерзи-

тельность называемого, но это не скрадывало хамоватой простоты называющего — шутки его были шутками висельника, коротающего время за карточной игрой на этапе. Верно, таков был язык темных — если при дележе краденого случалось прибегать к языку.

Темных, кстати, от лотков никто не гонял. Они подходили, наклонялись, приняхивались, униженно-нагло улыбаясь и грязными пальцами перещупывая товар; тут брали лоскут, там кусок сахару — и уходили не то что не заплатив, но не отблагодарив даже кивком, словно все давно уже принадлежало им. По лицу торговца, к которому со странной инспекцией подходил темный, бродила брезгливая гримаса: он возводил очи горе, переминался с ноги на ногу и перепуганным взглядом молил соседа о помощи, но тот нарочно отворачивался, делая вид, что ничего не происходит. Иногда темный брал торговца за пуговицу, заглядывал ему в лицо и спрашивал: «Га?» — и дыхание его, видимо, было столь зловонно, что несчастный продавец переставал дышать и застывал, сморщившись. Повторив «Га?», темный двигался дальше, пальцем вытирая под носом и наводя ужас на встречных широкой ухмылкой.

Ять шел на Сенной не за провизией: с трудом сломив сопротивление Клингенмайера, он сразу отдал ему половину своих денег и потому делил с ним скромную трапезу без особенных утрызений; он хотел купить чего-нибудь из новых книг, да и слух о торговле самописью заинтересовал его. Самописью, сколько можно было судить, торговали в основном графоманы и городские сумасшедшие; внимание его привлекли несколько книг, изданных типографским способом — все под фамилией Вогау, — названий которых он не понял, как ни силился; продавал их бледный, веснушчатый верзила в очках — вероятно, сам Вогау. Надо было изучать новый язык, и Ять не пожалел двухсот рублей на самую тонкую из его книжечек, напечатанную вдобавок на обоях — текст располагался только на одной стороне, по другой раскиданы были голубые цветы на красном. «Иллюстрации», — сдержанно пояснил Вогау, изъяснявшийся по-русски вполне правильно; брошюра его, однако, называлась «Глумкая плешть» и написана была, если автор не врал, на подлинном диалекте Брянской губернии. Ять не стал даже пролистывать новое приоб-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

речение, отложив наслаждение до вечера. Взгляд его скользнул по синим обложкам «Французской библиотеки» в издании Мироннова — в пятнадцатом году все принялись издавать союзников: Вольтер, Дидро, Марат. Вдруг он вздрогнул: последним в этом славном ряду лежал толстый том Луазона.

— Сколько? — спросил Ять, указывая на книгу загадочного мыслителя.

— Две тысячи за все, — твердо потребовал старик.

— Мне все не нужно, только это...

— Вразброс не продаю.

— Пятьсот за одного Луазона, — предложил Ять безумную сумму. Ему казалось, что в томе Луазона ждет его разгадка всех тайн, в том числе и собственной судьбы; таинственный философ, словно лейтмотив, сопровождал его жизнь с того самого дня, как он впервые явился к Чернолускому с проклятой идеей вспомоществования профессуре.

— Семьсот, — высокомерно отозвался старик.

Ять не стал спорить, отвернулся и пошел прочь; как всегда, отказ от борьбы сработал верней борьбы.

— Шестьсот, — крикнул старик вслед.

— Пятьсот, последнее слово, — ответил Ять, не оборачиваясь.

— Черт с тобой, — донеслось до него.

Открыть Луазона он боялся: полторы пачки папирос вполне могли уйти ни на что. Лежа на узком диване, под легким, тонким пледом, который выдал ему Клингенмайер, Ять раскрыл сначала «Глумкую плешть» — но тут же ударился, словно с разбегу, о стену неузнаваемых слов. Так пытался он некогда просматривать научный труд, который должна была штудировать одна из его мимолетных подруг: будучи твердо уверен, что книга, доступная ей, уж ему-то как-нибудь будет понятна, он раскрыл фолиант и немедленно убедился, что, кроме конструкций «отсюда следует» и «легко видеть», не понимает ни единого слова. В «Плешти», однако, не было и этих зацепок, а из знакомых слов наличествовали только союзы с предлогами: служебные части речи поистине бессмертны — господ погонят, слуги останутся... ибо должен же кто-то служить... Он пробовал пона-

чалу ориентироваться по фонетике, резонно предполагая, что хорошую вещь ужорой не назовут, — но и этот принцип не приближает его к смыслу, поскольку на одной странице ужору загнобляли, а на другой убарахтывали, не упуская случая возлизнуть. Вскоре Ять отказался от намерения что-либо понять и бездумно заскользил глазами по строчкам новейшей литературы.

5

«Тарабумкая, глумкая, глубокая плешть, и — вразсос, в забулдон, в забурдык, раскосясь, ухремучилась, кокнулась, трехнулась, взбуркла, урочится малко. По плешти — окалинки, буркалы, зуйки, митьки, ухороны, козюли, в козюлях — укривища, в чапких укривищах — зюзи: юзятся, угрозятся, тяпают, чушко сумнятся...»

Это, положим, можно еще было понять — описывалась некая первобытная плазма (она же плешть), в которой поначалу бугрились и зыбились протоформы да ютились в утлых жилищах чудь белоглазая.

Вскоре появлялся герой — как всегда, неназванный.

«Взметнулся, возлапился, выбуркнул:

— Бздысь!

Оборянилась, скоржилась. Чухнулся:

— Грумко мне в грызде! Устроплюсь!

Возгрянула вытно:

— Устропись! Устропись, бажаный!

Обшушился вялко, коршу догребавши:

— Пожежники луют... Не взбрыкну.

И — чельник расхряпив, надвижник отбукнув, раскрошник застрокнув, узлякался в пуржную томь».

Вероятно, герой, наскучив семейным бытом (судя по звуку — все-таки сельским), дохлебал лапшу, оттолкнул стол и, одобряемый испуганной женою, вывалился в снежную ночь искать лучшей участи.

«Зюзится, стылит по плешти, узорится, шарится, щелится бацька-зусор телебряный, ухмяный, калганный. Мотылится ухверть. С забросом угромится

бдышь. И по угрешной взбеси, топытами чамкая, гружно ковылит товарищ Гурфинкель.

— Шо, барно докукишь?

— Атожно!

— Заваживай с глазду».

Здесь легко было предположить, что герой, выбежав из постылой избы на зимнюю плешь, по которой змеями скользит поземка и гуляет с воем ледяной ветер, встретил путеводного товарища Гурфинкеля, поинтересовавшегося у него, как дела; дела были не блестящи, и товарищ Гурфинкель позвал его за собой.

В самом деле, я идеальный читатель — сделаю смысл из чего хочешь; впрочем, нужен ли тут смысл? Не так ли мы перетолковываем своевольно Божьи знамения, не понимая, что лишь обедняем их? Нет, только глумкая плешь — истинная литература будущего; главное — никаких полемик, всякий читатель прав в собственной трактовке... Положительно, Вогау далеко пойдет! Ять улыбался, но вскоре перестал улыбаться, поняв, что уже не шутит сам с собою и серьезно допускает возникновение словесности, никому ни о чем не сообщающей. В конце концов, футуристы уже давно... нужен был последний толчок, и вот... Он тряхнул головой, прогоняя морок, отложил Вогау и раскрыл сии том Луазона.

Его он отложил лишь три часа спустя, когда уже заголубел рассвет в единственном узеньком окошке. Спать не хотелось. Все было до того определено, что мыслей не осталось — не с чем спорить, не за что уцепиться в поисках опровержения. Это была самая страшная правда — та, о которой догадываешься; синий том окончательно прояснил картину. Безусловно, Луазон заслужил памятник: большевики следовали ему точнее, чем Марксу. Да Маркс, в сущности, и нужен был только для маскировки. Ять всегда подозревал, что на одном этом скучнейшем экономисте нельзя было закрутить всесветную бучу. Возможно, впрочем, что большевики следовали Луазону бессознательно... но разве комиссар по делам образования

стал бы попусту тревожить память забытого мыслителя, умершего за пять лет до того, как пророчества его начали сбываться на его же родине?

С портрета, приложенного к одному тому, близко посаженными черными глазами взирал на Ятя длиннолицый фанатик явно чахоточного вида; в нем тлел нехороший огонек. Луазон, сумасшедшим он был или гением, понял главный закон самоорганизации мыслящей материи, изложенный в центральном его трактате «Оправдание» с тем же лихорадочным блеском, каким горели его глаза. Идея была ошеломляюще проста, и Ять давно догадывался именно об этом механизме русской революции: чтобы общество оправдало лобой террор, ему достаточно нескольких месяцев бесконтрольной свободы — и всякий, кто дает эту свободу, сознательно или бессознательно желает именно окончательного закрепощения.

Целью революции никогда не было народное благо. В лучшем случае оно рассматривалось как одно из десятка побочных следствий, тогда как в основе всякой революции лежало гениальное самосохранение системы, иногда вынужденной прибегнуть к показному саморазрушению, чтобы тем верней воспрянуть из праха, когда необходимость ее вновь окажется подтверждена.

Главной задачей власти, по Луазону, было возбудить в массах желание крутых мер и тоску по сильному правителю; правитель этот будет тем сильнее, чем безоглядней окажется разрушение. Триумфальное возвращение монархии без Романовых — вот была конечная цель русской революции; большевики, придя к власти, отменили все прежние законы (включая законы природы, регулировавшие брак, старение и смену времен года) лишь затем, чтобы тут же насадить такую систему ограничений, по сравнению с которой прежние казались образцом милосердия. Разумеется, у них не было такого намерения, — тем трагичнее должен был оказаться их собственный внутренний разлад, самыми чуткими из них ощущаемый уже и теперь. Реставраторы нелюбимы толпой, а за борцами стоит правда борьбы — им-то и будет позволено навести тут полный порядок; всякая революция для того

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

только и нужна, чтобы дать смутьянам полномочия диктаторов и их руками сделать то, что не удавалось их врагам. Не пройдет и пяти лет, как последние романтики перестреляют друг друга, дробясь на фракции, яростно борясь, взаимно уничтожаясь и торя дорогу истинному властителю, которого предчувствуют так же ясно, как люди десятых годов предвидели грядущего гунна. Революция есть высшая форма передачи власти: о, Давид и Голиаф! Лучшие наследники подрастают среди ниспровергателей... Все наконец укладывалось в систему. Поистине, эта книга стоила и двух пачек папирос.

Впрочем, стоила она и больше — ибо Луазон не останавливался. В «Посрамленной богине», дополнении к главному трактату, он — уже на пороге смерти — задавался вопросом о конечной цели всех этих послаблений и закрепощений: что в царстве абсолютной свободы первой жертвой разгула становилась культура, вечно свободы взыскующая и от нее же гибнущая. Ять в священном трепете узнал в последних заметках Луазона свою январскую статью о пальме и травке. Новое закрепощение возвращает власть не к статусу-кво, но к варварскому миру, лишенному единственного, ради чего стоило ломать прежний уклад.

Этот вывод Луазона был тем страшней, что в конце пути с неизбежностью возникал призрак государства, после череды упрощений превратившегося в гигантский зоосад, государства, чьи правители при первых признаках переусложнения сознательно, бессознательно ли ослабляли скрепы — и после короткого и кровавого пиршества свободного взаимоничтожения возводили на руинах зоосада террариум, в котором только рептилии пировали на костях. Следом, однако, наступал черед мира рептилий, у которых возникали свои иерархии и разделения, — и скоро на остатках их мира в первичном бульоне, в глумкой плешти кипели простейшие, на ходу разделяясь на простоватых и сложноватых... Дарвинова и Марксова теории представляли на фоне луазоновской догадки розовыми фантазиями невинных гимназистов. Триумфальное сошествие во тьму — вот чем была история по Луазону, и трудно было найти лучшее чтение весной восемнадцатого года.

Голубело окно, и ясней ясного было будущее: те единственные, кто нуждался в свободе, падали первыми ее жертвами. Уничтожив всех несогласных, ужесточенная власть возвращалась на покинутый престол. Только в краткий миг равновесия стоило жить. О, если бы нашлась сила, способная внушить двум коммунаам на питерских островах, что они, лицом к лицу сошедшиеся в бою, — те самые потомки титанов, уничтожающие друг друга, чтобы на почве, унавоженной их телами, процвели поколения рептилий! Но такой силы не было, и не было средства остановить войну изничтожающих друг друга армий, единоприродных, единокровных, в равной степени не готовых оставить свои острова.

Мироходов словно не уходил из своей конторы: тот же был на нем сюртук — разве что теперь чересчур просторный, — и так же он хмурился и дымил, читая газету — теперь уж, правда, чужую, на этот раз «Путь»; знакомым жестом он указал на кожаное кресло перед собою, в котором, бывало, Ять часами просиживал, споря с ним о тонкостях будущего направления — и часто умудряясь переубедить, а впрочем, всегда наслаждаясь спором как таковым.

— Кстати, вы-то где сейчас?

— Куда ж я пойду после «Речи». Другого редактора не мыслю — только вы.

— Нет, батенька, я свое отработал. Вы где были-то, собственно говоря?

— В Крыму.

— Что, немцы пришли?

— Я успел до немцев.

— А что ж за границу не уплыли? Морем, говорят, еще можно...

— Кому я там нужен, — покачал головой Ять. — Чем вы сами живете?

— Да чем — жена шьет, Маша нанялась к распорядителю из Народного банка, дочку его музыке учит. Удивительно, говорит, приятные люди, столько деликатности... жалованье только задерживают второй месяц, а так ничего... иной раз кофеем напоят... Сам мемуары пишу — на что еще гожусь?

Тут ведь у нас пол-России перебивало, каких людей печатали, скандалы поднимали! И о вас, между прочим, будет.

— Ладно вам... А что, помещение не отобрали пока?

— Со дня на день грозятся. Я сдать хотел — не велют: ждите распоряжений. Ко мне тут, не поверите, — Мироходов усмехнулся, — чуть не каждый день знаете кто ходит? Минкин, комиссар. Сомнения у него зародились. Что-то, говорит, не то получается... Каждый день беседуем, все правды у меня ищет. Вот погодите, я его скоро совсем разагитирую.

— Среди них есть сомневающиеся? — не поверил Ять.

— Больше, чем вы думаете, — со значением произнес Мироходов. — Да толку-то что? Они все спрашивают: что мы не так сделали? Милые, хочу я ответить, да ведь не вы, а вами сделали. Что ж казнить теперь. Сейчас пройдем ко мне наверх, я вас угощу. Тут, знаете, забегает ко мне Коля Стрелкин — помните, конечно? Из репортеров... Может, и сегодня будет.

...Жена Мироходова посматривала на них с тревогой — пить ему было совсем, совсем не нужно. Из закуски имелись грибы — их крепко пахнущую сухую связку принесла с уроков Маша; грибы сварили, получился крепкий коричневый отвар с запахом лесной прели.

Младшая дочь Мироходовых, Елена, к столу не вышла — она страдала мигренью из-за проклятого бисера: целыми днями плела украшения на продажу. Покупали плохо, всё больше предлагали знакомство. С Сенного она перешла на Обводной, где теперь тоже раскинулся базар, с Обводного — на Сенатскую, но и там бисера не покупали, а приглашали кататься в автомобиле. Советские служащие уже присматривали девушек из образованного класса и знали, где искать их, — пока пролетарии сидели в синематографах, образованный класс обживал базары.

Прибежал обещанный Стрелкин, — радостно расцеловались. Говорили о прежних газетных бурях, о способах обхода цензуры, о том, кто где — многие подались на юг (Ять, как всегда, первым туда успел и первым вернулся), иные сидели по случайному обвинению, иные уже вышли. Брать и выпускать продолжали, ибо более дешевого способа имитировать

государственную деятельность до сих пор не было изобретено. Мироходов помнил великое множество ухищрений — как бы напечатать это, поддеть того... Как ни странно, на фоне катаклизмов последних пяти лет их тогдашние хитрости не казались мелочью — более того, они и теперь не потеряли шарма, как не теряет шарма статуэтка, найденная в развалинах. Вспоминали эпиграммы Юрятина, редакционный фольклор, гомерическую опечатку, проскочившую у Ять в думском репортаже о триумфальной речи Пуришкевича («Прижопывая правой ногой...»). Газета живет день, иногда полдня, — но, словно в компенсацию, память о ней живет долго, и дух редакционного братства, сплоченного эфемерностью результатов, как бы добавочным соседством смерти, помнится и тогда, когда от разгромленной газеты не остается ничего, кроме мертвой желтой подшивки.

— Не хотел бы я себя перечитывать, — признался Ять. — Ни одно предсказание не сбылось, слов много, толку чуть...

— Это-то и ценно! — утешил Мироходов. — Наши ошибки будут историку дороже всех прозрений: как было, он и сам знает, а вот как думали...

— А вы где, Коля? — после первой спросил Ять.

— Я в Лазаревской больнице, провизором. Грамотных нет, а выписывать надо... Без русской грамоты можно, а рецепт да диагноз без латыни — никак; видите, вот и юридический мне пригодился...

— В Лазаревской? — переспросил Ять. — И что там?

— Душевнобольных выпустили, — улетаая грибной отвар, улыбнулся Коля.

— То есть... то есть как? — уставился на него Ять.

— Да очень просто. Пришел какой-то — мелкий, краснолицый. Назвался помощником комиссара здравоохранения. Предъявил мандат. Довольно, говорит, держать в застенках наших братьев. Конец принудительному лечению. Свобода — так для всех.

— И куда они делись?

— Да что вы так волнуетесь, Ять? Вы что, рассчитывали лечь туда?

— Говорите, Коля, черт бы вас побрал!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Ничего страшного, будет вам! — Коля испугался, он никогда прежде не видел Ятья в таком волнении. — Стали выпускать, а они не идут. Все больше старики немощные. Мелкий этот говорит, что помещение нужно для раненых бойцов революции, а начальник отделения — Зудов, приват-доцент, тоже кремень, — уперся и отвечает: выгонять больных на улицу не дам! Тот — ах так! Тогда я к комиссару, еще куда-то... ногами затопал и убежал. Так и нет его до сих пор.

— То есть все по-прежнему?

— Да по-прежнему, Ять, успокойтесь. Что вы так за сумасшедших-то переживаете? Или сюжет понравился?

— Сюжет, — с облегчением повторил Ять, — сюжет...

6

Не было человека, которому Ять рассказал бы правду о своем сюжете, потому что в психиатрическом отделении Лазаревской больницы вот уже восемь лет находилась его мать, безнадежная пациентка приват-доцента Зудова, — а это факт не из тех, в которых признаются. Он потому и не скопил сколько-нибудь значительных средств, что львиная доля всех его заработков уходила на содержание матери на полном пансионе: забрать ее домой и обеспечить уход он не мог, она нуждалась в круглосуточном присмотре и давно никого не узнавала. Он был единственным, кто еще мог вызвать у нее подобие осмысленной эмоции — но при виде его она всегда только плакала, словно знала нечто, о чем не догадывались прочие, и в первую очередь он сам.

...Болезнь ее была странного свойства — как объяснило седоусое немецкое светило, во время краткой гастрольной освидетельствовавшее русских больных с новейшей европейской точки зрения, что-то случилось с височными долями, отвечающими будто бы за чувство времени. Для матери Ятья не существовало ни завтра, ни вчера. Каждый день она начисто забывала все, что делалось накануне. Ятью в ее воображении всегда было двадцать пять, он работал еще в «Глашатае», отец по обыкновению был в конторе, сама же она изо дня в день пе-

реводила один и тот же немецкий отрывок, который Ять выучил наизусть. Он не жил дома с двадцати, с тех самых пор, как начал зарабатывать достаточно, чтобы снять квартиру; неладное заметила прислуга. Ять долго не мог смириться с тем, что безумие бесповоротно. В душе он и теперь верил, что мать не безумна — нужно лишь столкнуть ее с точки, на которой застряло сознание; однако прошло десять лет, и ни война, ни революция, ни убийство Кошкарева и Шергина в соседнем корпусе, ни отсутствие электричества ничего не изменило в ее положении. Он был убежден, что и на руинах Лазаревской больницы — если бы, упаси Господь, ее разрушили погромщики — она встретила бы его расспросами о «Глаштатае» и сетованиями на то, что отец работает слишком много; в этом безумии был героизм, высшее презрение к условиям быта — и в этом смысле он был истинным ее сыном.

Теперь он быстро шел к Лазаревской, не встречая по пути ни одного извозчика; нес банку французского яблочного повидла, которую Клингенмайер, не слушая возражений, вытаскивал из запасов и всучил ему. Охрану, выставленную у ворот больницы после убийства Кошкарева и Шергина, сняли неделю спустя: проход на территорию был снова свободен. В парке, пошатываясь от слабости, бродило несколько больных в линялых коричневых халатах; флигель душевнобольных — в глубине парка, темно-бурый, под восьмым номером, — хорошо был виден: обычно его скрывала листва. Старенькая сиделка Анна Ильинична укоризненно покачала головой — Ятя давно не было.

— Спрашивала? — ответ, впрочем, был ему известен.

Сиделка покачала головой.

— Вы придете — оне и рады, — уныло сказала она, — а уйдете — и помину нет...

Он пошел по желто-коричневому коридору; навстречу страшно исхудавший, давно ему знакомый посетитель — они встречались иногда — вел все такую же огромную, разбухшую жену. Сумасшедших ничто не брало. Водянистая толстуха подняла на Ятя такие же водянистые, бесцветные глаза и проскрипела обычное «Вашей светлости кадетской матра-

фанский матраfet» — смысла этого приветствия не понимал никто. Муж, как всегда, неприятно ослабился.

Плата за отдельную палату была, по счастью, внесена еще в декабре; Ять помедлил на пороге, потом решительно, без стука, вошел.

Мать сидела к нему спиной, за столом, прилежно водя пером; чернильницы на столе не было, и пера она не обмакивала. Ять молча смотрел на ее худую спину и совершенно седые короткие волосы — она всегда стриглась коротко и так же требовала стричь ее в Лазаревской. Она не слышала, как он вошел, и он не сразу решился подать голос.

— Мама, — позвал он наконец.

Она обернулась.

— О! Погоди, милый, секундочку. Я доканчиваю. Завтра, ты знаешь, срок, а у меня шесть страниц: еще. Присядь, сейчас будем обедать.

Это был ее голос, ее интонация, так она всякий раз встречала его, еще когда не превратилась в машину, — и то, как ясно и радостно звучала ее речь, было для него неоспоримым свидетельством того, что мать прежняя, что рассудок ее цел, только помрачен.

Он знал все, что будет: мать дернет звонок, войдет сестра милосердия, внесет миску картофеля с ломтем хлеба, пойдут расспросы — все в одних и тех же словах; так было сначала в их доме, потом в Лазаревской, еще respectable и мирной; потом в той же Лазаревской, битком набитой ранеными, — к душевнобольным, впрочем, жертвы войны почти не попадали. Угодил туда с фронта только один офицер, которому взбрело в голову, что если целью войны является взаимное истребление, то покончить с войной можно быстрее, истребив своих; он убил пару своих солдат, но застрелиться не успел. Вскоре он впал в слабоумие и был перевезен в интернат для буйных.

В середине ритуала (он открыл повидло, она попробовала, похвалила, но, кажется, не почувствовала вкуса) и случилось то, чего он так ждал десять лет: между вопросом о том, что он намерен делать летом, и разговором о том, что жениться ему еще рано, мать вдруг прижала палец к губам, глазами показав

ла на стены и, сложив пальцы щепотью, изобразила, что хочет что-то написать; он обшарил стол — чернильницы нигде не было, только в кармане пиджака был огрызок карандаша, подбранный недавно на улице: вдруг стодится. Стодился. Он сунул ей тетрадный листок, на котором она только что незримо чернилами записывала воображаемый перевод.

— Италия, конечно, хорошо, но мне лучше, чем в Карташевке, нигде не бывало, — проговорила она, словно в расчете на шпиона, притаившегося за дверью, — сама же вывела на листе кривыми быстрыми буквами: «В городе нехорошо».

Ять кинулся к ней, схватил за руку — но она, гневно нахмурившись, вырвала руку и властным движением вернула его на место. Для кого-то они должны были и дальше разыгрывать свой спектакль.

«Сиди», — прочел он.

— А все-таки за границей чувствуешь жизнь, — подал он свою реплику. — Здесь — словно и не уезжал никуда..

Она кивнула; тут, перед переходом на женитьбу, была пауза, и мать с лихорадочной быстротой написала: «Повторяй все».

Он посмотрел на нее вопросительно.

«Каждый день повторяй все, ничего не меняя», — написала она. Буквы были крупные, листок закончился.

— Это глупости, мама, — засмеялся он. Надо было любой ценой разговорить ее: она впервые за десять лет вырвалась из замкнутого круга повторений. Если вышибить ее из колеи безумия можно было только ценой революции — пусть будет революция. Теперь он по крайней мере мог проникнуть в причины ее помешательства, а значит, найти и выход.

— Глупости не глупости, а отец твой сделал мне предложение, только получив место, — говоря это, она не переставала писать на другой стороне листа, прорывая бумагу. «Если повторять, можно удержаться», — прочел он.

— Я давно обеспечил себя.

«Ежедн.», — написала она.

— Ну, посиди еще, а я допишу, — сказала она наконец, и в это время он обычно уходил, но теперь уйти просто так

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

было немислимо. Он подошел к матери, умоляюще заглянул ей в глаза и стиснул руку.

— Витечка, Витечка, — повторила она вдруг почти беззвучно и, обхватив его голову, заплакала. Больше он не добился ни одного осмысленного слова, — она сидела на своем стуле, уронив руки, и тупо смотрела на дверь.

— Но ведь я не Виктор, вы-то знаете, — больше всего боюсь сорваться, повторял он Зудову.

— Конечно, нет, — спокойно кивал тот.

— Тогда что же это такое?

— Это довольно редкий случай, — Зудов уже накапал ему успокоительных капель, предложил чаю, утешил как мог, — но Ять все не желал смиряться, что никакого прорыва нет. — Я давно догадывался, а в прошлом году это стало очевидно.

— Как вы могли не сказать мне?

— Видите ли, вы могли изменить свое поведение... это встревожило бы ее... Я знал, что рано или поздно она вам скажет. В этом безумии своя логика: если каждый день делать все одно и то же — можно удержать мир в неизменном положении. Видимо, она что-то чувствует... догадывается... может быть, слышит наши разговоры... И сами подумайте: когда столько раненых в парке...

— Но ведь это началось десять лет назад!

— Значит, десять лет назад ей по каким-то причинам показалось, что скоро все рухнет.

— А почему она сказала мне только сейчас?

— С этим сложнее. Может быть, устала хранить тайну. А еще вероятнее, что-то заметила в вас... и позвольте вам заметить, вы в самом деле переменились. Вид истощенный, явное малокровие.

— Наверное, я тоже схожу с ума, — кивнул Ять. — И она чувствует — ведь я не чужой ей.

— Это вряд ли. Мне она тоже намекала... впрочем, врач для душевнобольного — почти родственник. Хотела предупредить...

— Но, значит, все это время в ней идет напряженная душевная жизнь! Значит, она доступна убеждению... контакту... понимает свое положение, что всего ужаснее...

Зудов покачал головой.

— Жизнь — идег... но ведь и лошадь ходит по кругу. Это замкнутый круг, без выхода. И движется она по нему в самом деле очень интенсивно — но тем меньше шансов, что кто-то будет услышан. Не беспокойтесь, при малейших признаках беспокойства я назначу новое лечение — может быть, снотворное, может, душ...

— Больницу не закрывают?

— Пока нет. Ходят слухи, что переформируют... но больных в любом случае не выкинут на улицу. Это ведь совсем с ума сойти надо. — Как все психиатры со стажем, Зудов относился к безумию в высшей степени иронично и понимал, что каждый давно рехнулся по-своему.

Он не успел договорить, как в кабинет его ворвался маленький небритый человечек с воспаленными глазами. Ять узнал его тут же.

— Не смеете, доктор! — кричал он, издевательски подчеркивая слово «доктор». — Не выйдет! Вы можете так и этак, но против мандата вы никаким макаром не можете! Революция — это не тити-мити! Революция имеет себя полагать через раскрепощение всех, всего! Вы не можете больше держать за ужасными дверями того, кто имеет проекты! Я пришел с одним полномочием, а приду с двумя полномочиями!

— Этот вот, — спокойно продолжал Зудов, не обращая внимания на вопящего гостя, — давний пациент Семеновской больницы, доктор Калинин публиковал в «Психиатрическом вестнике» лет пять назад его проект переустройства городской архитектуры. Пишет примерно по проекту в месяц. Теперь у него идея — освобождение душевнобольных. Достал где-то мандат, подделал подпись кого-то из комиссаров, является каждый день...

Красноглазый оратор затих и не прерывал журчания зудовской речи. Долгой тренировкой Зудов выработал особый стиль разговора с душевнобольными — они не противоречили ему и гипнотически слушали, после чего часто засыпали, обессиленные.

— Не так, доктор! — попробовал возразить красноглазый, но уже без прежней язвительности. — Вы говорите «ду-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

шевнобольной» — но мы говорим «иначе мыслящий»! Мыслящий, но иначе! Иначе мыслящие есть совесть того зажавшегося жиром общества, какое поглощает себя самое через отказ выслушать свою совесть...

— Спать! — рывкнул Зудов, и небритый гость, обмякнув, сполз по стене.

— Не беспокойтесь, — с улыбкой сказал Зудов. — Его накормят и отпустят — брать новых больных я не могу.

— Можно мне глянуть его мандат? — спросил Ять.

— Да, конечно. Он носит его в нагрудном кармане.

Ять брезгливо сунул два пальца в карман мятого серого пиджака, в котором по-прежнему разгуливал упразднитель зимы. Он развернул мятую бумажку. Подпись Чарнолуцкого была подлинная — Ять хорошо ее знал, да, признаться, и не сомневался. Чарнолуцкий всегда ценил революционное творчество масс.

Бредя к Клингенмайеру по солнечной, мокрой улице, замечая и детей, гоняющих обручи, и голубей, и глубокую небесную синь — все, чего не видел прежде, — он чувствовал неслезанное облегчение, объяснить которое и сам не взялся бы. Никаких утешений он не получил. Но мать по-прежнему встречала его расспросами, мать ждала, мать существовала — существованием своим защищая его от окончательного одиночества, стоя между ним и смертью последней преградой.

7

Ночью прошел дождь, первый настоящий ливень в этом году; струи его звонко барабанили по окну, слышался плеск водостока, дважды пронесся Бог весть откуда взявшийся автомобиль, в тревожном свете фар мелькнули мокрые деревья и сверкнули зигзаги капель на стекле. Дождь знаменовал начало недолгого расцвета северной весны: мир был заново сотворен, омыт и запущен на новый круг. Ять просыпался трижды — а за окном все плескалось, лилось и шурило; в приоткрытую форточку

проникал свежий запах, скорее дачный, чем городской, — так пахнут только первые дожди. После этой ночи, похожей на ночь творения — бурной, вешней, зеленой, — настало утро, скучное, как всякое разочарование: новый мир за окном был совсем, совсем прежний. Ять долго стоял у окна в халате, медля одеваться, весь во власти апатии и тоскливого нежелания шевелиться, — и отворачивание к себе вползало в его ум.

Теперь, когда не было работы, главного из самогипнозов, придуманных человечеством, — пусть даже работы, нужной ему одному, — бессмысленность собственного существования была Ятю очевидна. Он понимал и то, что разговоры о смысле жизни бессмысленней всякой жизни, ибо для задачи рецептов и расстановки оценок следовало подняться над человеком — а это не в человеческих силах. Он ненавидел всех, кто присваивает себе право судить, и первый отвернулся бы от того, кто посмел бы назвать его жизнь пустой, — но сам-то он имел право сказать себе, что не воспитал сына, не вырастил дерева, не выстроил дома (и слава Богу — такой дом наверняка не простоял бы и получаса), не накормил голодных и не утешил страждущих. Жизнь протекла в никуда.

Ять читал о чем-то подобном — это называлось кризисом середины жизни, — но так привык отличаться от остальных, что никогда не применял к себе общих правил. Ему иногда казалось, что он и физически устроен совершенно иначе: придет час — вскрыют и отшатнутся. Тем не менее это был типичный кризис середины — осознание несомненной, возрастающей трудности процесса и ничтожности практического результата; он давно привык смотреть на себя нелюбящим взглядом, и зрелище, открывшееся ему серым апрельским утром, было непривлекательно.

Этот первый приступ самоосуждения был так силен, что пять минут спустя Ять уже пожалел себя. А кому же и жалеть меня, как не мне? Господи, если бы я встретил такого человека, как я, — как я любил бы этого человека! До чего я дошел к тридцати пяти годам? Не сегодня-завтра придется забирать к себе мать — куда я ее заберу? Сделался

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

безработным приживалом, который за пищу и кров расплачивается альмекской дудкой; серьезный прогресс, нечего сказать. Проскользил по жизни, как бледный бес из запоминалки: редькой с хреном пообедал — хрен оказался редьки не слаще; ничем не насытился и не прельстился. Даже и родине, вовсе мне не безразличной, толку от меня с гулькин нос.

Впрочем, родина давно уже была где-то отдельно. По другой стороне Зелениной тащился одноногий инвалид на костылях, рожа у него была красная и помятая (вообще, ужас, с какими рожами ходят теперь по городу); мимо окна проскакала на одной ножке белобрисенькая девочка с крысьим рыльцем, радостно передразнивая инвалида, — девочки тоже стали такие, что Господь не приведи; никого пожалеть не получалось.

Неужели он один оказался не нужен? — помилуйте, да ведь и елагинцы с крестовцами ровно в том же положении, даром что первые «против», а вторые «за». Одних подкармливает государство — других содержат спекулянты, но сами по себе ни те ни другие никому не нужны, как и предмет их изысканий — русский язык, дошедший ныне до уровня глужкой плешти. Почему я до сих пор не с ними, хотя пайком своим и крышей над головой они обязаны в конечном счете именно мне — да, да, не будем прятаться хоть от одного убогого благодетеля, к которому я подтолкнул растерянную власть. Какой ложный стыд мешал мне сунуться туда с самого начала? Казарин небось не постыдился — правда, он теперь и заплатил за это, ну так и я заплачу сколько потребуется...

Он отошел от окна и принялся быстро одеваться, собирать постель и скатывать тощий матрас. Клингенмайера еще не было — ладно, зайдем позже, попросимся. Ять вышел и, чувствуя во всем теле необычайную легкость, происходившую частью от голода, а частью от принятого наконец решения, направился к островам. Куда идти — он знал с самого начала: как ни хорош Хмелев, а быть в одном лагере с Казариным Ять не жаждал. Надо было попробовать пожить с крестовцами, они звали. Кубов, конечно, рисовать не стану, на демонстрации я смолоду не ходок, но почему не очеловечить новую власть, коли есть надежда?

Больше всех обрадовался Краминов. Впрочем, приветливо улыбался и Барцев; Корабельников сдержанно предложил занять комнату Льговского, месяц назад освободившуюся, и начались три веселых дня Ять в Крестовской коммуне, она же ЕПБХ.

Да, это были веселые дни, и вспоминал он их всегда с удовольствием — особенно по контрасту с последующим пребыванием у елагинцев, ничем не занятых, а все чего-то ждущих. В Елагинской коммуне филологи давно забыли о том, что они филологи, и жили единственно надеждой на то, что государство их раздавит, — в Крестовской кипела жизнь, и за три дня Ять успел чрезвычайно много.

Он выслушал специально для него разыгранные фрагменты корабельниковской мистерии, посетил занятия эквиризмическим танцем (среди учениц Марьям-нагой были прехорошенькие), высидел, хоть и не без труда, вечер Мельникова — не дочитавшего до конца ни одного из своих бесконечных путевых стихотворений, своеобразных и однообразных, как степь; поел энергичной пищи нового типа, которую юный химик Дранкин изготовлял из березовой коры, уверяя, что именно так будут питаться в будущем, — была у Дранкина целая теория насчет того, что полезна только растительная еда, причем предпочтительна весенняя: ростки, почки, содержащие в себе небывалый заряд витальности. Ять поприсутствовал на докладе Краминова о кризисе филологии и о новом подходе к анализу текстов; метод был статистический, в духе Льговского, но забавный, и многое искупалось страстностью изложения. Он понаблюдал за работой над «Окнами» и лично раскрасил по трафарету нескольких немцев и буржуев — по распоряжению Корабельникова их всегда делали буро-зелеными. Ему чрезвычайно понравился доклад экономиста Манцева «Долой деньги», в котором как дважды два доказывалось, что деньги будут совершенно уничтожены во всероссийском масштабе через два года, а в мировом — не позже как в 1929 году. Ять с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться во время доклада, и отхохотался в кулуарах. Почему-то, кроме него, смеялся один Митурин — вообще симпатичный

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

художник, хоть и несколько угрюмый с виду; у него и буржуи на плакатах выходили обаятельными.

Познакомился Ять и с пресловутой парочкой — Драйберг и Камышин оказались вовсе не так отвратительны, как предупреждали крестовцы. Это были тихие и почти безобидные шпионы, не обратившие на Ятя никакого внимания — на лбу у него, что ли, написано, что он не способен ни к каким решительным действиям? Естественно, они слушали все доклады и, почти не стесняясь, делали пометки в своих одинаковых черных грессбухах; естественно, регулярно навевывались в Смольный и возвращались оттуда с папиросами, а один раз на извозчике привезли три ящика французских рыбных консервов — вероятно, с какого-то реквизируемого склада. Рыбу ели все, кроме Корабельникова, — тот отказался, угрюмо буркнув, что нынче не до разносолов. Корабельников, кстати, сильно сдал: он похудел, под глазами залегли тени, и сходство его то ли с безжалостным коммунистическим демоном, то ли с падшим буржуазным ангелом все усиливалось. Тут был свой парадокс — конструкционист, враг всяческого декаданса, бредящий электрической машиной и прагматической организацией труда, он с каждым днем обретал все более декадентские черты и, кажется, даже понюхивал кокаин — ничем иным его круглосуточную лихорадочную деятельность было не объяснить. Спал он, кажется, два часа в сутки — возле печки, сунув под голову бревно, все в той же мастерской, где рисовал плакаты. Иногда у него случались вечера, на которые сбегались, увы, не матросы, которых он желал бы видеть в зале, а те самые курсистки, которых он презирал и которые составляли аудиторию всех его былых соперников. Черта ли было ему в курсистках? Он нарочно читал им самое страшное, то, что перло из него иногда бессонными ночами, — как он сделал бы чашу из черепа возлюбленной или дудку из ее позвоночника. Бесперывное, хоть и не осознаваемое насилие над собой аукалось наконец в стихах сущей вакханалией садизма — и эти-то стихи были едва ли не лучшими из всего, что он написал. Утопии выходили хуже — Ять выслушал главу из поэмы о будущем, в которой все питались молоком, выдоенным из облаков, а жи-

лица сверкали, как операционные, — в стихах тоже что-то было операционное, клацающее; есть поэты, рожденные писать об одном страдании, о непрерывном насилии — и Корабельников был из их числа: радость в его стихах была такая, словно героя долго воспитывали коваными сапогами: радуйся, радуйся!

Ять, быть может, и дольше прожил бы этой веселой жизнью, не слишком сытой, но насыщенной. У него завелся даже легкий, не лишенный перспективы роман с прелестной носатой армянкой Маркарян, влюблявшейся во всех по очереди, и они даже прогуляли полночи вокруг прилукинской дачи, — но все это время он ни на секунду не переставал про себя посмеиваться, отлично понимая, что лучше уж приживальство и тотальное неучастие, нежели осмысленное, серьезное пребывание в рядах Крестовской коммуны. Крестовская была заведением невыносимо комичным; и она несомненно представляла бы опасность, если бы не ребяческая наивность всего, что в ней происходило.

Сюда стеклись, сползлись, сбежались все непризнанные авангардисты Петрограда, здесь излагались безумные проекты и разрабатывался небывалый государственный строй, здесь резвилась молодежь, абсолютно не понимающая природы русского политического переворота, уверенная только в том, что Россия помолодела, — тогда как она на глазах впадала в детство. Крестовцам будущее рисовалось в виде технократической утопии, близкой к проекту об упразднении зимы: освободившись от гнета любых социальных отношений, человек начинал летать, материализовать еду силою взгляда и выключать солнце во время засухи. В этом будущем место было только тому исключительно трудоспособному альтруисту, у которого личных запросов не могло быть по определению; можно догадаться, почему такая жизнь сделалась оптимальна для Корабельникова, отвергнутого любовника, в ответ отвергнувшего быт, — но трудно было вообразить хотя бы троих подобных мучеников, ангелов или демонов, способных радостно влиться в царство лучистой абстракции, которое так убедительно рисовал лучист Илларионов.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Однако Ять выдержал бы и это — не ввалился на четвертое утро Краминов и не сообщил задыхающимся фальцетом, что «эти идиоты взяли Ловецкого».

В столовой на первом этаже сидело всего человек шесть — обитатели прилукинской дачи по-прежнему предпочитали есть в своих комнатах. Корабельников и Соломин, впрочем, каждое утро спускались вниз и трапезничали вместе — молча, ибо говорить им давно было не о чем. Поп временно отбыл в поездку по окрестностям Петрограда, и Ять так и не успел насладиться его беседой. С Соломиным Ять едва кланялся. Кроме них, пшениную кашу, называемую в коммуне «кирзовой», поглощали иссохший, прозрачный от слабости Фельдман, молчаливый Теремных и крестьянский поэт Конкин, тип отчаянно неприятный, неряшливый и все время улыбающийся щербатой улыбкой отъявленной шельмы.

— Ловецкого? — шелестящим шепотом переспросил Фельдман.

Ловецкого Ять хорошо помнил — именно он устроил когда-то — Бог весть, всерьез или шутки ради — безобидную провокацию с историей чихачевской мануфактуры; о чтении его рукописи Ять и теперь вспоминал с усмешкой.

— Как? Когда? — вскинулся он.

— Сегодня ночью.. Господи! Что они творят! Нельзя же с таким тупым упорством рубить единственный сук, на котором держишься.. Идиоты, несчастные идиоты! Нашли с кого начинать..

— Их давно пора разгонять, — отчетливо сказал Корабельников.

— Оставь, пожалуйста! — отмахнулся Краминов. — Тысячу раз обо всем этом переговорено..

— Дураку тысячу раз скажи — все мало.

— Если их разогнать — для чего мы?

— А ты ради них тут сидишь? — с интересом посмотрел на него Корабельников. — Забавно..

— Наше дело спорить, мы для этого созданы, — не обращая внимания на его ехидство, продолжал Краминов. Он так и стоял в дверях столовой, опираясь о косяк, в негодовании трясая головой и заводя глаза. — Человек культуры может и должен спорить с другим человеком культуры; но когда в их полемику ввязывается обезьяна..

Да он умный, изумился Ять. Он дело говорит.

— Мы до того доспоримся, что немцы возьмут город, и твои дорогие оппоненты понесут им на блюде список революционеров, — мрачно предсказал Корабельников. — И те, которые больше всех миндальничают, будут там первыми.

— Лучше мне быть в этом списке, чем в списке расстрельной команды... Ах, и что сейчас спорить об этом?! Сейчас надо спорить о том, как достать его оттуда. Пойми, ведь если их действительно разгонят — значит, нам тоже надо немедленно расходиться...

— Лично я куда расходиться не намерен, — буркнул Корабельников. — А ты можешь проваливать на все четыре стороны, следом за господином Льговским, который так любит чистоту...

— Ты тут один останешься, Саша.

— Я и до этого был один, и ничего, не умер.

— Нет, погодите, — желая предотвратить еще один раскол, влез Ять. — Погодите друг друга гонять, давайте сначала разберемся... За что его взяли? Он же из самых безобидных... Это может быть и ошибкой, в конце концов...

— Никакой ошибки, его вызвали на Гороховую. Он оттуда протелефонил в «Путь», чтобы не ждали, — у него там встреча была. Хорошо хоть разрешили сделать звонок.

— Ты-то откуда знаешь? — ехидно поинтересовался Корабельников. — Тоже, что ли, в «Путь» бегаешь?

— А что, я уже должен тебе отчитываться?

— Да нет, на здоровье. Может, ты и в Елагин похаживаешь за мармеладом?

Краминов сморщился, как от зубной боли, и вышел. Соломин продолжал невозмутимо уплетать пшенку.

— А вы действительно хотели бы разгона елагинцев? — спросил его Ять.

— Государство обязано уничтожать своих врагов, если не хочет, чтобы они его уничтожили, — пожал плечами красный барин.

— Так-таки уничтожать?

— Во всяком случае, не опускаться до полемики. Если люди явно хотят, чтобы их арестовали, — почему государство должно отказывать им в такой невинной просьбе? Русская интеллигенция обязана избавляться от остатков террористи-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ческого сознания, — он царственным жестом отодвинул тарелку. — Это роковое заблуждение — что нельзя быть солидарным с властью. Если власть истребляет чуму, я, естественно, буду на ее стороне.

— А когда она задумает истребить вас, кто будет на вашей?

— Если я начну мешать России, дай Бог, чтобы у нее хватило духу расправиться со мной.

— Хватит, непременно хватит! — заверил его Ять. — Тем более что с точки зрения государства вы такой же микроб — только не чумы, а, скажем, холеры.

— Это ваше мнение, — ледяным тоном подчеркнув «ваше», Соломин прекратил спор. — Но позвольте вам заметить, что мы тут дело делаем, а потому споры неуместны. Если уж вы пришли в чужой монастырь, надо соблюдать его устав, а не обсуждать нравственность монахов... :

— Николай Константинович, пожалуйста, не нужно таких аналогий! — тихо предупредил Фельдман. — Этот господин — давний член нашего Общества, и у него ничуть не меньше прав пребывать в нашем монастыре, нежели у вас. Не нужно все время подчеркивать, что вы занимаетесь делом... Я вот не занимаюсь никаким делом, кроме изучения новых слов в русском языке, однако вы не указываете мне на дверь...

— Вы тут с самого начала, — отрезал Соломин. — Вы были у истоков раскола. Ваш выбор был трудней. Очень легко сейчас сюда прийти, когда ясно, на чьей стороне сила. Но в январе это было вовсе не так очевидно, и тогда к нам примазываться отнюдь не спешили...

— Не беспокойтесь, господин Соломин, я уйду немедленно, — поднялся Ять. — У меня нет ни малейшей охоты примазываться к вашему победившему делу...

— Сидите! — рявкнул Корабельников. — А вы, Николай Константинович, не берите на себя слишком много...

Соломин воззрился на него в крайнем изумлении.

— Но вы сами только что чуть не выгнали Краминова!

— Краминов — мой друг, и я имею право с ним говорить, как хочу. Ять пришел как гость, он с нами недавно, у него есть право заблуждаться... тем более что мыслит он в правильном направлении...

— Должен вас разочаровать, Александр Александрович, — покачал головой Ять, — я мыслю без всякого направления, и это совсем неправильно, по-вашему говоря. Я все равно ушел бы — не сегодня, так завтра. Решительно не могу оставаться ни в одном клане дольше трех дней — и знаете, чем дольше я с вами живу, тем больше разуверяюсь в вашем деле. Спасибо, конечно, за приют, но классовая теория, кажется, отчасти верна. Мне надлежит сейчас быть с моим классом... и уж по крайней мере с теми, кого сейчас арестовывают.

— Это в чем же вы успели так разочароваться? — с неприкрытой злобой спросил Корабельников, вставая. Видимо, после бегства Льговского и выдворения Лотейкина приход Ятя был в его глазах хоть и небольшим, а все-таки козырем: всякий новый боец был в цене.

— Извольте, я объясню. Потерпите, потерпите, господин Соломин. — Ять видел, что аристократ разозлился всерьез. — Нельзя же, в самом деле, вот так уйти, не отблагодарив за гостеприимство. Вы все по-своему превосходные люди, и утопия ваша — тоже по-своему — чрезвычайно привлекательна. Но рассчитана она, к сожалению, на тех прекрасных особей, которых не бывает. Вам нужен новый человек...

— Мы создадим нового человека!

— Не трудитесь, Господь уже поработал. Никакого другого человека нет и быть не может, массовая переплавка рода человеческого — задача неблагодарная. Строй, который вам мечтается, исходит из идеального представления о человечестве, — но тем яростней придется вам истребить всех, кто этому представлению не соответствует, и закончится такое истребление тем, что вы в самом деле останетесь в одиночестве. Зато для всякого рода подонков ваш строй открывает широчайшие перспективы, — я, разумеется, не имею в виду никого лично, хотя, если кто-то примет оскорбление на свой счет...

Соломин грозно засопел. Корабельников жестом остановил его.

— Продолжайте, интересно.

— Так вот, как всякий строй, исходящий из идеальных представлений, он будет удобен прежде всего мерзавцам, —

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ять со вкусом выделил последнее слово. — На Елагином острове в человека не верят — и потому хотят его закрепостить до полной животности; у вас в человека слишком верят — и потому хотят раскрепостить до полного зверства. Всех, кто не соответствует вашему идеалу, всех, кто воспользуется свободой для нерегламентированного творчества и бесконтрольного воровства, вы обречены выжигать каленым железом — идеалисты всегда так кончают. Никакие запретители не перерезали столько народу, сколько честные идеалисты из святой инквизиции. Вы отлично знаете, что пролетарий воспользуется свободой никак не для того, чтобы доить облака. Трех дней довольно, чтобы понять, чем вы кончите; разумеется, в основе своей все это очень благородно... но я привык думать о людях чуть хуже, чем они есть, — чтобы при столкновении с ними быть чуть милосерднее. Я ответил на ваш вопрос?

— Ответили, — закуривая папиросу, глухо пророкотал Корабельников. — С вами все ясно, господин Ять. Пусть, значит, свинья лежит в своем болоте — так? Пусть человек останется ходячей фабрикой нечистот — так? Ваша бы воля — обезьяна никогда бы с дерева не слезла... Жаль, очень жаль, господин Ять, — закончил он грозно. — У меня были основания думать о вас получше...

— А уж мне-то как жаль, — признался Ять. — Мне в самом деле было у вас прекрасно. Мне страшно за вас будет, когда вы все поймете сами. Это может обернуться серьезным кризисом — приходите ко мне тогда, я, кажется, специалист по чужим кризисам, поскольку не вылезая из собственного...

— Это не кризис, Ять, — услышал он знакомый басок. В дверях стоял Борисов. — Все правильно. Прости, Саша. Я тоже больше не могу.

— Ты?! — опешил Корабельников. — Ты?! Но ведь с тебя все и заварилось...

— Кто же знал, что так кончится. Знать бы, где упадешь, — соломки бы подстелить.

— И куда ты теперь? К Льговскому?

— Зачем же к Льговскому, — удивился Борисов. — Я к товарищу Чернолускому. Надо бы прежде всего узнать, за что Ловецкий сел. А потом... потом к себе — квартира, Бог даст, целая.

Ять посмотрел на Борисова с немой благодарностью — он отвык от того, что с ним были согласны.

Так начался третий, предпоследний этап в истории Елагинской коммуны, который в ее истории, будь она когда-либо написана, получил бы название миграционного. Он ознаменовался переходами с одного острова на другой небольшой колеблющейся группы, которую возглавлял Борисов. В свое время один из пионеров русской, а впоследствии и нерусской социологии предлагал для прекращения полемики об оптимальном русском пути разделить любезное Отечество по линии Уральского хребта — на условный Восток и условный Запад, расселив по обе его стороны столь же условных славянофилов и западников. От серьезного рассмотрения этого проекта, который позволил бы определить истинную природу России и выбрать для нее идеальное будущее, его остановило только одно соображение: основным занятием всего населения России при таком положении дел немедленно станет кочевье из Сибири в Европу и обратно. С 25 апреля 1918 года бывшая Елагинская коммуна в буквальном смысле заходила ходуном, совершая в иной день по два бесповоротных перехода на сторону противника.

8

— И все-таки, — упрямо повторил Ять, — вы делаете мертвое дело, Николай Алексеевич, и это мешает мне взять вашу сторону, при всей нашей общественной и, смею думать, человеческой близости.

— Ну так зачем вы здесь? Милости прошу! — в последнее время Хмелев вскипал мгновенно.

— Мы не должны утрачивать способности к диалогу, в конце концов! — вступил наконец Борисов. — Ведь это черт знает что, простите меня! Не вы ли, Николай Алексеевич, сами всю жизнь предостерегали нас от сектантства в науке! Ведь от нашего противостояния не выигрывает никто, а силы тратятся на позорную, на мелочную борьбу...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Вам она кажется позорной и мелочной, потому что вам где-то в светлых далях рисуется всеобщее единение, — прервал его Алексеев. — А мне в этом вашем будущем нет места, да и вам нет, только вы себя наловчились утешать...

— Кстати, Ять, — заметил Долгушов. — Вы вроде и дело говорите — что можно иногда через себя переступить... будущему послужить... Я, знаете, печальную вещь заметил: кто через себя переступит, для того уж другие — пустой звук! Через себя! — важно повторил он. — Ведь для человека, почитай, ничего страшней нет. Самоубийство — грех хуже убийства: не на чужого посягнул — на родного, можно сказать! Думаете, что сейчас через себя переступите, а потом ведь так и начнете по головам шагать...

— Это все умственные игры, — покачал головой Ять. — Видите ли, я по всем критериям должен быть с вами... хотя бы потому, что вы гонимы... но не могу, не могу — потому что мешает мне это проклятое интеллигентское комильфо! Быть любой ценой против власти, ненавидеть власть, подкусывать власть...

— Да ежели власть бандитская! — воскликнул Стежкин.

— Тут, положим, не так все просто. Видите ли, есть страшный соблазн, главное обольщение — которое уж вам-то ведомо: я говорю о соблазне лояльности. Она в России всегда — именно соблазн, с тех самых пор, как интеллигенция себе присвоила полномочия совести. Но надо ведь понять, что без единства мы никогда не выберемся из ямы...

Этот спор уже третий час тянулся в красной гостиной, где возвращенцы пили чай с сухарями и тщетно внушали елагинцам мысль о единении. Извольского, по счастью, не было — убежал по своим темным ночным делам, — и твердокаменных елагинцев представляли Хмелев, Алексеев, Стежкин и Долгушов. Хотел зайти Казарин, но он был совсем плох в последнее время — или попросту видел безнадежность спора, — а потому обходились пока без него.

— Бывают обольщения, — продолжал Ять, — которые по крайней мере плодотворны. Если придется благословлять жертвоприношения, я первый в ужасе убегу...

— А сейчас вам не видно, что к чему идет?! — поинтересовался Алексеев.

— Ну, если туда идет — так, значит, другого пути и не было. В любом случае надо думать о том, на кого мы страну оставим, а не о том, комильфо нам или не комильфо сойти наконец с баррикад...

— Я, кажется, понимаю, что вы, Ять, хотите доказать. — Хмелев посмотрел на него остро и пристально, как медик перед решительным диагнозом. — Вы хотите сказать, что раз они победили, так других и не было. То есть все действительно разумно. И если нет у них альтернативы, так, значит, есть за ними и правда, — верно я говорю?

— В общем, верно, — задумчиво согласился Ять, привыкая к новой формулировке; всегда трудно узнать свои взгляды в чужом изложении. — Но что поделал, если ответственность за Россию в конечном счете взяли на себя именно они!

— За уничтожение России, хотите вы сказать, — вставил Стежкин.

— Уничтожения никакого я пока не вижу, вижу попытку выбраться из войны и начать наконец заново строить страну. Без некоторого ограничения свободы этого, боюсь, не получится. Мы слишком долго требовали себе свободы, только свободы... Помните кружок Сокольниковой? И вот за право Сокольниковой болтать, простите, либеральный вздор вся страна должна лежать в руинах, за которые, между прочим, ответственны никак не только большевики. Я догадываюсь, если угодно, вот о чем: Россия не может быть ничем иным, как империей. В этом мы, кажется, все согласны?

— Положим, — кивнул Хмелев.

Они, конечно, будут строить империю, — продолжал Ять, — к этому идет все. Сами они этого пока не понимают и говорят о свободе, но Корабельников, кажется, уже догадывается... и не очень возражает. А Соломин со своим попом давно поняли, куда все катится. Что же вас останавливает от сотрудничества с этой властью? Ведь и вам, Николай Алексеевич, либералы отвратительны, и вам, Владимир Александрович, — он кивнул Алексею, — это казалось еврейской привилегией — свободная печать и прочие глупости...

— Но газеты закрывать я сроду не призывал, — буркнул Алексеев.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Ну вот, а они закрывают. Так что если у вас и есть основания их ненавидеть — то разве за то, что они немного радикальнее... и осуществляют то, о чем монархисты не смели и мечтать.

— Именно! — вскочил Хмелев. — Тут-то я вас и поймал: именно! Мы и думать не смели о том, что примутся осуществлять они. Ибо не любой же ценой возрождать империю и не в любой же империи я согласен жить! Если для спасения России, какой она вам видится, нужен отказ от грамотного письма, — в этой хамской стране мне делать нечего!

— Но погодите, будет и грамотное письмо! — попытался урезонить его Ять. — Будет и новое усложнение, это же вещь стадийная...

— Вы на рожи, на рожи их посмотрите! — кипятился Хмелев. — Вы думаете, за ними может быть историческая правда? Да что это за представление об исторической правде: подошел к вам ночью бандит, вынул нож, а то и без ножа обобрал, просто потому, что он сильнее и моложе! Не было альтернативы бандиту, за бандитом историческая истина, он перераспределяет собственность, а потому поступает правильно... Что это за мерзкая готовность оправдывать всякое насилие над собой — предательская, я скажу, готовность! Вы же не одного себя предаете, Ять, вы ремесло, правду, грамоту свою предаете, по первому требованию соглашаясь упраздниться!

— Видите ли, — улыбнулся Ять, — я так давно понимаю, что меня не должно быть... Я живу с этой мыслью, как-то привык...

— Ну, а меня увольте от такого привыкания. Я — за Россию, за цельную и великую Россию, но не за Россию любой ценой. Лучше ей погибнуть, нежели выродиться.

— Пускай мир погибнет, а я буду прав, — кивнул Борисов.

— Ну, а вы-то, вы-то! — не выдержал Алексеев. — Вы на что надеетесь? Вы что, хотите их облагородить, очеловечить, вымыть? Научить манэ-эрам? Да ведь когда наводнение, то Неве неважно, друг милый, за нее вы или против нее... Она вам островка не оставит для проповедей и научных занятий. Когда наводнение, надо дамбу строить или лодку искать, а не думать, что в этом историческая справедливость...

— Если пять поколений разрушали дамбу, — улыбнулся Ять, — что ж ее строить заново? Может, имеет смысл построить новый город? Это в любом случае, знаете, осмысленней, чем кричать, что вода мокрая...

— Да неужели вы сами не понимаете, что это безнравственно, без-нрав-ствен-но! — взвился Долгушов. — Ни во что не верить, ни к кому не присоединиться... ходить оттуда сюда...

Вместе с Ятем неустанно мигрировала, словно сшивая острова, небольшая компания переселенцев, не находивших себе места ни на Елагином, ни на Крестовском. Переговоры, однако, ни к чему не вели, миграция становилась все бессмысленнее, а запас аргументов иссякал.

— Да оставьте вы, господа! — озлился Ять в полном соответствии с теорией Луазона, что борющиеся обязаны уравниваться. — Сколько можно с нравственной точки зрения интерпретировать то, что есть и не может быть иначе?! Нет правоты в истории, нет, это такое же холодное царство, как мир насекомых или минералов! Нет никакой правоты, а есть система предрассудков: орфография, родина... Либо о репутации заботиться, либо дело делать! Мне до репутации дела нет, просто в силу собственных моих предрассудков я перехожу к тем, кому хуже. Мне это диктует собственное чувство, которое я не рискнул бы назвать нравственным; это мои предрассудки — быть со слабейшими, но я не претендую на святость и не прилагаю моральных категорий к тому, что от них не зависит...

Они, как всегда, не доспорили — в красную гостиную тяжело ввалился Барцев.

— Прошу прощения, — запыхавшись, произнес он. — А у нас Краминова взяли. Сейчас матушка его пришла, рассказала. К ним с обыском пришли.

На миг повисла тишина: в силу русских интеллигентских традиций такие известия пока еще было принято встречать скорбным молчанием. Неожиданно Борисов расхохотался.

— Пошли! — выговорил он сквозь смех. — Пошли, Ять... обратно! Теперь наших берут!

9

В петроградской литературе, торговле, религии и власти долго еще на равных соседствовали приметы монархии, республики и диктатуры; газета «Известия» с марта вернула ять в свою шапку, ибо рабочие жаловались, что без ятя читать неудобно; арестовывали и выпускали без согласования и системы. Арест Ловецкого — нелепейший сам по себе, но логичный с точки зрения метафизической — был результатом сложного и хаотического взаимодействия нескольких петроградских властей. Эти власти были: Апфельбаум с его патрулями, непосредственно подчиненными ему как председателю Петросовета; Чарнолуский — без каких-либо рычагов, кроме личной харизмы; Бродский во главе ВЧК и Аренский во главе следственного комитета. К аресту Ловецкого привела следующая цепочка: товарищ Воронов из Москвы отослал отношение товарищу Аренскому о необходимости «разобраться» с газетой «Наш путь», направление которой, как загадочно формулировал Воронов, перешло всякие границы. Аренский взялся за дело рьяно, ибо в его задачи входило натворить во власти как можно больше зверств, чтобы тем спровоцировать наконец народное восстание. Он хотел уже вовсе прикрыть несчастный «Путь», посадив редактора, но редактор приходился двоюродным братом жене Апфельбаума, чем и объяснялась относительная свобода, которой газета продолжала пользоваться. Аренский решил тогда взять и как следует повымотать допросами ведущих публицистов издания, но для этого требовалась санкция Чарнолуского. Чарнолуский горой встал за ведущих публицистов, но у него, как мы уже заметили, был личный план относительно Елагинской коммуны — он думал, что вполне достаточно будет арестовать одного ее обитателя, чтобы надолго перепугать всех остальных; ища пересечения в списке сотрудников «Пути» и перечне обитателей коммуны, он обнаружил Ловецкого, человека совершенно безобидного, — и Аренский со скрежетом зубным вынужден был Ловецкого взять, удовольствовавшись этой вполне невинной мерой, о которой тут же было доложено в Москву.

Ни Аренский, ни Чарнолуцкий понятия не имели о том, что Ловецкий не только скромный фельетонист, пишущий под собственным именем, но и главный публицист газеты «Наш путь», укрывшийся под псевдонимом Арбузьев; что публицист этот в действительности придерживается самого пробольшевистского направления; что между ним и его вечным оппонентом Гувером давно уже был заключен договор о ведении как можно более радикальной полемики, пусть даже против собственных убеждений, — дабы сохранить в обществе терпимость к противоположным мнениям; и что, наконец, в результате елагинского раскола так называемый Гувер вслед за друзьями отселился на Крестовский остров, ибо был молод. Главная пикантность ситуации, доставлявшей Арбузьеву и Гуверу немало приятных минут, заключалась в том, что условный сторонник большевиков жил и действовал среди елагинцев, а их условный противник — среди крестовцев, и это давало обоим возможность идеально чувствовать слабые стороны оппонентов. Разумеется, если бы на Елагином узнали, что Ловецкий и есть тот самый Арбузьев, его погна-ли бы с улюлюканьем — хорошо еще, если без побоев; впро-чем, если бы на Крестовском стало известно, кто таков в дей-ствительности Гувер, без рукоприкладства бы никак не обо-шлось. Оба публициста встречались раз в неделю в редакции «Нашего пути», редактор которого обязался хранить тайну, и, посмеявшись, обменивались убийственными аргумента-ми — после чего расставались как лучшие друзья. И потому арест Ловецкого был глубоко закономерен — новая власть, сама того не желая, взяла-таки одного из двух главных авто-ров несчастного издания, но, как и во всех своих попытках действовать целенаправленно, схватила не того.

Тот, а именно публицист, укрывавшийся под псевдонимом Гувер, отправился к Чарнолускому скандалить и требовать, чтобы посадили его, а ни в чем не повинного Ловецкого выпустили, — но по дороге в Смольный нарвался на патруль. Документы у не-го оказались в порядке, но командиру патруля не понравились раздражение и странная торопливость интеллигента, который вдобавок стремился в Смольный — а по какому делу, сообщить отказывался; до выяснения обстоятельств его препроводили на

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Морскую, а на Морской товарищу Аренский, узнав о роде занятый задержанного, радостно приказал отправить его в кутузку.

Получив по своим каналам информацию об аресте двух публицистов, Бродский немедленно поехал в Смольный и доложил нарком Чарнолускому, что отдельные товарищи хватают людей на улице просто так — и пусть потом не удивляются, когда читают в газетах о зверствах ЧК. ЧК не желает иметь к этому никакого отношения. Услыхав об аресте второго «путейца», да вдобавок крестовца, Чарнолуский некоторое время хохотал, потом посидел в оцепенении, написал и скомкал еще одно прошение об отставке, а потом пошел к Апфельбауму. У Апфельбаума уже сидел его несчастный родственник, редактор «Пути».

— Так вы утверждаете... — не поверил нарком.

— Ну конечно! — пожал плечами редактор.

Это был пренеприятный тип еврейского журналиста-дельца, для которого свобода — не более чем товар; он полагал себя третьим калачом, дважды получал предупреждения еще при царизме, как-то раз три дня отсидел в предварилке (но какой редактор там не сидел! — это было вроде нашивки за ранение) и теперь думал отделаться легким испугом. Чарнолускому хотелось выгнать его пинками.

— Вы взяли не того, — самоуверенно и развязно говорил редактор. — Собственно, не следовало бы брать никого... но раз уж вы решили брать кого-то из моей газеты, так я обязан дать консультацию. Господин Ловецкий никогда не писал ни слова против советской власти.

— А кто же писал против?

— Этого я не могу вам сказать, — заерзал редактор, — последнее уложение о печати разрешало не раскрывать псевдонимов... Могу вам только сказать, что поискать врага вам следовало бы у себя под носом...

— Да его, кажется, уже и нашли, — сказал нарком. — Мы лучше информированы, чем вы думаете. Что ж, товарищу Краминов неплохо конспирировался...

— Я вам ничего не говорил, — пропыхтел редактор.

Чарнолуский поднялся к себе и походил по кабинету, при-

кидывая варианты. Ловецкого надо было немедленно отпустить — он и в самом деле был ни в чем не виноват. Его Арбузьев нарком давно нравился. Что было делать с Краминовым — нарком не понимал. С одной стороны, это был замечательный повод, чтобы поставить на место Корабельникова: ты требовал арестов — так вот и арестовывай, враг сидел у тебя под носом. С другой же — в отдаленной перспективе вся эта ситуация могла сработать на решение главной задачи — оставалось только придумать, как с нею разобраться, чтобы взаимно уничтожить коммуны, породившие в своих недрах двух невольных изменников... Коль уж сама судьба сложилась так удачно, что Гувер и Арбузьев попались и раскрылись одновременно, нельзя было упускать случая. Вероятно, обоих надо было выпустить. Вероятно, обоих надо было шантажировать... а верней всего, они и сами охотно поучаствуют в этом замысле. Примерно через час у Чарнолуского был готов план. Он спустился к Апфельбауму.

— Пожалуй, их надо выпускать, Гриша, — сказал он по возможности дружелюбно.

— Обоих? — в недоумении выкатил Апфельбаум бараньи глаза.

— Думаю, да. Они мне понадобятся, чтобы решить наконец елагинский вопрос.

— А что ты скажешь Аренскому?

— Аренскому я ничего говорить не обязан.

И еще через час товарищ Бродский, торжествуя, лично отправился выпускать Гувера и Арбузьева. Так что, когда к Чарнолускому в Смольный ворвался Корабельников, вопрос был уже решен.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — сказал нарком. — Возможно, он уже ждет вас там, на Крестовском... хотя сомневаюсь, что он захочет возвращаться именно туда.

— Почему? — взвился Корабельников.

— Ну, знаете, — уклончиво пожал плечами Чарнолуский. — Все-таки семья, родители... Зайдет успокоить, чаю попить... Не хотите чаю? У меня настоящий.

— Я уже пил, — буркнул поэт.

10

В семнадцатой камере Трубецкого бастиона к началу всей этой маленькой бури остался один человек, словно уравновесивший своей неподвижной участью бурные перемены последних пяти месяцев. После увода Ватагина Оскольцев сидел в одиночестве.

Ватагин, всегда флегматичный и даже во время редких вспышек гнева утешительно нормальный, Ватагин, умевший и в тюрьме брюзжать так же, как брюзжал он, бывало, на заседаниях правительства или на газетных страницах, — в последнюю свою ночь что-то почувствовал и метался по камере, как зверь. Оскольцев, который как раз почему-то был безмятежен в тот вечер, не понимал, с чего бы вдруг такие метания; люди вроде Ватагина вовсе не обладают даром дальновидения, по части предсказаний они страшно близоруки и способны улавливать только ближайшие опасности, которые уже — вот, стучатся; Оскольцев был устроен ровно наоборот — он видел только далекое и не замечал того, что под носом. Вот почему в последнее время он успокоился: смерть настолько приблизилась, что вышла из его поля зрения.

Ватагина же, кажется, наконец пробрало, пробило. Он долго ворочался, потом встал и забегал, коротко постанывая и повторяя: «О Господи... что ж это... О Господи!» Наконец он остановился и жалобным, не своим голосом воззвал:

— Оскольцев! Не спите! Как вы можете спать!

— Да что такое случилось?

— Оскольцев, меня уведут завтра! Уж это точно! Я чувствую.

— Почему вы знаете? По-моему, давно забыли про нас...

— Не-ет, не-е-ет! Они никогда не забудут... Чувствую!

Вы одно только мне объясните: за что? Все взять, унижить, как только возможно, истерзать со всей изобретательностью, без всякой иной цели! Только бессмысленное мучительство, только максимум мерзости! Что бы им было убить всех нас сразу?! Нет, они ждут, пока каждый, каждый сломается, пока мы на коленях приползем целовать

им сапоги, умоляя, чтобы нас убили! В том только и смысл, чтобы узник просил не даровать ему жизнь, а прикончить его как можно скорей! И с Россией, негодяи, сделали то же самое: так истерзали, что сама, матушка, на четвереньках приползла — что хотите делайте, только прикончите, не мотайте больше кишок на колючую проволоку! Вот тогда и прикончили; правду говорят, что перед смертью чутье просыпается. Уж подлинно — нашла кого попросить!

Ватагин еще некоторое время бегал и выкрикивал все эти мстительные речи, припоминая всех, кто в разное время унизил его, недоплатил, не дал ходу, — по вечному закону человеческой неблагодарности, в несчастии мы тут же вспоминаем все свои прошлые беды, но в счастье никогда не помним прежних радостей; накануне гибели вся жизнь представилась Ватагину цепочкой мучительных неудач. Побегав и постонав часа три, он вдруг рухнул на нары и с полуоткрытым ртом захрапел, а уже в восемь утра Крюков завозился с ключами. Ватагин вскочил, дико озираясь. Он словно искал, куда спрятаться.

— А? — спросил он Оскольцева, мотнув головой в сторону двери. — А?! Ааа?! — Непонятно было, о чем он спрашивает этим хриплым криком: то ли требует подтверждения своей прозорливости, то ли не может поверить, что это в самом деле конец, и ждет от Оскольцева окончательных разъяснений. Сказать в любом случае было нечего, слова ничего больше не значили.

— А?! Ааа?! Аааааа?! — хрипло орал Ватагин все время, пока Крюков повторял ему, как глухому: «С вещами, Ватагин! С вещами! Отсиделся, подымайся!»

Сам он встать не мог — Крюкову пришлось вызвать караул, чтобы его выволочь, и все это время Ватагин хрипло, без слов, орал; вопль этот и теперь почти каждую ночь слышался Оскольцеву. Понял Оскольцев только одно: чего бы с ним под конец ни делали, так уходить он не будет.

С тех пор он сидел один, и в камере его не было больше никакого зловония — он высох до того, что перестал пахнуть; а может, это была святость — еще немного, и он стал бы благоухать, светиться, лечить наложением рук. Его суета улеглась, восторжествовала абсолютная покорность — Осколь-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

цев принимал любую участь, ибо избавился от главной своей пытки: вечного подозрения в неправоте. Как бы ни было ужасно все, что он сделал в своей жизни, это было многократно искуплено, он был чист теперь, как дитя, и смиренно ожидал решения своей участи. Не правы в любом случае были теперь его мучители; мера страдания была превышена. Что бы с ним теперь ни сделали — он лишь кротко повторил бы: «Прости им, ибо не ведают, что творят». Целые дни проводил он молча, поджав ноги, сидя на нарах, с тихой благодарностью жуя липкий хлеб или возведя глаза к решетчатому окошку. Он и сам ощущал свою святость, и это было одно из самых блаженных ощущений, ведомых ему.

Попав в камеру, Ловецкий изумился: не было пресловутого зловония, о котором упоминали узники российских тюрем во все времена. Впрочем, для него не так ужасно было зловоние и прочие неудобства заключения, как навязанное общество — и после первых минут в камере он страшно обрадовался, что сидеть предстоит с человеком интеллигентным.

Оскольцев смиренно ждал гибели, почти уже не прислушиваясь к шагам в коридоре, — но вместо гибели явился новый сокамерник, сорокапятiletний интеллигент с мягкой улыбкой. Пенсне у него отобрали — с некоторых пор отбирали все колюще-режущее (в Москве эсер Каланчев вскрыл себе вены стеклом от пенсне, и Воронов оперативно разослал соответствующее предписание).

Ловецкий подробно расспросил Оскольцева о судьбе обитателей семнадцатой камеры и понял, что дела его плохи.

11

Когда пятнадцать часов спустя в семнадцатую камеру впили Краминова, Ловецкий лежал без сна на узких нарах и пытался выдумать верную линию поведения на предстоящих допросах — он давно готовился к чему-то подобному, как всякий русский интеллигент, томимый комплексом вины и ожидающий расплаты неизвестно за что. Естественно, редактора

«Пути» надо было представить в возможно более выгодном свете; на вопрос о настроениях в Елагинской коммуне следовало отвечать, что они умеренно критичны, но в целом лояльны, ничего противозаконного; на вопрос о Гувере... Но тут заскрежетал ключ, и в камеру влетел Краминов.

— Что такое? — не разобравшись сослепу, крикнул Ловецкий.

— Илья, вы? — узнав голос, спросил от двери Краминов. Света не было, лампы давно не давали.

— Краминов?! — поразился Ловецкий и, не удержавшись, расхохотался.

— Здравствуйте! Черт... где вы тут? Темно, как у негра в желудке...

— Идите сюда. Что, взяли все-таки?

— Вы не поверите, какой бред. Ведь написать — все решат, что вымысел. Пошел вас вызволять... ну и напоролся на патруль! Но подумайте, какое совпадение!

— Ну, ничего случайного тут нет, — задумчиво проговорил Ловецкий, подвигаясь на нарах, хотя места было более чем достаточно. Краминов добрался до него и уселся рядом. — Думаю, за вами следили и арестовали на улице, просто чтобы не вызывать подозрений...

— Какое! Если бы следили, я бы заметил.

— Донесли, скорее всего, эти ваши двое...

— Да ничего подобного, никто не доносил! Это чистый случай...

— Ну, тогда у них выдающаяся интуиция, — покачал головой Ловецкий. — Это надо же так постараться, чтобы взять именно Гувера с Арбузьевым...

Краминов закурил и угостил Ловецкого:

— И кончат они, как я и предполагал, — у одной стенки.

— Не каркайте, не каркайте.

— О да! Вы ведь этих считаете большими гуманистами!

— Не гуманистами, а прагматиками, — поправил Ловецкий. — И убивать нас по меньшей мере непрагматично...

— А сажать? Сажать — прагматично?

— Не знаю, — задумчиво сказал Ловецкий. — Но вот посадить и выпустить, по-моему, чрезвычайно прагматично...

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Вы, Илья, как все люди десятых годов, полагаете, что этика — вещь выгодная. А этика как раз в том и заключается, чтобы действовать поперек прагматизма...

— Друг мой! — воскликнул Ловецкий. — Я вас обожаю! Знаете почему? Потому что вам двадцать пять, я на двадцать лет старше, а мы с вами и тут спорим! Это же не зависит от возраста, от обстоятельств, от эпохи, наконец! Как я счастлив, что в вашем поколении есть такие люди. Ведь это чу... чу... чудо! — И он засмеялся.

Оба в самом деле были вполне счастливы.

После спора утомленный Ловецкий задремал, Краминов докуривал последнюю папиросу, в узкое окошко полз рассвет, — и тут Оскольцев закашлялся: он отвык от дыма.

— Простите, господа, что я напоминаю о себе...

Краминов вздрогнул.

— Ах да, — Ловецкий очнулся от забытья, — я ведь вас не представил. Виктор Александрович Оскольцев, товарищ министра иностранных дел, — Павел Краминов, публицист консервативного направления, ныне житель Крестовской коммуны, волею судеб разоблачающий большевизм изнутри...

— Да в Крестовской коммуне никому дела нет до большевизма, — буркнул Краминов. — Простите, ради Бога, что я вас не заметил.

— Это значит, что я близок к совершенству, — печально улыбнулся Оскольцев. — Когда я его достигну, меня станет совсем не видно.

— И вы сможете выйти незамеченным? — поинтересовался Ловецкий.

— Думаю, мне это уже не будет нужно. Я только одно хотел бы вам сказать... Я советовал бы вам успокоиться. Просто успокоиться и ждать, ничего не планируя и ни о чем не беспокоясь. Мне кажется, что это единственный совет, который я на правах старого постояльца этой камеры мог бы вам дать... и больше я в ваши споры вмешиваться не стану, хотя бы потому, что не совсем их понимаю.

— Чего тут не понять? — Ловецкий пересел к Оскольцеву-

ву. — Мы, Виктор Александрович, собственно, ни о чем и не спорим. Какая теперь разница — получал Ленин деньги от немцев или не получал?

— А он получал? — поинтересовался Оскольцев.

— Ну, наверное, получал... но если б и нет — все было бы точно так же. И даже без всякого Ленина. Вопрос в одном: одобрять ли выбор, который сделала история, или бунтовать против этого выбора?

— Да, это только вопрос темперамента, — кивнул Оскольцев. — Правоты быть не может...

— Разумеется, не может! — просиял Ловецкий.

— Важно было высказывать вслух то, о чем молчат, — согласился Краминов. — Интеллектуальные спекуляции, знаете... Но иногда я и сам очень увлекался.

— Так и я увлекался! И мне было очень интересно...

Через три часа товарищ Бродский вошел в семнадцатую камеру.

— Краминов, Ловецкий! — гортанно крикнул он.

Краминов, Ловецкий и Оскольцев были заняты игрой в угадывание мелодий: игра эта была широко распространена в дворянских и чиновничьих семьях начала века. Игроки боролись за право угадать классическое музыкальное произведение с первых нот: побеждал тот, кому требовалось меньшее количество нот. Оскольцев брался угадать с семи, Краминов — с пяти; Ловецкий просвистал два первых такта увертюры к «Лоэнгрину», и Краминов почти угадал.

— Что-то знакомое, — бормотал он, — ну наверняка же знакомое... Немец, да?

Бродский прервал их игру на самом интересном месте и огляделся в недоумении:

— Почему трое?!

— Один уже был, — спокойно ответил Ловецкий.

— Кто именно?! — крикнул бывший сапожник.

— Я, — спокойно сказал Оскольцев.

— Фамилия! — рявкнул Бродский.

— Оскольцев, товарищ министра.

— Почему вы все еще здесь?

— Не знаю, — пожал плечами товарищ министра.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

«Это плохо, — подумал Бродский. — Он мог черт-те что им порассказать... Ну, в любом случае надо решать с ними; с этим разберемся».

— Краминов и Ловецкий, за мной, а вы пока сидите, — будничным голосом сказал он.

— Одну минуточку, — вежливо сказал Ловецкий. — Виктор Александрович, что от вас передать?

— Кому? — усмехнулся Оскольцев.

— К кому попадем, тому и передадим, — пообещал Краминов.

— Если действительно выйдете, — не очень уверенно сказал Оскольцев, — мой отец живет на Съезжинской, 25, во втором этаже, шестая квартира... Скажите ему, что я жив. Но не знаю, будет ли это правдой к тому времени...

Он не сомневался, что Ловецкий и Краминов отправляются к совсем другому отцу.

Бродский пропустил заключенных перед собою и вышел, и Оскольцев снова остался один. Впрочем, впечатлений ему хватило надолго. Он успел полюбить этих славных людей — молодого угрюмого и немолодого веселого. Ему нравилась их рискованная затея. И то, что они насочиняли про две коммуны, чтобы его развлечь, тоже было очень весело. Конечно, он разгадал их невинный трюк. Никаких коммун не было и быть не могло.

— Да-с, да-с, — приговаривал Чарнолуский, организовывая чаек и потирая ручки. — А что ж вы думали? На патруль кричать никому не дозволяется! И вы, товарищ Ловецкий, тоже хороши.

— А как вы узнали, что мы арестованы? — поинтересовался Ловецкий.

— А как бы я не узнал? Я все-таки народный комиссар, не забываете об этом.

— А разве они, когда берут, с вами согласовывают?

— Ну конечно... то есть задним числом! — поспешно поправился Чарнолуский. — И я немедленно распорядился: если ничего противозаконного нет — отпустить! За вами же и в самом деле нет ничего противозаконного, если я верно понял? Кроме, конечно, того, что сторонник советской вла-

сти живет на Елагином, а противник ее — на Крестовском... но и это, если хотите, не криминально.

— Криминально будет, если Корабельников узнает про мой псевдоним и про все эти дела, — вздохнул Краминов.

— Ну, это мы как-нибудь устроим, — пообещал нарком. — Я вот о чем хотел с вами побеседовать... Впрочем, для начала один вопрос: вы, господин Ловецкий, вероятно, мне писали?

— Нет, — удивился разоблаченный Арбузьев. — Никогда в жизни... Зачем же мне было вам писать?

— Да видите ли, некто из числа елагинцев регулярно извещает меня о творящихся там безобразиях... требует разгона, арестов...

— Неужели вы думаете, что я стал бы доносить? — протодушно спросил Ловецкий.

— Нет, конечно! — смутился нарком. — Но ведь это и не донос... Это так — информация. Но я не об этом хотел говорить. Вы, господа, сами видите, что конфронтация ваша стала довольно забавна. Елагинская коммуна — мой неудавшийся опыт, согласен, да и вы понимаете, что она свою задачу уже выполнила. Скоро университет возобновит работу, начнется реформа орфографии, профессуре дадут места, писатели пойдут в газету или там... в общем, найдется дело и писателям. Зиму перезимовали, пора и честь знать. Очаг сопротивления тоже получился никакой — одна спекуляция, не так ли?

Ловецкий слушал молча, но не кивал; Краминов нахмурился.

— И вот о чем я подумал, дорогие друзья: не угодно ли вам посодействовать мне в примирении ваших враждующих станов и мирном их возвращении, так сказать, в исходное состояние? Разумеется, нас можно не любить, но теперь лучше это делать поодиночке. О пайках для престарелых коммунаров мы могли бы договориться отдельно...

— Об этом можно поговорить, — после долгого молчания произнес Краминов.

— Попробуйте, попробуйте. Я слышал, что и так уже значительная часть крестовцев и елагинцев ходит туда-сюда...

— Ну, не очень значительная часть, — поморщился Краминов.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Но это начало. Я вас серьезно прошу... И тогда наша общая маленькая тайна насчет истинного имени господина Гувера не выйдет за пределы этой комнаты...

— Это непременно условие? — бывший Гувер вскинул голову и сверкнул очами.

— Да, это грубый, грубый шантаж, — сказал Чарнолуский и расхохотался. — Нет, а вы чего хотели: надо отвечать за свои действия — или это прерогатива только власть имущих? Скажите лучше, по-человечески, без чинов, — что вы делали в этой коммуне, если так не любите большевиков?

— Я делал там свободное новое искусство, — упрямо сказал Краминов.

— Ну, Бог с вами. Скажите, могу я на вас рассчитывать? Думать надо быстро, потому что, пока вы будете думать, другие тоже не станут терять времени. И тогда вместо примирения, которое придумаете вы, могут случиться совсем другие меры, которых не хотели бы ни вы, ни я.

Краминов присвистнул.

— С пяти, — неожиданно сказал Ловецкий.

Краминов просвистал пять нот знаменитой темы Судьбы.

— Ну, это просто, — разочарованно протянул Ловецкий.

— О чем вы? — удивленно спросил нарком.

— Мы полагаем, что вы правы, Александр Владимирович, — кивнул Краминов. — Но есть ли у нас гарантии, что разгон не произойдет раньше?

— Никаких гарантий, — печально сказал Чарнолуский, — нет ни у вас, ни у меня.

— Ну что ж, — помолчав, сказал Ловецкий. — По крайней мере честно.

12

Разумеется, в районном совете никто не собирался заниматься Ятем; размещалась управа в доме оперного тенора Ладыженского, сбежавшего почти одновременно с Кшесинской. Теперь в его роскошном, капи-

тально пограбленном особняке размещался таинственный районный совет Петроградской стороны, описанный впоследствии во множестве историко-революционных сочинений. С дрожащей руки авторов, писавших в тридцатые годы, укоренилось представление, будто в советских учреждениях ранней революционной поры без умолку стрекотали машинки, отдавались решительные распоряжения и вообще кипела административная жизнь; это не так. Совет Петроградской стороны беспрерывно заседал, обсуждая мировые вопросы и ничего не решая. На время заседаний в жилотделе оставлялся дежурный, молодой слесарь Пажитнов, который во время дискуссий о новом облике города всегда страшно храпел. Теперь он один-одинешенек сидел в огромной, ободранной гостиной Лодыженского и лениво тыкал пальцами в расстроенный белый рояль. Инструмент был объявлен собственностью государства, председатель районного совета лично запретил в него гадить — хотя попытки, что скрывать, были; Пажитнов обладал блестящими способностями и как раз к визиту Ятя подобрал наконец «Яблочко».

— Я в жилотдел, — сказал Ять, поднявшись на второй этаж.

— До-о, — вместо ответа произнес Пажитнов и ткнул в клавишу. Послышался басовый звук; Пажитнов выжал педаль и удовлетворенно улыбнулся. Рояль исправно служил не только эксплаутаторам, но и пролетариату.

— Я по поводу квартиры, — еще раз попытался отвлечь его Ять.

— Все насчет квартиры, — миролюбиво пояснил Пажитнов, словно снисходительно укоряя сограждан: ну что за люди, непременно хотят где-нибудь жить! Он двумя пальцами изобразил тремоло — долженствующее, очевидно, выражать робость посетителя.

— Председатель домкома направил меня к вам, — громко, как глухому, объяснил Ять.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Я слы-шу! — оперным голосом пропел Пажитнов и с силой ударил по двум крайним клавишам. — Я слы-ы-ышу вас! Вас я слышу! Я вас, я вас, я вас — слы-ы-ышу! А? Не хуже мы, чай, тенора-то!

Все это было так нереально, что Ять распахнул пальцецо, гордо выпятил грудь и с оперным пафосом затянул:

— Мне жи-ить, мне жи-ить, мне жи-ить — не-егде! Снимал кварти-иру! Теперь товарищ Матухин! Матухин! Матухин! От-се-ли-ил... ммменя. — И демонически расхохотался: — Ха-ха-ха-ха-ха!

Пажитнов взял фантастический, истинно вагнеровский аккорд.

— Так и что? и что? и что? — задрезбужал он тенорком.

— Спа-си-те! — проорал Ять; из залы заседаний, некогда служившей Ладыженскому спальней, вывалились один за другим члены районного совета и ошеломленно встали полукругом, слушая пролетарскую оперу «Посещение жилотдела».

— А я... что ж... могу... — на одной ноте ответил Пажитнов.

— О-о-ордер! О дайте, дайте о-ордер! Вселить меня хоть в ку... хоть в ку... хоть в кухнюшку мою, — лирическим баритоном закончил Ять.

— Приходи-ите! В понеде-ельник! В понеде-е-е-ельник! — сорвался Пажитнов на фальцет и сбацил нечто невообразимое, ударяя тяжелыми лапищами по нескольким клавишам сразу. У него уже немного получался собачий вальс.

— Так ведь сегодня и есть понедельник! — вспомнил Ять.

— Ну! — не растерялся слесарь. — Я и говорю: вот в другой понедельник и приходи.

Пажитнов встал от рояля и уважительно, как дирижер первой скрипке, пожал Ятю руку. Ять раскланялся и вышел на солнечную, благоухающую улицу.

А в общем, все это соответствовало его представлениям о конце времен: всеобщая необязательность, лень и даже коллективное безумие, согласитесь, как-то оправдывают нас в наших собственных глазах. Учитель болен или сбегал, все режутся, — как я в детстве мечтал, чтобы все гимназические наши учителя вдруг не пришли! И не то чтобы я не любил учиться — нет, мне всегда нравилась атмосфера необязательности, атмосфера, в сущности, апокалипсическая. Конец света, а я играю в мяч — помнится, именно на этом перекрестке я говорил об этом с Корнейчуком... Как я мыслю себе конец света? Да именно так: сидит пролетарий за роялем, и всем уже все равно. Ничто ничего не весит. Мечта релятивиста. И как я смею негодовать, если сам всю жизнь мечтал о чем-то подобном? Мир окончательно сошел с ума, избавился от пут рассудка и именно поэтому так пышно расцвел: глядите, какие листочки! А навстречу ковыляет монстр с бревном на плече — кто бы это был? Впрочем, какая теперь разница: если все сошли с ума, так и этот наверняка тоже...

Относительно встречного монстра с бревном он, однако, был прав: навстречу ему, тяжело переваливаясь, с трудом балансируя и задыхаясь, шел исхудавший, косолапый Трифонов в теплом зимнем пальто, истрепанном до последней возможности, и в засаленной пролетарской кепке.

— Истинные были слова ваши, — проговорил он, задыхаясь и ничуть не удивляясь встрече с Ятем. — Истинные, истинные слова... Благодарю и преклоняюсь. Прошу со мною.

И Ять, тоже ничему не удивляясь в этом рехнувшемся мире, последовал за ним в сторону Невы, туда, где одиноко жил Трифонов в последние годы. Он попытался было помочь с бревном — какое!

— Нельзя, нельзя, — одышливо возразил Трифонов. — Каждый сам несет, не пристраивайтесь... Хотите — найдите и несите, а мое не замайте. Я, ежели хотите знать, неделю его пилил... это был клен здоровенный! Ветки обрубали, растащили, а бревна никто не унес. Там еще осталось, если хотите.

Ять со значением кивнул, как будто что-то понял.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Жилище, говорят, зеркало души; в иных царит живописный беспорядок, старательный, искусственный, для придания богемности скромной буржуазной обстановке. В иных соблюдается строжайший минимализм — лист бумаги на столе, остро заточенный карандаш, пять книг, нужных для работы... В третьих повсюду плюшевые глупости, вазончики, букетики, статуэтки — и поди пойми, безвкусный добряк перед тобою или мелкий хищник, маскирующий таким образом подлую и лживую душонку. Как бы то ни было, во внутреннем мире Трифонова громоздились булыжники, поленья и груды хлама; там почти не было места делам рук человеческих — все дикая природа, причем в самых грубых образцах. Книги были свалены по углам, а большую часть обеих комнат занимали серые валуны, грязные глыбы и сырые дрова. Все это он стаскивал к себе без всякой видимой цели — просто для упражнения мышц; случайная мысль, которую Ять, не желая безумцу зла, заронил в его больное сознание, укоренилась и принесла плоды.

— Вот-с, — гордо отдаваясь, доложил Трифонов. Бревно он прислонил у входа в дом — оно не влезло бы на лестницу. — Так с тех самых пор и ношу, и можно сказать, что уже готов, уже готов.

Ять узнал его манеру повторять слова; теперь он повторял почти все, словно и в речи положил за правило совершать как можно больше усилий — произносить фразу по два и три раза, упражняя даже язык.

— Надо тренироваться, надо тренироваться, — бормотал он, — ведь непременно придут, непременно... Они скажут: таскай, таскай, — а я уже и таскаю, таскаю...

Ять не помнил разговора, в котором навел Трифонова на губительную мысль готовиться к приходу грядущих гуннов и упражнять мышцы ввиду предстоящего перехода всей интеллигенции к грубому физическому труду. Тем не менее в этом безумии была своя логика: он давно чувствовал что-то подобное — коль скоро мир упростился, в нем не остается места квалифицированной работе, и Трифонов был по-своему глубоко прав, закаляясь и упражняясь для будущих трудов.

— Умереть хотел, но умереть нельзя, — бубнил Трифонов, — должна исполниться мера, исполниться мера... Тогда только. До этого — терпеть, терпеть, таскать, таскать... Одно только: ведь камнями не ограничится. Больше всего знаете чего боюсь? Боюсь, что ведь рано или поздно они возьмут. Ну, сейчас, положим, таскаю, — они увидят, что таскаю, и подумают: вот хитрый, должны были мы тебя заставить, а ты сам себя заставил. Самоуправство, самоуправство! — и он хитро погрозил пальцем. — Тогда возьмут. Положим, готов: ем мало, мыться забыл, вот ношу пальто, чтобы тоже худеть... От пота очень худеешь, сильно худеешь. И вот я думаю: возьмут, но у меня кольцо! — Он поднял руку, и Ять увидел на толстом безымянном пальце золотое кольцо. — Еще обручальное, теперь не снимешь. Вросло, вросло... Кто-то из уголовных непременно потребует снять, а я снять не смогу. Что делать? Отрубят палец. Но, положим, один найдется, всегда один найдется, который защитит, скажет: не руби палец, я сниму. Он будет думать, что если он меня чем выгрудит, так и я его потом чем выгрудю. Вдруг у меня не только кольцо, а еще есть золотые зубы. Но тогда я рано или поздно перед ним обнаружусь во всей своей ничтожности, и его-то разочарование будет всего ужасней... всего ужасней... да... Я думаю, всегда есть один такой, который помогает; он помогает не от любви, конечно, не от хорошей души, а от надежды на какую-то с нашей стороны отдачу, подачку; и вот он будет мне помогать, даже служить, ведь барин, барин, — а потом поймет, что я ничего, ничего не могу; и вот его-то презрение мне будет хуже всех. Лучше, чтобы сразу все возненавидели, всегда лучше, когда сразу; и палец пусть тоже отрубят сразу...

Ять в ужасе попятился к двери.

— Погодите, — просительно пробормотал Трифонов, — скажите, а можно ли умереть прежде, чем возьмут? Отпустил бы меня кто, и я бы умер. Но сам себя я не могу отпустить, я должен ходить и таскать, ходить и таскать, пока мне не исполнится мера...

Ять выскользнул из логова и побежал вниз по грязной лестнице.

— Ходить и таскать! — вслед ему кричал Трифонов. — Ходить и таскать!

13

И он ходил.

Двадцать шестого апреля он вернулся на Крестовский, там царил паника — шумно обсуждали краминовский арест. Двадцать седьмого Краминова выпустили, а Ять опять повздорил с Корабельниковым и ушел на Елагин. На Елагинском воеводу готовились к первомайской демонстрации — «чтобы хамы не думали, будто у них праздник»; идея принадлежала Хмелеву, и Извольский со скрипом согласился.

— Мы выйдем на улицу, — жестко сказал Хмелев. — И мы покажем хамам, что думаем о них.

Он по-прежнему мечтал о разгоне коммуны, но видел, что никакая политическая борьба в голодном городе немыслима, что до них попросту никому нет дела; демонстрация была его последним шансом напомнить о себе и привлечь сочувствующих. Новая власть делалась все омерзительнее. Не встречая никакого сопротивления, Ульянов-Ленин, фигура пустая и совершенно дутая, заполнял все российское пространство. Он даже начал Хмелеву сниться: самое ужасное, что и во сне он был непонятен.

На Елагинском рисовали транспаранты, но делали это неумело — более-менее прилично рисовал один Стежкин. Вернувшийся Ловецкий, который на все вопросы о причинах ареста бормотал что-то об ошибке и бюрократической неразберихе, пытался Хмелева отговорить, но это ни к чему не вело. Алексеев с Горбуновым старательно рисовали на круглом куске фанеры, который по их требованию приволок Шраер, подобие двуглавого орла, — но орел вышел такой кривой, что его решили не брать. Казарин, почувствовав себя лучше, выполз из комнаты и бродил между банок с краской и кумачовых полотнищ, разложенных на полу залы первого этажа; Хмелев, разумеется, взбесился, узнав, что достать удалось только кумач (другие ткани словно испарились), но потом смирился: не все ли равно, на чем писать?

— А-а, господин Ять, — язвительно протянул Казарин. — Позлорадствовать зашли?

— Отчего же, — сухо сказал Ять.

— Да оттого, что вы, я знаю, нашего образа действий в последнее время не одобряете...

Как во всякой осажденной крепости, в Елагинской коммуне циркулировали слухи, многократно преувеличенные. Разумеется, Казарин уже знал о разговоре старших елагинцев с возвращенцами; Горбунов доложил ему все в подробностях и с особенным значением повторял слова Ятя о мертвом деле елагинцев и о предполагаемом светлом будущем большевистской России.

— Вы бы еще статейку где-нибудь тиснули. Нас теперь покритиковать — самое время... заодно и в лояльности распишетесь...

— Знаете, господин Казарин, — Ять смотрел на него, сунув руки в карманы, покачиваясь с пятки на носок (остро чувствуя трещину на подметке) и склонив голову набок. — Марксистов в свое время тоже нельзя было критиковать — ведь по тюрьмам сидят... Вот они и выросли такие большие...

— Ну, нам-то это не грозит. А в общем, и правильно: заключенного критиковать — последнее дело. Выйдет — так и ругайте сколько влезет, а к арестантам и бабы русские добры: то кренделька вынесут, то калачика...

— Вам уж нанесли... калачиков-то, — Ять показал глазами на толпу торговцев у входа: роспись транспарантов их несколько потеснила, но закрывать лавочку Извольский не собирался.

— А что ж, лучше кушать из рук мерзавцев, как ваши друзья крестовцы?

— А что ж, и друзья. Хоть язв своих не расчесывают. А у вас печки вывезли — вы и орете: убивают! Душат! И вот вы стоите среди России, нищей, кровавой, доведенной до точки любезным вам государем... и орете: у нас вывезли печки! У нас вывезли печки! Караул! Убили! Сатрапство! Печки! Печки наши! — проорал он наконец и с тоски побежал к крестовцам, но там застал такую же картину: на полу был разложен кумач, Корабельников, жуя папиросу, расхаживал между банками с краской и диктовал двустипшия, а поп, воротившийся из странствий, собирался возглавить крестный ход по

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

случаю дня солидарности трудящихся; Корабельников сказал, что это будет без него, и поп обиженно дулся в углу. Барцев помогал Мельникову и Митурину сколачивать супрематическую композицию. Ашхарумова смотрела на Ятя сострадательно.

Вскоре приехал Хламида, успевший пересмотреть свое отношение к новой власти до такой степени, что елагинские интеллигенты вызывали у него почти ненависть. В самом деле, они посмели не оценить его усилий по спасению коммуны и заподозрили в соглашательстве — этакое сектантство! Он привез Корабельникову несколько банок золотой и серебряной краски, добытых, как он утверждал, у знакомых рабочих, которым для их скромных плакатов все равно столько не нужно. Хламида бродил по первому этажу, склонялся над транспарантами, читал, искусственно хохотал до фальшивых слез, приговаривая «Черти лиловые! Черти драповые!» — и лиловые драповые черти, выкроенные из старого пальто, казалось Ятю, так и скачут по его сутулым плечам.

— А это что? — спросил Хламида.

— Это буржуй, — лаконично произнес Корабельников.

— А делает что?

— Прикуруивает от земного шара.

— Ай, как хорошо! — залился Хламида. — А земной шарто почему же с ножками?

— Убегает от буржуя, — сдержанно сказал Корабельников.

Тут на Ятя напал один из тех припадков неостановимого смеха, которые вечно мешали ему сохранять пристойный вид в обществе, где обсуждались мировые вопросы. Не в силах сдерживаться, он выбежал из прилукинской дачи.

Поодаль, как бы наглядно демонстрируя, во что превратится праздный, расслабленный дачник через каких-то срок лет, — кверху задом ковырялся в земле русский барин Соломин: он одним из первых смекнул, что в голодные времена огородничество выручит горожан. Питер зарастал огородами, во дворах рыхлили землю, по окраинам высаживали картошку, пресловутую Диоклетианову капусту — но умели

это немногие; из всей бывшей Елагинской коммуны и уж тем более из всех футуристов копать, рыхлить и полоть мог один Соломин — и как всякий человек, умеющий заниматься несвойственным ему делом, он окинул Ятя взором столь презрительным, что у того снова заклокотал в горле смех. Вероятно, это была уже истерика, — и то сказать, как не быть истерике у человека, которому до такой степени некуда деваться?! Лучше уж смех, чем слезы. Но так монументален, так символичен был Соломин с задранным задом, так смешно и вместе самодовольно было его огородничество и неизменное гордое презрение к праздности, что сдержаться не было никаких сил; хохоча, Ять пошел к мосту, ведущему прочь от ненавистных крайностей, на глухую и одинокую Выборгскую сторону.

Куда идти теперь, ему было решительно все равно.

14

— Демонстрация, — мечтательно произнесла Ашхарумова. — В Эгейском море есть темная, туманная область, где торчит из моря скалистый остров Траций. На нем обитают чудовищные существа, порождения людского безумия. Ими всеми управляет Демон, который иногда прилетает к людям и устраивает кровавые оргии. «О, демон с Трация!» — в ужасе кричат обыватели, разбегаясь по своим норам...

Барцев шепотом засмеялся.

Они лежали в комнате Зайки, тесно обнявшись. Засиделись у нее, заночевали, — возвращаться на Крестовский не хотелось: и потому, что лютовали патрули, отчего-то особенно яростные в ночь с субботы на воскресенье (хватали всех без разбору, и поди объясни им, что такое Крестовская коммуна), и потому, что тесная койка в барцевской комнате им надоела, как надоели и непрерывные вечерние визиты коммунаров. Иногда хотелось удрать от всех — и Барцев с Ашхарумовой все чаще сбегали куда попало, не признаваясь даже друг другу в желании хоть неделю пожить отдельно. Это пахло мещанством, — однако что же поделать.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Вдруг Барцез перевернулся на спину и зашелся в припадке совсем уж неудержимого хохота.

— Паша! Пашка же! Да что с тобой такое?!

— А еще, — захлебываясь, пробормотал он, — там живет существо столь страшное, столь жуткое, что полного его имени назвать нельзя... Ее называют по первой букве — госпожа Ка...

Да, это было весело. Отсмеявшись, Ашхарумова уткнулась ему в плечо. Паша был ужасно, ужасно забавен и мил. И ведь она знала это с самого начала — не зря они сразу приметили друг друга во время того первого чтения у Зайки. И Зайка была ужасно мила — так радовалась их любви, без тени зависти. Паша все понимал, и ничего не боялся, и ничем, кроме нее, особенно не дорожил, и в стихах его все предметы точно так же ничего не весили; он жонглировал лужами, домами, трамваями, свободно громоздя их друг на друга. То, что Славе казалось гибелью, было, оказывается, жизнью. Она уже все себе придумала и этой версии держалась.

Позавчера она зашла к Казарину — узнать, как и что; лучше было, конечно, не заходить. До поры до времени он соблюдал нейтралитет и вел себя прилично, но потом не выдержал — уж очень она была хороша и знала это; он с самого начала не сомневался, что она ходит сюда красоваться. Какое сочувствие? — если женщина полюбила другого, для нее сочувствия нет. Если бы она сострадала, она бы не ушла. Нет, она пришла к его одру с явной целью нанести последний удар — показать, что она счастлива; не сдержавшись, он наговорил гнусностей сначала о крестовцах (продажность, глумление, заказы из Смольного), а потом понес чушь насчет молодого любовника, который, конечно, сильнее его, старика (самое ужасное, что все это время он отвратительно усмеялся, демонстрируя хладнокровие). Надо было вовсе ничего в ней не понять, чтобы заговорить о молодом сильном любовнике: она умела подстраиваться под любого и прекрасно себя чувствовать с каждым, кто ей понравился. Сила... слабость... что знают мужчины вообще о силе или слабости?

— Слушай, — заговорил Барцев после некоторого молчания, как всегда угадав ее мысли. — Ты, конечно, везде будешь на месте... но объясни мне такую вещь. Как ты умудрялась жить там, со стариками? Они не угнетали тебя?

— Что ты, они меня любили. Я была там такая... Белоснежка, если хочешь. Белоснежка и двадцать старых гномов. Они называли меня «наша барышня». Ты не забывай, они очень хорошие старики. У них есть, конечно, свои закидонцы, — она поразительно легко перенимала жаргон крестовцев. — Алексеев, скажем, не любит евреев, а Пемза терпеть не может беспорядка, все время моет руки, а Долгушов ругает баб, от них все зло... но они столько знают! И они рассказывали чудесные вещи — о французской революции, о фольклорных экспедициях, о каких-то удивительных деревнях... Долгушов, например, искал Китеж — очень хорошо рассказывал... Они в самом деле хорошие люди, и Мельников, например, там был бы очень на месте. То, что он вчера рассказывал про «Слово о полку», — это почти как Хмелев говорил, только другими словами.

— Да я знаю. Пока не доходит до политики, все могут разговаривать по-человечески...

— И даже когда доходит. Очень много сходств, только у них — такая старательная академическая тишина, а у вас (она до сих пор не могла приучиться говорить «у нас») очень все лихорадочно, шум, веселье... довольно искусственное, ты знаешь. Хотя у Корабельникова такое веселье — хоть святых выноси. У него, мне кажется, внутри все время зубчатые колеса крутятся и клещи щелкают, оттого и стихи такие... с шестеренками...

— Да, да. Сан Саныч — совсем невеселый человек.

— Мельников гораздо нормальной.

— Да конечно, нормальной. Просто Мельников не совсем человек. Он нормален, как... ну, хоть конь. Конь — это же апофеоз нормальности, просто он не человек, и спрашивать с него надо не как с человека. А Сан Саныч — это промежуточное такое существо, он кентавр, да еще недоделанный. У него человеческая половина угнетает конскую, а конская лягает человеческую — никакой гармонии. Хорошо бы кто-нибудь уж победил.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— И кроме того, — она приподнялась на локте, — я совсем не могу понять Соломина. Что он у вас делает? Со всеми этими разговорами про красного царя...

— Ну и Пуришкевич был чистый монархист, а между тем его выпустили по-тихому. Ты не знала? Львовский его третьего дня встретил. Соломину с Сан Санычем до поры очень даже по дороге: Сан Саныч вовсе не хочет больше ничего разрушать. Он созидать хочет, скуку всякую хочет... конструкции... Да, вот еще: два острова, вроде Сциллы и Харибды. Тракий и Трукций. Они жестоко враждуют, на одном живет страшный Аб с Тракия, а на другом — добрый Конь с Трукция. Они иногда налетают друг на друга в небе, схватываются, борются...

— Пашка! Ну Пашка же!

— Схватываются... И борются... И схватываются... И борются...

— А знаешь что? — сказала Ашхарумова. — Ты ведь слышал про подземные ходы?

— Да, конечно. — Барцев был уже благостный и сонный.

— А ты знаешь, куда ведет ход из елагинской кладовки? Он самый длинный...

— Нет, не знаю. Ты спускалась?

— Ну конечно. Как же это — подземный ход, а я не спущусь. Так вот, он ведет... — она прошептала что-то в самое его ухо.

Барцев мигом стряхнул сон.

— Нет, честно?

Она торжествующе кивнула.

— Слушай, Аш... (Он никогда не называл ее ни Машей, ни Марьей, словно задавшись целью придумать имя, которым ее не звал никто другой.) — Но ведь это... может, нам как-то...

— Можно будет подумать, — загадочно ответила она.

— А впрочем... — Он даже сел в кровати; на стене села смешная вихрастая тень. — Есть замысел не хуже. И тогда можно будет все раскрыть.

— И?

— Нет, я тебе сразу не скажу. Ты ни за что не согласишься.

— Говори быстро, несчастный!

— Нет, нет, нет! — Барцев гримасничал, хихикал, тряс головой. — Ты не согласишься, не захочешь, обидишься... и вообще я робею. Я страшно робок, застенчив, угрюм... оскорблен непониманием... люди так часто осмеивали меня... плевали в мою чистую душу... ай, не бей меня! Не бей меня хоть ты, прекрасная белая женщина с армянской фамилией... Ааа! — шепотом взвизгнул он.

— Быстро выкладывай, что ты там изобрел.

— Ну, в общем... — он притянул ее к себе и зашептал на ухо.

Ашхарумова рассмеялась.

— Знаешь, — сказала она, потрянув головой. — Мне вообще-то уже делали предложение, но никогда... видит Бог, никогда еще не подкрепляли его разговорами о целостности русской культуры!

— Свадьба, — назидательно сказал Барцев, — всегда сопряжена с нарушением целостности. И только наша свадьба будет сопряжена с ее восстановлением...

— Пашка, ты абсолютный мерзавец.

— Разумеется, — согласился Барцев. — Это шантаж.

— Я подумаю, — серьезно сказала она.

15

Ять вышел из прилукинской дачи, все еще хохоча, и смеялся, пока не дошел до моста. Здесь, на середине его, он подошел к перилам, оперся локтями о парапет и задумался.

В сущности, вся моя жизнь прошла на мосту: метался туда-сюда... там плохо, здесь отвратительно... Сколько может продолжаться это гротескное, полосатое существование: бьют одних — перешел к ним, бьют других — перебежал к тем... Хорошо еще, что писем со мной не передают.

Стояла божественная темно-зеленая апрельская ночь, от воды пахло гнилью, от берегов — пробудившейся, жадно дышащей землей. В бесчисленных прудах Елагина острова

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

заливались лягушки — брекекекс их любовного томления был так же безобразен, как и они сами, и в этом Ятю мерещилась странная гармония. Внизу, в антрацитной-блестящей темноте, под кистями его рук, свесившимися с моста, проплывал весенний мусор — доски, гнилые бревна, пучки белесоватой травы; так по поверхности сумеречного сознания плывут случайные мысли, не задевая глубин, и страшно было заглядывать в эту черную глубину.

Свирель запела на мосту, и яблони в цвету. Господи, как замираю я до сих пор от этих стихов! И стало страшно на мосту смотреть в такую глубину, в такую высоту. Вот я стою на мосту, и мне страшно — хотя чего я страшусь? Собственной ли пустоты?

Да, я не знаю, что такое добро и что — зло, но всю жизнь так никому и не осмелился в этом признаться. Я ценю лишь последовательность, лишь способность действовать вопреки самосохранению и прямой выгоде, лишь ритуал, альмекскую пляску на восходе. И чем он сложнее, тем для меня лучше — ибо тот, кто откажется подчиняться сложному, обречен подчиняться простому. Я хотел бы полной свободы, но она нужна мне лишь для того, чтобы с максимальной изобретательностью и упорством принуждать к чему-либо самого себя. Я хотел бы измышлять себе новые и новые трудности — но так, чтобы никто не ограничивал меня в моем изощренном самомучительстве. Главное же — теперь, побывав в обоих враждующих лагерях и в обоих не ужившись, я решительно перестая понимать, в чем между ними разница. Ни один из них не смог бы жить в государстве, построенном по их законам; им до объединения остался один шаг.

Что же нужно для этого объединения? Неужели только договориться об орфографии? Но, Боже мой, если все из-за меня, я готов уйти, устроиться, признать мои правила слишком сложными, — вы же видите, что я не уживаюсь ни с теми, ни с этими, и отменять меня, в конце концов, надумала еще особа царской крови Константин Александрович! Если вся эта катавасия из-за одной буквы, то черта ли в ней?

В конце концов, есть и третьи. Есть Льговский, Стечин и вся их веселая компания. Может быть, с ними, разрешающими себе все, я как-нибудь договорюсь; мне всегда казалось, что мое место на свалке, — и свалка, кажется, сейчас именно там. Скажем больше — эта свалка сейчас едва ли не самое уютное место.

И он отправился на Васильевский.

Свирель запела на мосту, и яблони в цвету... Скоро Елагин и Крестовский станут окончательно неотличимы — оба зарастут зеленью, и на обоих наступит недолгий северный рай. Только-то и разницы, что на Елагином стоят зеленые статуи, а на Крестовском — супрематические композиции. Боже, как прекрасны летние острова! Комариный зуд в воздухе, прыгающие, точно на ниточках подвешенные рои; долгие розовые закаты, запах воды — гладкой, серой; упоительное запустение, кущи, пущи, сонные травы... Как легко мне представить Аркадию! Почему-то Аркадия в моем воображении — всегда заброшена, пустынна, всегда подсвечена закатом. Я не могу себе представить цветущий, ухоженный край — непременно руины, усталость, грань между прекрасным увяданием и окончательным запустением. О, как я люблю, когда что-нибудь кончается, и как ненавижу, когда начинается! Как я не люблю просыпаться. Как я любил конец века, как пугало меня самодовольное начало века следующего, несущего в своих аэропланах, пароходах и усовершенствованных телефонных аппаратах собственную гибель!

Он прошел и мимо собственного дома, но почти ничего не почувствовал: дом был чужой, а Ять никогда не желал чужого. Разве что жалость кольнула ему сердце — но не к себе, а к дому, в стенах которого прежде велись разговоры, смеялись прелестные женщины, обитали призраки, порожденные его воображением, — а теперь кипят свары, сохнет белье, сапоги стучат по паркету... Дом словно глянул на него всеми окнами, послав мимолетную мольбу о спасении, — помощи, не я ли давал тебе некогда приют?! — но Ять покачал головой: что же я могу? Наверное, я был лучшим жильцом, чем новые; но прости меня, я бессилен. Пусть тебя

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

строили не для таких, как они, — но ведь еще неизвестно, кто кого переделает. Что с них спрашивать, они затопчут, изуродуют, исковыряют тебя наскальной живописью, захаркают подвезды, исцербят лестницу, по которой столько раз поднималась ко мне лучшая из лучших, а до и после — множество ее предвестниц и заместительниц; но и ты не будешь стоять памятником. Исподволь, незаметно, самим ритмом своих лестниц, закопченных лепнин и затоптанных паркетов, и тускнеющей мозаичной картиной на стене, и тайным благородством контуров, вплоть до ржавой башенки на крыше, ты проникнешь в их кровь и плоть, заставишь иначе двигаться и говорить, растворишься в них и победишь в конце концов, заставив их детей оттирать и заново белить твои высокие потолки, восстанавливать мозаику, замазывать ругань на стенах. Ты станешь им не домом, но миром, выполнив главную задачу прямых и ясных питерских улиц: ты выпрямишь кого угодно. В голосах захватчиков зазвучит неведомая прежде скромная гордость, в склоках появится страсть высокой трагедии. Дружелюбные призраки, созданные мной, войдут в их сны. Ты победишь, ибо сделан из камня, и потому у тебя есть время.

Ять вдруг подумал о старости этого режима, его бесильной и жалкой старости. Тогда что-то человеческое впервые проступит в нем, как проступает подобие души в осенней растительности. И, представив это будущее, почти примирился с ними, потому что пожалел их. Все они будут честнее к старости, и все одинаково будут чувствовать приближение много более страшной силы, еще более простой, чем они.

Что надумает эта сила? Чем переиродит она их отмену орфографии? Отменит даже такой простой закон, как «око за око», которым наверняка будет руководствоваться их юриспруденция? Упразднит ритуал приветствия? Придумает какой-нибудь упрощенный вариант половой потребности? Отменит размножение как таковое и все связанные с ним условности, ибо найдет способ размножаться без соития? Этого он не знал, но, как знает инженер, что внутри механизма действует еще более сложная и неоче-

видная схема, так и он за первой волной простоты видел бессчетное множество других, ни одна из которых не была ниже. Он боялся думать о конечном результате — но понимал, что эволюция эта не может быть бесконечна и что обратный путь только начат.

16

Кружок Львовского «Левей» был весной восемнадцатого года одним из самых посещаемых в Петрограде. Все наследники, последователи и последыши кратковременного ренессанса, вся молодежь, возросшая в околбогемных кругах и с пятнадцати лет пресытившаяся самым острым, что только было в литературе, все анемичные эстеты, не открывавшие Толстого, но наизусть цитировавшие Рембо, аполитичные апологеты разрушения, гурманы гнили, презиравшие жизнь в любых ее проявлениях, от реализма до деторождения, — все собирались в квартире сестер Калашиновых на Седьмой линии Васильевского острова. Трапезу обеспечивал Склярский, в прошлом владелец ресторана и по совместительству издатель журнала «Пространство», на всем пространстве которого преобладали его собственные сочинения и критика на них. Весной восемнадцатого года он умудрялся добывать вино, сыр и деревенскую сметану, не говоря уж о белом хлебе и сардинах; действие его графоманских романов происходило частично в далеком будущем, в захваченной Китаем России, а частично на Венере, где все страдали особым венерическим насморком. В кружке Львовского, где оценочные категории были начисто исключены из разговоров о литературе, его сочинения обсуждались всерьез, наравне с поэзией Клейнмихеля. Клейнмихель, в отличие от Склярского, не мог достать ни сардин, ни кокаина, но слушать его было очень смешно. Он писал без рифм, ритмов и оглядки на здравый смысл — главным образом о своих необузданных желаниях, числом два. Первое объяснялось возрастом поэта, второе — положением Петрограда в восемнадцатом году. Любовь и голод правили Клейнмихелем;

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

иногда они сливались, и тогда объектом фаллического куль-та становилась колбаса. Льговский обожал его слушать — не только потому, что вообще любил курьезы, уродства, шуточки природы, но и потому, что Неудовлетворенный (под этим псевдонимом Клейнмихель единственный раз напечатался, еще в семнадцатом году, в альманахе «Электричество») наглядно подтверждал его теорию об эволюции жанров. Лирики больше не было. Лирика была теперь — вот такая. После символистов немислимы были стихи в их классическом виде — слово утратило вес; акмеисты захотели было его нагрузить — но получалась либо приключенческая проза, либо несвязное, хоть и ангельское бормотание, либо, наконец, паразитирование на усадебном романе. Новую поэзию дал Клейнмихель: в ней говорилось о любви к пи-це, и тем самым порабоцающий, потребительский смысл любви выступал нагляднее. Слово воскрешалось за счет низких жанров; высокого и низкого больше не было. Пафос не работал; работали ирония или полный наив. Гликберг говорила об этом подробнее, Льговскому было скучно развивать собственные теории. Он их раздаривал. Крошка Зильбер смотрел ему в рот и все записывал, чтобы потом писать о Льговском гадости.

Все это Ять знал, и тем страннее была его надежда утешиться у Льговского. Он немало понаписал в шестнадцатом году (поразительно, на какую мелюзгу тратились последние мгновения перед крахом) об удивительной способности новых релятивистов подвергать сомнению все, кроме себя, быть терпимыми ко всему, кроме правды.

— Автор умер! — надрылся маленький очкастый Прошляков, автор книги путевых очерков о том, как его побил Д'Аннуцио и спустил с лестницы Метерлинк. Мало тебе Бога, которого столько раз до тебя схоронили, так у тебя и автор умер, подумал Ять: все умерли, экий жестокий мир... Прошляков был основным докладчиком вечера: схоронив последовательно Европу, роман, Россию и вот теперь автора, он яростно утверждал себя — поскольку только после смерти всего сколько-нибудь жизнеспособного его творения могли рассматриваться всерьез.

— В мое последнее посещение Венеции... — заходился докладчик, как будто не вылезал из Венеции. В последнее посещение мистического города докладчик открыл для себя скромную поэзию макарон и постиг, что это выше всякой лирики; стоило ездить в Венецию! Лучшим чтением Прошлякову представлялась поваренная книга.

Отчего-то особенно мерзка была эта борьба литературных амбиций во времена поистине роковые — хотя не он ли умилялся игрою в мяч накануне конца света? Дело было скорее в том, что для него эта игра в мяч была странной, но честной формой божественного служения, религией, если угодно, — тогда как в кружке Львовского и в большинстве петроградских левых кружков всячески старались, чтобы игра в мяч шла без правил, а по возможности и без мяча. Это-то Ять и рассматривал как посягательство на свою собственность.

Он, разумеется, опять не удержался и влез в длинный, нудный спор, снова оскорбив несчастного Валю Стечина, с которым вовсе не хотел ссориться; черт дернул Валю сказать, что ничего нового написать уже невозможно, а потому надо комбинировать цитаты. В той башне, высокой и тесной, царица Тамара жила, прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла. Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзшей воде, и яркое солнце играет в косматой ее бороде... Ять кинулся доказывать, что лишь полное бесплодие толкает их на все эти игры, включая самую серьезную из них — игру в литературную иерархию. «Ведь вы всего-навсего играете в бунт, и бунту вашему грош цена — потому что истинная революция делается не ради захвата власти; вам же нужна только власть, ибо литература представляет собой сравнительно удобную площадку — никто ни в чем не уверен... как в России два года назад!» — кричал он, и идиот Склярский, глядя на него бараными глазами из-под бараньих завитков шевелюры, немедленно сообщил, что и России никакой нет; и Ять, сам ловивший себя на подобных мыслях, взвился на дыбы, когда их высказал Склярский. Более же всего его бесили бутерброды с красной икрой — несчастный графоман и бывший ресторатор купил где-то по дешевке ог-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ромную партию жестоко пересоленной красной икры; странным образом это неуместное и вдобавок испорченное лакомство гармонировало с духом салона сестер Калашиновых, где портили все, к чему прикасались. Невыносимы были и сами сестры, постоянно влезавшие в разговор с нелепыми репликами и жеманным хохотом.

— А и в самом деле, Ять, — вмешался Льговский, одобрительно слушавший своих щенков; он после ухода из Крестовской коммуны и частичного перехода на склярские хлеба пополнял, заважничал, залоснился. — Вы ведь человек не глупый, как бы ни притворялись. Так какое вам дело, в сущности, до России? Это на Елагином или на Крестовском думают, будто ей до нас есть дело. А может быть, ее и нет давно, Петр добил. Много вы видели от нее добра? Била да обирала. Скажу вам больше, — ученики притихли, ловя откровение наставника, — в новом веке достоинство человека определяется его способностью абстрагироваться от всех этих великих и мертвых вещей. Будут завоевывать Россию — гори она огнем, будут громить Америку — туда и дорога. Ни одно слово не лучше другого, ни одна правда не права, ткни она мне под нос хоть двадцать мандатов. Есть сила — я уважаю и чувствую силу; но правда? Увольте, это вымысел.

— Ага! — наконец поймал его Ять. — Значит, силу вы все-таки уважаете?

— Конечно, потому что я сам сила, — спокойно ответил Льговский.

— А правды, стало быть, нет.

— И не было никогда. Есть литературные стратегии...

— Да, да, — кивнул Ять. — Узнаю, как же иначе. Давайте спорить о литературных стратегиях, о прибылях, о тиражах, о журналах, о том, что синематографы вытесняют литературу... Только о самой литературе спорить нельзя — верно? Ведь нас интересует не качество сочинения, а первенство... Тьфу! Еще немного, и я начну доказывать вам бытие Божье.

— Или преимущества советской власти, — подхватил Льговский. — Это примерно одно и то же.

— Ну, вряд ли...

— Да именно так. Приверженность всякой правде рано или поздно приведет к крови, к делению на своих и чужих, всякая вера есть уже инквизиция... Лично я верю только в то, что нельзя никому ничего навязывать.

— Отчего-то я чувствую, что как только вы это внушите всем — тут же и навяжете собственную иерархию. Так всегда делается. Именно ваш релятивизм и торит дорожку еще не виданному тирану...

— Вовсе нет, — обиделся Львовский, стараясь, однако, говорить снисходительно и высокомерно. — Для меня нет иерархии, какой же тут тиран? Для меня и шляпная картонка — факт искусства, и банка сардин — предмет анализа. Либерализм, может быть, и плох, но ничего лучше не придумано. Безопасней верить в брюхо, как солнышко наше Клейнмихель (челядь хохотнула), нежели в великие абстракции. Всякое величие — это такая же безвкусица, как Библия. Перечитывал недавно — очень плохо написано. Так плохо в самом деле может писать только Бог, заранее уверенный, что его никто не осмелится критиковать. — Львовский был убежден, что завтра же эта его сентенция будет у всех на устах; такие парадоксы он готов был испекать по дюжине в день.

— Да что ты ему объясняешь! — подобострастно выкрикнул Прошляков. — Бисер еще метать, в самом деле...

— И действительно, — поднялся Ять, — не тратьте бисера. После елагинцев и крестовцев к вам еще можно забрести, отдохнуть пару часов... но после вас так и хочется, честное слово, пойти на какую-нибудь демонстрацию и по возможности погибнуть на баррикадах.

Он ушел и во втором часу осторожно открыл своим ключом дверь Клингенмайеровой лавки. Львовский после его ухода вздохнул с облегчением. Таким людям нельзя доверять делание литературы. Они отгородились от реальности системой предрассудков и полагают, что предрассудки заменяют им мораль. А что им вообще известно про мораль? Трусость — и больше ничего; в половине пятого он ушел спать с Милой Калашиниковой.

Но на демонстрацию Ять не пошел. Как ни мерзостен релятивизм, это еще не повод в знак протеста кидаться в любой из враждующих станов. Холодный день первого мая Ять провел над своей рукописью, теперь уж точно никому не нужной; но никому не нужная рукопись в любом случае лучше, чем никому не нужная демонстрация.

17

Первомайская демонстрация, к которой так долго готовились обитатели Елагина и Крестовского островов, а также вся петроградская народная милиция, прошла не совсем так, как ожидали жители бывшей столицы (впрочем, и социалистическая революция, о которой так долго говорили большевики, произошла не так, как они говорили). Начать с того, что конец апреля восемнадцатого года выдался неожиданно холодным, идилично ясные дни сменились беспросветными, а тридцатого апреля сыпанул мелкий снег, окончательно уверивший петроградцев, что новая власть не может обещать даже и того тепла, которое раньше изливалось на землю само собою. Шутили уже, что солнечная энергия переключена на Москву, куда уехало правительство, и что при большевиках дров не хватает даже Господу; шуточки эти, однако, не поднимали настроения. Город, красно украшенный к празднику, обрел вид жалкий и нелепый, как прифрантившаяся пожилая Мими, тщетно расхваливающая свои прелести.

Тем не менее готовились вовсю. Апфельбаум приказал вывесить по всему Невскому транспаранты (большую часть их нарисовали крестовцы по особому заданию из Смольного). Новый градоначальник не учел длины Невского, приказав натянуть кумач через каждые двести метров и заказав всего восемь лозунгов; пришлось срочно дорисовывать еще двенадцать — в ночь с тридцатого на первое вся коммуна, ползая на карачках, писала серебряной краской (белая кончи-

лась) спешно выдумываемые девизы и призывы: «Слушай, небо, слушай, Земля, нашу команду лево руля!» (из недавнего корабельниковского стихотворения «Матросам»), «Чтоб свобода не сдохла с голоду, хлеба дай, деревня, городу!» и что-то еще про пулю в пуп Антанте.

Одновременно елагинцы всю ночь обсуждали роковой вопрос: как выйти на демонстрацию, не проходя при этом мимо прилукинской дачи, чтобы не трагично запал на локальную стычку? Столкновение двух демонстраций (или по крайней мере их демонстративное презрение друг к другу) должны были увидеть в городе — что толку воевать на островах; Извольский предложил перейти на Выборгскую сторону и оттуда по набережной дойти до Петроградской, а потом двинуться к Невскому, — но Хмелев возразил, что по Выборгской сплошным потоком двинется пролетариат (район заводской, пусть даже ни один завод не работает). Решили идти через Каменный остров, скрытно.

Апфельбаум больше всего боялся вооруженного столкновения или иной провокации; в душе он скорее желал чего-то подобного, чтобы при первых же беспорядках перейти к самому безжалостному террору, — но команды насчет террора не было, а сам он не чувствовал себя вправе проявлять инициативу: в случае чего его легко можно было сделать крайним. Он ограничился приказом к народной милиции встать вдоль Невского сплошной цепью и сдерживать толпу, — но сдерживать было некого, обыватели сидели дома. Сыпался мелкий мокрый снежок, налетал порывами отвратительный ветер, трудящиеся вышли на улицы без всякой охоты — демонстрация не задавалась с самого начала. Чарнолуский собирался говорить речь у братских могил на Марсовом поле, после чего, отдав последний долг пролетарскому элементу, погибшему за свободу всего человечества, колонны должны были двинуться по Невскому на Дворцовую площадь; там планировался второй, более оптимистический митинг и народное

гулянье с песнями. Петь мобилизовали солистов Мариинского театра — фрагменты из революционной оперы «Дон Карлос» и несколько новых песен на стихи пролетарских поэтов. В заключение праздника предполагалось под открытым небом разыграть народную драму зверски замученного испанского революционера Лопе де Веги «Овечий источник» (Корабельников только что лбом не бился о стены Смольного, чтобы разыграли его мистерию, клялся один исполнить все роли, включая бабушку Вельзевула, — но утверждён был замученный де Вега как более понятный массам).

На Марсово поле пришло человек триста — агитаторы умудрились-таки сбить из питерского пролетариата несколько колонн. Чарнолуский сказал получасовую речь (как всегда, в процессе словоизвержения он холода не чувствовал). По ходу речи он осип, в голосе его появилась скорбная глуховатость, и сам нарком под конец чуть не плакал, призывая превосходную будущую жизнь, которой не увидят павшие борцы; он сочно, с подробностями, как Собакевич своих мертвых крепостных, расписал борцов, которые, павши, расцвели всеми возможными добродетелями; все это было тем более печально, что в могилах на Марсовом поле лежали в основном люди, убитые случайно и никакого отношения к пролетариату не имевшие. Договорив, Чарнолуский уехал на автомобиле — его ждали неотложные дела, и прежде всего горячий чай. Надо было беречь голос, главное оружие революционного оратора.

Крестовцы между тем, шатаясь от бессонной ночи, небольшой колонной двинулись по Петроградской стороне, миновали Васильевский и вышли на Университетскую набережную. Они тащили с собой две супрематические конструкции, а Корабельников в последнюю ночь в одиночку намалевал гигантский лозунг «Кто поет не с нами, тот поет плохо». Здесь их остановил патруль, резонно заметив, что празднует сегодня пролетарский элемент, а хулиганствующий эле-

мент должен сидеть дома. Корабельников показал мандат, но подпись Чарнолуского на патруль не подействовала. Пospорили, покpичали и повернули; Барцев утверждал, что он знает другой путь. Долго плутали по Васильевскому и перешли наконец через Неву, но добираться до Невского проспекта пришлось вдвое дольше. Колонна крестовцев подошла к перекрытому проспекту лишь к двум часам пополудни, когда бледное солнце чуть показалось в оловянных тучах и снова исчезло. Как раз в это время по проспекту чинно шла колонна попов-обновленцев с Алексеем Галицким во главе. Галицкий исполнял вперемешку «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и фрагменты пасхального богослужения, а Соломин — единственный крестовец, попавший на Невский, ибо он пошел с обновленцами, — гордо нес плакат «Красной России — красную Пасху».

Елагинцы тихо прошли в десятом часу утра через Каменный мост и пристроились к хвосту пролетарской колонны, двигавшейся по набережной; они шли вдоль молчащих рыжих заводов и осыпающихся зданий (и многие тайно подумали, что пересидеть зиму во дворце было еще подарком судьбы); наконец, час спустя, колонна вышла к Марсову полю. Слушать Чарнолуского елагинцы не стали и двинулись на оцепленный Невский, куда в тот момент выходила колонна дерюгинского завода, опоздавшая на митинг. Во главе дерюгинской колонны шел военный оркестр, выдававший «Интернационал». Под эти гордые звуки елагинцы, морщась, прошествовали на проспект и тут думали отделиться от заводчан, но сзади их уже нагоняла — в силу вечной петроградской путаницы — колонна чихачевской мануфактуры. Пришлось пристроиться к дерюгинцам и развернуть свои плакаты; так они и пошли в едином строю — впереди металлурги под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а следом профессура под транспарантами «Позор невежеству!», «Долой бесчеловечный гнет!» и «Да здрав-

ствует свободная наука!». Как и требовал Извольский, никаких оскорбительных выпадов в адрес Ленина или Бронштейна не было: глава елагинцев не возражал против ареста одного-двух профессоров, но вовсе не желал разгона всей «Лавки искусств», начавшей приносить серьезный доход. Таким образом, лозунги елагинцев органично смотрелись в заводской колонне, а требование покрыть позором бесчеловечный гнет воспринималось как проклятие в адрес кровавой буржуазии; разумеется, все их плакаты писаны были по старой орфографии, но и лозунг насчет пролетариев всех стран, изготовленный старыми грамотными рабочими, был оформлен так же, со всеми причитающимися ерами и гордым ятем в середине «всех».

Оркестр исчерпал запасы революционной музыки и играл все марши подряд, начиная с «Прощания славянки» и кончая несколько осуровленным для пролетарской серьезности маршем-буфф из гала-представления борцовского клуба Ивана Заикина. Немногочисленные зеваки из-за спин народной милиции глядели на потешное шествие. Колонны дерюгинцев, елагинцев, чихачевцев, путиловцев и березинцев вышли на Дворцовую площадь, где на импровизированную трибуну восходил все тот же нарком Чарнолуцкий: приехав в Смольный, он узнал, что певцы из Мариинки боятся застудить горло, исполняя «Дон Карлоса» при такой погоде; нарком кинулся в автомобиль и понесся произносить очередную речь, чтобы пролетариат не топтался в недоумении перед пустой трибуной. Поняв, что от наркома никуда не деться, а концерт с гулянием отменяется, пролетариат хотел было разойтись — но тут среди речи Чарнолуцкого о предсмертных судорогах буржуазии оркестранты грянули «Марсельезу», и оркестр двинулся по Невскому в обратном направлении; вся демонстрация продефилировала за ним, как крысы за дудочкой. Нарком слез с трибуны и поехал в Смольный.

После «Марсельезы» оркестранты совершенно распоясались и заиграли марш из оперетты «Поцелуй тигрессу». На бравую музыку сбежался деклассированный элемент, и, пока крестовцы во главе с Корабельниковым тщетно пытались прорваться на Невский сквозь оцепление, с другой стороны проспекта на мостовую беспрепятственно сыпалась темная публика, с утра успевшая надраться. Вслед за пролетарскими колоннами двинулось карнавальное шествие: толстые краснорожие бабы, угрюмые желтолицые нищие в отрепьях, уроды, инвалиды, странно приплясывающие на ходу; весь этот парад прокаженных сопровождался пением похабнейших частушек, среди которых с неправильной периодичностью возникал один и тот же припев — его навзрыд визжала самая толстая баба:

— Эх, титесь!
 Да раскатитесь!
 Я дала вам три разá -
 Расплатитесь!

Это «Эх, титесь!» долго еще стояло в ушах у Елагинской коммуны. Дважды пройдясь туда-сюда по Невскому и не встретив противников, елагинцы в четвертом часу дня отправились восвояси. Хмелев приказал при возвращении на Елагин транспаранты не сворачивать — и удостоился похвалы от шагавших навстречу матросов: правильно, дедушка, долой гнет! Крестовцев же, главных сторонников новой власти, так никуда и не выпустили. Корабельников с командой дождался пяти, когда оцепление было снято, и под мокрым снегом, всем назло, промаршировали-таки по безлюдному Невскому со своими плакатами, кругами и квадратами. Девушки поголовно простудились, Корабельников был мрачен как никогда, и только крестьянский поэт Конкин пребывал в эйфории — город явно рехнулся, и скоро Россия станет сплошь деревенской.

Так закончилась петроградская майская демонстрация 1918 года.

18

В ночь на девятое мая Оскольцеву был сон.

Ему снились Гротов, Кошкарев, Шергин, Ватагин, Гуденброк, Бельчевский — все, кого он помнил и во сне почему-то очень любил. В них появилась какая-то удивительная кротость, не свойственная живым. В Ватагине больше не было ничего от хрипло ревушего быка, влекомого на бойню; глазки его лучились добротой. Гуденброк показывал свой наконец-то извлеченный зуб.

— Не больно, ни чуточки не больно! — приговаривал он.

— Не больно, — кивали Кошкарев и Шергин. — Non dolet!

— Я зайчик, я зайчик! — весело вскрикивал Бельчевский, прыгая по огромному зеленому лугу.

— Если бы все знали, никто бы не боялся, — печально сказал Гротов. — Так ведь всегда. И если бы никто не боялся, как было бы хорошо.

— Такая была бы жизнь, — кивнул Гуденброк.

— Уж это будьте уверены, — басил Ватагин. На ладони у него почему-то было яйцо.

Наверное, Пасха, подумал Оскольцев.

Он проснулся в слезах и лежал так некоторое время, думая о том, что вот наконец и прорвался к истинному себе — мозг за отсутствием другой пищи полгода жрал сам себя и проел наконец дыру в той стене, которая отделяла Оскольцева живого от Оскольцева настоящего. Надо было всего только умереть, потому что живое слишком многим отягощено, а мертвое ничего не боится, сохраняя при этом все лучшее, что было в живом. Это надо было продумать, и он снова закрыл глаза.

Каждый режим можно было принять только в его смерти, в его смертности, потому что ни в чем другом человеческое не проявляется. Сама идея бессмертия была нечеловеческой, потому что происходила из природы. Движение по бесконечной прямой есть то же движение по кругу. Человеческой была только обреченность, сама идея конечности. И потому со всякой надеждой на бессмертие приходилось проститься.

Именно Божественная мудрость мироустройства наводила на мысль о полной взаимной отчужденности Бога и человека, потому что помыслить вечное Божество в детстве или юности казалось немислимо. Оно всегда с самого начала знало все, и начала, и концы, и устройство топоиноного семени, и секрет вечного воспроизводства злака, дерева, плода. Но такое Божество никогда не поняло бы Оскольцева и не простило его. Ему чужда была сама идея прощения — то ли дело проращение, воспроизводство, прирост. И за этим Богом Оскольцеву всегда рисовался другой — справедливейший, чело-вечнейший, — и даже в самый миг единственной своей (он верил, что туда на прием попадаешь единожды) встречи с верховным Божеством он был бы уверен, что, если божество это его осудит, за ним есть какой-то другой, его собственный Бог, который все поймет и простит.

Но поскольку такой всепрощающий Бог рисовался всякому, даже и последнему злодею, даже и Бродскому, который не верил ни в какого Бога, — примирить все эти одинаково страстные и одинаково обреченные хотения могла только немота, пустота, окончательное небытие, в котором все оказались бы наконец равны. И надо же было чем-нибудь отличаться от природы! Чтобы отличаться, надо было умереть.

Он только теперь понял, что смысл грехопадения, самая суть отпадения человека от Бога в том и заключалась, что человек выбрал смерть, выйдя из бесконечного райского полдня. Ведь в раю не было ночи. В раю стоял вечный блаженный день, а верней, особое время без ночи и дня, какое рисовалось ему по гравюрам Доре к Мильтону в старом издании «Потерянного рая». Там клубились какие-то бесконечные дымные облака, а расширяющиеся, косо расходящиеся лучи света боролись с довременной тьмой, но борьба эта больше всего напоминала игру двух равных, невозможных друг без друга начал. То, играючи, одолевал свет, то, дружелюбно пугая, наступала тьма. Между дымными тучами и дымными лучами была лишь иллюзорная, несущественная разница. И только человек сошел с этого черно-белого, а по сути, одноцветного поля, не пожелав вечности. В его особости и заключался грех, который нельзя было поправить никаким Новым Заветом: Новый Завет как раз и был отчаянной попыткой противопоставить

этой вечной жизни вечную смерть, против крута выставить крест, но ничего, кроме одинокой гордости отверженного, этот выбор не сулил человеку. Но уж при такой гордости всякую надежду следовало оставить.

19

Грэм появился неожиданно, как всегда, и первым делом направил стопы в лавку Клингенмайера, где в задней комнате сидел над рукописью Ять. Грэм вошел просто и буднично, но так необъяснимо было все в нем, что спрашивать о будничных делах не хотелось. Какой смысл спрашивать человека, прилетевшего с Луны, как он сюда попал и хороша ли была дорога?

— А что немцы? — все-таки спросил Ять.

— Немцы как немцы, — пожал плечами Грэм. — До того, чтобы убивать местное население, пока не снисходят.

— Как вы выбрались оттуда?

— Частью пешком, частью верхом. Скажите, а можно ли сейчас в Петрограде иметь к о м н а т у? Есть ли еще Елагинская коммуна?

— Коммуна есть, но публика там совсем с ума посходила, — махнул рукой Ять. — Приходите, живите... если пустят. Я попробовал, но очень быстро стал задыхаться.

— Главное для меня — немного пропитания и покоя, чтобы написать феерию, — пояснил Грэм. — В голове она готова совершенно, вся.

— Ну, попробуйте. Я туда больше не ходок.

Остановить Грэма, однако, не удавалось еще никому. Он сходил на Елагин и вернулся в превосходном настроении.

— Знаете ли вы, что там с в а д ь б а? — спросил он Ятя.

— Не знаю, я неделю там не был.

— Очень напрасно, — со значением сказал Грэм. — Там двое с двух островов полюбили друг друга...

— Про это я знаю, — вставил Ять.

— И организуется свадьба, — важно продолжал Грэм. — Так будет хорошо, думаю. Так будет феерично. Нашлись еще двое, которые хотят сделать из этой свадьбы великое переми-

рие. И даже если оно будет ненадолго, то в ночь на пятнадцатое мая в любом случае будет х о р о ш о.

— Неужели на эту свадьбу пойдут елагинцы? — не поверил Ять.

— Не все, конечно, — кивнул Грэм, — но есть среди них публицист Ловецкий, человек недурной и давно мне известный. Он делает — и сделает, я думаю, славно. Вы пойдете?

— Разумеется — просто чтобы убедиться, что такое возможно.

— Я — верю, — Грэм поднял палец. — Такие вещи проще, чем кажется.

— Что же вы им подарите? — задумчиво произнес Клингенмайер вечером, когда они, все трое, сидели в задней комнате его лавки и пили кофе по-арабски.

— Не знаю, право. Я об этом не думал. Знаете, это все так неожиданно вышло...

— То-то и оно, что неожиданно. И я даже знаю, как все это вышло. Но вы, несомненно, поймете потом: объяснять вам сейчас — только портить дело. Надо бы осмотреть шкафы — на свадьбу без талисмана ходить не принято, а у меня, несомненно, есть кое-что для молодых... Знаете вы, что самый драгоценный талисман — тот, что удерживает людей вместе? Впрочем, иные рады бы от таких избавиться любой ценой, но это та порода талисманов, которая, раз привязавшись, никогда уже вас не оставит. Боюсь, и вас с вашей Таней связывает нечто подобное.

— Я ничего волшебного не дарил ей.

— Откуда же вам знать? На вещи не написано... Ну-с, приступим, — поправив очки, собиратель подошел к заветному шкафу, который на памяти Ятя не открывался никогда. Для начала он отпер шкаф — там было пусто; затем нажал на потайную дощечку, и в задней стене открылся тайник. Там лежало не больше десятка пакетов и свертков; один из них Клингенмайер решительно извлек, после чего так же тщательно запер сокровищницу. — Полагаю, — задумчиво произнес он, — что этой вещи пора снова выйти в мир. Довольно уже я держал ее у себя — прятать не прятать, в тайнике она теряет

силу. Жаль выпускать, но не выпустишь — потеряешь. Отнесите им это, Ять. И скажите, что теперь они спаяны навеки — как те германские полушария, на которые давила вся сила мира.

Ять взял сверток. В руках у него была альмекская флейта.

20

Утром десятого мая Оскольцеву дали сахар. Это был конец.

Он не видел сахара с Нового года, с большой праздничной передачи от отца. Ясно было, что так решили подсахарить пулю, последнюю свинцовую пулю. Мысль о гибели так прочно соединилась в его сознании с сахаром, что он решил: есть не буду. И сунул кусок в карман истрепанного пиджачишки.

Восьмого мая Оскольцева вызвали на последний допрос. Следователь опять тянул, мялся, предлагал папиросы и несколько растерялся от того, что последний заключенный семнадцатой камеры ни на что в этот раз не жаловался, ничего не требовал.

— У вас нет пожеланий? — спросил он, в очередной раз потянувшись.

— Если вы намерены меня расстрелять, — спокойно ответил Оскольцев, — поторопитесь, потому что иначе я могу умереть и сам. Меня в самом деле тут больше ничто не держит.

Следователь улыбнулся.

— Ну, это вы торопитесь, с расстрелом-то... Дело ваше окончено. Больше не увидимся.

Оскольцев с радостью почувствовал, что не боится. Кивнул, и всё. Увели. В усмешках конвоиров ему почудилось на сей раз скрытое одобрение. Молодцом.

Теперь, стало быть, ему придумали последнее утешение (или последнюю попытку — поешь, мол, сахарку, чтоб пожалыше было расставаться с прекрасным миром, в котором бывает так сладко). Обеда не было —

послышались шаги, стальной скрежет ключа и ожидаемое «Оскольцев, на выход!».

Это было совершенно так, как он и предполагал, — и тем не менее собственные ноги казались ему ватными, движения — суетливыми, лицо — дрожащим. Смысл жизни — в смерти. Иди, ты должен наконец сделать то, для чего родился. Ничего другого тебе не остается — умри как человек. Но это все слова, а тело есть тело, и оно не хочет умирать. Тело ропщет, и ему страшно. Он едва нашел в себе силы встать и выйти.

Коридор; к следователю водили налево — теперь направо. Что, если тут и шлепнут, как они это называют? Он слышал, что могут шлепнуть прямо в коридоре, без всякого зачтения приговора, без всякой стенки... Остановились перед дверью; за ней в ярко освещенном кабинете сидел незнакомый в штатском. Свет был почему-то зеленый. Вероятно, перед смертью всех заводят в эту камеру с зеленым светом. Последняя фотография или еще какая-то формальность? Секунду спустя Оскольцев разглядел, что никакого света в кабинете нет — это зелень за окном, от которой он совершенно отвык; прогулки были в каменном дворе, где не росло ни деревца. Окно было зарешеченное, но большое, живое, стеклянное, — он давно, очень давно не видел такого.

— Ознакомьтесь, гражданин Оскольцев, — сказал гражданский сухо.

Убивать надо без сантиментов. Оскольцев попробовал сделать шаг к его столу — ноги приросли к полу; штатский встал, подошел и вручил ему бумагу. Не дрожать! Оскольцев взял, но читать не мог.

— Прочтите сами, — сказал он еле слышно. Штатский махнул рукой: а, формальность.

— Следствие по вашему делу закончено, — сказал он, — вы можете быть свободны. Распишитесь об ознакомлении.

Оскольцев подошел к столу, расписался и умер.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Когда он воскрес, над ним с грязным мокрым полотенцем стоял штатский, а сам он лежал на полу, не чувствуя боли от разбитого затылка.

— Ну что вы как барышня, — брезгливо сказал штатский. — Можно подумать, вас мучили здесь.

— Нет, нет, — блаженно улыбаясь, произнес Оскольцев, — что вы.

— Вещи с вами? — грубо спросил штатский.

— Да, да... были со мной.

— Вы можете идти по месту своего жительства, — торжественно произнес вершитель судеб.

— Разрешите спросить, — пролепетал Оскольцев.

Штатский кивнул.

— Могу я знать, какова судьба... моих друзей? — Он забыл слово «сокамерники».

— Откуда же я могу знать о судьбе ваших друзей. Я отвечаю только за арестованных.

— Я о них и спрашиваю... Ватагин, Гротов...

— Их дела закончены раньше, поскольку они активно сотрудничали со следствием, в отличие от вас, — назидательно пояснил штатский. — Относительно вас нам все пришлось узнавать самим. Вы не участвовали в преступлениях царского режима и можете быть свободны. Советская власть карает только врагов. Надеюсь, когда-нибудь вы поймете этот гуманизм.

— О да, — прошептал Оскольцев, с трудом сдерживая слезы. — О да...

Пока его выводили за ворота, пока шел мимо пушек, мимо высоких каменных стен — еще не верил и не позволял себе думать; если не закончить ни одной мысли — есть шанс в самом деле выйти живым. Его толкнули в спину, он вышел, ворота захлопнулись. Некоторое время он шел вперед по инерции движения — как можно дальше от крепости, не видеть, уйти из поля зрения, чтобы не могли передумать. По Кронверкскому мосту, по набережной, вглубь, какие-то дома, зе-

лень. В тихом дворе, среди чириканья и щебета, теней и травы, он замер и в первый раз вдохнул всей грудью.

Нет, меня все-таки убили. Этого не может быть.

Однако все это было, и он, час тому назад приговоренный, стоял теперь в одном из двориков Васильевского острова, свободный, помилованный и, вероятно, теперь бессмертный. Был божественно ясный, непредставимо теплый день, и тысяча забытых звуков и запахов лезли отовсюду в страшно сузившийся мир Оскольцева, лезли и рвали его на куски. Оболочка трещала по швам. Мир раздвигался, надвигался отовсюду, оглушал звуками — шлепало на ветру мокрое белье, вынесенное во двор, продребезжал вдали автомобиль, ни на миг не смолкали птицы, певшие ему, только ему — проснись, очнись, поверь, что все это с тобою! Он шурился, жмурился, крутился на каблуках. Мимо пробежал мальчик, он оглянулся на Оскольцева, замедлил бег и подошел полюбоваться смешным сумасшедшим. Можно подразнить его или еще как-нибудь развлечься. Смешной сумасшедший вынул из кармана пиджачка кусок серого сахара и протянул мальчику. Мальчик схватил сахар и убежал, не поблагодарив. Оскольцев расхохотался: я освободил сахар! Сахар вышел со мной на свободу!

Хотелось сесть на землю, и он сел на землю, но тут же вскочил: вдруг нельзя? Мысль о повторном аресте обожгла его, как глоток кислоты; но тут же этот страх утонул в море всепоглощающего счастья, в океане блаженства. Нет, нет, никогда. И как я смел думать, что умру весь? Бессмертие шумело, хлопало и плескалось вокруг; милосердный прохладный ветер дунул ему в лицо, принес гниловатый запах воды и пыли, запах Невы. Как я мог, как смел допустить свою смертность на этом пиршестве вечной жизни? О, когда мы больны и испуганы, с какой позорной легкостью отрекаемся мы от Тебя, — забыв, что Ты на любой случай предуготовил спасение, о любой вероятности подумал и для каждого разбил спасительный парк с листьями и тенями! Как мог я усомниться в Тебе.

Следующая мысль его была об отце; да, да, разумеется! Как я смел не подумать об отце сразу же, в первое мгновение, как мерзок эгоизм тела, выпущенного из тисков страха! И он, шатаясь, спотыкаясь, не разбирая пути, побрел (а ему казалось — побежал) туда, в глубину сквера, к арке, затем — по незнакомой узкой улице, куда-то вверх, вверх... Надо было на Съезжинскую. Ах, ведь и совсем нет денег, не подзовешь извозчика... Путь до Съезжинской занял у него два часа — он отвык ходить, то и дело останавливался и до боли в груди дышал. Зеленое вещество петроградской весны наполняло его, разрывало легкие, проникало в кровь; и с каждым шагом он обретал силу. То снимал, то надевал очки, ничего не видел от слез. Было бы бесчеловечно, невысказанно, неслыханно, если бы отец не дождался его!

И отец дождался; каждую ступеньку одолевая по минуте, на каждой задерживаясь, боясь, молясь, Оскольцев влез на второй этаж. Брякнул звонок. Послышались шаркающие шаги.

— Отец, я вернулся, — прошептал Оскольцев.

Дверь открылась. Он никогда еще не видел отца таким жалким — Боже мой, что осталось от него! Он, бывший когда-то воплощением спокойной силы, твердости и самодостаточности, теперь едва ходил, порыв ветра сбил бы его с ног, он постоянно щурился и, кажется, не сразу узнал сына в этом бордате, отощавшем госте с огромными кругами под глазами.

— Ви... теч... ка, — выговорил он наконец.

21

Казарин извлек из запасников коричневый, прожженный в нескольких местах бант — тот самый, в котором его как-то увидел Фельдман и заметил: «Да вы совсем франтом!» Хламида был в черной хламиде неизвестного происхождения, придававшей ему чрезвычайно торжественный вид.

Да и случай был подходящий — свадьба случается не каждый день.

Наотрез отказались прийти только Хмелев и Корабельников — два последних оплота враждующих коммун. Краминов и Ловецкий, наслаждаясь легальным общением, хлопотали у скатерти, расстеленной посреди моста. Погода в свадебный вечер выдалась на диво: после внезапного снегопада по случаю демонстрации, после промозглых холодов первой майской недели пришло настоящее тепло, начала расправляться и оживать побитая снегом трава, — и хотя на липах вокруг яхт-клуба молодые листья висели бледно-зелеными тряпочками, дубы на Масляном лугу выпустили крепкую, свежую листву. Ночи уже почти не было — темная синева удерживалась на небе только в самое глухое время с двух до трех, и уже в четыре бледно золотился восток. Вечер четырнадцатого мая был теплый, бледно-сиреневый и словно застывший: недвижно сиял бледный свет над стрелкой Елагина острова, и недвижно стоял лес на Крестовском; все замерло в блаженстве и томлении.

Они почти одновременно, попарно спускались к воде и располагались на мосту, соединявшем острова: Алексеев и Конкин, Борисов и Долгушов, Фельдман и Горбунов, Комаров и Соломин... Хламида прикатил на извозчике с неизменным ящиком вина. Ять явился, когда на скатерти было уже расставлено царское, по меркам восемнадцатого года, угощение: соленые огурцы, сало, небольшой кусок ветчины, сыр (который на складе у Шраера заплесневел, и торговец теперь выдавал его за рокфор); елагинские спекулянты расщедрились, умилившись событию, и извлекли из запасов изюм и даже окаменевший рахат-лукум. Молодых еще не было — они, по замыслу организаторов церемонии, совпадавшему с их собственным желанием, должны были появиться не сразу, дабы возможная все-таки перепалка между враждующими лагерями не омрачила им праздника. Никакой перепалки, однако, не возникало: все сидели молча по разным сторонам моста. Молчание уже становилось неловким, когда его басовито нарушил Борисов:

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Из чресл враждебных, под звездой злосчастной,
Любовников чета произошла...

Смирившись пред судьбою их ужасной,
Вражда отцов с их смертью умерла, —

подхватил Ловецкий.

— А что, господа, ежели бы Карамзин был не седой историкограф, а прелестная женщина в расцвете сил? — обращаясь как будто к одним крестовцам, но на деле ожидая встречной елагинской реплики, предположил Краминов. — Ведь, пожалуй, Шишков не устоял бы, и гуляла бы «Беседа» на свадьбе с «Арзамасом»!

Елагинцы молчали.

— Да что уж! — внезапно сказал Горбунов. — Дело молодое. Не думайте, что уж насовсем мир... но на один вечер по такому случаю можно и сойтись.

— Да зачем же мир насовсем! — горячо заговорил Борисов, переходя на елагинскую сторону моста и усаживаясь рядом с Горбуновым. — Вечный мир в гробу, а живым можно и должно спорить.

— Ежели соль перестанет быть соленою, — солидарно прогудел Соломин, — так ее останется выбросить вон на по-пранье людям!

— Если мы перестанем спорить, — продолжал Борисов, — нас ведь тут же передавят. Либо мы против вас, либо какой-нибудь Иван Грозный против всех!

— Так что ж вы этому Грозному пятки-то лижете?! — не выдержал Алексеев. — Если всё понимаете, что ж вы с ним заодно — вот я чего в толк не возьму!

Это была уже почти победа — начинался жестокий, но живой спор, который всегда предпочтительнее отчуждения.

— Да ведь мы не с ним заодно, это он случайно согласен с нами, — присоединился к Борисову Краминов. — Вы же видите — нам от них никакой выгоды, и хватают они всех без разбору — что наших, что ваших. Мы для них неотличимы. Сегодня глаза друг другу выцарапываем, а завтра рядом болтаемся.

— Стало быть, ежели нас завтра разгонят или пересажуют — вы в оппозицию уйдете? — не унимался Алексеев.

— Куда нам уходить, мы и так... — махнул рукой Борисов, не уточняя, что именно «и так».

В этот момент спор прервался, ибо со стороны Елагина острова к мосту приближалась Ашхарумова в белом платье под руку с Барцевым в широком даже для него сюртуке, который где-то раздобыл всемогущий Извольский. Сам Извольский, в безупречном костюме, сияя улыбкой, шел чуть поодаль.

— И он тут! — ахнул Алексеев. — Неужели и его уломали?

— Что ж было и уламывать, — скромно улыбнулся Соломин. — Человек деловой, понимает... Я, господа, так вам скажу: наши с вами споры — одно дело, а судьба России — другое дело. И сейчас, когда судьба России решается на наших глазах...

— На наших глазах сейчас решается совершенно другая судьба! — поспешно перебил его Ловецкий. — Мы здесь собрались не Россию спасать, а выпить за здоровье молодых.

— От которых, надеюсь, Россия прирастет россиянами, — поддержал Краминов. — Посему предлагаю разлить и встретить нашу пару стоя!

Льговский вытащил бумажную пробку из гулко бултыхающей бутылки спирта и принялся наливать в алюминиевые кружки, которые четыре месяца назад в изобилии завезли в Елагин дворец по приказу наркома. Бутылъ он реквизирует у Кутельмана, заглянув в «Паризиану» за час до торжества.

— Поднимем бокалы, содвинем их разом! — возгласил Горбунов.

— Лошадку ведет под узды мужичок! — подмигнул Ловецкий, указывая на приближающуюся пару.

— Да здравствуют музы, да здравствует разум, в больших рукавицах, а сам с ноготок! — захохотал Краминов.

— Виват молодым! — закричал Конкин. — Исполать!

Барцев раскланялся. Ашхарумова сияла черными глазами. Ять мельком посмотрел на все еще молчащего Казарина — тот не сводил с нее глаз, но во взгляде этом Ять не мог прочесть ни восхищения, ни ненависти, а только жадную тоску.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Так, должно быть, путник в пустыне смотрит на прозрачный ключ, не зная еще, впрямь он играет у ног или кажется. Казарин словно напивался от нее жизнью и силой, но и жизнь, и сила были чужие, а потому не утоляли его.

— Горько, — негромко сказал он, и Ашхарумова одарила его сияющим благодарным взором.

— Горько! — крикнул чей-то высокий голос, почти фальцет, из глубины Елагина острова: к мосту быстро, спотыкаясь и оскальзываясь с непривычки, шел Оскольцев.

— Виктор Александрыч! — радостно приветствовал его Краминов. — Вот ведь, как чувствовал. Сюда, сюда скорей!

— Да успеете поздороваться, — осадил его Соломин. — Паша, или вы оглохли от радости? Говорю вам, нам всем горько!

Барцев не заставил себя долго просить. Казарин надеялся, что поцелуй выйдет холодным, дежурным, — но молодые, похоже, искренне радовались всякой возможности слить уста. Толстый Барцев с закрытыми глазами и выражением умиленной нежности на лице был трогателен, как поросенок.

— Да я никак на свадьбу попал! — восклицал Оскольцев.

— Когда вы вышли? — Ловецкий кинулся обнимать его.

— На днях. Вы представить себе не можете...

— Но я говорил, говорил вам! — хлопал его по плечу Краминов.

— Вы говорили, а я уже не чаял вас увидеть живыми. На другой день после вас мне сахару дали, — хохотал Оскольцев, — сахару, да... И я, конечно, решил, что это конец. Напоследок, значит, побаловали... Что ж — через час приходят: Оскольцев, с вещами! Шел и все думал: что бы вспомнить такого главного? Ужасный калейдоскоп в голове, и ноги подгибаются, и... тут вводят меня в какой-то кабинет — и говорят: вы свободны! Вообразите, а? И вот я тут — первым делом решил навестить вас.

— Как отец? — поинтересовался Ловецкий.

— Слава Богу, слава Богу... Вы представить, представить себе не можете! Неужели все мы думаем, что умрем, а на самом деле там — такой же сад, и сирень, и такая ночь прекрасная, и такая девушка удивительная... Это она выходит

замуж? Ах, какое несчастье! — Оскольцев говорил и говорил без умолку, и обитатели обеих коммун в изумлении слушали его.

— Господа, это наш сокамерник, — пояснил Ловецкий, — мы вместе сидели тогда, только нас через день, как вы знаете, выпустили, а он пробыл там полгода.

— Позвольте, позвольте... Господин Оскольцев, если не ошибаюсь? Товарищ министра иностранных дел? — навел на него пенсне Горбунов.

— Бывший, бывший товарищ министра! — радостно поправил Оскольцев. — Да-с, я.

— Отчего же вас продержали так долго? Ведь почти весь кабинет освобожден еще в марте, — вспомнил Пемза, следивший по газетам за судьбой правительства.

— Забыли, — смеялся Оскольцев, — Фирса забыли... Благодарение Богу, ваши друзья напомнили. Если б не они, вероятно, и теперь бы там оставался...

— И что? — мрачно спросил Долгушов, не адресуясь ни к кому конкретно. — И это — не зверство?

— Что вы, отчего же зверство! — замахал руками Оскольцев. — Такие ли вещи творились... что мне с моими шестью месяцами...

— Но ведь ни за что ни про что! — настаивал Долгушов.

— За ту минуту, в которую я снова увидел свет Божий... и зелень, и мостовую, и небо, и ребенка... всё, всё! — за эту минуту я готов был бы и дольше, много дольше... от чего, конечно, Боже упаси! — испуганно перебил сам себя новый гость. — Я прошел свой квалдрильон, он, знаете, оказался недлинен... а рай все длится и длится, и я каждого из вас расцеловать готов!

Ловецкий гордо улыбался, словно освобождение Оскольцева было его личной заслугой — а главное, будто и сам Оскольцев оказался так мил именно благодаря ему, Ловецкому; в самом деле, появление этого узника, не устававшего восхищаться вновь дарованным ему миром, сообщило празднеству особую умильность.

— Выпейте, Виктор Александрыч! — предложил Краминов. — Господа, налейте же ему! Ведь вы, почитай, все эти полгода хмельного в рот не брали?

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Я у отца уже немножко приложился, — застенчиво признался Оскольцев. — Он берег к моему возвращению, ждал... надеялся... Ах, господа! — Он всхлипнул было, но сдержался.

«Оскольцев, Оскольцев... что-то я о нем слышал, — думал Ять. — Не помню от кого... может, от Маринелли? В Гурзуфе, что ли? Нет, раньше... Ничего не помню. Вот что значит мало сахара. Да начнут они когда-нибудь закусывать или нет?»

— Вот теперь — слово молодым, — громогласно распорядился Извольский. — Благоволите налить, друзья!

— Дорогие товарищи, — сказал Барцев в вечной своей стеснительной и несколько косноязычной манере; такое обращение сегодня простили бы ему одному. — Я не шучу и никого не хочу обидеть, потому что все мы товарищи... по искусству, по нашему ремеслу и по вечной нашей способности спорить о правописании... а не, допустим, о ценах на еду. Я хочу сказать, что я вас всех очень люблю, да... просто очень... и прошу у вас прощения, в чем виноват. А я виноват, потому что вот устроил тут... непредвиденный вечер. Я вас всех еще раз благодарю, что вы пришли, и еще раз прошу меня простить, и, в общем, если бы вы не захотели, то было бы очень...

— Горько, — закончил за него Львовский.

— Ну да, — беспомощно засмеялся Барцев и развел руками. Ашхарумова встала на цыпочки и сама поцеловала его.

В этот миг от прилукинской дачи донеслись страстные цыганские напевы: студия Марьям-нагой, пританцовывая, голая и гремя бубнами, начинала свое представление. Концерт в честь новобрачных был задуман с размахом: свадьба архаистки и новатора была серьезным событием для литературного Петрограда, весть о нем облетела все кружки. Молодежь была в восторге: в последний год в Петрограде почти не играли свадеб, сыскался отменный повод повеселиться, и Ашхарумова заслужила умиленную благодарность подруг.

Одновременно с бледными и светловолосыми, но чрезвычайно жизнерадостными цыганами Марьям-нагой со сторо-

ны набережной приближалась другая компания — там тоже звенели гитары, но пелось нечто иное. Мотив был знакомый, романсовый, но слова, сколько мог различить Ять, представляли собою фантастическую контаминацию нескольких шедевров сразу.

— Выхожу... один я... на доро-о-огу! —

высоким, ломким голосом выводил бледный юноша лет шестнадцати, терзая гитару с огромным коричневым бантом.

Под луной... кремнистый путь блестит!

Ночь тиха, пустыня внемлет Бо-о-огу,

И звезда... с звездой говорит!

Выхожу я в путь, открытый взорам, —

басом отвечал ему верзила, в котором Ять издали узнал Чашкина.

Ветер гнет упругие кусты.

Битый камень лег по косо-о-о-орам,

Желтой глины скудные пласты!

— Вот иду-у я по большой доро-оге, —

подхватил эстафету художник Назарьян, обладатель хриплого баритона, с которым только и было выходить на большую дорогу.

— В тихом свете гаснущего дня! —

радостно поддержал хор.

— Тяжело мне, замирают но-оги!

Ангел мой, ты видишь ли меня?!

Я и сам ведь не такой, не пре-ежний,

Недоступный, гордый, чистый, злой.

Я смотрю мрачней и безнаде-е-ежней

На простой! И скучный! Путь земно-о-ой!

Акоповские цыганки затрясли плечами.

Буду ждать — в погоду, в непого-о-о-оду!

Не дождусь — с баштана разочтусь! —

мрачно подвела итог Лика Гликберг.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь! —

грянула вся команда Стечина. Сам он, автор центона, скромно шел позади.

Барцев хохотал. Стечин торжественно преподнес скульптурную группу — последний шедевр Назарьяна, раскрашенная глина: тоненькая Ашхарумова под руку с Барцевым, исполненным в виде шара с бородой и носом-бульбочкой. Назарьяна хотели качать, Барцев долго тискал его в объятиях. Настал черед подношений: все они были скромны и почти жалки. Алексеев извлек из своих запасов прижизненного Фета, Горбунов преподнес чернильницу «для будущих трудов», Прошляков приволок «Подарок молодым хозяйкам» — для чтения вслух в обеденное время; на некоторое время церемония дарения прервалась — все наперебой зачитывали рецепты: «Господа, вообразите, седло дикой козы с каперсами, под соусом из базилика... Мне, мне козы! Суп из спаржи с добавлением сливок... Отжимки отдать людям. Мы люди, Прошляков, отдавай отжимки! Господа, кто ел когда-нибудь суфле из омара? Барцев, я буду брать у вас эту книгу раз в неделю для праздничного обеда!»

— Удивительно милая молодежь, — тихо и умиленно сказал Комаров-Пемза, подойдя к Ятю. — Эти не пропали: они умеют веселиться, умеют сделать себе праздник из ничего...

— Да, да! — горячо закивал Ять. — А из ваших будет кто-нибудь?

— Если родители выпустят, — вздохнул Пемза. — Поздно, патрули... Но они сказали, что все равно вырвутся.

И точно — в разгар парада приношений прибежал, запыхавшись, Коля Соловцов, а следом за ним и небольшая компания во главе с Игорем и Верой Головиными. Они принесли кукол, наряженных женихом и невестой. Куклы были фарфоровые, с волосами и закрывающимися глазами. Последней, уже в двенадцатом часу, появилась Зайка — маленькая, встрепанная, растерянно хлопающая глазами: «Ой, я совсем, совсем опоздала? Машенька, милая, поздравляю! Поздрав-

ляю, Паша! — Она мокро поцеловала обоих в щеки. — Все боялась, не успею. Вот!» — и развернула только что довязанную кофточку белой козьей шерсти, сберегаемой в семье еще с четырнадцатого года, когда вечно хворавшую Зайку возили на Кавказ. Там и купили эту шерсть, но никто в семье вязать не умел — выучилась в последний год одна Зайка; она всерьез надеялась этим зарабатывать. Барцев поднял ее на руки и закружил.

— Паша, — тихо спросила она, когда рыжий богатырь бережно поставил ее на землю, — а Кораблик не пришел?

Так ласково могла называть Корабельникова только она.

— Сашка уперся, — сухо ответил Барцев.

— Ой, как же ему сейчас, наверное, одному... Он ведь там, да? И слышит все ваше веселье? На набережной и то слышно. Паш, может, сбежать, позвать его?

— Не надо, Зайка, — очень серьезно попросил Барцев.

— Ну хорошо, хорошо...

Она отошла.

Ять все основательней нагружался, чокаясь в основном с Грэмом; Грэм молчал, утрюмо поглядывая то на Барцева с Ашхарумовой, то на компанию Льговского.

— Вам грустно? — спросил Ять.

— Когда Грэму грустно, он уходит с ю д а, — медленно проговорил тот, указывая себе на лоб длинным желтым пальцем. — Смею вас уверить, т а м — хорошо. Х о р о ш о, — повторил он еще раз и вдруг с полной кружкой решительно вышел на середину моста. — Я скажу, если позволите, — произнес он пьяным, но твердым голосом, разве что чуть громче обычного, как говорят с глухими.

— Просим, просим! — тощий секретарь Хламида несколько раз иронически хлопнул в ладошки.

Грэм смерил его уничтожающим взглядом и заговорил, обращаясь исключительно к новобрачным.

— Все мы помним, — хрипло сказал он, — как Бог, создав мир, нашел, что это х о р о ш о. Часто мы задаем себе вопрос — что нашел он хорошего? Мы судим его творения с решительностью муравья, попавшего в театр: зачем все это? Но

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

иногда мы чувствуем, что Божий мир х о р о ш; это слово произносим мы редко, но раз уж сам Бог начал с него — повторим его сегодня. Да, здесь х о р о ш о, и нужно мужество, чтобы вспоминать об этом. Я хочу выпить за ваше х о р о ш о — и за то, чтобы вы и тогда помнили его, когда по ошибке или слабости готовы будете согласиться с трусами.

Он осушил алюминиевую кружку и под дружные хлопки вернулся к Ятю.

— Позвольте и мне вручить мой скромный дар! — выкрикнул Ять, подражая тону балаганного зазывалы. Он пробежал к Барцеву и Ашхарумовой, развернул сверток и высоко поднял в вытянутой руке альмекскую флейту. — Господа и товарищи, дорогие друзья по искусству и бесполезности, обратите ваше высокое внимание на этот удивительный предмет! Он остался от древней цивилизации, все наследие которой состоит из нескольких крымских легенд и вещей таинственного назначения. Это предмет в высшей степени символический — альмекская флейта; состоит она из двух частей, и те, в чьих руках находятся эти части, должны всегда быть вместе. Надеюсь, вы исполните этот завет и не дадите погибнуть миру — да, да, ибо все наши неприятности от того только и произошли, что флейта была разъединена! От этого и мы все перессорились, и Россия вон, видите, никак сама с собою не разберется.

Все засмеялись.

— Но заметьте! — продолжал Ять. — Заметьте, что в разъединенном виде флейта не звучит! — Он осторожно разъединил половинки и подул в каждую; потом соединил, подул — и над островами проплыл низкий чистый звук. — Теперь волей-неволей я соединил вас на веки вечные. Хотите вы того или нет, а судьба мира зависит от вас одних!

Барцев бережно взял флейту и молча разобрал ее: Ашхарумова получила Z-образный ствол, себе он взял дырчатый мундштук.

— Лучше бы соединить, — напомнил Ять.

— Соединятся, — хохотнул секретарь Хламида, и веселье возобновилось.

Хламида долго и скучно, со всхлипами, говорил о трудящейся и творческой силе природы, которая тоже вот вся же-

нится, — но в середине особенно длинного и выпренного пассажи махнул рукой и пустился в пляс, присвистывая и похлопывая себя по ляжкам. Ему похлопали, и вскоре он ушел, сославшись на то, что сырость вредна для легких. Об его уходе никто особенно не сожалел — вино-то осталось.

— А знаете ли, Осип Михайлович, по ком я более всего скучал в эту зиму? — кряхтя, спрашивал Алексеев. Он уселся рядом с исхудавшим, полупрозрачным Фельдманом к скатерти-самобранке и положил на черный вязкий хлеб кусок отличнейшего копченого сала. — Сальца не желаете ли? Ох, простите, Бога ради...

— Отчего же? — усмехнулся Фельдман и взял кусок сала. — Я так давно паразитирую на русской культуре, что от собственных предрассудков теперь далек... Вы же знаете, как мы действуем, — он перешел на быстрый, утрированный одесский говорок, — мы внедряемся ко всем и таки от всех берем лучшее... Мы внедрились к русским и таки научились у них выпить и закутить и еще попросить...

— Так знаете ли, по ком я сильнее всего скучал? По вам, Осип Михайлович, и ежели бы у Хмелева было чуть побольше такта и мягкости — он непременно лично попросил бы у вас прощения...

— Не нужно, — махнул рукой Фельдман. — Я не держу зла.

— А вы не будьте таким ангелом, не будьте. Русский человек злопамятен, ему иначе нельзя. Вот и вы помните, коли хотите быть русским...

— Я не хочу, так вышло, — прежним утрированным голоском отвечал горбун.

— А знаете вы, почему мы, теоретические юдофобы, на практике сплошь такие юдофилы? Вот, позвольте вам предложить... ведь вы не побрезгуете выпить со мною?

— Обижаете, Владимир Александрович, — покачал головой Фельдман и с готовностью подставил кружку.

— Да-с, так оно и обстоит. Розанов Василий Василь-

евич, хорошо вам известный... кстати, сведений не имеете ли — где он, что?

— Последнее письмо было в ноябре, с тех пор не видалась, да я на квартире и не был... Вдруг почта... Хотя какая теперь почта.

— Ну, дай ему Бог, вы ведь друг ему. За него и выпьем. Вот так! — хорошо, хорошо... Так вот, Василий Васильевич говорит мне как-то: за то мы, брат Володя, так евреев любим, что не с кем больше во всей России толком поговорить, как они ее губят! — И Алексеев рассмеялся дребезжащим смешком.

— Конечно, — Фельдман предложил ему папиросу и сам закурил, быстро и жадно всасывая дым. — Конечно, Владимир Александрович! Да и о русских безобразиях тоже ни с кем, кроме вас, толком не поговорить...

— А потому не сердитесь, не сердитесь... Или нет — сердитесь, конечно: ведь если вы утратите иудейскую вашу злость, соль и впрямь перестанет быть соленою. Наше дело спорить, так ли я говорю?

— Только не до погромов.

— Будет вам поминать погромы. Во время них и русским достается, ежели очки на носу. Да Россия и всегда сама себя громит...

— Громит себя, только бьет нас...

— Да и себя она бьет, оставьте, пожалуйста.

— Да что мне с вами спорить, Владимир Александрович? У меня вот какая есть догадка, не знаю, согласитесь ли. Ведь ваши активисты, союзнички Михаила Архангела, и наши активисты-жаботинцы, что все хотят после дождичка в Иерусалим, — каждый уверен, что была у Господа некая цель: одни думают — чтобы вы победили, другие — чтобы мы... Но тут я думаю: а вдруг у него цель была другая? Чтобы мы друг друга — тюк да тюк, а победили бы тем временем никем не замеченные третьи, а то и вовсе никто?

— Разумно, — кивнул Алексеев. — Так ведь я вам про то и толкую (позвольте кружечку): оно так и задумано, чтобы сначала мы вас, а потом вы нас...

— Благодарю, — Фельдман выпил и закусил черным хлебом. — Я даже знаете, о чем думаю, Владимир Александрович? Ведь ни мы, пришлые, ни вы, местные, отчего-то России не подходим... а?

— Да, пожалуй.

— Россия, — воодушевлялся Фельдман, — это какая-то... Христова невеста, если позволите. Земного ей мало. Потому-то она и берет все чужое, заемное, чтобы тем верней довести до абсурда и тем доказать: и так нельзя, и этак нельзя! Надо как-то, как еще никогда, нигде не было... а как придет это небывалое, так и опять окажется что-нибудь вроде Пугачева. Ждем-то Христа, а приходит то хлыст, то хлюст... то прохвост...

— Снова русофобствуете? — подмигнул Алексеев.

— Но согласитесь же, что это так!

— Да, верно, — снова рассмеялся Алексеев. — И то сказать: ваши победят — вам жизни не будет, мои победят — меня первого покончат...

— Очень, очень верно, — кивал Фельдман.

— Ваши победят — пойдет торговля, золотой телец... — Алексеев заметно хмелел; он был в том драгоценном состоянии, когда еще чуть-чуть — и начнет заплетаться язык, но пока мысль идет легко и высказывается ясно. — Дышать нечем! Наши победят — пойдет квасной дух, слова поперек не скажи... Да, похоже, никому мы не нужны: нас на то и придумали, чтобы — то мы вас, то вы нас... Ну, что ж вы не закусываете? Берите сала, в самом деле отличное...

— Жалко, нету мацы, я предложил бы, — улыбнулся Фельдман.

— А и поел бы! И поел бы! С вами-то — все поел бы!

Странно, подумал Льговский, услышав обрывок их разговора. А где Драйберг с Камышиным? Куда делись? Наверняка угощение готовилось не без их участия. И Барцев рассказывал, что они никуда не уходили: куда же сейчас-то сбежали? Не

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

может быть, чтобы такое сборище происходило без шпионов. С чего бы это они в этакый момент оставили нас в покое?

Но он уже выпил слишком много, чтобы додумывать всякую мысль до конца; да и на мосту затевалось что-то интересное.

22

Как всякий русский интеллигент в подпитии, елагинцы и крестовцы уже читали стихи — мастеровые в таком состоянии принимаются петь и плакать; и стихи, которые читали они, все по очереди, от переодетых танцовщиц Акоповой до пятнадцатилетней Веры Головиной, от старого Горбунова до старого Фельдмана, — Ять узнал мгновенно.

Разумеется, это был он, единственный поэт их времени, которого каждый из них имел основание за что-нибудь ненавидеть: за недостаточный радикализм, за избыточный радикализм, за предательство, непоследовательность, душевную болезнь, проповедь распада, — но на дружеских сборищах, в застольях и на свиданиях все они читали его стихи, давно отделившиеся от личности, замкнутой, болезненной и странной. Как мучительно было Ятю еще в ноябре припоминать эти стихи — словно прикасаться к ране, не зажившей, а засохшей, запекшейся, словно ворошить дорогое пепелище.. Но сейчас, на краткий миг, когда вернулось что-то важное — Господи, не напоследок ли, не на прощание ли?! — теперь он снова мог их слышать и слышал, как тогда..

Не было и нет во всей подлунной
Белоснежной плеч.
Голос нежный, голос многострунный,
Льстивая, смеющаяся речь, —

запрокинув голову, читала Маркарян. Длинная ее шея смутно белела в сумраке.

— Господи! — заговорил Ять громко, дождавшись конца

чтения. — Какие вы все милые, чудесные, бесконечно славные люди! Как трогательны ваши сборы, на которых пьют, только чтобы преодолеть смущение, столь свойственное высоким, чистым душам, стесняющимся слишком патетических разговоров! Как я люблю вас всех, право, и как я счастлив, что все вы снова вместе, что Бог сделал меня вашим современником, что он кладет краски так густо...

Он заметил вдруг, что его никто не слушает. На концах моста по-прежнему читали стихи, молодежь чокалась и хохотала — застолье было уже неуправляемо. Однако в этом невнимании померещился ему не только апогей общего веселья, когда уже не до тостов, но и знак подчеркнутого отчуждения: он не был с ними в самое трудное время, не участвовал в противостоянии и не заслужил нынешнего праздника — и пьяное его умиление было сродни незаконной радости инвалида, получившего пулю в колено в первом же бою и теперь празднующего победу вместе с теми, кто ее завоевал.

— Не говорите глупостей, — услышав его мысли, как если бы они были произнесены вслух, строго сказал Грэм. — Считать себя лишним всегда соблазнительно, особенно когда каждый человек на счету. Все, что было сказано, — у с л ы ш а н о; и сказанное — х о р о ш о.

Тут встал Працкевич; он улыбался дрожащей, судорожной улыбкой, словно боясь, что в любую секунду может утратить власть над собою — и заранее извинялся за припадок безумия; обычно он старался пережить приступы у себя в царскосельском доме, вдали от всех, но иногда сумасшествие настигало внезапно, и он не успевал спрятаться. Теперь он слишком нервничал: любое напряжение — будь то напряжение счастья или отчаяния — опасно было для его большого мозга; и чтобы не провалиться в трясину, он хватался за стихи с их безупречной кристаллической структурой.

Холодный ветер от лагуны, —

читал он, не переставая криво улыбаться, —

Гондол безмолвные гроба.

Я в эту ночь — больной и юный —

Простерт у львиного столба.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

На башне, с песнею чугунной,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.

В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой!

Здесь голос его взлетел и оборвался; разумеется, стихи были выбраны не просто так. Каждый вчитывал свое в их всеобщую, странноприимную музыку, насыщал ее собственным смыслом, — и несчастный граф, со своей больной головой, уж, конечно, представлял эту голову окровавленной, отделенной от неуклюжего квадратного тела, несомой сквозь мрак, сквозь ужасные средневековые видения.

Все спит: дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользкий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак, —

почти шепотом закончил Працкевич и медленно, механически опустил на мост; широко раскрытые глаза его меркли. По спине у Ятя прошел холод. С другой стороны моста слышался ровный, бледный голос Казарина:

Я не предал белое знамя,
Окруженный криком врагов.
Ты пришла ночными путями.
Мы с тобой — одни у валов.

Ять еще не знал этих стихов.

А вблизи — все пусто и немо,
В смертном сне — враги и друзья,
И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

Воцарилось недолгое молчание, нарушенное Стечиным:

Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету...

ОРФОГРАФИЯ

И ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну,
И стало страшно на мосту
Смотреть в такую глубину,
В такую высоту.

Золотился восток, и так же ровно, бледно светился запад, и впервые в жизни Ять не ревновал, услышав свое заветное из уст недруга, почти врага; только теперь, в небывалое время дня между днем и ночью, на мосту между островами, в потустороннем городе, — он понимал, что фамилия поэта, всегда казавшаяся ему олицетворением предела, запрета, на самом деле звучит вовсе не так; она и в этом, втором своем значении была замарана, захватана, обозначая бессмысленный союз каких-нибудь думских кадетов и октябристов, — но на деле ею обозначалась нерасторжимая связь всех этих никому не нужных людей, празднующих свадьбу двух беспомощных детей.

Между тем молодежь читала уже вовсе не известные Ятю стихи, которые, мнилось, написаны были в самое последнее время — новой поэзии он не знал совсем. Слава Богу, это не были ничевошки, — то был классический русский стих, прошедший суровую возгонку, обретший новые интонации и смыслы, стих горький и точный, хотя и помнящий о преемственности:

В море гудят паруса, флот уплывает во вторник,
Даже поэта берут, чтобы украсить войну, —
Видя широкую кровь, пусть вдохновится затворник.
Вся она ходит за ним, плавную стелет волну...
Вся она ходит за ним, пряча улыбку возмездья.
Весь он на месте стоит, в свой путешествуя ад.
Странствует только душа, все остальное — на месте,
В чем убедится с лихвой, кто возвратится назад.

Ашхарумова договорила эти стихи, опустила голову, — но тут же с другого конца моста послышался голос Зайки:

И стыдно стало мне, как будто я сама
Так улицу свою нелепо искривила,
И так составила невзрачные дома,

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

И так закатный луч на них остановила, —
И стыдно стало мне за улицу, район,
За город, за страну, за все мое жилище,
Где жизнь любви, — да что?! — любви последний стон
Обставлен быть не мог красивее и чище.

И, венчая собою дивертисмент, зазвучали с середины моста под гитару голоса льговцев — на мотив детской песенки о кузнечике:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну:
Ты вечности заложник
У времени в плену.
Представьте себе, представьте себе,
Ты вечности заложник,
Представьте себе, представьте себе,
У времени в плену!

Но уже расходились, прощались, и все как-то двоилось, трюилось, слоилось; вот прошла Маркарян в обнимку с огромным Чашкиным, — ступай, не жалко, будьте, конечно, счастливы, — вот удалился Льговский, вот Стечин подошел поздравить Ашхарумову: их с Барцевым провожали на квартиру Соломина, кто-то вызвался уже идти с ними, на случай столкновения с патрулем, кто-то обещал непременно привести к ним завтра самого настоящего попа («но нашего, нового! — ведь его звали, только он почему-то не пришел»); под гитару грянули «Налейте, налейте бокалы!» — Грэм, пошатываясь, дирижировал с серьезным и неподвижным лицом. Прошла Зайка — одна, как всегда, и за ней хотел пойти Ять — сказать ей, какая она славная; но слишком много было выпито и слишком не хотелось шевелиться. Он сидел на середине моста, привалившись к ограде, глядя в темно-синее небо, отыскивая в нем знакомые звезды: почти такие же были в Крыму — но наши бледней. Пусть другие идут — куда ему торопиться? Сейчас останутся те, кто должен остаться. Ашхарумовой и Барцеву крикнули последнее «Горько!», но они уже уходили, сопровождаемые свитой; Казарин, спустившись с моста на берег, долго смотрел им вслед.

— А мы тут разведем костерок да помелем языками вволю, — приговаривал Алексеев, возясь с хворостом. — Завтра-то еще получится ли?

— Кстати, а что завтра? — улыбаясь, спросил Фельдман. — Опять, что ли, по дворцам?

— Да нет, думаю, по домам, — потянулся Соломин. — Давайте я, Владимир Александрович. Вы-то совсем не умеете.

— Не умею, не умею, — легко покаялся Алексеев. — Да вы и помоложе — ну-ка, давайте-ка...

К костру, как тень, прошмыгнул Мельников с кипой мятых бумажных страниц — и принялся по одной подкладывать их в огонь. Ять взглянул на мельниковские бумажки — и узнал в них разрозненные страницы «Универсологии» Борисоглебского.

— Зачем вы их жжете? — спросил Ять.

— Чтобы подольше было хорошо, — не отводя глаз от огня, ответил Мельников.

— Вы не должны этого делать, — вдруг со значением сказал Грэм. — Вы не можете знать, что будет, и потому никогда не должны бросать бумагу в костер; особенно если это ч у ж а я бумага.

Мельников взглянул на него заинтересованно; Грэм кивнул, словно подавая ему сигнал, принятый между бродягами, — да, да, все это серьезно; и Мельников вручил ему пачку страниц, исписанных разноцветными чернилами.

— Сохраните, Ять, — распорядился Грэм. — Я даже свои рукописи беречь не умею...

Ять кивнул.

— Только тут отсыреет.. а это ведь единственное, что от старика осталось! Надо отнести в кухню. — Он встал и, пошатываясь, побрел к бывшей кухне Елагина дворца. Он не был здесь с того самого мартовского дня, когда они с Казариным и Ашхарумовой нашли подземный ход. В кухне было темно и громоздились какие-то ящики; он положил рукопись на ближайший и отправился назад. Отчего-то казалось очень важным отнести ее в сухое место. В самом деле, вдруг там вся мудрость мира! Обратнo идти было все тяжелее, его неумолимо клонило в сон.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Разбудил его Грэм — казалось, он не дал Ятю проспать и пяти минут.

— Я советую вам уйти, — сказал этот выдумщик, тряся его за плечо. — Здесь будет п л о х о, очень плохо.

— Оставьте, Грэм, — безвольно сказал Ять. — Я спать хочу.

— Я настоятельно советую вам уйти, — повторил Грэм сухо. Он уже проживал очередной рассказ.

— Ладно вам, — Ять махнул рукой. — Попробуйте разбудить еще кого-нибудь...

— Никто ничего не хочет понимать, — сказал Грэм. — Все спят. Как всегда.

— Ну, ступайте, — сонно произнес Ять и сам не заметил, как заснул снова.

23

Он проснулся на сиреновом мутном рассвете, словно от толчка. Во рту было сухо и горько. Он вытер рот (в углах губ запеклась корка), оглядываясь и пытаясь припомнить, в какой момент он потерял нить разговора. Кажется, Грэм меня о чем-то предупредил... Но и без объяснений Грэма он видел, что нечто неумовимо сдвинулось; у него было чутье на такие перемены. Воздух ближе к рассвету не посвежел, а как-то вдруг остыл — иди это наступило похмелье с неизменным его спутником ознобом?

«Я проснулся на мгlistом рассвете неизвестно которого дня», — вспомнилось ему; тут же он оборвал себя, слишком помня, что там дальше.

После ясного дня наступал пасмурный, по светло-лиловому небу неслись рваные серые клочья, ночь праздника сменялась стылым, постылым утром. На мосту спали Алексеев и Ловецкий, рядом беспокойно вздрагивал озябший во сне Комаров-Пемза. На берегу, у потухшего костра, свернулся Краминов; чуть правей, вперив в пространство глаза, окруженные синей тенью, сидел по-турецки Казарин. Вид у него был сомнамбулический. Третьим около них, чуть раскачиваясь и блаженно улыбаясь, притулился Оскольцев. Он что-то тихонько подвывал се-

бе под нос, ничего не слыша, никого не видя и только блаженно впитывая всем изголодавшимся телом свежесть рассвета, запахи росистой травы, осторожные пересвисты первых птиц.

Неподалеку от Ятя, привалившись головой к ограде моста, с открытым ртом храпел Льговский, и у ног его свернулся крестьянский поэт Конкин. Лотейкин спал чуть подалее, на животе, иногда загребая руками, словно и во сне продолжал ползти на Крестовский. Рядом с ним, вольготно разметавшись на спине, тонко храпел Извольский-Изборский. Он улыбался во сне. Стоял и в полном смысле бодрствовал, кроме Грэма, один Працкевич — он пристально и осмысленно вглядывался в рощу на краю Елагина острова, словно ожидал кого-то.

— Пойдемте, пора, — не очень уверенно сказал ему Ять.

— Нет, мне нельзя, — не сводя глаз с елагинского берега, отвечал великан. — Я должен дожждаться.

— Чего?

— Если бы я знал, — все так же не поворачиваясь к нему, сквозь зубы отвечал Працкевич. — Идите, идите, пожалуйста.

Ять принялся тормозить Льговского; тот открыл мутный глаз и посмотрел на него снизу вверх:

— А?

— Вставайте, проснитесь. Надо идти.

— Па-че-му?

— Сейчас.. могут прийти.

— Кто?

— Не знаю. И вообще холодно. Идемте, вы простудитесь, не до утра же тут спать...

Льговский помотал головой и немедленно заснул опять. Ять еще некоторое время потормошил его, но тот вдруг отвел его руку с такой пьяной злобой, что Ять отошел: не хочет — как хочет. Не арестует же Льговского патруль, если придет, — и кому сюда заглядывать, кроме патруля? К пьяным стражи порядка были как раз терпимы, в пьяном было что-то классово свое. Алексева он и вовсе не сумел разбудить, тот слишком много выпил. Рядом с ним кротко, как младенец, дремал Борисов.

Прежде всего надо было взять себя в руки. Нельзя поддаваться панике, к тому же чужой, нельзя участвовать в чужом сюжете. Грэму захотелось уйти — ну и пусть уходит на все четыре стороны. Сейчас и я пойду — не хватало еще простыть на

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

холодной земле; секунду, где я оставил рукопись? Не бросать же ее тут; специально относил в кухню, чтобы не отсырела...

Так, где-то были спички... не мог же Мельников известить все... В бывшей дворцовой кухне было темно, и Ять поневоле поддавался ужасу; нельзя же до такой степени, ей-Богу, зависеть от чужого настроения! Это уж не всемирная отзывчивость, а полное отсутствие лица: что слышу, в то и верю... Но и успокаивая себя, и нарочно злясь — ибо только злоба способна истребить страх, — он не мог не чувствовать, что в воздухе нечто неуловимо сдвинулось: он загустел, застыл, потерял прозрачность. Угроза таилась всюду — в черных силуэтах недвижных деревьев на бледно-лиловом небе, в кустах, в темно-коричневой воде. Теплая зеленая ночь сменилась томительным, холодным марганцевым рассветом; Ять проспал какой-нибудь час, — часы он заложил давно, но сейчас было шесть, никак не позже, и за этот час все переменялось, как на оперной сцене во время антракта. Только что был бал, резвились в одном порыве веселья черти и ангелы, драконы и лебеди, херувимы и демоны — все мы дети одной воздушной стихии, все мы жизнь, все готовы обняться в хороводе недолгого братания, — но минул антракт, открылся занавес, и перед нами бледный холодный полусвет, унылая увертюра пересмеивает отзвуки ночного веселья, а вот и дальние громы... Он чиркнул спичкой. Остатки растрепанной рукописи лежали на пустом ящике из-под мороженой моржеватины. Ять собрал листки, скатал в трубку и сунул во внутренний карман пальто; повинувшись внезапному толчку, выглянул в узкое окошко бывшей кухни — нет ли в самом деле какой опасности? — впрочем, все вздор; с минуту вглядывался в туман — и замер.

Окно елагинской кухни выходило на дорожку, пересекавшую весь остров — от моста до моста, от Малой до Средней Невки. Сейчас по этой дорожке в сторону Крестовского острова, к тому самому мосту, на котором в странном похмельном оцепенении раскинулись елагинцы и крестовцы, широко развернувшейся цепью двигались т е м н ы е, общим числом не менее двадцати. Они были в своем обычном, засаленном, заскорузлом тряпье, в низко надвинутых кепках, — лиц Ять не видел, но он всегда угадывал то, чего не мог разглядеть. Теперь необъяснимым чутьем он знал, что на чудовищных шафрановых лицах

с поджатыми губами и хищно вытянувшимися, жадно принюхивающимися носами не было даже обычных злорадных ухмылок, не было и недоверчивого любопытства нелюдей к людям — а только деловитость охотника, напавшего на след. Они шли медленно, боясь спугнуть добычу, — но явно сдерживались из последних сил, ибо единственным их желанием было потрусить, порысить, как осторожно трусит охотничий пес, подбегая к логову затаившегося зверя. Ять чувствовал и то, что в них не осталось и следа прежней робости — они шли уверенно, заведомо зная, что отпора не встретят; и в этом была их единственная ошибка, впрочем ничего уже не решавшая.

Чутко прислушивавшийся, настороженно вглядывавшийся Працкевич, казалось, только их и ждал. Медленно и уверенно на него надвигалось его безумие, его черные мысли, на глазах обретшие плоть и облик — именно для того, чтобы он мог наконец с ними покончить. Никогда еще ему не удавалось заставить их молчать, никогда не мог он уничтожить их силою своего светлого, но робкого ума; теперь был новый приступ — на приступ шли его самые темные мысли во плоти; этого шанса нельзя было упустить.

— Працкевич, куда вы? — тихо окликнул его Казарин. — Что там такое?

— Тсс, — обернувшись и приложив палец к губам, отвечал Працкевич. — Это ко мне.

Теперь Ять не видел его лица, а видел только могучий торс, наклоненную голову, вытянутые вперед руки со сжатыми кулаками. Он шел, словно желая проверить свои фантомы на подлинность, утвердиться в их телесности; расстояние между ним и темными неумолимо сокращалось. Наконец он уперся в грудь одному из них, поднял голову и взглянул в шафранное лицо.

— А-а, — прохрипел Працкевич. — Вы думали — мы жаловаться будем... плакать будем... Вы думаете — мы интеллигенты и Бог наш интеллигент... Не-ет, не-ет... — И, стремительно прыгнув, впился зубами в горло темного. Темный зашатался, но остальные с рычанием окружили Працкевича и скрыли его от глаз Ятя; когда через мгновение они расступились, граф ничком лежал на траве, сделавшись вдруг коротким и плоским.

Казарин смотрел на это не шелохнувшись, не проронив ни звука. В ту же секунду с моста послышался жалобный, заячий вопль:

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Миленькие... голубчики! Голубчики!

Этот умоляющий крик не мог, казалось, принадлежать взрослому мужчине — так могла голосить перепуганная баба; по мосту метался Извольский. Он мог еще убежать — но к нему, отбросив всякую осторожность (да и чего было теперь опасаться?), в три прыжка приблизился длинный, тощий т е м н ы й; Извольский в последний раз взвизгнул и замолк.

Казарин все так же неподвижно стоял у моста, вглядываясь в свою смерть. Он один все это время ждал гибели — и, в отличие от многих ее пророков и адептов, в последний момент выбирающих жизнь, встречал последние минуты спокойно и достойно. Только тут Ять понял, до какой степени Казарину не хотелось жить, как выжгло его расставание с последней любовью, долгое противостояние, примирение, сделавшее бессмысленной всю муку последних месяцев, — теперь, когда все наконец разрешалось, он не бежал и не молил о пощаде. Чтобы хорошо умереть, надо совсем не хотеть жить — других вариантов не придумано; и тут Ять узнал, что, бездомный, безработный, одинокий, иссохший, он хочет жить.

Он почувствовал в себе слепую растительную силу, ползучую гибкость плюща, жестоковыйное упорство иудея, ужас загнившего животного; сколько раз проверял он себя на последнюю решимость — и здесь, в решительный миг его жизни, решимость изменила ему. Он один не прошел последнего испытания. Проклятое неверие ни во что, кроме как в необъяснимую ценность собственной, никому не нужной жизни, губило его всегда, — треклятая неспособность умереть хоть за что-то; ничего, кроме жалкой, бессмысленной, полуживотной жизни, теперь не оставалось ему. И, в отчаянии, в смертном ужасе, в здравом, однако же, понимании того, что еще тысячу раз проклянет он себя за эту подлую трусость, он заметался по кухне, ища выхода, натываясь на стены, спотыкаясь о ящики изпод жаровни.

О, в другое время он вышел бы из убежища, кинулся к темным и погиб в неравном, заведомо проигранном бою, — но тут был тот самый ужас от столкновения с иррациональным, дочеловеческим, нелюдским, о котором говорил ему бедный Коля Стрелкин, увидевший в ночном дворе ночных детей. Этот ужас заставлял его метаться, кидаться на стены, воздвигать баррика-

ду из пустых, бесполезных ящиков возле хлипкой двери, — ящики вдруг обрушились, и один из темных, стоявший ближе к кухне, насторожился, повел носом и посмотрел в его сторону.

Ятя спас Оскольцев. Он вышел из своего блаженного оцепенения, встал, улыбнулся и в легком недоумении спросил:

— Что, собственно...

Докончить он не успел и упал на беге прежде, чем смог что-то понять. Ять видел, как в руке у темного тускло забелело лезвие. Оскольцев скорчился на тинистой земле, прижимая руки к животу. Все произошло слишком быстро — полгода он неотступно думал о смерти и не почувствовал ее; два последних дня прожил в твердом убеждении, что не умрет теперь никогда, — и умер на рассвете третьего дня своего бессмертия.

Ждать, куда темный снова оглянется на здание кухни, Ять не стал. В мгновенном проблеске сознания он вспомнил о подземном ходе, рухнул на колени и принялся шарить руками по полу. Расшвыривая ящики, уже не боясь шума, он отыскивал в углу шаткую плиту, отыскал, из последних сил своротил — и узкий квадратный лаз в углу кухни открылся перед ним. Он нырнул туда, не успев задвинуть плиту, и с тараканьей скоростью пополз на четвереньках; сзади едва проникал свет. Скоро ползти стало легче, ход расширился, и Ять оказался в подземном зале; здесь снова пришлось жечь спички. Они гасли почти мгновенно, но в коротких дрожащих вспышках он успел разглядеть два, целых два выхода; он стремглав подбежал к тому, что был ближе. Снова пришлось встать на четвереньки и ползти; под коленями была сырость, пахло гнилью. Он все еще опасался преследования и потому полз быстро, задыхаясь от запаха плесени; ход то сужался, то расширялся, и Ять уже уверился, что так и умрет в этой каменной могиле; вечная боязнь замкнутых пространств душила его, горло сжалось, и он уже не сомневался, что за ним смыкается не только тьма, но и камень подземного хода. Обратного пути не было. Стена была везде, вот он и уперся в стену. Спички кончились. Тут, однако, можно было встать. Под ногами угадывались низкие ступеньки. Он поднялся по ним и вытянул руки вверх, упираясь в потолок; плита тяжело приподнялась. Наконец он вы-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

шел куда-то; надежда удесятерила его силы. В слабом свете, который и то показался ему ослепительным, он увидел железные скобы, вбитые в стену, — и, держась за них, вылез наружу.

Так привелось ему — ровно три месяца спустя — узнать, куда вел подземный ход, открытый им вместе с Казариным и Ашхарумовой. Ашхарумова давно знала, что ход из кухни Елагина дворца ведет на прилукинскую дачу. Два враждующих лагеря были тайно соединены, хоть и не подозревали об этом.

Ять выполз на свет в бывшей комнате Барцева. Теперь здесь было пусто, голо, только висел прибитый к стене одинокий плакатик «В этой комнате особенно уважаемой личностью является Николай Лобачевский». Ничего абсурднее не придумал бы ни один футурист, никакой ничевошка. Ять встал, машинально отряхнулся (брюки были в какой-то зеленой дряни, плесени, гнили) и шагнул к двери: не заперта. Во всей прилукинской даче не было ни одной живой души; прислушавшись, однако, он различил ритмическое мычание и шаги. Шаги остановились, послышались снова, ускорились, мычание стало громче, и из него прорезались слова:

— Недалеко вы... оковы...

Звуки доносились из угловой комнаты; Ять подкрался к ней. Дверь была приоткрыта. В крошечной белой комнатке не было ничего, кроме узкой кровати, грубой табуретки и тяжелого старого стола, на котором тоже не наблюдалось ничего лишнего — бумага и отлично отточенный карандаш. По комнате из угла в угол, никого и ничего не замечая, вышагивал Корабельников; он же и мычал. Наконец, найдя удовлетворительное решение, он остановился, вытянул руку вперед и продекламировал стенам:

В цепях
не мните
уйти далеко вы!
Выгода прямая,
поймет и еж:
царской грамоты
сбрось оковы,
вольную грамоту
даешь!

Он, видимо, остался доволен, подошел к столу, быстро, чуть не ломая карандаш, записал очередную агитку, — но, перечитав ее, рухнул на табурет и закрыл лицо руками.

Окончательно уверившись, что все происходит в кошмарном сне, Ять на цыпочках отошел от корабельниковской комнаты и вернулся к Барцеву. Даже в самом кошмарном кошмаре есть своя логика: пусть у него кружилась голова и от жара шумело в ушах, но он помнил, что из подземного зала было два выхода. К этому второму выходу он теперь и полз — сеть елагинских ходов оплетала весь остров, и если один ход пролегал под Малой Невкой, другой мог быть вырыт и под Средней. Ять не мог и помыслить о том, чтобы вернуться на мост. Он дополз до зала, ощупью нашел второй ход и, снова опустившись на четвереньки, медленно пополз в непроглядную черноту. Что-то пушистое ударило его по лицу и тут же в испуге отлетело: особая подземная бабочка? подземная летучая мышь? В ушах гудело и грохотало. Царской грамоты сбрось оковы, вольную грамоту даешь. Он полз долго, падал на живот, лежал, поднимался; сверху капало. Ничего, кроме этой подземной гнилой тьмы, он не заслужил: так и расплачиваются в аду за минуту трусости. Хотел жить — получиай жизнь: такова будет теперь она вся. Вот она, вечная наша ошибка: мы думаем, что выторговываем себе ту же жизнь, что и раньше, — врешь, теперь будет только такая... Но кончился и этот ход; он снова уперся в стену, нащупал скобы, поднялся, толкнул руками плиту...

Это был металлический люк, вроде канализационного. Ять выполз наружу и оглянулся. Ход вывел его на Выборгскую сторону, к дерюгинскому сталелитейному заводу. Рядом поскрипывали распахнутые ворота, краснела фабричная труба с выложенными белым кирпичом цифрами 1912. Небо утратило лиловый оттенок и было теперь ровно-серым, низким и неподвижным. Ять не знал, долго ли он просидел на мостовой. Покрапал мелкий дождь. Надо было куда-то идти. Ять встал и, пошатываясь, толкнул люк на место. Потом неуверенно побрел прочь от островов, дальше и дальше. Вечером этого дня он кое-как дошел до лавки Клинтенмайера, но не помнил ни того, где бродил весь день, ни того, как упал на пороге. Тиф часто начинается с беспамятства.

24

А Корабельников, как выяснилось, старался зря. Он сочинял всю ночь, с отвращением прислушиваясь к декламациям и песням, доносившимся с моста, под утро закончил цикл из двенадцати плакатов, прославляющих свободное правописание, и рухнул на свою жесткую, безусловно белую койку. Проснулся под вечер, по-прежнему один. Прошелся на всякий случай по этажам: пусто. Вот и сбылось предсказание Краминова: ты — последний. И впрямь последний. Все ушли, и никто не вернулся. Разумеется, все они теперь в Елагином дворце. И Чарнолуцкий, ренегат, тоже небось с ними. Тот, кто не любит революционного искусства, не любит и самой революции. О, конечно, теперь большевики быстро столкнутся со старорежимной профессурой. Вы помиритесь с ним, по размышленьи зрелом. Спокоются. Повоевали, и хватит. Такие, как он, никому не нужны, потому что никто не заинтересован в честном строительстве. Для честного строительства надо работать, а теперь не время работников. Теперь время прихлебателей.

Сидят там, издеваются над ним. Наверняка. Ну ничего. В Петрограде больше делать нечего. Пора в Москву. Вот только отдать плакаты... Пойду сейчас в Смольный и скажу этому интеллигенту все, что думаю. И швырну ему в рожу последний заказ. Пусть попробует говорить со мной в этом прежнем тоне. Кретин, ничтожество. Сочинитель декадентских пьесёнок. Трибун в пенснэ-э. И — немедленно в Москву... а он пусть тут устраивает заповедник имени дяди Вани!

Собрался, вышел. На мосту — красная лужа: дрались, что ли, до крови? Принюхался: рвота. Упились до блева. Корабельников ненавидел пьянство. Он широко шагал по Елагину, мельком оглянувшись на дворец: тихо, вокруг никого... Перепились, спят. Не хочу видеть ни те, ни эти рожи. На Зелениной навстречу — газетчик. Купить напоследок. Развернул под редким дождем. Выцепил глазом колонку в рамке на третьей странице. «Комиссия по орфографической реформе». Тряхнул головой, вчитываясь, пытаюсь усвоить. Перечитал. Сплюнул.

Вместо вольной орфографии, о которой он всю ночь писал и которую считал главным завоеванием революции, вводился новый набор правил, куда более решительно ограничивающих свободу, чем царская орфография. Окончательный свод этих правил предполагалось выработать к сентябрю. Разумеется, новое закрепощение начиналось по просьбам сознательных, грамотных рабочих, которым, видите ли, неудобно читать статьи и листовки, написанные кое-как. Дело было, конечно, не в орфографии. Он давно чувствовал, что свобода кончится. Свобода нужна ему одному, художнику. Ради нее он готов есть пшеничную кашу на зеленом машинном масле, пить морковный чай и спать на чурбаке. Но рабочий класс не для того все это затевал, чтобы спать на чурбаке. Тыфу. Да мне-то черта ли во всем этом? У меня, если хотите знать, вообще врожденная грамотность.

Он ввинтил папиросу в угол рта, выгашил листки с плакатными текстами, поджег и прикурил от них.

23 октября 1918 года реформа орфографии была проведена в жизнь, по типографиям проехали красные матросы, лично изымая еры и яти, фиты и ижицы, чтобы исключить возможность контрреволюционного написания. С ерами пересердствовали: там, где полагался твердый знак, некоторое время ставили апостроф. Традиция эта дожила до наших дней.

Только с октября Корабельников снова смог писать — период его временных расхождений с властью закончился, он смирил и взнуздад себя, потому что противники советской власти, как всегда, были еще хуже. Между двумя враждебными, давно уравнявшимися неправдами — тупой простотой большинства и гнилым вырождением меньшинства — всякий выбор был ложен, ибо наступало время куда более страшных оппозиций; но то ли узкий ум Корабельникова отказывался их видеть, то ли больная душа отказывалась вмещать. Все его оппоненты не без помощи государства перестали существовать или перекочевали в загробное зарубежье. Воевать стало не с кем, и он ушел их догонять — в надежде доспорить. Хочешь не хочешь, а любой житель Крестовской коммуны рано или поздно вступает на Крестовский мост.

25

О дальнейшей судьбе Барцева и Ашхарумовой известно вот что. Проснувшись на рассвете, сером и скучном, как всякий рассвет после праздника, они бесцельно слонялись по квартире Соломина, сданной им на месяц, и оба чувствовали странную перемену: словно самый воздух за окном стал другим. Время переломилось, и в этом новом времени оба они чувствовали себя как рыбы, вытщенные из воды. Можно было научиться ползать по суше, но на это требовались годы. Ашхарумова сказала, что пойдет к подруге — надо вернуть ей серьги, одолженные на свадебный вечер; Барцев на всякий случай спросил адрес подруги и уселся сочинять. В шесть вечера Ашхарумовой все еще не было, он забеспокоился, отправился к подруге — и узнал, что Маша ушла пять минут назад; странно, что они разминулись. Впрочем, сказала подруга, она собиралась еще зайти к матери... Адреса матери Барцев не знал и вернулся домой, но по дороге его задержал патруль — выпустили только утром, дав здорового пинка; на соломинской квартире Маши не было, а была отчаянная испуганная записка — «Пашка, где ты?! Иду искать». Он узнал, что она искала его у Зайки и Льговского и собиралась даже на Елагин; Барцев кинулся на Елагин — пусто, дворец забили... да и в самом деле, не исчерпана ли была вся эта история с дворцами? На следующее утро был обнародован приказ о национализации Елагина дворца, а прилукинская дача сгорела неделю спустя, и поджигателя не нашли.

Барцев искал ее у всех друзей, но оказывалось, что она вышла полчаса назад; засел в засаду на соломинской квартире — но она не появилась; раздобыл у Зайки адрес ашхарумовской матушки — и там узнал, что матушка переехала к сыну, а соседи его адреса не знали. На Барцева страшно было смотреть. Марьи нигде не было и следа — они разминулись в городе и словно существовали с этого часа в разных измерениях.

В начале девятнадцатого его мобилизовали — поймали случайно, когда он навещал отца; вернувшись в двадцать первом, он узнал, что Марья буквально вчера уехала за границу. Зайка рассказала ему, что Марья в Берлине, и он с группой советских поэтов оказался там в двадцать четвертом году; через Вогау, мигом перезнакомившегося со всей эмиграцией, разыскал ее адрес в каком-то пансионе — но за день до того, как он ворвался туда, она уехала в Париж с каким-то историком Зуевым, черт его знает, откуда тут взялся историк Зуев... Кое-как умолив Чичерина, он на следующий год ринулся в Париж — но оттуда, как передали верные люди, она уже переехала в Мексику. Сам изумляясь, он попал и в Мексику — интерес к его стране был огромен, приглашали наперебой; в Мексике он встретил почерневшего, исхудавшего Корабельникова, уже не способного обрадоваться ни кактусам, ни пустыням, — и долго они смеялись, что двум русским мир тесен, никак не разминешься. О Марье Корабельников, слава Богу, не спросил — следы ее, как сообщили в консульстве, терялись в Америке.

А три года спустя он узнал, что она вернулась на Родину с мужем, американским коммунистом, и вместе с ним почти сразу была арестована; и Барцев попал в ту же лубянскую тюрьму, в которую и ее посадили, — но через полгода после того, как ее услали на этап. По лагерям шел о ней слух — она и в тридцать семь была красавицей; брались даже переписать ей письмо, и какое отчаянное письмо он написал ей! — но, конечно, в ответ не было ни слуху ни духу. Перед самой войной его выпустили, и в июне сорокового он узнал в Москве, что и она будто бы амнистирована, только без права жительства в десяти крупнейших городах; ее видели в Казани, он бросился в Казань — но она только что переехала в Самару, он в Самару — она в Вологду... а тут и война. Все это время альмекская флейта лежала в его коммунальной квартире — комнату после ареста отдали соседке, но вещи она сохранила. Уходя на войну, он взял мундштук с собой.

Его снова призвали — в редакцию армейской газеты; там он был быстро замечен и переведен в «Красную звезду».

ду». Следы Ашхарумовой затерялись в Германии — она пошла на фронт санитаркой, как же без нее, и оказалась в плену. После плена у нее хватило здравомыслия остаться в Англии, благо освободили ее англичане, — и скоро Барцев увидел ее портрет в американской газете: она издала книгу рассказов, в том числе и о революционном Петрограде. Вскоре он добился в спецхране и самой книги. Он узнал себя — она помнила; написал в «Random House» — но литературный агент сообщил, что она уже в Париже.

В Париж его выпустили. — Он прозябал на редакторской должности в «Иностранной литературе», опубликовал крошечную статейку — воспоминания о полусумасшедших друзьях-поэтах, — но желания писать у него не было, да и чего стоили его писания? Тем не менее группу переводчиков и редакторов отвезли в Париж; через друзей он нашел адрес, дрожащей рукой нажал кнопку звонка — уже зная, впрочем, что будет... И было: открыла компаньонка, сообщила, что вот только сейчас Мари отправилась на переговоры... вы должны подождать, она вернется! Он прождал восемь невыносимых часов и вышел в четыре утра, поняв, что с этим ничего не сделаешь. Он не знал, как это называлось.

Барцев оставил ей, конечно, письмо — не рассчитывая на ответ, ничего не ожидая, просто чтобы потом не корить себя. Из газет он узнал, что она попала под машину — отделалась, конечно, ушибами, но несколько дней провела в больнице. Газету он прочитал уже в СССР. И главное, на письмо она ответила — со всей нежностью и тоской, не смягченными временем; он узнал бы в этом письме ее голос — она всегда говорила так, словно прощалась с ним навсегда и заранее жалела. Милый, милый мой, ничего, ничего не поделаешь... Но Барцев переехал, и ответ затерялся. Письмо могло бы его догнать, но у почтальонши был маленький сын, собиравший иностранные марки; ничего, напишут еще.

Барцев женился на сорокалетней вдове, просиживавшей стул в крошечном издательском кабинете напротив него; пять лет они вместе выходили курить — на лестни-

це, у подоконника с майонезной банкой, набитой окурками, он и сделал ей предложение. У нее был десятилетний сын, которого Барцев воспитал как своего. «Отвечает иронично: я желал бы наотрез!» — скандировал мальчик, играя во дворе. Детям нравилось. Ему и досталась после барцевской смерти альмекская флейта — точнее, ее мундштук. Он лежит теперь на чердаке барцевской дачи, среди ненужных вещей, во втором мешке справа от входа: Кратово, улица Ворошилова, дом 17.

Ашхарумова, выпустив книгу воспоминаний «Подстрочные примечания» («The References»), вернулась в Штаты, преподавала, переводила и ненадолго приехала в Россию восьмидесятисемилетней старухой. Она не нашла о Барцеве никаких сведений, да и трудно было в ее возрасте что-то искать... Разумеется, она все еще прекрасно выглядела, и провела несколько встреч с читателями, и раздавала интервью — но спрашивали ее в основном о Казарине. Больше всего расспрашивали о его таинственных последних днях — но, увы, о них-то она ничего и не знала.

Она умерла в начале девяностых, а альмекская флейта пропала еще в двадцатых. К сведению интересующихся, она и теперь лежит среди всякого хлама в мексиканском историческом музее древностей, куда ее сдал в надежде на вознаграждение слуга-мексиканец, убиравший гостиничный номер после поспешного бегства Ашхарумовой в Америку. Вознаграждения, конечно, никакого не дали. Таких непонятных экспонатов было в музее пруд пруди, и ее отправили в запасники. Так что если кому-то еще хочется спасти этот не особенно удачный мир — привожу адрес музея: Мехико, улица Лоуренсио Дебальо, 23, со двора. Она лежит в комнате номер семь, в третьей витрине сверху, под инвентарным номером 1439052, между пуговицей видного борца за независимость Эстебано Камильо и пробитым цилиндром журналиста и авантюриста Хорхе Мариньехо.

Так всегда и бывает после великого сдвига, когда уже нельзя быть вместе, милый, милый мой, ничего не поде-

лаешь. Он за ней коршуном — она от него рыбой, он за ней рыбаком — она от него кобылицей, он за ней всадником — она от него облаком, он за ней ветром — она от него дождем.

26

Зачем буквы? Зачем вообще писать? Я прозревшая буква, постигшая наконец свою подлую роль — прикрывать вопль, обозначать звук удара, подло маскировать хруст костей; я буква, проклявшая азбуку, весь ее подлый порядок, прозванный алфавитным, раз и навсегда отведший место каждой из нас. И на пятый день его бред принял форму прощания с буквами: оно длилось три дня. Клингенмайер готовил отвар, слушал его бред и молчал: он никогда еще не слышал такого странного монолога и не чаял, что Ять выкарабкается.

Прощай, аз, я никогда не любил тебя. Я никогда не любил тебя уже за то, что с тебя все начинается: аааа! — вот первый звук, с которым мы приходим сюда, крик боли, крик протеста, которому все равно никто не поверит. Акушерка от души радуется младенческому воплю, ибо этот вопль есть признак жизни; но этот же крик, обезумев от страха, издает падающий с крыши, со скалы — крик последнего напоминания «Аз есмь», но кому же какое дело. Был аз и нет — сюжет, к которому сводятся все прочие. И еще ты не нравился мне потому, что я слышал в тебе нечто ползучее, змеиное, что-то с раздвоенным жалом, с затаенной, звенящей злобой в полузакрытых изумрудных глазах аззз. Прощай, аз, я не любил тебя, ибо все, начинающееся тобой, обмануло меня.

Я не любил вас, буки и веди, неразлучная пара — Бог ведь, отчего я вас объединил, но оба вы казались мне персонажами страшной, языческой русской сказки. Буки и веди, черный и белый охранники гурзуфской управы, Драйберг и Камышшин, вечные русские двое из ларца: буки пугают, показывают буку, веди ухмыляются, словно ведая нечто сверхважное. Признайтесь, веди, вы ничего не знаете; признайтесь, буки, вы ничего не можете. Прощайте, буки и веди, прощайте, вехи и веды, веды, вини, вици.

В «Вене» две девицы.. Кто это написал? Измайлов, кажется. Прощай и ты, Измайлов.

Глаголь, глаголь — о, как я не любил тебя! Виселица, длинношей гусь, мрачная, длинная, прямая фигура, половина распятия, указующий перст — указующий на что? — на смерть, естественно: иди туда! Но зачем ты стараешься: я и так туда иду, и какое счастье, что я там тебя не увижу.. За одного только Грэма я простил бы тебя — за мечтателя Грэма, такого же длинного и узкого, как ты.

Добро; дошла очередь и до добра. Есть ли на свете что-нибудь, от чего я вытерпел больше? Ненавижу тебя, самозванное наглое добро, ненавижу тебя, самодовольство, воплощенное высокомерие, общественное служение, публичную благотворительность! А, вот и ваша очередь, живете и мыслете, — вам только кажется, что вы живете и мыслите; и как же вы ошибаетесь, бедные мои! Бежать из этого алфавита. Я не любил в нем даже своих, ненужных ни фиту, ни ижицу. Мне никогда не нравились свои, но беда в том, что еще меньше нравились чужие. Мне не нравилась сознательная, гордая и вызывающая обреченность этих и гордая, наглая победительность тех. А в общем, я не любил буквы. Я любил чистые листы.

Что делать, я выгеснен из этой азбуки. Вы-то все останетесь, но с вами случится худшее. Вам никто не будет верить, вас никто не будет принимать всерьез, и все, что будет написано вами, не будет уже иметь никакого смысла. И потому, в конце концов, мне еще повезло: я ухожу, не успев обесцениться. Из жизни исчезает то, что не образует звука. Я так живо, так ясно слышу обозначаемый мною пронзительный звук, звук альмекской флейты! Но больше его не услышит никто и никогда.

Иногда он принимался бунтовать. Да, убили, убили всех, — но чем виноват я? Неужели мне следовало разделить с ними смерть, как нехотя и напрасно я делил с ними жизнь? Ведь я не чувствую ни малейшего родства с ними, я не разделяю их взглядов, я чувствую мир тысячекратно тоньше, чем они, — кто гнал меня умирать, почему я должен непременно подтвердить свое право на жизнь своей смертью? Почему здесь правы только мертвые? Почему любой живой тут — предатель?

Но тут к нему пришла Таня.

Он не удивился.

В этом алфавите должна была найтись буква Таня. Если есть буква Ять — должна быть и буква Таня, как же без нее.

Она вошла из дождливого июньского дня, вся в жемчуге дождя, в жемчужно-сером плаще, присела к нему на кровать, положила на лоб холодную руку и заплакала, но заплакала легко.

— Вот и живой, вот и слава тебе, Господи, — приговаривала она сквозь слезы и смотрела на его ввалившиеся щеки, отросшие усы и бритую голову.

— Как ты.. откуда ты? — еле выговорил он.

— Я всегда, где ты; видишь, я и сейчас с тобой. Ты хотел сбежать, да я догнала.

— Ох, Таня, не будем сейчас спорить, кто сбежал..

В дверь просунулась голова Клингенмайера:

— Ять, что вы стонете? Воды?

— Нет, нет, у меня сейчас Таня..

— Да уж я знаю, — хитро ответил Клингенмайер и втянулся за дверь. Вероятно, он тоже привиделся.

— Ять, Ять, — улыбаясь сквозь слезы, повторяла она. — Этот Фридрих Иванович дивный, дивный.. Если бы не он, я никогда не нашла бы тебя. И, конечно, Грэм. Зря ты не послушался его.

— Когда? Ах, да.. Ты знаешь, Таня, ведь всех убили. Всех, всех!

— Не говори глупостей, несчастный. Как это может быть, чтобы убили всех? Никого не убили, все спокойно разошлись по домам, а ты заболел..

— Ах, не надо, я знаю, ты утешаешь меня. То есть какое — ты ведь теперь в Париже, и я сам утешаю себя..

— Какой Париж? Конечно, я не поехала с Зуевым. Неужели ты мог усомниться в этом? Маринелли все устроил, я уехала в Симферополь, но тебя уже нигде не было.. Я только что вернулась и сразу нашла тебя. Разве нам можно друг без друга? Мы всегда вместе..

— Нет, нет, не надо.. Я уже снова привык без тебя. И я знаю, что так честнее. Быть с тобой — значит быть с жизнью, а мне нельзя теперь быть с жизнью.. Один раз я уже выбрал ее — и ху-

же этого предательства не могу вообразить. Проклятая кровь.. а впрочем, и не в крови дело. Я нарочно переваливаю на предков, а ведь трусость была моя и подлость — моя.. Но если ты пришла, значит, действительно коней, и, странно, я не боюсь. Все потому, что жар. Когда жар — не страшно. Если бы у меня всегда был жар!

— Ять, Ять! Ты все придумал, глупый, тебе привиделось, ты поправишься, и мы вместе пойдем на Елагин..

— Никогда, о, никогда. Я никогда больше не пойду на Елагин. Разве что после смерти слетаю туда ненадолго, для последнего прощания, — чтобы еще раз проклясть спасшую меня деревянную будку.

— Ты бредишь, я ничего не понимаю! — Она смотрела жалобно и растерянно. — Почему ты гонишь меня, Ять? Разве со мной тебе не было хорошо, так хорошо, как и должно быть всем в мире? Ведь и Бог сказал, что это хорошо! Разве со мной ты не благословлял мир и Бога?

— Благословляя, Таня, — с трудом выговорил Ять. — Но в том-то и ужас, что, благословляя Бога, я был дальше от него, чем когда-либо. Сын разошелся с отцом, Таня, сын никогда не найдет отца..

— Ты бредишь, — повторила она. — Но ты выздоровеешь, выздоровеешь.. И мы увидимся, Ять, клянусь тебе, я еще приду..

— Не надо, Таня. Ты жизнь, а любить жизнь — последнее дело. Прощай, Таня.

Он не помнил, как она вышла, и на несколько часов провалился в забытие; когда очнулся, была уже ночь, и Клингенмайер отплавил его кислым мексиканским чаем.

— Кризис как будто миновал, — говорил он важно, — и теперь я уж не сомневаюсь — вы по эту сторону.

— То-то и жаль.. Скажите, приходила она?

— Даже если она за вами и приходила, — по-своему понял его Клингенмайер, — то на этот раз ушла без добычи. Как говорится, жизнь опять победила смерть неизвестным науке способом! Впрочем, наши травы и соли тоже кое-чего стоят, и этот волшебный чай.. Пейте волшебный чай!

Он так и не узнал никогда, приходила она или нет.

И тем не менее, словно действительно сама жизнь пришла к нему, чтобы против его воли вытащить с того света, — с июля он начал поправляться.

Ять понимал теперь, что такое настоящее истощение и подлинная потеря рассудка. Он смутно помнил последний месяц перед тем, как слечь, — только чернело огромное пятно в памяти, и он сам предпочитал до поры не трогать его. Милосердный Клингенмайер упорно прерывал любые разговоры на эту тему: не знаю, помилуйте, о чем вы? Ять читал газеты — и не находил в них ничего; да и газеты были такие, что читать их он почти не мог. «Путь» закрыли, «Речь» не возобновляли, «Знамя труда» уничтожили после таинственных событий в Кронштадте, о которых он знал мало — да и никто не знал достоверно.

Собственно, он и не жил в то холодное лето. Жило его тело, словно радовавшееся тому, что разум спит. Оно могло теперь вдоль наслаждаться скудным теплом, лиственным шумом, чахлой зеленью, каждым куском черного хлеба с вкраплениями жмыха, — и если прежде солнце, еда, запах мокрой пыли будили его мысль и питали ее, то теперь, напротив, все поспешно восстанавливаемые силы уходили только на то, чтобы не помнить, не думать, замкнуть слух.

Теперь он вглядывался в дома, в узор ветвей, трещины коры, в блеклые городские левкои, в медленно разрушающуюся Петроградскую сторону, в ржавые трамваи, так и стоявшие без движения в своих тупиках; люди редко занимали его. Он ходил по городу, как тень, и чувствовал себя почти незаметным. И на него в самом деле никто не смотрел, а кто замечал — принимал за солдата. Едва отросшие волосы, обвисшие усы, черное пальто, явно слишком широкое для него, словно только что по возвращении с фронта купленное на Сенном, а то и снятое с позднего прохожего, — так выглядели многие в Петрограде восемнадцатого года; и его не трогали потому, что все самое главное с ним было уже сделано. Так он чувствовал. Что-то, составлявшее собственно Ятя, что-то, отличавшее его от прочих и делавшее повсюду изгоем, во время

болезни умерло. Есть одно, что в ней скончалось безвозвратно. Эти строчки он помнил, но о чем там речь — толком не понимал.

Дело было еще и в том, что он давно не писал, а сознавал себя, только когда исчезал мир вокруг и оставалось лишь его сознание, ничем не стесненное, хранящее в себе память обо всем, что было и будет; а быть может, это и не было его умом, ограниченным и робким, а неким вселенским разумом, приобщение к которому всякий раз наполняло его силой и счастьем. Но теперь писать было незачем, — а в самой темной глубине рассудка жила уверенность в том, что писать ему теперь почему-то нельзя, он лишился этого права и должен его заслужить заново.

Как все люди ограниченного ума, он сделался в эти летние месяцы необыкновенно хитер; эта хитрость подсказала ему, что надо пойти в свой прежний дом и попытаться устроиться на жительство, — теперь, когда что-то главное погибло в нем или по крайней мере затаилось, его могли и принять. И темная, подспудная догадка его не подвела: товарища Матухина сместили; Матухин поселил в третью квартиру толпу своей родни, без всяких оснований уплотнив хозяйку скромного притона мадам Чальскую. К Чальской хаживали не только матросы, но и кое-какие совслужащие и даже первый заместитель руководителя секретариата Смольного. Обо всем этом Ять узнал со слов дворничихи, вселившись в свою квартиру и поделив бывший кабинет с одиноким столяром. В самом деле, стеснять Клингенмайера он не имел больше никакого права — тот и так выхаживал его два месяца, как ребенка.

Сам собой решился и вопрос о работе — в городе возникло бесчисленное количество канцелярий; Мироходов прислал за Ятем младшую дочь (слава Богу, он знал его адрес) и пристроил его в странную контору по учету свободного жилья. Таких контор возникало и лопалось бессчетное количество, и каждая умудрялась убедить Алфельбаума или его многочисленных замов в своей насущной необходимости; одна учитывала всех бродячих собак города, другая — бездомных питерцев, третья — больных. У истоков всех этих контор стояли безработные петроградские интеллигенты, торговавшие единственным своим товаром — умением пустить пыль в глаза, имитировать деятельность на пустом месте и составить наукообразный документ даже о состоянии городских мостовых.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

В сентябре приват-доцент Зудов прислал к нему сестру милосердия с запиской, в которой содержалась просьба явиться для важного разговора, — речь идет не о здоровье матери, добавляя заботливый Зудов, но возможны некоторые перемены в судьбе Лазаревской больницы. Ять пошел, впервые с момента выздоровления всерьез занервничав; Зудов у себя в кабинете сообщил ему, что гельсингфорсская клиника, в благодарность за независимость, дарованную чухонцам, готова принять у себя несколько десятков лазаревских больных, да и ему обещана ординатура. Поскольку в Петрограде с продовольствием в любой момент может стать хуже, да и война подступает, целесообразнее перевезти больных туда, где наверняка сытнее и спокойнее; требовалось письменное согласие Ятя как единственного родственника, и он после недолгого колебания это согласие дал. А уже через неделю он на Финляндском вокзале провожал странный поезд, отправлявшийся в Гельсингфорс.

Это был единственный поезд, вышедший из Петрограда в Гельсингфорс осенью восемнадцатого года: дачный, с сидячими местами — желтыми деревянными скамейками, изрезанными вдоль и поперек: кто бранился, кто оставлял по себе единственную память, начертав имя, — но имена звучали как ругательства, а ругательства выглядели как имена. Кучка сумасшедших под дождем пугливо жалась на перроне, толстуху-жену провожал иссохший до прозрачности муж, который все встречался Ятю в коридорах, прочие уезжали без провожающих. Почти никто не понимал, зачем везут, куда везут, — только одна старуха вскрикивала по временам: «Маменька! Маменька!» Эта понурая толпа, не чувствовавшая перемены своей участи и потому не сопротивлявшаяся ей, что-то напомнила Ятю — но душа тотчас отдернулась, словно от ожога. Мать встретила Ятя равнодушно, спросила, как дела в «Глашатае», и лишь перед тем, как войти в вагон, обняла с неожиданной силой.

— Витечка, — прошептала она.

Но и после этого, проведя бессонную ночь, мучительно пытаясь вспомнить, в чем причина его нынешнего равнодушия и этой ледяной заторможенности, — Ять не приблизился к разгадке. Память вернулась к нему странным образом, в ноябре, когда оттремела и оттуляла демонстрация по случаю первой годовщины революции. Смотреть шествие на Невском он не пошел, а дворничихины

дети рассказывали, что какие-то танцоры кружились, кружились — ажно голова кругом, — а потом еще какие-то плясали почти голыми, один срам, но завлекательно. Даром что холодрыга.

Ять любил дворничихиных детей, рассказывал им о кораблях, о путешествиях — он кое-что помнил, да многое и перечитал, не без опаски беря книги из собственной библиотеки, словно и они давно были чужими. Эти-то дворничихины дети принесли однажды с улицы голодного котенка — Ять налил ему в блюдце килятку, пробовал накормить хлебом, но тут явился столяр и зарорал, что котов не потерпит, утопит в ведре сию же минуту, только котов ему и не хватало. Он и так непрерывно притеснял Ятя, отвратительно храпел, хамил, однако именно скандал из-за котенка оказался последней каплей: Ять, вместе с памятью утративший и всю интеллигентскую робость, взял столяра за грудки и пригрозил как следует отмутузить. Тот не поверил, и обещание пришлось сдержать: столяр оказался хлипкий, истощенный, а Ять, хоть и не силач, все-таки до тридцати трех лет питался прилично. С этого дня столяр притих, и через три дня котенок подох сам, без постороннего вмешательства.

Отчего-то это крошечное горе, вполне ничтожное на фоне революционных бурь и утрат, произвело на Ятя впечатление необычайно тяжелое: даже убив в себе что-то, отличавшее его от других, он так и не превратился в человека, с которым можно жить. Это касалось всех — женщин, детей, котов; все происходило из-за него — и смехотворная, выдуманная вина (плохо кормил, плохо обогревал) разбудила большую, настоящую. Он так перепугался, что даже закурил в кухне — раньше курил у себя дома, где хотел, но теперь приходилось выходить на лестницу: новые жильцы обожали порядок.

Он понял, что с самого начала помнил все, — только не называл вслух, не решался признать; и прежний ужас накатил на него с новой силой. Он сжал свою несчастную голову, пытаясь снова заглушить память, — но теперь заглушить ее не смог бы никакой тиф, ни жар, ни самая бездарная работа, ни многочасовые шатания по опустевшему Питеру. Он был Иуда, предатель, отправивший мать к чужим людям, за границу, куда ему самому никогда не будет ходу; упустивший любимую, отдавший свой дом захватчикам, без боя сдавший страну... До утра он не сомкнул глаз, а утром, под ледяным дождем отправив-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

шись на службу в тайном намерении истязать себя до последнего, узнал, что контора их разогнана, — словно, вспомнив все и вернувшись к себе прежнему, он снова выпал из жизни и лишился места. Впрочем, в Питере уже образовался кружок интеллигентской взаимопомощи; если бы эти люди знали, какая он мерзкая тварь, никто не подал бы ему не то что руки помощи, но и просто руки. И потому он заплакал, когда к нему явился Коля Стрелкин и предложил вместе с ним поработать в очередном призрачном комитете.

— Что вы, Ять.. Ну что вы, право, — донельзя смутился Коленька.

— Ах, Коля, не знаете вы, что я такое.. Вы чистый, славный, вы так ко мне добры незаслуженно.. Я всю жизнь презирал людей, делающих добро, а сейчас удерживаюсь на свете их милостью. Ведь они погибли, все погибли из-за меня — Алексеев, Горбунов, Долгушов, Льговский.. все Общество любителей словесности, черт бы ее побрал!

— Да что вы, что вы, Ять! — повторял Коленька.

— Казарин... Борисов... Один Хмелев уцелел, потому что не пошел..

— Про Хмелева ничего не знаю, а Борисова давеча видел, — со всей уверенностью, на какую был способен, сказал Стрелкин. — Шел по Невскому с барышней, рассказывал что-то занимательное..

Ять с последней надеждой поднял на него глаза, но тут же понял, что Коля врет.

— Ладно, не берите греха на душу. Меня утешать бессмысленно.

Но как ни ужасна была жизнь, на которую он себя обрек, надо было доживать, домаиваться бледным бесом; он попробовал поискать Хмелева — но Хмелев уехал из города. Показаться на глаза Ираиде, жене Казарина, было ему невыносимо стыдно — однако он пошел и услышал, что она о муже никаких сведений с декабря семнадцатого года не имеет и иметь не хочет. Алексеев жил один — Ять несколько раз бывал у него; теперь там развешивали бесконечное белье какие-то очередные дворничихи, знать не знавшие о бывшем жильце. Раз только показалось Ятю, что он видит в дальнем конце Караванной сторбленную фигуру Фельд-

мана — но догонять было далеко... да и с чего он взял, что это Фельдман?

То, что в исторической литературе получило впоследствии название красного террора и гражданской войны, было никак не борьбой за власть, но отчаянным самоистреблением страны, испробовавшей самый радикальный вариант спасения империи и разочаровавшейся в нем. И когда не осталось ни белых, ни красных, а только выжившие, — страна готова была начинать с нуля.

Не сказать, чтобы в этой новой стране вовсе не было темных. Они были, но затаились, снова выжидая своего часа. Это время наступило нескоро, но спустя семьдесят лет пришло и оно.

Ничего хуже наступившей зимы не было в жизни Ятя: он по-прежнему ютился приживалом в собственной квартире, а на службе состоял в комиссии по учету беспризорных детей; первый приют для них в Петрограде организовали в трехэтажном доме фабриканта Зотикова. Ять сидел в канцелярии и записывал данные привозимых патрулями детей, втайне надеясь увидеть Петечку, — но дети все были чужие, незнакомые. В них не было почти ничего человеческого, они жестоко издевались над слабейшими — но и слабейшие не менее жестоко издевались над новичками. Почти все они сразу сбегали. Скоро приют в зотиковском доме закрылся, но с Ятем за это время успело произойти нечто важное: он перестал себя обвинять и начал оправдывать.

Это с неизбежностью должно было произойти — когда вокрут слишком отвратительно, всегда начинаешь искать в себе единственного убежища. В чем его вина, в конце концов? Он никого не убил, не ограбил, не предал. Он только не вышел умирать, когда все умирали, — но, может, в этом и был знак чудесного спасения? Может, его сохранили для чего-то — не случайно же он побрел ночью прятать рукопись несчастного Борисоглебского? Может, все дело в рукописи (хранившейся теперь у Клингенмайера), а может, в самом Яте? Ведь его присутствие никого бы не остановило. В душе он понимал, что этим самооправданиям грош цена, — однако рана его заживала.

Но тайный всезнающий голос все шептал ему, что места здесь ему теперь нет — все будет напоминать о предательстве; он тут

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

же принимался возражать — с чего это я должен был умирать за то, что мне стало ненавистно?! — и тот же голос шептал: ни за что другое умереть нельзя, ибо того, что мы любим, здесь нет. И потому мы обязаны умирать за ненавистное нам — потому, что иначе умрем просто так, ни за что, смертью крысы и таракана, смертью, недостойной человека. Чем яснее видел Ять этот выбор, тем омерзительней он ему казался, — и тем ясней становилось, что другого не бывает.

Так мысль о гибели начала вытесняться из его сознания мыслью о побеге. Выпускали неохотно, но щель оставалась; в городе становилось все голоднее, арестовывали кого ни попадая (выпускали редко), доходили страшные слухи о взятии заложников, о зверствах провинциальной Чеки, о расстрелах сотни гимназисток за одного большевика, раненного эсеровской бомбой (все это было, разумеется, преувеличено, а небольшевистских газет не осталось — но многому стоило верить, Ять чувствовал это). Каждый день казалось, что хуже быть не может — но могло, и надеяться, что эта жизнь когда-нибудь войдет в колею, он уже был неспособен. Точней, ему даже несложно было себе представить эту колею — но от одной мысли о ней хотелось зажмуриться и затрясти головой. Он мог приспособиться ко многому, но и его возможности были небесконечны.

Как-то ближе к марту, когда дикие морозы начала февраля девятнадцатого сменились короткой оттепелью, он встретил на улице Корнейчука. Корнейчук, как всегда, преувеличенно ему обрадовался, долго тряс руку, вспоминал какие-то древние его публикации, которых сам Ять не помнил, — и было ясно, что и встреча, и необходимость бурно радоваться ему в тягость, а обязанность эту он взвалил на себя по тем же соображениям, по каким Трифонов таскал камни.

— Ну, а вы как? — спросил Ять, когда корнейчуковские восторги иссякли.

Корнейчук принялся перечислять: сейчас он бежит с лекции о Слепцове, которую читал матросам, на лекцию о Панаевой, которую будет читать солдатам; вечером у него лекция перед работниками пищевого цеха — именно так, пищевого цеха! «А послезавтра я должен быть на открытии памятника Белинскому. Специально Чарнолуский приезжает. Хотите, поговорим с ним, и он вам что-нибудь подберет?»

— Чарнолуский приезжает? — в задумчивости переспросил Ять. — Где, вы говорите, открывается этот памятник?

— На Широкой. Белинский там сроду не жил — почему решили именно там? Видимо, как раз поэтому. Я должен буду говорить о его роли в формировании Герцена — представляете? Не знаю, кто будет слушать. Хорошо, если два-три обывателя останутся. Но Чарнолуский готовит митинг, будет оркестр.

— Да-да, спасибо, — кивнул Ять. — Я обязательно буду.

Двадцатого февраля Ять отпросился с очередной своей службы (заклучавшейся в переводе статей из английской и немецкой прессы для перепечатки в городских газетах — разумеется, никто их не перепечатывал. Начальница — бровастая и усатая сорокалетняя Залкинд — отпустила его с неохотой. Ять поюлил, умоляя и в результате успел на Широкую только к половине первого, когда Чарнолуский уже заканчивал свою речь.

Он изменился мало — все та же добродушная хомяковатость, многословие советского трибуна, фанфарная пышность трагикомических метафор. Гипсовый бюст Белинского был водружен в распиленной ограде сквера: тут, вероятно, тоже не обошлось без метафоры — неистовый Виссарион как бы проламывал собою решетку, устремляясь к торжеству натуральной школы, этой повивальной бабки большевизма. Ять попал как раз на повивальную бабку — Чарнолуский обожал подобные сравнения. На нем была черная шапочка пирожком и вполне приличное пальто с енотовым воротником. Чуть поодаль — видимо, охраняя его, — стоял красноармеец в недавно введенном обмундировании: серая шинель и ужасный острроверхий суконный шлем — рыцарь, но в посконном, суконном варианте.

— И вот сегодня, — говорил Чарнолуский с любимым ораторским жестом — словно выхватывая что-то из воздуха и резко прижимая к груди, снова отбрасывая и снова прижимая, — мы кричим тебе из нашего прекрасного далека: неистовый Виссарион, слышишь ли ты нас? Но нет, он нас не слышит! Он умирает от чахотки, этого бича русской мысли, и взрывная сила его имени такова, что еще двадцать лет о нем упоминают не иначе как шепотом. Мы тянем к нему руки, чтобы пожать его холодеющую руку, и говорим: Белинский, мы слышим, мы видим тебя! Твое де-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ло не пропало! Ликующий народ-победитель называет твое имя одним из первых в пантеоне своих друзей, и сегодня твой памятник осенит собою город, каменные плиты которого сдавливали твою больную грудь!

Ликующий народ-победитель, состоявший из двух девок недвусмысленной наружности, трех толстых баб и стайки мальчишек, с любопытством рассматривавших военный оркестр, жидко похлопал. Проходили и останавливались вислоусые мужчины с внешностью мастеровых, вглядывались в гипсовый памятник и двигались дальше.

— Недолго простоит, — заметил один другому.

— Так то ж временный. Потом медный поставят.

— От ведь делать нечего, — покачал головой первый и плюнул.

Чарнолуский отступил в сторону, оркестр сыграл «Марсельезу», к памятнику вышел Корнейчук. Ять подошел к наркому и робко потянул его за рукав.

Красноармеец тут же шагнул к ним; Чарнолуский повернулся к Ятю — и отшатнулся, словно перед ним стоял призрак.

— Вы? — в ужасе спросил он, белея.

Значит, он знает, промелькнуло в голове Ятя; значит, он знает все — и считает меня погибшим вместе с ними.

— Я, Александр Владимирович. Если можно, я просил бы вас... о короткой встрече, минут десять всего...

— Конечно, конечно, пожалуйста! — Чарнолуский постепенно приходил в себя. — Умоляю вас, без этих церемоний. То, что у меня пост, — это же не отменяет старой дружбы. Но что с вами? От вас половина осталась.

— Четверть, — усмехнулся Ять. — Дело мое несложное, я много времени не отниму.

— Да, но когда же? Завтра вечером я отбываю в Москву.

— Завтра днем я пришел бы, куда вы скажете.

— Ах, досада, — завтра я как раз принимаю депутацию от совета петроградских учащихся. Но ничего, ничего. — Тут важно было подчеркнуть свою занятость и при этом не переусердствовать: Чарнолуский ничего не жалел для друзей и не уставал напоминать об этом. — Завтра в три... да, пожалуй, в три. Только там теперь таких церберов выставили — вам, пожалуй что, просто так и не пройти. Я пришлю за вами автомобиль со своим шофе-

ром. Нет, нет, не возражайте — так будет удобнее и вам, и мне. Что ж машине простаивать. Куда за вами приехать?

Ять назвал адрес.

— Завтра в три, — повторил Чарнолуский, и Ять вежливо отошел. Он еще немного послушал Корнейчука, а потом незаметно ретировался.

Он не верил, что автомобиль будет прислан, — но в половине третьего под окнами его дома на Зелениной зарычал черный лаковый красавец «студебеккер», такой же, какой ровно год назад увозил его на Николаевский вокзал. Водитель живо напомнил ему товарища Викентия — очевидно, большевистское начальство питало слабость к этому типу сознательного рабочего, напоминавшего о том, для кого закрутилась вся эта чехарда с террором, отменой азбуки и расстрелами гимназисток. До Смольного домчались лихо; водитель молчал, и Ять не лез к нему с расспросами. Два красноармейца в своих шишаках пропустили машину во двор, в самом Смольном на вахте лежал пропуск, выписанный по всем правилам. В качестве удостоверения личности Ять предъявил билет обозревателя несуществующей «Речи», однако новая большевистская бюрократия бумажкам не верила; красноармеец по внутренней связи потребовал товарища Чарнолуского, объяснил, что к нему на прием явился товарищ без надлежащего удостоверения, и получил разрешение товарища пропустить.

— Четвертый этаж, — с неудовольствием буркнул охранник.

В Смольном, во время недолгих наездов в Петербург, Чарнолуский занимал теперь скромный кабинет, в котором прежде обитал товарищ Воронов. Ять сразу узнал это жалкое квадратное помещение; секретаршу Чарнолуский немедленно услад. Он гостеприимно встал навстречу Ятю, однако нельзя было не заметить, что в его движениях и интонациях сильно прибавилось сановитости.

— Добрый день, добрый день. Ну что, где вы? Отчего так давно не обращались? — Прежде, конечно, он сказал бы «не заходили».

— Александр Владимирович, — стараясь не смотреть на него, сказал Ять. — Я пришел просить вас... о содействии. Не можете ли вы мне устроить... я понимаю, конечно, что не имею ника-

кого права вас обременять, и все-таки — нельзя ли похлопотать о моем отъезде?

— Куда вы хотите выехать? — с готовностью поинтересовался Чарнолуский.

— Я хотел бы выехать за границу, — отважился наконец Ять и только после этого поднял глаза на наркома; пришел черед Чарнолуского отворачиваться и избегать прямого взгляда.

— Но почему же так сразу? Я понимаю, конечно, — Чарнолуский ткнул в окно, — что там много чего делается.. не так, как хотелось бы. Вам бы в Москву перебраться, честное слово. Тут товарищ Апфельбуам.. несколько переусердствовал в закрытии газет и раскрытии заговоров. — Он и тут не мог освободиться от привычки каламбурить в манере провинциального фельетониста. — Но нельзя же за гримасами не замечать.. сегодня уже вполне очевидно, что большая часть интеллигенции работает с нами, что рано или поздно, как вот Ильич сказал недавно, — он не мог не подчеркнуть знакомства с Ильичём, — всех Архимедов перетянем и землю сдвинем.. Подождите, вы где служите сейчас? Мы подыщем вам нормальную работу, я лично.. в аппарате.. нуждаюсь в пишущих людях.. Надо заново ставить на крыло газетное дело, нам нужны публицисты старого закала, но свободные от предубеждений, — вы подходите идеально!

Чарнолуский собрался уже развернуть перед Ятем сверкающие перспективы нового газетно-журнального дела, однако Ять прервал его:

— Я хочу вам сразу сказать, Александр Владимирович, что воспеть новую жизнь не смогу. Я ни в чем не обвиняю вас лично и всю вашу власть, Боже упаси.. но для меня эта новая жизнь началась с убийства двух десятков моих друзей и единомышленников. Это было сделано, конечно, не по чьему-либо приказу, но безнаказанность убийцам гарантировала именно та самая новая жизнь. — Он знал теперь, что надо сказать все; трусости в этом разговоре он уже никогда себе не простил бы.

Чарнолуский уставился на него в крайнем изумлении.

— Виноват, вы о каком убийстве говорите? Если Кронштадт, то ведь там не мы стрелять начали..

— Вы прекрасно знаете, что Кронштадт тут совершенно ни при чем. Я говорю об убийстве двадцати человек из Елагинской коммуны, последних, кто там оставался пятнадцатого мая.

— Виноват, виноват, — забормотал Чарнолуский. — Какое убийство? Какой Елагинской коммуны? Елагинская коммуна, сколько помню, благополучно разошлась после неудачной демонстрации и этой... как же ее... свадьбы! Мне об этой свадьбе в свое время Хламида все уши прожужжал — вот, мол, прообраз будущего союза всех писателей, единение во имя культуры. Вы кого имеете в виду?

— Я имею в виду Казарина, — раздельно произнес Ять. — Я имею в виду Борисова, Алексеева, Льговского, Извольского, Краминова, Ловецкого, Горбунова, Долгушова... всех, кто там оставался к утру. Пришли вооруженные люди и положили всех. В коммуне ждали этих людей, но не ждали, что они придут с ножами. Думали — будет обыкновенный разгон.

— Какой разгон?! О каком разгоне вы говорите?! — Чарнолуский вскочил и забегал по кабинету. — Казарин, по моим сведениям, умер в июле от воспаления желчных протоков, в Семеновской больнице... я лично деньги на памятник выделял, не помню только, где именно похоронили. Льговский на фронте, Борисов в Гельсингфорсе, о Краминове сведений не имею, но смею вас уверить, что он целехонек. И потом, почему разгон?! С чего вы вообще взяли? Я не понимаю, как с вашим умом... верить всем этим домыслам! Никто никого не собирался разгонять! А вы знаете, кто вообще писал все эти доносы на Елагинскую коммуны? — Он хитро подмигнул Ятю. — Это умора, ни за что не поверите. Я ведь регулярно получал сообщения от некоего доброжелателя. Прямые доносы: что там вертеп и чуть ли не штаб восстания. А потом, вообразите, в августе месяце умирает профессор Хмелев, и все оставшиеся от него бумаги — в том числе проект нового курса русского языка, над которым он все работал перед революцией, — попадают ко мне же, в комиссариат образования. Специально из Питера доставили. Смотрю — и что же вижу?! Знакомые все лица! Он даже почерка не менял! Вообразите, каков иезуитский расчет: нарочно на своих же доносил, чтобы мы из берегов вышли!

— А Оскольцев? — спросил ошарашенный Ять. — А Працкевич?

— Какой Оскольцев? — переспросил Чарнолуский. — В коммуне не было никакого Оскольцева.

— Верно, не было. Это товарищ министра иностранных дел во Временном правительстве, он пришел на свадьбу.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Всех министров и товарищей министров освободили в мае.

— Я знаю, но его там зарезали на моих глазах!

— Опомнитесь, голубчик! — Чарнолуский комически воздел к потолку короткие ручки. — Кто его там зарезал? Борисов?

— Пришли вооруженные люди, — упрямо повторял Ять. — Никаких сомнений относительно их намерений быть не могло. Они пришли, чтобы убить всех.

— Ну, не знаю, кого они там убили, только Працкевича я никакого не знаю и об Оскольцеве ничего не слышал. А вот господин Ловецкий подвизается теперь в газете «Воля России», которую издают при штабе генерала Краснова. Мне экземпляр прислали, в Москве имеется. Покажу, коли заинтересуетесь. Даже псевдонима не поменял — Арбузьев и Арбузьев. Все-таки двуличие неистребимо, не находите?

— Как же он туда попал?

— Ну, как уж он туда попал — не знаю. Однако вы видите теперь, что все эти разговоры о разгоне, о гибели. Хмелев — так и вовсе прямой провокатор. Ну что, раздумали вы уезжать?

— Нет, — помолчав, ответил Ять. — Я видел своими глазами. я не сошел еще с ума. Но если даже убитых было только двое, а остальные каким-то чудом и уцелели, — не знаю, я все-таки привык верить вам, — места в новой России я себе не вижу. Писать мне не для кого и не о чем, и вы сами убедились, что я плохой союзник. Я трус. Я не понимаю, зачем вы брали власть, никогда не полюблю Маркса и никогда не научусь говорить с вашими новыми людьми. Александр Владимирович! Ей-Богу, отпустите меня!

— Я вижу, вас теперь не уговоришь, — Чарнолуский подобрался и заговорил жестче. — Если человек так себя накрутил, его никакие аргументы не возьмут. Что же, если не хотите ко мне в Москву — все-таки подумайте еще недельку, потом известите меня письмом о своем окончательном решении, — не беспокойтесь, ко мне вся почта попадает сразу, — и если не передумаете, я дам вашему делу ход. Полного успеха не обещаю, но слово замолваю. Тогда явитесь в министерство иностранных дел Северной коммуны — это на Миллионной, — и вам будет оформлен заграничный паспорт. Вы куда хотите ехать?

— Мне все равно куда.

— Ну, решим. Нас признают через пень-колоду, пока проще всего выехать в Гельсингфорс, а уж через Финляндию попадете,

куда надумаете. Но все-таки неделю я вас прошу поразмыслить. согласны?

— Согласен, — встал Ять. — Только, прошу вас, помните обещание.

— Я обещаний не забываю, — сухо сказал Чарнолуцкий, однако руку на прощание подал. Потом он выставил лихую закорючку на изнанке пропуска и демонстративно погрузился в чтение толстой папки, лежавшей у него на столе.

Ять вышел из кабинета. Домой он шел пешком, его пошатывало. Оттепелый воздух распирает легкие. Никогда еще такой камень не падал с его души. Никто не погиб. Погибли Оскольцев и Працкевич, но все остальные живы, Казарин умер своей смертью, Хмелев доносил на елагинцев и провоцировал раскол... Он, Ять, ни в чем не был виноват! Это не отменяло и не извиняло, конечно, его позорной трусости. Но т е м н ы е никого не убивали, а может, и темных не было?

Но если так, то с чего мне убежать? Может быть, мне действительно остаться? Он шел к себе на Петроградскую, влюбленными глазами оглядывая полупустые дома, забытые двери, размокшие ветки, редких прохожих, попадавшихся навстречу. Один из них остановился и внимательно поглядел ему в лицо. Ять выдержал этот взгляд, но радость его мгновенно погасла. Жить с этими людьми он не мог.

Убили елагинских или не убили, а ехать надо. В конце концов, жизнь не кончена в тридцать шесть лет. Еще не поздно попробовать заново, эмигрировав в другую азбуку.

Сразу после того, как он вышел от Чарнолуцкого, нарком отложил толстую папку. Некоторое время он просидел в задумчивости, потом вскочил и бегом спустился к Апфельбауму на третий этаж.

Чарнолуцкий вошел к нему без разрешения, испуганная секретарша вбежала следом. Председатель Петросовета обедал, к нему в это время никого не велено было пускать.

— Оставьте нас, — резко сказал Чарнолуцкий.

Секретаршу сдуло.

— А ты, Григорий, послушай меня. Что тут было в ночь на пятнадцатое мая? А?!

Апфельбаум положил куриную ногу на тарелку.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— А-а, — сказал он нагло. — Начинается сеанс пролетарского гуманизма.

— Дилетантизм во всем хорош, — почти ласково сказал Чарнолуцкий. — Только вот палач-дилетант — это худо. Мучиться дольше.

— Не забывай, с кем разговариваешь! — прикрикнул Апфельбаум.

— Я знаю, с кем разговариваю, — усмехнулся Чарнолуцкий. — Говори: ты вооружал людей?

— Что значит — вооружал? Люди и так были вооружены, бесхозного оружия в городе тьма.

— Ты натравливал своих бандитов на Елагинскую коммуну?

— Что значит — натравливал?! Пролетарский праведный гнев привел людей к очагу контрреволюции.

— А свидетелей они зачем оставляли, твои праведные люди?!

— Какие свидетели? — насторожился Апфельбаум. — Ты можешь предъявить свидетелей?

— Надо будет — предъявлю. А теперь говори: за каким чертом ты мне врал, что они сами разошлись?

— Кто, старцы твои? Так они и разошлись! Мои люди взяли только тех, кто там ночью пьянствовал. Подержали немного в кутузке и отпустили на все четыре стороны.

Чарнолуцкий посмотрел в непроницаемо наглые глаза Апфельбаума и понял все. Он понял, куда делись обитатели Елагина дворца, о которых он только что вдохновенно врал Ятю. Понял, кто приказал громить небольшевистские издания и стрелять без предупреждения при попытке сопротивления; и догадался, кроме того, почему его восемнадцатого мая вызвали наконец в Москву. Вероятно, там считали, что елагинскую проблему помогал решать и он.

Некоторое время он еще постоял, глядя на председателя Петросовета, потом вышел и больше никогда не заговорил с ним. При редких встречах они не здоровались. Попад в опалу восемь лет спустя, Апфельбаум умолял Чарнолуцкого о заступничестве, но тот не принял его. Впрочем, не сказать, чтобы в двадцать седьмом году для этого требовалось большое мужество.

Хотя не в Апфельбауме было дело: Апфельбаум никак не мог принять такое в одиночку. Судьбу елагинцев решила директива товарища Воронова, отправленная из Москвы еще до всякого

примирения, — разумеется, в обход либерального наркома. От Апфельбаума требовалось только отвести подозрения от власти и для этой цели привлечь к решению задачи не солдат или матросов, но массы; и в выборе исполнителя он в самом деле не ошибся. Этим исполнителям не надо было платить: они получали удовольствие от процесса. Два месяца низовой элемент расчищал город, после чего вернулся в обычное деклассированное состояние. Возможно, Апфельбаум опирался при этом на Луазона, утверждавшего, что уголовный, или так называемый «придонный», элемент в условиях разгула свободы установит железный порядок быстрее всякой реакции, после чего по обыкновению самоистребится. Однако едва ли самонадеянный сын провинциального сапожника, вдобавок упивавшийся властью, находил время для чтения Луазона.

А вороновская резолюция о расчистке Елагина острова была опубликована еще при жизни Чарнолуского — в сборнике документов «ВЧК и памятники культуры» (серия «Десять лет Чрезвычайной комиссии»). Товарищ Воронов поморщился, и составители сборника, так ничего и не поняв, в свой срок за публикацию заплатились, — читатели же, ничего не знавшие о елагинских событиях, не обратили на резолюцию никакого внимания. Чарнолуский, писавший восторженную вступительную статью к этому сборнику, сопоставил даты и схватился за голову, но писать прошение об отставке уже не стал. Он завязал с этим делом после переезда в Москву.

Однако чего у него было не отнять, так это честности. Он если что обещал, то делал. В Москве Чарнолуский первым делом пошел в секретариат министерства иностранных дел и добился для Ятя иностранного паспорта. Очень ему был нужен в Петрограде свидетель уничтожения Елагинской коммуны. Черт его знает, как еще все повернется. За границей пусть врет, что хочет, — всем эмигрантским бредням одна цена.

29

Ять отправил прошение о выезде, как приказали, через неделю и еще раз, внятно и по пунктам, изложил в нем свои аргументы: пользы Советской республике принести не могу, к фи-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

зическому труду стал после болезни малопригоден, заниматься умственным не вижу возможности, в Гельсингфорсе на лечении находится моя мать (он сходил даже в Лазаревскую, добыл справку), прошу дать мне возможность выехать за границу, обещаю ни в какие антироссийские организации не вступать и к антисоветским организациям не примыкать. Но в письме необходимости не было — все и так уже крутилось, и пятого апреля 1919 года на его адрес пришла повестка: «Назначено вам 7 апреля сево года пребыть в заявительный отдел Министерства иностранных дел Северной комуны к 13 часам дня». Безграмотность этой повестки странным образом успокаивала: стало быть, новая орфография, уже общеобязательная, насаждалась пока не под угрозой расстрела. В частном письме безграмотность выглядит отгалкивающей, но в государственном документе она даже трогательна.

Министерство иностранных дел, оно же и управление внутренних, оно же и здание Петроградской Чеки, вплотную примыкало к зданию Генерального штаба, которое снилось Ятю в ночь переворота. Вот о чем думал Ять, входя в желтое здание, а никак не об убийстве Урицкого, которого в этом самом здании уложили восемь месяцев назад. Об отчаянном поступке Каннегисера Ять, конечно, знал и считал его образцом бессмысленного злодейства: за убийство одного малоприятного, но далеко не самого зверского чекиста расстреляли, по слухам, всех, кто к этому моменту сидел. Впрочем, в августе восемнадцатого Ять еще плохо понимал, что происходит вокруг, — а в сентябре, по обыкновению, слишком был поглощен самоуничтожением.

На входе его долго проверяли, досматривали, ощупывали на предмет оружия; оружия не оказалось, и началось странствие по крутам бюрократического ада, в раннесоветскую эпоху для многих еще нового. Тот факт, что за Ятя просил лично нарком Чарнолуский, придавал делу некоторое ускорение, но по пути из Москвы в Петроград оно почти уничтожилось — так что выезду предшествовала долгая карусель, к которой Ять, впрочем, отнесся весьма благодушно. Он ко всему теперь относился благодушно — грех с его души был снят, разрешение на выезд получено, и впереди было еще тридцать пять лет жизни. Малую часть их можно было потратить и на хождения.

Все это время, вспоминавшееся ему потом как блаженное,

весна решительно брала свое, даром что подзадержалась: в марте было, пожалуй, еще и похолодней, чем в январе, — но в апреле все принялось блистать и таять, и Ятю виделся в этом добрый знак. Он ходил на работу, где Залкинд терзала его все яростней, изумляясь, почему его ничто не берет, — рассеянно улыбался в ответ: давай, давай, милая, скоро я буду далеко. Нет ничего слаще тайного ехидства беглеца, который еще ТУТ и не знает пока толком, как ТАМ, — хотя, что скрывать, Ять с пристрастным интересом читал теперь немецкие и французские газеты; пресса, впрочем, была все больше красная или розовая, тошнотворно-скучная, — однако попадались и мнения врагов, прелестные, писанные живым человеческим языком; в них не было русского злорадства, с каким иные враги режима встречали новости о голоде, разрухе и самоубийствах. Англичане умудрялись даже и сострадать бывшим союзникам, ввергшим себя в этакую выгребную яму. Отвратительны, пожалуй, были одни американцы, умудрявшиеся с энтузиазмом приветствовать новую свободную Россию; не сказать, чтоб они лицемерили и на деле радовались упадку конкурента, — скорей им приятно было любое масштабное зрелище, и не может же в самом деле быть плохо людям, которые на наших глазах так красиво взлетают на воздух! С непробиваемой жизнерадостностью этой публики ничего нельзя было сделать, и утешало только то, что американский пролетариат точно так же здоров и жизнерадостен: нет в его среде ни отважных самопожертвователей, ни героических одиночек, а есть простые и честные тред-юнионисты, более всего озабоченные своим кошельком.

А впрочем, Ять и не задумывался особенно, как он будет ТАМ. Он радовался только, что не будет больше ЗДЕСЬ; Чарнолуский, великодушно подаривший ему право на жизнь и снявший грех с души, представлялся ангелом-избавителем. Он прошел в петроградскую службу учета трудящихся, где ему должны были выдать абсурдную справку о том, что он не является ценным работником (там над ним долго смеялись — обычно приходили вымаливать справку ровно противоположного содержания, чтобы избавиться от уплотнения или спасти хоть часть мебели). Как раз перед ним за такой справкой явился престарелый беллетрист Яроцкий, автор бесчисленных и неотличимых романов из купеческого быта.

— Ведь это черт знает что! — говорил он, воздевая руки. Яроцкий был писатель старого закала, живописный, с длинными

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

седыми космами, раздвоенной бородой, в длинном пальто, похожем на рясу. — Ну хорошо, я все понимаю, товарищ Лабазников — руководящий, ответственный элемент. Но кресло, кресло мое зачем ему? На что ему три кресла?

— А вам зачем?

— Я пишу в нем!

— На стуле будете писать...

— Ну хорошо, хорошо! Но зачем ему канапе?

— Что?

— Канапе — это... это, если хотите, диванчик...

— Мы — ничего не хотим, — как младенцу, объяснял ему широкоплечий юноша с усталым и надменным видом — пролетарский Байрон, уставший от людского ничтожества. — Это вы хотите, а нам — ничего не надо...

Они все теперь были Байроны, презирающие ничтожных противников. Говорили — гидра... а тут несколько сотен больных запуганных людей, цепляющихся за свою рухлядь. Презрение победителей к побежденным было характернейшей особенностью первых лет русской революции — все получилось слишком легко, без должного сопротивления, вдобавок побежденные готовно и с опережением оправдывали любые действия победителей — и оттого победители, робкие поначалу, все больше нагтели, глумились и красовались. В Карташевке, ребенком, Ять видел раз мальчика-ровесника, оторвавшего мухе крылья и упрекавшего ее в слабости духа: «Что, не летаешь? Не летаешь?!»

— Так зачем ему диванчик?!

— А вам зачем?

— Я могу прилечь на него... после того, как попишу...

Желая выказать себя полезным членом общества, Яроцкий упирал на процесс письма, старался привязать к нему всю свою мебель, — даже бамбуковая ширма была ему нужна, чтобы отгородиться от бездны, которую он все время ощущает рядом с собой во время писания. Какой бездны? — бездны горя народного, разумеется! Беллетриста отпустили со справкой об ограниченной полезности, так что на канапе он еще мог надеяться, но с ширмой, видимо, стоило проститься. Теперь ею будет отторгиваться от бездны товарищ Лабазников — если, конечно, товарищу Лабазникову зияют бездны.

Но и справка о бесполезности, наглядно удостоверявшая при-

надлежность Ятя к племени лишних людей, была получена, и народная милиция выдала свидетельство, что Ять с 1917 года не арестовывался и в розыске не появлялся. Добродушный архивист с Миллионной подтвердил, что Чека Ятем не интересовалась. Даже из архива охранки пришлось извлечь справку о том, что и там на Ятя нет ни единого дела, — и нашего героя немало повеселил тот факт, что Чека интересуется благонадежностью горожан в глазах охранки и считает именно это серьезным критерием. Тут открывалась замечательная перспектива — разумеется, перенимая все методы ненавистного самодержавия, от цензуры до запрета на публичные собрания, новая власть обязана была прислушиваться к мнению охранки относительно благонамеренности тех или иных лиц; Ять еще не знал того, что писатель Яроцкий был добровольным осведомителем при обоих режимах, в первом случае надеясь приобрести обстановку, а во втором — вернуть. Не знал он, однако, и того, что обобщение его было хоть и верно, а преждевременно: далеко не со всякого выезжающего требовали справку из архивов охранки, а просто в коридорах власти, как всегда, шла подспудная борьба — и если бы отъезд Ятя никем не тормозился, он уехал бы уже через неделю, как и выезжали обычно протезы народных комиссаров; однако дело происходило в Петрограде, где Чарнолуского с некоторыми пор терпеть не могли. Апфельбаум считал его личным врагом. Дело Ятя тормозили изо всех сил, и чиновник, который им ведал, получил указание измысливать любые предлоги, чтобы задержать наркомовского прихвостня. Ятю еще повезло, что мучитель оказался недостаточно изобретателен. Так иногда тайные векторы истории совпадают с силовыми линиями подковерной борьбы, и весь вопрос в точке зрения историка: одному, как Ятю, свойственно думать, что большевизм окончательно смыкается с царизмом, а другому — что Апфельбаум окончательно ссорится с Чарнолуским. Все наши споры и есть, в сущности, вопрос о точке зрения на очевидные факты — в этом залог полной бессмысленности всякой полемики, но только бессмысленное и интересно. Вот почему люди по-прежнему делятся на тех, кто повсюду отыскивает Божий вектор, и тех, кто копается в фальшивых авизо, полагая, что приближается таким образом к истине. Любопытно, что выводы, к которым приходят обе группы, часто одинаковы, но это почему-то их не примиряет. Вероятно, для обеих слишком огорчи-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

тельная мысль о том, что Божественная воля может осуществляться через фальшивые авизо.

Но и вся эта мельтешня теперь не угнетала Ятя, он покорно наматывал круги по весеннему Петрограду, радуясь солнцу и блеску, — и лишь изредка задумывался: почему в прежней России его с ума свела бы подобная волокита, а в нынешней только забавляет? Вскоре ему явился простой ответ: прежнюю Россию он худо-бедно воспринимал как свою страну, мучился ее муками и болел ее бедами; ему обидны были ее военные поражения и внутренние глупости. Нынешняя — особенно в перспективе отъезда — была уже вовсе не его, свершилась предсказанная Львовским эмансипация от родины, и хорошо бы поговорить об этом с Львовским, когда он наконец вернется с фронта. не может же быть, чтобы Чернолуский так спокойно солгал!

Отделение от родины позволило рассматривать ее без прежней ненависти, с ироническим состраданием, с каким в лучших британских газетах писали о превращениях Московского Кремля, ставшего резиденцией Ленина. Живя в этой новой и совершенно чужой стране (прежняя, видать, окончательно исчезла невыносимой зимой девятнадцатого), Ять с любопытством туриста присматривался к пресловутой вобле, к тухлой селедке, которую давали в пайках вместе с полутухлой, к детям с их звероватыми играми, к суконным рыцарям в шишаках. Так, верно, смотрел бы на нас марсианин; жить без родины оказалось очень приятно. Впрочем, не сказать, чтобы он жил вовсе без родины; просто ею оказалась не Россия, и он сам дивился ложному отождествлению, в которое слепо верил все свои первые тридцать пять лет. Бедный Стечин, зачем было спорить с ним — ведь он с самого начала был прав, и пришел к этому всего-то в двадцать лет! Почему мы ненавидим людей только за то, что они страдали меньше нашего? Ведь мои страдания на пути к этому блаженному освобождению отнюдь еще не значат, что мой путь лучший. Бывают счастливицы, рождающиеся без Родины вообще. Интересно, есть ли дети у хо-дунов?

Наконец ему осталась последняя инстанция — на этот раз настоящая, через которую проходили все отъезжающие за границу: это был отдел по выдаче виз, размещенный в бывшей торсуновской гимназии, где преподавал когда-то Комаров-Пемза.

Ять тут же вспомнил это — и словно облако наполнило на его душу; как назло, и швейцар у входа был древний, старой закалки — наверняка еще из тех, что караулили тут гимназический гардероб. Прежде швейцар, вероятно, был строг, — а ныне жалок и кроток и на всякого человека из гимназического прошлого смотрел с собачьей преданностью, как Захар на Штольца; по правде сказать, старик немного выжил из ума. Ять заподозрил это, но на всякий случай все равно спросил — нет ли каких сведений о словеснике Комарове?

— Как же, были-с, — закивал старик, — вот только позавчера и были-с.

— Как, когда?! — вскричал Ять.

Старик, ответивший машинально, не задумываясь, испугался, что ляпнул что-то не то, и принялся извиняться: не помню-с, толком ничего теперь не помню-с, но заходили, были.. бы-ва-ли.. Конечно, он не помнил никакого Комарова; показали бы портрет — узнал бы, а так — нет. Но для Ятя все было утешением: стало быть, Пемза жив — значит, и все живы.

Он поднялся на второй этаж; в пустом и гулком гимназическом здании, в рекреациях, насквозь просвеченных весенним солнцем, в желтых стенах, в желтом паркете — во всем была радость, та грустная радость, с каким выпускник гимназии осматривается в ней двадцать лет спустя. Ять, впрочем, заканчивал не торсуновскую, а пятнадцатую, что на Литейном. Заходить он туда избегал.

Все визы в Петрограде девятнадцатого года выдавались централизованно — новая власть старалась не допускать прямых контактов между иностранными дипломатами и рядовыми гражданами; выездной паспорт Ятю уже изготовили — требовалось сдать его в кабинет тридцать шестой. Было тринадцатое апреля, Ять пришел к одиннадцати, постучал — и еще до того, как услышать «Войдите!», знал, кого увидит в бывшем кабинете словесности.

Он таинственно знал об этом еще с утра, а потому в душе его, вместо обычного иронического благодушия, билось тревожное счастье; счастье прежде всего — даже после всего, что было. Он убеждал себя, разумеется, что предчувствия — вздор, что этак можно поверить чему угодно — но лишний раз понял, что предчувствию надо верить тем сильнее, чем оно на первый взгляд невероятней. Таня вскочила, увидев его, и замерла у доски, как гимназистка.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Класс был пуст, на стенах еще красовались Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Достоевский, а над доской висел лично изготовленный Пемзой плакатик с аккуратно выписанными исключениями на «ять». На время диктанта табличка переворачивалась. Звезда, гнездо, седло, брести, цвести, приобрести. Ночная крымская дорога: шары омелы в ветках, похожие на гнезда; над нами звезды, под нами седла. Я брел долго, цвел недолго и бессмысленно, и вот что я приобрел.

— Здравствуй, Таня, — севшим голосом сказал он.

Она не бросилась его обнимать, — чай, не Гурзуф; он был теперь никто, а она как-никак уполномоченная по связям с иностранными представительствами, с благодарностью от самого наркоминдела. Главное же — она не ждала его; он давно уже должен был исчезнуть, как и вся прежняя жизнь, — оказаться за границей, в ссылке, Бог весть где еще. Странно было думать, что когда-то он столько для нее значил, чудной, ничего вокруг не желавший понимать. Теперь ей было уже двадцать три года. Она любила взрослого человека.

— Ять! Откуда? — выдохнула она.

— Это ты мне скажи откуда. Я-то не уезжал. Разрешите присесть, товарищ Поленова?

— Лосева, — поправила она.

— О, — протянул он. — Но хорошо хоть не Зуева.

— Ять, Господи! — она не выдержала, закрыла лицо руками и всхлипнула.

— Оставь, пожалуйста. Все, что связано с тобой, я прекрасно помню. Ну, расскажи мне, как ты не попала в Париж.

— Да самым обыкновенным образом. — Она отняла руки, и он увидел, что глаза ее сухи. — Передумала в Ялте, посмотрела как следует на Зуева, поговорила с Маринелли и осталась. При немцах там появилось даже что-то вроде порядка, а когда их выбили — пошли поезда; я и вернулась.

— Минуту, минуту! — Ять наморщил лоб, силясь что-то припомнить. — Скажи, а настоящая фамилия Маринелли, часом, не Лосев? Честное слово, будь он твоим новым мужем, я бы не ревновал.

— Лосев, — сухо сказала Таня, — оформлял тебе паспорт.

Ять вспомнил сухощавого, желчного очкастого коммуниста,

выписывавшего ему документы, и подумал, что неуловимое сходство с Зуевым, пожалуй, все-таки есть.

— Должно быть, человек надежный, — серьезно кивнул он.

— Надежный, — с вызовом ответила Таня.

— Я ненадежный человек, Таня, и почти не существую, — снова кивнул Ять. — Вот справки о том, что я не представляю никакой ценности, вот паспорт, вот разрешение на выезд — прошу тебя, не затягивай с решением.

— Но где ты был все это время? Я думала, ты давно.

— Жив, жив, — успокоительно сказал он.

— Я не о том! Ять, — у нее жалобно скривился рот, — Ять, почему мы встретились как враги? Что случилось? Ведь я та же самая, я всегда была такой, и если ты приписывал мне что-то другое — разве это моя вина, Ять?

Она и в самом деле не изменилась — та же стройность, легкость, живость. разве что на все это словно лег тончайший слой пыли — тут же ложившийся, впрочем, на все, становившееся советским; конечно, и товарищ Лосев недолго удержит ее в этом поле, а может, и сам что-нибудь поймет, он человек неглупый.

— Ты ни в чем не виновата, Боже упаси. Слушай, миллион мужчин до меня говорили женщине эту роковую фразу — «Ты ни в чем не виновата», и всегда с одной и той же интонацией. Все любовные диалоги множество раз уже проговорены, и всегда с одной и той же интонацией: «Чем я виновата?» — «Ты ни в чем не виновата». Каждый мужчина старается сказать женщине то, что она хочет услышать, а каждая женщина хочет услышать только то, что она ни в чем не виновата. опера, одно слово! — При слове «опера» он отчего-то почувствовал во рту жирный, мыльный вкус.

— Ты так говоришь, словно это я оставила тебя в Гурзуфе.

Удивительно, как она умела все обернуть — и как теперь это умиляло, а не раздражало его.

— Да, конечно, — подтвердил он. — Но ведь обида твоя не столь сильна, чтобы отказать мне в выезде?

— Резолюция есть, паспорт тебе выдан — значит, я сделаю, что должна сделать. У нас произвола нет.

Он отметил это «у нас».

— Но скажи — ведь спросить тебя я имею право? — почему ты едешь и почему именно сейчас? Я поняла бы тебя, допустим,

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

в восемнадцатом — но сейчас, когда погна́ли Деникина, когда скоро разда́вят Колчака?

— Знаешь, мне почти ничего не говорят эти фамилии. Я знаю, что есть какие-то Деникин и Колчак и что они хотели взять Питер и чуть было не взяли его, — но, веришь ли, мое решение никак с ними не связано.

— А с чем же, позволь узнать, оно связано?

— Оно связано с тем, что я устал выбирать из двух, а в России это единственный вариант. Поверь, Таня, я хорошо подумал. И позволь заметить, что я старше тебя на тринадцать лет.

— Это-то и плохо, — натянуто усмехнулась она. — Это-то и мешает тебе увидеть нашу правду.

— Таня, я уже видел вашу правду во всех ее вариантах. В том числе и в Гурзуфе. Разумеется, все вы чудные, чудные люди, как ты любила говорить о товарище Трубникове, — но места себе я тут не нахожу, а потому позволь мне связать остаток жизни с другой страной. Ведь и я тебе не нужен больше?

— Ты мне всегда будешь нужен, — почти беззвучно проговорила она, не глядя на него. — Это проклятие, и я ненавидеть тебя готова.

— Я тоже очень люблю тебя, — честно сказал Ять.

— Но почему, почему, Ять? Почему ты не хочешь остаться?

— А почему ты удерживаешь меня?

— Не знаю, — она опустила глаза. — Честно, Ять, не знаю. Ты вправде, конечно, подумать, что мне выдают отдельный паек за то, что я уговариваю отъезжающих.

— Ну, этого-то я не подумаю никогда. Я не Казарин.

— Казарин. кто это?

— Он умер. Очень любил про людей гадости выдумывать. А кстати, паек-то действительно дают? — Он только теперь обратил внимание на то, как она одета: товарищу Лосев не жалел средств. Строгое, до колен платье зеленого бархата, явно пошитое недавно и сидящее на ней идеально; никаких украшений, но часики на серебряном браслете. Впрочем, ей шли и сапоги. Он легко мог представить ее комиссаршей на фронте — и солдаты пошли бы за ней куда угодно, пусть движимые желаниями совсем иного рода, нежели жажда расправы с Деникиным. Удивительно, как из этих хрупких девочек получались большевистские амазонки; впрочем, должно быть, им всегда хотелось чего-то подобного. Не Каза-

рин же, в самом деле, должен был жить с Ашхарумовой, — она могла бы на руках его носить, убаюкивая; нет, только слоноподобный Паша.. и Паша ведь далеко еще не худший вариант!

— Паек мне дают. — Она зло сощурилась. — Это все, что тебя интересует?

— Почему, интересует многое, — но ведь мы теперь не об этом говорим. Я пытаюсь понять, почему ты не хочешь меня отпустить.

— Я не могу отпустить или не отпустить. Мое дело — получить для тебя визу. Но пойми, — она снова вскочила, — я сама не все себе объясняю. Я только чувствую, что с твоим отъездом что-то кончится, теперь уже насовсем..

— Все давно кончилось, Таня, — удивляясь собственному спокойствию, сказал он. — Говоря театрально, доигрывается эпизод. Уже и сейчас нельзя ничего изменить — нас, может, для того и свели, чтобы мы ясно увидели, как далеко разлетелись. Я смотрю на тебя — и впервые в жизни не могу тебя обнять.

— Ну, это просто, — она улыбнулась совсем прежней улыбкой и подошла к нему вплотную, однако, секунду постояв рядом, отшатнулась в ужасе.

— Вот видишь, — виновато сказал он.

— Ты совсем другой, — прошептала Таня. — Совсем, совсем другой..

— Ах, Таня, ну к чему это? Это так мелодраматично.. Просто вокруг все другое до неузнаваемости, вот и мы с тобой ничего теперь не можем понять друг в друге.. Понимаешь ли ты теперь, какая эфемерная штука человек? Он думает, что решает, — а ведь мы с тобой ничего не в силах решить. В одно время мы одни, в другое — другие, и разные токи идут через нас.. В общем, чтобы это понять, уже стоило увидеться.

— Ять, — она и впрямь никогда не видела его таким, — неужели тебе не..

— Неужели тебе не хочется остаться со мной? — закончил он. — Нет, Таня, не хочется. Чем дальше от тебя, тем ближе к себе — по крайней мере пока; хватит переваливать себя на кого попало. Ты, конечно, не кто попало.. но слава Богу, что я вовремя тебя освободил от своей пустоты. Она есть и в тебе, конечно, — но у тебя впереди больше времени, успеешь наполниться. Впрочем, тебе тоже здесь надоест.. но на этом посту проще устроить себе выезд.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Но что ты будешь там делать?! Ты никому там не нужен, а здесь будешь нужен всем! Революция кончилась, Ять, начинается другая жизнь, в которой надо будет учить детей, писать книги, делать стихи! (Он мелчком отметил конструкционистское «делать стихи»; что ж, Корабельников так говорил еще в пятнадцатом.) Ты не представляешь себе этих людей, Ять, ты никогда не знал их! Нельзя же обо всех судить по одному сумасшедшему эсеру. Среди наших есть люди европейского, мирового уровня, они мир перевернут, ты через два года не узнаешь Россию.

— Да я ее давно не узнаю. Всё, Таня. Скажи, когда прийти.

— Тебя пригласят, — сухо сказала она.

Он пошел к дверям; она смотрела ему вслед — он обернулся и поймал этот взгляд, не любовный и не страдальческий, на который он смел рассчитывать, а снисходительный, почти высокомерный: женщина, сделавшая правильный выбор, смотрела вслед заблудившемуся подростку, никак не желавшему двинуться по единственному пути. Удивительно, как влияет на человека Правильный Выбор! Боже, да ведь, оставаясь тут, она жалеет его! — и в этот миг он пожалел ее, как никогда в жизни.

— А знаешь, Таня, — сказал он бодро, — ты, может быть, и права. И придут в эту школу другие дети, и во время очередного диктанта — уже, слава Богу, без всяких ятей — будут так же, как мы, смотреть в окно, чувствовать всю эту весеннюю вольницу, с наслаждением предвкушать звонок.. И, разумеется, все гимназисты будут влюблены в девочек из соседней женской гимназии — многие еще будут влюблены и после нас..

— Мы за совместное обучение, — сказала она наставительно. Это было последнее, что он от нее услышал.

Есть и в этом особенный смысл, думал Ять, жадно закуривая и останавливаясь посмотреть на воробьев, купавшихся в лужах. Да, совместное обучение — великая вещь; мы с нею всегда жили врозь, а потому всему учились отдельно. Как знать, живи мы вместе, я мог бы научиться у нее жизнеприветию, а она у меня — недоверию; как знать, живи мы вместе.. Но зачем, ведь все кончилось — а я не заметил как. Вот что значит — вторая половина жизни: все совсем по-другому, и я не люблю ее больше, словно тот я действительно кончился.. Его

еще можно, наверное, извлечь из-под завалов памяти, из-под пластов ненависти к себе, — но, очнувшись, этот бледный покойник только захлопает полупрозрачными веками: где я? зачем вы меня разбудили? Я давно уже — собственная загробная жизнь, не вторая и, может быть, даже не третья; Бог весть, сколько их еще будет. Какое было дело воскресшему Лазарю до сестры и матери? Почему я так спокойно выношу то, что еще два года назад взорвало бы мой мир? — да потому, что я другой и мир другой, и, Господи, как же разумно ты все устроил! Кроме этого доверия к тебе, доверия подмастерья к мастеру, ничего не уцелело во мне.

Мимо промчались, держась за руки, мальчик и девочка, — и он снова спокойно и радостно подумал, что уже совсем скоро в торсуновской гимназии будут учиться дети; он представил их ранцы, фуражечки, башлычки, их гогот и гвалт, невыносимый для запутанного гимназистика-слабака, но умильный для взрослого слуха; наконец, кажется, я повзрослел и могу умиляться всему — ибо ничто здесь уже ко мне не относится; это и есть единственное преимущество возраста. Скольких я боялся, скольких незаслуженно ненавидел или понапрасну любил — а все потому, что был слишком живым; теперь я жив ровно настолько, чтобы ничего не принимать всерьез...

Был прелестный, лучший час весеннего дня — перелом к вечеру; глубокая небесная синева, какой не бывает больше в году — разве только в августе, когда умирает лето, — куполом стояла над Лиговским проспектом. Лучились невыбитые стекла верхних этажей, пищали воробьи, кричали дети в соседнем дворе; такого умиротворения он не испытывал давно.

А все-таки, живи или умри, главное в нас не меняется: предсказывать он не умел. Предчувствовать — сколько угодно, а предсказывать — никогда. Никакой школы в здании торсуновской гимназии больше не было. С двадцать первого там размещалось фабрично-заводское училище, в двадцать пятом отличное здание забрал себе Петроградский институт истории Октябрьской революции, а после его разгона вселилась редакция журнала «Наши достижения». Когда, в свою очередь, разогнали журнал, вселился проектный институт, который под разными

названиями и существовал тут до тех пор, пока здания не попросило британское консульство, прежде ютившееся в особнячке на Староневском. В этом особнячке теперь детский музыкальный театр «Колобок».

30

Два дня спустя, возвращаясь с постылой службы, Ять вдруг встретил на Разъезжей Грэма.

— Грэм, дружище! — воскликнул он. — Сколько же не виделись?

Грэм никогда и ничему не удивлялся, как всякий человек, живущий в мире слишком удивительных происшествий, чтобы еще обращать внимание на всякие земные чудеса.

— Здравствуйте, — с обычной важностью сказал он. — Вы не знаете, как платит «Парус»?

«Парус» был новое издательство Хламиды, куда Ять обращаться не хотел, зная о полном и внезапном переходе Хламиды на сторону властей. Возможно, безнаказанная фронда была бы еще отвратительней, — но в этом, как хотите, ему виделось явное лицемерие: так долго и убежденно ругаться, так безоговорочно переметнуться.

— Я в «Парусе» не бывал, — ответил Ять. — Но где вы были?

— Я бродил, — с достоинством ответил Грэм, — и видел с ю ж е т ы. Я сделал теперь вещь — помните, ту, о которой говорил вам в Крыму; вышла ф е е р и я. Феерию написать непросто — и я думаю, ее оценят.

— А я уезжаю, — сказал Ять.

— Куда?

— Пока — в Финляндию. И думаю, что насовсем.

— Да, вернее всего, насовсем, — кивнул Грэм. — Я думаю издать феерию и купить дом в Крыму — там теперь дешево. Если будете, найдете.

Трудно было представить, каким ветром Ятя занесет из Финляндии в Крым, но для Грэма не существовало географии.

Было темное пятнышко, которое следовало выскрести, выскоблить с новой жизни Ятя; этим пятнышком было сомнение — что такого Грэм предчувствовал тогда, в ночь на шестнадцатое мая, на мосту между островами?

— А почему вы тогда, на Елагином, предлагали мне уйти? — решил наконец Ять на прямой вопрос.

Грэм посмотрел на него исподлобья. Шрам на его правой щеке побелел.

— Никогда не задавайте вопросов, ответы на которые вам известны, — сказал он глухо, поправив капитанскую фуражку. Он говорил тем же тоном, что и год назад, на Елагином, когда советовал Мельникову никогда не жечь бумаги, «чтобы было хорошо». — До свидания.

— Нет, стойте! — перепуганный Ять схватил его за рукав. — Грэм, прошу вас, пожалуйста!

— Не спрашивайте, когда знаете, — повторил Грэм. — Не спрашивайте.

31

В день, когда все документы были выданы Ятю на руки, когда после звонка (телефоны заработали с марта) он явился в знакомое здание на Миллионной и получил все, включая билет в Гельсингфорс на двадцать четвертое мая, — он нанес необходимый визит: побывал у своего спасителя Клингенмайера. Ять знал, что ближе к отъезду им овладеет неизбежная дорожная лихорадка, от которой он мучился во всяком возрасте, и потому увидеться со странным антикваром, ничуть не ставшим понятнее после двух месяцев жизни в его лавке, надо было сейчас.

Как ни странно, лавка была закрыта; Ять еще дважды заходил — но никого не застал. Звонил, стучал — все тщетно. Опасаясь, что после такого звонка не выпустят, он все же попросил соединить его с приемной здания на Миллионной, дал записать свое имя и спросил, не числится ли Клингенмайер среди задержанных, — не числился. Он звонил и на Гороховую, где занимались теперь уголовными делами, — молчание. Наконец тридцатого апреля немец оказался в лавке и встретил его со всегдашним дружелюбием — в котором Ять, однако, заподозрил скрытый холодок. Он уезжал и потому чувствовал себя виноватым перед всеми, кто оставался.

— Где вас носило? — спросил он. — С третьего раза застал.

— Дела, дела, — расплывчато отвечал Клингенмайер. — Рань-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ше, знаете, каждый мог ко мне добраться, а теперь самому приходится ко многим заходить..

Этого Ять не понял.

— Что же, на дому оцениваете древности?

— Можно и так сказать. Ну, проходите же, выпьем чаю. И отчего вас не было видно в последний месяц?

— Я уезжаю, — прямо сказал Ять.

— Я так и думал, — кивнул Клингенмайер. Он заваривал бомбейский чай, но ароматическую соль уже не извлекал из ларчика — то ли кончилась, то ли считал ненужным сопровождать последнюю встречу детскими церемониями.

— Вы не одобряете моего отъезда?

— Почему же. Я одобряю всякий решительный поступок, кроме убийства — которое тоже, вы знаете, в исключительных случаях может быть понято.. Я думаю, что для вас это самое лучшее — ведь вы далеко не все сделали, что могли. А здесь теперь работа есть только для меня.

Этого Ять тоже не понял.

— Видите ли, Фридрих Иванович, — сказал он, делая маленький глоток божественного чая, пахнущего джунглями. — В конце концов, я вам жизнью обязан, и не знаю, стоит ли об этом говорить..

— Не стоит, — с улыбкой кивнул антиквар.

— Все это время я не решался вас спросить: по какому принципу отбираете вы вещи для своей лавки? Но теперь, когда, скорей всего, больше не увидимся..

— Не зарекайтесь.

— Был бы счастлив, но.. некоторый дар предвидения..

— И что же вам подсказывает ваш дар предвидения относительно моей лавки?

С Клингенмайером удивительно просто и удобно было разговаривать — с ним никто не чувствовал себя лишним.

— Мне казалось, — признался Ять, — что вы собираете вещи, не имеющие никакого прагматического смысла.. или окончательно потерявшие его.. Думаю, только этим и можно их объединить.

— Пожалуй, — снова кивнул Клингенмайер, ловко пропуская между пальцев каучуковую змейку. — Пожалуй, что и так, — или, верней, тут вещи, которые в известных комбина-

циях могут еще пригодиться: скажем, пуговица вместо шахматного коня.. хотя и пуговица, и неполный шахматный набор сами по себе ушербны. Это забавная мысль — может, у меня и в самом деле клуб взаимопомощи поврежденных вещей; ах, Ять, вы слишком писатель! Вы настолько писатель, что всюду вычитываете сюжет; и это ваше свойство мне всего милее, да еще чистая ваша душа.

— Благодарю вас, — но, значит, я ошибся?

— Это высокая ошибка. Простое объяснение, Ять, огорчит вас. Это кладбище.

Слова эти были сказаны так буднично и вместе с тем так неожиданно, что в первое время Ять, естественно, решил, будто ослышался; однако Клингенмайер смотрел на него все с той же спокойной улыбкой, словно подтверждая: да, да, именно так. Он соединил кончики пальцев и откинулся в кресле.

— Что вы хотите сказать?

— Историк, Ять, собирает свидетельства. В нынешнем мире от человека может вовсе ничего не остаться. Вот эту змейку занес мне Мигунов, уходя на войну.

— Но ведь Мигунов жив! — Мигунов был известный поэт и путешественник, после войны оставшийся за границей.

— Он жив, но памятник себе обеспечил уже при жизни. Знаете, как участки на кладбище покупают. Иногда приходят решившиеся самоубийцы — помните, при вас однажды пришел некто Солнцев, принес снежный буран? Разумеется, я храню не только эти памятники — у меня есть и подлинные древности, которые вы сами видели. Но главная моя миссия, о которой в Петербурге хорошо знают, — он демонстративно избегал говорить «Петроград», — заключается в том, чтобы увековечивать каждого из живых, чтобы в конце концов от них что-нибудь осталось; такой хранитель необходим, ибо это больше всякого архива. Многие верят, что в заветную вещь вселяется душа; многие — что с человеком ничего не случится, куда его талисман хранится у меня. Но таких все же меньшинство: обычно посетитель оставляет мне пуговицу, или ручку, или итальянскую бутылку с кораблем — когда идет на гибель. Ему легче уйти, зная, что он — в моем реестре. Так что лавка моя неприкос-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

новенна — по крайней мере, пока хозяева города тоже боятся смерти.

— А мою книгу, — с усилием спросил Ять, — вы тоже у кого-то взяли на хранение?

— Нет, это из разряда диковин, — небрежно отвечал Клингенмайер. — Купил в Египте.

Ять помолчал.

— Я уезжаю навсегда, — заговорил он наконец, — а это всегда немного похоже на смерть. Не думаю, что от меня останется многое. Позвольте, и я вам оставлю что-нибудь.

— Это ваше право, — кивнул Клингенмайер.

— Что же мне оставить вам? — вслух задумался Ять. — Ведь у меня почти ничего нет.. по крайней мере, с собой..

— Заходите еще раз.

— Возможно, но я чувствую, что надо сейчас.. сейчас. Знаете что? Ведь вы возьмете записку?

— Конечно, — кивнул Клингенмайер. — Прощу.

Он принес лист желтой бумаги, похожей на пергамент, и гимназическую чернильницу-непроливайку с железной вставочкой. Пока Ять писал, он достал из ящика такой же пергаментный конверт и аккуратно вывел на нем фамилию, имя и отчество Ятя, изобразил в скобках большой ять, чтобы не забыть о приросшем псевдониме, и стал ждать.

Ять колебался недолго. Он взял перо и аккуратно написал:

«БЪло-сЪрый блЪдный бЪс
УбЪжал поспЪшно в лЪс.
БЪлкой по лЪсу он бЪгал,
РЪдкой с хрЪном пообЪдал
И за бЪдный сЪй обЪд
Дал обЪт не дЪлать бЪд».

— Вот и всё, — сказал он, дуя на листок.

— Вы позволите? — спросил Клингенмайер.

— Конечно, прочтите.

Антиквар просмотрел записку, кивнул, словно догадывался об ее содержании, и упрятал в конверт.

- Что, жалкий итог? — криво улыбаясь, спросил Ять.
 — Ничего не жалкий, — ласково утешил Клингенмайер. —
 Очень многие и этого не смогут о себе сказать.

32

Почти весь май прошел в прощальных визитах. Ять отважился зайти и на Елагин остров, где ничто уже не напоминало о филологической коммуне. Дворец объявили памятником, да так и оставили забытым, словно и не было тут никакой коммуны; и Ять уже почти верил в это.

Было, однако, одно посещение, которое он долго откладывал — но которое было отчего-то ему особенно необходимо. Этот последний его визит, за день до отъезда, был на Васильевский остров, к Зайке.

Ять не вполне понимал, почему он хочет ее увидеть. Вероятно, причина была в том, что к весне девятнадцатого года странная девочка-женщина Зайка, в которой не было ничего женского — только милые беспомощные глаза, пухлые губы, домашние запахи, — была единственным существом, которое он по-настоящему жалел. Ее внутренняя тишина словно уравновешивала весь шум и лязг семнадцатого, весь подспудный гул восемнадцатого. Правда, не слышала она и музыки... но была ли музыка?

Она была дома и сама открыла; увидев Ятя, улыбнулась прелестной щербатой улыбкой и, поправляя очки, попросила зайти. За подол ее серого шерстяного платья держался кривоногий рахитичный младенец. Удивительно было, что она не похудела: в ее круглом, очень белом лице, во всем теле под зеленой вязаной кофточкой (явно собственного производства) угадывалась та же детская полнота, что и два года назад, во времена сравнительно благополучные. Жизнь ее не брала. Ведь худеешь не тогда, когда голодаешь, а тогда, когда иссыхаешь; невозможно было представить жар, который иссушил бы этот родник органического, неразборчивого доброжелательства, это инстинктивное желание греть, жалеть, утешать.

— Зайка, — улыбаясь как можно бодрее, сказал Ять. — Я уезжаю отсюда.

Она сразу поняла и опустила глаза.

— Что ж, дай вам Бог. Я, знаете, все боялась, что вы сердитесь... еще за тот раз...

— Господи, Зайка, что вы ерунду городите! Вы-то при чем были? И Валя Стечин — милейший человек...

— Да, Валя очень умный! — уважительно сказала Зайка. — Он в Пскове сейчас, у друга. Но, знаете, посылает денег семье своего приятеля, который на фронте. Так что это разговоры только, что он никого не любит...

— Да я знаю, хватит вам всех защищать. Я, по-вашему, пришел ругать Стечина? Нет, конечно!

Ребенок отвратительно заголосил; точнее, пронзительный этот писк нельзя было назвать голошением, но лицо его покраснело и исказилось так, словно он ревел паровозом.

— Ну что это?! — беспомощно утешала его Зайка, подняв на руки. — Ну что это мы плачем? Мы же только что целый сухарь ухомячили... Это жильцов наших сын, — пояснила она Ятю, — они оба ответственные и все время на Гороховой, а Марк со мной...

— Его зовут Марк? — переспросил Ять.

— Маркс вообще-то, — улыбнулась Зайка, — но так привычнее. Хотите подержать?

— Нет, нет, увольте. Я Маркса в любом виде боюсь...

Зайка посмотрела на него неодобрительно:

— Он же маленький!

— Да они, знаете, и не заметишь, как вырастут... Так я вот о чем, Зайка. Я вам хочу сказать, что вы будете очень счастливы. Верьте моим предсказаниям, они сбываются.

Зайка порозовела.

— Наследство получу от французской тетушки? — И, не удержавшись, прыснула.

— Нет, нет. Гораздо проще. Вы просто скоро будете счастливы, вот и всё; и это будет сопровождать вас всю жизнь. Говорю вам это совершенно серьезно, потому что знаю. Не сомневайтесь, просто возьмите на веру. Так и будет.

— Вам, — сказала она смущенно, — надо внушением заниматься. Вы не пробовали?

— Пробовал — безуспешно, — сказал Ять. — Людям можно внушить только то, что они сами хотят услышать. А вы не верите в свое счастье, и потому вас разубедит только жизнь. Так вот, я клянусь вам чем хотите, что жизнь ваша будет счастливая, прекрасная, вы будете всеми любимы... Подождите, не перебивайте. Сейчас дурные времена, и никто ни в чем не уверен. Но когда-нибудь они кончатся, и тогда окажется, что я был прав и вы тоже. Никогда не сомневайтесь в своей правоте, слышите — ни минуты! Вам нет нужды искать правду, потому что она вам дана с самого начала. Вам все дано, вам ничего делать не надо. Понимаете, мы все ищем доказательства бытия Божия, и найти их очень трудно, потому что... это как если бы сыщику пришлось искать самого себя. Я не знаю, верите ли вы в Бога...

— Я тоже не знаю, — серьезно кивнула Зайка.

— Ну, и хорошо — меньше будет соблазнов собой гордиться. Вот говорят: как Бог терпит всякое зло? Так ведь он не терпит, зло истребляется... и не в последнюю очередь вашими руками.

— Да что же я могу? — окончательно смутилась Зайка. — Вы из меня Жанну д'Арк сделали, а я ужасная трусиха...

— Все великие подвиги совершаются трусами, от страха перед собственной совестью. Но вы продолжайте себя терзать, это очень полезно. — Он размахивал руками в темной прихожей; юный Маркс положил палец в рот и затих, глядя на него. — Живите как Бог на душу положит, слушайте только себя, любите кого хотите, страдайте из-за кого хотите (страдать вы будете, без этого какое же счастье), — но только не сомневайтесь в себе. Я считал долгом вам это сказать, потому что вы сомневаетесь. Знаете сказку про яблоню? Кажется, кто-то из немцев. Я в детстве все плакал над ней, — Ять почувствовал, что близок к этому и сейчас, впервые за долгое время: удивительно действовала на него эта квартира, все еще уютная, пахнущая домом, несмотря на вселение ответственных товарищей с Гороховой. — Там мальчик любил яблоню, и яблоня была счастлива. Он играл в ее ветвях и ел ее яблоки, и она была счаст-

лива. Потом он вырос здоровым таким бабдой и ушел из дома, а когда вернулся, то яблоню эту при каких-то там обстоятельствах срубил, она окно ему, что ли, застила, — и она опять-таки была счастлива, хотя не совсем. Мне очень понравилась там эта трогательная сноска насчет того, что не совсем. Ну вот, а потом он состарился, так? — и присел отдохнуть на пеню, и сказал: «Боже, какой прекрасный, удобный пеню, а я и не замечал его!»

— И яблоня была счастлива, — закончила Зайка.

Он сбежал вниз по лестнице, все еще несомый волной; то, что он чувствовал при виде этой девочки, для которой Абсолютное Благо было еще естественней, чем для него — изгойство, было несравненно больше любви и куда ближе к религиозному поклонению. Это добро, без каратаевской инертности и мученической жертвенности, простое, домашнее, жалкое, еще ясней доказывало Бога, чем лишняя буква ять. Пока все искали Россию, Россия переселилась сюда, в эту квартиру на Васильевском острове, в близорукую девочку с неловкими руками.

И Зайка поверила странному предсказанию Ятя, как верила всему непонятному, — и всегда была уверена, что ей везло.

Похоронив обоих родителей в середине двадцатых и оставшись одна, она вырастила Маркса, чей отец спился и попал под трамвай вскоре после гибели жены от тифа; и вырастила его человеком. Сама она замуж не вышла, да и любви большой не знала, если не считать увлечения полярным летчиком, в тридцатых годах часто бывавшим у ее соседей по квартире. Она с Марксом жила теперь в своей детской, а прочие комнаты их большой квартиры отдали другим жильцам. Летчик пару раз сводил ее в ресторан, пытался приставать и сам недоумевал, почему с ней не получается, как с другими. Он обещал забрать ее в Мурманск, где теперь такие дела, ууу! — но никуда не забрал, конечно. Она учительствовала в тридцать пятой ленинградской школе, той самой, с физическим уклоном, которую разгромили в тридцать седьмом, когда врагом оказался директор; она преподавала там литературу и к физическому антинаучному кружку не имела отношения, но уволили всех, и она пошла коррек-

тором в детское издательство. Разогнали и издательство, но Маркс — инженер — уже работал, на жизнь хватало. У его отца оставались могущественные друзья, так что их не трогали и даже приносили кой-какие продукты; эти же друзья предупредили ее в июле сорок первого года, чтоб не слушала никого и уезжала при первой возможности. Ее всегда предупреждали, чтоб она никого не слушала, потому что она всему верила.

Маркс пошел на войну и погиб, она узнала об этом в Ташкенте и полгода пролежала больная; но выходили, вернулась, снова устроилась в школу и преподавала до шестидесятых годов; мальчик, сын новых соседей, был ей за внука, и она многое успела ему рассказать, многому выучить, — но, когда ему исполнилось пятнадцать, соседи переехали то ли в тайгу, то ли на целину. Тогда все время переезжали, страна находилась в беспрерывном движении, превратившись в одну громадную секту ходоунов: когда человек боится двигаться вглубь, опасаясь увидеть там, чем он стал, — он начинает безудержную экспансию вширь. Она доживала на пенсию, ходила иногда в Малый драматический, смотрела телевизор, а в семьдесят втором слегла в больницу и оттуда уже не вышла; к ней некому было приходиться, коллеги давно про нее забыли, и она не претендовала на их память, — а вот к соседке иногда приходила неприятная, злая невестка, а с ней сын, мальчик лет восьми, страшно боявшийся больницы, тихий и зажатый; и чтобы он не так боялся, Зайка рассказывала ему что попало. Она отлично импровизировала сказки. Мальчик однажды дал ей яблоко.

Мальчик этот впоследствии вырос, и из него тоже получился человек; это и было, вероятно, самым ценным результатом всего, о чем здесь рассказано.

33

В день отъезда Ятя пошел трамвай.

Это был намек столь явный, что уже почти неприличный: убирайся, мол, со всеми удобствами! гладкий тебе путь! Ять проснулся от характерного дребезжания: когда трамвай шел — весь

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

дом вздрагивал. Ощущение было и привычное, и незнакомое — из позапрошлой жизни. Раньше, однако, эти дребезжания повторялись с интервалом в полчаса, но теперь прошло часа два, прежде чем прополз второй.

Внизу двое худосочных мужиков со звоном долбили ломами мостовую — без всякой видимой цели, однако имели такой вид, какой, помнится, однажды напустили на себя родители: Ятью было лет пять, он капризничал, и его не взяли гулять на острова. Отец и мать преувеличенно радовались, подчеркнуто не обращали на него внимания, громко и с удовольствием обсуждали предстоящую поездку — миленькая, возьмем лимонаду? — да, и непременно груш. Мать ненавидела груши, а он обожал, разговор велся специально для него — чтобы он раскаялся по-настоящему, увидев краешек прекрасной жизни, в которую его не пустили. Так и тут — все с преувеличенной сосредоточенностью занимались строительством, восстановлением, перераспределением, хотя результата, по чести сказать, пока не было; город продолжал разрушаться, трескаться, сыпаться, и не в силах новой власти было ему помочь, — однако она бешено суетилась на руинах, словно процесс распада никак не должен без нее обойтись. И он послушно ускорился.

Ять с тихой радостью ждал последнего своего петербургского дня, боясь его торопить (прежний Ять все опасался бы, что не выпустят, — новый, однако, ни в чем не сомневался, знал, что уедет). Поезд отправлялся в час дня. Ять встал, оделся, неспешно собрал немногочисленные, как всегда, пожитки, взял денег, тщательно упрятал записную книжку с гельсингфорскими адресами (у всех там, оказывается, было множество знакомых — рекомендовали ему даже русскую газету, выходившую уже полгода), прошел на кухню, где доедали картошку дворничихины дети. Дворник теперь по утрам был дома — чай, не царское время, когда полагалось мести с рассвета.

Ять налил себе кипятку из общего большого медного чайника, заварил брусничного листа, которым в девятнадцатом году заменяли чай, и сел к столу.

— Уезжаю я сегодня, — сообщил он детям.

— В Америку? — готовясь за него обрадоваться, спросил младший. Ять как раз недавно рассказывал им о Колумбе.

— Поближе. На север.

— В Лапландию? — понимающе уточнил старший.

— Вроде того.

— На когда? — деловито поинтересовался младший.

Ять неопределенно улыбнулся. Что такое «насовсем», детям долго было объяснять.

— Ага, — сказал младший и утратил к Ятю всякий интерес.

Со столяром он прощаться не стал, но столяр поджидал его за дверью. Рожа его не обещала ничего хорошего — онпил третий день, но хитрая интуиция всех пьяных и сумасшедших подсказала ему, что Ять исчезнет именно сегодня. Он его караулил.

— Ах ты, — сказал столяр, но тут встретился с Ятем глазами.

— Ну? — спросил Ять. — Что сказать хотим али так стоим?

— Ехай, ехай, — вяло буркнул столяр и повалился на ступеньки, заснув еще в падении.

Видно, я и точно призрак, подумал Ять.

Он вышел из дому в одиннадцать, с хорошим запасом, думая напоследок взять извозчика, — но тут как раз подошел третий за день трамвай, и Ять вскочил в него. На лице вагоновожатого (так отчего-то называли водителя трамвая, словно вагон был отрядом, а он вожаком) проступило явное неудовольствие оттого, что Ять успел. Прежде на лицах вагоновожатых читалось гордое и доброжелательное сознание своей значимости (вот, господа, у нас есть электрическая конка, и мы вместе служим прогрессу, осваивая ее). Да и трамвай был не тот — коричневый, лаковый, — а обшарпанный, словно решительно приобщившийся к новой жизни, в которой не было никаких излишеств вроде внешней опрятности. Пассажиров было двое — матрос да баба с огромным мешком в бурых пятнах; от мешка разило гнилым мясом. Вскоре оба сошли. То ли везли человечину — прятать, то ли конину — жрать.

Трамвай полз медленно, церемониальным маршем, и у Ятя было время взглянуть на все в последний раз — вовсе без той надрывной жалости, которую он иногда пугливо предполагал в себе, представляя этот последний день. Да, я оставляю эти дома, которые видел столько раз, что перестал замечать; вот мозаика — дым, трубы... Вот окно, вечно горевшее напротив: все собирался зайти перед отъездом, но так и не зашел — слава Богу! Мне все мечталось, что там девушка грезит над книгой или отрок слагает стихи, а там небось сидел один из тех могильных во-

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ров, которых давеча, если верить «Красной», расстреляли: сидел и переплавлял золотые коронки. (А между тем за окном, горевшим напротив, жила прекрасная семья — с веселыми детьми, множеством приятелей, с домашними концертами и альбомами сказок в картинках — пять томов домашнего фольклора; в трудные времена тут сохраняли бодрость и гордость и были бы рады ему.)

Я оставляю все это — и, как ни странно, без тени сострадания. Участь свою они выбрали сами. Трубы проголосовали, дома не возражали, азбука покорно сдалась на растерзание, книги прыгнули в огонь, люди встали на четвереньки. Я жил в этом городе, и город был моим — но никогда вполне; земля тряслась у меня под ногами, как этот трамвай.

Вагон дернулся, остановился, и в него ворвался вопль небритого красноглазого мужичонки, ораторствовавшего с фонарной тумбье.

— Ребенок говори: хочу, взрослый говори: на! Не допускать, чтобы большой начальствовал. У малого свои права: хочу так, пойду здесь! Домашний зверь не раб, коза не слуга, конь не швейцар, — так и дитя тебе не машина: поди сюда, скажи то! Дитя само знает; тянет каку в рот — дай каку, в каке полезный элемент!

Трамвай тронулся дальше, звон и дребезг заглушили речь о раскрепощении детства. Слава Богу, несчастный безумец перестал быть представителем наркома и вернулся в естественное состояние. Его никто не слушал, но в слушателях он и не нуждался. Между тем все сказанное им было вовсе не так безумно. Дайте детям играть в их детские игры, не лезьте со своим воспитанием, не читайте лекций, не ставьте памятников, не навязывайте грамоты. Дайте детям вырасти, усложниться и снова взорвать свой мир и не пробуйте нарушить цикла. Год спустя безумца в самом деле заметили, теперь уже всерьез, и в 1921 году он возглавил Петроградский институт остановки времени, просуществовавший до 1927 года; видимо, к 1927 году он уже выполнил свою задачу.

На Троицком мосту трамвай встал; Ять вспомнил, как по этому мосту в январе восемнадцатого шел к Чернолускому, сморщился от стыда и отогнал гадкое воспоминание. Опять мост, и опять эта большая, свинцовая вода; почему я должен жалеть о ней, если я протеку, а она останется? Протечет все, что ни есть

на берегах, размоются, осыплются и сами берега, — но вода всех переживет и отомстит граниту, сковавшему ее путь.

Надо было идти.

Трамвай так и остался стоять на мосту, и вагоновожатый задремал, укрывшись курткой.

Финляндский был пустынен, поезд уже стоял на пятом пути; штурмом его никто не брал — от поездов, идущих за границу, в девятнадцатом году подчеркнуто держались в стороне, как от прокаженных выезд понимался как бегство, бегство — как предательство. Около вагонов стояла, бродила, покуривала относительно чистая публика, выглядевшая, однако, ничуть не чище прочей — разница определялась по лицам, и Ять чуть не заплакал, увидев эти лица. Он давно не видывал таких.

Кажется, путь был действительно свободен. Он в самом деле уезжал из России. Оставалось пройти последние шагов сорок от ажурных железных ворот до перрона, — и тут он почувствовал чей-то взгляд; оглянулся — и в стайке грязных вокзальных детей увидел того, кого искал два года.

Несомненно, это был его мальчик, его Петечка, но какая разительная и страшная случилась с ним перемена! Жалкое и запуганное выражение приросло к личику, как маска, — но за этой привычной маской городского нищего Ять легко видел теперь скрытое торжество ловкого обманщика; Ять увидел его черные глаза и шафранно-желтое лицо, все в морщинках, складочках, в мешочках больной кожи. Это был мальчик из гурзуфского сна — мальчик, бросившийся на него.

Будь это прежний Петечка, дитя, возникшее из метели и отогревшееся у него в доме, будущий гимназистик, умеющий играть в «Море волнуется», — Ять не колеблясь бросил бы все, порвал билет, выбросил визу, вернулся к себе на Зеленину, убил столяра, убедил дворника и вырастил мальчика, сделав его вторым собою; но из этого мальчика ничего уже было не сделать — гримаска плаксивого хищника не оставляла надежд. Он смотрел на Ятя с тоской и мольбой — но Ять знал, что стоит ему подойти и протянуть Петечке хоть сухарь, хоть монету, как вся стая безмолвно набросится на него. Этих детей не зря тренировали по ночам. Теперь, впрочем, они и днем ничего не боялись.

Он в последний раз поглядел на Петечку, отвернулся и пошел к поезду.

ОРФОГРАФИЯ

— Колю больше не видай! — крикнула ему вслед цыганка, промышлявшая гаданием на вокзальной площади; он оглянулся и узнал Соню.

— Не буду, — кивнул он.

И это было последнее, что он сказал в Петрограде.

В купе с ним оказались два американца, священники-энтузиасты, отбывавшие теперь в Гельсингфорс на предмет ознакомления с новой жизнью независимой Финляндии; оба были в восторге от Петрограда, в особенности от того, что революция почти не повредила архитектуры, ибо была бескровной и поистине всенародно чаемой. Он не стал поддерживать разговора и стоял у окна, пока роскошный поезд не тронулся.

Ять порылся в мешке и достал книгу Клингенмайера — пергаментно-желтая бумага, какая, кажется, только и была в его лавке; обложка без единого знака, без единой черты, пустая, — и ряды пересекающихся фигур на каждой странице. Вот волнообразные треугольники, вот восходящие по диагонали квадраты, летящие по круту крути, — овалы, обвалы, молнии внезапно пересекающихся прямых, многоугольники, ромбы, стрелки: клинопись неведомого шифра, музыкальная грамота безумца. И точно, мелодия угадывалась, но тут же сбивалась резким диссонансом; написано было старательно, но никто не понимал, что написано. В руках у него был апофеоз бессмысленного усилия, лучшая в мире орфография.

Накренились, потянулись, побежали за окном дома, деревья, заборы, сыпанул мелкий дождь, начертив на стекле крути, овалы, косые линии, замелькали пятна зелени с проступающей между ними чернотой голой, жирной, последней правды; простучал короткий мост, низко опустилось небо, и из всех красок на свете остались зеленая, лиловая, серая. Скучна и безвыходна северная весна, и начало ее не радостнее конца.

*Санкт-Петербург — Артэк,
август 2001 — июнь 2002*

От автора

«**О**рфография» — скорее опера, нежели роман, и потому требовать от нее исторической достоверности так же странно, как искать исторические ошибки или этнографические погрешности в «Хованищине» или «Чио-чио-сан». Автор не документалист, однако за некоторые частности может поручиться.

Всякий, кто жил в России в девяностые годы, не может не знать русскую революцию: есть вещи, типологически присущие всем пред- и постпереворотным эпохам. Накануне переворота чувствуешь восторг и напряжение, творческий подъем и несравненную причастность мировым судьбам; после переворота приходит черед разочарования и скуки. Все это очень похоже на любовный акт и многократно описано. Каждая революция порождает и раскол в среде интеллигенции, причем типологически все эти расколы тоже неотличимы: часть несчастной прослойки, свято веря в необходимость перемен или мечтающая забежать впереди паровоза, устремляется сотрудничать с гегемонами — другая занимает консервативно-охранительные позиции, скептически относится к перспективе революционных перемен и в итоге всегда оказывается права. Оттепели нужны только для того, чтобы легитимнее выглядели заморозки; закономерность открыл великий мыслитель

Луазон, и жаль, что за отсутствием такого мыслителя мне пришлось его изобрести.

Тем не менее в «Орфографии» не так уж много вымысла. Отмена русского правописания — пожалуй, единственное фантастическое допущение, которое я себе позволил и без которого, как выяснилось впоследствии, вполне мог обойтись. Это была своего рода первая ступень ракеты, неизбежно отваливающаяся при взлете, но необходимая для того, чтобы оторваться от земли. Что касается Ятя, то у этого героя был вполне конкретный прототип — Виктор Яковлевич Ирецкий (Ириксон), публицист «Речи», автор замечательных фантастических рассказов и нескольких романов, в которых чувствуется недюжинный талант в сочетании с несколько избыточным вкусом и тонкостью. Чтобы стать настоящим писателем, Ирецкому не хватало стихийной изобразительной мощи, способности к обольщениям и, может быть, чувства Родины. Этот вечный чужак, полуеврей, всех станом не боец, умер в эмиграции от туберкулеза в 1935 году (умудрившись, однако, уже после отъезда опубликовать на родине роман «Завет предков» — в России остались поклонники таланта Ирецкого, которые сумели выдать его роман, написанный на скандинавском материале, за произведение настоящего скандинава. Книга вышла в 1928 году, когда русскому эмигранту надо было непременно рядиться в благонадежного и дружелюбного викинга).

Губер и Арбузьев тоже существовали, хотя их фамилии чуть изменены, а самому персонажу пришлось раздвоиться. Настоящего Губера хорошо знают в современной России благодаря довольно посредственной (уж никак не лучшей у него) работе «Донжуанский список Пушкина». Арбузьев — его псевдоним в «Речи», под этим псевдонимом он опубликовал несколько замечательных интервью, репортажей и статью о русской орфографии, из которой я почерпнул кое-какие ценные сведения, — но полемика между двумя ипостасями скромного публициста Губера шла в гораздо более сдержанной форме, нежели между Губером и Арбузьевым. С остальными прототипами все более-менее понятно, и, найдя уже постфактум множество подтверждений своим самым фантастическим вымыслам, я не поручусь сейчас, что Елагинская коммуна

никогда не существовала. Как бы то ни было, именно 15 мая 1918 года Елагин дворец правительственным декретом был превращен в музей.

Есть прототип и у самой «Орфографии» — вся она, как выяснилось в процессе ее сочинения, представляет собой частью сознательную, а частью и бессознательную вариацию на темы романа Александра Житинского «Потерянный дом, или разговоры с Милордом» (1986). На этой книге, знаковой для моего поколения и очень важной для меня самого, прервалась традиция отечественного эпоса. В свое оправдание могу сказать только, что в этих случайных и неслучайных переключках и заимствованиях мною руководило желание эту традицию возобновить — а начинать лучше всего там, где закончил ближайший и любимый предшественник.

Я был очень счастлив, пока писал эту книгу.

Самым большим счастьем было заканчивать ее в крошечной типографии Артека, а начинать — в Петербурге, в квартире Льва Мочалова. Я не написал еще ни строки и собирал материалы в публичной библиотеке. Каждое утро всезнающий Никита Елисеев, более известный как критик и менее — как библиограф, прикатывал мне на тележке огромные подшивки петроградских газет восемнадцатого года. За окном был июнь, летал тополиный пух, в читальном зале сидели девушки необычайной прелести. Иногда я уходил курить и изучал надписи в сортире Публичной библиотеки: на его стенах велись бурные, как в Интернете, споры о России, еврействе, либерализме и империи. В другом крыле Фонтанного дома (в этом дворце располагается теперь газетный зал Публички) шли занятия в музыкальном училище; время от времени до меня долетали фрагменты оперных арий, а иногда в воздухе рассыпались фортепьянные шопеновские каскады. Настенные споры о свободе и империи, летающий за окнами пух, который Мендельштам называл «погромным», и классические арии постепенно становились лейтмотивом «Орфографии», внушая мне мысль о ненепрасности моего труда.

Содержание

Предисловие к первому изданию

7

ПРОЛОГ

9

действие первое

ЖОЛТЫЙ ЧОРТ

17

действие второе

БЕГЛЫЙ ГЛАСНЫЙ

205

действие третье

БЛЕДНЫЙ БЕС

489

От автора

684



Литературно-художественное издание

БЫКОВ
Дмитрий Львович

ОРФОГРАФИЯ

Редактор

Г.П. Беляева

Младший редактор

О.В. Решетникова

Художественный редактор

Т.Н. Костерина

Технический редактор

С.С. Басипова

Оператор компьютерной верстки

Е.В. Абрамова

Оператор компьютерной

верстки переплета

В.М. Драновский

Корректоры

А.Б. Смирнова, М.Ф. Яковлева

Подписано в печать 23.06.2006

Формат 84x108/32

Тираж 3000 экз.

Заказ № 3882

ЗАО «Вагриус».

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1.

Отпечатано в ОАО ИПК

«Ульяновский Дом печати»

432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14.





Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или... сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии...

ISBN 5-9697-0259-5



9 785969 702592